ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ


СОВРЕМЕННИК

ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

рассказы и повести

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА . 1975

Р2
Т70

Троепольский Г. Н.

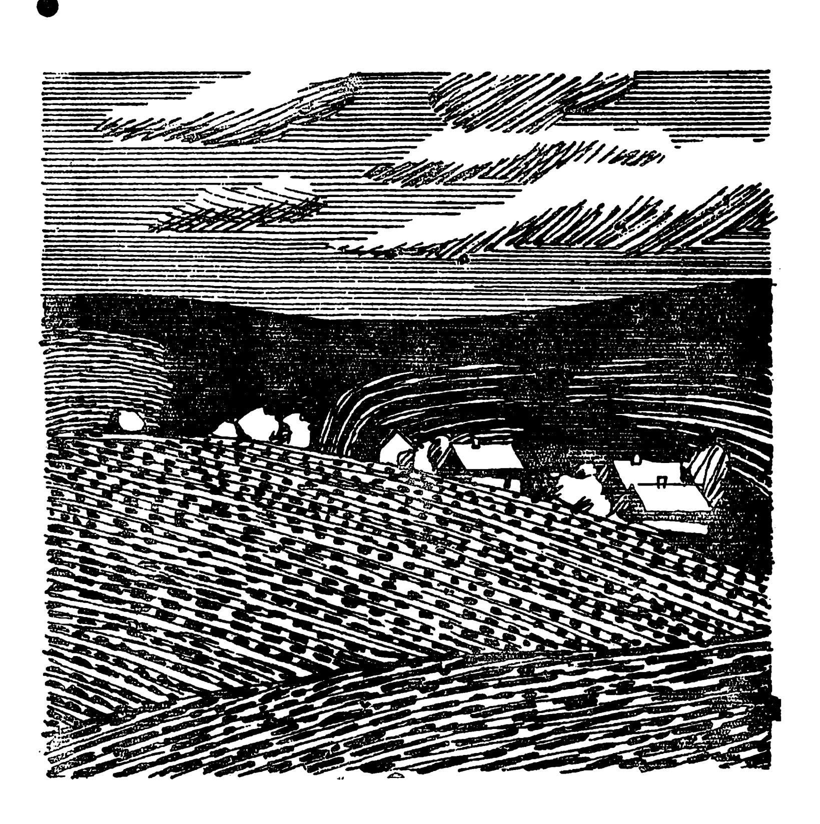
Т70 Здравый смысл. Повести и рассказы. М., «Современник», 1975.
543 с. с илл.

Известный русский писатель в этом сборнике представлен циклом рассказов под общим названием «Прохор семнадцатый и другие», рассказом «Экзамен на здравый смысл», повестями «Кандидат наук» и «Белый Бим Черное ухо».

Т $\frac{70302-169}{М106(03)-75}$ без объявл. Р2

ПРОХОР СЕМНАДЦАТЫЙ И ДРУГИЕ

ИЗ ЗАПИСОК АГРОНОМА





НИКИШКА БОЛТУШОК

Мне много приходится разъезжать по колхозам. Прежде, до того как подружились мы с Евсеичем, я ездил один. Теперь Евсеич нередко сопровождает меня.

А старик он такой: работает ночным сторожем, но успевает и выспаться и сбегать на охоту или на рыбалку. Иной раз он скажет:

— Давай с тобой, Владимир Акимыч, поеду. Посмотрю, что у людей добрых делается.

И тогда едем вдвоем, разговариваем в пути по душам...

Вот и сейчас мы возвращаемся домой — в колхоз «Новая жизнь». Линейка поскрипывает рессорами, рыжий меринок Ерш бежит рысцой, а Евсеич перекинул ноги на мою сторону, видимо намереваясь вступить в длительный разговор.

Евсеич всегда весел, а рассказчик такой, что поискать. Лет ему за шестьдесят, но здоровью можно позавидовать. Бородка у него седая, остренькая — клинышком; лицо подвижное: то оно шутливо-ехидное, то вдруг серьезное, тогда голубые глаза — внимательные и умные — смотрят на собеседника открыто и прямо; брови, будто не желая мешать глазам, выросли маленькими, но четкими, резко очерченными. На голове у Евсеича кепочка из клинышков, с пуговкой наверху.

Он любит рассказывать сказки, сочиняет шутливые небылицы, не прочь поглумиться над лодырем, а уж если про охоту начнет, то с таким упоением плетет свою складную, забавную небывальщину, что без смеха слушать невозможно. Он, впрочем, и сам на это рассчитывает. Кепку на один глаз сдвинет и почешет пальцем у виска — вот, дескать, дела-то какие смехотворные!

— Многие думают,— говорю я Евсеичу,— что быть агрономом — простое дело: ходи себе по полю, загорай, дыши свежим воздухом да смотри на волны пшеничного моря. Слов нет, и загораем и на волны смотрим. Хорошо, конечно. Но мало кто знает, сколько сводок, сведений, планов, отчетов, ответов на запросы и просто ненужных бумажек приходится писать агроному. Иную неделю света белого не взвидишь, а не то чтобы — поле. Сводки, сводки, сводки!..

— Бумаги-то небось сколько, батюшки мои! — восклицает Евсеич.

— Иная сводка в двести вопросов, на двенадцати листах.

— Одни вопросы читать — два самовара выпить можно.

— Раз такую сводку сложили в длину, лист за листом, три метра с чем-то вышло!

— Три метра! — качает головой Евсеич.— Ай-яй-яй! Холсты, прямо холсты!

— А сочинители этих холстов,— продолжаю я свои жалобы,— ссылаются то на запросы Министерства сельского хозяйства, то института, то от себя еще добавляют. Иначе откуда бы взяться такому вопросу: «Среднее число блох на десяти смежных растениях капусты, взятых подряд и без выбора?» Хорошо хоть, что в примечании говорится: «В целях упрощения на каждом отдельном растении блох считать не следует». Хоть за это спасибо!.. Только блохи-то — они прыгают: сосчитай-ка! Так графа и остается незаполненной.

— Ясно дело, блоха того не понимает. Прыг — и нет ее! Известно — тварь.

— Что тут поделать! Иной раз так в ответе и напишешь: «Прыгают интенсивно. Подсчет не проводился ввиду активности вредителя».

— Во! Так их! «Активность вредителя» — это правильно! — помолчав, Евсеич сочувственно спрашивает: — А вам какую-нибудь добавку платят за эти вот самые... холсты бумажные? Или — за так?

Мой ответ, что это входит в обязанности агронома, его не удовлетворяет.

— Шутильником бы их! (Шутильником он называет свой кнут.)

— Кого?

— Да этих... как их, бюрократов... Ведь есть еще кое-где, а? Как ты думаешь?

— Наверно, есть,— подтверждаю я.

Ерш набирает рысь, помахивая головой и озираясь на «шутильник». Полевая сумка у меня на коленях — пухлая, толстая, как размокшая буханка,— полна сводок и сведений.

Едем мы за последними данными: число скирд сена, данные обмера каждой скирды, качество сена в каждой скирде, процент осоки, дикорастущих — естественных, сеяных, однолетних, то же — многолетних, из них люцерны, эспарцета, травосмесей. В общем, последний вопрос: сколько сена?

Но кто же даст в колхозе «Новая жизнь» такие сведения? О счетоводе нечего и думать, он просто скажет: кормов столько-то, сена столько-то, яровой соломы столько-то.

— Евсеич! Кто обмерял стога сена в «Новой жизни?» — спрашиваю я.

— А что?

— Сводка.

— А! Сводка!.. Сколько вопросов?

— Восемнадцать.

— Никишка Болтушок обмерял. К нему надо... Он хоть на тыщу вопросов даст ответ.

— А как его фамилия?

— Кого?

— Да Болтушка, который обмерял сено?

— По книгам Пяткин, а по-уличному Болтушок... Яйцо такое бывает бесполезное — болтушок. Только по книгам он в правлении пишется, а зовется Болтушок. Все так зовут. И ребята его Болтушковы, а жена Болтушиха.

— За что ему такое нехорошее прозвище прилепили?

— Вона! За что? Кому следует, сразу прилепят. Все как надо быть... Лучше не придумаешь, хоть век думай! Народ как дал прозвище, так и умри — не скинешь. Это ему еще с начала колхоза дали: речи сильно любит и непонятные слова.

— Ну, а как он: мужик с головой?

— Дым густой, а борщ пустой.

После этих слов он задумался и замолчал.

...Подъехали к правлению. Там, кроме сторожа, никого не оказалось — все были в поле, и мы направились к Пяткину. Он сидел на завалинке, закинув ногу на ногу, и со-

сосредоточенно курил. Евсеич перегнулся через линейку и прошипел мне на ухо по-гусиному:

— Все в поле, людей не хватает, а он сидит, как лыцарь. И так всегда... Шутильником бы вдоль хребтины!

Болтушок, не вставая, подал мне руку и произнес:

— Агрономическому персоналу, борцам за семь-восемь миллиардов, пламенный привет!

Без обиняков я изложил суть дела, по которому он мне потребовался, и объяснил, что не все материалы можно получить у счетовода. Пяткин слушал, многозначительно хмыкая и чмокая цигаркой. Лицо его очень похоже на пеперепелиное яичко: маленькое, конопатое. На лбу несколько подвижных морщинок: удивляется — морщинки вверх; напустит на себя важность — морщинки вниз; засмеется — морщинки дрожат гармошкой. Глаза малюсенькие, слегка прищуренные, с белыми ресницами; брови бесцветные: их незаметно на лице. На вид ему больше сорока, этак сорок два, сорок три.

— Значит, дебатировать будем вопрос насчет сена. Так! — Болтушок вздохнул, взялся двумя пальцами за подбородок, потупил взгляд в землю и продолжал: — Та-ак. Все эти вопросы мы с вами обследовать имеем полный цикл возможности, тем более, я, как член комиссии, имел присутствие при обмере и освещение вопроса могу произвести.

При этом он с достоинством поднял вверх перепелиное яичко.

— Нам не дебатировать надо,— сказал я,— а просто выяснить кое-что. Есть ли у вас записи обмера и можете ли вы сказать о качестве сена в той или иной скирде?

— Как?

Я повторил.

— Так-ак... Обмеры сдали в правление, а вопросительно качества — знаю, уточнить надо и согласовать надо... Вечером заседание правления — обсудить в корне... О животноводстве будем дебатировать, так и о сене присовокупим по надобности, поскольку есть ваше требование как специалиста сельского хозяйства, к которым мы должны прислушиваться и полностью присоединяться. Что такое животноводство, если...

Я перебил его:

— Мне надо в поле, а тут данные для сводки негде взять.

Болтушок, кажется, обиделся. Его морщинки прыгнули вниз.

— Так, так...— произнес он.— Как я имею понятие, вы предъявляете требование с намерением заполнить сводку на завалинке.

— Никакого такого намерения нет. Но я должен побеседовать с членами комиссии по учету кормов.

Он, будто не слыша, продолжал:

— Пойдемте в правление, сядем честь по чести и продебатируем согласно формы.

Я решил не «дебатировать» и, попрощавшись, поехал в поле.

Вечером, до начала заседания правления, мы со счетоводом ответили с горем пополам на некоторые из многочисленных вопросов о сене.

— Сколько зрящих вопросов в этой сводке! — не выдержал наконец счетовод.— Да и формы такой статистическое управление не утверждало — выдумка бюрократов.

— Да уж,— махнул я рукой,— хватает! И зрящих и бессмысленных...

Кто-то тихонько засмеялся скрипучим голосом, и из угла послышалось:

— Нездоровые в политической плоскости разговоры.

Это был Болтушок. Мы и не заметили, когда он вошел.

— При чем тут «нездоровые»,— возразил счетовод,— когда вместо этой чепухи можно просто написать: «Столько-то сена».

Болтушок подошел к нам, ехидно улыбаясь, и, навалившись животом на стол, заговорил:

— Какая же это будет сводка?.. «Столько-то сена»... Это уже не сводка по форме, это так, черт знает что, а не сводка. Сено! Великое слово — сено! Надо понимать корень. Я был ведь председателем колхоза два месяца и по животноводству был: соображение имеем в натуральности. Слово «сено», как я понимаю, должно войти гвоздем,— он надавил пальцем на стол,— и в сводке той углубиться и расшириться. Тогда только высшему руководящему составу можно понять корень вопроса. Кузьма Стрючков сказал: «Смотри в корень!»

— Не Стрючков, а Прутков,— поправил я.

— Прутков?— спросил он, выпрямляясь и будто вспоминая, но ничуть не смутившись.— Что-то помнится вроде Стрючков... Говорит: «Смотри в корень!» И правильно говорит. Поли-итика! — Он потряс пальцем над головой.— Не нами придумано, не нам и отдумывать назад. Сводка есть сводка, и форма есть форма. Никто не позволит, чтобы над установкой высших организаций...

— Ну, пошел, поше-ел! — проговорил кто-то в сенях из темноты.— Теперь удержу не будет: вожжа под хвост попала — телега пропала!

Болтушок покосился в сторону сеней, покачал головой.

— Темнота и есть темнота! Слышь, что Федора Карповна сказала? Одно слово — темнота! — Он махнул рукой, поправил картуз и снова уселся в угол.

Заседание правления собиралось не быстро. Те, что пришли раньше, занимали себя по-разному. Счетовод развернул газету и углубился в чтение.

Три молодых парня склонились над шахматной доской, решая задачу. Один из них, подпоясанный ремнем поверх телогрейки и с кнутом в руках, Петя-ездовой, настойчиво и спокойно советовал:

— Слоном надо! Только слоном.

— Куда?— спрашивал второй.

— На дэ-семь.

— Точно... А теперь... теперь...

— Ферзем: а-четыре,— говорил все тот же Петя.

— Ничего не получается! — воскликнул третий. —Черные на эф-шесть, шах королю, и по-ошла волынка!

И снова все втроем продолжали искать решение задачи. Не утерпел и я, подсел и включился четвертым.

Вдруг за спиной раздался трескучий голос Болтушка:

— Человек с натуральным образованием, а такими пустяками занимается.

— Люблю,— ответил я, оборачиваясь.

Болтушок, ухмыляясь, сдвинул картуз на висок. Реденькие белесые волосы торчали пучком сбоку головы.

— Для этой игры ум требуется,— отозвался счетовод, не отрываясь от газеты.

— Это у Петьки-то ум! — вдруг воскликнул Болтушок, тыча пальцем в спину парня.

А тот, не отрывая глаз от шахматной доски, будто невзначай, тихо проговорил:

— Погоди, вот на этом заседании тебе пропишут ум,— и в задумчивой нерешительности взялся за головку ферзя.

Болтушок для него в этот момент уже перестал существовать.

У Пети — завитки черных волос из-под кепки, широкие черные брови, загорелое румяное лицо с чуть-чуть выдающимися скулами, тихая уверенность во взгляде и недюжинная силенка. Он окончил семилетку и учится заочно в сельскохозяйственной школе. Через три года будет специалистом.

И что ему сейчас Болтушок, когда «белые начинают и выигрывают»!

Из сеней вошли сразу несколько человек, и среди них Евсеич.

Все были возбуждены и улыбались, а конюх Данила Васильевич Головков — широкий, грузный, с украинскими усами и густыми бровями, нависшими над глазами, в жилетке нараспашку и с уздой в руках — басил:

— Ну и Евсеич! Уморил, ей-богу, уморил!

Вошедшие шумно расселись: кто на лавках, а кто просто на корточках, прислонясь к стене спиной.

Евсеичу пришлось вскоре уйти на свой пост: и хочется побыть на заседании, но и на охрану пора.

Данила Васильевич осмотрелся кругом и сказал:

— Кажись, все налицо. Можно за Кузьмичом посылать. Коля! — обратился он к мальчику, стоявшему у стены.— Иди кличь Петра Кузьмича.

Вскоре вошел председатель колхоза Петр Кузьмич Шуров, на ходу поздоровался со всеми сразу и, не останавливаясь, прошел за стол, накрытый красной материей. Счетовод немедля присел сбоку стола с листом бумаги в руках.

Болтушок уселся на переднюю скамейку.

Заседание началось. Председатель, вполголоса посоветовавшись со счетоводом, встал и объявил:

— На повестке дня два вопроса: первый — о животноводстве и второй — о колхозниках, не выработавших минимума трудодней.

По первому вопросу говорил сам Петр Кузьмич. Председателем он работает в «Новой жизни» всего лишь меся-

цев шесть: краткость его речей, четкость указаний, настойчивость, непримиримость к лодырям и любовь к своему делу выгодно отличают его от многочисленных предшественников.

Колхозники его уважают, но бездельникам житья не стало, он безжалостно вытаскивает их напоказ всему колхозу. А посмотреть — человек с виду так себе: росту невысокого, худощав, пиджачок немудрящий, галстучек... Особого виду нет. Правда, лоб у него высокий, русые волосы, вьются, но по комплекции не вышел. И ни тебе брюшка, ни синих галифе, в которые иной председатель при желании поместил бы ползакрома пшеницы,— ничего такого нету, обыкновенный человек! Глаза у него карие, открытые и добрые. А уж если сердится, не разберешь: то ли карие, то ли еще какие, прищурит их и одними зрачками простреливает насквозь, как бы говоря взглядом: «Врешь, прощупаю!»

Большие нелады пошли у него с рвачами и лодырями, нет им развороту никакого. Сколько жалоб посылалось на него в район, в область и даже в Москву! Но об этом после: мы еще не раз встретимся с Петром Кузьмичом и познакомимся с ним поближе.

В своем выступлении председатель сказал так:

— Чтобы выполнить план развития животноводства, нам надо законтрактовать у колхозников двадцать голов телят. И тогда вопрос животноводства будет разрешен. Кормов у нас достаточно. Сейчас необходимо установить цену, по которой будем контрактовать. У кого какие имеются предложения?

И все.

Вопрос казался простым и ясным.

Данила Васильевич подал голос:

— Давайте платить, как и в прошлом году: центнер хлеба и сто рублей за теленка.

По всему было видно, что это предложение не встречает возражений. Но не тут-то было!

— Еще какие предложения есть? Кто желает? — спросил председатель.

Немедленно поднялся Болтушок.

— Давайте скажу я.

— Ну, поехал теперь! — сказал кто-то из заднего ряда.

Болтушок уничтожил взглядом подавшего реплику, укоризненно обернулся к председателю, будто говоря: дисцип-

лина, мол, падает, распустил. Затем провел ладонью ото лба к затылку, отчего образовался хохолок реденьких волос, сдвинул морщины вниз, подбросил подбородок вверх и сразу стал похож на полинялого задиристого петушка с расклеванным гребешком.

— Так, товарищи! Мы сегодня собрались...— он вздохнул, сделал паузу,— на заседание правления... Да. Собрались подвести итоги животноводства прошедшего прошлогоднего года, товарищи, и наметить их на будущий год... и вступить в них с новой силой, как и полагается, и так и далее. А что мы видим, дорогие товарищи? Ни-чего не видим. Мы даже не обсуждаем. Да.

— Короче! — отрезал председатель.

Болтушок обернулся к нему, улыбнулся снисходительно и продолжал:

— Я скажу. Больной скот есть? Есть, товарищи! Где наши витинары? За что мы им деньги платим? Где они, эти спецы, товарищи? Куда смотрит правление: корова сдохла! А? А вы молчите!

Его голос забирал все выше и выше.

— От кого начинает вонять, товарищи? Ясно: от головы. Нету дисциплины ни у спецов, ни у колхозников. Куда мы идем, товарищи: корова сдохла!

— Да хватит тебе! — не вытерпел председатель.— Есть же акт ветеринарного врача. Давай о деле!

— А-а! А это не дело? Критику и самокритику глушишь! А я без критики и самокритики жить не могу, как политически развитой актив населенного пункта...— Он снова сделал паузу.— Что есть больной скот? С больным скотом мы должны бороться, чтобы его не было. Это надо понимать и присокупить к повседневным дням работы.

Данила Васильевич наклонился к Коле и вполголоса, но так, чтобы всем было слышно, сказал:

— Иди к Игнатьичу в шорную и скажи: мол, довязывай хомут! Болтушок говорит. А как кончит — скажем, тогда придет. Успеет хомут доделать.

Болтушок, уже войдя в роль обличителя, выкрикивал:

— Это одно! Одно, товарищи! — И тыкал пальцем вверх.— А другое — куриный вопрос.— И палец тыкался вниз.

Председатель уныло махнул рукой. Счетовод положил

карандаш и взялся за газету. Данила Васильевич вынул шило и приступил к починке узды, зажав ремень между коленями.

— А другое — куриный вопрос! — кричал Болтушок.— Очень жгучий куриный вопрос! Курица — она тоже животная, и ее надо кормить. Кормить, товарищи! Пришел я на курятник, а она — курица старая — сидит в окошечке и на меня страшным голосом: ко-о-о! Ясно, есть хочет! А почему есть хочет? Не кормю-ют! Не кормют, товарищи! Все равно животная: что курица, что корова.

— Не все равно! — громко сказал Петя-ездовой. —Это два разных класса: класс птиц и класс млекопитающих.

— Сам ты млекопитающий! — вспылил Болтушок.— Еще молоко на губах не обсохло, а в разговор лезешь. Товарищ председатель! Веди заседание по форме! Что же это у нас получается? Ишь ты! Классы придумал!.. Итак, товарищи! Возьмем свиней.

Все дружно и безнадежно вздохнули.

— Возьмем свиней, товарищи! Можем ли мы так хозяевать? Нет, дорогие товарищи, не можем. Спим, товарищи! Разбудировать нас надо. Надо перестроить корень. Свинья, она животная...

Он покосился на Петю и продолжал:

— Она животная приятная. Свинья должна быть правильной свиньей, а не тенью антихриста. Это — во-первых. А Пегашка хворала две недели, насилу вылечили: худая — вот и тень антихриста.

Все знали, что Пегашка хворала, что от нее не отходили дежурные круглосуточно, но Болтушок все азартнее напирал на «свиной вопрос», «будировал», «дебатировал», «перестраивал корень». Его слова уже не доходили до сознания слушателей: в ушах отдавались лишь какие-то глухие, неясные звуки.

— Следующий вопрос: о колхозниках, не выработавших минимума трудодней! — громко объявил председатель.

Это было так неожиданно, что все встрепенулись. Новый и четкий голос сразу дошел до сознания. Пока Болтушок недоумевал, разводя руками, председатель завершил:

— Проголосуем по первому вопросу: кто за предложение Головкова Данилы Васильевича, прошу поднять руки!..

Единогласно. Запишем: сто килограммов зерна и сто рублей денег за теленка.

— Ка-ак? — взвизгнул Болтушок.— Зажим критики! Кто позволит? Писать в райком буду! Завтра буду писать... В область напишу! Мы еще посмотрим. Я дойду. И спецов дойду и тебя дойду! Глушить актив! Кто позволит?

— Следующий вопрос — о минимуме,— не обращал внимания председатель.— Три человека не выработали минимума без уважительных причин, первый из них — Пяткин Никифор: у него только шестьдесят трудодней. У нас в колхозе дети имеют по сотне трудодней, ученики школы. А Пяткин... Да что там говорить! Вот он — смотрите и решайте!

Что сделалось с Болтушком! То он смотрел на председателя, то оборачивался к сидящим, морщины на лбу играли и замирали и наконец поднялись вверх в полном удивлении, да так и остались; он провел рукой по голове от затылка ко лбу, отчего хохолок исчез, а петушиного вида как не было.

— Житья от него не стало! — говорила Федора Карповна. В накинутой на плечи клетчатой шали, высокая, крепкая, загорелая, она подошла к столу и продолжала: — Я как член правления заявляю: житья не стало! Самый разгар полки был, а он придет и два часа речь держит. А после него у Аринки голова болит: как он приходит, она аж дрожит, бедняга. Другому человеку — наплевать. Брешет и брешет! А другому невтерпеж слушать. Факт, нормы не вырабатываем, как он «агитировать» приходит. Ну пускай, ладно, пускай бы уж говорил, а ведь и работать надо... Шесть-де-сят трудодней! Срам-то какой! Аль закону на него нету?.. Я кончила.

— Закон есть,— заговорил Петя.— Что держать его в колхозе?

Лицо Болтушка вдруг резко изменилось: он шмыгнул острым носиком, глазки забегали и заблестели; озлобленный, как хорек, он выкрикнул, подняв высоко руку:

— Я в активе хожу, а вы меня компитировать! Не-ет! Не позволю! Я по займу два года работал, а...

— Вот тебе «а»! — вдруг рыкнул басом Данила Васильевич.— По за-айму! А сам не уплатил за заем и в этом году. Бессовестные глаза! Мне семьдесят лет, а у меня четыреста трудодней, а тебе сорока небось нету. Помело чертово!

Тьфу! — Данила Васильевич потрясал уздой, гремя удилами, и его бас рокотал в комнате, как в большой бочке. Он плюнул и сел.— Я свое сказал... Колька! Иди к Игнатьичу, скажи: мол, Болтушок высказался. Пущай хомут бросает, если не кончил: в «разных» о сбруе поговорим... Ишь ты, акти-ив! — рявкнул он напоследок.

— Ну что ж, будем голосовать? — спросил у всех сразу председатель.— Возражений нет. Кто за то, чтобы предупредить Пяткина в последний раз?.. Единогласно!

Данила Васильевич, держа широкую ладонь над головой, успокоительно произвес:

— Болячка. Прижигать надо.

Болтушок сидел неподвижно, опустив голову и свесив ладони меж коленей. Лица его не было видно. Понял ли он, что произошло, и спрятал лицо от колхозников или обдумывал новую жалобу в область — кто его знает! Но было в нем что-то жалкое.

...С собрания я шел медленно. Ночь была теплая и тихая. Большая, глазастая луна обливала серебром деревья и траву.

Невдалеке заиграла гармошка и сразу замолкла. Несколько раз подряд кувыкнул сыч и затих. Вот вспыхнул огонек у Данилы Васильевича — пришел домой. Вот еще свет в открытом окне, а оттуда женский голос:

— Что с тобой, Никифор? Аль пьян?

«Да ведь это ж хата Болтушка!» — подумал я и невольно остановился в двух-трех метрах от окна.

Болтушок сидел у стола, ничего не отвечая жене.

Против колхозного амбара окликнул меня Евсеич:

— Акимыч!

— Я.

— По походке узнал...— Он подошел, перекинул через плечо ружье, набил трубку и спросил: — Ну, как там с Болтушком решили?

— Предупредили: исключат из колхоза, если еще что...

— Ну, а он как?

— Сидит вон дома за столом сам не свой.

— Пробрало, значит. Може, дошло... Хоть бы дошло! — Он вздохнул, потянул трубку и добавил: — На недельку притихнет, ясно дело... А Петр Кузьмич опять один сидит в правлении. Вишь, огонек? Пишет...

Тишина.

За селом по обе стороны урчали два трактора. Они не нарушали привычной тишины ночи, они всегда урчат, и звука мотора никто не замечает, но если заглохнет, все услышат. Так стенные часы, остановившись, напоминают о себе... Вот она какая — тишина в деревне!..

— До свидания, Евсеич!

ГРИШКА ХВАТ

Вспашка зяби закончена.

Кому как, а мне эти три слова нравятся, до невозможности. Значит, сделано все: убрано, обмолочено, сложена солома, все взлущено и вспахано — все, все! И совсем не хуже стало от этого в поле, оно не потеряло своей красоты, но оделось в новый наряд.

В самом деле, как хорошо в поле в ясный и тихий осенний денек! Ласковая ярко-зеленая озимь, черная, как вороново крыло, зябь, золото лесных полос, а надо всем — просторная, бесконечная голубизна неба. И немного как будто красок, но какие они сильные, чистые, свежие! А дорога, накатанная до блеска, чистая, без пыли, уже не скрыта от взора густыми колосьями и видна далеко-далеко вперед...

Выйдешь в воскресенье таким осенним деньком, посмотришь вокруг, вздохнешь всей грудью воздух — и пошел на весь день! А если за плечами ружье да рядом собачка, тогда — будь уверен! — домой вернешься только к вечеру.

В субботу к концу дня мне уже не сиделось. «Пойду-ка, думаю, к Евсеичу, да ахнем завтра на охоту по зайцам!»

Во дворе меня встретила гончая собака Найда, села передо мной и подала по старому знакомству лапу. Еще из сеней услышал я заливистый смех хозяина и заразительный хохот Пети, того самого Пети-ездового, что учился на агронома: он Евсеичу внуком доводится.

— Что у вас тут творится? — осведомился я.

Хозяин занят набивкой охотничьих патронов. Очки у него — на кончике носа, в глазах — смех.

— Патроны заряжаем.

— А что ж тут смешного?

— Да вот вспомнили, как... порты соскочили,— смеясь сообщил Евсеич, а Петя снова громко расхохотался, утирая рукавом рубахи слезы.

— У кого соскочили?

— У Гришки Хвата. Садись, Акимыч, расскажу!

Евсеич подождал, пока Петя успокоится, и, отложив в сторону патроны, набил трубку.

Я присел на диванчик, маленький и удобный. Напротив меня, над столом, у которого сидят дед и внук,— портрет Ленина, а по обе стороны его — фотографии двух сыновей Евсеича, погибших в Отечественную войну; одна из них — отца Пети. Над этажерочкой с аккуратно поставленными книгами — портрет Гоголя, в углу — снопик пшеницы, а на полочке, рядом со снопиком,— огромная картофелина, с человеческую голову. Все это уже давно мне знакомо, но уютная простота убранства комнаты всегда располагает в этой хате к душевному спокойствию.

— А мы,— сообщает Евсеич,— бабку и мамку проводили в город на базар на колхозной машине, а сами, значит, с Петрухой дым коромыслом разводим... Так, во-от! — Он снял очки, погладил горстью острую бородку и, ухмыляясь, начал: — Весной дело было. Он ведь, Гришка-то, работает в колхозе только весной, когда сеют, да осенью, когда хлеб на токах. Ясно дело, живет так,— Евсеич сделал выразительный жест — сгреб ладонью воздух, сжал кулак и сунул в карман.— Вот как он живет, этот Гришка Хват: урвать себе, а там хоть трын-трава.

— Ну, а при чем здесь порты?

— Вот и стряслось с ним. Назначили его, значит, на тракторную сеялку вторым севаком — семена засыпать, диски чистить, маркер поднимать. Никогда Гришка не упустит, чтобы не хапнуть, и тут, ясно дело, не утерпел — насыпал пшеницы в кулек, килограмма полтора, и привязал пояском под ватные порты, сбоку. Да... Дело к вечеру было, последний ход ехали. Подъехали к табору, а Гришка-то — прыг с сеялки! Пуговка — лоп! — и оторвись. Да случись тут кусок пласта торчком под ногами, он споткнулся. Брык! — голым задом к табору. А кулек сбоку мотается! Мамушки мои, срамота-то какая! Бабы накинулись гуртом: «Снимай порты! Что у тебя там привязано?» А он задрал нос, одной рукой штаны держит, а другой кулаком трясет: «Я вам покажу, как над больным человеком насмехаться. Грызь, говорит, у меня табаком обвязана». А и никакой

грызу у него сроду и не было... Вот и смеются меж собой теперь колхозники: «А грызь-то у Гришки пшенишная!» Вот мы с Петей и вспомнили. Дела, право слово! — Евсеич помолчал немного и продолжал уже серьезно: — А попробуй скажи в глаза ему об этом. Куда там! За грудки и с кулаками лезет. Да еще и подхалимом обзовет. Невозможный человек! — заключил он.

— Значит, ворует?

Евсеич помолчал, подумал. Петя уложил патроны в патронташ и посмотрел сначала на меня, а потом на дедушку и сказал:

— Ворует.

— А уловить невозможно,— добавил Евсеич.

— Зачем и ловить? Выгнать из колхоза — и все.

— Выгнать-то выгнать, да толку что? — возразил Пете старик.— Ты скажи ему, Гришке-то: «Укради мешок!» Не станет. А бутылкой перетаскает больше. Он в законах и лавирует.

— Как это бутылкой? — спросил я.

— А так. Идет на сев — литровую бутылку молока берет. Выпил молоко, пшеницы насыпал. Баба принесла завтракать, пустую бутылку дает ему, а с пшеницей возьмет. В обед — то же. Вечером — то же. Четыре-пять литров зерна за день — пустяк утащить, а в них, почитай, четыре килограмма пшеницы. Поймай! Брали ее один раз, но и милицию она провела: дескать, россыпь, подобрала, говорит.

Петя добавил:

— А в уборку валенками ворует. Едет в поле в валенках, а домой идет — валенки под мышкой и засунуты друг в дружку. Мы, комсомольцы, раз изловить его хотели. Переняли и говорим: «Разними валенки». А он кулак к носу тычет: «А этого не видал? Вором считаете, сопляки? Завтра, говорит, напишу за оскорбление личности в суд, статья такая имеется»,— и пошел дальше. Потом нырнул в лесополосу, а метров через тридцать вынырнул и остановился. Мы опять к нему: «До дому пойдем с тобой, а не отступим».— «Пошли, говорит, к правлению!» Приходим, председателя нет, один счетовод сидит. «Мы, говорим, видели, как он из зерновоза пшеницу насыпал в валенки». Тут он разнимает валенки и показывает их. Пустые! «Я, говорит, найду на вас управу! Я, говорит, по сто шестьдесят первой статье за клевету подам». И вышел. А мы сами же, своими глазами видели!

— Во! Статьи он все знает, которые ему надобны,— поддержал Евсеич.— А пшеницу вытряхнул в лосополосе, факт. Вот и улови! Рвет, подлец, с колхоза кусочками. Убытки тут не ахти какие, а народу обидно. Другой колхозник трудится, потому живет хорошо, а этот не трудится, а живет тоже хорошо. В том и вред от него, что рвет-то он ото всех. Да горлом берет, ясно дело.

— Надо,— посоветовал я,— с председателем насчет него потолковать.

— Да про него сейчас в каждой хате будут толковать, а весна придет — забудут. Не до него в трудах-то.

Поговорили мы так, потом я проверил заочную контрольную работу Пети, а на прощание Евсеич сказал:

— Завтра, значит, берем подряд на очистку поля от зайцев.

В воскресенье утром, с ружьями за плечами, мы втроем шагали от села вдоль лесной полосы. Ночью был легкий морозец,— иней на озими таял и серебрился от восходящего солнца. Листья желтым ковром устлали землю меж деревьев. Оттого, что ветви были почти совсем обнажены, лесная полоса казалась реже, чем летом, а стволы — выше. Уже семнадцать лет этой полосе! Многое можно вспомнить из того, что прошло за эти годы, о многих погибших товарищах пожалеть, многому порадоваться, но эти деревья, которые памятны мне с перволеток, я просто люблю. Люблю за ласковый шум во время легкого ветерка; за силу, с которой они, содрогаясь, отражают налеты страшного когда-то юго-восточного суховея; за то, что они приютили новых лесных птиц; за прохладу в июльский зной; люблю и за то, что в них большой кусок и моей жизни, и жизни Евсеича, и вся целиком жизнь Пети, который шагает вразвалку рядом со мною.

— Хорошо! — улыбаясь, сказал Евсеич. Он сдвинул кепку с пуговкой на самый затылок и поднял взгляд к вершинам деревьев.— А ведь какие маленькие были, ну прямо проволочки!

— А я и не помню, как их сажали,— сказал Петя.

Евсеич ласково положил ему руку на плечо.

— Тебе и было всего не то год, не то два. Папашка твой сажал, лесоводом был в колхозе. Понял?

— Знаю,— ответил Петя.

— И ты сажай, Петруша! Сажай больше! Долго люди

помнят тех, кто сажает деревья. Кто не любит дерева, тот не любит и человека. Ясно дело.

— А комсомольскую полосу дубков мы-то и посадили.

— Еще больше сажай!

Мы пошли дальше. Петя вдруг остановился.

— Дедушка, смотри — сук надломлен! Зимой снегом отломит.

— А ты приметь дерево, да потом и привяжи сучок к стволу. Он весной и срастется. Буря была недавно, вот и надломился.

— Обязательно привяжу,— сказал Петя.

И я знаю: он хозяин, обязательно привяжет.

Немного прошли молча, а у первой просеки остановились.

— Начнем,— весело сказал Евсеич и стал снимать ружье с плеча.

Найда до сих пор спокойно плелась на шворке за хозяином, а тут начала визжать, рваться, встала передними лапами на грудь Пети, тянулась к лицу, стараясь лизнуть.

— Ну, ну! Целоваться полезла! — шутил Евсеич. Он снял ошейник, ласково похлопал ее по боку.— Не подкачай, Найда!

Черно-красным пятном Найда заюлила по зяби, ныряла в лесополосу, снова показывалась на чистом поле и наконец скрылась в соседней полосе. Евсеич распределил места:

— Ты, Акимыч, оставайся тут! Ты, Петя, давай к дубовой-гнездовой! А я — к яру, в приовражную. Тут, брат ты мой, заяц обязательно этим кругом ходит. Сперва вдоль полосы, потом — в просеку, потом — к дубам, а вдоль них — к яру. Это у них дорога такая. Ясно дело, заяц тоже к лесным полосам приспособился. Теперь и охота в поле иная — и лесная и полевая. Сноровка другая должна быть... А ты, Петя, главно дело — не шевелись, когда он попрет на тебя, замри! Дубки — по пояс, а если мертво будешь стоять, то он выше дубка не увидит, у него глаз глупой...

Петя трусцой, вприпрыжку побежал к дубкам. Евсеич спокойно, не спеша направился к яру, а я, осмотревшись, выбрал местечко и стал за куст так, чтобы можно было стрелять и вдоль полосы и по просеке. Мешала ветка впереди меня. В большом лесу я ее обязательно срезал бы, а здесь нельзя, пусть растет. Справа от меня, за пригорком, видны верхушки лесополосы, посаженной в год начала Ве-

ликой Отечественной войны; слева, метрах в трехстах,— «Комсомольская», этой всего только семь лет; а дальше по полю видны квадраты лесных полос; они, как дети в многодетной семье, растут лесенкой; каждый год прибавлялось по одной полосе, а набралось уже до сотни гектаров.

От яркого солнца и густой зелени озимых рябило в глазах. Застрекотала сорока, увидев меня; пробежали через просеку хохлатые подорожнички; деловито простучал невдалеке дятел; тихонько захохотала синица, выпрыгнула из чащи, прилепилась к ветке в трех метрах от меня и уставилась черными бусинками в глаза. «И что это делает здесь неподвижный человек?» — казалось, спрашивала она, потом вспорхнула, будто прощаясь, прощебетала: «Чиви! Чиви!» Очень похоже: «Живи! Живи!» «Ну и ты живи!» — подумал я.

Вдруг: «Гав!» Немного погодя еще: «Гав-гав!» И потом ритмично, размеренно: «Гав-ав-ав-ав!» То Найда подняла русака. Только охотник поймет, какая дрожь пробегает по телу при первом лае гончей! Мир сужается до предела: охотник, ружье и, еще невидимые, собака и заяц или лисица. А лай все ближе, все ближе, и дрожь ушла уже внутрь, но руки спокойны и уверенны. И вдруг, как из-под земли, вываливается сам «косой». Он идет прямо на меня «ниткой», смешно закидывая задние ноги вперед, будто на костылях. Выстрел! Заяц перевернулся через голову, высоко подбросив вверх задние лапы... Подвалила Найда, хвостом приветствуя удачный выстрел, полезла целоваться, а через некоторое время снова заюлила, повизгивая, закружилась, засопела и потянула дальше. Вскоре она скрылась из виду и снова погнала голосом, спокойно, ровно, не спеша. В лесных полосах быстроногая собака не годится: из-под нее заяц летит пулей, сбивает с круга и несется как сумасшедший, куда глаза глядят. Но Найду Евсеич приучил так, что она и «взрячую» гонит тихо: «сноровка другая».

Петя выстрелил дублетом. Собака замолкла, значит, попал. Потом, как из пушки, ахнул Евсеич. По одному зайцу я «расписался» впустую; он проскочил к Пете, тот тоже промахнулся, и только около Евсеича Найда замолчала.

К середине дня все вместе мы убили пять зайцев. Несколько раз перебегали с места на место, перехватывая «круг» сообразно направлению лая Найды, и наконец, порядком умаявшись, стали собираться закусить.

Евсеич прищурил глаза, почесал висок, сдвинул пабок кепку и чуть-чуть шмыгнул носом. Я-то уже знаю, что все это предшествует веселому сочинению.

— Садись, Акимыч, отдыхай! Петька, вон он маячит. Подождем его, а я тебе расскажу заячью историю.

Петя действительно маячил в километре от нас, уже на той стороне яра. Мы уселись на засохший бурьян, Евсеич закурил трубку и начал:

— Зайцев бы-ыло: миллион с тыщами! А один был смелый-пресмелый зайчишка. Так. Хоть и знают косые, что в магазине Союза охотников не бывает к сезону ни пороху, ни дроби, а посылают этого зайчишку в город: все-таки проверь, дескать! Поковылял, значит. Ясно дело, зайцу по городу трудно пройти. Ну, задворками, бульварами пробрался к магазину. Стучит легонько лапкой в окно, машет продавцу: выйди, дескать, на минутку! Выходит: «Что вам, гражданин зайчик?» А тот спрашивает тихонько так: «Порох есть?» — «Нету»,— отвечает. «А дробь есть?» — «Нету».— «Тогда передайте, говорит, товарищу Медведкину (председателю Союза охотников), что мы, зайцы, плевать на него хотели».— «Как так плевать?» — «А так: орешками, орешками!» Подпрыгнул зайчишка, оставил пару орешков, да и был таков... Вот они дела-то какие случаются смехотворные!

Евсеич рассказывает без смеха, но глаза его смеются, так и сыплют искорками, так и сыплют! Счастлив человек, у которого к старости сохранятся такие глаза!

Вдали показался Петя. Он вразвалку идет к нам вдоль лесополосы, изредка останавливаясь и посматривая хозяйским глазом на деревья.

Вдруг лицо Евсеича сразу сделалось серьезным, он даже привстал.

— Гляди, Акимыч! Петька бегом к нам побежал... Что за оказия?

Действительно, Петька торопливо бежит, придерживая одной рукой зайца. Вот он уже близко и на бегу кричит:

— Дедушка! Владимир Акимович! Там... там два дерева... срублены... большие!

Мы заспешили за Петей.

— Тут недалеко... И ветки очищены на месте... Большие,— тяжело дыша и чуть не плача, говорил Петя. Картуз сбился у него козырьком на ухо. Прядь волос упала на угол лба.

Два пенька рядом сиротливо белели в середине полосы. Потянул легкий ветерок, слегка зашуршали ветви, будто жалуясь... Мы понуро стояли над пнями. Евсеич то мял кепку в руках, то набрасывал ее на голову, то снова снимал и теребил за пуговку; в волнении руки не давали покоя и клинышку бородки; он пробовал зажечь спичкой трубку, забыв набить табаком, и снова совал ее в карман.

Потом сжал кулак и с озлоблением потряс им в воздухе.

— Сук-кин сын! Подлец! Гришка Хват, больше некому!

— Он,— мрачно подтвердил Петя.

Охотиться уже не хотелось. Найда поплелась за Евсеичем. Я смотрел ему в спину, и мне казалось, что он сгорбился и постарел... Мы шли молча. Некоторое время спустя Евсеич сказал, ни к кому не обращаясь:

— Дня три-четыре как срублены — зарубы обветрило: теперь уже не найдешь... Каналья!

Утром следующего дня Евсеич зашел за мной, и мы направились к председателю колхоза Петру Кузьмичу Шурову. Он сидел в своем кабинете, рассматривая какую-то бумагу, делал пометки то красным, то черным карандашом.

Мы поздоровались.

— Знаю, с чем пришли,— заговорил Шуров.— Петя успел сообщить, уже и заметку в стенгазету потащил. Садитесь, подумаем вместе! — Он положил перед нами ведомость трудодней.— Поинтересуйтесь, а потом о деревьях поговорим!

Против фамилий колхозников — цифры трудодней. Пятьсот и выше — в красном кружочке, это, понятно, передовики. Шестьдесят — в черном колечке, тоже понятно — болтуны и лодыри, но таких только три. Но вот пятьдесят два — в красном, а сто пятьдесят — в черном: это не сразу поймешь, и я вопросительно поднял глаза на Петра Кузьмича, указывая на эти цифры.

— То-то вот и оно, что не сразу понять. А разберись — дело простое. Пятьдесят два — это лучшая колхозница, но она больна, надо помочь ей и направить в санаторий. А сто пятьдесят...

Но я уже вслух прочитал:

— Хватов Григорий Егорович — сто пятьдесят.

— Во! Гришка Хват,— подтвердил Евсеич, подняв палец вверх.

— Минимум выработал: все в порядке, все законно,— продолжал Петр Кузьмич,— работает — шатай-валяй, а живет — сыр в масле. Все понятно, но... с какой стороны его взять? Вот вопрос.

Он задумался. Взгляд его направлен на чернильницу, но, казалось, он видит перед собой Хватова и мысленно всматривается в него, прощупывает.

Евсеич покачал головой.

— Во всяком чину́ — по сукину сыну́. Ясно дело.

Петр Кузьмич оживился, пристукнул ладонью о край стола и решительно встал. Видно было, что его осенила новая мысль, и он ее высказал:

— Брать его надо всего целиком... Выдернуть его и показать всем, а сначала сам пусть на себя посмотрит. И домой к нему надо сходить, посмотреть, раскусить хорошенько. Говорят, мой предшественник — бывший председатель колхоза Прохор Палыч Самоваров — только у Хватова и угощал начальников разных и сам там угощался.

— Там, там, Кузьмич, только там,— подтвердил Евсеич,— туда и баранинку, туда и яички, все туда, а самогонку-то Гришка и сам мастер гнать.

— Сходим, Владимир Акимыч?— обратился ко мне Петр Кузьмич.

— Пошли хоть сейчас!

— Вы там в сарай загляните, в сарай!— напутствовал нас Евсеич.— Да кусок хлеба возьмите! Кобель у него как тигра.

Краюшку хлеба председатель и в самом деле сунул в карман, зайдя в кладовую.

Вскоре мы подходили к усадьбе Хватова. Аккуратная, чисто выбеленная, с новыми наличниками на окнах, по-хозяйски крытая камышом «под гребенку», хата стояла на отшибе, небольшой ярок отделял ее от улицы, будто она откололась от села. Двор огорожен высоким, почти новым плетнем, на котором сверху в одну нитку протянута колючая проволока. Ворота забраны тонкими досками с клеймами железной дороги: видно, какие-то ящики употреблены на это дело. И ни одного дерева, ни одного цветка, не говоря уже о клумбе.

Калитка оказалась запертой изнутри, и мы постучали щеколдой. Залаяла собака, захлебываясь и надрываясь, кто-то цыкнул на нее во дворе, потом загремел засов, и калитка открылась. Перед нами стоял Хватов — Гришка

Хват. Он, казалось, был в некотором недоумении и молчал, переводя взгляд с одного из нас на другого.

Небольшого роста, широкоплечий, кряжистый, с крепко расставленными короткими ногами, в клетчатой ковбойке, из-под которой торчала нижняя рубаха; краснорожий, рыжие волосы коротко острижены «под бокс» — по-модному; глаза большие, равнодушные; жирные губы выгнулись полумесяцем; кончик большого и мясистого носа приподнят кверху задиристо и вызывающе. Ему не более сорока лет.

— Милости просим! — наконец проговорил он, пропуская нас вперед.

От калитки к крыльцу, выходящему во двор, пройти можно, но в середину двора нельзя: огромный пес, такой же рыжий, как и сам хозяин, оскалив пасть, бегал вдоль протянутой поперек двора проволоки, на которой каталось взад-вперед рыска́ло цепи:

— Уйми ты его, Хватов! — попросил Петр Кузьмич.

— Заходите в хату! — сказал хозяин так же равнодушно.

— В хату потом,— возразил Петр Кузьмич.— Зашли посмотреть, как живет богатый колхозник, а у тебя... «тигра». Плохо гостей принимаешь.

Гришка понял это по-своему.

— Литровочка есть, и закус найдем.

— Это тоже потом.— С этими словами Петр Кузьмич решительно подошел к собаке совсем близко, но так, что она не могла его достать с цепи, остановился и молча посмотрел на нее в упор, засунув руки в карманы пиджака. И удивительное дело — пес уже не рвался с цепи, не надрывался, он лаял как бы по обязанности. Когда же Петр Кузьмич бросил краюшку хлеба, он мирно поплелся в конуру, недоверчиво оглядываясь на хозяина и погромыхивая колечком рыскала.

Во дворе стало тихо. Хватов, заложив руки за спину, смотрел на председателя без какого-либо выражения гостеприимства и проговорил с ноткой недовольства:

— В укрощатели годитесь, товарищ председатель.

— Ну, как живешь, Хватов? — спросил Петр Кузьмич, будто не обратив внимания на его слова, и уселся на грядушки ручной тележки.

— Да как... Ничего живем, налог уплатил, с займом рассчитался, минимум выработал. Закон есть закон. Все по уставу.

— Все правильно,— подтвердил Петр Кузьмич не без иронии.

Хватов стоял сбоку, опершись ногой о тележку, грядушки которой были новыми и совсем еще сырыми, а колеса — с конных плугов.

— Новые наделки,— заметил я.

Хозяин будто не слышал моих слов, а Петр Кузьмич прищурился и в упор спросил, постукивая пальцем о тележку:

— Ясеньки-то в лесной полосе срубил? Смотри — свежий ясенек, как с корня.

У Хватова не было заметно ни тени страха, ни тени волнения. Он почему-то обратился ко мне:

— А вы видали, как я рубил? Купил на базаре.

— А колеса с плужков? — спросил Петр Кузьмич.

— Видать, с плужков,— ответил Хватов с притворным вздохом.

— Когда снял?

— Купил за двадцать восемь рублей и пятьдесят копеек.

— Где?

— На базаре.

— У кого?

— У чужого дядьки,— мирно ответил Хватов и вдруг перешел в наступление: — Евсеича слушаете! Клеветой руководиться не гоже, не по-советски! Сто шестьдесят первая статья на это имеется, можем написать — люди грамотные и ходы знаем, куда подать и к кому обратиться.

Петр Кузьмич пристально смотрел на него не отрываясь, сжав зубы. Краска бросилась ему в лицо, но он тряхнул головой, сдерживая себя, закурил папиросу и уже спокойно сказал совершенно неожиданно и, казалось, не к месту:

— Во время войны где был?

— Служил.

— Где?

— А что? — не изменяя позы и наглого выражения лица, спросил Гришка Хват.— Следствие, что ли, хотите наводить?

— Ну вот ты уже и обиделся! — возразил Петр Кузьмич.— С тобой по-хорошему, а ты...

— Что я?

— Значит, не был на фронте? Ну тогда — где работал

в тылу? Тыл — это тоже очень важно. И в тылу много героев. Что делал?

— Служил.

— Где?

Гришка не выдержал словесной перестрелки и сдался:

— В милиции.

— Кем?

— Конюхом.

— Ну так бы и говорил! Хорошая должность — конюх, и у нас в колхозе почетная. Вот теперь и понятно.

— Что понятно?

Петр Кузьмич не ответил на его вопрос, а спросил сам:

— А знаешь, что у Евсеича два сына погибли на фронте?

Гришка молчал. Петр Кузьмич барабанил по грядушке пальцем и потихоньку насвистывал, выжидая. Будто ненароком я прошелся по двору взад-вперед. Квохтали куры, в хлеву похрюкивали свиньи; в углу, между сараем и плетнем,— штабель толстых дубовых дров, хватит года на два; старые колеса от тарантаса, рама от старой конной сеялки, две доски с брички и деревянная ось свалены за сараем в кучу. Запасливый хозяин тащил все, что плохо лежит и за что никто не может привлечь к ответственности. На стене сарая висел большой моток толстой проволоки, две старые покрышки от автомашины и перерезанный гуж от хомута; штабель кизяков — такой огромный, что на две хаты хватит топить полную зиму.

— А навоз для кизяков тоже купил на базаре? — спросил я.

Гришка не удостоил меня ответом, а Петр Кузьмич ответил за него:

— Зимой на поле вывозил: воз — на поле, а воз — домой. Рассказывают, так было. Этак гектарчика на два удобрений и хапанул. Правда, Хватов?

Но тот не ответил.

— Вы по какому делу пришли?

— Да вот ходим с агрономом, знакомимся, как наши колхозники живут,— невозмутимо сказал председатель.

— С обыском, что ли?

— Ой, какой ты, Хватов, законник!

— Законы знаем.

И вдруг неожиданный вопрос Петра Кузьмича:

— Корма корове хватит?

— Занимать не будем.
— А продавать будем?
— Там видно будет.
— Ты же на сенокосе не был, процентов не заработал, как же это получается?
— Покупается,— тоном превосходства ответил Хватов.
Петр Кузьмич решительно встал и открыл дверь сарая. Гришка не выдержал и заскочил вперед. Лицо его стало озлобленным, но говорил он спокойно:
— Отойди, товарищ председатель! Добром говорю! За самовольный обыск тоже статья имеется...
— Да ты никак испугался, Григорий Егорович?—засмеялся Петр Кузьмич.— А мы в сарай не пойдем. Разве можно не по закону? Посмотрю, хватит ли корма. Должны же мы заботиться и о скоте колхозников? Ясно?
— Может, и ясно,— приостановился Гришка, поняв, что не выдержал своей линии.
— А ты не бойся,— продолжал Петр Кузьмич.— Если купил, то все законно и никакой статьи не потребуется. Купил, говоришь?
— Купил.
— Почем же люцерновое сено?
— Двести рублей воз,— не моргнув глазом, ответил хозяин.
— Прошлогоднее?
— Должно быть.
— У кого?
— У чужого мужика. Базар велик.
Я вспомнил, что прошлым летом на семенниках люцерны во время цветения появлялись в середине массива выкошенные пятна, и подумал: «Вот они и пятна».
На крыльцо вышла жена хозяина и поздоровалась так, что слово «здравствуйте» прозвучало как «уходите». Одета она по-городскому. Ни широкой, просторной, с каймой, юбки, ни яркой кофточки с пухленькими и такими симпатичными «фонариками» на рукавах, ни плотно уложенных на макушке волос — ничего этого не было. Короткая, до колен, юбка обтягивала зад, как огромный футбольный мяч; толстые, как гигантские кегли, икры — в тонких чулках; тесная кофточка, в которой с трудом умещалась грудь; громадная брошь в виде плюшки с начинкой посредине: вот какая, дескать, культурная! А лицо! Какое лицо! Жирный подбородок, пухлые щеки с двумя круглыми

пятнами румян, маленький нос с полуоткрытыми ноздрями приподнят кверху, белобрысая, а брови намалеваны черные, как осенняя ночь. И рыжий «бокс» на голове мужа, и его клетчатая ковбойка с торчащей из-под нее грязной нижней рубахой — все это как нельзя более подходило к облику его супруги.

— Чего ж в хату не зовешь начальников?

Оттого ли, что она заметила мой пристальный взгляд, оттого ли, что Петр Кузьмич на ее «здравствуйте-уходите» ответил вежливым приветствием, или, подслушав наш разговор, она поняла, что обострять дело не следует и надо нас отвлечь от люцерны,— не знаю почему, но голос ее стал немного приветливее.

— Чего ж не зовешь? — повторила она.—Небось в хате и поговорить лучше. Заходите!

Мы обменялись с Петром Кузьмичом взглядами и взошли на крыльцо.

Я совсем не ожидал, что жена Хватова будет знакомиться с нами, так сказать, официально, но она подала прямо вытянутую ладонь, как толстую длинную вчерашнюю оладью, и произнесла мужским тенором:

— Матильда Сидоровна.

Настоящее ее человеческое имя — Матрена, но сказано ясно — «Матильда». Петр Кузьмич сначала не удержался от улыбки, а потом все-таки прыснул и зажал рот платком, как бы утирая губы. «Ошибочный жест, Кузьмич! Ой, ошибочный!» — подумал я. И правильно подумал: Матильда поняла так, что, утирая губы, председатель просит выпить. Молча, одними взглядами, которые, впрочем, не так уж трудно заметить со стороны, они с мужем согласовали этот вопрос, и Хватов распорядился:

— Собери закусить!

Матильда вышла в сени, а муж «на минутку» выскочил за ней.

— Ну? — спросил я тихонько, когда мы остались вдвоем.

— Подождем, что дальше будет,— шепнул председатель.— Не бойся! По стопам Прохора Палыча в бутылку не загляну. У меня — план.

Возвратился Гришка совсем другой, щеки его вздулись двумя просвирками: он улыбался. Но глаза так и остались мутными и равнодушными, глаза не улыбались. Матильда внесла колечко колбасы и тарелку огурцов и... тоже улыба-

лась. Ах, как она улыбалась! Накрашенные половинки губ узкими полосами окаймляли рот, а ненакрашенные вылупились из середины. Тяжело ступая и сотрясая телеса, она засуетилась:

— Заведи пока патефон, Григорий Егорович. Выбери какую покультурней!

Хозяин завозился с патефоном, меняя иголку, а мы осмотрели комнату. Тут и громадный плакат-реклама с гигантским куском мыла «Тэжэ» и надписью: «Это мыло высоко ценится, это мыло прекрасно пенится»; и еще противопожарный плакат «Не позволяйте детям играть с огнем»; большие портреты обоих супругов, увеличенные с пятиминуток и разретушированные проходящим фотографом до полной неузнаваемости; ленты из цветной бумаги на стенах, на окнах — и широкие и узкие,— ленты, ленты, ленты, как на карусели.

Захрипел патефон, будто на плите убежало молоко, а затем мы услышали пластинку двадцатилетней давности — романс в исполнении Леонида Утесова:

Лу-уч луны-лы упал на ваш портре-е-ет,
Ми-илый друг-уг давно забытых ле-е-ет,
И во-о мгле... гле, гле, гле, гле, гле, гле, гле...

Игла запала в одной строке пластинки, и патефон хрипел: гле, гле, гле, гле, гле... Это была самая высокая нота в романсе, казалось, что исполнителю очень трудно повторять ее.

Матильда стукнула по мембране деревянной ложкой, и игла проскочила дальше. Оттого, что пластинка была очень старой, голос Утесова стал совсем хриплым, натужным, как при ангине. Гришка Хват упер руку в бок, закинул, стоя, ногу за ногу и серьезно, как в церкви, смотрел в потолок, как бы вслушиваясь в звуки патефона.

Патефон отхрипел. На столе — колбаса, огурцы и крупные ломти пшеничного хлеба, такие крупные, что надо открыть рот во всю ширину, чтобы ухитриться откусить. Хозяин нагнулся, достал из-под кровати литровую посудину, заткнутую кукурузным початком, поставил на стол и сел сам с нами, пододвинув к себе стакан. По всем неписаным правилам таких хватов процедура выпивки с начальством совершается медленно, не спеша.

Петр Кузьмич взял бутылку и, понюхав горлышко, сказал:

— Самогон. Купил?

— Ну, да эти дела, как бы сказать, не покупаются,— ответил хозяин почти радушно.

— Своего, значит, изделия?

Гришка кивнул головой в знак согласия.

— Крепкий? — спросил председатель.

— Хорош! — улыбнулся деревянной улыбкой Хватов.

— С выпивкой — потом. Сейчас давай, Григорий Егорович, договорим о деле и... поставим точку.— Петр Кузьмич поставил точку ручкой вилки на столе.

— Дак мы ж еще ни о каком деле не говорили,—возразил хозяин.

— И стоит вам о пустяках разговаривать! — вмешалась Матильда.— Мы вечные труженики, а на него всякую мараль наводят. Пустяк какой-нибудь — в бутылку рассыпанной пшеницы подберешь на дороге, а шуму на весь район. Да что это такое за мараль на нас такая! И всем колхозом, всем колхозом донимают! При старом председателе, при Прохор Палыче, еще туда-сюда, а вас обвели всякие подхалимы, наклеветали на нас, и получается один гольный прынцып друг на дружку.— Она входила в азарт и зачастила совсем без передыху: — Мы только одни тут и культурные, а то все темнота. Машка, кладовщица, со старым председателем путалась. Федорка за второго мужа вышла, Аниська сама сумасшедшая и дочь сумасшедшая, Акулька Культяпкина молоко с фермы таскает, а на нас — мараль да прынцып, мараль да прынцып.

И пошла, и пошла!

— Я ему сколько раз говорила,— указала она на мужа,— сколько раз говорила: законы знаешь? Чего ты пугаешь статьями зря, без толку? Напиши в суд! В милиции у тебя знакомые есть: чего терпишь? Чего ты терпишь?

Наконец Петр Кузьмич не выдержал и перебил ее:

— Послушайте, хозяйка! Дайте нам о деле поговорить!

Она в недоумении посмотрела на него и обидчиво продолжала, поправив плюшку-брошь и не сбавляя прыти:

— Вот вы все такие, все так: «Женщине — свободу, женщине — свободу», а как женщина в дело, так вы слова не даете сказать. Извиняюсь! Женщина может сказать что захочет и где захочет. Что? Только одной Федорке и гово-

рить везде можно? Скажи, пожалуйста! — развела она руками.— Член правления, актив!

— Нельзя же только одной вам и говорить,— не стерпел я.— Вот вы высказались, а теперь наша очередь: так и будем по порядку — по-культурному.

Последнее слово, кажется, ее убедило. Скрестив руки, она прислонилась к припечку и замолчала.

— Итак, о деле, Григорий Егорович,— заторопился Петр Кузьмич,— о деле...

— О каком таком деле? — недоверчиво спросил Гришка.

И тут председатель словно из ушата холодной водой окатил:

— Вот о каком: первое — люцерну привези в колхозный двор!

Гришка встал.

— Ай! — взвизгнула Матильда.

— Цыц! — обернулся к ней муж и задал вопрос Петру Кузьмичу: — Еще что?

— Колеса с плужков и грядушки с тележки принеси в мастерскую,— спокойно продолжал тот.

— Еще что? — с озлоблением прохрипел Хватов.

Петр Кузьмич взял обеими руками литровку:

— А вот это возьмем с собой. Придется ответить!

Прошло несколько минут в молчании. Гришка вышел из-за стола, давая понять, что выпивки не будет. Лицо его приняло прежнее, внешне спокойное выражение,— он удивительно умел влезать в личину, как улитка,— и только чуть-чуть вздрагивала бровь.

— Ну так как же? — спросил с усмешкой Петр Кузьмич.

— Ничего такого не будет: не повезу. А бутылку возьмете — грабеж... Вас угощают, а вы.. Эх, вы! — Он махнул рукой и прислонился спиной к рекламе «Тэжэ».— Люцерну — не докажете, тележку — не докажете, не пойманный — не вор. Купил—и все! Докажите!

— Хорошо,— вмешался я. —Люцерну докажем очень просто. Только в одном нашем колхозе желтая люцерна «Степная», а в районах вокруг нас нет ни одного гектара этого нового сорта. Как агроном могу составить акт.

Гришка вздрогнул. Да, вздрогнул, я не ошибся! Будто невидимой стрелой пронзило его лицо, оно передернулось, и тень страха пробежала во взгляде.

— Понятно?— спросил Петр Кузьмич и, не дожидаясь ответа, добавил:— А колесико с плуга, одно колесико, номерок имеет, а номерок тот сходится с корпусом. Видишь, оно какое дело, Григорий Егорович!

Я понимал, что никаких номерков на колесах плуга нет, а Петр Кузьмич знал, что такой же сорт люцерны есть и в райсемхозе, и в совхозе, и в ряде других колхозов, но, разгадав план председателя, я помогал ему — он прощупывал Гришку, исследовал по косточкам, изучал. Тот стоял у стены, опустив голову, не пытаясь возражать, и смотрел на носки своих сапог, будто они очень и очень для него интересны. Матильда в удивлении и испуге прислонилась задом к рогачам.

А Петр Кузьмич уже добавил:

— Да ты пойми, Хватов! За самогонку— не меньше года, хоть и без цели сбыта, за люцерну — тоже... А? Жалко мне тебя, Григорий Егорович! Ей-право, жалко, а то не пришел бы.

В последних словах я уловил нотки искренности и теплоты и никак не мог поверить, что слова эти обращены к Хватову — к Гришке Хвату. До сих пор Петр Кузьмич изучал, какое действие оказывает прямота руководителя, знание законов, каков Хватов в страхе и как докопаться до страха, а последними словами он докапывался уже до самого человека — до Григория Егоровича Хватова. А тот поднял глаза на председателя — уголок губ дергался, глаза часто моргали, брови поднялись, чувство растерянности овладело им, и он уже не мог этого скрыть, он стоял перед нами уже без скорлупы, с голой, обнаженной душой.

Петр Кузьмич методично оттирал все остатки его личины.

— Привык ты, Григорий Егорович, не тем заниматься, чем следует, а остановить было некому... Оторвался от народа, ушел в сторону и стал единоличником внутри колхоза... Может быть, хочешь остаться единоличником по-настоящему? Так мы можем это сделать, и есть к тому все основания. Как, а?

И Хватов хрипло проговорил, уже беспомощно и жалобно:

— Исключить, значит... Ну... убивайте! — и, неуверенно сделав несколько шагов, сел на лавку.

Это оказалось самым страшным для него словом, и он

сам произнес, рубанул самого себя наотмашь, обмяк, согнулся и уже больше ни разу не взглянул на нас прямо. Ни разу!

— Позора боишься? — спросил Петр Кузьмич.— Не надо до этого допускать.

— Вы... меня теперь все равно.— Хватов не договорил и махнул безнадежно рукой.

Петр Кузьмич подошел к нему, сел рядом, закурил и, пуская дымок вверх, примирительно сказал:

— Ну хватит нам ругаться... Пиши заявление!

— Куда? — спросил Хватов не глядя.

— В правление, куда же больше.

— Тюрьму, что ли, себе написать? — угрюмо бросил Хватов, не оставляя своего метода — отбиваться вопросами.

— Зачем в тюрьму? Колхозную честь соблюсти. Напиши, что просишь принять излишки сена... Ну и...—Председатель немного подумал.— Ну и напиши, что хочешь в кузницу молотобойцем. По ремонту инвентаря будешь работать: руки у тебя золотые, силенка есть... А плужки на твоей совести останутся.

— Через все село везти сено! У всех на глазах! — неожиданно закричал Хватов.— Не повезу!

— Тогда... обижайся сам на себя. Я сказал все.—И Петр Кузьмич встал, будто собираясь уходить.— Значит, не напишешь?— Он заткнул литровку тем же кукурузным початком и поставил ее на окно.

В хате наступила тишина. Лениво жужжала на стекле запоздалая осенняя муха. Тикали ходики. Шумно вздохнула Матильда и приложила к глазам фартук. Кукарекнул во дворе петух... Колбаса, огурцы и хлеб лежали нетронутыми.

Хватов произнес неуверенно:

— Подумаю.

— Ну подумай! Хорошенько подумай, Григорий Егорович! Мы к тебе с добром приходили... Хорошенько подумай! — повторил Петр Кузьмич и обратился к хозяйке с нарочито подчеркнутой вежливостью:— До свидания, Матильда Сидоровна!

Попрощался и я. Мы вышли. Рыжий пес попробовал залаять, но сразу раздумал, вильнул хвостом в сторону, опустил его снова и поплелся в конуру.

...Через несколько дней председатель зачитал на заседании правления в «разных» заявление:

«Председателю колхоза *тов. Шурову П. К.*
от рядового колхозника *Хватова Г. Е.*

Заявление

Как я имею излишний корм и как в колхозе от засухи кормов внатяг имеется, то прошу принять с одной стороны от меня лишок сена. Точка, желаю жить в общем и целом а также прошу назначить меня молотобойцем в кузницу как я имею понятие по ремонту и тому подобно.

Прошу тов. председатель попросить правление в просьбе моей не отказать а работать буду по всей форме и так далее.

К сему роспись поставил: Хватов».

Все присутствующие знали, что́ это за сено и как оно попало в колхоз, и все глядели на Хватова с презрением, смешанным с сожалением. Он же что-то рассматривал то на потолке, то на кончике сапога и избегал смотреть прямо на сидящих.

Никаких возражений заявление не встретило: Петр Кузьмич заранее договорился с членами правления. Никишки Болтушка здесь не было, и просьбу «удовлетворили» без прений. Только Евсеич напоследок сказал:

— Ясно дело, Гришка! Должон понять, ультиматум тебе поставили. Только думаю — хитришь ты. А?

Хватов ничего не ответил и не возразил. Он переминался с ноги на ногу и мял в руках фуражку.

...Как-то там теперь Матильда Сидоровна?

ИГНАТ С БАЛАЛАЙКОЙ

В один из предуборочных дней я работал на апробации посевов пшеницы: набирал снопы для определения сортовой чистоты, учета болезней и вредителей; сделаешь шагов тридцать — сорок, путаясь в густых хлебах, заберешь в горсть пучок стеблей, выдернешь их с корнем — и дальше, а через такой же промежуток — еще пучок. И так до тех пор, пока не составишь средний образец с участка, апробационный сноп, в котором после, уже в агрокабинете, анализируется каждый колосок.

Время перевалило за полдень. Пальцы начинали неметь, стебли в них скользили — не сразу выдернешь: чувствовалась усталость, хотелось отдохнуть, закусить, попить родниковой водички. Игнат понес очередной сноп к подводе, а я остановился, вытер лицо уже влажным платком и осмотрелся вокруг.

Тишина такая, что даже ости колосьев не шевелятся, но вдали хлеба, казалось, волнами уходят в небо, сливаясь синевой, тают, исчезая в дрожащем мареве, и никак не поймешь, где кончается пшеница и где начинается небо. Так обманчива июльская марь в тихий день, что глаз перестает отличать дальние предметы от ближних; они плывут, дрожат, меняют очертания и будто стоят в воде: марь отрывает их от земли. Вдали на разных участках несколько комбайнов, уже готовых к уборке, расставлены по своим местам; они тоже дрожат, то опускаясь, то поднимаясь вверх выше пшеницы, и кажутся воздушными кораблями: вот-вот тронутся и поплывут над полем! По шляху проскочило несколько автомашин с горючим для уборки, за ними вытянулся огромный хвост пыли. Он долго стоит, подрагивая в общем потоке маревых волн. И вдруг...

Гудит, рокочет где-то самолет. Звук то слышится прямо над пшеницей, то совсем пропадает — и вдруг снова близко, отчетливо. Да где же он? Как ни вглядывайся в небо, приложив ладонь к козырьку, не найдешь! Самолет совсем недалеко, километрах в трех, на бреющем полете обрабатывает с воздуха посевы люцерны от вредителей, а кажется, что наполнены шумом и небо и земля и что звучит марево.

Солнце печет. Невидимый жаворонок звенит то в двух-трех метрах от уха, то невообразимо далеко, у самого солнца: будто подвешен колокольчик на громадной нитке и медленно раскачивается с серебряным перезвоном.

В тихий, жаркий предуборочный день в поле есть своя особенная прелесть. Агроному не хочется уходить отсюда: он прощается с колосьями до будущего года, ему становится даже немножко грустно, но грусть эта перемешивается с радостью и надеждами; грусть эта — глубоко человечная, такая же, наверно, как у инженера, который строил корабль и провожает его взглядом в море, провожает кусочек своей жизни и своего труда.

Честное слово, я так и сказал вслух: «Прощайте, прощайте! До будущего года!» — и пошел к подводе, на отдых, туда, где скрылся Игнат. Шел и думал: и поле уже не то, что было когда-то, лет двадцать назад, когда я был молодым человеком, и люди стали не те, какими были, даже «лодырь теперь не тот пошел» как говаривал уже знакомый нам Евсеич. С такими мыслями я и подошел к Игнату.

Игнат Прокофьевич Ушкин, которого на селе все зовут просто Игнатом, прикреплен ко мне на несколько дней для апробации. Он следует за мной по полям неотлучно, принимает от меня снопы, аккуратно доставляет на руках до подводы, укладывает их так, чтобы не помять и не обмолотить. Сноп он всегда берет осторожно, поднимает над головой обеими руками и несет как какой-нибудь сосуд с жидкостью, будто боясь расплескать. На Игната пожаловаться никак нельзя: работает он аккуратно, но очень уж медленно все делает!

— Ох, и печет же сегодня!

— Печет,— равнодушно, в полудремоте, согласился Игнат.

Он лежал на траве вверх животом, подложив обе ладони под затылок и накрыв лицо фуражкой от солнца. Ло-

шадь в упряжи, хотя и с отпущенным чересседельником, паслась по краю лощины.

— Отпрягай! Обедать будем. Отдохнем.

— А чего ее отпрягать? — сонно отозвался он, не пошевелившись.

Жара разморила его, он, видимо, тоже устал путаться ногами в густой пшенице, клонило в сон.

— Лошади неудобно так пастись.

— Трава хорошая: и так закусит,— возразил Игнат, не меняя положения и все таким же сонным, с хрипотцой, голосом.

— Ну и лентяй же ты! — говорю.

Он поднялся. Посидел немного, почесал живот, посмотрел на лошадь, на меня, глянул вверх мимо солнца и произнес:

— Печет.— Немного подумал и добавил:— Июль... Почему «лентяй»? — спросил он и тут же ответил:— Никакой не лентяй. Сейчас отпрягу.

Видно, он не обиделся на меня, пошел, насвистывая, не спеша. Он подвел лошадь, распряг ее и стреножил. Мы спустились вниз, в лощинку, к роднику, напились, обмыли лица.

Игнат присел против меня.

— До того нажарило голову, аж в сон бросило. Говорю, а сам сплю. Кажись, сутки так и пролежал бы.

Полуденную дремоту с него согнало, а лицо, омытое ключевой водой, повеселело. Взгляд у него открытый, без прищура, серые глаза окаймлены светлыми густыми ресницами, ему около тридцати лет, но с виду он моложе: круглолицый, с розовыми щеками. Движения у Игната медлительны, но уверенны, всегда спокойны; говорит он тоже медленно, но выразительно, меняя интонацию и жестикулируя руками и даже головой.

— Вот говорят про меня: «Игнатка — лентяй», «Игнат — бездельник». «Игнат дисциплины не понимает».— Он медленно развел руки, будто удивившись, поднял маленькие бровки и вдруг ударил ладонями по коленям.— И вы тоже на меня — «лентяй»! А почему говорят? Это дело глу-убо-окое! — погрозил он кому-то пальцем.— Ты мне дай работу по вкусу! Дай, а тогда говори!

— Кому это ты речь держишь?

— Известно кому — бригадиру, Алешке Пшеничкину.— Голос у Игната очистился от сонной хрипоты и стал

довольно чистым тенорком; продолжал он уже энергичнее: — «Ты, говорит, меня замучил! Ты, говорит, летун, а не колхозник! Я, говорит, на тебя докладную подам!» (Игнат написал в воздухе «докладную».) Это я-то его замучил? Нашел дурака. Игнат да Игнат! Да что я им дался?

— Ты это напрасно: Пшеничкин — бригадир очень хороший.

— А я и не сказал, что он плохой. Нет, пущай он даст мне постоянную, чтобы я при деле был. У меня тоже нервов нету, я тоже был на войне, а теперь и работу себе не выбери по вкусу. Я, брат, им покажу. Игнат, думаешь, так себе? Не-ет! Я по облигации пять тысяч выиграл: возьму вот и уеду в санаторию. Почему другим можно, а Игнату нельзя? — спрашивал он не то самого себя, не то обращаясь все к тому же Пшеничкину.— Можно и мне. Можно или не можно? — Игнат посмотрел на меня.

— Можно, конечно, но только в работе скакать с места на место — это плохо. Дисциплину понимать надо,— повторил я его же слова.

Игнат молча посмотрел па меня еще раз, вытер рукавом губы после еды и махнул рукой, будто хотел сказать: «А ну вас всех к лешему!» Встал и пошел к лошади: отогнать ее от посева.

Все остальное время дня он о чем-то думал, изредка грозил молча кому-то пальцем. Иногда дремал и клевал носом в передок брички.

А вечером на наряде он заявил бригадиру решительно:

— На апробацию завтра не поеду: пропекло голову и... работа тяжелая — от солнца до солнца.

Белокурый и голубоглазый бригадир Пшеничкин — тот, что ездит всегда верхом на белом меринке,— воскликнул:

— Ну что с тобой делать? Что ни день, то фокус, что ни день, то опять! Ты ж все работы в колхозе перебрал, и все не по тебе. На ферме был, на волах ездил, прицепщиком был, около цыплят был, в кирпичных сараях был, на свекле был, и все тебе — не та работа.

— На апробацию не поеду,— еще раз сказал Игнат, будто вся речь Пшеничкина его не касалась, и он сообщал это бригадиру как окончательно решенное и не подлежащее обсуждению.

— Тогда никакой работы не дам! — вспылил Пшенич-

кин и сжал в кулаке свою фуражку.— Иди до дому! Предупреждение у тебя есть, выговор есть, штраф на три трудодня тоже есть: что тебе еще надо? Что по уставу осталось? Подать докладную, чтобы исключили? Так, что ли?

— Подай,— равнодушно ответил Игнат.— Подай! А я им так скажу.

— Скажешь — «воевал»? Знаю... Я тоже скажу, что в роте Игнату Ушкину попадало за нарушение дисциплины.

— Что там со мной было в роте — не твое дело, Алеша, а орден-то за что-нибудь дали Игнату: их зазря не дают.

— Но зато мое дело — где тебе сейчас быть. Понял? Ну Игнат,— убеждал Пшеничкин, протягивая ему обе руки,— ты подумай только, что ты за человек!

— Не! Не поеду. Давай другую работу!

— Нет тебе никакой работы. Иди! — горячился бригадир.— Доложу председателю.

— Ну доложи, доложи, а я пойду в район жаловаться,— все так же невозмутимо говорил Игнат.

— Иди!

— И пойду.

— Ну и иди!

— А что ж, не пойду, думаешь? — не меняя тона, спрашивал Игнат.

Жаловаться он, конечно, никуда не пошел, да и сроду ни на кого не жаловался.

На следующий день, еще не ведая о вечернем разговоре с бригадиром, я зашел спозаранку к Игнату, чтобы поторопить с отъездом в поле. Хата его, в отличие от соседних, была неприглядна: глина кусками отвалилась от стен, крыша оползла и осела верблюжьим горбом; навоз навален около хлева так, что можно, как по горке, взойти на самый хлев; лопата с поломанной ручкой валялась у стены.

Солнце еще не взошло, но в хате уже слышалась легкая перебранка. Говорила жена Игната:

— Что ж ты ни за что дома не берешься? Крыша течет, хлев худой, полы надо перемостить, печь переложить, а ты...

— А я гармонью новую куплю, буду учиться играть,— отговаривался Игнат незлобиво, и нельзя было понять — шутит он или нет.— Кордион куплю.

Я вошел, поздоровался.

У Игната ворот рубахи расстегнут, босые ноги висят

с кровати и чешут одна другую; волосы похожи на мятый, перепутанный лен: видно, что проснулся недавно. Жена, Домна Васильевна, стоит у печки, уже готовая идти на работу; в хате подметено, стол вымыт. Ростом она выше мужа, полногрудая, чернобровая. Мальчик лет трех сидит на скамейке и играет, гремя коробкой с пуговицами.

— О чем спор?

Игнат ответил не сразу.

— Обвиняет меня супружница в неправильном подходе к личному хозяйству. А я ей говорю, что личное хозяйство теперь — тьфу! При коммунизме не надо будет ни хаты, ни коровы: надо молока — на, бери! — Он сложил пальцы так, будто держал литровую банку и уже кому-то ее подавал.— Надо тебе квартиру — на, бери! Надо, скажем, тебе гитару тальянскую о двенадцати струнах — на гитару, бери, только играй, пожалуйста.

— Да тебя до тех пор потолком завалит! — Домна Васильевна подняла беспокойные глаза вверх и указала на пятна.— Хочет с раскрытой крышей до коммунизма дожить. Кто тебя туда пустит с такой хатой? Горе ты мое!

— Пуговку вынь! — спокойно сказал Игнат.

— Что?

— Пуговку Ленька заглотнул: вынь!

— Да что ж ты сам не мог вынуть? — Домна Васильевна кинулась к ребенку.

— Твое дело за ребенком смотреть.

— А если проглотил бы? — спросила она с сердцем и, нажав на щечки мальчика, вынула пуговицу пальцем.

— Ничего ему не подеется. Телок на ферме целый пояс заглотнул, ничего не сотворилось — жив и по сей день! — сказал Игнат, не меняя позы, но было в его тоне что-то тонкое, насмешливое, чего, может быть, не понимала и жена.

— Ну, хватит балясы точить! — почти мирно заговорила Домна Васильевна.— Давай на работу, а я Леньку в ясли занесу.

Игнат посмотрел на меня и сказал, будто отвечая жене:

— Не думал сегодня на работу.

— Да ты что? С ума сошел? —крикнула она.— У меня, у женщины, триста трудодней, а у тебя сто сорок! Ты что, хочешь меня осрамить? Куда ни пойди, все — «летун» да «шатай-валяй»... А ну-ка, одевайся! — Она решительно

подошла и без труда сдернула его с кровати.— А ну, иди запрягай!

— От чертова баба! — сказал Игнат и, видимо ничуть не обидевшись, стал обуваться, затем умылся, и вскоре мы вышли с ним вместе.

Три дня промучился со мной Игнат на апробации, но — что интересно! — исполнял все точно и аккуратно. А бригадиры и председатель продолжали обсуждать, что делать с Игнатом.

На любой работе он дольше недели не выдерживал и просил другую: на вывозке навоза у него «рука развилась», на сенокосе — «нога отнялась», на тракторном прицепе — «дых сперло от пыли», даже на апробации — «голову напекло» и «нервы не держут». «Нервы, говорит, нужны крепкие. А ну-ка сноп обмолотится или развяжется — вот и беспокойство целый день. Мне нужна работа покойная».

Собственно говоря, он ежедневно на работе и вполне понимает, что — по уставу — его исключить не могут, но заработки его слабые, половинные: полутрудодня ежедневно вкруговую не выходит. «И кому какое дело,— говорит он,— сколько я зарабатываю! А может, мне и этого за глаза хватает».

Вывести Игната из терпения совершенно невозможно, его, как говорится, «ни гром, ни райком» не растревожат. Он иногда поет под балалайку песни грустные или веселые, смотря по настроению. О музыке поговорить любит и иногда скажет:

— Гармонь у меня «трехтонка» и «грамматика» с заемным басом.

— Что она у тебя — автомашина или книжка? — удивился я как-то.

— В музыке тоже понятие надо иметь,— объясняет Игнат,—«трехтонка» — это в три тона играет, а «грамматика» — это такой лад, грамматический называется.

— Хроматический.

— Вряд ли! — сомневается он.— Все настоящие гармонисты так говорят.

Переубедить его нет никакой возможности: он не спорит, но и не соглашается, оставаясь при своем мнении. Еще в школе, малышом, он сказал учительнице: «Без тебя знаю». А все оттого, что рос единственным сынком, всегда только и слышал, что «умница», да «молодец», да «не

тронь топор», «не хватай молоток», «поставь ведро! Сами воды принесем», и ничего ему не приходилось делать: «Сами сделаем. Играй, Игнатка!» Так и привык. Люди стали комбайнерами, бригадирами, трактористами, агрономами, а Игнат — с балалайкой. Так и пошла по колхозу пословица: «Работает, как Игнат с балалайкой».

Ну, это все дело прошлое: год от году Игнат все-таки работает лучше, все-таки минимум стал вырабатывать, хоть и с натяжкой. Однако уважения колхозников все равно нет. Да и какое может быть уважение к человеку, который дальше минимума не идет! А между прочим, Игнат обладает довольно трезвым рассудком и шутку отколоть любит такую, что запомнится всем надолго; шутит он чаще всего загадками, так, что спервоначалу и не поймешь, и при этом не ждите от него улыбки: лицо не изменится ничуть, останется таким же спокойным, как и всегда, а улыбнется он только после, иногда даже через несколько дней.

Вот, например, какой получился у него случай с плотником Ефимычем, с которым у Игната были всегда хорошие отношения.

Убило громом свинью у Ефимыча. Конечно, в доме — горе. Собрались и соседи и дальние односельчане, набились во дворе, ахают, сожалеют, сочувствуют:

— Эх, какая свинья-то хорошая была!

— Ай-яй-яй! Еще бы две недельки — и колоть можно!

— Убытки-то, убытки-то какие, Ефимыч!

Сам Ефимыч в горестном виде в сотый раз пересказывает, как он стоял около свиньи, как «оно ахнуло, треснуло, разорвалось» около него, как он сперва оглох и что-то «долго пищало в ушах, а потом отлегнуло». А Игнат слушал, слушал, да и говорит:

— Плясать надо, а не плакать.

— Что ты — с ума сошел? — рассердился Ефимыч.

Старуха Ефимыча плачет.

— Бессовестный! У тебя соображение есть или нету? У нас горе, а ты «плясать».

— Иди со двора! — зыкнул могучим басом Ефимыч. — Сам в четверть силы работаешь, да хочешь, чтобы и у других живности не было.

Игнат ушел.

Так расстроенный Ефимыч и не сообразил, что ведь могло ж убить его, а не свинью, что стоял-то он рядом

с нею! С тех пор старик остался в обиде на Игната и никогда с ним не разговаривал.

Друзей у Игната совсем не стало, к тому же жена пилит и пилит ежедневно. И решил он уходить в город, но неожиданно, будто бригадир Пшеничкин следил за его мыслями, вызвали Игната в правление. С первого зова он, конечно, не пошел, а сказал посыльному:

— Сперва пусть скажут, по какому делу.

Посыльной вернулся и сообщил:

— На постоянную назначают.

— Пущай скажут, на какую, а я тогда подумаю: идти или нет.

Но все-таки со второго зова Игнат в правление пошел — уступил. Как уж они там решили, не знаю, но только Игнат встретился мне сияющий.

— Назначили, — говорит, — на пожарку! А что ж! Лошадь, бочка воды, насос: больше ничего! Семьдесят пять соток ежедневно: чего Игнату больше надо? Ничего Игнату больше не надо! Дал слово: до конца уборочной дежурить.

Пожарный сарай стоял в десяти—пятнадцати метрах от агрокабинета. С Игнатом мы теперь виделись часто.

Однажды в открытое окно я увидел Игната. Он сидел на пожарной бочке в холодке с балалайкой в руках и изредка отмахивался от мух. Все дни он был веселым, а сейчас что-то загрустил, тихонько потренькивая струнами. Потом, склонив голову набок, Игнат запел:

Ах, где вы сокрылись,
Ах, карие глаз...

— Нет, не так, — оборвал он на полуслове и запел снова, встряхивая головой при ударе пальцев по струнам:

Ах, где вы сокрылись...

— Нет, не так! — снова воскликнул он. Ловко почесав спину углом балалайки, схватил горстью муху на коленке, взял ее двумя пальцами, рассмотрел, бросил в бочку и некоторое время наблюдал: вероятно, муха кружилась на воде, и он любовался рябью. Потом, встрепенувшись, опять запел.

Он повторил куплет раз десять и неожиданно умолк. Поставил балалайку между коленями, оперся подбородком о гриф и задумался.



...Ко мне в кабинет вошел Пшеничкин.

— Завтра можно начинать, — сказал он, присаживаясь на стул.

Мы договорились выехать вместе на третий участок к комбайну завтра к десяти часам утра: рано там делать нечего, так как хлеб только-только «подошел» и поутру будет сыроват для уборки.

Пшеничкин собрался уже уходить, по я указал ему на окно. Игнат сидел задумавшись, в том же положении, только ноги чуть разъехались на бочке.

— Во! Сидит... И хлопот же с ним! — сказал бригадир сердито.

— Уйдет?

— А кто его знает! Ведь и малый он не плохой, а поди ж ты, никакого подходу не придумаешь. Мне от председателя, Петра Кузьмича, уже чуть-чуть попало.

— А тебе за что?

— «Ваша, говорит, ошибка как бригадира: ответственности ему не предъявляли в работе, потачку давали. Этого, говорит, штрафом не возьмешь: ответственностью ему в лоб!» Пожалуй, моя ошибка есть, — согласился Пшеничкин.

— Ну, и как же решили?

— Сдали ему пожарный инвентарь, лошадь, сбрую по акту и в полной исправности — на шесть тысяч рублей: уйди попробуй! Мало того, вдруг пожар: не выедет — судить могут. Все это ему втолковали вчера, а в первый день только акт сдачи подписали.

Так вот о чем задумался Игнат, вот откуда тоскливые «карие глазки»! Уходя, Алеша сказал:

— Кузьмич вцепился — не оторвешь: придется Игнату перестроиться.

...А председатель уже звонил в город начальнику пожарной команды и просил прислать специалиста: проинструктировать вновь выделенного пожарника Игната Прокофьевича Ушкина.

Вскоре приехал инструктор и два дня провел с Игнатом. Сначала учил, как обращаться с насосом, как складывать в ящик шланг; потом позвали шорника и переоборудовали сбрую так, чтобы лошадь можно было запрячь в течение двух минут. По сигналу инструктора Игнат подскакивал к лошади, заводил в оглобли и запрягал, но приезжему все казалось, что медленно, и он повторял трени-

ровку до тех пор, пока не нашел работу Игната удовлетворительной. Игнат тоже был доволен: так быстро запрячь ни один человек в колхозе не может! Сам Пшеничкин не может! А Игнат Ушкин может, Игнат знает точные движения!

Затем инструктор ходил с Игнатом в конюшни, на фермы, ездил по полям и говорил:

— Учти! Огнетушителей всего восемнадцать штук — следи за исправностью, прочищай отверстия! Так. У комбайнов имеется шесть огнетушителей: проверяй налетом, как коршун! Комбайнеры недооценивают значение огнетушителя. Так. Токи и скирды опахать: мертвую полосу сделать кругом них, чтоб огонь не подобрался. Так. Зернохранилище обсадить деревьями: защита со временем будет. Все это на твоих руках. Твоя первая заповедь: «Ни одного пожара за лето!»; от тебя зависит — будет хлеб цел или нет. Когда хата или скирда сгорит, то золу и дурак затушит, а наше главное дело — не допустить пожара. Насчет добровольной дружины думай: поставь на правлении вопрос ребром!

Все рассказал пожарник и уехал.

В первый день после отъезда инструктора Игнат пел полным голосом:

Эх! Как у наших у ворот
Да комар песенку ведет...

— Э-эх! Э-эх! — Он притопывал ногой, давал дробь пальцами по балалайке, передергивал плечами. Видно было по всему, что дела пошли веселые.

В тот же день вечером пришел он в правление. Заседания при Петре Кузьмиче кончались рано, ночных мучений, как при Прохоре Палыче, уже не было, и Игнат попал к «разным».

— У меня есть вопрос ребром, — сказал он, когда счел это нужным.

«Так и есть, — подумали присутствующие, — отказываться пришел. Ну и Игнат!»

Алеша Пшеничкин даже подпрыгнул на стуле.

— Ну что с тобой остается делать? — воскликнул он.

— Я скажу, — ответил Игнат. — Главное дело — не торопись! Чего испугался? Выражаться, сам знаешь, не буду.

— Говори! — улыбаясь, поддержал Игната Петр Кузьмич.

— Товарищи! — начал Игнат и обвел всех взглядом.— У меня на руках на шесть тысяч разного имущества. Задаю вопрос и отвечаю: кто сейчас на пожарке? Никого. Где Игнат? В правлении. А если пожар случится в настоящий вечерний момент, то кто выедет с пожарным агрегатом на тушение такового? Никто. Игната там нету. Что же вы думаете по этому вопросу? Игнат пятеро суток живет на бочке — и день и ночь. Если меня назначили лежать и спать, то буду лежать и спать. Я кончил, а вы решайте!

— Ничего пока не понимаю, — сказал Петр Кузьмич.

— Отказываешься? — спросил Пшеничкин.

— Тогда добавлю. Может человек круглые сутки не спать или не может? — спросил Игнат и тут же авторитетно ответил:— Не может, товарищи, обыкновенный человек жить не спавши, не может. Не знаю, как вы, а я бы на вашем месте догадался: одного подсменного на пожарку поставить надо обязательно, чтобы двое, один— на ночь, другой — на день. Догадались?

— Догадались,— ответил Петр Кузьмич вполне серьезно. — Удовлетворим.

Игнат повеселел, речь пошла смелее, а Алеша Пшеничкин облегченно вздохнул.

— Не все! — продолжал Игнат. — Случаем— пожар, то как? Двое только и тушить будем? А все прочие— анархия да «Караул!», «Батюшки!»? Нет, товарищи, нельзя! Нельзя. У Петуховых хата горела, то что тогда получилось? Один полез на лестницу да испугался — и назад, а снизу двое сразу вверх лезут: столкнулись и грохнулись наземь все втроем вместе с лестницей. Было ж такое дело? Было, никто не отрицает. Никита печенки отбил где? На пожаре — с лестницы упал... А хата все равно сгорела дотла.

— Разгадал! — воскликнул Петр Кузьмич. — Дружину добровольную надо организовать. Так?

— Точно, — подтвердил Игнат.

После короткого обсуждения решили вопрос и насчет дружины, но Игнат не унимался.

— Не все еще. Что лучше: тушить пожар или не допустить пожара? Каждому ясно, товарищи, что лучше делать так, чтобы пожара не было совсем. Ставлю вопрос

ребром, — он поставил ладонь ребром, посмотрел на нее и продолжал: — Опахать токи, обсадить зернохранилище, следить за исправностью огнетушителей, — тут он рубанул ладонью воздух. — Ребятишкам спичек в сельпо не продавать ни под каким видом, и табаку — тоже. Когда это безобразие кончится? Сам с цигарку, а дымит, как паровоз! Так. И еще добавлю: на фермах — под метелку, ни соринки, ни соломинки, чтобы огонь не подобрался. Какая первая заповедь — спрашиваю я вас, товарищи? Какая? Отвечаю: ни одного пожара за лето!

Петр Кузьмич зааплодировал, и все его поддержали.

В тот же вечер Игната отозвал в сторону бригадир Платонов — тот, что ездит только на дрожках, — и сказал так:

— Хорошо действуешь, Игнат Прокофьевич, хорошо.— Тут Платонов сделал таинственное лицо, осмотрелся по сторонам, хотя они стояли в дальнем углу комнаты, и по секрету зашептал: — Люди могут сказать: мол, за пожарами следит, а своя хата антипожарная. Чуешь? Конек прикрой и глиной залей, обмажь хату, побели!

— То— личное, тьфу!— так же тихо прошептал Игнат и даже плюнул тихонько.

— Другие-то хаты личные, а ты же их охраняешь. Тут пример должен быть. Чуешь?

Игнат задумался.

Несколько дней подряд он ходил с палкой в руках по токам, к комбайнам, бывал на фермах, ходил в самую жарищу, и головы ему не напекло, как на апробации, хотя дни стояли еще более жаркие, чем тогда.

Пришел Игнат в бригаду Алеши Пшеничкина на ток и говорит:

— Опахать! На правлении решили, и инструкция гласит опахать на двенадцать метров кругом.

— Сейчас не могу, — возражает Алеша, — все лошади заняты.

— А после пожара можешь? — задает вопрос Игнат.

— Но! Прилепился!— неосторожно сказал Пшеничкин.

— Как, как? Ты меня ставил на должность?

— Я.

— Почему тогда не выполняешь инструкцию? Если так, давай другую работу!

— Ну завтра, понимаешь, завтра!

— А я завтра иди к тебе проверяй? Их четырнадцать

токов в колхозе: если все — завтра, то двадцать восемь дней потребуется. Инструкция гласит: ток готов — опаши!

Алеша начинал волноваться.

— Тебе надо, чтобы я лежал? — обратился Игнат к бригадиру. — Буду лежать. — И он, правда, вытянулся среди тока и подложил ладонь под голову. — Лежу, пока ток не опашешь. Я все сказал, Алексей Антонович. Хоть три дня буду лежать, я могу. — Он помолчал и уверенно заключил: — Опашешь! Скирдой меня закладывать не будешь!

Пшеничкин даже плюнул с досады.

— Сергей Васильевич, — крикнул он, — выпрягай из брички! Давай опашем ток... Плуг там, в сарае.

После того как опахали ток, Игнат направился к комбайну. На ходу взошел на штурвальный мостик, вытащил из держателя огнетушитель, постучал по нему щелчком, сошел снова вниз, забежал вперед и поднял руку. Комбайнер — молодой, широкоплечий паренек, покрытый пылью и половой так, что и не поймешь, то ли брюнет, то ли блондин, — замахал ему рукой и закричал:

— Сойди, говорю!

Тракторист грозил Игнату кулаком из дверцы кабины и жестом показывал, как он раздавит его в лепешку, но тот стоял невозмутимо. Стал и весь агрегат. Все подбежали к Игнату: тракторист, комбайнер, штурвальный, двое соломокопнильщиков. А Игнат вдруг сел на землю, видимо опасаясь, что его просто столкнут с дороги. Комбайнер совал ему громадный гаечный ключ к носу и кричал:

— Остановить агрегат — преступление! У меня — норма, у меня — сроки! Ты понимаешь — хлеб!

Игнат сказал:

— Садись!

Никто, конечно, не сел, и все дружно плюнули, а тракторист вскочил в кабину и включил скорость. Залязгали гусеницы трактора, загремел комбайн. Но Игнат лег, опершись на локоть, и ковырял соломинкой в зубах. Гусеницы остановились в двух метрах от него: поверни тракторист вправо — хлеб помнешь, поверни влево — зарежешь хедером Игната. А тот поманил пальцем комбайнера: дескать, придешь все равно, через человека не поедешь! Комбайнер подошел, ударил фуражкой оземь и начал выражаться разными словами, а Игнат спросил:

— Огнетушитель для чего? — И, не дожидаясь ответа, сообщил: — Для безопасности от огня. Заряди!

— Да заряжу вечером, на заправке! Не могу допустить простой! В райком пожалуюсь!

— Никакого простоя не будет: вода есть, заряды есть, пятнадцать минут — и готово!

— Вечером, говорю! — кричал комбайнер. — Ты человеческое слово понимаешь или нет! Ве-че-ром!

— Человеческое понимаю, а вот как ты выражаешься, не понимаю, — отозвался спокойно Игнат, глядя вверх на облачко, будто ничего и не случилось.

Комбайнер устыдился и уже тише сказал:

— Ну, слышь: вечером!

— Ничего не вечером. А я, дежурный пожарной охраны, должен к тебе вечером идти проверять? Нет, вечером не могу. Сейчас делай! Инструкция гласит как? А так: без огнетушителя не смей косить! Без огнетушителя — ни шагу вперед! Затем он и придается к сложному агрегату, который тебе доверили. — Тут Игнат ударил кулаком о землю. — Сам секретарь райкома, Иван Иванович, сейчас был и говорит: «А сходи-ка, Игнат Прокофьевич, проверь огнетушители на комбайнах!» — Игнат решительно встал, отряхнул колени и зад ладонью. — Давай ведро, воду, заряды! Заряжать умеешь?

— Учили... Знаю, — буркнул комбайнер и вскоре загремел ведром.

Делали все быстро: в ведре воды растворили пакеты щелочи, залили раствор в камеры огнетушителя, вставили два стеклянных закупоренных баллончика куда следовало, подвязали кусочек картона под ударник; вся процедура заняла не более пятнадцати—двадцати минут. Когда огнетушитель, уже заряженный, вставили в гнездо, Игнат подал проволочный крючок комбайнеру и сказал:

— Привяжи к аппарату, будешь ежедневно прочищать выходное отверстие! — Не оглядываясь, он пошел к следующему комбайну.

Короче говоря, Игнат Прокофьевич навел полный противопожарный порядок в поле и принялся за фермы. Там он заявлял:

— Говоришь: «некогда», «молоко прокиснет»? А после пожара не прокиснет? Уберите сухой навоз, подметите! Тогда уйду. Вот сижу на молочном баке и буду сидеть хоть трое суток — я могу! — а вам молоко лить некуда.

Сладу с ним никакого не было. Его жена Домна Васильевна, работавшая на ферме дояркой, высказалась так:

— Бабоньки, ничего не поделаешь! Я его знаю: если втемяшится, то паровозом не сдвинешь. Давайте очищать! Он у меня целый месяц уже не обедает дома, а вечером как доткнется до кровати, так замертво и засыпает.

А Игнат, сидя на баке, выбивал на нем всеми десятью пальцами «комара» и объяснял жене:

— Должна понимать, сколько на мне колхозного добра лежит: пожарный инвентарь, пять комбайнов, четырнадцать токов, четыре фермы... А триста хат колхозников? Они хоть и личные, но гореть им пока еще не надо. «Не обе-едает до-ома!» — передразнил он шутливо.— Так, думаешь, и не обедаю? Сейчас в любом месте в поле можно пообедать — только ешь, пожалуйста! Примерно, пришел Игнат на ток, а ему: «Игнат Прокофьич, садись за компанию!» — Он снял фуражку, поклонился и продолжал: — Игнат — к комбайну, а ему говорят: «Товарищ Ушкин, отобедать не угодно?» — Он отвел руку с фуражкой в сторону и еще раз поклонился. — У вас вот только и спорить приходится, как с несознательными элементами, а другие сразу инструкцию выполняют.

Конечно, фермы очищались, подметались, Игнату в заключение подносили двухлитровую посудину молока, и все, в конечном счете, были довольны. Даже колхозники не стали возражать, когда он, делая обход, выговаривал:

— Когда трубу чистила? Сто лет назад, в царствование дома Романовых. Инструкция, в примечании, гласит: «За нечистку трубы штраф двадцать пять рублей». Подвергаешь опасности населенный пункт и социалистическое имущество. Завтра проверю.

И все стали аккуратно чистить трубы. Однако когда Игнат зашел к плотнику Ефимычу, чтобы проверить трубу, тот схватил увесистый дубовый метр и, не выслушав контролера, молча погнал его со двора.

Игнат не обижался, Игнат работал с песнями и присвистом, хотя и не спеша. А бригадир Платонов, глядя на Игната, толковал Алеше Пшеничкину:

— Знаешь, Алеша, ему бы коня под седлом да «тулку» за плечи: ой и объездчик был бы мировой! Сам пылинки чужой не возьмет и рвачу не даст.

— Если только новый фокус не выкинет. Боюсь пока за него. Вряд ли он в пожарке-то усидит на одном

месте, а не то что в объездчики,— сомневался Пшеничкин.

Но и зимой, на удивление всему колхозу, Игнат остался на пожарке и еще, кроме того, взялся по совместительству вязать сорговые веники для продажи, а когда сдавал их в кладовую готовыми, то говорил:

— На каждом венике вензель выжжен — «Н. Ж. И.». Повыше — «Н. Ж.», а «И.» — чуть ниже. Это значит,—объяснял он, — колхоз «Новая жизнь», а вязал веник Игнат. Таким веником хоть Красную площадь подметай — не стыдно!

Кто ж его знает, этого Игната! Может быть, он и вправду мечтал, что веники попадут в Москву и кто-то будет подметать ими Красную площадь.

Всю зиму увлекался он вениками и наконец стал их делать прямо-таки художественно: вплетал лычки, хитро перевивая на рукоятке, весь веник подбирал по одной стеблинке, а у основания рукоятки приделывал бантик из тонкого белого прутика. Правда, изготовлял он веников вполовину меньше прочих мастеров-колхозников, но лучше никто не вязал.

...К весне ближе, когда пригрело солнышко и набухла речка, когда с бестолковым перекликом полетели гуси да засвистели в сумерках крыльями утки, Игнат заскучал. Он подолгу прислушивался к скворцу, всплескивал руками и восхищался, когда тот то ворковал голубем, то свистел по-мальчишьи или хохотал по-сорочьи.

— От музыкант так музыкант! — восклицал Игнат. — От скворец — молодец, а ворона — дура!

Иногда часами просиживал около пожарного сарая, встречая и провожая стаи гусей, и тихо говорил:

— Эх вы, гуськи, гуськи! Молодцы гуськи!

Часто заходил, по соседству, ко мне в агрокабинет, сидел молча, читая газету, и никогда не мешал работать, разве только скажет:

— Все пишешь, Акимыч.

— Надо. Требуют, чтобы аккуратно и вовремя все делалось, по плану.

— Летом — днями в поле, зимой— все пишешь... Трудная работа!

— Нет, — говорю,— хорошая, Игнат Прокофьевич, работа.

— Требуют, говоришь? — спросит он, глядя в пол.

— А как же!

— Эх-эх-хе! — вздохнет он. — А с меня никто не требует: вроде так и должно быть.

— Вот подойдет лето, снова будешь хлопотать, добиваться противопожарного порядка: оно и веселее будет.

— Да они теперь, двадцать километров недоезжая, позаряжают огнетушители, а на фермах — привыкли... Чего я буду делать? Нечего Игнату делать! Бочка воды, насос и лошадь: сиди, Игнат, жди пожара! Разве это работа?! — После этих слов махнет безнадежно рукой и выйдет.

Заскучал Игнат и, потренькивая на балалайке, тихонько пел у пожарного сарая:

Эх! Летят утки...
Летят утки и два гуся...

Он долго тянул последнюю ноту, потом вдруг резко встряхивал головой, вскрикивал: «Э-эх!», делал паузу и, медленно поникая головой, заунывно продолжал:

Эх! Чего жду я... Чего жду я,
Не дожду-у-уся-а-а...

Чего ждал Игнат — неизвестно, но недаром же он переделал куплет на свой лад: «кого люблю» заменил «чего жду я». Пел он тихо, плавно и вдруг давал дробь пальцами по балалайке, высыпал прибаутку:

Бабка сеет вику, дедка — чучавику!
Чучавику с викою, да вику с чучавикою!

— Э, будь ты, Игнат, неладен!

А потом снова:

Летят утки, летят утки...

Перепуталось настроение у Игната, совсем перепуталось! И делать, как видно, он ничего не хотел, даже и ходить стал как-то еще медленнее, нехотя, будто отяжелел.

Дежурство своему подсменному он сдавал перед вечером, около шести часов, уходил на берег речки и подолгу смотрел на воду.

Вот там-то, на реке, и произошел случай, запомнившийся всем в колхозе надолго, случай, о котором часто рас-

сказывают сейчас и будут, может быть, рассказывать внукам.

В ночь тронулся лед, а к утру остановился. На хуторе Веселом этого не знали, и трое ребятишек пришли в школу по льдинам. Учительница, увидев их, перепугалась и домой не отпустила, но Сережке Верхушкину, десятилетнему мальчугану, не то чтобы не хотелось оставаться в селе ночевать, а, наоборот, захотелось во что бы то ни стало перейти еще раз речку. Он и пошел. Дошел до середины реки, а тут где-то захрустело, загремело, вода хлынула к краям. Он побежал к тому берегу, а там разлило по краю так, что впору вплавь бросаться; подумал да бегом назад. Подбегает обратно к селу, а тут еще шире, от льдин до берега — метров двадцать. Не выдержал Сережка, закричал.

Берег в том месте довольно крутой, хотя и не обрывистый, множество тропинок спускается к реке. Люди бежали на крик, собралось уже человек пятнадцать, все кричали с берега:

— Перемычку смотри!

— Сережка-а! Беги влево-о! До перемычки-и!

Влево, метров за двести, действительно образовалась перемычка: в узком месте реки несколько льдин отползло к берегу, и по ним можно бы и пройти, но Сережке внизу не было видно этой самой перемычки, а сверху кричали, махали руками, грохот льда все приближался, лед под ногами вздрагивал, вода бурлила в просветах между льдинами. Мальчик растерялся и уже не кричал, а тихонько плакал, не двигаясь с места. Кто-то пытался добросить ему веревку, но куда там: воды уже больше тридцати метров, а глубина теперь выше человеческого роста! Трое мужчин во главе с Ефимычем тащили лодку. Все сбежали вниз, советовали, кричали; вдруг что-то хрустнуло, огромная льдина на середине реки стала торчком, затем со скрежетом грохнулась о соседнюю, расколола ее, и лед зашевелился.

Все ахнули.

В этот момент и показался на берегу Игнат. Он спокойно смотрел в течение нескольких секунд на все происходящее и бросился стремглав под гору, к реке.

— А ну посторонись, у кого ума нету! — бросил он на бегу, и все расступились, так как он бежал быстро, не похоже на Игната.

— Не дури! — озлился Платонов. — Не видишь — беда!

А Игнат, не слушая, сорвал с себя пиджак, снял сапоги, бултыхнулся в ледяную воду и поплыл к Сережке.

— Ах-х! — выдохнули все разом.

Перемахнул Игнат воду, вцепился руками в край льдины, пробует взобраться, а никак.

— Пропал Игнат! — сказал кто-то с дрожью в голосе.

Но Сережка — откуда и прыть взялась! — подскочил к краю, снял с себя пиджак, взял его за рукав, а другой подбросил Игнату; тот схватился одной рукой за пиджак, а мальчик, напрягаясь изо всех сил, помог, и наконец Игнат выбрался на лед. Он взял Сережку за руку и побежал к перемычке. Лед тихонько пошел... Игнат бежал с Сережкой зигзагами, обегая полыньи, навстречу ходу льдин, бежал, не выпуская руки мальчика, к тому месту, где река у́же и льдины шли плотно к берегу. И люди бежали по берегу вровень с Игнатом и что-то кричали, махали руками, шапками. Вдруг рокочущий бас покрыл все крики и шум льда.

— Дава-а-ай сюда-а-а! Игнат! Сюда-а! — кричал Ефимыч, заметивший у берега затор льдин. Это было ближе, чем перемычка, да и цела ли она теперь там, никто не видел — на горе никого не было.

Игнат повернул на зов Ефимыча и две минуты спустя был уже на берегу. В этот момент прибежал и председатель колхоза и многие другие: народу все прибавлялось и прибавлялось.

Кто-то надел на Игната его пиджак, кто-то подал сапоги, принесенные с того места, где разулся Игнат... С горы приволокли тулуп и сразу набросили на героя, а Ефимыч нахлобучил ему свою громадную баранью шапку. Вручили и сухие ватные брюки. Игнат же спокойно, как всегда, сказал:

— Бабочки, повернитесь передом на запад, а задом на восток и перекреститесь пока в таком положении... А я портчонки сменю на сухие.

На лицах у всех появились улыбки. Кто-то сказал:

— Ну и Игнат!

А он посмотрел на гору как-то печально, вздохнул, взялся за голову рукой, закрыл глаза и повалился. Упасть ему, конечно, не дали, подхватили на руки, захлопотали, заахали:

— Ах! Ах! Сердце зашлось у бедняги!

— Фельдшера надо!

— Понесли на руках! — скомандовал подбежавший Алеша Пшеничкин.

Из двух весел и из пальто моментально соорудили носилки, положили на них Игната в тулупе и понесли на гору: впереди — Пшеничкин и Ефимыч, позади — сам Петр Кузьмич и Платонов. Игнат был человеком негрузным, и вчетвером они быстро вынесли его наверх.

Как только носилки очутились на горе, Игнат открыл глаза и сказал:

— Хватит. По ровному сам дойду, — и встал как ни в чем не бывало.

— Да ты что? — воскликнул Пшеничкин.

Все недоумевали.

— Э-ва! — сказал им Игнат. — Гора-то во какая высоченная! Чего на нее без дела лезть? — и побежал трусцой, а обернувшись к оставшимся и запахнув полы тулупа, добавил: — Я ж застудиться могу, если лежать до самого дома! А то бы лежал...

Нет, они не просто недоумевали, а буквально опешили и ничего не успели ему сказать на это. Наконец Ефимыч бросил оземь весло, плюнул и сказал:

— А черт его знает, что он за человек!

— Да-а! — протянул Петр Кузьмич.

Ефимыч негодовал:

— Лень ему, вишь, на гору вылезть! Несите его! Знает, чучело, что понесут!

— Да-а! — еще раз сказал председатель. — Подшутил он над нами! Уж не загадку ли он снова загадал нам? Бегают, мол, по берегу, как куры на пожаре, а мальчишка — на льду. Нате вам за это, тащите, дураки, на гору!

— А леший его знает, что он там загадал! — все еще сердился Ефимыч и, обернувшись к Алеше Пшеничкину, уже спокойнее попросил: — Там у меня, под верстаком, четвертинка водки. Дойди быстренько, отнеси ему. Вода ледяная — пропасть может Игнатка. Ему водки сейчас — обязательно: и в нутро принять и снаружи протереть надо. Сходи, Лексей Антоныч, а я... к нему не пойду, — заключил он решительно, попробовал было нахлобучить по привычке шапку, но ее не оказалось. Ефимыч плюнул и добавил: — И за шапкой не пойду!

Я пришел на берег одним из последних. Петр Кузьмич как раз говорил:

— Напрасно, напрасно, Ефимыч! Наоборот, надо тебе сейчас пойти к нему и, пожалуй, даже и выпить с ним по стопочке...

А когда мы втроем пришли к голубой, вновь покрытой хате Игната, то хозяин к тому времени уже успел принять две четвертинки благодарственных приношений и спал как убитый, тихо, без храпа.

— То ничего, — успокоительно сказал Ефимыч. — Через поллитру никакая простуда переступить не может.

ПРОХОР СЕМНАДЦАТЫЙ, КОРОЛЬ ЖЕСТЯНЩИКОВ

Спрашивается: какое отношение к запискам агронома имеет король, да еще семнадцатый?

Вношу ясность.

Прохор семнадцатый — это и есть тот самый Прохор Палыч Самоваров, который еще до Петра Кузьмича Шурова был председателем колхоза; что же касается королевского титула, то это люди ему прилепили такое — беру только готовое.

Общий вид Прохора Палыча, конечно, резко выделяет его среди всего населения колхоза. С этого и начну.

Комплекция плотная, рост выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова большая, лоб узковат, но не так уж узок; нос узловатый, широкий и тупой, слегка приплюснутый, с синим отливом; нижняя губа приблизительно в два с половиной раза толще верхней, но не так уж толста, чтобы мешала; две глубокие морщины — просто жировые складки, а не то чтобы следы когтей жизни; глаза на таком лице надо бы ожидать большими, а они, наоборот, получились маленькие, сидят глубоко, как глазок картофелины, и цвета неопределенного, будто подернуты не то пылью, не то марью. Прохор Палыч не брюнет, не блондин, но, однако, и не полный шатен.

Одевается он с явным подражанием работникам районного масштаба: темная суконная гимнастерка с широким воротом — зимой и летом, широкий кожаный желтый пояс, ярко начищенные хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на плотной шее Прохор Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости нет кого-нибудь из работников района).

Вот он какой представительный!

Знакомы мы с ним уже порядочное время, довольно хорошо знаем друг друга, давно я хочу о нем написать, но все-таки каждый раз, как возьмешь перо, думаешь: что о нем писать?

Писать о том, что у него огромный клетчатый носовой платок, в который свободно можно завернуть хорошего петуха и в который он сморкается трубным звуком, так что телята шарахаются во все стороны,— это же неинтересно.

Сказать о нем, что он блудлив, нельзя, так как у него было только три жены: первая после развода вскоре умерла, вторая живет с двумя детьми где-то не то во Владивостоке, не то во Владимире, а с третьей он живет и сейчас (пока еще не регистрировался и, наверно, не думает).

Ну что еще? Сказать, чтобы он не делал ошибок, тоже нельзя. Ошибки он делает и всегда их признает рьяно, признает, даже если этих ошибок нет, а начальство подумало, что ошибки есть. Иной день ему в голову приходит даже такое: «А какую бы мне такую ошибку отмочить, чтобы и взыскания не было и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда оставляет, так сказать, резервы. Вот он, например, как мы уже заметили, не регистрируется с последней женой — это тоже резерв! А ну-ка да скажет высшее начальство: «разложение» или что-нибудь вроде того? Тогда можно признать свою ошибку и скрепя сердце вернуться к прежней жене; так что в конце концов получается — жена у него одна-единственная, а эта теперешняя — так, ошибка.

Или, скажем, написать, что он много водки пьет,— клевета, оскорбление личности! Ничего подобного! Он никогда больше пол-литра в один присест не выпивает. А разве, спрошу я вас, нет людей, которые выпивают больше? Есть. И здесь Прохор Палыч прав, говоря, что он норму знает. Ну, не без этого, конечно, праздник там большой или свадьба в колхозе случится, тогда выпьет вдвое больше или около того; в таком случае в конце процедуры у него появляется непонятное головокружение, душевные переживания всякие, даже тоска какая-то, и он плачет. Прохор Палыч прав, говоря, что когда он пьян, то становится смирным настолько, что и курицу не обидит.

Еще о чем же? Разве о характере? Можно. Характер у него таков: с одной стороны прямой и твердый, а с дру-

гой — мягкий и податливый, как воск. Внутри же ничего не видно; тонкое дело — заглянуть внутрь человека! Может быть, со временем и выяснится, что там, внутри, а пока буду писать о том, что видимо как факт и что подтверждает сам Прохор Палыч.

Например, что значит: «прямой и твердый с одной стороны»? Это значит: если он что-либо надумал, а кто-то из людей ниже его по должности перечит, то Прохор Палыч найдет способ доказать твердость характера и прямоту. Быками не своротишь — найдет! Собственно, прямота проявляется чаще всего под конец собеседования, и он не моргнет глазом сказать возражающему: «К черту! Не выйдет по-твоему!»

Теперь: «с другой стороны — мягкий». Тут надо примером. Допустим, заехал из района в колхоз председатель райисполкома, или заведующий райзо, или кто-либо — упаси боже! — выше, тогда Прохор Палыч, заходя в кладовую, делает следующее: сначала складывает колечком большой и указательный пальцы и произносит мягко, обращаясь к кладовщику: «Ко-ко — двадцать» (яиц, значит, двадцать). Затем покрутит пальцами около лба, завивая рожки, и говорит еще ласковее, со вздохом: «Бе-бе — четыре» (это означает — четыре килограмма баранины). Таким же шифром он передает мед (жужжит), ветчину («хрю-хрю») и наконец щелчком слегка бьет себя по горлу сбоку, подняв шею, и изрекает: «Эх-эх-хе! Маленькие мы люди. Ничего не попишешь: сама жизнь того требует».

В общем, о своем характере он так и говорит: «Я, если залезу на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твердый и прямой, как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: не могу, говорит, покойно видеть начальника, если он не ест и не пьет, аж самому тошно... А тут...— и он легонько постучит кулаком по груди.— Тут! Эх, товарищи, товарищи!» Просто даже интересно становится: а что же все-таки у него внутри? Я не говорю там о кишках, о печенках, о ложечке, под которой у него болит после выпивки, о катаре, который, по словам Прохора Палыча, есть в желудке каждого человека и который, собственно, и урчит-то всегда,— это все вещи известные и местоположение их ясно,— я говорю о характере: снаружи — человек как человек, а вот внутри — загадка.

И тем более, уж если бы он не читал совсем ничего, тогда можно было бы подумать о плесени, о наслоениях прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном... Но он же все-таки читает! Ежедневно, каждое утро читает отрывной календарь. Иногда чтение вызывает у него неожиданные эмоции: сидит на кровати, еще не обувшись, оторвет листок календаря, прочитает о восходе, заходе солнца и долготе дня, прочитает о восходе луны, подумает, подумает и скажет: «Эх вы, календарщики, календарщики! Знали бы вы нашу нагрузку! Не тем занимаетесь, товарищи!» Но какие предложения конкретно он вносит, остается неясным. Думаю, что речь идет об изменении долготы дня, а неопределенность замечания в адрес календарщиков объясняется, надо полагать, тем, что у него все-таки возникают сомнения: зависит ли это мероприятие от них? Прохор Палыч, конечно, не дурак!..

Правда, насчет астрономии у него в голове довольно большая туманность, что объясняется очень сильной нагрузкой; по этой же причине и сведения о химии походят на колбу с бесцветным газом: а черт же ее знает, есть там что, в этой колбе, или нет! Может быть, там и действительно ничего нет, а один обман природы! Недаром же Прохор Палыч говорит про всех землеустроителей: «Знаю я этих астрономов! Мошенники!» И об агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти мне химики: то не так, это не так! Вот они мне где! — И постучит ладошкой по загривку.— Спрашивается: за что зарплату получают?

Нет, пусть бы он сел у меня в правлении да писал или диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он занимается, а то уйдет в поле на весь день — и до свидания! Химики!»

И тут, конечно, Прохор Палыч прав, когда говорит, что насчет теории ему требуется только вспомнить кое-что, но пока сильно некогда.

Больше того. Он определенно имеет склонность к философскому мышлению. Право, редкому человеку удастся из одного-единственного слова построить длинное предложение с глубокой мыслью, а он может, да еще как может! Как-то вытащили его чуть не за шиворот в кружок заниматься. Там-то он и сказал такое умное, что облетело весь район. Когда у него спросили, как он усвоил материал и что думает по этому вопросу, он сказал: «План — это, то-

варищи, план. План до тех пор план, пока он план, но как только он перестает быть планом, он уже не план. Да. А наши планы были планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план...» Но тут его вежливо перебил руководитель кружка и, вытирая со лба пот, выступивший как-то сразу, сказал: «Мне теперь все ясно. Садитесь!»

Видите! Даже руководителю ясно стало все, так умеет сказать Прохор Палыч.

Нет, Прохор Палыч положительно интересный человек! Во всякий вопрос вносит он свое. Взять, к примеру, оценку своих знакомых. Он разделяет их на четыре группы: на беспартийных, кандидатов партии, членов партии и... кандидатов из партии. При этом он иногда скажет: «Вперед не забегай, сзади не отставай и в середке не толпись!» Но тут-то Прохор Палыч и допустил большую ошибку: не туда причислил себя и думал совсем не так, как оно получилось. Правда, у него всего только три выговора с предупреждением (или четыре? Нет, три; четвертый — это не выговор, а одно только предупреждение в развернутом решении), но чистосердечное раскаяние всегда и у всех вызывало сочувствие. И это сочувствие заливало туманом его светлый разум, не дало возможности разобраться в том, куда везет его кривая. Он даже иногда, бывало, скажет: «О! Наш председатель райисполкома — человек! С этим не пропадешь!» Но... ошибся. Ой, как ошибся! Ошибся потому, что не учел, что и районные работники сменяются.

И уж если нечего писать о Прохоре Палыче, как сказано выше, то я подумал: «А дай-ка напишу насчет этой самой роковой ошибки жизни!»

Однако ясно, что человек приходит к ошибке не сразу, хотя он ее и признает, поэтому и написать коротко, одним скоком, не удастся, тем более, мы еще совсем не знаем, что у него там внутри.

План моих записок таков:

А. Какими кривыми путями привела кривая Прохора Палыча до председателя колхоза, и насколько кривы были кривые пути его.

Б. Как он руководил колхозом, и что из того получилось, и получилось ли вообще что-нибудь.

1

Когда-то давно Прохор Палыч работал в моторемонтной мастерской. Работал хорошо, старательно, заработки были хорошие. За старательность и силу его уважали. Линия жизни у него была прямая, а сам Прохор Палыч был тогда совсем не таким: и нос не такой, и синевы на лице не было, так как норма подпития была совсем другая, не та, что сейчас.

Но случилось однажды так. Вызвали его и говорят: «Работник ты хороший. Пора к руководству привыкать: пойдешь заведующим складом «Утильсырья». Никак не подберем туда кандидатуру». Прохор Палыч возражал, очень сильно возражал, но он многого тогда еще не знал о товарище Недошлепкине. А товарищ Недошлепкин был тогда председателем райисполкома. Если он, Недошлепкин, сказал: «Я *думаю*», то это все должны понимать: «Так будет»; если он сказал: «Я *полагаю*», то это значило: «Будет только так»; если же сказал: «*Мне кажется*», то надо было понимать: «Так должно быть, так и будет». Только много спустя Прохор Палыч приспособился к такой манере руководителя района изъясняться, а тогда еще не понимал ее по неопытности и простоте своей. Товарищ Недошлепкин не дослушал возражений и сказал:

— Я, Недошлепкин, *думаю*, *полагаю*, и *мне кажется*, что ты, Самоваров, пойдешь в «Утильсырье».

Ах, если бы вдумался тогда Прохор Палыч в эти слова! Да где там вдумаешься, когда председатель повторил твердо, с пристуком ладонью по столу:

— Я высказался. Принимай работу!

Не понял тогда Прохор Палыч, что было сказано. Через несколько лет Прохор Палыч с улыбкой вспоминал: «Какой же я был тогда дурак! Не понимал самых простых вещей. Вот что значит неопытность в руководстве!» Понемногу он перенял тон и приемы Недошлепкина, появилась смелость, уверенность в своих силах и так далее, но это много после, а в то время он принял склад «Утильсырья» и приступил к работе.

И пошло!

Трое его подручных были люди опытные, деловые, вороватые. Делали все чисто. Сначала сверх зарплаты Прохор Палыч почему-то получал немного денег, а потом —

больше. Поработал год. Вдруг откуда-то, не то из области, не то из центра, следствие: в тюках шерстяного тряпья, в середине, заложены отходы мешков, пакли, кострики, а вместо цветного металла где-то кому-то всучили какой-то черный. Кто туда положил не такое тряпье, Прохор Палыч не знал, но сколько денег он наложил себе в карман, он все же знал — всучили-таки, жулики! — и сознавал свою ошибку. И только хотел было изучить утильдело, как его сняли.

И снова он у Недошлепкина. Тот сказал: «Я д у м а ю...» Прохор Палыч понял его уже с одного слова и мигом очутился на складе «Заготзерна». Дело новое, надо подучиться, расспросить, вникнуть в теорию: все-таки хлеб, а не утиль. Но Прохор Палыч был уже куда смелее и в первый же день, по совету Недошлепкина, проверил лабораторию. Походил, походил по ней, посмотрел в зерновую пурку одним глазом, как в микроскоп, потрогал влагомер, надавил пальцем на технические весы (отчего лаборантка даже вскрикнула, испугавшись за их целость) и сказал:

— Работу перестрой!

По личному горькому опыту на утильскладе он знал, что с подчиненными надо строже, иначе влипнешь, что подчиненный — не совсем полноценный человек (убеждения приходили постепенно, но довольно прочно). Кладовщиков он собрал под навесом. Сам сел на ящик, а им велел стоять и сказал:

— Я, Самоваров, много не говорю. Коротко: если замечу, что кто-нибудь насыплет ржи в пшеницу или овса в кукурузу,— прощайся с родными: тюрьма! Мне так кажется.

Помнил Прохор Палыч, как подкузьмили его подчиненные на утильскладе, и предупреждал ошибку. Опыт расширялся и углублялся медленно, но все-таки расширялся.

Проработал он год.

И кто же знает, откуда беде взяться! Недостаток обнаружился в девяносто тонн зерна. Какого зерна — толком сразу и не поймешь, но только недостаток обнаружился. Кто брал зерно, когда брали, куда девали — Прохор Палыч, истинное слово, не знал. Он, правда, знал, что конюх привозил ему откуда-то муку-первач, но ведь не девяносто же тонн! Еще вспомнил, что в какой-то не то ведомости, не то отдельном списке он расписывался в получении

денег и что бухгалтер говорил насчет этого списка: «Мы его со временем чик-чик — и нету!» А черт же его знал, как это «чик-чик»! Но только следствие было, кое-кого судили, а Прохора Палыча защитил Недошлепкин. Написал отличную характеристику, напомнил, что Самоваров только начинает руководить, что имеет мало опыта, что жулики его обвели вокруг пальца,— много написал Недошлепкин, много беседовал с прокурором, звонил куда-то, хлопотал, и все сошло.

Но ведь и оставить после этого у руководства нельзя. Сняли. Походил, походил Прохор Палыч вокруг районных организаций и учреждений и пошел к своему покровителю. Приходит. Спрашивает его Недошлепкин:

— Ну как?

— Да так,— ответил Самоваров неопределенно.

— А все-таки?

— Так себе!

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

Недошлепкин, как видно, изучал собеседника и мыслил про себя: «Не ошибся ли я в нем?»

— А точнее?

— Обыкновенно! — вздохнул Прохор Палыч, ожидая слов «я думаю» или, что еще лучше, «мне кажется».

— Как так — обыкновенно?— недоумевал председатель.

А Прохор Палыч видит, что тот в недоумении, и осмелел.

— Убил бы!

— Кого? — Недошлепкин привстал в полном испуге, так как был не очень храбр.

— Эх! — замотал головой по-бычьи Прохор Палыч.— Убил бы!

— Кого? — уже шепотом произнес председатель и стал за спинку кресла.

Прохор Палыч молча понурил голову. Начальник продолжал испуганно смотреть на него и не мог, конечно, в таком случае сказать ни «я думаю», ни «я полагаю», ни тем более «мне кажется». Так получилось, что Прохор Палыч ушел в себя, а Недошлепкин, наоборот, вышел из себя.

И третий раз вопросил глава района, еле выдавив из себя:

— Кого?

Прохор Палыч поднял голову, еще раз покрутил ею, ударил себя в грудку (тихонько, слегка!) и наконец с надрывом выкрикнул:

— Себя! Ошибку допустил!

И сразу после этого все вошло в норму: Прохор Палыч вышел из себя, а Недошлепкин ушел в себя — сел в кресло, поднял острый носик вверх, поправил громадные роговые очки и нахмурил брови. Покатая лысина заблестела матово-желтым цветом. Он застучал пальцем по столу, продолжая дальше изучать Самоварова. Глаза у Недошлепкина были настолько узкими, к тому же заплывшими, что создавалось впечатление, будто он ничего не видит даже около своего носа. Но он видел, изучал, задавал наводящие вопросы:

— Ну так как же?

— Да так.

— А все-таки?

— Да как сказать...

— Значит, признаешь?

— Признаю.

— Каешься?

— Каюсь!

— Ну так что же ты скажешь?

Прохор Палыч совсем осмелел и выпалил, жестоко бия себя в грудь:

— Ошибка моя вот тут! — и сделал совсем жалобное лицо.

Недошлепкин расчувствовался — высморкался, плюнул тихонько и так же тихо произнес:

— Вот, черт возьми!

Прохор Палыч тоже высморкался, но трубно, громко.

Конечно, начальник уже был готов произнести чарующие фразы, которые начинаются с буквы «я», но Прохор-то Палыч еще не понимал, что тот готов. Лишь позже он научился догадываться о течении мыслей начальства, но тогда еще много не понимал.

И вот наконец Недошлепкин говорит:

— Что же тебе сказать?

А Прохор Палыч изрекает, уже оправившись от сморкания:

— Я думал, товарищ Недошлепкин, что вы полагаете и вам кажется.

— Да, братец ты мой! — восхищенно воскликнул тот,— Таких проницательных людей я в первый раз встречаю. Вот это — да! Самородок! Кусок народной мысли, как говорит какой-то писатель или историк. Да ты знаешь, какая перед тобой линия открывается? Да ты сам не понимаешь, кем ты можешь быть! — И пошел, и пошел! Хвалил, хвалил, а напоследок напутствовал: — Держись за меня! Со мной кривая вывезет. Помогу, поддержу, научу.

И стал после этой беседы Прохор Палыч торговать керосином в магазине райпотребсоюза. Но не это важно, а важно то, что Прохор Палыч уже понял — точно понял! — что́ такое признание ошибок, как их признавать, когда признавать и перед кем признавать; важно еще, что после этой беседы он понял себя: кто он есть и кем он может быть, то есть оценил себя так же высоко, как оценил его Недошлепкин. И пошел после этого расти и расти! Вот он уже пробует произносить речи — его поддерживают, выдвигают по рекомендации Недошлепкина. Вот он уже критикует небольших начальников, от которых ему ни жарко, ни холодно, критикует громко, смело, со всей прямотой своего нового характера. Пошел человек в гору!..

На керосине он, правда, прогорел (не то недостача, не то излишек, но больше года и здесь не работал), однако стал директором райтопа и числился уже в районном активе.

Наконец к переменам должностей и профессий он так привык, что считал это вполне нормальным для актива, считал, что настоящий-то актив и перебрасывается «для укрепления»: укрепил в одном месте —крой на следующее, укрепляй еще; не укрепил — признавай ошибку, плачь, сморкайся и валяй дальше — укрепляй в другом месте! Для вытирания носа он завел большой, темного окраса клетчатый платок, о котором мы уже заметили, что он якобы интереса не представляет. Но это только кажется. Действительно, большой платок неинтересен, когда он есть, а вот когда его нет... Попробуйте с полным чувством признать четырнадцатый раз двенадцатую ошибку без платка. Не получится!

На каких только должностях не был Прохор Палыч! И в «Сельхозснабе», и на кирпичном заводе, и в лесничестве, и в «Конволосе», и по дорожному делу, и по заготовкам сена и соломы, и по яично-птичным делам, и завхо-

зом в МТС. Накопил громадный опыт! Наконец после двух выговоров с предупреждением в его послужном списке значилось: «Председатель артели жестянщиков». А Прохору Палычу перевалило за сорок пять.

И до этого ему учиться совсем не надо было в связи с частой переменой мест, а тут — каждый поймет — жестянщики: кружки, ведра, половники... Чепуха! Опыт руководства большой — Прохор Палыч принялся смело укреплять отстающую артель. Это было по счету шестнадцатое место за пятнадцать лет руководящей работы в районе. С таким багажом укрепить артель — раз плюнуть!

И он приступил.

2

Первым делом он обнаружил полное отсутствие кабинета для председателя артели и задал вопрос:

— Как же вы могли так работать, товарищи? Это же полный развал! *Мне кажется*, работу надо перестроить.

Счетовод, маленький щупленький старичок с пушком на лысой голове, осмелился вопросить вежливо:

— А какой же кабинет в такой маленькой комнатке, как наша контора?

Прохор Палыч ответил:

— *Я думаю*, что так необдуманно думать нельзя.

Все было ясно.

В артели было двенадцать человек мастеров разного возраста, тринадцатый — счетовод, четырнадцатый — председатель. Делала артель большей частью кружки, которые иногда протекали. Требовалось укрепить артель, чтобы кружки были полноценными. Задача Прохора Палыча, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы кружки не протекали, но он уже имел размах, умел вникать, он уже *думал*, *полагал*, *ему казалось*.

Целый месяц половина членов артели во главе со счетоводом работала на «стройкабе», а половина — на кру́жках. (Объясняю новое слово в русском языке — Прохор Палыч их сотворил немало — «стройкаб» — стройка кабинета.) Конечно, кружек сразу стало недостаточно, и домохозяйки начали протестовать: дескать, и так протекают,

да еще и недохват. Прохор Палыч, чтобы успокоить всех, вывесил объявление: «Происходит преобразование производства на новые технические рельсы увеличенного плана». Успокоились, стали ждать.

Тем временем кабинет закончили: он занял две трети маленькой комнатки, а одна треть осталась счетоводу со всеми членами артели, которым уже ни покурить, ни газетку почитать стало негде. Но не в этом дело. Какой кабинет выстроили! Блестящий кабинет! Блестящий потому, что стены и потолок обшили белой жестью, на письменный стол, сверху, положили белую жесть; над креслом Прохора Палыча, чуть выше головы, соорудили полку во всю длину стены, обшили ее латунью и поставили в один ряд предметы производства артели настоящего времени и будущего, причем экспонаты были вдвое больше нормального размера: кружка, ведро, половник, таз умывальный, таз стиральный, умывальник, две ложки совершенно различной конструкции, зерновой совок, керосиновая лейка и... чего-чего только не было на этой полке! Любому смертному, вошедшему в кабинет, становилось ясно, что Прохор Палыч уже вник в сущность производства и освоил детали такового достаточно глубоко.

Вторым шагом по прошествии двух месяцев со дня вступления было ознакомление с массой. Вызывал Прохор Палыч по одному человеку, толпиться в передней запретил, курить велел по норме, обсуждать что-либо шепотом, чтобы не мешать работе. И начал прием. Вопросы он задавал каждому примерно одни и те же:

— Фамилия?

— Мэхов.

— Лет?

— Сорок девять.

— Как?

— Точно так.

— Молодец! Отвечаешь правильно... Та-ак. Воруешь?

— Да что вы, Прохор Палыч! Дети у меня есть взрослые, а вы... такое... У нас и красть-то нечего: ну украду я кружку — куда ее денешь?

— Во-первых, я тебе не Прохор Палыч, а товарищ Самоваров. Во-вторых, не притворяйся: знаю я вас — все воры! Развалили артель, сукины дети, а теперь... Ишь ты!

Мехов попятился к двери, разводя руками.

— Перестроишься?

— Да чего перестраиваться-то? Давайте материал, делать будем. А то вот два месяца сидим без дела, а у нас семьи... Я за эти месяца и полставки не выработал.

— Во-во-во! Я и хотел сказать: лодыри, бездельники!

— Да я же не про то!

— Хватит! Я думаю, я полагаю, что ты перестроишься! Следующий!

За перегородкой все было слышно, и артельщики очень быстренько смекнули, что к чему. Особенно быстро сообразил Вася-слесарь, мальчишка лет семнадцати, молодой, а ушлый!

— Давайте, — говорит, — отвечать одно и то же, а я пойду последним!

Переглянулись жестянщики: так и так. И в кабинете началось. Почти все, как один, повторяли одно и то же с небольшими отступлениями по ходу дела. Прохор Палыч к концу дня устал, вспотел и, развалившись в кресле, задавал вопросы уже нехотя, подумывая о том, не перенести ли ознакомление с массой на следующий четверг. Но вот вошел Вася-слесарь, юркий узколицый парень с прищуренными, смеющимися глазами, и объявил:

— Я последний.

— Фамилия?

— Щелчков! — отчеканил Вася так, что жесть на стенах отозвалась зловещим звяком.

— Щелчков! Ну, брат, и фами-илия! Лет?

— Семнадцать.

— Ишь ты, молодой! Ну, ты-то не воруешь.

— Ворую, товарищ Самоваров!

— Как, как? О! Самокритика молодежи! Ну, молодец!

— Ворую, говорю,— выкрикивал Вася, как молодой петушок.

— Что воруешь?

— Жесть ворую, латунь ворую.

— От брешет, свистун, так брешет! Этот не пропадет, нет! С кем же ты воруешь?

— С вами, товарищ Самоваров! — ответил Вася так же громко и тем же тоном, как и начал.

— Что-о-о? — Прохор Палыч встал.

— С вами ворую, — повторил Вася и сел, проявив высшую степень невежливости. — Сто листов жести на кабинет из кладовой кто принес? Я, Щелчков. Кому? Вам, Са-

моварову. Латунь кто принес? Я. Кому? Вам. Куда списали жесть? На кружки. Где кружки? Нету. Квартальный план выполнили на двадцать процентов, значит, годовой план уже сорвали.

Прохор Палыч сел. Потом встал. Потом еще раз сел. И еще раз встал.

— Как ты смеешь, щенок! — Он схватил с полки умывальный таз и так стукнул им об стол, что весь кабинет заныл жестяной жалостью. — Мы такое загнем, что два квартальных плана в два месяца выполним. Раз плюнуть! Не твоего ума дело! Я думаю, что...

Тут Вася прыснул со смеху, зажал фуражкой рот и нагнулся, содрогаясь от беззвучного хохота.

— Что тебе смешно? Что? Что, спрашиваю? (За перегородкой — сдержанный, но дружный смех.) Кто там мешает работать? — загремел Прохор Палыч и снова обратился к Васе: — Ты думаешь, кто я есть? Отвечай!

— Там, — смеялся Вася, — там написано! — И указал пальцем на дверь.

После этих слов за перегородкой затопотали и, давя друг друга, вывалились со смехом на улицу. Выскочил бомбой и Вася. Прохор Палыч поставил таз на место и, потный, в возбуждении, вышел медленно за дверь. Осмотрел стены, пронзил счетовода взглядом и ничего не увидел. Но вот он повернулся к двери кабинета, чтобы войти обратно, и... увидел! Трудно даже выразить словами состояние Прохора Палыча: это было сплошное переживание от пяток и до носа, ибо пятки сразу зачесались, а нос потребовал неотложного сморкания. И он высморкался дважды подряд и без передыху. А на новой табличке — «Председатель артели тов. Самоваров» — красовалось добавление: «король жестянщиков».

Вот откуда и появился королевский титул у Прохора Палыча.

Сам я, правда, при этом не присутствовал, но мне так подробно все рассказывал Вася, так усердно дополняли его Мехов и другие, что я не могу не посочувствовать Прохору Палычу. Не буду описывать терзания его души, не буду останавливаться на том, как Прохор Палыч по полночи не спал двое суток подряд, не буду вдаваться в подробности колебаний психики и переливания тоски через край — это очень трудно. Но Недошлепкин настойчиво, очень настойчиво рекомендовал Прохору Палычу присту-

пить к самокритике и ни под каким видом не наказывать Васю, а если возможно, прижать его впоследствии, чтобы понимал твердость характера. При этом он сделал для Прохора Палыча назидание жестом: ногтем большого пальца надавил на стол так, как (простите за натурализм!) давят некоторых насекомых, и добавил:

— Понимай — для самокритики момент наступил, а для того самого, — и он снова надавил пальцем, — еще нет. Подождать надо...

Э, да что там учить Прохора Палыча, когда он сам уже не меньше знает!

На общем собрании артели Прохор Палыч сказал:

— Критика ваша, товарищи, дошла до середки. Дошла! Всем нам надо перестроиться, углубить производство и расширить во все стороны. Все, как один, — в одну точку! Кто отступит — не позволю! Я признаю критику, но не допущу нарушения дисциплины. Переходим, товарищи, с кружки на ложку новой конструкции — модель «Л-2». Потребуется напряжение. Я полагаю, что трудовой подъем будет.

В городе заговорили: «Король жестянщиков разворачивается».

Так и прилепился к Прохору Палычу этот титул.

А тем временем в артели дела пошли по новым рельсам. Трое поехали в командировку за формовочной глиной, трое работали над ящиками-станками для отливки ложек, трое вели экспериментальные работы, имея под руками пять килограммов алюминия, и переливали алюминий из пустого в порожнее, а остальные трое переоборудовали горн и мехи. Сам Прохор Палыч выехал в Москву на поиски алюминия, пробыл там два месяца, прислал оттуда двадцать четыре телеграммы и получил двадцать девять. В артели вскоре уже была закончена перестройка, и все ждали председателя. Наконец прибыл Прохор Палыч и привез только двадцать килограммов алюминия.

— Ну что ж, — сказал Прохор Палыч, — начнем, а там видно будет.

И начали. Сначала выходило плохо: ложки получались ломкие, с драными краями. Наконец все-таки наладили дело: ложка модели «Л-2» пошла в ход... Но... запас алюминия иссяк.

Кончался год. Ложки делать перестали из-за нехватки материала, а к кружкам не приспособлено производство,

перестраивать надо. Так и не получилось в том году ни кружки, ни ложки.

Ну, а дальше что? Дальше Прохор Палыч пятнадцатый раз раскаялся, получил третий выговор и остался без работы. Секретарь райкома вызвал Недошлепкина и говорит:

— Кажется, Самоваров никудышный руководитель — неуч и зазнайка. Он стоит на пороге из партии, случайный человек.

Но нет! Недошлепкин — уже постаревший, облысевший, уже беззубый — защитил, не дал в обиду. Не исключили. Три месяца или, может быть, четыре Прохор Палыч был без работы. Несколько раз заходил к Недошлепкину, ожидал, как в прежние счастливые годы, волшебных слов, но тот указывал пальцем на райком и говорил шепотом:

— Не велит.

— Так, значит, как же? — спрашивал Прохор Палыч.

— Да так...

— А все-таки как?

— Так себе.

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

— А что «как сказать»?

— Обыкновенно! — вздыхал начальник.

И каждый раз на этом кончалось. Казалось, попал в тупик Прохор Палыч.

Но внезапно что-то случилось с секретарем райкома по семейным обстоятельствам, и он уехал из района. Ведь и с ним все может случиться, как с любым человеком. Это ведь в романах только секретари райкомов не страдают, не любят, не хохочут, а только знай руководят. А в жизни они такие же люди, и с ними все может случиться: может и жена заболеть, и сам даже может заболеть, и даже — даю честное слово! — может и влюбиться. Конечно, мне скажут: «Не может быть, чтобы секретарь райкома да влюбился! Не бывает!» Вот и поговори с ними!.. Бывает, товарищи, что там греха таить! Бывает и так: напихают полный роман либо железа, либо дров, либо машин всяких, а читатель ходит-бродит, бедняга, меж всего этого и ищет людей: не читатель, а искатель какой-то получается. Не спорю, иной читатель, конечно, с первого прочтения находит тропки, делает зарубки для приметы, чтобы не

заблудиться обратным ходом; потом вернется назад, прочитает еще другой, третий раз — смотришь, разберется, что к чему.

А насчет секретарей райкомов повторяю: все с ними бывает, как с любым человеком, а не только так, как в романах.

Убедил я или не убедил — как хотите! — но только старый секретарь райкома уехал, а новый приехал. Был он такой: в коричневом костюме и при галстуке (обратите внимание: без черной гимнастерки и без желтого широкого пояса), росту обыкновенного, среднего, русый, круглолицый, веселый, любит в городки поиграть и в шахматишки сыграть; ребятишки у него есть (двое), и мальчишка забегает к нему прямо в райком, посмотрит, нет ли заседания, и сообщает: «Папа, мы чижа поймали».

Одним словом, Попов Иван Иванович приехал.

Недошлепкин — к нему. Так, мол, и так: в колхозе «Новая жизнь» шестнадцатый по счету председатель оказался не того, заменять надо. Для укрепления.

Поехал Иван Иванович туда раз, поехал два, посмотрел, посмотрел: правда, заменять надо. И говорит Недошлепкину:

— И ваша вина есть в том, что в колхозах такая свистопляска с председателями: что ни год, то новый председатель. Большая вина!

— Признаю, — соглашается Недошлепкин. — Каюсь! Ляпсус. Все силы брошу на исправление ошибки. Все, что от меня лично, приму... Действительно, ляпсус... Но без председателя колхоза не может быть колхоза, ибо колхоз до тех пор колхоз, пока он колхоз, но как только он перестает быть колхозом, он уже не колхоз. (Подобный способ мышления — явное влияние его ученика Прохора Палыча. Ясно.)

Задумался Иван Иванович: видно, не верит Недошлепкину. Но что поделать, если кадров района еще не знаешь, а требуется председатель колхоза! Конечно, приходится обязательно советоваться пока с Недошлепкиным. А тот разгадал мысль секретаря и говорит:

— Моя ошибка тяжела... Но мы можем быстро выправить: есть у нас толковый, опытный товарищ, повезет! Правда, у него в артели жестянщиков — не того, но причина все же в неплановом снабжении артелей, и вопрос не нам решить — надо ставить гораздо выше, так как в

районном масштабе алюминия нет, а ложка «Л-2» требует алюминия чистого, как слеза грудного младенца.

— Кто же это такой? — спрашивает Иван Иванович.

— Товарищ Самоваров, — сообщает Недошлепкин.

Так на первых порах Иван Иванович и допустил ошибку.

Вызывают Прохора Палыча в райком.

— Говорите честно, — обращается к нему Иван Иванович, — справитесь ли вы с работой председателя колхоза? Работа трудная и ответственная.

Прохор Палыч думает и сморкается: ждет, когда будут произнесены заветные слова, единственные, которые он сразу понимал. Нет этих слов! А вопрос висит в воздухе!

— Ну так как же? — повторяет секретарь.

И Прохор Палыч, руководствуясь чутьем, развитым многолетним опытом, проделывает следующее: смотрит вниз и в сторону, глубоко-глубоко задумавшись, вздыхает, несмело поднимает глаза на секретаря и говорит тоже задумчиво:

— Товарищ секретарь райкома! Слишком мне тяжело сознавать, что я имею три выговора... (В этом месте он чуть-чуть взвыл.) Я понимаю, что четвертый выговор столкнет меня с кривой. Со всей ответственностью беру на себя колхоз, и, я думаю, выправлю его, и вправлю ему линию в передовые...

Иван Иванович, не ведая дипломатии, сказал:

— Мне кажется, что чистосердечное признание своего положения прибавит вам силы.

Все! Для Прохора Палыча было все-все понятно.

А Иван Иванович сомневался, что-то его скребло внутри.

Недошлепкин так разукрасил Прохора Палыча на общем собрании колхоза, так расхвалил, такие гимны пропел его талантам, а Никишка Болтушок такую речь закатил, что даже шапку потерял и ее растоптали в лепешку, — так они оба воспевали Прохора Палыча, что того и в колхоз приняли, а потом и председателем выбрали.

Так Прохор Палыч занял свой семнадцатый пост и стал семнадцатым председателем в колхозе, а отсюда и полный титул пошел: «Прохор семнадцатый, король жестянщиков».

3

Теперь уж я видел Прохора Палыча почти ежедневно. Мы все ближе и ближе сходились с ним и наконец сошлись настолько близко, что он однажды мне сказал:

— Фу ты! Обязательно ему надо культивировать пар за двенадцать — пятнадцать дней до сева! Небось и после закультивируем — денька за два-три.

Я возражал, горячился, целую лекцию об озимых ему прочитал, книгу академика Якушкина ему совал в руки.

— На, прочти!

— Лично я не видал твоего Якушкина. Я, Самоваров, думаю, — за два-три дня.

Я не сдавался.

— Не позволю! (Это я-то так позволил себе сказать Прохору Палычу. И откуда смелость взялась!)

— Что-о-о? — закричал он. — Пошел к черту, химик!

— Не оскорбляйте!

А он отвечает:

— Характер у меня такой прямой. Как штык. Помогать — вас никого нету, а раздражать человека у руководства вы можете.

— Да я же и хочу помочь вам понять агротехнику!

— Пошел бы ты с такой помощью! У меня свиньи дохнуть начали, а тебе вот выложи: за пятнадцать дней! Тьфу!

— Вы ж, — говорю, — не понимаете агротехники! Нельзя так!

Прохор Палыч отвернулся, не желая продолжать разговор, и куда-то в сторону буркнул:

— Столько, сколько ты знаешь, я давно забыл больше.

Что должен делать после этого агроном? Конечно, ехать в район.

Запрягли Ерша в линейку, приезжаю к Недошлепкину. Так, мол, и так, говорю, ничего не понимает, оскорбляет непотребными словами... Угробим осенний сев.

— А вы добейтесь своего, — отвечает Недошлепкин, — и закультивируйте, если действительно надо! Если же можно обождать дня два-три, то уступите по-человечески! У Самоварова мало опыта в руководстве колхозом, ему надо помогать. Правда, прямота у него в характере есть, за словом в карман не полезет. Постарайтесь помириться с ним, он человек сходчивый и самокритичный...

— Так он же меня слушать не хочет!

— Постарайтесь сделать так, будто между вами ничего не было: общее колхозное дело дороже личных отношений. Мы, безусловно, должны забывать все личное.

Ехал я обратно тихонько, шажком и пробовал пробрать себя самокритикой до корней, но, как ни бился, даже Ерша останавливал несколько раз, ничего не получилось. Наверно, все-таки не освоил самокритику на всю глубину. Тут бы и надо мне Недошлепкину сказать: «Признаю ошибку!», потом приехать в колхоз и — к Прохору Палычу: «Признаю», и руку ему подать: «На! Держи! Навечно! Пошли мировую выпьем по двести!» А вот не умею. Но зря! Именно тогда бы меня подняли на щит и говорили бы: «С таким работать можно — сходчивый и самокритичный агрономишка».

Пар все-таки закультивировали: воровским путем, ночами.

А еще раньше, весной, получилось даже чище. Приезжаю в бригаду, а там сеют кормовую свеклу. Не там сеют, где намечено производственным планом, — не по глубокой зяби, а по весновспашке.

— Кто позволил? — спрашиваю я.

— Председатель приказал, — отвечает бригадир Пшеничкин. — Целый час спорил с ним. Тьфу!

Смотрим, Прохор Палыч мчится к нам: жеребец — в лентах, тарантас — в ветках. Подъезжает и сразу грозно:

— Почему простой механизма допущен?

— Я запретил, — говорю.

— Тебя убеждать надо или не надо?

— Говорите!

— Как ты думаешь, — снисходительным тоном начал он, — ходить женщинам полоть лучше за три километра от села или за полкилометра? Тут, — потопал он ногой по земле, — тут — полкилометра, а зябь — за три километра. В организации труда ты что-нибудь смыслишь или нет?

Я стараюсь объяснить ему поспокойней:

— По весновспашке свеклы не будет. Не бывает никогда хорошей свеклы по весновспашке нигде, а у нас, в засушливом районе, никакой свеклы на этом месте не будет. Не взойдет она, и полоть-то нечего будет.

Пробовал растолковать, как устроено семя свеклы, говорил, что всходы ее очень слабые, рассказал, сколько во-

ды требуется для семени свеклы, но Прохор Палыч до конца не дослушал, подошел к трактористу и сказал:

— Я думаю, сеять будешь.

— Нет, — вмешался я, — сейчас надо ехать на зябь и посеять там.

— Ка-ак? — вскричал Прохор Палыч. — Подменять руководство? Кто позволит? Приказываю!.. А из тебя, — обратился он к трактористу, — щепки сделаю! А тебя, — повернулся он к бригадиру, — как бог черепаху! А... — и он круто повернулся ко мне во весь корпус.

— Меня, — говорю, — ни боже мой! Я химик!

— Хуже! — воскликнул он, ударив себя обеими руками по галифе. — Астроном! Мошенник!

Так я понял, что астрономы гораздо хуже химиков.

И зачем, собственно, я все это записываю? По плану обещал описать, как Прохор Палыч руководил колхозом, а пишу черт знает что! Хотя нет: постепенное сближение и содружество Прохора Палыча с агрономией тоже заслуживает внимания. В общем и агроном с бригадирами к нему приспособились: они просто обманывали его для пользы дела. Меня спросят: «А свекла как же? Где посеяли?» Отвечаю: по зяби посеяли. И очень просто. Подхожу я к нему и говорю:

— Характер у вас сильный... Сказал — крышка!

— Я так: надумал — аминь! — и улыбается. Отошел, значит, нутром.

— Езжай, — говорю я трактористу, а бригадиру подмаргиваю, так как тот всем видом протестует против продолжения сева на этом месте.

Прохор Палыч благополучно отбывает и скрывается из виду, а мы... переезжаем на зябь.

Заметил он это не скоро, через месяц, и сказал:

— Ну и ловкач! Ну и мошенник! За этим смотри да смотри!

Так пришло к Прохору Палычу убеждение, что все агрономы — мошенники, все бригадиры — жулики, а он один-единственный руководит и ему никто не помогает. Трудно все-таки быть председателем колхоза!

Но все это произошло несколько спустя после начала руководства Самоварова колхозом. Это отступление сделано потому, что вопросы агрономии превыше всего, с них и надо начинать. Дальнейшее описание жизни Прохора Палыча в колхозе пойдет уже по порядку.

Еще в первые дни пребывания на посту председателя Прохор Палыч собрал бригадиров и изрек:

— По вечерам нарядов давать не буду.

— А как же нам быть? — спросили все сразу.

— Утром — наряд, вечерами и ночами — заседания. Что я, Самоваров, не знаю разве, как руководят районные работники? Не первый год! С кого пример брать? С вас, что ли?

Попервоначалу стали возражать, перечить, да еще вздумали доказывать. Потом и бригадиры, конечно, вошли в понятие, а тогда, представьте себе, уперлись. Прохор Палыч для доказательства твердости характера даже выражаться стал всякими черными словами, а в заключение обмяк и завершил:

— Соображение-то у вас есть или нет? Как можно с вечера давать наряд? А вдруг да умрет кто за ночь — допустим, тетка какая,— а на нее наряд дали: что это будет? Срыв, полная анархия. Я думаю и полагаю, что наряд давать будем только утром.

Когда же бригадиры разошлись, он говорит мне:

— Вот они, работнички! Видал? С первых шагов на подрыв пошли. Ну, я перестрою — выбью из них дурь. Не первый год на руководящей! С этими, верно, наруководишь...— Он будто задумался, а потом добавил: — Менять надо, всех менять! Вот маленько разберусь и поменяю. А эти, видать, жулики и воры. Видал? Тот, чубатый, все улыбается, а тот, седой, все волком смотрит.

Ну, раз уж сам Прохор Палыч заговорил на первых порах о бригадирах, то и нам следует с ними поближе познакомиться, иначе описание жизни председателя не будет ясным.

Бригадиров в колхозе трое: Пшеничкин Алексей Антонович, Катков Митрофан Андреевич и Платонов Яков Васильевич. Все они очень старательные, хозяйственные, хорошие руководители бригад, почти непьющие, но характеры у них разные. Пшеничкин живет так, будто радуется вечно и полон радужных надежд; Платонов — человек критического ума и иногда говорит: «Надо изживать недостатки, а не только говорить о хорошем»; Катков — это человек быстрый и в работе и в мыслях: он в уме может моментально такие цифры помножить, что диву даешься!

И возраста все трое разного: Пшеничкину — двадцать семь, Платонову — шестьдесят, а Каткову — сорок два.

Пшеничкин — белокурый, кудрявый, голубоглазый, фуражка — набок, чуб над виском, и всегда верхом в седле: с самого раннего утра и до позднего вечера, а в уборку — и ночью.

Платонов, несмотря на почтенный возраст, ни бороды, ни усов не носит, всегда чисто выбрит, волосы, совсем седые, зачесывает назад, ездит только на дрожках.

У Каткова — лоб высокий, нос тонкий, лицо симпатичное, веселое, с шустрыми черными глазами. Этот никаких средств передвижения, кроме мотоцикла, не признает и признавать не желает.

И вот смотрите! Разные люди, совсем-совсем разные, во всем разные, а как они одинаково сильно любят свое дело, сколько работают!

Летом по семнадцать — восемнадцать часов в сутки в труде.

Где-то вы теперь, мои дорогие друзья-бригадиры? Радостно мне было услышать ранним утром, перед восходом солнца, песню Алеши Пшеничкина; больно вспомнить, как он плакал над просом, которое побил град; приятно вспомнить, как его голубые глаза внимательно смотрели на меня на зимних занятиях по агротехнике! С благодарностью помню и наши беседы на отдыхе и мудрость Якова Васильевича Платонова. Вихрем бы помчался теперь с Митрофаном Андреевичем Катковым по шляху на его мотоцикле, а остановившись у комбайна, вместе помогли бы молодому комбайнеру пустить в ход машину. Все знает этот Катков! Умница!

Урчат ли тракторы, грохочут ли громады комбайны, мчится ли юркий самоходный С-4, слизывая на ходу пшеницу, ворочает ли плуг пласты чернозема, гремит ли молотилка, полют ли посевы, сеют ли, веют ли — везде, везде они, бригадиры. Мои верные соратники, с какой охотой написал бы я сейчас и о вас, но — что поделаешь! — пока приходится писать о Прохоре Палыче. Это очень-очень нужно!

А дни у Прохора Палыча пошли неспокойные.

Утром он встал, прочитал листок календаря, оделся и пошел в правление давать наряд.

— Все в сборе? — спрашивает он, чинно усаживаясь за стол.

— Все,— отвечают бригадиры хором.

— Та-ак. С чего начнем?

— Да у вас небось план имеется,— улыбается Катков.

— Имеется: все в поле, как одна душа! Кто нарушит трудовую дисциплину — дух вон!

— А мне надо подвезти корм лошадям: три подводы,— говорит Пшеничкин.

— Мне надо в лес за дубками для крытого тока: две подводы,— заявляет Платонов.

— У меня в поле сегодня пойдет только десять человек, а остальные — на огород,— подает голос Катков.

— Так. Я, Самоваров, выслушал и говорю: борьба за урожай — первое дело. Меня, Самоварова, избрали выправить, а не распылять. Все в поле!

И началось! Спорить, кричать, доказывать! Пшеничкин, красный, как вареный рак, кричал, что лошади подохнут, что он отвечать не будет, что лошадь — не мотоцикл и не автомобиль, в нее бензину не нальешь, что ей требуется не бензин, а рацион зоотехники и что он вообще не понимает, как понимать непонятное. Катков скороговоркой резал, что огород — это деньги колхоза, что все надо делать планово.

Платонов молчал и думал.

Прохор Палыч слушал, слушал все это, да ка-ак стукнет кулаком по столу:

— Всем в поле! Во всех справочниках и календарях написано — борьба за урожай, борьба за хлеб и тому подобно. А вы с капустой, с дубками, с лошадьми своими лезете! На подрыв пошли! Не позволю!

Платонов молчал и думал. Потом все трое сразу вышли. Алеша Пшеничкин с досады настегивал себя по сапогу плетью. Катков выскочил пробкой и стукнул дверью, а Платонов вышел спокойно, будто ничего особенного не произошло.

Время шло. Уже одиннадцатый час дня, а народ слонялся по двору вокруг правления, многие сели на травку, курили и балагурили; волы и лошади стояли запряженными, ездовые сидели, свесив ноги и греясь на солнышке, как заправские лентяи. Никогда такого не было в колхозе «Новая жизнь», а тут получилось... Вот вышли бригадиры из правления, а народ — к ним: что ж, мол, это такое? Какой наряд?

— Не знаю,— сказал Пшеничкин.

— Черт его знает! — сказал Катков.

— Все в поле! — сказал Платонов, увидев выходящего Прохора Палыча.

Раздались возгласы:

— А чего всей бригаде делать в поле? Капуста пропадет.

— Убирать скоро, а в нашей бригаде крытый ток не закончен. В лес надо.

Прохор Палыч все это слышал. Он сразу понял, откуда ветер дует, и сказал бригадирам:

— Вот полюбуйтесь на вашу дисциплину! Двенадцатый час, а у вас люди лодырничают. Развалили колхоз, проходимцы вы этакие! Да еще и массу подстроили на меня, слова-то говорят ваши! Слышь: о капусточке да о дубочках. Эт-то мы учтем!

Тем временем, пока народ волновался, Платонов сказал двум другим бригадирам:

— Зайдемте-ка в конюшню да посмотрим, что там сделать: пора, наверно, мазать ее.

Прохор Палыч упер руки в бока, расставил галифе во всю ширину и решил наблюдать, будет ли выполнен его наряд, а бригадиры вошли в конюшню. Там Платонов и говорит:

— Алеша, ты садись на меринка — и за село: встречай и направляй своих куда следует; а ты, Митрофан Андреевич, садись на мотоцикл — и на огород: встречай своих и моим скажешь, а я догоню помаленьку на дрожках. Но из села выходить всем только в поле. Понятно?

— Есть! — ответили оба и повеселели.

А Катков, проходя мимо председателя, успокоил его:

— Все будет исполнено в точности по вашему наряду!

Прохор Палыч был очень доволен, что он повернул руль руководства на полный оборот, и, возвратившись, сказал счетоводу:

— Ничего-о! Повернем еще круче! А тебе вот что скажу: ты мне приготовь сведения к вечеру.

— Какие сведения?

— Сколько коров, лошадей, свиней, птицы разной и прочих животных; и притом на малюсенькой бумажечке, чтоб на ладонь улеглась. Понял? Случа́ем, если доклад — все под рукой.— И Прохор Палыч на́крыл ладонью воображаемую бумажку.

Счетовод был человек пожилой, лет пятидесяти пяти,

в очках с тоненьким блестящим ободком, полный, но очень живой, подвижной и весьма сообразительный, как и все колхозные счетоводы. Зовут его Степан Петрович. Он пережил уже шестнадцать председателей и толк в них знал очень хорошо. Спорить с Прохором Палычем он не стал, а заверил:

— Будет исполнено в точности!

— Во! Это по-моему! Люблю!

Микроскопическими цифрами исписал Степан Петрович листок из блокнота и, передавая его Прохору Палычу, почему-то улыбался.

— Тоже, наверно, жук! Чего ухмыльнулся?

— Никак нет, не жук. Херувимов Степан Петрович.

— То-то, что Херувимов... М-м-да... Фамилия — того...

Один раз, правда, удалось Прохору Палычу отчитаться по животноводству с этой шпаргалкой, но потом засыпался: о чем ни скажет — всего, оказывается, на самом деле больше, а в бумажке, что под рукой — меньше. А дело в том, что свиньи поросились, коровы телились, лошади жеребились — всего прибавлялось. Задумался он: как же наладить учет?

Степан Петрович советует искренне:

— Каждый раз надо брать у меня новые данные и проверять в натуре.

Хоть и поразительная фамилия у этого счетовода, но Прохор Палыч попробовал делать так. Все-таки счетовод, а не агроном какой-нибудь.

Однажды вызывают Прохора Палыча с докладом по животноводству. Выписал ему Степан Петрович все, как полагается, и пошел он проверять в натуре. Приходит на свинарник.

— Сколько свиней?

— Сто одна.

— Так. Правильно. А сколько поросят?

— Двести.

— Брешешь! У меня записано сто восемьдесят два.

— Так ночью две свиноматки опоросились.

— Фу, черт! И надо им пороситься тут, в самое это время, будь они неладны!

Пошел в телятник.

— Сколько телят?

— Семьдесят.

— Брешешь! У меня — семьдесят два. Почему, спра-

шиваю, меньше на два головодня? Зарезали телков, мошенники!

— Да нет же, нет,— взмолилась телятница.— Двух бычков-то сдали, а документа нет целую неделю, вот они и не списаны. Степан Петрович без документа не спишет. И списать невозможно: должны числиться, мы понимаем.

— Документ, документ! — перебил Прохор Палыч.— Я вам покажу документ! А ну, давай считать в натуре!

Накинули перегородку поперек телятника, как при ревизии, и стали выпускать во вторую половину по одному.

— Раз,— считает Прохор Палыч,— два, три... десять... пятнадцать... Кажись, один проскочил... Двадцать... Будь ты неладно, в носу зачесалось. Не к добру... двадцать пять... Воздух-то тут — того. В носу свербит...

Он вынул платок и высморкался по своему обычаю: ка-ак ахнет во всю трубу! Что тут сотворилось! Телята шарахнулись, сбили перегородку, взревели испуганно, истошно — и все перемешались.

Теленок — животное нервное, хотя он и дитя коровы, теленок совершенно глуп и ровным счетом ничего не понимает насчет руководства, но Прохор Палыч обиделся и, плюнув, выразился так:

— Чтоб вы попередохли, губошлепы! Телятся, телятся без удержу, никакого стабилю нет, да еще и не сморкнись. Подумаешь! Дерьмо!

И ушел.

Но надо же вникнуть в животноводство, в самую глубь? Надо. Пришел он в правление, сел в кресло и задумался: «Обязательно им надо пороситься, жеребиться, телиться... куриться!» Тут что-то такое мелькнуло в голове Прохора Палыча, какая-то не то мысль, не то блоха. «Что же такое у меня мелькнуло? — Думает.— Вот мелькнуло и нет... Никогда в голове ничего такого не мелькало, а тут вдруг — на́ тебе! Уж не помрачение ли у меня?.. А мелькнуло все-таки... Ага! Догадался! Слово неудобное: куриться! — И дальше думает: — Как это куры: курятся или как? Оптичиваются? Нет. Петушатся? Не слыхал. Этого слова при людях говорить не надо!»

В самом деле, черт их знает, как они — куры, когда Прохор Палыч сроду с ними не имел никакого дела! И вообще в сельском хозяйстве чепуха какая-то! Другое дело какой-нибудь завод или мастерская — там так: есть станок — есть, есть сто станков — есть. Крышка, эти уж

отелиться не могут. Мысли, конечно, тяжелые, но правильные. Но как найти выход? Ужели ж самому за всем и следить, проверять, ходить по этим телятницам, поросятницам, курятницам?

Однако выход он нашел: при всяких отчетах и докладах просто прибавлял поголовье на несколько десятков: «Небось отелились! А не отелились, так отелятся,— эта чертова скотина, она такая». Так что с этим вопросом Прохор Палыч вышел из положения, как и подобает человеку, имеющему опыт руководства.

Но дни наступали все беспокойнее и беспокойнее. Что и говорить — это не у жестянщиков! Тому подпиши, тому выпиши, тот с заявлением лезет, этому усадьбу дай, тот аванс просит, а тот лезет: «Прими телка под контрактацию», будто своих мало. Там на свиней болезнь напала, там, говорят, какие-то суслики где-то что-то едят, тут трактористы донимают, агрономы не дают покоя, землеустроители... Все завертелось. Где там в поле попасть, когда тут пропадешь! И Прохор Палыч уже подписывал на ходу, не глядя, что подписывает, совал заявления в карман и отвечал: «Сделаем — я сказал»; но заявления накапливались пачками. А тут — еще новости! — зоотехники навалились и давай и давай точить — то за свиней, то за овец! Дошло до того, что Прохор Палыч одной рукой обедает, а другой подписывает и все-таки ничего не успевает сделать, хотя руль повернул на полный оборот. Сказать, чтобы он растерялся,— нельзя: вид у него не такой. Трудно, очень трудно! Не будь водки — пропал бы человек ни за грош! Но он дает себе отдых: норму свою принимает, и все идет нормально и в полеводстве и в животноводстве, несмотря на большую нагрузку.

Зато есть у него точка опоры в руководстве. Есть! Четыре раза в неделю он созывает расширенные заседания правления, заслушивает отчеты о работе за прошедшие полтора дня и выносит развернутые решения. В этом он незаменим, и все нити руководства у него в руках.

Для примера возьмем одно заседание — очень важное заседание, если говорить без шуток.

Пять часов дня. Близится вечер. Бригадиры бросили поле и прискакали в правление по срочному вызову через нарочного. Прохор Палыч дает распоряжение:

— Расширенное заседание назначаю в семь! Так и объявите! Чтоб все были ровно в девять! Немедленно

сообщить всему руководству животноводства, строительства и подсобных предприятий: каждый с докладом. Все!

И пошли бригадиры по дворам уже пешим ходом.

В тот вечер я сидел у Евсеича на диванчике и почитывал. Сам Евсеич плел вентерь и подпевал тихонько, а Петя писал что-то за своим столом и не давал покоя старику:

— Как, говоришь, дедушка? «Богом данної мне властью» и...

— Вот пристал! Ну, «богом данной мне властью мы» — не я, а мы,— «мы, царь польскай и князь финляндскай и проча, и проча, и проча»...

— А вместо «проча» не писали «и тому подобное»? Терентий Петрович говорит, что можно «и тому подобное».

— Нет, не писали: писали «и проча». Да на что это тебе потребовалось? И все ему надо. На кой ляд тебе, как цари писали?

— Для истории, дедушка! — отвечает Петя, а сам ухмыляется.

— Ну, для истории — валяй!

В это время вошел Платонов и объявил мне о заседании правления.

— Опять?

— Опять,— махнул он рукой.— Пропали не спавши! Аж кружение в голове... Одним сторожам только и покой ночью, не трогает пока.

Из хаты мы вышли вчетвером: Платонов и я — на заседание правления, Евсеич — на пост, сторожить, а Петя нырнул в калитку к прицепщику Терентию Петровичу (о котором речь впереди). Потом Петя появился в правлении, снова исчез и наконец смирненько уселся в уголке на полу. Когда мы шли на заседание, Платонов спросил Евсеича:

— Отнес?

— Сдал самому Ивану Иванычу и от себя добавил на словах.

Приходим в правление. Народ начинает помаленьку собираться. Усаживаются. Однако избегают садиться на скамейки, а больше — вдоль стен на полу и даже между скамейками. Это для того, чтобы удобно было во время заседания поспать, свернувшись калачиком или привалившись головой к соседу. Докладов намечено чуть ли не десять и, кроме того, разбор заявлений, которые лежали перед Прохором Палычем, как стопка вчерашних блинцов,

с обтрепанными и завернутыми краями. На столе председателя стоял колокольчик, снятый с дуги: для наведения порядка. На свадьбы Самоваров, правда, продолжал его давать и сам охотно там присутствовал, но чтобы на следующий день колокол снова был на месте.

Колокол оглушительно прозвонил, кто-то тихонько сказал: «Поехали!», а Прохор Палыч объявил:

— Расширенное заседание совместно с руксоставом колхоза «Новая жизнь» считаю открытым. По первому вопросу ведения слово предоставляется мне лично. Товарищи! Сегодня мы, собравшись здесь, заслушаем весь руксостав, рассмотрим весь колхоз. Вопрос один: укрепление колхоза и путь в передовые. В разных, могущих быть возникнутыми,— разбор заявлений. Порядок докладов продуман: первый — бригадир полеводческой бригады товарищ Платонов.

— Подвезло тебе, Яков Васильевич,— вздохнул Катков,— отчитался — и на сон, под лавку.

Прохор Палыч брякнул колоколом и продолжал перечислять порядок докладов:

— Завкладовой, птичница, телятница, все конюха, затем остальные бригадиры. Слово для доклада даю товарищу Платонову. Вам час дается.

— Не надо мне час.

— А сколько?

— Нисколько.

— Как так?

— Очень просто. Нечего мне говорить — вчера докладывал. Вы должны знать и так, без доклада.

— Я без тебя знаю, что я должен знать. И знаю все. Но порядок такой: в докладе должен сообщить, и внутрь глянуть, и вывернуть все на самокритику. Давай!

— Все у меня благополучно.

— А я говорю, докладывай! Не мне докладывай — народу! Вот они!

И Платонов скрепя сердце, нудно, не похоже на самого себя стал отчитывать, как дьячок. И голос-то у него сделался какой-то унылый, и речь несвязная, а все-таки говорил. Стоит ли перечислять то, о чем он говорил, и так надоело!

Прохор Палыч заставлял говорить одного докладчика за другим и думал: «Я их раскачаю! Заговорят как миленькие, разовьются!»

Катков шепнул Пшеничкину:

— Тебе, Алеша, дать, что ли, поспать сегодня? Твой доклад в самой середине, беда тебе не спавши!

— Дай, пожалуйста, Митрофан Андреевич! Умру без сна — четвертые сутки!

— Часа на два могу, а больше дару вряд ли хватит, Алеша.

— И на том спасибо! Мне больше и не надо. Я, может, до полночи еще прихвачу немного.

И около двенадцати часов ночи, когда Прохор Палыч выкликнул фамилию Пшеничкина, тот безмятежно спал, свернувшись калачиком в углу, а около него сидел и бодрствовал Катков. Когда он услышал слово «Пшеничкин», то встал и сказал:

— Мой доклад, Прохор Палыч, а не Пшеничкина, ошибочка произошла. И к тому же я приготовился.

Любил такие передовые выступления Прохор Палыч и поэтому сказал:

— А может, и ошибка, тут голова кругом пойдет. Давай!

И Митрофан Андреевич принялся «давать». Он рассказал о плане Волго-Дона, остановился на учении Вильямса, загнул о происхождении жизни на земле по двум гипотезам, коснулся трактора и описал все детали его по косточкам: лишь бы Алеша спал подольше. О работе своей бригады он почти ничего не говорил, но все, кто еще не успел заснуть, слушали его с удовольствием, а многие даже проснулись. Алеша спал сном праведника до двух часов ночи. Наконец Катков закруглил:

— И так, на основе мичуринского учения, моя бригада и работает. Все!

— Весь высказался? — спросил Прохор Палыч.

— Могу и еще, но уморился,— ответил докладчик и с сожалением посмотрел на кудри Алеши Пшеничкина, раскинувшиеся по полу.

— Следующий!

Уже перед рассветом, когда загорланили по всему селу третьи петухи, приступили к разбору заявлений. Прохор Палыч обратился к бодрствующим:

— Будите! Начинаем заявления.

— Да какие же заявления? Рассветает!

— Хоть десяток, а разберем. Будите!

Народ зашевелился, закашлял, закурил, раздались сонные, но шутливые голоса:

— Вставай, Архип, петух охрип! Белый свет в окнё, туши электричество!

— Аль кочета пропели? Скажи, пожалуйста, как ночь хорошо прошла! Можно привыкнуть спать вверх ногами.

— Завтра работнем, ребятки, спросонья!

— Не завтра, а сегодня.

Рявкнул колокол. Прохор Палыч объявил:

— Первое заявление разберем от Матрены Чуркиной. Просит подводу — отвезти телушку в ветлечебницу. Читай подробно! — обратился он к счетоводу.

— Чего там читать! — сказал спросонья Катков (он тоже чуть-чуть прикорнул перед светом).— Чего читать? Телушка месяц как скончалась.

— Как это так? — спросил председатель, синий от бессонницы.

— Да так — подохла. Покончилась — и все! Не дождалась.

— Как так скончалась? Заявление подала, а померла... То есть того... Зачем тогда и заявление подавать?

— Не Матрена, а телушка,— вмешался Пшеничкин.

Но Прохор Палыч смутно понял, что в результате ночных бдений у него вроде все перепуталось.

— Ясно, телушка,— продолжал он, поправляясь.— Товарищи! Телушка до тех пор телушка, пока она телушка, но как только она перестает быть телушкой — она уже не телушка, а прах, воспоминание. Товарищи! Поскольку телушка покончилась без намерения скоропостижной смертью, предлагаю выразить Матрене Чуркиной соболезнование в письменной форме: так и так — сочувствуем...

Алеша Пшеничкин не выдержал и крикнул:

— К чертям! Матрене телушку надо дать из колхоза: беда постигла, а коровы нет!

— Сочувствую! Поддерживаю,— ответил Прохор Палыч,— но без санкции товарища Недошлепкина не могу.

— Всегда так делали, всю жизнь помогали колхозникам в беде! — горячился Алеша. У него, и правда, почти вся жизнь прошла в колхозе.— Всегда так делали, а при вас — нельзя. Жаловаться будем в райком!

— Жаловаться в райком! — повторил Катков.

— Жаловаться в райком! — поддержал Платонов.

— Жаловаться в райком! — крикнули сразу все, сколько было.

Прохор Палыч громко зазвонил колоколом, восстановил порядок и спокойно сказал:

— Жалуйтесь! Попадет жалоба первым делом товарищу Недошлепкину, а я скажу ему: «Вашей санкции на телушку не имел». Все! Этим меня не возьмешь! Давай следующее заявление! Читай! — скомандовал он счетоводу.

Степан Петрович взял заявление из пачки, надел очки на кончик носа и приспособился было читать, но вдруг прыснул со смеху, как мальчишка, и сказал:

— Извиняюсь, нельзя читать! Невозможно, Прохор Палыч. Сначала сами прочитайте! Обязательно! Здесь для вас одного написано...

— Приказываю: читай!

И Прохор Палыч откинулся на спинку кресла, а от досады и на телушку, и на бригадиров, и на всех сидящих здесь решил про себя: «И слушать не буду: пусть сами разбирают! Посмотрим, как без руководства пойдет заседание: раскричатся, да еще и передерутся. Не буду и слушать!» И правда, он сперва не вслушивался, а счетовод — шестнадцать председателей пережил — не стал возражать и читал:

— «Ко всему колхозу!

Мы, Прохор семнадцатый, король жестянщиков, принц телячий, граф курячий, и прочая, и прочая, и прочая, богом данной мне властью растранжирили кладовую в следующем количестве: «ко-ко» — две тысячи, «бе-бе» — десять головодней, «хрю-хрю» — четыре свинорыла. И еще молимся, чтобы без крытого тока хлеб наш насущный погноить! И призываю вас, акурат всех, помогать мне в моих делах на рукработе в руксоставе! Кто перечит — из того дух вон! И тому подобно, подобно, подобно...»

— Сто-о-ой! — возопил Прохор Палыч.

Колокол звонил.

Народ встал на ноги и надевал шапки в великом недоумении от королевского послания. Только Петя Федотов сидел в уголке смирненько и, ничуть не улыбаясь, смотрел на происходящее.

— Что случилось? — спрашивали проснувшиеся.

— Где горит? — вскрикнул кто-то.

Прохор Палыч рванул бумажку из рук счетовода.

— Кто подписал? Дайте мне врага колхозного строя!

— Вы, вы... сами подписали! Ваша личная подпись

стоит,— с напускным испугом говорил Степан Петрович.— Я же вам говорил, я предупреждал, я вас просил, но вы приказали. У вас же характер такой: сказал — крышка! Надумал — аминь!

Председатель остолбенел. Да и как было не остолбенеть? На послании «Ко всему колхозу» стояла его собственная подпись. Никто не мог бы скопировать извивающуюся змею вместо начального инициала «П», невозможно подделать семь колец буквы «С», а дальше — девять виньеток с двумя птичками и вокруг фамилии овал с прихвостьем ровно в тринадцать завитков. Ни один мошенник не может подделать подобной подписи или даже расшифровать ее — это невозможно! Подписал он где-то на ходу, не глядя. Но кто, кто мог подсунуть? Где этот — тот самый, которого надо раздавить? Прохор Палыч махнул рукой, чтобы все уходили.

...Деятельность Прохора Палыча в колхозе продолжалась четыре месяца. Заседание, описанное выше, было в начале пятого месяца.

В понедельник утром Прохор Палыч собрался ехать в район с крамольным посланием, доказать, что ветер дует от бригадиров, разъяснить, что ему никто не помогает, а все идут на подрыв, и снять после этого всех троих сразу. Но вспомнил: понедельник — день тяжелый, и отложил. Во вторник поехал — кошка перебежала дорогу.

«Чертова живность! Чтоб тебе пусто было! Еще попа недоставало... Этот, если перешел дорогу — то все, вертайся назад! Не первый год, знаю...»

Кошка испортила все настроение, а оно и так в последние дни стояло на отвратительно низком уровне. Ехал он сумрачный, мыслей никаких не было, и в голове ничего не мелькало, кроме одной кошки.

И, странное дело, въехал Прохор Палыч в город, будто в чужой, а не в тот, что был много лет родным гнездом, где он укреплял многие организации и учреждения и где оставил по себе память на долгие годы.

Приехал и пошел прямо к Недошлепкину, чтобы с ним уже идти к секретарю райкома. И снова не повезло — чертова кошка! — Недошлепкина не было. Кабинет закрыт, а секретарь райисполкома говорит:

— Не знаю где. Второй день нету.

Не ехать же обратно — пошел один. Входит он в кабинет секретаря райкома, Ивана Ивановича Попова. Тот его встречает:

— А-а!

А Прохор Палыч и не знает, как понимать это «а-а!». Никогда такого разговора не было. Вынул платок, высморкался. Этому я сам был свидетелем, сидел в кабинете рядом с Петром Кузьмичом Шуровым, с которым я читателя уже познакомил раньше. Но Прохор Палыч не знал Петра Кузьмича и думал: «Свистун какой-то, никакого руководящего виду».

Достает Прохор Палыч «послание» и кладет на стол. Иван Иванович берется читать и... как захохочет. Хохочет, как мальчишка, снял пенсне и вытирает слезы, аж подпрыгнул в кресле и за живот хватается обеими руками. Прохору Палычу показалось, что секретарь рехнулся умом, или, во всяком случае, тронулся мозгами. Не может же так смеяться действительный секретарь райкома! Настоящий секретарь обязан смеяться так: «ха!» и подумать, «ха!» и еще раз подумать. А этот заливается слезным хохотом.

— И подпись-то, подпись-то ваша,— почти умирая, хохочет Иван Иванович.

И Петр Кузьмич хохочет. Закрыл глаза, одной рукой за русые волосы ухватился, а другой отмахивается, будто от мухи, и трясется весь от хохота.

«Бьет смех, как припадочного!» — подумал Прохор Палыч и ничего — абсолютно ничего, ну ни единого нуля! — не понял из происходящего.

Отсмеялись. Пьет воду Иван Иванович и передает стакан Петру Кузьмичу. Напились. Отошел Иван Иванович к окну и смотрит в сад, помрачнел как-то сразу и спрашивает, не глядя на Самоварова:

— С этим и пришел?

— Да. Один подрыв. Никто не помогает — один, как свечка, кругом. Все сам! Чего сам не сделаешь, того никто не сделает. Мошенники и жулики все, особенно бригадиры: снимать надо. Согласовать пришел.

А Иван Иванович будто и не слушает. Сел в кресло, смотрит в середину стола и говорит:

— Что мы наделали? Четыре месяца прошло!.. Ведь вы, Самоваров, что наворочали!.. Молокопоставки просто

угробили, поставки шерсти сорвали, контрактацию молодняка проворонили. На носу уборка, а у вас в двух бригадах нет крытых токов, погноите хлеб! Людей с ферм разогнали. Замучили всех ночными заседаниями. Ведь это еще благо, что там золотые бригадиры,— хоть в поле-то все благополучно, в чем вы, кажется, неповинны... Эх! Нам колхозники доверяют, а мы? Кого поставили, кого рекомендовали!

Прохор Палыч по своему опыту понял, что наступил момент признавать.

— Признаю! Тяжко мне сознавать всю вину! Допустил ошибку, большую ошибку! И она — вот где у меня! — он стукнул трижды кулаком по груди, трижды высморкался, посопел, вытер сухие глаза и уже тихо произнес согласно надлежащему в этом случае правилу: — Признаю и каюсь!

А Иван Иванович говорит:

— Да не ваша ошибка, чучело вы этакое! Наша, моя лично!

Прохор Палыч встал и, расставив руки с растопыренными пальцами над галифе, попятился назад в полном недоумении.

— Что, не понимаете? — спрашивает секретарь.

Прохор Палыч мотает головой.

— Тогда и о вашей ошибке скажу. Вот у меня коллективное заявление бригадиров и многих колхозников, просят немедленно созвать общее собрание, пишут о вашем самодурстве. Собрание проведем завтра.

Прохор Палыч снова сел и, кажется, начал кое-что понимать.

— Но это не все,— продолжал секретарь.— Вот акт о незаконном «ко-ко» и «бе-бе» на три тысячи рубликов, здесь и Недошлепкину начислили около тысчонки. Вы даже и акт отказались подписать, Самоваров... Такие-то дела!

Прохор Палыч действительно прогнал какого-то щуплого бухгалтеришку, который все совал ему какой-то акт, но что это за акт, ей-богу, не знает и не помнит. А оно — вот что! И он сидел, тучный, широкий, но непонимающий, опустошенный внутри. Внутри ничего не было!

Иван Иванович продолжал:

— Будем рекомендовать товарища Шурова — агроном!

Прохор Палыч встрепенулся. Он будто опомнился, будто живая струя просочилась внутрь.

— Как? Агроном — председатель? — И вся его фигура говорила: «Мошенника, химика и астронома — в председатели?»

— Да,— ответил секретарь, а Шуров улыбнулся.— О вас же, Самоваров, будем решать вопрос на бюро, что дальше делать. Хорошего не предвижу.

Так бесславно кончилась деятельность Прохора Палыча в колхозе. Не буду описывать, как проходило общее собрание.

Каждый знает, как выгоняют колхозники негодных руководителей — наваливаются все сразу и без удержу отхлестывают и в хвост и в гриву, отхлестывают и приговаривают: «Не ходи куда не надо! Не ходи!»

Стал Прохор Палыч нелюдим и задумчив: что-то такое в нем зашевелилось внутри и ворочалось, ворочалось все больше.

Удивлялись люди: смирный стал, тихий.

Был суд.

Прохору Палычу дали год исправительно-трудовых работ.

Видел я его еще раз, незадолго до суда, в закусочной. Он сидел за столом с Недошлепкиным, и оба были в среднем подпитии. Лицо Прохора Палыча осунулось, он похудел, глаза стали больше, нос — меньше; одет в простую синюю, в полоску, сатиновую рубашку. Его собеседник был все в той же форме «руксостава» — в черной суконной гимнастерке с широким кожаным поясом, в тех же огромных роговых очках,— такой же, как и был.

— Ну, тебя-то,— говорил Недошлепкин,— волей-неволей надо было снимать — с сельским хозяйством не знаком. Я это предвидел. А за что сняли меня? За что прогнали из партии? За что оклеветали?

Прохор Палыч медленно встал, смотря в одну точку. Глаза его были влажными и красными. Вдруг он сжал зубы, стукнул кулаком по столу так, что задребезжали стаканы, и вскрикнул:

— Убил бы!

Недошлепкин отпрянул всем корпусом, будто от удара

в лоб, очки спрыгнули на самый кончик носа, на лысине выступил капельками пот, губы что-то зажевали, он поднял ладонь над головой, будто защищаясь, и прохрипел:

— Кого?

— Себя! Ошибку в колхозе допустил: не туда руль повернул. Каюсь,— заныл он по привычке и склонил голову на грудь. Так Прохор Палыч постоял немного, затем извлек из кармана клетчатый носовой платок и высморкался.

ПРИЦЕПЩИК ТЕРЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ

Если вы встретите Терентия Петровича, то на первый взгляд он покажется вам невзрачным человеком. Маленького роста, щуплый, с короткой русой бородкой, в большом, не по плечам, ватнике с подвернутыми рукавами, он посмотрит на вас спокойными прищуренными глазами из-под мохнатеньких бровок. Фуражка ему немного великовата, и козырек всегда чуть набок: мешает глазам. Вы подумаете: ничего, дескать, особенного в этом колхознике нет. Но это далеко не так. В человеке ошибиться легче всего.

Вот если бы вы посмотрели, как относятся к Терентию Петровичу в колхозе, как почтительно все здороваются с ним, то, конечно, призадумались бы, по какой причине такое ему уважение. Ведь даже бригадир Платонов Яков Васильевич на наряде так и обращается к нему: «А вам, Терентий Петрович, самому известно, что надо завтра делать».

Терентий Петрович во время сева работает на сцепе двух тракторных сеялок сеяльщиком, во время прополки — на культиваторе, во время уборки — на комбайне у соломокопнителя, на сенокосе — управляет агрегатом трех тракторных сенокосилок, при скирдовании — на стогометателе, при вспашке зяби — регулирует плуг. В общем точная его профессия — прицепщик.

Замечу, что быть прицепщиком сложных сельскохозяйственных машин не так-то просто. Это не то что прицепил, сел и сиди смотри, как трактор тянет. Вовсе не так! Тут надо знать немало, и знать как следует. Одна только тракторная сеялка имеет больше полутысячи деталей, а сколько есть еще других машин... Настоящий прицеп-

щик, если говорить прямо,— такая фигура в колхозе, от которой во многом зависит урожай. Плохая вспашка или посев сразу отразится на трудодне колхозников. Но Терентий Петрович плохой работы не допустит. Во-первых, он уже дважды был на трехмесячных курсах прицепщиков и дело знает, во-вторых, он исключительной добросовестности человек.

Однажды был такой случай. Пришел Терентий Петрович на дневную смену к тракторному плугу, осмотрел прицеп, дождался, пока тракторист Костя Клюев окончил заливку воды в радиатор, и сказал:

— Глуши трактор.

— По какому случаю? — спросил Костя, недоуменно подняв брови вверх и сдвинув замасленную шапку на затылок.

— По случаю утери лемешка предплужника у пятого корпуса.

— Ерунда-а! — протянул Костя, успокоившись, и поправил шапку.— Поехали!

По молодости и легкомыслию Костя не придавал особого значения такому пустяку, как крошечный лемешок.

— Не поедем. Глуши трактор и давай в отряд за лемешком, а я тем временем подлажу плуг.

— Дядя Терентий! Да как же так? Илья Семенович за ночную смену полторы нормы дал, а я буду в отряд бегать!

— Будешь бегать,— спокойно подтвердил Терентий Петрович.

— Лучше я попашу с полчасика, а ты сходи.

— Потому тебя и посылаю, что пахать нельзя без важной детали. А уйду — знаю, поедешь.

— Все равно поеду.

— Не поедешь!

— А что ты мне сделаешь? — спросил Костя, глядя на Терентия Петровича сверху вниз.

— Что сделаю? — переспросил Терентий Петрович и поднял глаза на высокого, широкоплечего парня.— Чистиком по заду огрею! — При этом он действительно поднял чистик — длинную палку с лопаточкой на конце — и воткнул в землю рядом с собой, будто для того, чтобы удобнее было при случае схватить.

Терентий Петрович медленно обошел вокруг трактора, затем вынул кисет и стал закуривать. А Костя, покосив-

шись на чистик, у которого стал Терентий Петрович, оглянулся на ворчащий трактор и просительно произнес:

— Ну?

— Я тебе дам «ну»! — будто осердившись, сказал Терентий Петрович и взялся за чистик.

Конечно, ничего такого не могло быть, Терентий Петрович сроду никого не ударил, но большой Костя отошел от маленького Терентия Петровича, заглушил трактор, отчего сразу стало скучно обоим, и с обидой заговорил:

— Полторы нормы дал, а предплужник потерял! Тоже — передовик называется! А я теперь стой без толку полчаса...

— С этого и начинал бы,— отозвался Терентий Петрович.— Это ты правильно. Доложу директору эмтээс лично.— Тут он немного подумал.— И председателю доложу. И ты доложи... А со мной плохо пахать не будешь. Понял?

— «Доложи, доложи», «понял, понял»! — волновался Костя. Он тоже обошел вокруг трактора и снова остановился перед Терентием Петровичем.

— Ты слышь,— спокойно тенорком заговорил тот.— Слушай меня, что скажу! — И нагнулся к предплужнику.— Он, лемешок, кладет стерню на дно борозды. Так. Стерня та перепреет, а наверху, значит, будет чистый плодородный слой. Агротехника — первое дело.

Косте это было известно не хуже Терентия Петровича. Но кому нравится молчащий трактор! И Костя горячился.

— Да знаю я это давно!

— То-то и оно! А раз знаешь, то нельзя так, без соображения, говорить: «Все равно поеду». Как это так «поеду»? Ты меня везешь, а я качество делаю. Мы с тобой, Костюха, перед народом отвечаем. Понял? А не так, чтобы трактор ехал — и вся недолга. А что он везет за собой, как везет, что из этого получится на будущий год — будто нам с тобой никакого интереса нет... Глупости!

— Конечно, глупости,— повторил Костя и пошел в отряд за лемешком.

Все знают: там, где работает Терентий Петрович, качество будет отличное. Но почет Терентию Петровичу идет не только из-за его трудовых успехов. Есть и еще кое-что. Вот возьмем, к примеру, выпивку. Люди пьют по-разному, и настроение у них бывает после этого разное: одни становятся смирными, другие, наоборот, буйными, третьи да-

же плачут, иные пляшут, если случится лишний стакан хватить,— всяко бывает с людьми. Но с Терентием Петровичем ничего этого не бывает. Пьет он очень редко — раза два-три в год, но пьет как следует, крепко, по-настоящему, и случается это только в праздники. К середине такого праздничного дня ноги у него еще вполне подчиняются голове, но уже начинают отчасти с нею спорить. В это время он обязательно одет в черную суконную пару, обязательно при галстуке, ботинки начищены до блеска,— но все равно костюм ему чуть великоват и ботинки — тоже.

В колхозе «Новая жизнь» в такие дни не только наблюдают Терентия Петровича, но и группами сопровождают его, останавливаясь невдалеке, когда он останавливается. Больше того, иногда он даже обращается к собравшимся с короткой речью. А кто увидит в окно Терентия Петровича в таком состоянии восклицает: «Петрович в обход пошел!», после чего выскакивает на улицу и присоединяется к сопровождающей его группе.

В тот день, о котором пойдет речь, Терентий Петрович, заложив руки за спину, сначала обратился к собравшимся:

— Товарищи! Не такой уж я хороший человек и не такой уж вовсе плохой. Точно. Но когда крепко выпью, то тогда...— он поднял палец вверх, покрутил им над головой,— только тогда, товарищи, у меня ясность мысли и трезвость ума. Точно говорю!

Язык у него не заплетался, даже наоборот — говорил Терентий Петрович четко, громче обычного, но речь складывалась совсем не такой, как всегда. Это был уже не тихий и скромный прицепщик: что-то смелое и сильное звучало в нем. Он повернулся лицом к хате, против которой остановился, и начал:

— Здесь живет Герасим Иванович Корешков. Слушай, Гараська! — Хотя около хаты никого не было, но Терентий Петрович обращался так, будто Корешков стоял перед ним.— Слушай, что я скажу! Тебе поручили резать корову на общественное питание. А куда ты дел голову и ноги? Унес! Ты думаешь, голова и ноги — пустяк? Три котла студня можно наварить для бригады, а ты слопал сам. Нет в тебе правды ни на грош! Точно говорю. Если ты понимаешь жизнь, ненасытная твоя утроба, то ты не должон тронуть ни единой колхозной соломинки, потому — там общее достояние. А ты весь студень спер, седогорлый леший. Пожилой человек, а совести нет. Бессовестный! —

заключил Терентий Петрович и пошел дальше, не обращая внимания на группу колхозников, последовавших за ним на отшибе.

Позади него послышался негромкий разговор:

— Бегал смотреть на Гараську?

— Смотрел. Стоит в сенях, ругается потихоньку, а не вышел.

— Непоздоровится теперь Герасиму от студня.

— Коровьей ногой подавится.

И немного спустя опять спросил первый голос:

— Интересно, куда теперь пойдет Терентий Петрович. В прошлом году у Киреевых останавливался...

Но Терентий Петрович прошел мимо дома Киреевых и неожиданно остановился у Порукиных. Егор Порукин никогда не был замечен в воровстве, минимум у него давно выработан, поэтому остановка здесь была для всех интересной. Кто бы и что в колхозе ни натворил, народ рано или поздно узнает, хотя виновному и кажется, что все шито-крыто.

Однако если о студне разговор по селу был настойчивый, то о Порукине никто ничего не слышал, и нельзя было даже подумать о чем-либо плохом. А Терентий Петрович стал в позу оратора, засунул руки в карманы брюк и заговорил:

— Здесь живет Порукин Егор Макарыч. Давно я хотел до тебя дойти, Егор Порукин, да все недосуг. Слушай меня, что скажу!

Егор Макарыч вышел со двора на улицу и, не подозревая ничего плохого, подошел к группе колхозников.

— Здоро́во! Чего это Терентий у меня стал?

— А кто ж его знает,— ответило несколько голосов сразу.— Выпил человек — спросу нет.

Терентий Петрович, конечно, видел, что Егор Макарыч вышел из дому, но не обернулся к нему, а стоял так же прямо против хаты и продолжал:

— Нет, ты слушай! У тебя, Егор, корова — симменталка, дает двенадцать кувшинов молока. Хоть ты и говоришь «пером не мажу, а лью под блин масло из чайника», но промежду прочим, на твои двенадцать кувшинов плевать я хотел «с высоты востока, господи, слава тебе!», как поется у попа.— Тут Терентий Петрович передохнул маленько от такой речи и поправил картуз.— Та-ак! Ни у кого в колхозе такой нет: пять тыщ стоит твоя скотина!

А спрошу-ка я: откуда у тебя взялась она? Где ты такую породу схапал?

Вдруг Егор Макарыч решительно зашагал к Терентию Петровичу и, остановившись перед ним, сказал решительно:

— Уйди! — широкоплечий, в синей праздничной рубахе и хромовых сапогах, он нахмурил брови, прищурил один глаз и сердито повторил: — Уйди, говорю! Плохо будет!

Но тут из кружка молодежи вышел тракторист Костя Клюев. Он стал лицом к Порукину, а спиной к Терентию Петровичу, повел могучим плечом и сказал басовито:

— Не замай, Егор Макарыч. Выпил человек — спросу нет.

Порукин смерил взглядом Костю и, будто убедившись в своем бессилии, плюнул и ушел к себе во двор, хлопнув калиткой.

А Терентий Петрович сначала обратился к Косте:

— Правильно, Костя. Действуем дальше! — Затем продолжал начатую речь: — Нет, Егор Порукин, ты будешь слушать. Так. Три года назад ты взял из колхоза телушку-полуторницу, а отдал в обмен свою. Это точно: в колхоз — дохлятину, а себе — породу. Хоть и поздно об этом узнали, но слушай. Ты за что тринадцатого председателя поил коньячком «три свеклочки»? Ты и Прохору Палычу такой напиток вливаешь. Думаешь замазать? Затереть? Не-ет, Егорка, не пройдет! Ты понимаешь, что этим самым мы колхозную породу переведем? У нас и так недодой молока, а ты махинируешь. Мошенник ты после этого, Егор! Точно говорю, товарищи! — заключил он и пошел дальше.

Молодежь, всегда такая шумливая и неугомонная, во время «обхода» вела себя смирно и тихо. Слушали внимательно, изредка переговариваясь или смеясь негромко. Иногда и нельзя было не засмеяться. Вот, например, остановился Терентий Петрович против хаты санитарного фельдшера (фельдшеров в колхозе трое и один врач). Остановился и ухмыльнулся. На крыльце стоял сам фельдшер Семен Васильевич.

— Приветствую, Семен Васильевич! — поклонился Терентий Петрович.

— Здорóво, Терентий Петрович.

— Живем-то как?

— Помаленьку. Ничего себе.

— Ну, как: мухам теперь — гроб?

— Гибель. Смерть мухам! — серьезно ответил Семен Васильевич, а сам нетерпеливо то засовывал пальцы за пояс, то вынимал их. Человек уже в годах, больше пятидесяти, с добрым животом, а беспокоится: что же заставило Терентия Петровича остановиться при «обходе»?

— И комарей душить будем снова?

— Ни одного комара в живых. Малярия теперь — тю-тю! Поминай как звали! — пробовал шутить фельдшер, поглаживая рукой красновато-рыжие усы.

— Вот и я говорю: если вы есть врач-муходав или там, скажем, насчет душения комарей, то это тоже хорошо. Муха — она враг народного здоровья: где муха, там бескультурье. Точно. Муходав — это хорошо. Но только зачем же кота отравил, Семен Васильевич? А? Кот — животное полезное для домашнего хозяйства. Вы же сами читали лекцию, что кот — враг мышей, а мышь несет в себе... ту-ля-ре-мию. Так я сказал? Так. А сам отравил кота мушиным порошком. Нет, так нельзя!

— Так то ж нечаянно случилось. Есть, конечно, вина и наша, неосторожность... На кошкину пищу случайно попала повышенная дозировка.

— А кота-то теперь у меня нет! — воскликнул Терентий Петрович.— Сам-то я мышей ловить не способен.

— Я вам, Терентий Петрович, могу подарить очень хорошего котенка,— уже весело говорил фельдшер, видимо радуясь, что дальше кота дело не пошло.

— Благодарность за котенка! Не обижайтесь, Семен Васильевич! Человек выпивши, словам удержу нет. А что касается того, что вы лично с Матрены Щетинкиной взяли петуха, а с Акулины Степановны — окорок, а с Васильевны — гуся, жирного-прежирного, а Матрена Егоровна принесла вам за женские болезни миску сливочного масла, то об этом говорить не будем. В писании у попа так и записано два лозунга: «Дающая рука не оскудеет» и «Отруби себе ту руку, которая себе не прочит». Бабы действуют по первому лозунгу, а вы, значит,— по второму. Прошу извинения, Семен Васильевич! Об этом говорить не будем. Бывайте здоровеньки!

Семен Васильевич уже пятился задом к двери, шевелил усами, как таракан, бормоча:

— Невозможная личность. Прицепился, как... То есть,

как это самое... Действительно, невозможный.— И наконец он скрылся в сенях.

Так Терентий Петрович обходил все село, останавливаясь против тех домов, где он считал нужным высказать критические замечания. Критиковал он действительно невзирая на лица и только там, где проступки заслуживали общественного порицания. Чаще всего о таких уже шептались втихомолку, но Терентий Петрович говорил вслух и громко, и никуда уже нельзя было скрыться от невидимого суда народа. Около квартиры секретаря сельсовета он остановился и коротко обличил:

— Для советского человека — позор! Ты должен пример показывать, а сам по чужим бабам шляешься. У тебя же дитенок есть, маломысленный ты человек! Ты ж себе душу чернилом вымазал, беспутный! Слышишь, секретарь, чтобы этого больше не было. Ни-ни!

Бригадира строительной бригады он отчитал за то, что тот колхозными досками замостил полы в своем доме; заведующую птицефермой уличил в растранжировании яиц.

К вечеру Терентий Петрович, возвращаясь домой, заходил к хорошим друзьям, которых у него было множество, добавлял внутрь до окончательной своей нормы, целовал напоследок Костю Клюева и, выписывая кривую, продвигался помаленьку домой, где его ожидала жена — тихая и работящая, такая же скромная, как и муж ее в трезвом виде. Терентий Петрович старался идти вдоль линии телеграфных столбов или вдоль радиолиний. При этом он останавливался у каждого столба, стоял некоторое время, прислонившись спиной, затем нацеливался на следующий столб, мотал головой, еще раз нацеливался и говорил: «Дойду. Точно дойду. Ну, Тереша, смелее!» — и решительно направлялся к следующему столбу. Шел, конечно, не по прямой, но цели достигал и давал себе небольшой отдых. Так, короткими перебежками он и добирался до дому.

Утром Терентий Петрович вставал как ни в чем не бывало и отправлялся на работу точно к назначенному времени. Не подумайте, чтобы он выпил и на следующий день! Нет! Такого никогда не случалось. Не скоро выпьет теперь Терентий Петрович: может быть, даже через год. Но после этого дня в правлении появился Герасим Корешков и зашептал счетоводу, что-де принес деньги за «сту-

день», а то все равно доймут — раз Терентий на «обходе» сказал, то доймут.

Егор Порукин, проходя мимо трактора в поле, спросил Терентия Петровича:

— Что же это ты на меня наорал вчера?

— Выпил, Егор Макарыч, выпил... Ничего не помню. Если не так, поправь меня,— скромненько отвечал Терентий Петрович.

Фельдшер, Семен Васильевич, вечером следующего дня принес серого пушистого котенка. Немного посидел, пока Терентий Петрович мылся после работы, а потом все-таки сказал:

— Зря, Терентий Петрович, вчера говорил. Ой, зря!

— Это о чем я говорил? О мухах — помню, а больше, убей, не догадаюсь.

— Ты-то забыл! А народ болтать будет.

— Ну так то ж народ, ему на роток не накинешь платок. А я-то при чем? Забыл, Семен Васильевич,— вздыхал Терентий Петрович.— Если чего неправду наговорил, то меня же люди осудят, а если правду сказал, то колхозники и до меня небось знали. Тут и обижаться нечего. Мало ли чего выпивший человек скажет? Хорошо скажет — слушай, нехорошо скажет — пропущай мимо уха. Да-а-а... А котеночек хороший... Ишь ты, мяконький какой... Кс-кс-кс! Ишь ты!.. Это кто же — кот?

— Кот.

— Ко-от! Смотри-ка, какой ласковый... Кот?

— Кот,— в сердцах ответил фельдшер.

— Да-а... Кот, значит. Может, вы со мной, Семен Васильевич, борща покушаете? С баранинкой борщочек-то.

— Спасибо. Поужинал.

— А я вот только собираюсь покушать... Ишь ты, лезет на стол уже — умный кот. Кс-кс-кс!

Одним словом, у Терентия Петровича в обычной жизни хитринка была довольно тонкая. Но однажды случилось так, что ни хитринка, ни спокойствие не спасли его от нарушения правил агротехники: хоть чуть-чуть, а нарушил.

Было это в первый день весеннего сева. С утра Терентий Петрович притащил ящичек с разными мелкими запасными деталями к тракторным сеялкам. В ящичке были шплинты, болтики для сошников, жестяные задвижки к высевающим аппаратам, гаечные ключики разных раз-

меров, кусочки проволоки, нарезанные по стандарту, заклепки, запасной чистик, масленка, три-четыре напильника и другие вещи, необходимые для работы прицепщика на сеялках. Все это лежало не как-нибудь, а в соответствующих клеточках — отделениях, па которые разделен ящичек. Все трактористы знали, что Терентий Петрович очень любит порядок, и никто из них никогда не лез самовольно в его маленький склад.

Если же Косте требовался, скажем, маленький гаечный ключик (большие-то у него были, а маленькие постоянно терялись), то он говорил:

— Терентий Петрович, разрешите «девять на двенадцать»?

Тот открывал свой ящик-склад, безошибочно, не глядя, брал с определенного места нужный ключ и подавал со словами:

— Утеряешь — не обижайся.

— Ну что вы, дядя Терентий!

— То-то же! Должен ты понимать, что мы через какой-нибудь копеечный шплинт можем полдня стоять в самое горячее время. А без такого ключика и вовсе беда. (Дать такое наставление Терентий Петрович считал необходимым.)

Но Костя Клюев, такой старательный и честный парень, все-таки терял ключики — не держались в его крупных руках мелкие вещи. Так случилось и в тот день.

Терентий Петрович привинчивал свой ящик к раме сеялки. Костя ладил что-то у трактора. Агрегат с двумя сеялками стоял уже полдня в ожидании того, когда подсохнет почва и можно будет сеять. В поле было тихо, безветренно.

В чистом, прозрачном воздухе черной точкой висел жаворонок и беспрестанно звенел. В другое время — в конце весны и летом — его не видно в мареве, а сейчас — вот он! — смотри, пожалуйста, и слушай.

— Во-он! Видишь? — показал Терентий Петрович пальцем на жаворонка.

— Во-он! — подтвердил Костя.— И птица же! Кроха, а не птица!

— Кажись, дунь на нее — и пропала. А ни один человек не обидит такую птичку. Ласковая птичка, веселая! — восхищался Терентий Петрович.— Ты только подумай: какую ни возьми птицу — она поет либо вечером, либо ут-

ром, или, скажем соловей,— ночью. А эта — только днем, когда человек работает. Жаворо́нка — птичка такая, что ей цены нету. Человек целый день работает под ее песню. Вот, допустим, мы с тобой сеем. Ничего нам за трактором не слыхать. И вот мы с тобой, скажем, уморились и стали на заправку или на обед, а она, жаворо́ночка, тебе песенку и сочинит. И на душе от этого весело, и аппетит к работе повышается. Точно, Костя! Такая птичка — незаменимая в сельском хозяйстве. И она понимает, что человек ее любит. Если напал на нее коршун, то она куда, думаешь, бросается? Либо в сеялку, либо прямо за пазуху, под ватник. Отличная птичка!

— Вот кукушка — тоже днем, ну какая-то она... не особенная.

— Кукушка — дрянь, лентяй птица. От нее в трудовой жизни никакой помощи, а так — чепуха птица... А эта — слышь? И сколько у нее ладов разных в голосе!

Они постояли некоторое время, прислушиваясь к жаворонку, и снова принялись за свое дело, но чуть не каждые десять минут Терентий Петрович отходил на несколько шагов от агрегата, пробовал ногами и руками почву.

— Не годится — сырая... Да когда же ты, матушка, поспеешь? — разговаривал он с землей.— Свой срок любишь. Ну ладно...

— Может, попробуем? — нерешительно спрашивал Костя.

— Здоро́во! Попробуем! Не видишь, что ли? Тут у самого все нутро дрожит — сеять скорее, а раз нельзя, значит, нельзя.

Уже дважды приезжал бригадир полеводческой бригады, как из-под земли вырастал на своем мотоцикле бригадир тракторного отряда, уже заезжал и директор МТС — волнение в поле нарастало по мере подсыхания почвы, но каждый из них, подходя к сеялкам, говорил вопросительно:

— Сыровато, Терентий Петрович?

— Нельзя,— отвечал тот.— Будьте спокойны, часу не упустим.— При этом он брал горсть земли, сжимал ее в своем маленьком кулачке, с силой бросал на пашню и говорил: — Видишь, не рассыпается? Вы не судите по дороге. Дорога, она высыхает много раньше. По дороге кати куда хочешь, а сеять — сыро. По нашей земле посей

так, то и никакого урожая не будет. Заклекнет пашня черепком, хоть блины пеки. Так и называется наша почва — обыкновенный чернозем суглинистого механического состава.

Что и говорить, полное доверие Терентию Петровичу в трудовой деятельности! Отлично знает он прицепные машины и агротехнику, совсем не хуже участкового агронома.

Так-то оно так, но Костя ключик все-таки потерял. Терентий Петрович заметил это уже тогда, когда тот начал ковырять пашню всеми десятью пальцами и бурчать вполголоса:

— Или черт нечистый ключами стал питаться? Скажи, как провалился в землю! Сейчас вот держал в руках — и нету... Тьфу! — и ковырял землю уже огромным ключом, потерять который никак невозможно, разве только запахать плугом.

Терентий Петрович подошел вплотную и спросил:

— Я тебя предупреждал?

— Ну вот, честное слово, сейчас держал в руках — и нету! Как в тартарары!

Присев на корточки и переговариваясь, они стали копаться вдвоем.

— Вот тут ты стоял,— говорил Терентий Петрович,— вот тут завинчивал, а тут он и должен бы упасть.

— Тут, конечно. Не бывает же у гаечных ключей крыльев, не мог же он улететь! — восклицал Костя, разводя руками.

В этот самый момент легковая автомашина остановилась на дороге против наших сеяльщиков.

Дверца машины открылась не сразу. Видно, из кузова наблюдали за тем, как двое копались в земле. Терентий Петрович тихо, будто боясь, что его услышат из автомашины, сказал:

— Вставай, Костя!

— А ключик?

— Приметь место.

— Думаешь, секретарь райкома?

— Нет. У того машина зеленая, а эта черная. Зеленая часто в поле бывает, а эта — раз в год, в начале сева.

Они поднялись. Костя нагнулся над пускачом трактора, Терентий Петрович заглянул под шестерни сеялки: оба делали вид, что заняты подготовкой агрегата, искоса

посматривая на автомашину. Вдруг дверца рывком отворилась, и из машины сперва вылез, сгорбившись, главный районный агроном Чихаев, высокого роста и полный, а за ним — не вышел, а выскочил как угорелый — товарищ Недошлепкин, в то время еще бывший председателем райисполкома и другом-попечителем председателя колхоза Прохора Палыча Самоварова. Чихаев остался около автомашины, а Недошлепкин поправил очки и решительно, как в боевое наступление, двинулся к сеялкам. Но, зайдя на пашню, прилип калошами к влажной почве, и одна из них соскочила с ноги.

Не обращая внимания на трудности, он кое-как вдел ногу в калошу и, шлепая, приблизился к Терентию Петровичу.

— По какой причине агрегат находится в преступном простое?

— Сыро, товарищ Недошлепкин. Сеять нельзя. Заметьте, калошки-то липнут. Наши почвы...

— Что это за сырые настроения! Я думаю, немедленно сеять! — уже приказывал Недошлепкин.— Соседний район уже имеет пятнадцать процентов плана, а мы — четыре! Срыв! Полный срыв! Заводи трактор! — крикнул он Косте.

Костя, по неопытности в обращении с начальством, струсил и рванул ремень пускача, и тот застрекотал пулеметной очередью, заглушая крик председателя райисполкома. Было видно, как Недошлепкин открывал по-цыплячьи рот, произнося указания, размахивал руками, но слов его не было слышно. Терентий Петрович спокойно стоял на подножке правой сеялки и ждал, когда замолчит пускач. Наконец пускач успокоился, и трактор запыхтел сосредоточенно, ровно и тихо. Тут-то и посмотрел Костя на Терентия Петровича. Тот отрицательно покачал головой, давая понять, что никакого дела не будет: надо стоять.

— Товарищ Недошлепкин! Нарушение агротехники — это же прямое преступление. Почва не готова — сеять не можем. Мы ждем. Будьте покойны, часу одного...

— Что-о-о-о! Я — преступление? — Недошлепкин рванулся к кабине трактора, снова потерял калошу, поднял ее обеими руками и грозно вопросил: — Как фамилия?

И крупный человек Костя, а стушевался.

— Клю... Клюев Константин,— выдавил он.

— Запишем! Примем меры! Как фамилия? — круто повернулся Недошлепкин к Терентию Петровичу.

— Климцов,— спокойно ответил Терентий Петрович.

— Приму меры! Пожалеете! Срыва плана не допущу! Вперед! Я полагаю — вперед! — И Недошлепкин поднял вверх калошу, как железнодорожник сигнальный флажок перед отправлением поезда.

Терентий Петрович резко повернулся к Косте и махнул рукой:

— Давай!

Сеялки поползли по сырой почве, накатывая ее катышками, примазывая дисками и оставляя семена незаделанными.

Недошлепкин сел в автомашину и помчался форсировать темпы выполнения плана, а Терентий Петрович, не отъехав и ста метров, велел Косте заглушить трактор и сказал:

— Ну, Костя, давай теперь заделывать семена ногами. Все равно стоять... Да, оно, видать, только завтра и годится сеять.

Теперь они оба закрывали семена почвой, набрасывая ее носками сапог. Им стало скучно до невозможности. Сначала работали молча, а потом поругались.

— Ты зачем завел трактор? — со злобой шипел Терентий Петрович.

— А ты зачем махнул рукой, чтобы ехать? — басом, во весь голос кричал Костя.

— Если бы ты не завел, то я бы не махнул.

— А если бы ты не махнул, то я бы не поехал.

— Ты главная фигура — тракторист. Сказал бы: «Не поеду!» — и все тут,— наступал Терентий Петрович.

— Я тебя везу,— бубнил Костя,— а ты качество делаешь. Сам так говорил. Кто же главная фигура?

— Ты.

— Нет, ты,— упорствовал Костя.

— Ну, сей один, если я главная фигура. Сей!

— Буду и один сеять.

— Ну и сей! Пожалуйста, сей, сделай одолжение!

— А что ж, думаешь, не буду? Вот возьму да и поеду по сырой почве. В случае чего, скажу — Недошлепкин приказал.

— Я тебе поеду по сырой! Во вредители колхозного строя хочешь идти? Иди, иди! Сей по сырой, маломыслен-

ный человек. Я тебе! — И Терентий Петрович подскочил к Косте.

Костя дернул головой, шапка его соскочила с головы, и вдруг... Терентий Петрович просветлел! Из-за отворота Костиного треуха выпал ключик «девять на двенадцать».

Костя поднял его, отряхнул, дунул на него, вытер о засаленный ватник и, уже улыбаясь, сказал:

— Примите, Терентий Петрович. Сунул по рассеянности за шапку и забыл.

— Да тут отца родного забудешь,— смущенно поддержал Терентий Петрович, будто в утере ключика был повинен не Костя, а кто-то другой.

Несколько минут спустя они уже курили, сидя рядом на ящике сеялки, и Терентий Петрович говорил:

— И что только может человек наговорить сгоряча!.. Как я тебя?

— Вредитель колхозного строя! — И Костя заразительно захохотал.

Терентий Петрович тоже захохотал и сквозь смех, подражая Недошлепкину, взвизгнул:

— Впере-ед! Я полагаю — вперед!

К вечеру они проехали пробный ход, и Терентий Петрович заключил:

— Завтра, часов с одиннадцати, начнем во весь разворот. Ну, Костенька, дожили до посевной. В грязь лицом не ударили. Выдержали.

— Факт.

Посевная прошла отлично. Костя Клюев дал самую большую выработку на трактор. Лучшего качества сева, чем у Терентия Петровича, нигде, конечно, тоже не было.

Вскоре после посевной, накануне прополочной, созывалось районное совещание передовиков сельского хозяйства. Правление колхоза выделило делегацию, в которой первым по списку значился Терентий Петрович. Люди были подобраны самые передовые, в этом никто не сомневался, но встал вопрос: кому выступать от лица колхоза? Костя — хорош, но в ораторы не годится. Илья Семенович Раклин второе место занял после Кости, но голос хрипловатый. Терентий Петрович разве? Все согласны, но... рост уж очень мал: станет за трибуной и — каюк! — скрылся из виду.

Этого, конечно, никто вслух не говорил, но мысль такая витала у многих. Наконец бригадир Платонов сказал так:

— Думать тут нечего. Если Терентию Петровичу стать сбоку трибуны, то лучшего человека не найти. Голос, как у певчей птицы, тон знает, сказать умеет, лучше его никто не сложит.

Было это еще в те, теперь уже давно ушедшие в прошлое, времена, когда председателем колхоза состоял Прохор Палыч Самоваров. После заседания правления он просмотрел список делегатов, вычеркнул всех бригадиров — за «недисциплинированность» — и написал на углу «утвердить».

Счетоводу он велел составить речь для Терентия Петровича и самолично ее поправил. Оратора вызвали в правление, и председатель изрек:

— Выучишь наизусть. Чтоб без запинки. Перед всем районом отвечаешь за колхоз и за мое руководство.

— Да я сам-то, может, лучше надумаю.

— Но, но! — пристукнул легонько по столу Прохор Палыч.— Бери пример с работников районного масштаба. Они как? Положит листок на трибуну, прочитает во весь голос, а потом уж смотрит на собрание. А ты что? Хочешь так прямо сразу и глаза лупить на всех? Не полагается. Я, Самоваров, установку тебе дал. Выполняй!

Терентий Петрович взял речь, свернул вчетверо, сунул в боковой карман и вышел. То ли ему не понравилось сочинение счетовода, то ли еще по какой причине, но перед самым отъездом он заявил:

— Речь читать не буду.

Это было уж чересчур, и Прохор Палыч вспылил. Делегаты уговаривали Терентия Петровича, но он упорно отказывался.

Ходил задумчивый, иногда шептался о чем-то с Костей, ходил к Евсеичу и тоже шептался с ним, о чем-то секретничал с бригадиром Платоновым. И вдруг столь же неожиданно, будто у него созрело какое-то решение, заявил:

— Ладно, речь читать буду.

Совещание открыл секретарь райкома Иван Иванович.

Он хоть и новый в районе человек, но колхозники успели его полюбить за простоту, ум и прямоту характера.

В своей речи он сказал, что у нас есть много таких колхозников, которые овладели машинной техникой, знают агрономию, совсем разучились плохо работать, что это новые люди — строители коммунизма, что это большие люди, что по своему труду они — вожаки масс. В числе других передовых колхозников он упомянул и прицепщика Терентия Климцова.

Терентий Петрович слушал и вспоминал, как Иван Иванович не раз заезжал к нему на сев и, не дойдя еще несколько метров, уже здоровался:

— Привет Терентию Петровичу! — А подойдя, подавал руку и спрашивал: — Как успехи?

— Двадцать пятый гектар добираем сегодня.

— Вот это да! Мне, Терентий Петрович, у вас, честное слово, нечего делать! Но, знаете, все-таки буду заворачивать. Мы ваш метод — заезды, засыпка семян на ходу, технический уход, часовой график — уже пропагандируем. Завтра к вам заедет корреспондент районной газеты.

Иван Иванович закончил свою короткую простую речь. У Терентия Петровича было радостно на душе. Он аплодировал вместе со всеми и вдруг увидел в президиуме Недошлепкина.

Стало почему-то сразу скучно, и возникла жгучая потребность громко, на весь зал сказать о своем неудовольствии.

В перерыве он подошел с Костей к буфету.

— По сто? — спросил Костя.

— Можно,— подтвердил Терентий Петрович, но скука его не прошла. Он угрюмо взял стопку, чокнулся с Костей, но пить не стал — задумался.

Костя опрокинул свою стопку, воткнул вилку в сардельку и недоуменно спросил:

— Ты что ж, Петрович?

Терентий Петрович ничего не ответил. Он оставался в задумчивости и слушал духовой оркестр, исполнявший вальс.

— Что с тобой? — участливо повторил Костя и, нагнувшись к его уху, прошептал: — Ты ж хотел как на «обходе»... Пей.

— Нет. Не буду пить, Костя.

— И говорить не будешь? — удивился тот.

— Буду.

— Так для смелости и долбани чуть... Сто — ничего не означает, а сил прибудет.

— Нет, не буду. Чую я в себе сейчас силу и без водки. Понимаешь, Костюшка... Не надо пить.— И Терентий Петрович уже открыто взглянул на своего молодого друга.

Костя заметил в его глазах какой-то сильный и смелый огонек.

— Не надо мне сейчас пить! — решительно повторил Терентий Петрович.

Они вошли в зал и заняли свои места.

— Слово предоставляется лучшему прицепщику района товарищу Климцову Терентию Петровичу,— объявил председательствующий, главный агроном товарищ Чихаев.

Терентий Петрович поднялся на сцену. Он стал сбоку трибуны и, держа перед собою заготовленную ему «речь», начал читать унылым голосом, без чувства и без выражения, что совсем на него не было похоже.

— «Товарищи передовики района! — читал он.— Товарищи руководители района! Исходя из соответствующих установок высших организаций и на основе развернутого во всю ширь соревнования, а также под руководством районных организаций и председателя колхоза мы одержали громадный успех в деле выполнения и перевыполнения весеннего сева на высоком уровне развития полевых работ и образовали фундамент будущего урожая как основу нашей настоящей жизни в стремлении вперед на преодоление трудностей и...» Ох! — вздохнул Терентий Петрович и посмотрел в публику. А раз посмотрел в публику, то потерял строчку. Но он, однако, не смутился, а честно объявил: — Потерял, товарищи... Ну, пущай, ладно. Я с другой строчки пойду.— И продолжал: — «Мы, передовики колхоза «Новая жизнь», под напором энтузиазма закончили сев в пять дней...» Ага! Вот она! Нашел! Та-ак... «В пять дней... И мы, передовики колхоза «Новая жизнь», обязуемся вывести все прополочные мероприятия в передовые ряды нашей славной агротехники и на этом не останавливаться, а идти дальше — к уборочной кампании в том же разрезе высших темпов. И мы, передовики колхоза «Новая жизнь», призываем вас, товарищи передовики нашего района, последовать нашим стопам в упорном труде».— Тут Терентий Петрович вдруг прервал чтение, по-

смотрел еще раз в публику и сказал: — И тому подобное, товарищи. А теперь я скажу от себя.

Кто-то зашипел в публике, и Терентий Петрович увидел, что Прохор Палыч Самоваров делает ему знаки, воспрещающие дальнейшее выступление. Председатель совещания призвал звонком к порядку и сказал, повернувшись к оратору:

— Продолжайте.

— Товарищи! — начал снова Терентий Петрович.— У нас совещание лучших людей. Мы должны и поделиться опытом, и отметить недостатки. Я дам сперва наводные вопросы и буду на них отвечать.— Голос у него становился чистым, четким, взгляд — веселым и хитроватым.— Я спрашиваю: зачем нам понаписали вот эти шпаргалки? — Он потряс в воздухе «речью».— Ведь все читаем готовое, всем понаписали счетоводы. Или мы маломысленные люди? Это ж обидно, товарищи! (Зал загудел одобрительно.) Мне бы надо говорить о часовом графике на севе, а меня заставляют читать «последовать нашим стопам». Да на что они мне сдались, эти «стопы», прости господи! Отставить надо такую моду, товарищи. Это раз. Еще наводной вопрос к главному агроному товарищу Чихаеву: может ли председатель райисполкома нарушать правила агротехники весеннего сева? Может ли он заставить сеять по грязи?

Зал заволновался и слегка загудел. Недошлепкин потянулся было рукой к звонку, но Иван Иванович горстью захватил звонок и тихо придвинул его к себе, не отрывая, однако, взгляда от Терентия Петровича. Чихаев сначала покраснел, потом вспотел и уже не высыхал до самого конца совещания. Он все же ответил на вопрос Терентия Петровича:

— Он, конечно, может, но не должен... То есть должен, но не может. Как бы сказать...

Недошлепкин был, видимо, доволен таким ответом.

А Терентий Петрович слушал, подавшись вперед и оттопырив рукой ухо, и вдруг, выпрямившись, рубанул:

— Вы, товарищ Чихаев, были вместе с товарищем Недошлепкиным около моей сеялки. Почему вы даже не подошли к сеялке? Почему не запретили незаконный приказ районного начальства? Когда это самое кончится? Това-

рищи передовики! Каждый из нас — хозяин своего дела. Почему товарищ Чихаев не хозяин своего дела? Я, прицепщик,— хозяин, а почему Чихаев болтается по колхозам, как пустая сумка? Зарплату получил — и ни клоп в лысину. Нельзя так, товарищи! Нельзя! Партия требует от нас, народ требует отдать все силы на строительство коммунизма!

Последние слова Терентий Петрович произнес твердо и настолько убежденно, что гром аплодисментов заполнил зал и долго рокотал, то затихая, то усиливаясь вновь. Иван Иванович хлопал в ладоши так же сильно, как Терентий Петрович хлопал раньше ему. Но Терентий Петрович продолжал еще стоять около трибуны и наконец поднял руку.

Аплодисменты стихли. Только Костя еще несколько раз хлопнул дополнительно, но это никому не показалось неуместным.

— А вы, товарищ Недошлепкин,— звонко продолжал Терентий Петрович,— лезли ведь к агрегату по грязи, даже калошку свою утеряли и вынесли ее, несчастную, на руках! Вы что же думаете, мы после вас сеяли? Да нет же, не сеяли! И вы думаете, меня накажете? Нет, не накажете, точно вам говорю. С работы меня снять невозможно никак. А я спрашиваю: когда кончится такое? Когда мы перестанем для сводки нарушать агротехнику и понижать урожай? Это же делается без соображения. Точно говорю, товарищи: без со-обра-же-ния!

И снова аплодисменты сорвались, будто огромная стая голубей захлопала разом крыльями. Недошлепкин отодвинулся со своим стулом от стола президиума, потом подвинулся еще в сторону и таким манером скрылся от взглядов публики.

Он, правда, тоже хлопал, но ладони его при этом не соприкасались. Если бы все вздумали так хлопать, то аплодисменты были бы абсолютно бесшумны. С Чихаева пот лил ручьями, он покашливал, смотрел то на потолок, то под стул и ерзал на стуле беспрестанно.

Когда Терентий Петрович спустился по ступенькам со сцены и зал притих, секретарь райкома встал и сказал:

— На вопросы, поставленные товарищем Климцовым, я постараюсь ответить в конце совещания. Вопросы он поставил чрезвычайно важные. Но сейчас скажу одно: спа-

сибо вам, Терентий Петрович! За правду спасибо! Райком партии вас поддержит.

И снова зал аплодировал так же сильно.

Вот как выступил Терентий Петрович! И ведь ничего не выпил — ни грамма! — а заговорил полным голосом перед делегатами большого совещания,— на весь район заговорил!

Ну и Терентий Петрович!

ТУГОДУМ

Удивительный случай произошел в колхозе «Новая жизнь». Никогда такого не было. У председателя колхоза Петра Кузьмича Шурова в кабинете оказались на столе четыре горшка молока, миска сливочного масла, накрытая чистой полотнянкой, две пустые базарные корзинки и коромысло.

— Чей это маслобойный завод? — спрашивал он, улыбаясь, у бригадира Платонова.

— Не ведаю,— отвечал тот и брал в руки коромысло, рассматривая его внимательно.— Метки никакой нет.

— Не из твоей ли бригады? — переводил взгляд Петр Кузьмич на Алешу Пшеничкина.

Пшеничкин щупал корзинки, заглядывая внутрь, исследовал горшки, недоуменно разводил руками и, в свою очередь, спрашивал:

— Кто принес-то?

— Ребятишки. Около дороги в траве нашли.

Петр Кузьмич поспрашивал еще кое-кого, подумал и решил вывесить объявление о находке.

Счетовод Херувимов написал объявление тонко, с хитрецой:

«Объявление

Июня двадцатого дня найдено нижеследующее продуктовое имущество:

1. Горшков с молоком: штук — четыре.

2. Мисок сливочного масла (зеленая): штук — одна.

3. Корзинок базарных, наполненных вышеупомянутым: штук — две.

4. Коромысло обыкновенное (без примет): штук — одна.

Заинтересованной личности обратиться к председателю колхоза. Во избежание прокисания все найденные восемь мест помещены на временное хранение в колхозный ледник до востребования».

Петр Кузьмич прочитал объявление, хитровато улыбнулся и сказал:

— Пусть будет так. А лучок попридержим. Интересно!

Килограмма два лука-репки он выложил из найденных корзин в ящик письменного стола и запер на ключ. В объявлении лук не значился. Бригадирам он почему-то тоже о нем не сказал.

Молва о находке распространилась по колхозу, обошла и поле и фермы. Перед вечером народ толпился около объявления, и каждый высказывал свои замечания. А Петр Кузьмич работал в своем кабинете и помаленьку слушал через открытое окно.

— Корзинок базарных... Коромысло обыкновенное...— прочитал Евсеич.— Так, так. Ясно дело, человек шел на базар. Кто ж бы такой это был? — спрашивал он не то у самого себя, не то у присутствующих.

— Разве Матрешка Хватова? — предположил конюх Данила Васильевич.

— Нет, та копнила сено на лугу. И сейчас там копнят,— ответил Евсеич.— Главное дело, почему корзины поставлены в траву? Не иначе, тут конфуз какой-нибудь получился. Ясно дело.

Терентий Петрович Климцов пришел позже. Он тоже прочитал объявление и спросил, обращаясь скромненько ко всем сразу:

— А может, Сидор Фомич Кожин?.. Нет, не он, у того в корзине должен быть обязательно лук-репка, а тут лук не обозначен. И вроде бы он был сегодня на работе. Был Сидор на работе?

— Был,— ответило ему несколько голосов сразу.

— Кто ж бы это мог быть? — совсем тихонько проговорил он.

— Терентий Петрович! — позвал из открытого окна Петр Кузьмич.— Зайдите-ка ко мне на минутку по одному дельцу.

Терентий Петрович тщательно вытер ноги в сенях и вошел.

— А почему у Сидора Фомича должен быть лук? — спросил председатель.

— А потому, что, кроме него, никто до июня месяца не додержит прошлогодний лук. Он его впятеро дороже продает — полтинник за головку. Человек такой: в колхозе — легкую работу, а дома — до поту.

— А если в корзине лук?

— Тогда — он.

Петр Кузьмич поманил к себе Терентия Петровича и отодвинул ящик письменного стола. Терентий Петрович как глянул, так и воскликнул:

— Он! Точно говорю, он. «Тугодум» — по прозвищу.

— Так, так. Теперь надо выяснить обстоятельства, при которых все это оставлено в траве. Придется послать за ребятишками.

Через некоторое время у двери кабинета председателя стояли двое ребят — Миша Сучков и Валька Силкин.

— Ну, иди! — подталкивал Валька товарища.

— Нет, ты иди первым! — пятился от двери Миша. Мальчик он был смирный и способный, не озорник. — Ты натворил, ты и входи сначала.

Дверь открылась. На пороге стоял Петр Кузьмич.

— Давайте, давайте, ребята. Вы мне очень, очень нужны. Без вас тут вопроса решить нельзя.

Валька вошел и снял фуражку, попробовал пригладить вихорок на голове над виском, но вихорок не подчинился. Курносенькое озорное лицо с острыми глазками обратилось к окну так, будто пришел Валька по особо важному делу и ждет начала разговора.

Миша хотел сначала спросить, как взрослый: по какому, дескать, случаю вызвали, но шмыгнул тонким носиком, помялся на месте, держа перед собою в опущенных руках фуражку, и сказал:

— Пришли.

Петр Кузьмич улыбался одними глазами и смотрел на ребят. Было им лет по двенадцати, не больше.

— Вот что, ребятки, — начал он. — Все, что мы будем здесь говорить, должно остаться тайной. Ни один человек не должен знать о нашем разговоре. — Ребятишки навострились и смотрели уже прямо на Петра Кузьмича. — Первое дело: в каком классе учитесь?

— В четвертом, — вполголоса, будто по секрету, ответили оба сразу.

— Хорошо — уже большие, можно доверить. А отметки как?

— Пятерки,— с достоинством ответил Миша.

А Валька молчал.

— А у тебя?

— По арифметике... тройка.

— Э-э! Как же это так?

Валька посмотрел на пол, увидел там сучок, потрогал его носком чувяка и не ответил. Миша счел бестактным молчание товарища и сказал:

— Он арифметику знает. Только на контрольной записал неправильно условие. Надо было: «Один паровоз вышел со станции А, а другой со станции Б», а он записал: «Паровоз вышел со станции А, а пароход — со станции Б». Пока он думал, на каком расстоянии встретился паровоз с пароходом, время прошло. Так, Валька?

— А тебя спрашивают? Лезет тоже, — недовольно проговорил тот.— А может, железная дорога была вдоль канала Волга — Дон? Ты почем знаешь?

— Так то ж задача,— возразил Миша.

— А канал — это тебе не задача?

— Ну не арифметика же?

— Ну и не лезь!

Спор заходил уже всерьез. Петр Кузьмич счел нужным прервать их.

— А теперь давайте о деле поговорим. Спорить нам нечего: и задачу надо записывать правильно, и на канале все может быть. Оба вы правы.— Ребятишки посмотрели друг на друга уже примирительно, а он вдруг спросил: — Как же вы нашли корзинки?

— В траве,— ответил Миша.

— Это ни о чем не говорит. Расскажите подробно: как шли, куда шли, за чем шли, кто встречался на пути. Все расскажите. Но чтобы после — молчок. Поняли?

— Рассказывай ты, Миша.

— Ишь какой! Ты же сказал: Сид... Ох! — встрепенулся Миша и испуганно посмотрел на товарища.— Ты и рассказывай.

— А кто сказал: давай отнесем корзинки в правление? Ты? Или кто?

— Ладно. Рассказывай ты, Миша,— обратился Петр Кузьмич.

— Ну... пошли мы с Валькой утром рано на подсолнух — дополоть свои паюшки.

— До солнышка,— добавил Валька.

— Идем себе и идем. Тут Валька и говорит: «Давай, говорит, сходим на речку, посмотрим наши верши,— может, рыба попалась».

— Нет, ты первый сказал: «Рыбки бы теперь поймать!», а про верши это я уже потом, после. Ты сказал: «Рыбки бы», а я сказал: «Днем опрыскиватель пойдет по подсолнухам, а дополоть надо раньше».

— А я-то тебе не говорил, что раз на работу идем, то не до рыбы? — спрашивал Миша.— Что я — лодырь, что ли?

— Ну и я не лодырь. Двадцать труднодней имею.

— Похвалился! У меня двадцать три, а молчу.

— Ну, рассказывай ты, Валя,— сказал Петр Кузьмич, всеми силами стараясь сохранить серьезный вид, хотя это было очень трудно.

— Пришли мы к месту,— начал теперь Валька.— Видим: бежит с коромыслом Сидор Фомич. Бежи-ит, труси-ит! Трух-трух-трух-трух...— Он немного помолчал.— Вчера же на наряде все ломали голову, как бы управиться с сеном и подсолнух дополоть — барометр на дождь пошел,— а он бежит на базар. Бежит себе, и ему не совестно.

— Это я сказал так: «Бежит себе, и ему не совестно»,— перебил Миша.

— Да ладно! — отмахнулся Валька.—Ну, шел он и все оглядывался. Мы и думаем: «Бессовестный! Люди — на работу, а он — на базар». Так ведь, Мишка?

— Так.

— Тут я и говорю...— Валька замялся, пристально посмотрел на Мишу, потом на Петра Кузьмича, и лицо его почему-то стало виноватым. Он понизил голос и совсем уже тихо сказал: — Говорю: «Давай корзинки отнесем в правление...» И...

— Стой, стой, Валя! Что-то тут немножко не так. Значит, отняли корзины? — будто ужаснулся Петр Кузьмич.

Миша подвинулся вплотную к Вальке и, слегка толкнув его локтем, сказал:

— Все равно, Валька, узнают. Раз по секрету разговор, то... Раз уж оба придумали, то оба и отвечать давай.

И вдруг Валька оживился, заволновался, вихорок его задрожал, и он быстро заговорил:

— Мы и думаем: «Давай вернем его на работу». Так, Мишка? — Тот кивнул головой утвердительно.— Поравнялся он с нами, мы ему и говорим: «Дядя Сидор! А бригадир сейчас поскакал на базар и говорит: «Поеду посмотрю, кто из симулянтов подрывает скирдование сена». Тут Сидор Фомич остановился и спросил: «Правда?» А мы и говорим: а председатель, мол, сейчас собирается ехать в город — линейка уже запряжена. Сказали мы так и вроде пошли на подсолнух, а сами сели в кустах. Постоял, постоял он и вернулся. Только прошел немного и опять стал. Он же думал как: на базар пойти — там бригадир, вернуться обратно — председатель на линейке встретит. Тогда он сошел в траву, поставил там корзины и пошел домой через сады. Ну, тут мы и говорим: «Давай отнесем в правление».— Валька вытер фуражкой выступивший пот и сконфуженно закончил: — Раз виноваты, то, значит, виноваты. Мы больше не будем.

— Теперь все ясно,— сказал Петр Кузьмич. Он серьезно посмотрел на ребят, встал, подошел к ним, положил ладонь на плечо Миши, потрепал легонько вихорок Вали и сказал: — Я никому не скажу. Но вы больше так не делайте. Не надо, ребята, обманывать. А рыбу ловите, вам ловить полагается. Идет сейчас рыба-то?

— Все больше — линь,— ответил Миша.

— И плотва пошла хорошо,— добавил Валька.— Да все нам как-то некогда.

— Работа. Прополочная,— степенно закончил Миша.

...Все это я записал со слов самого Петра Кузьмича. В тот вечер, совсем в сумерках, мы сидели с ним вдвоем в его кабинете, и он рассказал мне о ребятишках и их находке. Свой рассказ он закончил так:

— А все-таки важно то, что Сидор Фомич шел на базар не с чистой совестью... Не пожелал встречи с бригадиром или с председателем. Это очень важно.

Мы уже собрались уходить, как в дверь кто-то осторожно постучал.

— Войдите,— откликнулся Петр Кузьмич.

В кабинет вошел Сидор Фомич.

— Добрый вечер! — угрюмовато поздоровался он.

— Добрый вечер! — приветливо ответил Петр Кузьмич.— Садитесь, Сидор Фомич.

Но Сидор Фомич не сел, а переминался с ноги на ногу, не решаясь начать разговор. Крепкий на вид, с украин-

скими усами, чисто выбритый, с редкой проседью в рыжеватых волосах он сначала почесал висок, медленно повел плечами, легонько крякнул и без обиняков сказал:

— Значит, лук-то украли... В объявлении не обозначен.

— Так это ваше все? — будто удивился Петр Кузьмич.— Что же раньше не зашли?

— И зашел бы, да... народ тут кругом. Думаю, вечерком схожу.— Он себя чувствовал явно неудобно: то рассматривал стены, то вдруг заглядывал в окно, хотя на улице ничего нельзя было разобрать в темноте.— Значит, лук пропал? А его там два килограмма — рублей на тридцать будет...

— Нет, не пропал. Жалеючи вас, я про лук-то никому не сказал. Все же неудобно: горячая пора в колхозе, а вы — на базар.

— А что ж тут такого? — возразил без особой силы Сидор Фомич.— Я к двенадцати часам дня был бы на работе. Как часы был бы.

— Выходит так — одни будут работать с утра, а другие с половины дня. Так, что ли?

— Продукция...— неопределенно произнес Сидор Фомич.— Огородное дело, как бы сказать, требует.

— А работать в колхозе?

— Мы работаем. Выполняем, как полагается. Сто пятьдесят трудодней за прошлый год имею. Но без овоща нам никак нельзя.

Удивительным мне показалось тогда, что Петр Кузьмич не возражал Сидору Фомичу, хотя можно было бы говорить и о производительности труда и о многом другом. Он только спрашивал:

— А так, между нами говоря, Сидор Фомич: рублей на сто с лишним будет продуктов в двух корзинах?

Тот прикинул в уме, посмотрел в потолок и изложил:

— Лук — тридцать. Молоко — двадцать. Масло — сорок пять. Да. Так примерно рублей на сто должно быть... Кому-то хотелось чужим добром поживиться, да, видно, помеха вышла.— Он даже улыбнулся и повеселел, но ненадолго.

— А как же эти корзины вы потеряли? — спросил Петр Кузьмич.— Интересно!

— Как бы сказать, допустим, я иду...— Он растерялся и искал выхода.— Вижу, что вроде бы облака пошли.

И я, значит, иду... Да! Дай, думаю, за плащом вернусь. А оно вон что вышло.

— За плащом, значит?

— За плащом.

— Значит, облачка находили?

— Облачка. Находили.

Так и не сказал никаких особых речей председатель — все спрашивал да улыбался. Но Сидор Фомич, ссыпавши лук в мешочек, уходил потный и красный, как из бани, и вполголоса говорил:

— А работать будем. Как это так — не работать? Только овощ, он свое время знает. Без этого невозможно. И на базаре овощ требуется. Без этого нельзя.

Вскоре и мы с Петром Кузьмичом разошлись по домам.

Июньские ночи короткие: все кажется — вечер, а глядишь — уже полночь на дворе. Ночь была темная. Тучи плотно закрыли небо, и звезд не было видно. Изредка поодиночке падали капли дождя. В голове возник беспокойный вопрос: «Доскирдовали сено или нет?» И как бы в ответ сначала послышался девичий смех, потом говор людей, и вдруг, наперекор пасмурной погоде, грянула многоголосая песня:

...Ка-алинка, калинка моя,
В саду ягодка-малинка моя...

Кто-то на ходу притопывал, кто-то позванивал о косу в такт песне, под которую хорошо плясать. Люди шли с сеноуборки довольные, веселые, говорливые.

Скоро все стихло.

Земля запахла так, как она всегда пахнет перед дождем в июне. Тут и молоденький, от первых цветов гречишный медовый запах, и душистое — свежее-свежее! — сено, и такой ласковый душок крошки чабреца, даже подорожник, и тот пахнет по-своему. Все это то смешивается в воздухе, то поочередно вырывается струйками. Корни растений в такие ночи издают особый, какой-то прочный, могучий, богатырский земной аромат. Может быть, поэтому среди всех запахов настойчиво побеждает аромат земли. И кажется — земля дышит. А беспрестанный, ровный и напористый рокот тракторов один господствует над всем живым: больше никаких звуков. И если человек, хотя бы однажды, ощутил дыхание такой ночи, то она надолго останется в памяти. Но если человек с детства ды-

шал этим родным и любимым, то никогда он не забудет, где бы ни был, куда бы ни привел его жизненный путь. Хорошо летом в темную ночь перед дождем!

Шел я медленно и думал о Сидоре Фомиче. Я очень давно его знаю, с первых лет своей работы. В бездонной степной темени ничто не мешало воспоминаниям, и передо мною вдруг поплыли прошедшие годы. Что только не вспомнит человек, проживший полвека!

И вот вспомнилось такое...

Было это в 1933 году. У Сидора Фомича корова объелась дурной травы. Пришла из стада и собралась издыхать: живот раздуло бочкой, лежит, ноги вытянула кольями, язык вывалила, кряхтит... Беда! Кончается корова, а до ветеринарного врача — пять километров (тогда во всем районе было только два ветеринара). Жена Сидора Фомича побежала за бабкой Унылихой, единственной бабкой, оставшейся из всех бабок. Присеменила та бабка. Маленькую кружечку с водичкой принесла с собой. Держит она кружечку, как живого звереныша, в обеих ладонях и — вокруг коровы... Шепчет, крестится, водичкой сбрызгивает. А корова уже и ногами дрыгает,— пропащее дело!

Хозяйка с заплаканными глазами дергала корову за хвост и сквозь слезы говорила:

— Ну, вставай же! Вставай!

Сам Фомич растерялся.

— Что же это ты, Машка? А? Бросать нас хочешь, а? Пропадем! Машка!

Случилось мне в тот день проходить мимо хаты Сидора Фомича. Услышал я бабий вой, зашел во двор и увидел всю эту картину.

Сидор Фомич смотрел на меня остановившимися глазами. Брови у него поднялись, усы обвисли, а щетина на давно не бритом лице растопорщилась во все стороны иглами, картуз сбился на сторону и затащил за собой прядь длинных волос, завернувшихся конопляной куделью. Лет ему было тогда не более тридцати, а видно — постарел он за эти минуты. Сначала он смотрел мне в лицо неподвижно, потом проблеснуло в глазах что-то вроде надежды, и он даже шагнул в мою сторону. Но вдруг махнул рукой, будто хотел сказать: «Ну, что там — агроном! Что он понимает по коровьим делам!» — и снова уставил взгляд на корову.

Жена его перестала плакать и смотрела на меня умоляюще. Еще моложавая, русоволосая, с голубыми, блестящими от слез глазами, полнощекая, чуть курносенькая — видно, боевая бабочка, а сейчас вот потерялась вся и всхлипывает.

— Товарищ агроном! Подыхает Машка-то. Как же?

Бабка Унылиха выплескала всю «святую» водичку и тоже растерянно прошамшила, держа пустую и бесполезную кружку костлявым пальцем:

— Трава такая есть, чертов волос называется. Вот и объелась. От нее и святая крещенская вода не помогает.

— Где паслась корова? — спросил я Сидора Фомича.

— На зеленях,— угрюмо, с недоверием ответил он.

— Тимпанит. Срочно надо прокол делать.

Незнакомое ли слово или уверенность, с которой я говорил, оказали действие — на меня смотрели с явной надеждой.

Терять времени никак нельзя было. Пока до врача доберешься, скотина подохнет.

— Дай-ка, Сидор Фомич, камышинку из крыши,— сказал я.— Да поскорее! — А сам нащупал пах у коровы, кольнул карманным ножиком и вставил в отверстие поданную камышинку.

Воздух из брюха пошел со свистом. Все молчали в волнении и неведении. И только через несколько минут после того как корова шумно вздохнула, хозяйка бросилась ко мне:

— Голубчик, родимый! Да откуда тебя бог принес?

А Сидор Фомич поправил картуз, высморкался в сторону, потрогал усы и произнес:

— Наука... она, брат... Да-а.

Пробовал я, по молодости, объяснить, что тут особой науки и не требуется и что есть даже простой инструмент — троакар, которым пользуются при тимпаните. Но эти «тимпанит» и «троакар» звучали так, что по лицу Сидора Фомича было видно: он и не собирался что-либо понять. Он только поддакивал и переспрашивал:

— Как говоришь — пантомит?

— Тим-па-нит.

— Ишь ты... А как этот: туракар?

— Тро-а-кар.

— Ну, где там! — уже весело воскликнул он.— Одно слово, наука.

Во время нашего разговора жена его юркнула в хату и вскоре вышла, держа в чистой тряпочке кусок сливочного масла. Она стала против нас и молча ждала окончания беседы. Корова тем временем стала ворочаться. Мы помогли ей подняться и заставили ребятишек гонять ее помаленьку по улице.

Сидор Фомич добродушно пригласил:

— Сядем давайте на скамеечку. Или в хату пожалуйте!

Сели с ним рядом около хаты, на лавочке. Хозяйка стала сбоку. Теперь Сидор Фомич стал уже совсем другим. Глаза у него, оказывается, острые, чуть прищуренные, усы он завинтил вверх, а лицо совсем повеселело. В расположении духа он сострил:

— Пантомит, пантомит, у Машки живот болит.— Но вдруг сразу помрачнел.— Да-а... Чуть было беда не стряслась. Спасибо вам! Никогда не забуду, во веки веков. Мы ведь к ней, к корове, большое уважение имеем... Кормилица... Без нее пропадешь. Да. Наука — она... сила.

— Вот в колхозе, — сказал я, — десять коров в день так же, как у вас, заболели, а ветеринар приехал и всех спас. Там действительно наука. А вы, Сидор Фомич, до сих пор не в колхозе. Нехорошо.

Он был заядлым единоличником, хотя колхоз существовал уже три года. И никакая агитация на него не действовала. Таких было дворов десять в селе. «Не прошибешь мозги, — говорил председатель сельсовета, — тугодумы». Пользуясь добрым расположением Сидора Фомича, я завел разговор о колхозе, пробовал убеждать. Помню, говорил горячо, волнуясь, как и полагается молодому агроному.

Вдруг, среди моей речи, Сидор Фомич поднял брови, провел ладонью вниз от переносья, отчего усы опустились, и проговорил медленно, глядя вниз:

— Ты вот что, товарищ агроном... Сколько тебе платить за корову-то? А о колхозе... где-нибудь...

Ошпарил он меня этими словами так, что я ничего не нашел сказать, кроме слов:

— Какой ты... тяжелый.

— Слыхал, — так же угрюмо проговорил он.— И тугодум — слыхал.

Жена его попятилась немного назад, спрятала кусок масла под передник и ушла в избу, оглядываясь.

Стало еще обиднее, когда Сидор вынул пятерку и протянул мне со словами:

— Спасибо. Во веки веков не забуду. Поверь.

Отходя от хаты, я обернулся и увидел, что Сидор Фомич сидит полусогнувшись и держит пятерку в опущенной вниз руке. Таким он и остался в памяти.

Хорошо помню, что Сидор Фомич вступил в колхоз одним из последних. Он все присматривался, взвешивал и чего-то боялся...

Дождь стал накрапывать настойчивее. Капли все чаще падают на дорогу. Так начинается окладной дождь — без грома, тихо.

В ту ночь я долго не мог уснуть — Сидор Фомич не давал покоя. Вспоминалось, с каким интересом он посещал лекции по овощеводству и никак не хотел слушать о чем-либо другом. Он спрашивал: «А будет там насчет овощей?» Если же ему отвечали отрицательно, то говорил: «Тогда мне и делать нечего». Потом возникло в памяти заседание правления, где обсуждали вопрос о позднем выходе некоторых колхозников на работу и о раннем уходе с поля на свои усадьбы. Многое вспомнилось.

Да. Давно я знаю Сидора Фомича, очень давно.

И еще припомнился разговор.

Совсем недавно Сидор Фомич работал с Евсеичем, которого одна ночная работа сторожем никогда не удовлетворяла. Работали они на воздушно-тепловом обогреве семян гречихи. Дело это очень простое: вороши семена и прогревай, чтобы тепленькими стали. Площадка для обогрева была вблизи агрокабинета. Я иногда выходил проверить, как идет работа, или наблюдал из открытого окна.

— Видишь, до чего додумались, — обращался Евсеич к Сидору Фомичу. — Семечко, допустим, живое, а не всхожее. А погрей его — и оно взойдет. Ясно дело — научность.

— А взойдет? — сомневался Сидор Фомич.

— Ясно дело, взойдет. Не первый раз такое делается у людей.

— Я еще не видал. Будет ли дело?

— И не обязательно надо видать. Агрономия, она, брат

ты мой, знает, как оно там растет. И над землей знает и под землей знает. Я так думаю, что при коммунизме мы по сто центнеров зерна с гектара будем получать. А может, и больше. Ясно дело.

— Ну и загнул, Евсеич! Сто! Ты прикинь сперва, а потом говори. Я на своем огороде все по науке делаю, а вот даже чесноку по сто центнеров с гектара не получается. А ты — зерна сто.

— Чудак ты, Фомич! На Алтае уже было по сто центнеров пшеницы, сам читал.

— Чем же это я чудак?

— А тем, что на своем огороде все по научности делаешь, а тут не веришь, взойдет или не взойдет, будет или не будет по сто. Ясно дело, будет. Конечно, не сразу, а со временем.

— То-то вот — со временем. А кто его знает, как оно там будет со временем?

Он молча постоял в задумчивости, потом принялся снова за работу, но вскоре опять остановился и совсем неожиданно сказал:

— Маловато — полгектара.

— Это чего?

— Огорода, усадьбы.

Евсеич рассмеялся.

— А ты напиши по этому вопросу в Москву. Так, мол, и так: работаю на своем огороде столько же, сколько и в колхозе, и желаю иметь другой. Тут тебе сразу из центра бумага и придет: дать Сидору Фомичу два огорода. Пущай, дескать, пробует хрип гнуть, если забыл, как гнул когда-то. Пущай на него колхозники посмотрят. Ей-бо, так и напишут! А ты, значит, как получишь эту бумагу...

— Ну вот! Не может он без подковырки,— с досадой перебил Сидор Фомич.

— Какая же тут подковырка? — возразил Евсеич, и видно было, что он еле сдерживает смех. — Это ты будешь подковыривать лопатой, а рядом будут гусеничные да электрические над ухом: гр-рр, гр-рр! Копай лопатой два огорода, по полгектара каждый, копай, хоть облупись. Не возражаю.

Сидор Фомич молчал — видать, рассердился — и ворошил семена. А Евсеич долго смотрел на него и наконец окликнул:

— Сидор, а Сидор!

— Ну?

— Или у тебя портки колючие, что тебя от огорода не оттащишь? Сел — не отдерешь.

— Тьфу! — отплевывался тот. — И пожилой человек, а... Ну, как бы сказать, скребница, что ли. Дерет и дерет по коже.

— Ой, Сидор! Много нас с тобой драть надо. Ей-бо, много! Ясно дело, отдерут. Отдеру-ут!.. И такой станет человек чистый и... приветливый. — Евсеич вздохнул.

— А кто ж его знает... — нерешительно и уже примирительно произнес Сидор Фомич. — Может, и так...

Он задумался и продолжал работу молча.

Я поделился этими своими воспоминаниями с Петром Кузьмичом на следующий день.

Он слушал внимательно, не перебивая, а потом сказал задумчиво:

— Сидоры Фомичи — это самый трудный участок работы. Таким скорее можно доказать делом, дойти словом до них гораздо труднее. Недаром прозвище ему — Тугодум. Колхоз должен выращивать столько овощей, чтобы колхозник не так дорожил своей усадьбой. Убежден, что это очень важно.

Мы долго сидели вдвоем. Прикидывали, высчитывали, записывали и наконец пришли к выводу, что колхоз может обработать не меньше сорока — пятидесяти гектаров огородных культур, не считая картофеля. Договорились начать это дело в нынешнем же году, если общее собрание разрешит сделать некоторые изменения в годовом производственном плане.

Петр Кузьмич не любит откладывать дела. В ближайшие дни он уже повез в район выписку из решения правления, в которой было написано: «Распахать за ольшаником осоковый луг на площади пятьдесят гектаров под огороды. Увеличить производство овощей в десять раз. Просить райсельхозотдел планировать ежегодно нашему колхозу: лука — пятнадцать, чеснока — десять, капусты — двадцать гектаров. Организовать специальную овощную бригаду».

Перво-наперво Петр Кузьмич попал к товарищу Чихаеву — главному агроному райсельхозотдела. Тот долго

читал бумагу, рассматривал, удивлялся, а потом, вздохнув, сказал:

— Зачем столько овощей? Обузу себе выдумали. Я считаю, что наш план достаточен. Раз мы областной план разверстали — значит, он теперь будет стабильным. Овощей и на усадьбах колхозников хватит.

Так вот и сидели два агронома друг против друга: Петр Кузьмич, председатель колхоза, и товарищ Чихаев, который прожил за письменным столом двадцать с лишним лет и насчет планирования двух собак съел. Петр Кузьмич доказывал свое, а Чихаев — свое. Петр Кузьмич спорил, улыбаясь, а товарищ Чихаев сердился. Они не пришли к соглашению, и Чихаев в конце концов написал резолюцию: «Укрепляйте полеводство и животноводство согласно решениям вышестоящих организаций, в которых об овощах не сказано». На словах он добавил:

— Хлопот полон рот, а будет ли доход? — И, очень довольный своим остроумием, вернул бумагу Петру Кузьмичу. — Все.

— Нет, не все, — сказал Петр Кузьмич.

— То есть как?

— К Ивану Ивановичу в райком схожу.

— Видите ли, — малость смешался Чихаев, — я приблизительно согласен... Я так и ставлю вопрос: будет ли доход? Если будет, то можно, а если не будет, тогда руководствоваться тем, что сама жизнь покажет, практика.

Петр Кузьмич хорошо понял Чихаева, но с секретарем райкома, Иваном Ивановичем, все-таки посоветовался и приехал в колхоз вполне довольный.

Вскоре он созвал заседание правления совместно с активом колхоза и пригласил Сидора Фомича принять участие в этом важном совещании.

Об организации овощеводства мне пришлось сделать доклад довольно обстоятельный. Дело для колхоза новое, требующее точных расчетов, учета затраты трудодней, внедрения механизации и так далее. Слушали все внимательно. При обсуждении никто не возражал, а лишь уточняли, выясняли, вносили свои соображения. Только Сидор Фомич сказал так:

— Оно, конечно, хорошо. Слов нет — дело сурьезное. Только чеснок — штука то-онкая. Его же требуется с осени закладывать, накрывать сухим сыпцом, посадить точно, вовремя. Хлопотная штука! У нас в колхозе и на пяти

гектарах овощей хромота идет, а тут будет пятьдесят. Может, подождать бы? Такое мое соображение.

— До каких пор ждать? — перебил Евсеич.

Они всегда спорят друг с другом, но никогда не порывают дружеских отношений.

— Ну, годик-другой, пока укрепится укрупненный колхоз.

— А укреплять чем будешь? Палочкой-поджидалочкой?

— Отказать в таком предложении, — подал голос и Терентий Петрович.

После прений высказался Петр Кузьмич.

— Три задачи решаются в этом вопросе,— сказал он,— обеспечение колхозников овощами, снижение цен на рынке, увеличение денежного дохода колхоза. Думаю, что общее собрание утвердит проект, предложенный докладчиком.— Длинно он говорить не умел и перешел прямо к делу.— Сенокос у нас закончен, поэтому за ольшаником можно поднимать пласт, обработать его в пару, а с осени приступать к закладке чеснока и другим подготовительным работам. Овощную бригаду надо укомплектовать из колхозников, знающих это дело. Вношу предложение создать два огородных звена; звеньевыми назначить следующих товарищей: члена правления Федору Карповну Васину и Сидора Фомича Кожина — мастера по огородничеству. Если Сидор Фомич сумел у себя, то в колхозе ему никак невозможно дать плохой урожай. Придется, конечно, отвечать теперь и за общее дело, а не только за самого себя. Какие будут суждения?

— А как будет обстоять дело с коромыслом? — намекнул Терентий Петрович. — Насчет базарных дел как? С тех самых кувшинов так и идет по народу поговорка: «Кто — на работу, а кто — с коромыслом».

— Пусть он сам скажет, — ответил Петр Кузьмич.— По-моему, Фомич справится...

— У него свой огород — золотая левада. Некогда будет работать на колхозном огороде,— сказал кто-то из угла.

А Сидор Фомич молчал. Крепко задумался он, очень крепко.

— Ну, как же решил? — спросил Петр Кузьмич.

— Дайте хоть немного подумать, — проговорил вполголоса Фомич.

— Сколько времени тебе на думки отпустить? — спросил Евсеич, перебирая пальцами клинышек бородки и усмехаясь.

Но Сидор Фомич не заметил иронии Евсеича и искренне ответил, глядя ему прямо в лицо:

— Ну, хоть бы... с недельку подумать надо.

Наступило молчание. Петр Кузьмич смотрел на Сидора Фомича внимательно, будто проник ему в душу и видел, что там у него творится внутри. В тишине слышно было, как тикают торопливые часы-ходики, которым ожидать не полагается — они идут и идут.

Сидор Фомич вздохнул.

В этом молчании послышался голос Терентия Петровича:

— Позвольте слово.

Терентий Петрович на собраниях говорил редко, больше подавал реплики, но после совещания передовиков уже иногда и выступал. Многие обернулись в его сторону, но по малости роста его не было видно, поэтому послышалось сразу несколько голосов:

— Выходи, Петрович, наперед!

— Давай на вид становись!

Терентий Петрович вышел к столу и тихонько, спокойно начал:

— Так, товарищи. Сидору Фомичу мы внесли предложение. Хорошо. А он собирается подумать с недельку. Выходит, если каждому из нас над таким делом думать по недельке, то получится развал колхозного строительства, а не путь к коммунизму. Точно говорю. — Сидор Фомич поднял голову и внимательно посмотрел на оратора. Они встретились глазами, и Терентий Петрович чуть-чуть повысил голос: — Помнишь разговор на сенокосе, Фомич? Помнишь! Ты что тогда сказал? Ты сказал, что тебе, дескать, при социализме жить хорошо. Ладно... Это правильно. А что ты сказал еще? — Терентий Петрович вдруг заговорил баском, подражая Сидору Фомичу: — «Мне коммунизм не к спеху. Мне и при социализме неплохо». Спорили мы с тобой? Спорили, подтверждаю. А что после того спора? «Подумаю!» — говоришь. Ладно, думай. Но только я скажу еще: значит, тебе твоя усадьба дороже всего на свете. Одна рука — в колхозе, а другая — на базаре. Вот какой вывод я тебе делаю.

Тут Сидор Фомич встал и заявил прямо:

— Не иначе — ты выпил.

Терентий Петрович шагнул к нему и, подняв лицо вверх, сказал вежливенько и так же спокойно:

— Давай дыхну! — И, не дожидаясь согласия, дохнул открытым ртом на Фомича.

— Тверезый! — удивился тот и сел.

— Да разве ж можно по такому вопросу пить! — отозвался Терентий Петрович. — Небось думаешь: «По какой причине он говорит?» Я отвечу. Что ж, Фомич, слов нет, ты живешь вроде честно. Ты и чуть больше минимума выработал, но, — Терентий Петрович поднял палец вверх, вскинул бородку и раздельно произнес: — Но ты сейчас — тормоз движения на данном этапе. Эх, Фомич, Фомич! И не один ты. Через то самое я и выступаю, а то молчал бы. Собственник ты, Фомич! Если ты хочешь понимать жизнь, то это самое — не лучше воровства. Точно говорю. — Терентий Петрович немного помолчал и вдруг воскликнул: — Не может того быть, чтобы у тебя и душа чесноком пропахла! Все ж мы тебя знаем — трудовик. Ну что ты всю жизнь упираешься? Тебя — вперед, а ты — обратно.

Сидор Фомич еще раз встал, и в голосе его послышалась просительная нотка.

— Ну, Терентий Петрович! — Он махнул рукой и сел, опустив голову.

— Слышь, Терентий! — заговорил Евсеич. — Ты что, не видишь, человек стронулся с места и без того? Должон понимать: это же не с глазу на глаз разговор, тут народ. — И в его словах прозвучало что-то теплое.

— Ладно, я кончил, — неожиданно сказал Терентий Петрович и пошел на свое место. А уже оттуда добавил: — Только ты подумай над моими словами. Вопрос сурьезный, Сидор Фомич. Я тебе не для критики, я душевно сказал.

Петр Кузьмич спросил у присутствующих:

— Ну как же? Дадим Сидору Фомичу подумать?

На этот вопрос никто не ответил, но Сидор Фомич отозвался сам. Он сначала повел плечами, будто стряхивая какую-то тяжесть, поднял лицо к председателю и медленно, с расстановкой сказал:

— Что ж... два дня хватит. Послезавтра скажу.

Петр Кузьмич улыбнулся и заразил всех — все улыбнулись: дескать, сразу пять дней уступил... Только Сидор

Фомич все ж таки снова вздохнул. Он даже оглянулся на сидящих, но, не увидев в глазах ничего похожего на злобу, потрогал усы и, кажется, улыбнулся тоже. А может быть, мне просто показалось.

С совещания мы шли вдвоем с Петром Кузьмичом. Шли некоторое время молча. Он заговорил первым.

— Я был неправ, Владимир Акимыч, — сказал он, заключая вслух какую-то свою мысль.

— В чем?

— Можно и до Сидора Фомича дойти словом, но только надо уметь найти это слово. Вот Терентий Петрович нашел. И Евсеич всегда находит. А я нет... Наверно, слово это должно быть точным и правдивым, как у Терентия Петровича, и душевным, как у Евсеича.

— Ты, Петр Кузьмич, делом доходишь лучше.

— И все-таки этого мало, — задумчиво проговорил он.

Мы попрощались.

«Найдешь ты и слово! — думал я. — Не такой ты человек, чтобы не найти».

ОДИН ДЕНЬ

Ранним утром в деревне тихо. Птицы в это время еще молчат. Звука тракторов еще не слышно: они на техническом осмотре и заправке горючим после ночной смены. И такая тишина стоит, что кашлянет кто-то в километре, а слышно.

Накатанная дорога тянется ровными автоколеями посреди широкой улицы и кажется чисто подметенной. Грач-одиночка по-хозяйски идет по дороге и что-то высматривает, изредка клюнет потерянное зернышко. Теленок бредет по улице и суется к каждому предмету: о дерево почешет шею, о забор потрется боком, у яруса строительных бревен обнюхает торец сосны и лизнет его, постоит немного и плетется дальше. На грача он смотрит долго и внимательно, с каким-то не то недоумением, не то любопытством. А грач будто и не заметил потомка лучшей в колхозе коровы — прошел мимо сосредоточенно и деловито: у раннего грача-разведчика хлопот много.

А больше никаких видимых признаков жизни на улице пока нет.

Еще не сошел с неба, на западе, серовато-мутный налет, но зарево на востоке уже возвещает о близком восходе солнца. И все живое молчит. Все ждет солнца, не нарушая тишины. Только разве петух на ферме спросонья прогорланит и захлебнется, будто подавившись: собратья отвечают ему нехотя и лениво: рассвело и без нас, дескать. И снова тихо, тихо.

Но вот знакомый звук зашевелил тишину: автомашина, груженная мешками семян, выползла из-за угла зернохранилища, выправилась на дорогу, набрала скорость и засигналила теленку. Тот повернул мордочку, стал попрочнее

посреди дороги, наблюдая, что будет дальше. Конечно, машине дорогу он не уступил: видели, дескать, мы тебя на ферме — не удивительно! Пришлось шоферу аккуратно объехать упрямца.

— Лена,— послышался негромкий голос с фермы.— Шалопут опять ушел. Не видела?

— Во-он! По дороге плетухает,— ответил второй женский голос.

Девушка в белом халатике показалась со двора и направилась к теленку, беззлобно разговаривая с ним на ходу:

— Опять удрал, Шалопут? Ну иди, иди, горе мое!

И снова тишина. Зарево на востоке все краснее и ярче. И жизнь становится живее и живее. С ведрами прошла к колодцу женщина. Конюх потихоньку вывел на проводку жеребца-производителя; тот заржал голосисто и призывно, и ему ответил голос молодой кобылицы. Тихой, развалистой походкой прошел во двор пожилой колхозник с кнутом в руках. Все движутся медленно спросонья, а говор — несмелый, тихий. Только где-то вдали крикнул пастух, выгоняя коров на первые выпасы:

— Куда пошла-а? — и щелкнул кнутом, рассекая тишину.

Никто пока не спешит.

Но вот... лопнула тишина! Раскололась вдребезги на мелкие звуки. Застрекотал пронзительной пулеметной очередью пускач дизельного трактора, и звук его забарабанил по селу, несколько минут тормошил хаты, позвякивая в стекла: и трещит, и трещит, и трещит. Так же сразу он умолк, вслед за ним послышались сначала спокойные вздохи, а затем и ровный рокот дизель-мотора. Вот и еще такой же пускач рассек воздух, и снова уже другой дизель заговорил баском на все поле. Веселым перебором ворвались в общий рокот колесные тракторы ХТЗ.

День колхоза «Новая жизнь» начался. Ездовые заспешили во двор. Плотники застучали, запилили, и звуки топоров, застревая в общем потоке рокочущей волны, то терялись, то возникали снова. А веселое весеннее солнце взошло и брызнуло на колхоз чуть теплыми лучами.

Для меня этот день начался неплохо. Мне необходимо было провести в бригаде Митрофана Андреевича Каткова весь день. И я решил пораньше найти бригадира: днем трудно поймать его в поле на громадном массиве бригады

в тысячу гектаров. Встретились мы в воротах бригадного двора.

— Доброе утро! — поздоровался он.

— Доброе утро!

— А я домой: на завтрак.

— Что так рано? Солнце встает, а уже и завтрак.

— У меня заправка такая: наряд — вечером, ранним утром — во двор, а потом — в поле, на весь день.

Мы договорились о плане наших поездок по полям. Вдруг ни с того ни с сего он взял меня за локоть и спросил:

— А ну-ка, Владимир Акимыч, скажите: что есть блин?

— Блин? — удивился я.

— Да, блин. Не знаете? Блин — залог здоровья. Солнце, воздух, вода, и... блин! — Он весело расхохотался.— Пошли ко мне, зоревой завтрак учиним. Попробуйте, какие блины умеет сотворять моя хозяйка. Пошли, пошли!

Я пробовал отказываться, упирался. Но где там! Он стал против меня, взял за пуговицу ватника и молча улыбался шустрыми черными глазами. Не пойти было невозможно. Мы зашагали рядом.

— Значит — залог здоровья? — переспросил я.

— Именно. Эх, сколько этих блинов поедается всем колхозом! Уму непостижмо. Есть у меня в бригаде Прокофий Иванович Филькин. Вы-то его знаете хорошо. Так вот он умеет едать блины. Отлично умеет. Пригласила его как-то теща в гости: приходи, дескать, Проша. «С нашим, говорит, удовольствием, мамаша». Навела она добрую дежу теста и стала его кормить, Прокофия-то. Стал он есть. Только блин со сковороды, а он его трубкой — раз! — в сметану и в рот целиком. Раз! — и в рот! Раз! — и в рот. Она печет, а он на лету поедает их. Раз! — и в рот. Раз! — и в рот. Дежа кончается: такая дежа, что пятерым хватило бы. Умаялась теща. Испекла она последний блин, сбросила со сковороды и говорит: «Ух! Как и не пекла!» А Прокофий Иванович-то вытер пот рукавом и отвечает: «Э-хе-хе! Как и не ел!»

Я рассмеялся. Митрофан Андреевич тоже. Трудно поверить, что вот этому веселому, не по летам моложавому человеку сорок два года, что он четыре раза ранен во время Отечественной войны, что на его плечах тысяча гектаров земли и двести человек и что сейчас разгар весеннего сева.

Мы подошли к дому Каткова. Это не просто хата, а четырехкомнатный домик, крытый железом, с аккуратным палисадничком. Из трубы тянулся легкий дымок. А когда взошли на крыльцо, то запахло и блинами.

— Фрося! — приветливо крикнул хозяин, входя в комнату.— Вдвоем пришли завтракать.

— Пожалуйте,— ответила она.— Мне хоть еще двое. Хватит.

Мы помыли руки и уселись за стол. Катков шутил:

— Не знаю, как оно там по медицине, но если я с утра упакую дюжину блинков в полный диаметр сковороды да закантую поясом, то целый день хоть бы что. Правильно, Фрося?

Ефросинья Алексеевна, наливая блин на вторую сковороду, ответила:

— Хвастаешь! Больше семи блинов не съедаешь.

— Ну, уж и нельзя лишнего прибавить.

Ефросинья Алексеевна улыбнулась и положила горячий блин на чистое полотенце, разостланное на столе.

Запах подрумяненного круглого и пышного блина заполнил всю комнату. Ну и запах! Недаром же вся улица пахнет блинами там, где их пекут. Опустишь такой блин в миску со сметаной, положишь его в рот, а он так и дышит во рту! Вот уж действительно настоящие блины, какие не каждому доводилось есть.

Отличные блины!

Шипела сковорода. Потрескивало в печке. Хозяйка стояла к нам вполоборота, опершись на чаплик. Голова ее была повязана голубенькой, с цветочками, косынкой; лицо уже покрыл легкий весенний загар. Она первая прервала молчание:

— Я ведь, Владимир Акимыч, насилу приучила его питаться,— она указала на мужа.— Бывало, вскочит чуть свет, схватит кусок хлеба за пазуху и бежит. Теперь наладился. Вы ему не верьте, когда он о себе говорит. Я-то его знаю. Пришел вот завтракать, будто только и день у него начался, а сам на рассвете уже и в тракторный отряд на мотоцикле съездил, и на ферме побывал, и наряд проверил.

— Уважаемая Ефросинья Алексеевна! —строго-шутливо обратился к ней Митрофан Андреевич.— Не переходите на личности: аппетит понижается.

Позавтракали мы отлично. Вымыли руки. Я поблагодарил хозяйку.

— Мне-то куда сегодня? — спросила она у мужа.

Митрофан Андреевич схватился за голову обеими руками и воскликнул:

— Прорыв! Развал бригады! Гроб дисциплине! Своей жене забыл наряд дать. Подскажи, пожалуйста, сама. Не на огороды ли? Точно: туда.

Жена улыбалась спокойной улыбкой.

Мы вышли. На крыльцо медленно поднялся нам навстречу отец бригадира, Андрей Петрович. Волосы у него совсем белые, как молоко; бородка подстрижена аккуратно, лопаточкой, а волосы — в кружок. Сразу видно — опрятный старик. Без малого девяносто лет у него за плечами, но видит и слышит еще хорошо и не может не работать.

— Здравствуйте, Андрей Петрович!

— Здравствуй, детка! (Всех, кому меньше шестидесяти, он называет «детка».) А я вот утречком-то в огородике покопался. Я люблю — утром.— Он присел на лавочку.— Все торопитесь. Весна. Хорошо — весна. Торопиться надо. Только вот не пойму одного: зачем перекрестный сев. Для какой радости два раза по одной пашне ездить вдоль и поперек: туда — полнормы семян, сюда — полнормы? Ну ладно, пущай урожай выше на полтора центнера, но узкорядный-то так же дает, как и перекрестный. Вот и делали бы узкорядные сеялки, а не гоняли тракторы вдоль и поперек. А то, вишь ты, — обратился он к сыну,— в одном месте не начинал сеять,— теряешь половину урожая,— а в другом — взад-вперед, вдоль-поперек, вдоль-поперек! А гасу-то, гасу сколько попалят!.. Сколько раз я тебе, Митроха, говорил: «Брось ты эту затею! Не может быть того, чтобы наука гоняла тракторы туды-сюды». Узкорядные — надо: один раз сеять по одному месту.

— План есть на перекрестный сев, папаша. План надо выполнять.

— «План, план»... Заладили, как сороки на суку. Ты, Митроха, смотри за этим,— на то ты и партейный, значит. Если план подходялый для колхоза и государства, то делай, а если неподходялый — плюнь! Аль напиши им туда.— Дед махнул рукой вверх туда, куда, по его мнению, следовало писать.— Право слово, верно говорю,— обращался он уже ко мне.— Мне и то доходит, а вы должны душой болеть. Ишь ты! Вдоль-поперек, вдоль-поперек!

— Андрей Петрович,— сказал я,— пока нет узкоряд-

ных сеялок, надо сеять перекрестно... Урожай надо повышать.

Он, задумавшись, смотрел в пол и сразу же согласился.

— Пожалуй, так. А насчет узкорядных напишите туда... Блинков-то поели? — по-стариковски перешел он вдруг на другую тему.

— Сыты, папаша.

— Блинки — это хорошо. После них человек делается прочный, тугой. Ходит себе день-деньской, до самого вечера... Ну, идите. Торопитесь, неугомонные, торопитесь! — И он, покряхтывая, направился в хату, но в дверях сеней повернулся к нам и сказал: — Митроха! Денька через два, а может, и завтра, дождик должон быть. Налегни на сев-то.

— Вот тебе на! Гляну на барометр,— забеспокоился Митрофан Андреевич. Он ушел в хату и тут же вернулся.— Давление падает.

— Ты на свою машинку смотри не смотри, а на днях дождю быть,— сказал Андрей Петрович.

— Как же это вы, Андрей Петрович, узнаете об изменении погоды? — спросил я.

— Э-э, детка! Давно уж я живу-то. По всем приметам узнаю. Ласточка идет низом, значит— мошка летит низом. Это — раз. (Он загнул костлявый палец.) Курица обирается носиком — перо мажет жиром. Это — два. (Он загнул еще один палец.) У курицы, значит, шишка такая над хвостом — жировая... Свинья тоже чует: тело у нее зудит, чешется она, солому в зубах таскает. Животная, она чувствует. И человек чувствует. Только иной замечает, а иному наплевать... И в сон ни с того ни с сего клонит, и если, по старости, кости ноют, и волос на голове не такой делается, и спина — того...

Андрей Петрович загнул уже несколько пальцев, а Митрофан Андреевич нетерпеливо посматривал на меня и будто говорил глазами: «Разошелся папаша, а времени у нас нет». Однако вслух он, обращаясь ко мне, заметил:

— Точно узнает папаша: живой барометр.

— И лебеда тоже вот хорошая примета,— продолжал загибать пальцы Андрей Петрович.— Как с низу листочков слезки пойдут, так и смотри другие приметы. Если все приметы сходятся, то уж хочешь не хочешь, а дождю быть... Примет этих много, детка. Много.— И он ушел в сени, так и не разогнувши пальцев, будто еще вспоминал приметы и собирался отсчитывать их на пальцах. Из

сеней все еще слышался голос старика:— Дым, примерно, низом стелется, в трубу плохо тянет — тоже к дождику. Солнышко в тучи садится — жди мокрости. Много примет. Много. И все правильные.

Мы сошли с крыльца.

— Теперь минут на десять завернем во двор. Могут оказаться отставшие, надо их подтолкнуть,— сказал Митрофан Андреевич и ускорил шаг.— Громадный опыт у папаши,— продолжал он на ходу.— Интересно, почему ученые метеорологи не дадут научных объяснений народным приметам? Люди тысячи лет примечали: не можем же мы выбросить эти наблюдения.

— Практически мы их и не выбрасываем, но объяснить, конечно, надо бы метеорологам,— согласился я.

Войдя в ворота бригадного двора, мы увидели двух колхозников. Один из них, Витя-гармонист, осматривал колесо, а второй, тот самый Прокофий Иванович, запрягал лошадей. Митрофан Андреевич как-то сразу помрачнел и направился прямо к ним.

— До десяти стоять будете? — спросил он строго.

Витя-гармонист — с пышным чубом, в клетчатой кепке, заброшенной на затылок так, что, казалось, вот-вот она упадет,— ухватил рукой обод колеса брички и потряс его.

— Обратите внимание, Митрофан Андреевич: рассохлось. Разваливается. Виляет по дороге восьмеркой. Не колесо, а вальс «Разбитая жизнь». Не по моей вине задержался — ищу колесо.

— А почему допустил до этого? Ты ездовой. Разве раньше не видел, что колесо надо перешиновать? Тебе что: няньку на бричку надо?

Митрофан Андреевич засыпал Витьку вопросами так, что тот не сумел ничего ответить и стоял, вытаращив свои большие голубые глаза, будто недоумевал и собирался сказать: «А ведь и правда — я виноват! Как же это я так?» Но он ничего не сказал в оправдание, а только привел широкую кепку в надлежащее положение и спросил:

— Ну, а сегодня-то как же?

— Сегодня получишь штраф в один трудодень за халатное отношение к колхозному имуществу. Третий раз уже тебе замечаю, теперь придется штрафовать. Колесо возьмешь новое. Отправишься немедленно в поле. Завезешь в кузницу старое колесо... Эх, ты! «Разбитая жизнь»!

— Ну, во-от! Скорей уж и штраф. Безо всякого подхода. Я человек старательный, а ко мне безо всякого убеждения. Возражаю.

— Уже третий случай с тобой. Хватит. Убеждал, убеждал, а ты теперь и с колесом допустил. То постромку потерял, то на «Разбитой жизни» ездишь.

Витя немного подумал и сказал:

— Исправлюсь. Клянусь инструментом! — И он постучал по ящику с баяном, который стоял в передке брички.

Митрофан Андреевич посмотрел на баян, потом на Витьку, брови его вздрогнули, и в глазах появилась чуть заметная улыбка.

— Клянешься? — спросил он.

— Не повторяю. Сказал твердо.— Витя ткнул себя большим пальцем в грудь.

— Ладно. Но только — в последний раз. И, кроме того, музыка музыкой, но среди бела дня не баловать, а работать.

— Днем настроения быть не может.

— Что ж, ты играешь только ночью?

— Да, вечером или ночью. «Каприччио» разучиваю.

— И как оно?

— Получается.

— Вот с колесом только не получается.

— Проза,— возразил Витька и закинул ногу на ногу, опершись на бричку.

— Да ты что на одной ноге стал? Или думаешь до обеда стоять? Я с тобой уже пять минут потерял.

— Я что? Я ничего. Вы же сами музыкальный разговор затеяли.

— Нá ключ от сарая! Бери колесо.

— Момент! Один момент — и Витька будет в поле.

— Ну, куда побежал? (Витя с разбегу остановился и обернулся к нам.) Наряд возьми в кузницу. Колесо не примут без него.

— Не учел. Есть наряд взять в кузницу.

Митрофан Андреевич развернул блокнот, положил его на грядушку брички и быстро написал наряд. Он подал листок блокнота Витьке, а тот ринулся в сарай, выкатил новое колесо и действительно моментально заменил старое и выехал со двора, снова забросив фуражку на затылок.

— Ох, Витька, Витька! Горе мне с тобой,— вполголоса сказал бригадир, глядя ему вслед.—Парень окончил семи-

летку, а места не найдет. В сельскохозяйственную школу отказался наотрез, в техникум ни под каким видом не хочет, а зарубил одно: в музыкальное училище.— Он помолчал.— Наверно, надо правлению хлопотать да определять его по музыкальной линии... Все равно уйдет сам. Ну, этот с большим талантом,— у него балалайка и та плачет... А все остальные тоже уходят. Как только окончил семилетку, так и до свидания: поминай как звали! Из всего колхоза один Петя Федотов агрономом будет, а другие — кто куда. Даже обидно: семилетка — в колхозе, а по сельскому хозяйству не учат. Только и знаний дают, как фасоль прорастает. С детства отбивают интерес от поля; выходит парень из семилетки и ни бельмеса не соображает ни в полеводстве, ни в животноводстве, ни в технике сельского хозяйства.— Митрофан Андреевич с досадой стукнул блокнотом о ладонь и заключил: — Честное слово, напишу в Цека партии по этому вопросу.— Вдруг он спохватился и глянул на ручные часы.— Уже больше десяти минут торчим здесь, а он все запрягает,— и кивком головы указал на Прокофия Ивановича.

Прокофий Иванович — мешковатый, на первый взгляд, тучный мужчина лет пятидесяти, с круглым красным выбритым лицом — медленно обходил вокруг брички. Он неуклюже переставлял мощные ноги и ощупывал колеса, постромки, поправлял хомуты, трогал вожжи. Все как будто бы было в порядке, но он снова принимался просматривать, ощупывать, что-то приглаживать и поминутно каким-то полусонным голосом говорил:

— От ты, елки тебе зелены!

— Что он медлит? — спросил я потихоньку у Митрофана Андреевича.

— Ему стронуться с места труднее всего на свете.

— А вы пошевелите его построже.

— Этого нельзя. Я его отлично знаю: растревожь с утра, так целый день будет мучиться. Но уж если начнет работать, то... В общем, сами увидите.— Однако Катков не выдержал и двух-трех минут и обратился к нему:— Прокофий Иванович! Что у вас там?

— Хомут,— многозначительно ответил тот.

— Что — хомут?

— Не видишь: с Великана хомут.

— Великан захромал.

— Знаю — захромал... От ты, елки тебе...

— Ну?

— Что — ну? Другого коня дал конюх заместо моего. Сам знаешь.

— Так что ж тут такого? И поезжайте.

— А?

— Поезжайте, говорю, быстрее: спешить надо. Потник под хомут вчера подшили, подогнали хорошо.— При этом Митрофан Андреевич потрогал хомут, засунул под него ладонь.— Хорошо сидит хомут. Не задерживайтесь.

— От ты, елки зелены! У меня лошади не парные, а я сломя голову скачи. Надо все проверить, приладить и... этого... Великана посмотреть. Ты посмотри сам: может, лечить надо, а я — уеду и не узнаю. А потом ты же и скажешь: Прокофий, мол, такой-сякой.— Говорил он все это будто нехотя, с расстановками, без жестов и, казалось, обдумывал каждое слово.

Наконец терпение бригадира иссякло.

— Да до каких же пор стоять-то будешь?

— Великана посмотри,— все так же невозмутимо отозвался Прокофий Иванович.

— Тьфу! — плюнул Митрофан Андреевич и, отвернувшись в сторону, сказал: — Веди Великана! Я и без тебя его смотрел и знаю, что с ним.

— А то при мне посмотри. Лошадь, елки зелены, любит хозяина. А я, елки зелены, должен целый день думать, что с моей лошадью.— При этом он, казалось, пытался сойти с места, но это далось ему не легко.

— Да веди же лошадь! — слегка повысил голос Митрофан Андреевич.

— Что ж ты сердишься? Тут без никакого сердца. Лошадь за мной закреплена, я на ней пять лет работаю. Как это так: сел — и уехал? Лошадь, она, елки зелены... как бы, например, к человеку приставлена.

— Прокофий Иванович! Ей-богу, не выдержу! — воскликнул Митрофан Андреевич.

После этих слов Прокофий будто и чаще зашевелил ногами, но зато шажки стали далеко мельче и никакого ускорения не получилось — одна видимость. Наконец он вывел прихрамывающего Великана. Митрофан Андреевич поднял больную ногу лошади, зажал ее меж колен и заговорил, сдерживаясь:

— Плоское копыто. Намяла под стрелкой, ковать надо на войлок.

— Вот и я так думаю. Правильно.
— Подкуем завтра утром.
— Кто?
— Кузнец, конечно.
— А кто поведет?
— Конюх.
— Не-е! Я сам. Пиши наряд! Завтра чуть свет сам поведу в кузницу.
— Ох! — вздохнул бригадир. Он написал наряд и вручил его Прокофию Ивановичу.— Ну теперь-то все?
— Все,— утвердительно ответил тот. Он аккуратно сложил наряд вчетверо, положил в полинялую кепку, надвинул ее прочно и полез в бричку. Наконец тронул лошадей, но они, чуя характер ездового, тоже не спешили. И уже через десяток метров Прокофий Иванович вдруг остановил их: — Тпрру! Елки тебе зелены! — Теперь он сдвинул кепку легонько на лоб, почесал затылок. Оглянулся на нас. Посмотрел на лошадей. И потом снова — в нашу сторону и... продолжал стоять, пока не увидел мальчика у ворот двора.— Пашка-а! — крикнул он.
— А-а?
— Иди-ка!
Мальчик подбежал и спросил:
— Чего вам, дядя Прокофий?
— Подай-ка сумку с продухцией. Вон она лежит. Заторопился — забыл.
Паша подал объемистую сумку, и Прокофий Иванович тронулся наконец с места.
— Как уж это начнут торопить, как начнут, то обязательно, елки зелены, забудешь чего-нибудь... Но-о! Заснули-и! — Он слегка взмахнул кнутом, который у него был для видимости (лошадей он никогда не бил), и выехал за ворота.
Громкоговоритель отбивал поверку времени. Митрофан Андреевич заторопился.
— Семь,— сказал он.— Задержались немного.— Он быстро выкатил мотоцикл из сарая и сразу повеселел.— Вот машина незаменимая: ИЖ-49. Три подарка нам от Советской власти в последние годы: самоходный комбайн, мотоцикл ИЖ-49 и... автомашина «Москвич».— Последнее слово он произнес с легким вздохом.
Никаких средств передвижения Митрофан Андреевич не хочет знать, кроме мотоцикла (хотя на «Москвич» уже

собирает деньжата). Он не просто ценит мотоцикл как машину, он его любит. Вообще Катков к машинам неравнодушен. Зная эту его слабость, я прислонил ладонь к ребрам охлаждения мотора — он был горячим — и подумал: «Э-э! Да он и правда полполя объездил еще до солнца».

— А заводить будем полчаса? — пошутил я.

— Он у меня и холодный заводится как часы.— В словах его послышались ревнивые нотки.

Митрофан Андреевич слегка — совсем малепечко — надавил педаль стартера, не прикасаясь руками к мотоциклу, и мотор заработал так, будто только и ждал хозяина: тихо похлопывая и слегка вздрагивая.

Я сел на заднее сиденье, и мы помчались в поле. Но около зернохранилища нам замахали руками, закричали, требуя остановки. Сильнее всех кричала Настя Бокова:

— Стой! Подожди! Митрофан Андреви-ич! Сто-ой!— Она стояла в кузове автомашины и махала платком.

Мы завернули к зернохранилищу.

— Что у вас тут? — спросил Митрофан Андреевич.

— Не тут, а там,— указала рукой Настя в поле. Сильная, раскрасневшаяся от возбуждения, она была, видно, не в себе.

— Что там?

— Беда, Митрофан Андреевич...

...Отец Насти убит в боях во время Отечественной войны, мать вскоре после этого умерла, и Настя осталась десятилетней сиротой. Взял ее к себе тогда Прокофий Иванович Филькин, который после ранения остался «по чистой»; воспитывал, как мог: брал ежедневно с собой в поле, еще девчонку научил работать косой, топором, управлять лошадьми, а к семнадцати годам Настя уже умела делать любую мужскую работу. Теперь ей уже двадцать лет, и она живет в своей собственной хате, что осталась от семьи. Но Прокофия Ивановича любит, как родного отца. Колхоз для нее — родной дом, но вот только не любит Настя женской работы, не любит полоть тяпкой, сажать овощи, вязать снопы; во время сенокоса она косит наравне с мужчинами; во время сева и уборки грузит зерно, иногда подменяет Прокофия Ивановича, когда тому надо отлучиться, и работает на его лошадях. (Кроме нее, он никому не доверяет своих лошадей, а из колхоза отлучается лишь в самых исключительных случаях.) Вообще-то Настя собирается быть шофером. Сейчас она работает грузчиком на



автомашине и еще с рассветом начала развозить семена по тракторным сеялкам.

— Митрофан Андреевич! Дизельный трактор стал — авария, — тихо произнесла Настя.

Первая песенница и шутница на селе, она и «барыню» откаблучит так, что парни за затылки хватаются, и «русскую» выбьет с дробью — головой закачаешь. А сейчас не узнать Настю.

Митрофан Андреевич нахмурился и посмотрел на запад, где плотные кучевые облака вылезли ватагой. Он буркнул потихоньку:

— Вот черт возьми!

— Давай — в отряд! Скорее! — сказал я.

— Все теперь пойдет вверх ногами на весь день! — возмущался он. — Перекрестного посеяли половину, а половина осталась. Пойдет дождь — беда. — Он завел мотоцикл и с ходу набрал скорость.

Через несколько минут мы были в отряде. Тракторная будка прилепилась к вершине лощины в затишке. Около нее стоял гусеничный трактор ДТ-54 с отнятым картером. На гусенице рядышком сидели два тракториста: Костя Клюев и Илья Семенович Раклин. Раклин сосредоточенно курил, а Костя держал в руках аварийную деталь и поругивался про себя чуть слышно.

— Что? — спросили мы оба сразу.

— Нижнюю головку шатуна разорвало. Картер пробило, — ответил Илья Семенович.

Голос у него с хрипотцой. Он работал в ночной смене: весь вымазан в нигроле, глаза от бессонной ночи красные.

— Что ж стоять? — загорячился Катков. — Снимайте головку, вынимайте поршень. Надо шатун теперь заменять тоже... Черт возьми, и картер везти в эмтээс — сажать латку... Тьфу! Не меньше как на двое суток вышел из строя. Чего же стоите-то?

Илья Семенович выслушал Каткова и так же сосредоточенно и спокойно ответил:

— Авария серьезная. Без старшего механика даже бригадир отряда не имеет права разбирать трактор в таких случаях.— Он указал кивком головы на будку: — Слышите?

Из будки было слышно, как кто-то вызывал по рации:

— «Урожай»!.. «Урожай»!.. «Урожай»!.. Черт возьми!

Мы вошли с Катковым в будку. Около рации стоял вполоборота к нам бригадир тракторного отряда Федулов.

— «Урожай»! Ну, «Урожай» же! «Урожай»! — Он пристукивал при каждом слове гаечным ключом по столу.— «Урожай»!.. Тоня-а! — вскрикнул он и вдруг бросил ключ на стол.— Тоня! Где ты пропадала, черт возьми?

Рация отвечала граммофонным звуком:

— Я тебе, Василь Василич, не Тоня, а «Урожай». И ключом по столу не стучи. Если все так будете стучать, то связь невозможна.

— Да я же полчаса стою как дурак...

— Я в этом не сомневаюсь.

— У меня авария, а тебе шутки.

— У меня сегодня вторая авария. Если мне с каждым плакать, то глаза высохнут, — тебе же хуже будет, — а рация охрипнет от мокрости. Кого тебе?

— Старшего механика. Поскорей, пожалуйста.

— Сотая доля секунды! — ехидничал граммофонный голос дежурной Тони. Потом слышно было, как она крикнула: — Иван Васильевич! У Федулова авария. — И пока все ожидали механика, Тоня спросила: — Вася?

— А? Я, — ответил Федулов и оглянулся на нас.

— Раскис? «Ава-рия-а»! — И слышно, как она стучала по столу, подражая ему.— Не капризничай, Федулочка: Иван Васильевич вылечит.

— Не вылечит так скоро. Дело серьезное, — все еще угрюмо возражал Федулов.

— А ты ляжь вверх животом на пашню и кричи: «Караул!» Ей-богу, поможет.

Федулов улыбнулся и снова посмотрел в нашу сторону.

— Тебе шутки, а у меня в одном ДТ двадцать процентов всей силы отряда.

— Что там у тебя стряслось? — послышался в рации голос старшего механика.

— Картер пробило. Нижнюю головку шатуна, в третьем, разорвало.

— Не может того быть! — воскликнул механик.— Сейчас выезжаю. Через двадцать минут буду.

Я подошел к рации и вызвал:

— «Урожай»!

— Я «Урожай»,— ответила Тоня.— Кто?

— Луков.

— Здравствуйте, Владимир Акимыч!

— Здравствуй, Тоня! Позови-ка быстренько старшего агронома Михаила Петровича.

— Он здесь. Собирается уезжать. Сию минуту!

— Я слушаю, — вскоре отозвался Михаил Петрович.

— Дизельный вышел из строя суток на двое. Делаю перегруппировку отряда: два ХТЗ прекратят культивацию, дадим каждому по одной сеялке и будем продолжать перекрестный в течение суток. В графике делаю соответствующее изменение.

— Свет для ночного сева будет на обе сеялки?

— Отвечай, Василий Васильевич,— обратился я к Федулову.

— На одну не будет, — ответил он.

— Сделаешь свет, — сказал Михаил Петрович.

— Да ведь фары нету! — воскликнул Федулов.

— Возьмешь в восьмом отряде и сделаешь свет, — повторил твердо Михаил Петрович, а мне сказал: — С перегруппировкой согласен, вносите изменение.

Потом все притихло.

Федулов как-то смущенно повел могучими плечами, провел по черным волосам ладонью ото лба к затылку и задумчиво посмотрел в окошко.

Катков, наоборот, чуть просветлел и обратился ко мне:

— А Михаил Петрович толковый агроном! Сразу понимает дело, с полслова понимает.

Федулов зашел за будку, будто спрятался, но не прошло и двух минут, как оттуда рявкнул заведенный мотоцикл. Федулов выехал из-за будки и сквозь треск мотора крикнул:

— Доеду в восьмой отряд. У них один трактор стоит, фару возьму на ночь. Приедет механик — снимайте головку. Вернусь быстро.

— Подожди-ка, Вася,— сказал Катков, сделав ему знак заглушить мотор.

Стало снова тихо.

— Ты сперва напиши трактористам распоряжение, а то уедешь, а я буду с ними договариваться полчаса. Пиши.

Федулов положил блокнот на бачок мотоцикла, написал распоряжение и вручил его Каткову. Затем он умчался, а Катков посмотрел на часы и сказал:

— Без десяти восемь. Едем?

Я не ответил и смотрел на Илью Семеновича Раклина.

Тот как сидел на гусенице, так и заснул, откинув голову и прислонившись к капоту двигателя. Костя заметил мой взгляд и сказал:

— Он уже две почи не спавши. И третья не предвидится. Так вот, меж делом, заснет на ходу...

— А ты? Ты же подсменный.

— На втором дизеле тракторист болен. Мы втроем на двух тракторах: днем сеем, а ночью культивируем... И сам Федулов сегодня ночью работал, не спал ни вот столечки. — И Костя показал самый кончик ногтя.

— Ты-то тоже не спал сегодня?

— Я — что, я могу,— угрюмовато ответил он и вздохнул, глядя на кусок головки шатуна, который продолжал держать в руке.— Вот горе-то наше! И надо же ей лопнуть сегодня! Подождала бы недельку... Ведь оно ж вон сколько кругом не сеяно!.. Смотрите, — Костя протянул мне кусок головки шатуна. — Раковина, заводской дефект. Я тут ни при чем.

— А сколько, по-твоему, придется стоять?

— Да сколько? Картер в эмтээс везти надо. Гильзу новую надо. Поршень, шатун. Если все это есть, то... кто ее знает, а если нету, то тогда я уж и не знаю.

Катков рванулся в будку, и оттуда было слышно, как он говорил по рации:

— «Урожай»! «Урожай»? Тоня! Узнай срочно: есть ли для дизеля запасные детали — гильзы, шатуны, поршни.

Через несколько минут Катков вышел из будки.

— Все есть, — сказал он.

Костя повеселел. Он зашел вперед трактора, похлопал по радиатору и сказал, как живому:

— Ну, ты, инвалид! Ничего, ничего.

На душе стало немного легче, и мы с Катковым помчались переводить ХТЗ на сев. По дороге встретилась нам автопоходная мастерская. Наверно, механик разыскал ее в массиве по радио и направил сюда. Нам стало веселее. Митрофан Андреевич прибавил скорость и по-мальчишечьи крикнул:

— Держись, Владимир Акимович!

В ушах засвистело. Борозды пошли вкруговую. Автоколея, по которой мы ехали, набегала на нас узкой лентой и проваливалась под мотоцикл, как молниеносный конвейер, а та колея, что рядом, бежала в противоположную

от нас сторону. Никаких толчков — так мягок в езде ИЖ-49.

Митрофан Андреевич что-то подпевает в тон мотоциклу, но что — разобрать трудно. А телеграфные столбы несутся к нам редким частоколом. Каждый из них, проскакивая мимо мотоцикла, кажется, чуть сваливается в сторону, и звук мотора ударяет о столб хлестко и звонко: «ж-жих!» — и проскочил, «ж-жих!» — и проскочил.

Но вот близ дороги стоит трактор. Тракторист кончил загон пахоты и, видно, собирается переезжать в другое место. Мы остановились около него. В средине загона пахота была отличной — черная пашня лежала без единой полоски огрехов, но края пахоты пестрели «облизами», треугольнички незапаханной стерни, похожие на балалайки, и канавки от небрежных заездов уродовали вид пашни. Иной бригадир, глядя на такое, будет кричать на все поле, выходить из себя, а бывает, что там греха таить! — и выражаться начнет черным словом, для крепости. «А как,— думал я,— отнесется к этому Катков?»

Митрофан Андреевич сдвинул фуражку на лоб.

— Та-ак...

Он бросил пристальный взгляд на тракториста, ухмыльнулся и с хитроватой веселостью крикнул:

— Здорово, Леня-а! Как спалось?

— Я пахал ночью, — ответил Леня. Малый он молодой, лет девятнадцати, над губой пушок, вымазанный с одной стороны автолом. Невысокого роста, плотный, он смотрел недоверчиво на Каткова.— Вон сколько напахал. Во! А вы — «спалось»!

— Значит, все отлично?

— Отлично. Пахота — во! — Леня поднял большой палец и вытер рукавом лицо, отчего оно стало еще грязнее. В его покрасневших добродушных глазах исчезла искорка недоверчивости, они прямо-таки подкупали, и мне стало жаль юношу. Боялся я острого на язык Каткова. Только, как оказалось, напрасно боялся.

— А что я хотел у тебя спросить?.. — продолжал Катков серьезным тоном.

— Что?

— Если я сошью тебе первейший из всего колхоза кожух... Черной дубки или хромовой, как шелк, выделки, из самой лучшей овчины... — Он щелкнул пальцами и вытянул ладонь, будто кожух уже висел у него на руке.

— Ну?

— Подожди, я договорю. Сошью такой вот кожух, а воротник и опушку сделаю из старой, дохлой, полинялой козы... Будешь носить такой кожух?

— Не. Не буду. Это, может, дурачок какой будет носить. А зачем портить дорогой кожух? Лучше уж не шить совсем.

— А ты-то именно так и сделал! Сшил дорогой кожух, а опушку — от облезлой козы.— И он показал Лене на «балалайки», канавки, валики, в общем, на всю «опушку».

Леня слегка покраснел, сделал движение локтями, будто почесал бока, и не нашел ничего ответить.

— Ну хорошо. А как ты думаешь — моя учетчица примет от тебя такую пахоту? Нет, не примет. И я акт не подпишу.

— Значит, пропахал задаром всю смену? — нерешительно спросил Леня.

— Благо, ты первый сезон работаешь, а то бы припечатал я тебе расход. Теперь уж и не знаю, как быть... Что Владимир Акимыч скажет, так и будет. — И он пошел к мотоциклу, посвистывая, будто, и не интересно ему знать, что я скажу Лене.

— Опаши края хорошенько, — сказал я. — Сейчас опаши, пока старший агроном не проезжал. А в следующий раз без контрольной борозды не начинай пахоты. Сперва поперек краев борозду пройди, а потом и начинай. Плуг будет сразу входить в пашню. И... опушкой не будешь портить кожух.

Леня улыбнулся.

— Опашу. Прямо сейчас и опашу. — Он облегченно вздохнул.

Мы поехали дальше. Я оглянулся и увидел, что Леня держал в руке шапку и смотрел нам вслед. Ну, этот еще молод, начинающий. А ведь многие трактористы, научившись отлично обрабатывать землю, не считают нужным заправить края пахоты или сева, привести в порядок дорогу около пашни. Едешь потом близ такого посева и видишь: в середине — отличный хлеб, а с краю — бурьяны да канавы. Бьются бригадиры полеводческих бригад над этим вопросом, спорят, доказывают, настаивают, но «балалайки» нет-нет да и выскочат над дорогой. Ну и здорово же придумал Катков с кожухом!

Оба ХТЗ мы перевели на сев без задержки и направи-

лись на посадки лесополосы — за девять километров от села, на границу землепользования колхоза.

Снова засвистело в ушах, снова — поля, поля. Кажется, и нет края этому могучему простору. Бескрайность колхозных полей в степной черноземной зоне поражает не только человека, впервые увидевшего поле. Этот простор удивляет, и того, кто в поле встречает и провожает каждую весну. Удивляет потому, что редко встречаются люди без машин: то встретите деловитый ДТ с сеялками, или культиваторами, торопливо перебирающий гусеницами, будто спешащий поскорее охватить этакую громадину поле, — и кажется он рачительным хозяином, главным из всех тракторов; то вдруг из-за пригорка вынырнет поджарый тракторчик У-2 и спешит-спешит, старается изо всех сил с одной сеялкой; или старичок ХТЗ, доживающий в труде последние годы, ползет со своим отвислым животом-картером, опираясь на неуклюжие колеса, и урчит-урчит себе по-стариковски, напоминая о том, что он совсем недавно был лучшим из всех марок тракторов (теперь уже таких не делают). И снова ДТ — такой молодчина трактор!

На каждом прицепе — один-два человека, не больше. Так мало людей, и так много земли они засевают. Поразительна сила машины в наше время! Люди управляют машинами и сами подчиняются ритму техники. Разве только на склонах, над яром, да на огородах увидите отдельные группы людей на ручной работе, а так — везде машина, машина. И уже много лет мы видим такое, а — поди ж ты! — радостное удивление возникает снова и снова, когда весна приходит с птичьим перезвоном в поле, когда тракторные будки стоят в затишье лощины под огромным голубым небом.

Мы оставили мотоцикл на дороге и пошли через пашню к месту лесопосадок пешком. Это близенько, метрах в стапятидесяти от места остановки. Митрофан Андреевич мне сказал, указывая на лесопосадки:

— Дедовская «техника» из одиннадцати деталей.

— Как это? — не понял я.

— Очень просто: лопата плюс десять пальцев.— Он чуть помолчал и добавил: — Одну бы лесопосадочную машину на эмтээс — и достаточно. Вот буду сидеть целую весну на посадках всей бригадой, а плана все равно не выполню. Не успею.

— Надо успеть.
— Это ты, Владимир Акимович, по обязанности говоришь. Давай по душам говорить.
— Давай.
— Почему наш колхоз имеет хорошие посадки, мы знаем оба. Сажаем столько, сколько осилим прополоть. Почти ежегодно не выполняем плана, а лесополосы хорошие и — много. Бьют нас за это и в хвост и в гриву, а лесополосы есть. Но почему же в большинстве колхозов района посадки — не посадки, а рассадник бурьянов? Вот и вы небось скажете: «Секретарь колхозной партийной организации, товарищ Катков, а говорит не так, как надо говорить». Постойте, постойте! Дайте сам буду отвечать,— заторопился он, будто боялся, что я снова буду говорить по обязанности. — Да потому, что спустят, — понимаете? — он засмеялся, — с п у с т я т план в двадцать гектаров на весну, доведут,— понимаете, «доведут»? — саженцы до колхоза этак тысяч на двести, и — выполни! Выполняют старательно многие. Сажают до июня месяца, когда уже и саженцы распустят листья и земля просохнет. План-то выполняется, а леса нет. Так я ответил или нет?
— Что ж тебе сказать, Митрофан Андреевич? Говоришь ты правильно. И то, что лесопосадочные машины есть замечательные, а у нас в эмтээс ни одной, — тоже правильно. Но то, что они будут в каждой эмтээс,— за это ручаюсь, — тоже правильно. И сажать лес в поле мы будем: никто и никогда не отменит учение Докучаева.
— С этим я согласен на сто процентов. Но только, думаю, промахи есть в этом деле большие. Денег ухлопываем по району уйму, а дело с лесозащитными полосами в колхозах не ахти так ловко.— Митрофан Андреевич помолчал. — Я вот думаю написать и министру машиностроения.
— О чем?
— О чем с неделю назад говорили: о навозоразбрасывателях, о туковых сеялках. Ведь этакая махина навоза пропадает зря только потому, что не успеваем его внести «машинкой в одиннадцать деталей», а удобрения разбрасываем так, как сеяли сто лет тому назад, при царе Николашке, из лукошка. Понимаете, ведь невозможно! — Лицо Каткова вспыхнуло, он рубил ладонью воздух при каждом вопросе. — Как же вы думаете, товарищ министр,

с этим делом? Нет, не писать об этом невозможно, Владимир Акимович!

— Надо писать, — подтвердил я. — Напишем вместе.

Мы подошли к лесопосадочным звеньям. Женщины работают здесь уже несколько дней. Мы поздоровались. Все ответили приветствиями, сразу же окружили нас и заговорили в несколько голосов, разом:

— Саженцы кончаются!

— Вода на исходе!

— Без поливки сажать или нет?

— Митрофан Андреевич, Хвист приедет?

Митрофан Андреевич замахал руками, затем приставил к ушам ладони трубочкой, повернулся в кругу женщин и тоже закричал:

— Ничего не слышу! Не слышу! Громче!

Женщины засмеялись. А он уже спокойно, без шутки, говорил:

— Поодиночке, не все сразу.

Но он всех услышал и все понял. Он привык слушать хоровой разговор колхозниц, которые часто высказываются все вместе, но замолкают, если предложить выступать поодиночке. Не дожидаясь возобновления вопросов, он ответил:

— Саженцы и воду привезет автомашина в обеденный перерыв. Без полива не сажать. Товарищ Хвист должен приехать: была от него записка еще вчера. Разрешите зачитать?

И, опять не дожидаясь ответа, достал записочку и прочитал шутливо-торжественным тоном, уперпшись одной рукой в бок:

«Глубокоуважаемый товарищ Митрофан Андреевич Катков!

Согласно плану, спущенному со стороны райпотребсоюза, и развернутому графику движения полевой торговли сельпо, в горячие дни весенней посевной кампании в вашу бригаду прибудет разъездная торговля разными товарами. Продажа в порядке живой очереди. С горячим кооперативным приветом предсельпо

Е. Хвист».

Все слушали молча, улыбаясь. А Катков спросил шутливым тоном:

— Какие будут соображения?

— Хвисту взбучку дать, — коротко сказала звеньевая Анюта.— Давайте, бабочки, баню ему устроим!

— Покритиковать не мешает, — поддержал и Митрофан Андреевич, — но только по-хорошему, вежливо.

— А мы и так вежливо, — сказала все та же Анюта.— А то до чего дошел: неделю сидим без спичек, а у мужиков без табаку уши попухли. Приди в магазин и спроси у него: «Спички есть?» — «Есть, но для полевой торговли». — При этом Анюта вздернула лицо вверх, сморщила и без того маленький носик, сложила руки по-наполеоновски, отставила одну ногу и, подражая председателю сельпо, произнесла. — «У меня план спущен сверху донизу!» — Все разом захохотали: очень уж похоже изобразила Анюта товарища Хвиста. — «Я тебе продам табак, — продолжала она в той же позе, — а план должен провалить! Ин-те-рес-но! Хм! Я план полевой торговли выполню на пятьсот процентов! Я пять дней накопляю силы! Я — во!» — И она, под общий хохот, ударила себя кулаком в грудь.

Весело смеясь и переговариваясь, женщины стали занимать свои места на линии посадки и принялись за работу. Я прошелся по рядам новой лесополосы: все было в порядке. А работающие нет-нет да и оглянутся на меня — не найдет ли, дескать, какого изъяна?

Мы отправились с Митрофаном Андреевичем дальше пешком. Метрах в двухстах от нас расположен склон, на котором работа на тракторах почти невозможна. Такие участки обрабатываются всегда лошадьми. Надо было решить на месте, судя по почве: нужна там культивация в этом году или можно обойтись двухследным боронованием. Вдоль яра, по краю, протянулась приовражная лесополоса, посаженная восемь лет назад; молодые листочки уже распустились, и уже какая-то пичуга приветливо чирикнула нам из-за веток. Облака стали менее густыми, и солнце, проглядывая на землю в просветы, помаленьку расталкивало их в разные стороны. Было тихо. Там и сям поперек склона колхозники боронили зябь во второй след.

Прямо к нам двигалась пара лошадей, запряженных в бороны, а сбоку около них шагал Прокофий Иванович Филькин. Он держал вожжи в руках, поигрывая ими, и покрикивал на лошадей. Шаг его был ровным и разме-

ренным настолько, что, казалось, он подчиняется какой-то неслышной команде: шаг, шаг! Шаг, шаг! И так — целый день по мягкой пашне, в которой утопают ноги по щиколотки.

Уже по одной этой мякоти пашни видно, что никакой культивации здесь не требуется.

— Добрый день, Прокофий Иванович! — приветствовали мы разом.

— Здоровеньки были! — ответил он, но не остановился, а продолжал отмеривать свой бесконечный путь.

Мы пошли с ним рядом.

— Ну как сменная лошадка? — спросил Митрофан Андреевич.

— Да... как? Так себе. До Великана — куды там ей! Великан — конь! То лошадь такая: брось вожжи и пусти по пашне, сам поведет бороны и огреха не сделает, и назад повернет сам. То лошадь — ум! — Он вздохнул и прикрикнул на лошадей: — Но-о! Заслушались, елки тебе зелены! Разговору рады!.. Я на том коне, — продолжал он снова спокойным и ровным голосом, — пять лет работаю изо дня в день: цены нету Великану.

— Может, покурим? — предложил

— Не занимаюсь: некурящий.

— И никогда не курили?

— Кури-ил. Курил здорово. Давно уж бросил.

— Говорят же, трудно бросить? — спросил Митрофан Андреевич.

— То-ись как это трудно? Есть дела потруднее. А это — надумал и бросил. Но-о! Разговоры!.. Куды ей до Великана!.. Бросил курить. Пришел с работы и надумал... Бросил кисет в печку, а цигарку положил на подоконник, готовую. Да. Положил... Да куды ты лезешь, елки тебе зелены! — беззлобно увещевал он лошадь.— Как это потянет меня курить тогда, а я подойду к цигарке и говорю: «И не совестно тебе, Прошка: сам себя не пересилишь?» — и положу опять цигарку на свое место. Пересилил. За два дня пересилил. — Он немного помолчал и продолжал тем же неизменно ровным и спокойным голосом: — Себя пересилить можно... А вот бабу... не пересилил...

Митрофан Андреевич подмигнул мне незаметно.

— А что такое случилось? — спросил я.

— Да что: Настя-то ушла от меня через бабу. Вот, елки тебе зелены...

— Надо было как-нибудь уладить,— вмешался Митрофан Андреевич.

— Где там «уладить»!.. Женился-то я второй раз. Мне было сорок пять, а бабе — тридцать. Сперва — ничего. А потом пошли у нас споры да разговоры. Настя по воскресеньям книжки читает, а баба зудит, а сама, елки тебе зелены, по грамоте — ни в зуб ногой. Я и так, я и этак — ничего не выходит. «Ты, говорит, обуваешь-одеваешь, неро́дную». Это она про Настю так... «Ты, говорит, вставь мне золотой зуб...» — «На́ тебе золотой зуб, елки тебе зелены,— думаю я.— На!» Вставил за сто рублей: таскай сотенную в зубах, елки тебе зелены, только утихомирься. Я их улаживаю, а она, баба-то моя, опять: «Ты, говорит, каракулевый воротник на пальто купи и мне, как у Насти».— «На́ тебе каракуль, елки тебе зелены, за четыре сотни». Да. Ну, теперь-то, думаю, все! Одежа, как на крале, харч у меня всегда настоящий. Нет — одно: зачем неро́дная живет в хате?.. Ушла Настя... Выпил я тогда с неспокою. Хотя и немного — одну кружку медную, грамм на четыреста,— но выпил... Рассерчал. Прогнал бабу из дому. Теперь один.

— А как же дальше теперь? — спросил Митрофан Андреевич.

— Кто ее знает как. Настя все время говорит: «Возьмите жену обратно, не надо из-за меня жизнь расстраивать. Я сама на себя заработаю всегда, а вас, говорит, всегда, как родного отца...» — У Прокофия Ивановича дрогнул голос, и он с горечью сказал: — Вот, елки тебе зелены... А Настю я обязан и замуж выдать по-настоящему, как и полагается.

— А как она — женщина-то?

— Серафима-то? Да баба она работящая, сготовить умеет хорошо, — любой харч в дело произведет... Правда, одеться любит... И из себя — отличная баба... Все при всем... Но ведь я же сироту воспитал. А у нее к Насте неприятность... Значит, человек без сердца... Ух ты, елки тебе зелены! — крикнул он сердито. Но нельзя было понять, к кому это относится: то ли к новой лошади, то ли к бабе.

Мы прошли, разговаривая, до края загона. Он повернул лошадей, глянул, не останавливаясь, на солнце и произнес:

— Двенадцать.

Митрофан Андреевич посмотрел на часы и подтвердил:

— Почти точно: без десяти двенадцать. Можно на обед отпрягать.

— Не. Осадку надо сделать. Иначе ноги не отдохнут, без размину.

Прокофий Иванович пошел за боронами медленнее, сдерживая лошадей и, как мне показалось, притормаживая ногами. Сразу остановиться, он наверно, не мог, как не мог быстро размяться утром. Какая-то громадная сила внутренней трудовой инерции в этом человеке: он трудолюбив до бесконечности, но медлителен до невозможности.

— Лавка приедет! — крикнул ему вслед Митрофан Андреевич. — У лесополосы станет, под курганчиком.

— Там и моя бричка, — отозвался Прокофий Иванович.

— Как, по-твоему: хороший он колхозник? — немного погодя спросил я Каткова.

— Неплохой, — ответил Митрофан Андреевич. — Сколько ему попадало от всех семнадцати председателей за нерасторопность! Ай-яй-яй! А я его всегда защищал: человек он такой.

Мы вернулись к приовражной лесополосе. Там уже собрались на отдых женщины, девушки и несколько мужчин. Вскоре подкатила автомашина. В кузове стояла Настя и придерживала рукой связки саженцев.

— Ну-ка, дружно прикопать! — крикнула она.

Несколько человек встали, перенесли саженцы в заготовленную канавку и забросали их землей, оставив на поверхности одни лишь верхушки. Настя открыла борт, подложила на край кузова два бревна-накатки и одну за другой ловко скатила четыре бочки с водой. Пустые бочки она вкатила в кузов по тем же накаткам и закрыла борт автомашины. Все это она делала быстро и уверенно, по-мужски, а бочками, казалось, просто играла.

— Экая сила! — шепнул мне Катков.

— Молодчина девушка! — поддержал и я.

А Настя, закончив разгрузку-погрузку, выпрямилась в кузове, поправила закатанные до локтей рукава кофточки, поправила косынку, даже приладила привычным движением колечко-локон. Эти движения были у нее мягки и женственны. Вот она взглянула вдаль, в поле, и несколько минут присматривалась к чему-то. Черные

узкие брови, длинные-длинные ресницы, четко очерченные губы и румяные щеки были некоторое время неподвижны.

И вдруг она улыбнулась как-то иронически, вздернула брови вверх и громко сказала:

— Бабочки! Хвист плетется. Во-он! — Она показала рукой вдаль и, взявшись за борт, легко спрыгнула вниз.

Вскоре на дороге показалась странная подвода. Большой ящик, прикрепленный к дрогам, тащила тощая кобыленка с обтрепанным хвостом. Ящик был похож на те, в которых возят хлеб, но значительно шире и выше — в рост человека. На передке, свесив ноги, сидел возница, старый и дряхлый старикан с трубкой в зубах по прозвищу «Затычка». Дед хотя и состоит в колхозе, но никогда в нем не работает, а отирается то около кооперации, то в сельсовете, а то и просто уходит из села невесть куда. Спросу с него никакого нет: стар уже. Рядом с ним, в той же позе, сидела продавщица сельпо, тетя Катя, в белом фартуке и таких же нарукавниках. Полное ее тело колыхалось при каждом покачивании возка, а лицо было сердитым. Дед Затычка, наоборот, был весел, как всегда, и когда подъехал к нам, то приложил руку к козырьку и произнес тоненьким голосом:

— Прибыл на каникулы!

Он кряхтя сполз с передка на землю и немедленно пристроился отдыхать прямо на земле, животом вниз.

Вдруг из-за фургона, с задка, ловко соскочил щупленький председатель сельпо и молодцевато воскликнул:

— Привет трудовому народу! — Он отряхнул брючишки, дунул почему-то на рукав коричневой тужурки, поправил сереньkую кепку, тронул двумя пальцами узел галстука и произнес: — Приступим. Катерина Степановна! Пожалуйста!

Но та слезла не сразу. Она поставила сначала ногу на оглоблю (отчего дуга перекосилась, а клячонка пошатнулась), а затем уже грузно спустилась вниз.

— Фу-х! Боже ж ты мой! — произнесла она, вытирая лицо фартуком, и открыла двери фургона.

Товарищ Хвист заглянул внутрь своего походного магазина, осмотрел, все ли в порядке, и улыбнулся. Серые бесцветные глаза устремились на тетю Катю. Говорят, что глаза выражают работу мысли, а вот у товарища Хвиста они, например, ровным счетом ничего не выражают: на-

верно, врут люди. Одним словом, он посмотрел на тетю Катю и обратился к ней так:

— Для начина, многоуважаемая Катерина Степановна, понимаешь, кружечку пивка — начальству. Без этого, каб-скть, нельзя. Начин — великое дело. (Часто употребляемое «как бы сказать» он произносил в скороговорке, как «каб-скть».)

— Ты уж третью кружку вылакал: чем я буду расплачиваться? — проворчала продавщица вполголоса, но пива все-таки налила.

— Напрасно, каб-скть, волнуетесь. — Он подмигнул тете Кате, принял от нее кружку пива, отхлебнул глоток и объявил столпившимся колхозникам: — Только в порядке очереди!

Настя о чем-то пошепталась с Анютой и сказала громко, так, чтобы все слышали:

— А горшков привезли, Ерофей Петрович?

От взрыва общего хохота даже и лошаденка засеменила ногами. Казалось бы, чего тут смешного? Но это был намек на то, как в прошлом году Ерофей Петрович выехал без возницы и забыл торбу; когда же потребовалось кормить лошадь овсом, он попробовал накормить из горшка. Кончилось все это тем, что лошадь укусила его за плечо. С тех пор Ерофей Петрович возненавидел всякую глиняную посуду и перестал ею торговать. А колхозницы прямо-таки взвыли без этой посуды. Вообще по сельскому хозяйству Ерофей Петрович соображал плохо. По этой причине он завез в сельпо двести хомутов громадного размера, из которых только один годился на Великана. Все же остальные валяются на складе и по сей день. А ведь он, по его словам, руководствовался совершенно правильным принципом: маленький хомут налезет не на каждую лошадь, а большой — на любую. Вероятно, поэтому же кобыленка, запряженная в фургон, могла бы при желании пролезть в свой хомут с ногами.

И почему только люди смеются? Не понять. Вот и теперь, когда все смеялись, Ерофей Петрович не пошевелил бровью, он пил пиво и изредка посматривал вверх, на облака.

Все стали подходить к дверцам фургона и покупать кто спички, кто табак, кто платок.

— В порядке очереди! — еще раз предупредил их Ерофей Петрович.

Но никто его не послушал.

Подошел и Прокофий Иванович. Сначала он бросил взгляд на фургон и ухмыльнулся; затем обошел вокруг лошади, просунул руку, до локтя, под хомут, покачал головой и с горьким сожалением сказал:

— Животная.

Ерофей Петрович искоса осмотрел его с ног до головы, тоже ухмыльнулся и отвернул лицо в сторону.

— Папаша! От меня — пивка! — сказала весело Настя и подала Прокофию Ивановичу бокал пива. (Больше никто, конечно, пива не купил, а возил его Ерофей Петрович, вероятно, «для начина».)

— Можно, Настенька, — согласился Прокофий Иванович. И большими глотками разом осушил сосуд.— Та-ак,— произнес он удовлетворенно. — Перед обедом пиво пользительно... А эта косынка что стóит?

— Двадцать восемь, — ответила уже повеселевшая тетя Катя. Глаза у нее, оказывается, добрые и немножко хитроватые. — Двадцать восемь — не деньги, а расцветка — лучше быть не может.

— Настя! Померь-ка косыночку,— ласково обратился Прокофий Иванович.

Тетя Катя набросила на нее косынку, быстро приладила и, любуясь, затараторила:

— Это ж прямо-таки для нее делано! Ай, матушки, как идет!

Прокофий Иванович неторопливо вынул кошель, рассчитался, отошел к нам, развязал сумку с продукцией и принялся обедать. А Настю окружили девчата и все разом стали вносить суждение о косынке, попивая ситро. Мы с Катковым полулежа наблюдали торговлю. Все шло весело. Тетя Катя подобрела окончательно: предлагала девчатам конфеты, женщинам — фартуки, чулки. Но вот Анюта снова пошепталась с Настей и крикнула:

— Ерофей Петрович! К нам!

Тот улыбнулся, потрогал еще раз двумя пальцами галстук и приблизился к девушкам.

— Ерофей Петрович! А можно мне купить полный ящик спичек? — спросила Анюта.

— Даже для вас, каб-скть, хоть вы и симпатичны, но нельзя. Не больше, понимаешь, пяти коробок.

— Как же нам быть-то, девчата? А?.. А вы, Ерофей Петрович, еще будете «силу набирать»? (Девчата прысну-

ли со смеху.) Мы совсем без товару остаемся, пока вы набираете... прыть на пятьсот процентов.

— Всегда и везде. А к посевной — обязательно, — ответил Ерофей Петрович.

Митрофан Андреевич сказал мне тихонько:

— Дурака не выправишь — это верно. И тут обидно не то, что он дурак. Обидно другое: ты ему говоришь, что он дурак, а он ни капельки не верит. — Он помолчал и добавил: — До общего собрания пайщиков как-нибудь дотянет, но не больше.

А Настя снова пошепталась с Анютой, и обе подбежали к нам. Но обратились они к Прокофию Ивановичу:

— А где Витя?

Прокофий Иванович резал сало на квадратики толщиной с большой палец руки и, пожевывая, ответил:

— Лошадь упустил. Отпрягал — убежала. Приедет. Куды ему деться?

Отошли они медленно: видно, приуныли. Но через несколько минут Витя вынырнул из лесной полосы, привязал лошадей к бричке, задал им корм и уселся на колесе с независимым видом. Девушки потянулись к нему и заговорили:

— Витенька! Ситреца стаканчик!

— Витя! Пару «Ривьер» от имени девичьего населения!

— Сперва поесть надо. Умаялся.

Торговля прекратилась совсем. Дед Затычка спал около фургона. Ерофей Петрович разбудил его.

— Поехали!

— Куды? — спросил тот, не вставая.

— Домой.

Дед Затычка поднял голову, посмотрел вокруг и сказал:

— Съездили бы во вторую бригаду. Все равно завтра тащиться.

— План, понимаешь, каб-скть, график.

— А там без табаку им теперь — график?

— Ну-с?

— Вот тебе и «ну-с». Налаживаю. — И он стал подтягивать чересседельник и прилаживать неказистую сбрую.

Тем временем Настя что-то шептала на ухо Вите, а тот кивал головой, посматривая в сторону фургона. Там уже

сидел на своем месте дед Затычка, уже примостился позади, на приспособленном стульчике, сам Хвист, а тетя Катя еще не уселась.

Наконец дед Затычка поплевал на ладони, свистнул кнутом и крикнул:

— Впере-ед!

Лошадка потопталась на месте, натужилась, бедняга, и стащила с места странную повозку. И в то время, когда тетя Катя помахивала на прощанье рукой, а Хвист сидел надутый, как индюк, Витя перестал есть. Он быстро достал баян, растянул его и грянул веселую «частушечную». Настя и Анюта, подбоченившись, запели под переборы баяна:

> У товарища Хвиста
> Кобыленка без хвоста,
> Потащилася шажком.
> Подкорми коня горшком!

Ерофей Петрович заерзал на стульчике, потом перегнулся на бок фургона и замахал деду Затычке. Что кричал, не было слышно, но ясно — он торопился отъехать.

Митрофан Андреевич встал, подошел к девушкам и сказал коротко:

— Спать! Отдыхайте! — Посмотрел на Настю и добавил: — Машину за народом надо прислать вечером.

Волей-неволей все подчинились бригадиру и разошлись по лесополосе. Автомашина уехала. Витя продолжал есть. А Митрофан Андреевич обратился к нему:

— Вечерком, Витя, вечерком поиграешь девчатам. Сейчас — спать.

— Безусловно, — согласился Витя.

— Лошадь-то как же упустил? — тихонько спросил бригадир, так, чтобы никто не слышал.

— Жавороночек бросился от коршуна под бороны. Я боялся: тронут — сомнут птичку. Ну и... отложил постромки. А Козарка хвост трубой — и вдоль яра... Поймал!

— Кого: птичку?

— И птичку и лошадь. Птичку пустил... Дрожит в руках, бедняжка.

— А лошади полчаса без корма. Какой же им отдых так-то?

— А что ж: давить жаворонку? — удивленно спросил Витя.

— Да не-ет. Надо бы и птичку не давить и лошадь не упустить.

— А-а! Попробовал бы.

— Ну, ладно. Пусть так. — Митрофан Андреевич вздохнул и неопределенно сказал: — Ох, Витька, Витька!

— Ну вот: опять «Витька, Витька»! Я же стараюсь.

— Да я ничего, — примирительно и даже с ноткой ласки утешил его Митрофан Андреевич.

Мы договорились с Митрофаном Андреевичем о второй половине дня. Ему — проставить вехи для начала сева на завтра, проверить работу тракторной сеялки на севе овса,— остального времени еле хватит для повторного объезда поля и учета выработки за день каждым колхозником в отдельности. Мне — разбить под гнездовой посев два участка, расположенные близко отсюда, и выверить гнездовую сеялку на норму высева.

Митрофан Андреевич пошел к мотоциклу и вскоре умчался по шляху.

Стало тихо. Все отдыхали. Было слышно, как лошади жуют овес: «хр-рум», «хр-рум», «хр-рум»... За яром равномерно урчали тракторы. Я расстелил ватник и лег животом вниз, положив ладони под грудь, а щеку на рукав ватника: самое лучшее положение для отдыха в поле весной, когда еще земля не прогрелась по-настоящему. Немало молодых агрономов, по неопытности, ложились отдыхать на спину или на бок и потом отлеживались в больнице месяцами.

...Уже и дрема находила, когда я услышал тихий говор.

— От самой Польши? — спрашивал Витя.

— От самой Польши, — отвечал Прокофий Иванович приглушенным баском.

— А как же вы столько тыщ на конях проехали?

— Вишь, какое дело, елки тебе зелены... Мы, значит, отступали, а он напирал нам на пятки. Едем и едем, едем и едем: и день, и ночь. Кони поприставали, мы — тоже, харч пошел никудышний. Одним словом, дело было, эх... елки тебе зелены... Вспомнишь: сон. Прямо — сон. Я в обозе, конечно, всю войну. Оружие у нас — одна винтовка полагалась. Бывало, едешь и на сижу спишь и на сижу ешь. Возьмешь его, кусок хлеба-то, посмотришь, посмотришь да ножичком и разметишь: это — на завтрак,

это — на обед, это — на ужин. А на завтра — неизвестно. Иной раз и по два дни не евши. Да. А около коней, сам знаешь, сколько хлопот: много. Захудал я тогда здорово, но... ехать надо. То раненых везешь, то амуницию, то снаряды: чего-чего только не возил я.

— А награду где получили? — спросил Витя.

— Это уж потом. Когда за Дон пришли. Тут мне перед полком благодарность была и, конечно, орден, как и полагается. Командир полка речь сказал нам в роте: «Вот, говорит, товарищ Филькин от границы Польши до Дона проехал на своей подводе и сохранил все до последней супони. Сотни, говорит, раненых были спасены им при отступлении». Вот как он сказал... Конечно, все так, не я один. — Прокофий Иванович умолк, и разговор у них больше не возобновлялся.

Я задремал.

...Наверно, я все-таки не спал как следует, потому что сквозь дрему услышал голос Прокофия Ивановича. Он говорил громко, во весь голос:

— Витя! А ну-ка побуди народ. Два часа ровно. Начинать надо.

Сразу же после этих слов Витя ударил «Марш футболистов». Люди вставали, потягивались, умывались около бочки и как-то все разом приступили к работе. Только Прокофий Иванович еще некоторое время ровнял постромки, поглаживая лошадей, и вполголоса разговаривал с ними о чем-то. Наконец и он медленно повел лошадей к боронам.

Я взял с собой на подмогу двух девушек и отправился на разбивку.

До самого вечера мы работали по подготовке участков для гнездового посева подсолнечника. И все время беспокоил вопрос: что там с аварийным трактором ДТ-54. Хуже всего бывает, когда ускорение какой-либо работы не только не зависит от тебя, но ты даже не имеешь возможности устранить какой-либо недостаток. Так и теперь: торчать над душой трактористов бесполезно и даже вредно (они и без того из себя выходят), а ждать — терпение надо большое. Тут уж приходится делать очередное дело, а мозгами шевелить: что делать завтра, если ДТ будет стоять еще сутки. Агроном обязан предусмотреть заранее: не сумеешь этого сделать — не агроном. И мы спешили дать работу гнездовой сеялке. Маленький У-2 здесь да

два ХТЗ на зерновых сеялках — это уже немало, а с культивацией придется наверстывать ночами. В общем же, как бы я ни раздумывал, а бригада Каткова из-за аварии трактора сразу превратилась в «узкое место». Но ведь есть еще две бригады: что там? Такие вопросы волнуют агронома целый день. И все же если он не умеет отдохнуть в обеденный перерыв, не умеет вовремя спать, не найдет времени почитать, то пропащее дело! Либо будет мотаться из бригады в бригаду высунув язык, либо вовсе упустит вожжи из рук. С годами пришло убеждение: если ты приехал в бригаду, то на целый день, никак не меньше, только тогда предусмотришь на несколько дней вперед.

...Уже заходило солнце, когда я подошел снова к курганчику около приовражной полосы. Автомашина уже приходила и увезла женщин. Осталось несколько девушек, которые стояли около Витиной брички и ожидали, когда он запряжет.

Настя не поехала сейчас обратно с автомашиной и была тоже около Вити: то помогала ему запрягать, то отряхивала ему ватник. Прокофий Иванович «ладил сбрую», запрягая лошадей. А когда у него все было готово и он уселся, то пригласил меня:

— Подвезу с большим нашим удовольствием. У меня не тряско.

Я забрался в бричку. Девушки, в том числе Настя и Анюта, сели к Вите. И мы поехали. Витя бросил вожжи и взял баян. (Его пара лошадей шла за бричкой Прокофия Ивановича.) Вот он сначала прошелся по клавишам уверенным перебором, пророкотал басами и замолк. Думал ли он, с чего начать, или прислушивался к предвечерним звукам поля, не знаю.

А вечер опускался на поле тихо, тихо. Воздух замер. Ни малейшего дуновения ветерка! Край неба еще горит там, где зашло солнце, а уже веселая звезда-зарница приветливо начинает мигать из темнеющей синевы: мигнет и скроется. И на земле уже не то, что днем. Пашня вдали уже сливается в предвечернем полусвете с озимью, а озимь, уходя, тает где-то там, в небе. Это еще не вечер, но уже и не день. Это — время, когда небо натягивает над землей завесу, под покровом которой все постепенно начинает менять свои очертания, линии сглаживаются, тают и мало-помалу исчезают. Запоздалый жаворонок еще

прозвенит невысоко и сразу умолкнет. У тракторов не такой чистый треск, как утром, и не так напористо они рокочут, как в ясный день: они осторожно шевелят тишину приглушенной и плавной, густой нотой...

Но что это? Мне почудилось, что трактор и впрямь звучит уже басовым аккордом... Да. Звучит... Да ведь это Витя! Он нашел бас в тон звучанию трактора, некоторое время тянул его, прибавляя другие басы, и постепенно перешел на мотив песни «Мне хорошо, колосья раздвигая».

Настя запела эту песню чистым, сильным грудным голосом... Анюта включилась второй.

Прокофий Иванович слушал, слушал да и опустил голову, задумавшись. Ему, видно, взгрустнулось. Он покачал головой и произнес, вздыхая:

— Эх-хе-хе!.. Елки тебе зелены...

Но вот песня кончилась. Не прошло после этого и пяти минут, как Настя и Анюта соскочили с брички и подбежали к нам.

— Папаша, пересаживайтесь в нашу бричку, — сказала Настя. — Владимир Акимович! И вы тоже.

Анюта уже теребила Прокофия Ивановича, а Настя тащила меня за рукав ватника. Сопротивлялись мы не очень. Нашу подводу девчата перевели назад, за бричку Вити.

Прокофий Иванович уселся на футляре баяна, девушки сели на грядушки, а я на задке.

Все наперебой стали приставать к Прокофию Ивановичу с просьбой спеть. Он сначала отмалчивался, а потом задумчиво сказал:

— Ну давай, Витя... «Ямщика».

Тот не замедлил взять нужные аккорды. Прокофий Иванович кашлянул, поправил картуз, расстегнул ватник и запел:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку...

Певец грустил. Голос его на высоких нотах жаловался, а в конце каждого куплета заунывно дрожал так, что последние слова он выговаривал совсем тихо, будто говорило само сердце.

Прокофий Иванович преобразился: это был уже не медлительный, как утром, не распотевший от трудной

и бесконечной ходьбы по пашне ездовой и не удивительный силач, поднимающий куль муки одной рукой. Грустил ли он о безвременно умерших жене и дочке, жалел ли Настю, тосковал ли о новой жене?..

Прокофий Иванович закончил песню:

Под снегом-то, братцы, лежала она —
Закрылися карие очи...
Налейте, налейте бокал мне вина:
Рассказывать больше нет мочи.

Поле повторило последний печальный звук, и он, дрожа, растаял в полусумерках.

Настя сидела на грядушке и задумчиво смотрела в сторону, а мне показалось, что у нее глаза стали влажными. Анюта печально опустила голову.

Все молчали.

Прокофий Иванович вдруг улыбнулся и сказал, обращаясь ко всем:

— Ну, вы! Приуныли, елки зелены... Оно так — песня, она штука такая: может и за сердце взять, если протяжная, и за животики ухватишься, если веселая. Без песни, елки зелены, никуда... Сроду так на селе.

Витя перебирал клавиши. Казалось, он переключал настроение, все учащая ритм перебора.

Против тракторной будки я сошел с подводы. Прокофий Иванович пересел в свою бричку. И мы расстались.

У тракторной будки я увидел мотоцикл Каткова. А вот и он сам: улыбающийся, видно, в отличном настроении. Мне даже пришло в голову: «Не похоже что-то на Каткова. У него «узкое место», а он в повышенном тоне». Но я ошибся. Оказалось, что старший механик еще среди дня привез картер от старого, выбракованного трактора и все необходимые детали, а сейчас заканчивается полевой ремонт.

В ночь трактор пойдет в работу.

...Уже смеркалось, когда мы с Катковым, оставив мотоцикл в бригадном дворе, подошли к его домику. Немного посидели на крылечке. Поговорили о том, о сем. (О работе не говорили — все теперь ясно и войдет в норму.)

Вдруг я услышал в открытое окно что-то похожее

на тихое бормотание и прислушался. Митрофан Андреевич заметил это и сказал вполголоса:

— Папаша богу молится.

— Молится? — переспросил я.

— Угу. — Он подсел ко мне вплотную, наклонился над ухом и зашептал: — Очень верующий: молится. Но в последние годы с богом вроде бы на равную ногу становится. В прошлом году, летом, подслушал я его молитву.

— Интересно: какая же? — спросил я также тихо.

— Вот слушайте. «Господи, отче наш, царю небесный... Да будет воля твоя. Сушь-то какая стоит, господи... А? Ни одной приметы на дождик. Хлеба-то незавидные, господи... Я не партейный человек, и то болею сердцем, а ты все-таки бог. Как же дождя-то? Надо ведь обязательно. Или уже мы на самом деле грешники какие? Вот посохнет, тогда что? Ну, пущай, старики, может, и нагрешили, а детишки-то тебе не виноваты. Ты должон сочувствовать, господи». Потом он вроде спохватился и закончил: «Да приидет царствие твое. И во веки веков. Аминь».

Пока мы этак шептались, бормотание прекратилось. Мы помолчали. Я встал, подал руку на прощанье и сказал:

— Ну, теперь увидимся не раньше как через два дня.

И вдруг село заполнилось звуками баяна. Витя где-то поблизости играл вальс. Сразу не захотелось уходить, и мы все стояли и стояли, заслушавшись.

— Эх, Витя, Витя! — тихо и задумчиво заговорил Митрофан Андреевич. — Все простишь тебе, Витя!

...Шел я до квартиры тихо. Уж очень хорош вечер. Да и на душе было спокойно и легко.

Проходя мимо какого-то палисадничка, я услышал тихий девичий голос и не устоявшийся еще юношеский баритончик.

— Уедешь, значит? — спрашивала она.

— Осенью уеду.

— Забудешь, Витя...

— Нет, Настя, никогда тебя не забуду.

Чтобы не быть невольным свидетелем, я тихо отошел на середину улицы и продолжал путь.

Взявшись за щеколду своей калитки, немного постоял и прислушался к звуку тракторов: оба ДТ урчали — значит, и Костя выехал.

Вот и кончился еще один день...

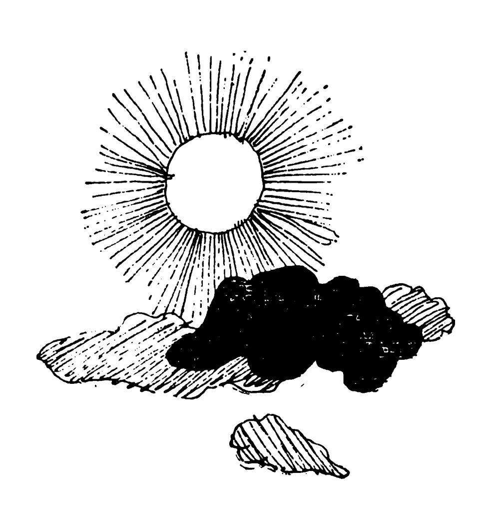
Покойной ночи, добрые люди!

1953

КАНДИДАТ НАУК

ПОВЕСТЬ, ОТЧАСТИ САТИРИЧЕСКАЯ





Глава первая

●

ТУРНИР НА ЧЕРНИЛЬНОЙ КРЫШКЕ

●

Что можно сказать о характере и внешности Ираклия Кирьяновича Подсушки? Признаюсь, почти ничего особенного нельзя сказать, кроме одной детали: Ираклий Кирьянович Подсушка был настолько тощ, насколько может быть тощим человек. Совсем тонкий. Но это не от слабости здоровья и не от того, что он мало ел, а по природе такой. Что же касается пищи, то он употреблял ее в достаточном количестве и очень, очень регулярно. Иные знакомые так и шутили: у Ираклия Кирьяновича душа тощая, поэтому для пищи остается внутреннего пространства гораздо больше, чем полагается. Он, конечно, принимал это не за очень чистую монету и в душе — именно в душе! — страстно желал растолстеть. А кто, спрошу я вас, не желает быть полным из тех, кто действительно тощ? Тут ничего удивительного нет в Подсушке.

Еще что? Ну, думал он, конечно, кое о чем. Даже глубоко задумывался. Например, сидя за столом небольшого научного учреждения, он, Подсушка, часто занимался проблемой. Мысленно он так и говорил: «Опять проблема лезет в голову». Что же это за проблема такая беспокоила его?

А дело в том, что у Ираклия Кирьяновича подохла кошка. Обыкновенная кошка. Ей-то что: подохла, и все тут. А Подсушке — проблема. «Не дай-то бог, заведутся мыши!» — с ужасом думал он. Боялся он мышей этих больше всего на свете. Искал он сначала котенка, но подходящего, трехцветного, так и не нашел. А надо обязательно, чтобы трехцветный был, — счастливый, значит. Так проблема встала перед ним во весь рост. На всякий случай он купил мышеловку и зарядил ее салом. Но мыши не ловились.

Ираклий Кирьянович не поверил мышеловке и решил купить новую, более совершенной конструкции. Однако мышеловки везде были одинаковы: дощечка, пружина, сторожок. Сущий примитив.

«И что же это ученые не могут выдумать настоящего прибора», — подумал он раздосадованно. С тех пор и засела ему в голову мысль: изобрести автоматический прибор по улавливанию мышей в домах, хранилищах и на полях. Назвал он будущее изобретение «автомышеуловитель». Много часов рабочего времени в своем учреждении он посвятил этой проблеме. Много разных проектов возникло в его многодумной голове. Он даже чертил на писчей бумаге карандашиком. Были у него проекты двух- и трехпружинных автоматов, были так называемые «лапохваты», были и такие, что мышь обязана была просто прилипать, как обыкновенная муха. Но самый последний проект абсолютно поглотил Ираклия Кирьяновича всего целиком. Этот проект назывался «фотоавтомышеистребитель». В принципе аппарат должен был иметь «фотоглаз». Если в поле зрения этого глаза попала бы несчастная мышь, то автоматически включался мощный вентилятор и через соответствующее сопло моментально втягивал мышь в соответствующий резервуар. При этом мышь обязана была бы умереть немедленно вследствие сильного удара о стенку резервуара (на каковую можно было бы даже набить сапожных гвоздиков для надежности). Ираклий Кирьянович очень был обижен, когда ему сказали в какой-то артели инвалидов, что никакого соавтора ему не дадут, так как его проект суть фантазия, что нет ни системы, ни самого аппарата, что он предлагает только одну идею, которую никто осуществить не может. Ираклию Кирьяновичу казалось, что его «затирают». И ввиду того, что он лично считал свою идею наивысшим достижением в деле мышеистребления, то больше он изобретать не стал. Смирный был изобретатель, слабоват характером. Осталась только одна папка с надписью: «Смерть мыши!»

Вот о чем и думал он частенько. Мрачные воспоминания. А трехцветный котенок не попадался.

После таких неприятных мыслей Ираклий Кирьянович вздыхал, съедал бутерброд, брал латунную крышку с чернильницы, чистил ее некоторое время бумажкой. Все это делал не спеша, спокойно, зная, что посетители бывают очень редко, а бумаги, запланированные на эту неделю,

написаны еще во вторник. Так что в субботний день можно не спешить. И он не спешил. Почистив крышечку, ставил ее на «пуговку», воронкой вверх, и ловко запускал волчком. При этом он «засекал» время и, не выпуская часов из руки, следил за волчком. Милая сердцу тишина учреждения и ласковое журчание волчка располагали к ласковому же и безмятежному бездумью. Не хотелось в такие минуты думать о том, что он находится в учреждении, которое разрабатывает весьма серьезную сельскохозяйственную тему: «Что может есть лошадь и что она должна есть». И все-таки он думал, глядя на волчок и на часы. Трудное дело наука: всегда лезут всякие мысли в голову.

«В самом деле, что может есть лошадь? — думал Подсушка. — Овес? Сено? Эва! Это уже давно известно. Известно и за границей. А вот вопрос: что может есть лошадь, кроме овса и сена? Тут надо голову иметь, чтобы исследования были строго научными и вполне обоснованными».

Вторично запустил волчок Ираклий Кирьянович. И вторично думал: «В надежные руки попала тема «КК» («КК» означает — коню корм). В надежные. Карп Степаныч провернет! А я, Подсушка, обеспечу его кадрами на периферии, поскольку таковое дело поручено мне, Подсушке». А волчок крутился, крутился и южал... Истинное наслаждение!

А кто такой Карп Степаныч? — спросит читатель. Это тот самый Карп Степанович Карлюк, который ведет тему «КК». Сидит он в той же комнате, где и Подсушка, слева от него, шагов за десять, за большим письменным столом. Во время первого запуска волчка Карп Степаныч смотрел в выдвинутый ящик своего стола и, казалось, сосредоточенно думал. Но это только казалось. В действительности же он читал роман «Королева Марго». Способ такого чтения представляет определенные удобства. Пришел, скажем, посетитель, тогда Карп Степаныч медленно отрывался якобы от задумчивости, дочитывая абзац, и задвигал ящик. Задвигал и веско говорил: «Я слушаю». Иной посетитель, может быть, и подумает: «Эх, не вовремя пришел. Человек мыслил, а я перебил».

В тот момент, когда крышка-волчок заюжала вторично, Карп Степаныч оторвался от чтения и поверх очков молча посмотрел на стол Ираклия Кирьяновича, своего подчиненного. Смотрел до тех пор, пока вращение не прекратилось

и волчок не зазвенел по стеклу. Мягким баритоном Карп Степаныч задал вопрос:

— Сколько?

— Четыре минуты, — ответил Ираклий Кирьянович, улыбаясь.

— Ниже вашего рекорда. Много ниже... На целую минуту. — Но говорил он это, скрывая зависть, так как сам еле дотягивал и до двух минут.

Да, завидовал Карп Степаныч этому Подсушке: человек ниже его по всем статьям, а рекорда не сдает. Иной раз даже приходила мысль: «Не уволить ли его?» Но это только вспышка. Вообще-то он ценил Подсушку как незаменимого.

И вот Карп Степаныч встал из-за стола, потянулся, расправил плечи и медленно пошел к столу Подсушки. Шел с единственной решимостью: победить!

Интересный человек Карп Степаныч. Это вам не Подсушка — о нем можно кое-что сказать. Он был толст и кругл настолько, насколько может быть круглым человек. Никакого сравнения с Подсушкой! Но это не от очень хорошего здоровья и не от того, что он много ел разной пищи, а просто такая конституция организма получилась со временем. Не стоит также думать, что Карп Степаныч, будучи по представлению Ираклия Кирьяновича идеально полным, был меланхоличным или совсем неподвижным, лишенным обычных человеческих чувств. Наоборот, Карп Степаныч бывал и добр, бывал и зол, а иногда просто даже и ласков, иногда же выражал и удивление, если к тому были основательные причины.

Во всех этих чертах характера начальника Ираклий Кирьянович разбирался очень тонко. Со стороны кажется, что круглое, пухлое лицо Карпа Степаныча с вросшими в жир мочками ушей остается неизменным при проявлении различных высоких чувств, а на самом деле это далеко не так. Предположим, Карп Степаныч находится в удивлении,— тогда маленькие толстые губы складываются трубочкой, брови поднимаются вверх, локти слегка отходят от туловища. А во гневе! Тут губы Карпа Степаныча вдруг становятся большими, рыхлыми, а брови делаются углом и впиваются концами в складки над переносьем. И он слегка сопит. Говорит в таком состоянии почти басом. Весь он во гневе становится как-то толще, могущественнее. А в ласке! Когда, например, высшее начальство говорит с ним по

телефону, губы — те же губы! — становятся тонкими, ибо они то плотно сжимаются, то растягиваются. И он держит телефонную трубку стоя, слегка полусогнувшись. В такие ответственные моменты жизни он ласково улыбается, слегка потеет, голос его становится значительно тоньше обычного или — как бы это сказать получше? — голос становится мягче, в соответствии с размягчением душевным. Правду сказать, улыбался он чрезвычайно редко.

Итак, Карп Степаныч подошел к столу. Сел на поданный Подсушкой стул и произнес:

— Начнем?

— Пожалуйста.

— Жребий.

Ираклий Кирьянович взял две спички. Одну из них падломил, затем сложил концы спичек, зажал в двух пальцах и поднес Карпу Степанычу.

— Короткая — первый, — пояснил он лаконично.

Карп Степаныч потянул: досталась длинная. И вот Ираклий Кирьянович запустил. Да как запустил! Так запустил, что в течение пяти минут Карп Степаныч сопел (а мы уже знаем, что это значит). Запустил и Карп Степаныч и — только две минуты! Чепуха!

— Виноват! — сказал он торопливо. — Сорвался палец. Повторю.

— Да, да, я видел: сорвался палец, — подтвердил Ираклий Кирьянович, слегка кривя душой.

Но и вторично Карп Степаныч не дотянул до трех минут.

Если бы посторонний человек сидел за стеной и слушал, то вот что он услышал бы.

— Четыре, — говорит Карп Степаныч басом и сопит так, что слышно в соседней комнате. (У них правило: результат объявляет партнер.)

А по прошествии некоторого времени скрипучим голосом восклицает Ираклий Кирьянович:

— Три!

Снова южит волчок.

— Три, — говорит Карп Степаныч уже более мягким баском.

Мертвая тишина. Молчание. Южит волчок. И упавшим голосом говорит Ираклий Кирьянович:

— Три... Сравнялись.

— Три, — звучит голос Карлюка в большой комнате.

— Три, — ржавой петлей скрипит Подсушка.
— Две...
— Ваша — три! — взволнованно восклицает Ираклий Кирьянович.
— Только две, — уже с явной радостью говорит Карп Степаныч.
— Ваша победа! — сокрушенно произносит в заключение Ираклий Кирьянович.
Зная характер начальника, он постепенно сбавлял свое время до тех пор, пока не оказался побежденным.
— Ой! — воскликнул Ираклий Кирьянович. — Уже десять минут седьмого!
— Вот так всегда, — сказал Карп Степаныч. — Никогда не вырвешься с работы вовремя.
Расстались они на тротуаре. Карп Степаныч пошел вразвалку в одну сторону, а Ираклий Кирьянович засеменил домой, в другую сторону, быстро переставляя длинные ноги.
Он был доволен: вчера получил зарплату, сегодня рабочий день кончился, завтра воскресенье.

Глава вторая

●

ВЕЧЕР СЛЕЗ

●

Суббота есть суббота. Хороший день — суббота. Карп Степаныч зашел домой за бельем и отбыл в баню. Искупавшись, возвратился на квартиру, где его ждала кругленькая, с этаким приятным пухленьким подбородочком жена Изида Ерофеевна. Она сложила руки по-наполеоновски и, казалось, сосредоточенно смотрела на мужа. А Карп Степаныч был в расположении духа. Тут, конечно, сказалась и победа в турнире на чернильной крышке, и добрая баня, и предвкушение вечернего принятия пищи.
— Ну-с, Изида Ерофеевна, — заговорил он, раздеваясь, — значит, с легким паром нас. Выкупались знатно.
Изида Ерофеевна и бровью не повела, а не то чтобы как-нибудь реагировать на добродушие мужа: то ли она расстроена была чем, то ли подозрение какое-то тяготило ее, но она молчала. Всегда она была веселой, а сегодня

молчала и будто намеревалась придраться к чему-то, будто уже искала, к чему бы это придраться.

— Ну, Иза! В чем дело? — спросил Карп Степаныч в тревоге.

Мягким, по-кошачьи вкрадчивым голосом она произнесла два слова:

— Сними рубашку.

Это был приказ. Знал Карп Степаныч, что чем мягче у жены голос, тем беспрекословнее требуется подчиняться. И он, пыхтя, снял рубашку. Изида же Ерофеевна еще раз и тем же тоном сказала одно слово:

— Подойди.

Карп Степаныч подошел. Она потрогала пальцем его голую грудь, спину, обошла вокруг, ткнула пальцем в живот и уже грубым, скрипящим голосом заключила в качестве придирки:

— Не смог уж вымыться чисто. Эх ты!

— Что? — нерешительно вопросил муж.

— Неряха, — утвердила она, глядя снизу вверх в лицо мужа (ростом она была много ниже).

— Изида Ерофеевна! — Карп Степаныч засопел, губы стали толстыми, брови сошлись, и он повторил еще более грозно: — Изида Ерофеевна! Не позволю! Я все-таки кандидат сельскохозяйственных наук...

— Только и всего — не больше. Дальше-то ума не хватает.

— Ничего подобного! — И Карп Степаныч двинулся на супругу, полуголый, тучный, красный после бани и от крайнего возбуждения нервов. Он был страшен, но... не для жены.

И вдруг Изида Ерофеевна преобразилась — руки в боки, ноги расставила и, чуть пригнувшись, завопила:

— Ты! Раззява! Масловский семь тысяч защитил, а ты все на трех кандидатских сидишь. Неумеха! Нá! Читай! Сейчас только принесли. Нá! — Она бросила ему скомканную телеграмму и горько заплакала.

А Карп Степаныч побледнел всем телом. Он второпях надел сорочку, поднял телеграмму, разгладил ее ладонью на столе и прочитал:

«Из Одессы. Масловский двенадцатого защитил докторскую не пропустите случая поздравить точка через два дня возвращаюсь. Привет. Чернохаров».

— Иза! — позвал он упавшим голосом.

— Что? — сквозь рыдания спросила Изида Ерофеевна.

— Подойди.

Она подошла. А Карп Степаныч обнял ее и дрожащим голосом заговорил:

— Не расстраивайся. Успокойся. Не надо завидовать... Наука — святое дело! Наука требует от человека всей его жизни целиком, каждого часа, каждой минуты! — Он помолчал. — Будет и у нас... семь тысяч. Будет.

Изида Ерофеевна верила: будет. Это была мечта и его и ее. Да и кому же больше мечтать с ними, если они вот уже двадцать лет живут вдвоем. А родные забыли их почему-то. Единственное утешение у них — Джон, кобель спаниелевой породы, куцый, с лопатистыми ушами, коротконогий, ласковый кобелек, сообразительный, понимающий. Джон подошел к хозяевам, сел на задние лапы, поскулил. Понимает, значит, что у хозяев что-то неладно.

— Ах, Джон, Джон! — сказал Карп Степаныч и вздохнул, а затем сел за вечерний прием пищи.

Они ели и молчали. Молчали и ели. Наевшись, супруга думала-думала и легла спать, а Карп Степаныч сел за письменный стол и уставился на телеграмму. Что-то надо было делать, а что — он будто бы никак не сообразит. Сидел и думал.

Часам к двенадцати ночи он решил. А раз решил — ночь просидит до рассвета, а сделает. Характер у него был очень трудолюбивый и прямой. Он и сам говаривал иногда: «Там, где наука, я — весь! Ничем не поскуплюсь!» Так и в тот вечер: сел и написал после размышлений бумагу, которую мы приводим полностью.

«Заявление

Дорогие товарищи! Во исполнение личных и общественных побуждений, подчиняясь голосу гражданской совести, памятуя о преданности партии и Советской власти, оберегая сельскохозяйственную науку от проникновения вредных социализму идей, в целях борьбы с низкопоклонством перед буржуазной наукой, имея в виду служение науки народу, считаю долгом своим сообщить нижеследующее.

Нам стало известно, что некий кандидат сельскохозяйственных наук, Масловский Герасим Ильич, в свое время защитивший кандидатскую диссертацию, защитил уже докторскую. Каждому гражданину приятно, когда в нашей

научной семье нарождается новый член в почтенном возрасте. Масловский работал на теме «Проблемы кормодобывания и селекция кормовых культур». Тема, конечно, общего порядка, не специализирована на одном виде животного (что было бы существенно необходимо в целях конкретизации и комплексирования, а также и наиболее желательной калорийности). Но не в этом только дело.

Кто такой гражданин Масловский?

1. Нам доподлинно известно, что он был женат на дочери бывшего помещика, а следовательно, так или иначе связан с классом эксплуататоров и паразитов жизни. Идеологическое его настроение, исходящее из родства, выразилось в следующем: он, Масловский, будучи кандидатом наук, отнюдь не был предан учению Вильямса о травопольной системе, а более того, на одном из ученых советов говорил о том, что из этой системы мы якобы сделали шаблон. Нашу государственную, единственно правильную систему преобразования земли и создания плодородия для получения ста центнеров пшеницы с га он, Масловский, считает шаблоном! И такому человеку дали проникнуть в недра науки с присвоением степени доктора.

2. Нам также известно доподлинно, что Масловский, хотя он это и скрывает, всегда был, есть и будет до конца жизни менделистом и морганистом и тем самым всегда склоняется к буржуазным теориям в науке. И такому буржуазному человеку дали степень, будто у нас нет людей лучше. Не стыдно ли нам, кто честен и предан, терпеть такое? Можно ли об этом молчать? Нет, надо принять меры.

Как противника травопольной системы земледелия, как скрытого менделиста Масловского надо не допустить в лоно науки в качестве доктора, пусть побудет кандидатом, пока проверят его и всю его жизнь.

Кроме того, сообщаю, что защита диссертации состоялась в Одессе двенадцатого сего месяца, а следовательно, еще не утверждена высшими инстанциями.

Прошу вас оградить науку, пока не поздно.

К сему...»

Карп Степаныч думал-думал и подписал так:

«Доброжелатель Советской власти».

Это заявление он переписал, запечатал в конверт, запер в ящик письменного стола. Черновик сжег. Затем, об-

легченно вздохнув, снова стал смотреть на телеграмму. И чем больше смотрел, тем все больше и больше умилялся. Глаза у него стали влажными от прилива высоких чувств. Он взял ручку и написал:

«Одесса Масловскому

Дорогой Герасим Ильич восклицательный знак радуюсь вашей удаче поздравляю сердечно обнимаю точка слезы радости восхищения благодарности за вклад сельскохозяйственную науку освежают мою душу точка живите долго на благо народа

Карп Карлюк».

Он достал носовой платок, вытянув для этого ногу. Чистая, как у грудного ребенка, слеза упала на телеграмму. Карп Степаныч плакал. Очень уж он сильно растрогался.

Глава третья

●

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ

●

После воскресенья всегда бывает только понедельник. И это ни у кого не вызывает удивления. Но Ираклию Кирьяновичу очень хотелось бы, чтобы понедельников не было совсем, чтобы сразу вторник. Понимаете, какая у него установка? С самого раннего детства он был убежден, что понедельник — день тяжелый. Об этом он слышал еще от своей матери, и от отца, и от соседей. Хотя он и не ходил уже в церковь, но в свое научное учреждение являлся в понедельник всегда с какой-то тягостью. Он в понедельник ожидал неприятностей, был уверен в этом и каждый раз думал, входя: «Ну, что-то сегодня еще стрясется? Ох, уж эти понедельники!»

В тот самый понедельник Ираклий Кирьянович пришел, как и обычно, первым. Разделся, повесил пальто на вешалку, осмотрел его, почистил ногтем пятнышко; затем уже снял кашне, аккуратно свернул его, положил в шляпу, которую и поставил на полочку, донышком вниз. Делал он все это не спеша. В учреждении было тихо. Он прошелся по комнате, осмотрел давно знакомые диаграммы

успехов в области кормления лошади, постоял у стола Карпа Степаныча и вслух произнес, указывая сухим пальцем на несгораемый ящик, стоящий тут же, около рабочего места руководителя: «Тут мысль. Тут докторская — под этим чугуном». И покачал головой. Так уж сложилось в жизни, что судьба определила ему не защищать ученые степени, а только помогать другим достигать их. Он всегда только держал за хвост скользкого вьюна научной славы, пока кто-либо другой не ухитрялся все же его выпотрошить. Попробовал Ираклий Кирьянович учиться заочно — ничего не получилось. Но он дважды побыл на курсах (не то двухнедельных, не то двухмесячных) и на этом основании в анкете, в графе «образование», писал: «Шесть классов гимназии и высшие курсы».

Походил-походил Ираклий Кирьянович по комнате в ожидании понедельничных невзгод и остановился у правил внутреннего распорядка. Остановился и подумал: «Кто бы догадался? А вот я сообразил».

Что же такое сообразил Ираклий Кирьянович Подсушка? А дело было так. При организации данного учреждения, Межоблкормлошбюро, куда был назначен Карп Степаныч Карлюк в качестве руководителя, Подсушка тоже выехал за назначением в качестве замзавмежоблкормлошбюро. Пришлось ему быть и в министерстве сельского хозяйства. И, конечно, он ознакомился с правилами внутреннего распорядка. А ознакомившись, переписал их и привез в Межоблкормлошбюро. После перепечатал их на машинке, вывесил их в золоченой рамке за подписью Карлюка. Хотя в данном научном учреждении и было всего только четыре человека (Карлюк, Подсушка, бухгалтер и уборщица), но правила распорядка придавали внушительность всей комнате. Подсушка гордился: он это сообразил! И часто перечитывал. Он был вполне удовлетворен тем, что о верчении чернильной крышки в правилах ничего не сказано, и, подумав об этом, даже улыбнулся.

Так начался один из июньских понедельников тысяча девятьсот пятьдесят третьего года в Межоблкормлошбюро.

Часы пробили восемь. Подсушка сел за свой письменный стол. Он всегда садился точно, выполняя распорядок дня, и начинал работать.

В соседнюю комнату, за перегородку, вошел бухгалтер и оттуда приветствовал:

— Ираклию Кирьяновичу!

— Привет, — равнодушно ответил Подсушка.

— Ну как, жизнь идет?

— Идет.

— Почты не было?

— Нет.

Видно было, что бухгалтеру Щеткину хотелось поговорить. Но сверх того, что они сейчас произнесли, не было сказано ни единого слова за весь рабочий день. Ираклий Кирьянович отвечал бухгалтеру с достоинством, лаконично, как лицу, стоящему ниже его. Но при упоминании о почте его покоробило, и он подумал: «Ох, уж эти понедельники! Не знаешь, где ждать неприятности».

И в это самое время вошел в комнату человек в кирзовых сапогах и новеньком ватнике. Он снял треух, поправил зачесанные назад волосы и сказал:

— Здравствуйте!

— Привет,— ответил сухо Подсушка, не отрываясь от бумаги.

— Здесь Обллош... меж... корм? Или как там? Простите, не выговорю.

— Здесь Межоблкормлошбюро,— ответил Ираклий Кирьянович с расстановкой.

Тень улыбки прыгнула на губах вошедшего. Чтобы скрыть ее, он потрогал короткие черные усики пальцем и продолжал допытываться:

— А Карлюка могу я видеть?

Тут только и поднял Ираклий Кирьянович взор на посетителя и ответил:

— Скоро будет. По какому вопросу?

— Да вот... Слышал, будто вам нужны агрономы.

— Нам нужны агрономы, работающие или работавшие в колхозах.

— Я из колхоза.

— Фамилия.

— Егоров. А вы Подсушка?

— Совершенно правильно: Подсушка. Вы, видимо, запомнили мою подпись на той бумаге, что мы разослали по периферии?

— Точно, читал. Запомнил.

Подсушка побарабанил пальцами по столу и многозначительно сказал:

— Та-ак.

— Ну так как же насчет места? — спросил Егоров.

— Мое дело найти кандидатуры, а принимать будет Карп Степаныч Карлюк. Оставьте анкету и заявление.

— А он скоро?

— Не знаю.

— Подожду,— сказал Егоров и сел без приглашения.

Ираклий Кирьянович писал. Егоров сидел, усмешка не сходила с его губ. Он спросил:

— А в чем будет заключаться моя работа?

— Если примут,— подчеркнул Подсушка,— то будете изучать.

— Что?

— Ну... культуры, поедаемые лошадью, и...

— А какие культуры?

— Ну те, которые... ест лошадь.

— А конкретно? Овес?

— Овес? Может быть, и овес.— Подсушка не был посвящен в точные детали развертывающейся деятельности Карлюка, но чтобы не терять авторитета, добавил: — Сено будете, вероятно, сеять. Возможно... пшено.

— Просо?! — удивился Егоров.

— Почему? — удивился в свою очередь и Ираклий Кирьянович.

— Пшено делают из проса,— вежливо пояснил Егоров.

— Как это так — из проса?.. Ах, да! Из проса! Конечно, из проса! Конечно, просо. И... крупу. И все, что скажет Карп Степаныч.

— Наверно, он не скоро придет.

— Дела. Дела у него... там. — Подсушка махнул неопределенно рукой и для вящей важности и усиления авторитета начальства добавил: — В обкоме, наверно.

— Вот моя анкета,— сказал Егоров.— А я зайду сегодня, через час-другой.— И вышел, все так же улыбаясь.

А Ираклий Кирьянович бросился к словарю. Он, торопясь, искал «культуру — пшено», потом — «просо», потом — «крупу». Последней культуры он так и не нашел. Было как-то не особенно ловко без настоящей уверенности. Он решил более подробно спросить у Карлюка впоследствии, а пока вытащил из беспорядочной груды книг

«Справочник агронома». Нет «крупы»! Сложное дело наука! Было время, Ираклий Кирьянович изучал вопрос о происхождении постного масла. А на запрос одного из работников периферии о площади питания редьки он ответил: «Чем реже, тем лучше. Название «редька» говорит само за себя». Такой ответ он дал тогда в отсутствие Карлюка, который, как мы убедимся ниже, насчет практического сельского хозяйства соображал.

«Черт бы побрал это пшено! — подумал Подсушка.— Понедельник!» И глубоко вздохнул.

Наконец пришел и Карп Степаныч. Ираклий Кирьянович встал и поздоровался с легким поклоном:

— Доброе утро!

— Приветствую вас! — покровительственно произнес Карп Степаныч.

— Как выходной? — завязывал разговор Подсушка.

— Работал всю ночь... Ох-хо-хо-хо! — Карлюк грузно повалился в кресло.

— Вы бы уж пожалели здоровье, Карп Степаныч. Вы должны понять: ваша жизнь — для науки. Нельзя относиться так безрассудно...

Так Ираклий Кирьянович «отчитывал» начальника. А тому было приятно, и он делал вид, что позволяет такое только Подсушке.

— Ну-ну, ладно. Опять пробираете. Постараюсь. Постараюсь отдыхать.

Но еще несколько минут Ираклий Кирьянович возмущался тем, что Карп Степаныч не бережет себя для науки. А под конец они оба вздохнули с грустью.

— Карп Степаныч! — обратился через некоторое время Подсушка.— Крупа — это как? Сеют или как?

— Крупа,— поучительно начал объяснять Карлюк,— эт-то бывает гречневая, манная и... перловая.

— Гречневая. Из гречихи? Такая — с остренькими краями?

— Безусловно.

— А манная с юга? Где-нибудь в пределах Палестины?

— Из пшеницы делают.— Карп Степаныч все это знал очень хорошо.— А не с неба падает. Версия. Легенда.

— А... перловая? — немного смущаясь, спросил Ираклий Кирьянович.

— Перловая? — Карп Степаныч поднял брови.

— Да. Перловая.

— Ах, да! Перло-овая! Помню, помню. Перловая... Перловая?

— Да. Перловая,— повторил и Ираклий Кирьянович.

— Перловая... Перл!.. Что такое перл?.. Что-то выскочило из памяти. Я скажу вам завтра. Вспомню. К нашей теме это не относится: лошадь не кормить перлами.

Ираклий Кирьянович теперь уже точно знал: пшено — из проса, гречневая крупа — из гречихи, перловая — конечно, из перлов, а из каких — скажет Карп Степаныч. «Век живи — век учись»,— завершил он размышления по данному вопросу. Затем от вопросов теоретического порядка он перешел к практической работе и доложил:

— Был тут агроном, Егоров. Явился на наше письмо, разосланное по периферии.

— Егоров? Егоров, Егоров... Знакомая фамилия.— Карп Степаныч задумался, что-то вспоминая. А потом сказал как бы про себя: — Нет. Не может быть, чтобы он. Тот, наверно, погиб. Иначе был бы слух.

— Это вы про кого?

— Да так... Вспомнилось. Ну а как он, Егоров-то?

— Ничего. Соображает. По сельскому хозяйству и... вообще. Беседовал с ним — соображает.

— А анкетные данные каковы?

— Совершенно правильно: в анкете человек — весь.— Ираклий Кирьянович достал анкету и, держа ее в руках, объяснял начальнику, сидящему за своим столом, за десять шагов от него: — Та-ак. Из крестьян... Высшее. В других партиях не состоял. За границей родственников нет. Та-ак... Места работы... Интересно! Восемь лет — и все в одном колхозе агрономствует.

— О! Это совсем хорошо! — воскликнул Карп Степаныч.— С наукой не связан, разных там тонкостей в защитах диссертаций не знает, а материал давать будет. А из себя-то он каков?

— Положительный... И ватничек на нем...

— Пройдет,— заключил Карп Степаныч и тут же подумал: «Не он».

Ираклий Кирьянович сочинил приказ, а Карп Степаныч подписал. Агроном Егоров назначался на «опорный пункт» в колхоз «Правда».

А через час вошел Егоров. И прямо к Карпу Степанычу:

— Здравствуйте, товарищ Карлюк!

Карп Степаныч вытаращил глаза, открыл рот и, не спуская глаз с вошедшего, взял со стола, не глядя, очки, надел их, снова снял и еще раз надел.

Ираклий Кирьянович за два года совместной деятельности ни разу не видел Карпа Степаныча таким. Он тоже открыл рот и тоже надел очки. Чему удивлялся Карп Степаныч, для Подсушки было не ясно, а сам он удивлялся удивлению начальника.

— При... ветствую... вас,— наконец произнес начальник и спросил после паузы: — Вы?

— Я.

— Филипп Иванович? — И тут он выжал улыбку.

— Филипп Иванович,— ответил Егоров.

— А... как же?

— Да так. Вот пришел.

— И усы... у вас... те же,— уже покровительственно, с улыбкой и склоненной набок головой сказал Карп Степаныч, сложив ладошки на животе.

— И усы,— подтвердил Егоров, погладив их.

И только-только начальник хотел сказать уже готовые слова: «К сожалению, вакантных мест уже нет», как выскочил из-за стола Ираклий Кирьянович и, подражая тону начальника, обратился к Егорову:

— И приказик на вас подписан. Поздравляю! Наука, она...

Карп Степаныч пронзил его взглядом, засопел да еще и пожевал губами в великом недовольстве. Но... податься некуда. Егорову вручили приказ и перечень тем для постановки опытов.

Ираклий Кирьянович ушел за свой стол, съежился там, поник челом над бумагой и ровным счетом ничего не соображал, что сегодня происходит. Дьявольский понедельник!

Филипп Иванович почему-то тоже был сердит. Он нахмурил густые брови, бесцеремонно прошелся по комнате, оглядел стены, остановился перед Карлюком и сказал утвердительно:

— Значит, вы здесь.

— Здесь,— как-то не особенно уверенно подтвердил Карлюк.

— Интересно. Еще не доктор?

— Пока кандидат.

— Итак, я ваш подчиненный.

— Не будем об этом. Мы школьные товарищи. А старое мы забыли. Понимаете, забыли?

— Возможно,— неопределенно ответил Егоров, так что Карпа Степаныча покоробило.

Но он продолжал тем же тоном, с большой выдержкой:

— А завтра вы направитесь к профессору Чернохарову, получите от него две темы для производственного изучения.

— Старый учитель,— сказал Филипп Иванович, задумавшись.

— Наш с вами общий учитель.— Карп Степаныч постучал по столу пальцами и вдруг спросил: — Где же вы пропадали? Не слышно было.

— Воевал,— нехотя ответил Егоров.— Брал Берлин... Потом в колхозе все время.

— Так, так,— оживился Карлюк.— Ну и как там, в Германии-то?

— В каком смысле?

— Дороги там, говорят, хорошие?

— Отличные. Нам бы неплохо позаимствовать.

— Во-от как? Нам — у Германии?

— Ну да. Чего вы так удивляетесь?

— Да нет, нет. Я просто так.

— До свидания! — сказал Егоров.

— Желаю удачи! — совсем уже весело напутствовал Карп Степаныч.

— Будьте здоровы! — сказал уныло и Ираклий Кирьянович.

Егоров ушел. А Карп Степаныч медленно и грозно подошел к столу Подсушки. Как он подошел! Он надел роговые очки, которые снял было после ухода посетителя и которые обязательно надевал при волнении, засунул руки в карманы, сдвинул брови и густым басом произнес, прислонясь животом к столу:

— По-ли-ти-ческая бли-зо-ру-кость! Усы! Почему не сказали мне про усы? Я спрашиваю: почему? Я бы узнал. Он всегда носил усики, еще с института. Почему, я спрашиваю?

— К-к-карп Степаныч! — взмолился Подсушка. — Я, я...

— Что «Карп Степаныч»? Зачем «Карп Степаныч»? Я спрашиваю по существу: по-че-му?

— Не было графы в анкете. Графы нет по поводу усов и с какого года. Я согласно анкете...

И Карп Степаныч неожиданно сбавил гнев. Отошел от Подсушки и несколько мягче, но довольно еще грозно сказал:

— Сколько мы теряем! Сколько теряем от неполноценности анкет!

— Действительно! — ободрился Подсушка.— Усы, глаза, приметы — где это все? Как начальник может определить человека? Невозможно. Упущение колоссальное. Ведь даже у лошади в паспорте пишется: «Во лбу звезда с проточиной» или «Задние бабки в чулках». А тут — человек! Че-ло-век!

— А мы говорим: «Почему? Как враги проникают?» Вот они как проникают.

— Истинная правда,— подтвердил Подсушка.— Так они проникают.

Остаток дня они просидели молча. Работали напряженно. А часам к четырем Ираклий Кирьянович спросил:

— А этот, Егоров, кто он?

Карп Степаныч махнул рукой, поморщился и сказал в ответ:

— Потом, потом. Сейчас некогда. Потом.

Затем Ираклий Кирьянович надраил, как обычно, чернильную крышку и... запустил. Здорово запустил! Думал он так: «Сейчас развею тягость дня». И сказал:

— Начнем, Карп Степаныч?

Тот посмотрел на Подсушку, потом на часы, неожиданно встал, надел пальто и ушел раньше времени (начальнику можно). Он куда-то очень спешил.

Жалобно зазвенела несчастная чернильная крышечка, прекратив жужжание. Ираклий Кирьянович со злостью шлепнул ее ладонью, заграбастал в горсть и со стуком надел на чернильницу: знай, дескать, свое место. Потом подпер ладонями подбородок и так просидел до конца дня, поглядывая на часы, молча, с тоской. Он думал об одном и том же: «И за каким чертом бог создал понедельники!»

Глава четвертая

●

ВРАГ НА ГОРИЗОНТЕ

●

На другой день Филипп Иванович Егоров пришел к профессору Чернохарову. Профессор только вчера прибыл из Одессы, где участвовал в качестве оппонента в защите докторской диссертации доцентом Масловским. Как показалось Егорову, Чернохаров был несколько взволнован — он ходил по кабинету.

— Разрешите? — спросил Филипп Иванович, приоткрыв дверь.

— Гм... Конечно. — Он с некоторым недоумением посмотрел на вошедшего, остановившись в дальнем углу комнаты.

— Здравствуйте, Ефим Тарасович!

— Приветствую вас, дорогой! Приветствую вас!

Такое же приветствие произносил и Карп Степаныч Карлюк. И это не случайно. Он просто-напросто подражал Чернохарову.

Заметьте, Ефим Тарасович слово «дорогой» употреблял, приветствуя и знакомых и незнакомых, а Карлюк прибавлял это слово только при обращении к знакомым, так как считал, что называть незнакомого «дорогой» позволительно будет не раньше, как после защиты докторской диссертации.

— Позвольте... С кем имею честь?.. Гм... (Короткое, отрывистое мычание часто завершало мысли профессора.)

— Егоров. Помните? Ваш ученик.

— Егоров? Ученик? Ах, да! Его-оров!.. Егоров?.. Не помню.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Вместе с Карлюком кончали.

— Постойте, постойте! Это не у вас теленок... изжевал тетрадь по учету урожая? Гм...

— Нет, не у меня. Мне только подсунули. Карлюк подсунул изжеванную.

— Э, вы все продолжаете отказываться. Помню, помню. Э! Молодость, молодость... — Ефим Тарасович рассмеялся. Весь угловатый, костистый, но с животом, висящим ниже пояса, он потряс этим самым животом, стя-

нул губы в одну сторону и совсем закрыл маленькие глазки на широком лице. Это и означало, что Ефим Тарасович рассмеялся.— Ну не будем вспоминать. Не будем. Садитесь, дорогой, садитесь! — пригласил он Егорова.

Филипп Иванович сел около массивного письменного стола, а Ефим Тарасович погрузился в кресло за столом. Теперь его видно было только по грудь.

— А изменились, изменились вы, Егоров... Четырнадцать лет утекло... Да. Ну и как у вас дела? Где вы?

— В колхозе.

— В науку, значит, не удалось... проникнуть?

— Как это, простите, «проникнуть»?

— Ну, может быть, неточно выразился... Гм... Все достигают. Стараются достигать вершин науки. Диссертации, обобщения... опыты.

— Вот и я буду ставить опыты. Теперь мой начальник — Карлюк. К вам прислал.

— Вот как?.. Но... вы же тогда с Карлюком как-то... Помните?

— Помню.

— А с системой земледелия? Все на стороне Масловского?

— Я на стороне колхозов,— уклончиво ответил Филипп Иванович.

— Похвально, похвально, дорогой. Самостоятельное, значит, мышление. И... все прочее... Гм... Не считаете ли вы это опасным?

— Самостоятельное мышление?

— Нет, нет. Я в смысле авторитетов. Отсутствие авторитетов и молодого научного работника приводит к бесплодности... К безуспешности... Гм...

— Думаю, главный успех должен заключаться в том, чтобы в колхозах было больше зерна, мяса, молока.

— А теория? Теоретическая наука? К забвению?

— Мне кажется, нельзя так ставить вопрос. Давно известно — теория и практика неотделимы.

— Гм...

— Не так ли?

— Гм...

— Мне кажется...

— Гм...

Филипп Иванович знал еще со времени учебы, что

«гмыканьем» всегда заканчивался только-только начавшийся спор. Он осекся и перестал возражать.

А Чернохаров, видимо, считал этот спор ниже своего положения (хотя злые языки говорили, будто он стоит на высоте не своего положения). Но он все-таки сказал:

— Вы все такой же... ершистый. Трудно так... вам. Гм...

Филипп Иванович промолчал. Тогда только и возобновил разговор профессор.

— Итак, приступим к делу. Мы попробуем. Вы сами убедитесь в том, что в науке надо держаться... какой-то линии. Я дам вам тему. Поставьте ее в колхозе... на большой площади.

— Каково же содержание темы?

— Вот слушайте.— Ефим Тарасович медленно вытер платком лысину. Его безбровое лицо изменилось: он стал строг, во всех чертах выразилась непреклонность и прямолинейность.— Слушайте. Некоторые «ученые» — поняли: «ученые»? — на задворках науки — поняли: на задворках науки? — скулят о том, что на юге области не растет люцерна. Это подрыв системы... Единственной... Вильямса... Надо доказать — понимаете? — доказать надо, что... люцерна там растет. Гм...

— Но если она действительно не растет? — спросил Филипп Иванович.— Тогда как?

— Если вы захотите — она будет расти. Структура! — воскликнул Чернохаров.— Структура... А где ее взять без люцерны?

— Но если она не растет, то какая же структура?

— Если вы захотите — она будет расти,— повторил с нарочитой подчеркнутостью Чернохаров.— И корм... Гм...

— Не понимаю: как это «захотите»? — пробовал возражать Егоров.

— Вы, дорогой, погрязли в колхозе и ничего еще не смыслите.

— Еще бы! — вставил Филипп Иванович.

Чернохаров, не обращая внимания, продолжал:

— Вы должны захотеть, чтобы люцерна росла. Если вы не захотите, то вы не сможете работать. Надо покончить с идолопоклонством перед буржуазной наукой, люцерна должна расти везде. Всюду! — воскликнул он и закончил: — Гм...

Из необычно длинной для Чернохарова речи Филипп Иванович понял все. Он сказал:

— Захочу. Но... захочет ли люцерна? — И пожал плечами.

Чернохаров встал. Голова его, расширенная книзу из-за малости лба и вообще черепной коробки, стала красной. Он обозлился, чуть-чуть попыхтел, пожевал губами, нижняя губа вздрогнула, отвисла, глаза открылись во всю ширину.

Он сказал:

— Вам этой темы я поручить не могу. Гм... — И сел.

— Простите! Но ваша тема не в программе. Вот программа, которую дал мне Карлюк.

— Да. Она идет сверх плана, но по линии... По линии, руководимой Карпом Степанычем Карлюком, достойным моим учеником. И все же не могу вам поручить. Не рискую. Гм...

Встал и Филипп Иванович. Надо было уходить.

— До свидания! — сказал он.

— Будьте здоровы, дорогой! — сказал и Чернохаров, глядя уже в окно и не оборачиваясь.

Филипп Иванович направился к двери. Но вдруг Чернохаров обратился к нему, все так же не отрывая взгляда от окна:

— Вопрос. Неужели ученик Чернохарова ничего не вынес из института? Все, что вам дано, покоится на травопольной системе. Неужели ничего не осталось в голове?

— Осталось.

— Что?

— Путаница и... пустота.

— Что-о?

— Пустота,— со сдержанной злобой повторил Филипп Иванович.— Ваши студенты, выходя из стен института, практически не знали сельского хозяйства, а теоретические знания оказывались путаными. Впрочем... — Филипп Иванович безнадежно махнул рукой и вышел.

Ефим Тарасович тяжело зашагал по кабинету, сначала медленно, потом все быстрее.

Не прошло и часа, как вошел Карп Степаныч Карлюк. Он еще у дверей согнулся в дугу. Но что это за дуга получилась, сообразить нетрудно,— она получилась только с тыльной стороны тела, а спереди была заполне-

на до краев благодаря идеальной полноте тела. Согнувшись в дугу, он произнес:

— Извините за то, что оторвал вас от мышления.

— Приветствую вас, дорогой! Вы очень кстати.

— Я всегда в вашем распоряжении, весь.

— Приняли этого... Егорова... вы?

— К сожалению, я. И по вине главным образом моего зама.

— Вы его хорошо помните... Егорова?

— Еще бы!

— По-моему, он был бездумен, горяч и... Гм...

— И безрассуден.

— Точно. Гм...

— Дрянь.

— Пожалуй. Гм... Как это получилось?

— Неполноценность анкетного материала.

— Возможно. Гм...

— А вы, Ефим Тарасович, дали ему тему?

— Нет. Не рискую.

— Отлично. Я был уверен. Человек он весьма...

— Опасный,— дополнил Чернохаров.

Каждый из собеседников понимал другого с полуслова, поэтому у них бывало часто так: только один начнет говорить, а другой уже завершает мысль совершенно точно.

— Что же вы думаете сделать, Карп Степаныч?

— Исправить ошибку.

— Как?

— Постепенно.

— Исправьте так, чтобы он не совал нос...

— В науку.

— Гм... Его надо...

— Уволить,— дополнил Карп Степаныч.

— Гм... И, видимо, он...

— Менделист.

— Очень похоже. Противник в зародыше. Гм...

— Интересно, о чем он говорил у вас?

— Странные вещи говорил... Клеветал на сельскохозяйственную науку.— Тут Ефим Тарасович в задумчивости прошелся по комнате.— Такие люди вообще... Гм...

— Оторваны от науки,— договорил Карп Степаныч.

— Возможно. Гм...

Они помолчали. Уселись друг против друга, побара-

банили пальцами по столу. Вздохнули. Карп Степаныч спросил:

— И что же с Масловским?

— Дают кафедру здесь.

— Здесь?! — ужаснулся Карп Степаныч.

— Здесь,— подтвердил Ефим Тарасович.

— Куда же смотрит высокое начальство?

Ефим Тарасович не ответил на этот вопрос, а продолжал:

— Да, здесь. Антитравопольщик на кафедре! — Он попробовал рассмеяться, но только чуть подергал животом, лицо же оставалось неизменным, сосредоточенным.

— Но мы-то, мы, преданные науке люди, обязаны не молчать.

— Обязаны. И знаете, что я вам скажу, дорогой? Масловский менее страшен, чем этот... в ватнике... Егоров. Такому море по колено, ибо ему терять нечего — ему диссертацию не защищать.

— Опасный человек.

— Примите меры.

— Приму меры.

— Если оставлять таких в покое, то они могут нам вырыть... — Ефим Тарасович думал сказать «яму».

Но Карп Степаныч не совсем уразумел мысль учителя.

— Могилу! — воскликнул он проникновенно, выразив на лице и сожаление, и страх, и почтение к своему патрону.

О методах борьбы они не говорили. Видимо, не раз приходилось им в острых схватках за науку применять самое различное оружие. Оба задумались. И Ефим Тарасович начал резюмировать свою мысль и результаты обсуждения вопроса.

— Итак, появился новый...

— ...враг на горизонте,— закончил Карп Степаныч. Взаимопонимание учителя и ученика было трогательно. Им даже не требовалось развивать друг перед другом мысли, будто у них была одна голова на двоих. Но одно может показаться странным читателю: почему они оба так боялись Егорова, рядового агронома.

Что за человек этот Егоров?

Глава пятая

●

СВИНЬЯ ВЕСЕЛАЯ И СВИНЬЯ УНЫЛАЯ

●

В то время, когда Карп Степаныч в задумчивости шел от Чернохарова, погрузившись в раздумья о будущем сельскохозяйственной науки, Изида Ерофеевна сидела за столом дома, как и обычно. Сидела, пела и рисовала. Ввиду отсутствия служебного дела, к которому она смогла бы приложить имеющиеся в тайниках души способности и таланты, она занималась дома искусством. А Джон сидел рядом, на другом стуле, на своем, и если Изида пела, то он иной раз подвывал; если же она рисовала, то сидел смирно, изредка повиливая хвостом. И оба они были веселы в ожидании хозяина.

Вошел хозяин, Карп Степаныч. Оба домоседа бросились к нему встречать. Но Карп Степаныч, поцеловав Изиду и потрепав Джона по шее, прошел в свою комнату, что-то там положил в ящик письменного стола и только после этого сел за стол принимать пищу. Он был хмур. Все свидетельствовало о том, что настроение у него явно уныло! Изида — наоборот. Она показала ему новую картину, на которой были изображены две свиньи: одна веселая, другая унылая, и начала рассказывать о событиях сегодняшнего дня:

— Представь себе, Карик! Нарисую свинью веселую — Джон лает, нарисую свинью унылую — он воет,— привирала она помаленьку.— Поразительный ум! Такой собаке, такому уму любой позавидует.

— Возможно,— подтверждал чернохаровским тоном Карп Степаныч.

— И управдом приходил. Такой веселый, такой веселый! Говорит: «Кланяйтесь Карпу Степанычу». А соседка, Лидка, халат купила. Ха-ха-ха! Змеиного цвета. Сама как змея, и халат — змея. Ха-ха-ха!

— Забавно, — сказал Карп Степаныч, оставаясь в унылой задумчивости.

Они поели. Но Карп Степаныч не наелся: сегодня у него «разгрузочный день» (плоды и прочее). Наедался же он по-настоящему только в погрузочные дни. Сегодня же ко всему тому, что произошло вне дома, прибавилось

ощущение неудовлетворенности количеством еды. Отчасти поэтому он легонько и отстранил Изиду Ерофеевну, когда она, ласкаясь, прижалась к нему всей своей грациозной тушкой.

— После, после, Иза... После.

Она не обиделась, а сказала весело и иронически-ласково:

— Ты у меня сегодня — свинушка унылая.

Изида Ерофеевна легла в постель. А Карп Степаныч сел за письменный стол. Долго он сидел. Очень долго. Настойчивый человек! И опыт сидения имеется. А часам к двум ночи, когда супруга уже храпела, он прочитал еще раз написанное. Строку, куда писано, он заполнил многоточиями, так как не совсем решил куда. Заявление, против обычного, было коротким.

«В . . . .

Заявление

Как бы нам ни больно было писать о человеке, с которым один из нас учился, но голос гражданской совести обязывает нас переступить порог личных отношений.

Егоров Филипп Иванович восхваляет образ жизни в Германии, воспевает дороги за границей и прямо говорит: «Нам надо у них поучиться».

Он, Егоров, говорил одному из профессоров так: «Сельскохозяйственные институты вредны». Тем самым он оклеветал всю систему советского образования. Эту злобную клевету он высказал также при свидетелях.

Он, Егоров, категорически отрицает травопольную систему земледелия как основу и единственную базу преобразования природы.

Перед нами явный враг науки.

(Карлюк К. С.)
(Подсушка И. К.)».

И долго еще сидел Карп Степаныч и думал, думал о том, как защитить науку от возможных врагов, которых он знает и которых не знает. Всегда, когда, по его мнению, надо было защищаться, он защищался, не щадя сил, памятуя древнее правило иезуитов: «Если хочешь победить врага, спачала оклевещи его». Он вспомнил это

выражение и... успокоился. А успокоившись, стал устраиваться спать. Он разделся, подошел в одном белье к выключателю, увидел на столе «Свинью веселую и свинью унылую», посмотрел на художество, улыбнулся с каким-то горьким унынием и подумал: «Похоже. Очень похоже нарисовано». Выключил свет и лег в постель. Засыпал он спокойно под ритмичный стук часов.

Часы тикали. Время идет для всех — и для честных людей и для подлых. Идут часы, не взирая на личность. Время, время, какие поправки вносишь ты в нашу жизнь!

Утром следующего дня Карп Степаныч отправился на работу. Подсушка, как обычно, уже сидел на своем месте. Глаза у него были красные, как от бессонницы. Он не спал прошедшую ночь. Его волновал вопрос: «Кто же такой Егоров, если даже Карп Степаныч проявил момент растерянности?» Ему мерещилось черт знает что. Он ничего не понимал в происходящем, поэтому возненавидел Егорова. И еще примешивалось ощущение неудобства от того, как он «засыпался» с пшеном в разговоре с этим «человеком в сапожищах». Если бы Подсушке сказали: «Поди дай ему в морду, этому Егорову», то Подсушка обязательно пошел бы, но ударить... Нет! Не мог бы он этого сделать — слишком мягкий и не очень смелый характер у Ираклия Кирьяновича.

И вот сидел Подсушка и думал. Вошел Карп Степаныч. Вошел, стал перед столом Ираклия Кирьяновича, не раздеваясь (что было необычно), и таинственным голосом, тихо, но четко, с расстановкой и прищурив глаз, сказал:

— Я так и знал...

Затем он моргнул одним глазом и только тогда пошел раздеваться. Раздевался медленно, покашливая и сопя. А Ираклий Кирьянович как вытянулся, приготовившись к приветствию, полусогнулся, выразив обычную утреннюю улыбку,— так и остался, бедняга. Было что-то важное в словах Карпа Степаныча, очень важное, что-то страшное, скребущее когтями душу и спину, так что боязно пошевелиться. Мыслей не было. Да и к чему они ему, мысли-то, если он ничего не понимает из всего этого? Даже и не подберешь слов для определения состояния Подсушки. Мягко выражаясь, можно сказать, что он обалдел. Карп Степаныч сел за стол, посмотрел на подчиненного и, обеспокоившись, спросил с тревогой:

— Что с вами, дорогой?

— Здравс... Карп-п-п Спанч! — ответил тот с присвистом. И только после этого сошла с лица улыбка. Он вспотел и наконец-то сел.

— Приветствую вас, дорогой! — вошел в колею и Карп Степаныч.— Вы чем-то озабочены?

— О чем? О ком? Кому? Чему... вы сказали: «Я так и знал»?

— Ах, да!.. Я вижу в вас, Ираклий Кирьянович, душу честную, болезненно и беспокойно принимающую к сердцу боль вашего начальника и друга. Вы в науке моя правая рука. И на вас надеюсь.

— Я... Да... Но... — Тут Подсушка чуть не прослезился, но удержался и вопросил уже более человекоподобно: — Чрезвычайно?

— Сверхважно,— ответил Карп Степаныч еще более серьезно.

А дальше все было почти без слов.

Ираклий Кирьянович вытянул шею. А Карп Степаныч втянул шею в плечи, поднял предостерегающе указательный палец, скосил глаза, наклонив голову в сторону перегородки, затем поднял уже большой палец. И показал за перегородку. Этот жест означал следующее: «Дело сверхчрезвычайное. За перегородкой — человек, бухгалтер. Будьте бдительны!»

Подсушка понял все и приложил ладонь к губам, что следовало понимать так: «Понял. Молчу как рыба. Жду!»

Теперь Карп Степаныч вытянул шею из плеч, сделал весьма серьезное лицо, нахмурив брови и отпустив губы, и согнутым указательным перстом поманил Подсушку: «Иди, значит, беспрекословно — и все узнаешь».

И тут Ираклию Кирьяновичу вспомнилось: маленьким мальчишкой он наблюдал, как озорники ребята, перебросив веревочку с рыболовным крючком, тащили через забор индюка. Индюк тот по глупости схватил крючок, наживленный фасолью, и потом покорно повиновался озорникам.

Тогда еще Ираклий-мальчик подумал: «Идет, дурак, без никаких возражений!..» Почему такое печальное воспоминание вдруг всплыло в памяти Подсушки, сказать трудно. Но все это мелькнуло у него в голове на секунду. В следующую секунду он уже бесшумно, на носках, подошел к столу Карпа Степаныча.

А тот развернул свое заявление и дал прочитать Подсушке пять слов. «Перед нами явный враг науки».

Подсушка двумя пальцами провел туда-сюда над верхней губой, изображая усики и выражая вопрос: «Егоров?»

Карп Степаныч наклонил голову в знак подтверждения.

Подсушка в удивлении и возмущении развел руками.

Карлюк тоже развел руками.

Оба затем многозначительно переглянулись и вздохнули сокрушенно. Помолчали.

Но тут Карп Степаныч поднял кулак и опустил его на стол, скрипнув зубами: «Бить, значит, требуется».

И Подсушка сделал то же самое: «Бить!»

После таких жестов, утверждающих обоюдное согласие, Карп Степаныч дал прочесть уже заявление. Подсушка прочитал. Начальник жестом показал, что надо расписаться. И немедленно под завлением оказались две подписи, еще вчера проставленные в скобках.

— Честный человек не должен об этом молчать,— сказал теперь вслух Карп Степаныч.

— Именно,— подтвердил Ираклий Кирьянович.

Но тут произошло нечто необычное. За перегородкой, там, где входили все четыре работника Межоблкормлошбюро, заскрипела дверь: кто-то вошел. И вдруг уже в их кабинете появился бухгалтер Щеткин и сказал, запыхавшись и волнуясь:

— Прошу извинить за опоздание. Мальчик у меня заболел.

— Это что значит? — вопросил басом и с соответствующим сопением Карлюк.— Где вы были?

— Дома. Дома был. Только сейчас вошел.

— Не может того быть! — возмущался начальник.

— Клянусь! — воскликнул Щеткин.

После этого Карп Степаныч, обращаясь к Ираклию Кирьяновичу, тихо произнес:

— Эх, вы!.. Р-растяпа!

А тот действительно в расстройстве совсем упустил из виду — сел за стол бухгалтер или нет.

Щеткин же ничего не понял: то ли начальник обвиняет Подсушку в либерализме насчет опоздания служащих и невыполнении внутреннего распорядка, то ли это продолжение начатого ранее разговора между ними. Черт их поймет! Щеткин сильно осерчал. И сразу же выпалил:

— Так нельзя. Вы часто даже не замечаете — есть я или нет... А проходите мимо ежедневно. Я человек!

Карп Степаныч сначала удивился, потом тоже осерчал и воскликнул:

— Как вы смеете?!

— Так вот и смею. Не буду я у вас работать!

— По какой причине, смею вас спросить? — уже с ехидцей проговорил Карлюк.

— По двум причинам,— ответил Щеткин и сел бесцеремонно против Карлюка.— Первая: я человек. Вторая: не вижу пользы от всей вашей, а следовательно и моей, работы.

Карп Степаныч встал. Ираклий Кирьянович сел. Потом Карп Степаныч сел, а Ираклий Кирьянович встал. Щеткин же как сел, так и сидел. Карп Степаныч обратился к Ираклию Кирьяновичу:

— Что это значит?

— Что это значит? — спросил в свою очередь, рикошетом, Ираклий Кирьянович у Щеткина.

— Это значит, что хотя я смирный и робкий человек, но честный.— У Щеткина тряслись руки от волнения.

Карп Степаныч встал и отошел к столу Подсушки. Оба они там посмотрели друг другу в глаза, поняли друг друга без единого слова, и начальник сказал просто и спокойно:

— Пишите заявление.

— Не снимаете, значит?

— По собственному желанию уйдете. И характеристику получите... хорошую.

Щеткин встал в полном удивлении: фуражка выпала у него из рук, но он этого не заметил и наступил на нее.

— Не удивляйтесь, товарищ Щеткин. Не удивляйтесь,— повторил Карп Степаныч.— Все просто. Вы у нас работали четыре месяца. Мы не поняли друг друга. Вот и все. Но в вас я ценю именно человека... смелого и... все такое... трудолюбивого и... все прочее.

В тот же день Щеткин написал заявление об уходе. Все обошлось хорошо. Карп Степаныч не любит ссориться.

Затем Карп Степаныч поручил Подсушке подыскать подходящую кандидатуру на место Щеткина. И они приступили к очередной работе. Ираклий Кирьянович чистил чернильную крышечку, готовясь к очередному турниру.

И день кончился так же, как и обычно: они снова не смогли вырваться с работы раньше половины седьмого. Но, уходя, оба вдруг помрачнели.

— Егоров,— сказал Карп Степаныч.

— Егоров,— сказал и Ираклий Кирьянович.

Это значило, что мысли каждого занимала та же самая личность. И что они так испугались этого Егорова?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать всю жизнь Карпа Степаныча Карлюка. Но об этом несколько позже. Пока что Карп Степаныч занимается вопросом подготовки докторской диссертации и готовит материал о том, что может есть лошадь и что она должна есть. Он накапливал опыт: бывал на защитах диссертаций, изучал процесс защиты, вырабатывал и дополнял правила защиты. Попутно заметим: многое он почерпнул на одной защите, состоявшейся в зооветинституте на тему: «Микроскопические исследования яичников домашней кошки в связи с проблемой животноводства и обновления породистости рогатого скота». Очень ценная была работа! И процесс защиты весьма и весьма поучительный. Так что не стоит спешить с рассказом о прошлой жизни Карпа Степаныча, поскольку сам он живет настоящим моментом. Более того, необходимо вернуться в описании событий на два дня назад и поговорить о том, что же творилось за спиной Карлюка сразу после того, как он был у Чернохарова и когда принимал меры к ограждению науки от «элементов».

Глава шестая

●

ДВА ДРУГА

●

В то время, когда Карлюк сидел за вечерней трапезой, Филипп Иванович Егоров стоял на перроне вокзала в ожидании поезда. Он прохаживался по перрону, время от времени поглядывая на часы. Было семь вечера. Никаких вещей, кроме полевой сумки, у него не было. Он ждал профессора Масловского.

Подошел поезд из Одессы, и Егоров заторопился, почти побежал к вагону номер пять. Он был уверен, что

профессор приехал в мягком вагоне. Пассажиры выходили один за другим, но Масловского не оказалось. «Значит, задержался»,— подумал Филипп Иванович и направился вдоль поезда к выходу в город. И вдруг он увидел: у самого заднего вагона мелькнул плащ Масловского. Он тряс руку пожилого колхозника (видимо, попутчика по вагону) и что-то горячо говорил. Филипп Иванович заспешил к профессору. Но тот уже широко зашагал от поезда, проскочил выход, решительно открыл дверцу такси и помахал шляпой колхознику, все еще стоявшему на перроне. Филипп Иванович спешил, проталкиваясь в потоке выходящих пассажиров, и крикнул:

— Герасим Ильич!

Но его возглас слился с паровозным гудком. Дверца захлопнулась, и автомобиль, набирая скорость, сразу скрылся из глаз.

Филипп Иванович вскочил в первый же трамвай и помчался по следу профессора. Минут через двадцать он был уже в квартире Масловского.

Дверь открыла ему домашняя работница, Мария Степановна, рослая, сухая, сморщенная старуха, обвязанная цветастым платком.

— Дома? — спросил он у нее.

Та удивленно посмотрела на него и сказала:

— Э! Да вин после поезда ще часа два буде блукать. Такий уж...— Она махнула рукой и добавила: — Шалопутный!

— Не очень лестный отзыв,— сказал, улыбаясь, Филипп Иванович.— А я, значит, попал на ложный след.

— Ему хучь кол на голови теши — не поисть, не попье вовремя.

— Пойду распутывать след.

— Ну иди, иди... Да гони ты его у шею до дому. Ведь голодний небось. Не задерживай смотри! — сказала она строго и погрозила пальцем.

Филипп Иванович пошел на опытное поле института. И не ошибся. Герасим Ильич стремительно шагал по дорожкам меж делянок, а молодой научный сотрудник еле поспевал за ним. Филипп Иванович догнал их и пошел позади.

Профессор говорил на ходу.

— Неужели вы не понимаете простой вещи! — воскликнул он, размахивая шляпой. Седые волосы ерошил

ветер, но казалось, они шевелились от возбуждения профессора.

— Был здесь директор,— оправдывался научный сотрудник,— и сказал мне: «Зачем торчат сорняки? Почему торчат сорняки? Удалить немедленно! Ожидаем экскурсию, а у вас сорняки на делянке». Ну я и...

— Вы не имели права полоть эту делянку! Вы испортили опыт. Вас судить надо! — кричал Масловский.

— Герасим Ильич! — почти жалобно пытался возражать его собеседник.

— Что ж из того, что Герасим Ильич! Я еще вам намылю шею за такое!

Филипп Иванович подумал: «Та-ак. Суд заменяется намыливанием шеи. Все идет как и полагается. Знакомое дело».

Профессор и его сотрудник остановились около одного из опытов.

Герасим Ильич повернулся лицом к делянкам и посмотрел сбоку на Филиппа Ивановича.

— Вы?! — воскликнул он.

— Я.

— Откуда?

— Иду по следу. С вокзала,— отвечал Филипп Иванович шутливым тоном.

— По какому следу? Вы за каким зверем охотитесь, позвольте вас спросить?

— За профессором Масловским, смею доложить!

— То есть как это так? Значит, вы были на селекционном участке?

— Нет. Не был. Решил сразу пройти сюда.

Герасим Ильич начинал сбавлять строгий тон. Он подошел к Филиппу Ивановичу, подал руку и, не выпуская его руки, спросил:

— Значит, с вокзала?

— С вокзала. Ездил вас встречать, но... не догнал. Хотел поздравить и порадоваться с вами, Герасим Ильич.

— Ну... этого... не надо...

— Поздравляю от души! И радуюсь.

— Ну... Спасибо. Спасибо вам.— Герасим Ильич положил руку на плечо Филиппа Ивановича и поцеловал его.— И в горе меня не забывали и в радости не забыли. Спасибо!

— А я иду позади,— снова заговорил шутливым тоном Филипп Иванович,— и думаю, слушая вас: «Ну, попал на судебный процесс!»

Герасим Ильич покосился на своего научного сотрудника и сказал, обращаясь к Филиппу Ивановичу:

— Остались дети на хуторе и такую ерунду напутали! Добрая пословица! Вот он напутал без меня. Вот смотрите: эта делянка обработана химикалиями против сорняков. А вот на этой делянке проведена тщательная прополка, без химической борьбы. На той же делянке... Пошли, пошли! — Он потянул за рукав Филиппа Ивановича.— Вот. На этой делянке сорняки должны быть целехоньки — ни химикалий, ни прополки. А он прополол!

— Только крупные сорняки. Только те, что выше растений,— оправдывался научный сотрудник.

— Ни единого! Ни единого нельзя трогать! — снова загорячился Герасим Ильич.— Цель опыта: выяснить не только видимое действие химической борьбы с сорняками, а сравнить урожай и установить, действительно ли эта борьба может заменить тщательную прополку и какой экономический эффект дает. Все в опыте должно быть точно и ясно до возможного предела. Понятно?

— Я знал... Но... директор...

— Даже министр над вами не властен, если у вас есть мысль, идея, открывающая перспективу увеличения урожая. Да, да, министр! Что вы смотрите так удивленно?.. Исследователь всегда свободен. Более того, он иногда сам себя «подрубает» и... радуется этому.

— Как это понять? — спросил Филипп Иванович.

А научный сотрудник, юноша, которого Филипп Иванович видел впервые, уже и не пытался задавать вопросы. Он только слушал.

— Как понять? — говорил Герасим Ильич.— Вот как понять... Пошли, пошли! — Он шагал быстро и широко, размахивая рукой, увлекая за собой собеседников. В конце блока делянок он остановился.— Видите, Филипп Иванович? Колышки видите в гнездах кукурузы?

— Вижу.

— На конец каждого колышка нанизана картофелина и — зарыта в почву на четыре-пять сантиметров. Мы рекомендовали в свое время, и я, заметьте, подписал ту рекомендацию: для борьбы с проволочником на овощных и кукурузе использовать картофель. Проволочник любит

вгрызаться в мякоть картофелины. А через день-два картофелина извлекается из почвы с этим колышком. Проволочника уничтожают. Так мы рекомендовали. И были уверены, что это хорошо — оградить линией картофеля пятна, зараженные проволочником. Даже два колхоза подтвердили это на семенных участках овощных... Ну конечно, благодарили и... все прочее...

— Никак не пойму, при чем же здесь «подрубание» самих себя? — спросил Филипп Иванович.

— Ну какой же вы нетерпеливый! Смотрите соседнюю делянку. Здесь в почву внесен гексахлоран — и нет проволочника. Совсем нет! Агроном Московской области Крутиховский установил: гексахлоран — спасение от проволочника, а урожай при этом увеличивается на двадцать процентов. Вот мы провели его исследования. И что же: мои четырехлетние исследования покатились к чертям! Идея Крутиховского отрицает мою начисто. И я рад этому.— Герасим Ильич неожиданно обернулся к научному сотруднику и сказал: — Понимаешь, Коля, очень рад этому отрицанию. Мы с тобой проверили данные Крутиховского и тем самым подрубили самих себя. И радуемся. Правда же?

— Да, правда,— с улыбкой ответил Коля.

Герасим Ильич обратился к Филиппу Ивановичу:

— Вот мы с Колей решили: часто бывает так, что новое в исследовании заключается в отрицании предыдущего исследования, опыта, эксперимента. Так, Коля? — Он толкнул его локтем.

— А судить его будем? — спросил Филипп Иванович у Масловского, подмигнув Коле.

Герасим Ильич прямо-таки отпрянул от Коли, надвинул шляпу поплотнее и повторил строго:

— Я еще намылю ему шею.— И пошел вдоль делянок второго блока.— Он у меня еще узнает кузькину мать... «Директор, директор». Может быть, тебе Чернохаров прикажет?.. Я вам! — Грозил он на ходу кому-то.

Филипп Иванович дернул за рукав Колю и тихо сказал:

— Оставьте его на минутку. Дайте успокоиться. Я его знаю.

— А вы откуда?

— Агроном колхоза. Кончал когда-то этот же институт. А вы давно у Герасима Ильича?

— В прошлом году окончил. Ну... он и оставил меня здесь.

— Счастливый вы человек, Коля,— сказал Филипп Иванович.

Герасим Ильич ходил, ходил и как-то сразу, неожиданно, остановился невдалеке. Потом крикнул:

— Эй вы, заговорщики! Идите сюда.

Когда «заговорщики» подошли, он спросил у Коли:

— Это вы заборонили пар после дождя?

— Я.

— Кто приказал?

— Никто. Сам решил.

— Молодец. Правильно.— Он помолчал чуть и добавил: — Впрочем, путайте, ошибайтесь, но... не очень сильно ошибайтесь... Не так, как с сорняками...

Солнце совсем опустилось к горизонту. Повеяло прохладой. Растения на делянках навострили верхние листочки, слегка опущенные днем; от делянок на дорожки легла короткая тень. Герасим Ильич застегнул плащ, окинул взором поле, посмотрел на Колю, на Филиппа Ивановича; потом взял в горсть клинышек бородки и, задумавшись, повторил:

— Ладно. Ошибайтесь. Но... не очень сильно.

Через несколько минут они были в квартире Герасима Ильича. Сели на диван рядом.

— Ну, рассказывайте, какие новости в колхозе?

— Новость на всю волость — сняли меня с работы. Уже я не колхозный агроном.

— Что?! — воскликнул Герасим Ильич. Он вскочил и заходил по комнате, говоря: — И какова же причина? Впрочем, можете не отвечать на этот вопрос. Все ясно... Все ясно... Ясно,— повторял он, взявшись за клинышек бородки и продолжая ходить из угла в угол.— Агроном, ненавидящий рутину и консерватизм в агротехнике, оказывается «опасным» человеком. Все ясно, все ясно... Но все-таки расскажите.

— На свой риск перенес травы в пойму, получил огромный урожай сена, а полевой севооборот сделал не двенадцатипольный, а шестипольный... Соединил по два поля в одно. Увеличил площадь зерновых на двадцать процентов. И вот «за игнорирование травопольного севооборота, за самовольство и анархизм в агротехнике (так и записано), за нарушение агроправил»... освобожден.

— И что же вы теперь?

— Что ж, из колхоза не пойду.

— Но жить-то надо чем-то?

— Нашел работу.— Филипп Иванович положил на стол приказ Карлюка.— Вот, опыты буду ставить в колхозе.— Он внимательно следил за выражением лица Герасима Ильича, пробегавшего глазами бумагу.

А тот поднял глаза и удивленно, так, что густые брови вскинулись на лоб, спросил:

— К Карлюку? Вы?.. Не понимаю. Вы сошли с ума!

— Я буду иметь возможность ставить и свои опыты!

— Ах, та-ак!.. Пожалуй... Это мы подумаем... Вы еще не сошли с ума... Но вас нагрузит Чернохаров «по линии Карлюка» так называемыми производственными опытами.

— Уже все — не нагрузил.— Филипп Иванович рассказал о событиях последних двух дней.— Не доверяет мне Чернохаров,— заключил он.

— Тогда Карлюк вас просто-напросто уволит. Все, кто мешает «массовому внедрению» исследований Чернохарова, из системы научно-исследовательских учреждений увольняются. И скажу прямо: иногда с большими... неприятностями, мягко выражаясь...

— Не уволит,— уверенно перебил Филипп Иванович.

— Откуда такая уверенность? Вы забыли, как «избивали» меня, обвиняя в менделизме, морганизме и прочих смертных грехах? — Герасим Ильич все больше волновался.— Вы многого не понимаете. Чтобы защитить свою диссертацию, мне пришлось ехать в другой город. Но все-таки и туда приехал Чернохаров в качестве неофициального оппонента. Более пятнадцати лет готовая диссертация, обошедшая все столы в некоем научном учреждении, пролежала без движения... Нет, вам надо уходить самому... Но...

— Но бросить колхоз сейчас я не могу. Это значит согласиться с обвинениями, поставить крест на всем, что сделано мною в поле, согласиться с тем, что не нужны радикальные изменения, согласиться с тем, что все колхозники будто бы уже живут богато. Не могу!

— Да. Это правильно. Но ведь вас же...

— Не уволит,— еще раз повторил Филипп Иванович с еще большей уверенностью.

— Послушайте, где вы добыли такую самоуверенность? Когда уверенность переходит в самоуверенность —

это плохо. Вы уже не так молоды, вам уже около сорока, а утверждаете как-то так... Мой жизненный опыт подсказывает совсем другое... Да что же это я? Вот так принял гостя! Мария Степановна! Мария Степановна! Милая Мария Степановна! Вы там чего-нибудь того-этого...

— И того есть и этого есть,— ответила Мария Степановна, входя с подносом, на котором, кроме всего прочего, по-хозяйски занимала главное место бутылка коньяку.

— Ну, Филипп Иванович! — весело сказал Герасим Ильич.— Теперь о делах, о науке, о колхозах — ни слова! Только на веселые темы.

Они сели за стол. Выпили за «докторскую». Поговорили о рыбной ловле, вспомнили какого-то необыкновенного сазана, который ломал и рвал снасти, но наконец был подведен к лодке и все-таки... ушел, подлец.

— Вот какой был! — восклицал Герасим Ильич, показывая руками.— Царь-сазан! Выдающееся явление среди сазанов!

— А помните, как вы с лодки-то?

Оба рассмеялись.

— И главное в чем,— сквозь смех говорил Филипп Иванович.— Сам-то в воде — в одежде барахтается! — а сам кричит: «Шляпа! Моя шляпа где?» А шляпа-то в лодке осталась.

Бывает так, встретишься с человеком и не сразу его поймешь. Но вот он засмеется искренне и неподдельно, от всей души, и сразу полюбишь такого человека. Есть в настоящем смехе что-то такое, что открывает дверцы в тайники человека.

Филипп Иванович уже видел подергивание живота Чернохарова, выражавшего этим приемом смех, и именно поэтому-то он еще больше любил Масловского в тот вечер, когда они ужинали вдвоем.

Посмеялись-посмеялись собеседники, отдышались, покачали головами.

— Ну и ну,— произнес Герасим Ильич.

— Прочистили мозги,— заключил Филипп Иванович.

— Посмотрел бы на нас Чернохаров!..

— А ну их! — махнул рукой Филипп Иванович.

— Кстати, давайте-ка посмотрим тематику Карлюка. Мне кажется, там больше чернохаровского.

Филипп Иванович достал программу опытов, вручен-

ную ему при назначении, и они углубились в изучение тем, забыв, что решили не говорить о делах.

— Так,— начал первым Герасим Ильич, читая отдельные темы вслух.— «Посев пшеницы яровизированными и неяровизированными семенами». Не ново: два десятка лет испытываем яровизацию. Ну-ка, что тут еще?.. «Подзимний посев яровой пшеницы...»

— Вы смотрите десятую тему,— предложил Филипп Иванович, улыбаясь.

— Десятая,— читал Герасим Ильич,— «Экономические обоснования скармливания овощных конскому поголовью».— Он бросил тематический план на стол и, как обычно в волнении, заходил по комнате, засунув пальцы в карманы жилета.— И это все в то время, когда вопрос о кормовой базе для всех животных, а не только для лошади надо решать немедленно и радикально: силос, зерно, сено.

— Все возможно! — Филипп Иванович засмеялся.— Тысячу лет известно, что лошадь любит свеклу, но редька — тоже ведь овощная культура. Э, была не была! А не заняться ли мне испытанием скармливания редьки жеребятам?

— А чеснока — коровам,— добавил Герасим Ильич.

— Предана забвению вечная истина: «лошади едят овес». Вот и надо искать заменители...

Герасим Ильич улыбнулся, но улыбка погасла сразу же. Он спросил:

— Как это там у него?.. «Что ест конь...» И как дальше?

— «Что может есть лошадь и что она должна есть»,— уточнил Филипп Иванович. И вдруг взялся всеми десятью пальцами за волосы и неожиданно поник головой. Так же резко вскинул ее и стукнул кулаком по столу; взялся за борта пиджака, стянул так, что он затрещал на спине, и сказал: — Герасим Ильич! Никакого движения вперед в сельском хозяйстве не будет, если мы не повысим доходность колхозов. Все эти темы, все диссертации — все мелко по сравнению с самым важным. Неужели этого не видят?..— Он снова опустил голову в задумчивости.

А Герасим Ильич подходил к Филиппу Ивановичу, трогал его за плечо и уходил снова в другой конец комнаты. Снова подходил и снова уходил. Он теребил седой клинышек бородки, смотрел в пол, закладывал руки за

спину, но никак не находил места в комнате, где бы остановиться. И вот он подошел еще раз к Филиппу Ивановичу, уже поднявшему голову, и сказал:

— Вы член партии. А вот видите, как...

— Простите, Герасим Ильич. Простите, не выдержал.

— Вот вы все такой же горячий. И такой же... прямой. Трудно вам жить...

— А вам легко? Вы научили прямоте.

Герасим Ильич не ответил на вопрос, не подтвердил утверждения Филиппа Ивановича. Он присел на стул против него и, будто продолжая свою мысль, говорил:

— Вот и Карлюку вы наговорите чего-нибудь. Обязательно наговорите, и — фьюить! — уволит. А в «науке» так: ненавидишь, а говори приятности. Такая есть научная вежливость. Например, встретит меня завтра Карлюк и рассыплется в поздравлениях, а я, понимаете ли, обязан благодарить за телеграмму, посланную им в день защиты. И ничего не поделаешь. Так уж принято.

— И это очень нехорошо. Орудуя этой самой «вежливостью», и присасываются к науке карьеристы, подхалимы, блудословы. И им никакого отпора. Все в вежливой форме.

— Его могу я не любить, но уважать его обязан... Кто это сказал?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, но слова помню.

— От бюрократизма это идет.

— Возможно. Может быть, скорее от чинопочитания.

— А какая разница,— махнул рукой Филипп Иванович.— Не переваривает у меня нутро такого отношения.

— Это хорошо...— Герасим Ильич задумался.— И хорошо... и трудно вам будет. А все-таки вы идите так. Именно так. Главная наука в жизни — научиться ходить прямо.

Филипп Иванович смотрел на учителя благодарным взглядом. Он уже успокоился, этот неуравновешенный и горячий, иногда опрометчивый агроном. Нет, не неожиданными и беспричинными были частые перемены настроения у Филиппа Ивановича — горячее отношение к жизни влекло за собой быструю смену чувств.

— А если уж говорить откровенно,— продолжал Герасим Ильич,— то не очень-то и я одарен этой научной вежливостью, сами знаете. Не стоит об этом. Давайте-ка

поговорим о другом: что собираетесь делать. По-моему, главное в опытной работе заключается в том, чтобы любым научным опытом помогать повышению урожая.

— Но тематика рассчитана на диссертацию.

— К сожалению, вы по должности волей-неволей будете закладывать «опыты» по тематике. Но исходить надо из требований производства зерна, мяса... Каждый опыт должен быть поставлен с точной целью.

— Что бы вы рекомендовали?

— Надо подумать... Давайте подумаем вслух. Вместе.

— Давайте,— оживился Филипп Иванович.

— Что вы считаете самым главным в агротехнике?

— На это трудно ответить сразу. Каждый прием в общем комплексе важен.

— По-моему, комплекс комплексом, а самое главное в агротехнике сейчас — сор-ня-ки. Наши поля повсеместно настолько засорены, что становится нелепостью, скажем, такой прием, как внесение удобрений. Смешно же удобрять... сорняки! А есть ли в какой-либо эмтээс карты сорняков, учет запаса их семян в почве? Разработаны ли конкретные меры борьбы с сорной растительностью по каждому колхозу? Ничего этого нет, батенька мой. В промышленности и технике мы достигли чудес (это без преувеличения). А вот в поле у нас сорняки губят половину урожая, добрую половину. Рассчитывать в этом деле только на трудолюбие и дисциплину колхозников — по меньшей мере близорукость.

— Да еще население из городов помогает в прополке.

— Ну, это уж совсем странно. Удивительно много мы затрачиваем труда на борьбу с сорняками на поле, а между тем надо решать это по-другому: нужны агротехнические меры такие, чтобы уничтожить сорняки совсем.

— Что вы предлагаете сделать конкретно?

— Поставить широкий опыт с уничтожением сорняков: метод химической борьбы, различная глубина пахоты. Перенести наши опыты на колхозное поле. Только возьмите обязательно отстающий колхоз, самый худший в районе.

— Не понимаю,— развел руками Филипп Иванович.

— Подумайте как следует и поймете. У нас принято изучать и обобщать только опыт передовых колхозов. А «опыт» отстающих попросту замалчивается. А мы обя-

заны изучать факторы, снижающие урожай. Не зная болезни, нельзя ее лечить.

— Вы выразили и мои мысли! Понял! — воскликнул Филипп Иванович.

— А я это знал. Вы только их не высказали... Вот вам одна тема. Теперь другой вопрос: проволочник, или, по-народному, «костяника». Вы сегодня видели наш опыт. А какой огромный запас этого маленького вредителя на полях колхозов и в особенности на целине. Разве кто-нибудь обследовал поймы на этого вредителя? Нет. А его там местами до двухсот — трехсот штук на квадратный метр! Это страшно... Понимаете, каждый пятый центнер поедает проволочник!

— Невероятно! Половину — сорнякам, пятую часть — червякам, а одну треть — в закрома.

— Вот и попробуйте. Поставьте опыты на большом массиве. Докажите. Мы обязаны доказать.— Герасим Ильич, пристукивая пальцем по столу, раздельно повторил: — Обя-за-ны!

— Вы так часто подчеркиваете слово «обязаны», что будто принимаете вину за низкие урожаи на себя.

— Да, принимаю. И вы принимайте. А когда почувствуете, что обязаны, вы уже не сможете не бороться. Все это кажется очень мелким — сорняки, червячки! — но в этом простом кроется великое: огромные урожаи. Огромные урожаи — если, кроме всего этого, применять систему агротехники, разработанную для каждого колхоза в отдельности.

— Уже две темы есть! — воскликнул Филипп Иванович.— «Подумали вслух»! Здорово подумали!

— Десять есть. Сто есть! Помните: если в научном опыте есть мысль, идея, подсказанная практикой, то он, опыт, уже наполовину сделан.

— И если эти результаты опытных исследований возвратятся к родившей их практике, то они обогащают ее.

— И вызывают новые мысли, идеи. Это и есть наука, батенька мой. Вы, сами того не замечая, уже много лет как приобщились к настоящей науке, вы — рядовой, обыкновенный агроном.

— Вот приобщился и — уже не агроном колхоза.— Филипп Иванович задумался. А через некоторое время сказал, будто продолжая мысль: — Уж очень много стало

людей, убежденных в том, что и вопросы агротехники должны решаться там, вверху, что нужна своеобразная централизация агротехники.

— Чертовски это плохо для науки! Тут самая прочная почва для конъюнктурщиков. Но, к сожалению, есть такие люди, есть...— Герасим Ильич замолчал, взялся снова за клинышек бородки, остановился посреди комнаты и, смотря в пол, размышлял вслух: — А еще сказать, хуже всего такая линия, когда о науке думает один человек, а все остальные должны только подтверждать его мысли. Отсюда все.— Он поднял палец вверх, не отрывая взгляда от пола и будто не замечая уже и Филиппа Ивановича.— Во! Подтверждать мысли другого. Вот какая роль сельскохозяйственной науки. Во! Чудеса в решете!..— Медленно опустив палец и тыкая им вниз, он настойчиво повторял одно и то же: — Все равно земля потребует! Народ потребует! Партия потребует!..— Масловский снова сел против Филиппа Ивановича, опустив ладони меж колен, и сказал: — Вот оно какое дело-то, батенька мой.

Они замолчали. Сидели и молчали. Думали.

Потом Филипп Иванович сказал, вздохнув:

— Трудное положение в сельскохозяйственной науке.

— Трудное. Но... Надо решительнее поднимать голос за настоящую науку.

— Надо,— все так же в задумчивости поддержал Филипп Иванович.— Я знаю теперь, что делать.

Рано утром, часов в пять, когда солнце взошло над городом, Филипп Иванович уже шагал к вокзалу. Он знал, что ему надо делать. И поэтому утро было хорошим.

Глава седьмая

●

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

●

А Карп Степаныч тем временем спал.

Часов в девять он проснулся. Посидел немного на кровати, стараясь с утра думать научно, но мысли почему-то не шли. Он почесал ногой ногу, но мыслей не было: как провалились! Наконец-таки пришла мысль:

какой сегодня день? Постепенно он установил точно, что сегодня четверг, день, абсолютно безопасный по всем приметам. Это его успокоило, однако же от этого покоя мысли еще дальше залезли в какие-то закоулки и не желали вылезать. Так он и сидел неподвижно, по-утреннему припухший, с обвисшей нижней губой и приподнятыми вверх бровями, будто удивляясь тому, что никаких мыслей нет. Он был уверен, что такое состояние не есть следствие отсутствия ума, что, наоборот, ум у него есть, и даже большой, но пока что нет пищи для этого самого ума.

Вскоре обнаружились и признаки пищи. Изида Ерофеевна вошла в спальню всклокоченная, но в белом фартуке и с вилкой в руке. Она постояла в дверях, посмотрела на мужа и спросила:

— Сидишь?

— Сижу,— ответил он хрипловатым спросонья голосом.

— И долго так будешь глядеть жабой? — беззлобно уточнила она.

— Мыслей нет,— все так же полусонно ответил Карп Степаныч.

— Давай одевайся. Завтрак готов.

Карп Степаныч умылся, оделся и сел за прием пищи. И чем плотнее набивал желудок, тем энергичнее вылезали мысли. Он позавтракал, крякнул и заявил смело:

— Прекрасно!

И это была бы блестящая мысль, если бы не Изида Ерофеевна. А она задала простой вопрос:

— Что там у тебя с этим Егоровым?

— А откуда ты знаешь? — поставил контрвопрос Карп Степаныч.

— Слух дошел,— неопределенно ответила Изида Ерофеевна, но, конечно, не сказала о том, что, как и обычно, открыла своим запасным ключом письменный стол мужа и прочитала его заявление.

Мысли у Карпа Степаныча заработали. Он нахмурился и, ничего не отвечая на вопрос жены, ушел к письменному столу в другую комнату. Там он достал папку «Личное дело», сунул в портфель и направился на работу, в Межоблкормлошбюро. Но, уходя, строго сказал жене:

— О Егорове молчать. Ничего не случилось.

— «Врагу не сдается наш гордый варяг»,— пропела

Изида Ерофеевна, улыбаясь. И, подтянувшись на носках, поцеловала мужа в щеку.

Это было приятно так, что Карп Степаныч, чувствуя поддержку друга, улыбнулся тоже. Да и чем, собственно говоря, быть недовольным? Сыт, обут, одет, сберкнижка есть. Что же касается диссертации, то он ее защитит.

Шел он на работу пешком, переваливаясь утицей, наполненный пищей и мыслями. Он думал о том, что вот придет в свое учреждение и начнет руководить и что руководить умеет не каждый, в особенности в науке; будет руководить, а потом со временем станет доктором сельскохозяйственных наук.

Карп Степаныч глянул на часы: десять! Даже ему, руководителю, опаздывать на полтора часа неудобно. И он заспешил.

Спокойные и сытые мысли прекратились сразу же, как только он открыл дверь своего учреждения. В двери он неожиданно столкнулся с Чернохаровым. Да как столкнулся! Чернохаров выскакивал в этот момент из учреждения, а Карп Степаныч спешил войти в учреждение. Чернохаров почему-то горячился. Дверь они открыли одновременно и так больно столкнулись, что вытаращили глаза друг на друга и долго не могли произнести ни слова.

— Вы? — наконец выдавил Чернохаров.

— Я,— ответил Карп Степаныч.— Виноват...

— Виноват... Ох! — вздохнул Чернохаров.

Наконец они все-таки сели друг против друга. От боли оба стали грустными.

— Я спешу,— уныло сказал Чернохаров.— Ждал вас полчаса... Опаздываете.

— Виноват, Ефим Тарасович... Дела. Задержался.

— Вот... Дела. Есть дела поважнее.

— Что вы хотите этим сказать, Ефим Тарасович?

— Сегодня всю ночь до рассвета вдвоем...— начал Чернохаров.

— Кто?

— Враги. Егоров и Масловский. Видимо, готовят на нас...

— Донос?

— Возможно. Еще раз проверьте свои...

— Документы и личные дела,— уже перехватывал Карп Степаныч мысли учителя.

— И ускорьте...

— Понимаю.

— Ваше должно быть впереди, чем ихнее.

— А может быть, они не писали? — будто сомневаясь, спросил Карп Степаныч.

— Смотрите, вам виднее,— ответил Чернохаров так, будто уж и не важно ему все это, однако добавил: — Предусмотрительность и предосторожность — родные сестры. Гм...

Карп Степаныч понял, что разговор окончен и что собеседник зашел именно затем, чтобы высказать последнюю философскую мысль. А Ефим Тарасович встал и вышел из комнаты.

Карп Степаныч только теперь поздоровался с Подсушкой, сел за стол и глубоко задумался. В голове возник вопрос: «Чем они могут меня взять?» После этого он положил перед собой папку. В этом домашнем «Личном деле», кроме копий документов официальной папки, которая хранилась где-то в сейфе, были записки от профессоров и к ним, пригласительные билеты на торжественные заседания или ученые советы, справки с места жительства разных лет, копии назначений и увольнений и даже давнишняя записка от некой дамы, обожающей науку в лице Карлюка. Первым листом была анкета — «Личный листок по учету кадров». В этот-то вопросник жизни и вник сейчас Карп Степаныч, думая все об одном и том же: «Чем они могут меня взять?» Он читал свою анкету и вспоминал жизнь. Всю жизнь! И казалась она ему чистой, как стекло.

В самом деле, анкета Карпа Степаныча была зеркалом образцовой чистоты и трудолюбия человека. По этой анкете, право же, ему надо быть академиком или даже больше. Очень хорошая анкета у Карпа Степаныча! Начнем рассмотрение этого весьма важного документа вслед за Карпом Степанычем прямо с первых вопросов.

«Фамилия, имя и отчество — Карлюк Карп Степаныч». Значит, отцом его был Степан Карлюк.

«Место рождения... Год и месяц рождения — 1903, декабрь.» Значит, родился в пургу и морозы. Такого человека надо обязательно выдвигать — крепкий здоровьем должен быть.

«Социальное происхождение — крестьянин». И в скобках — «середняк».

Тут Карп Степаныч вспомнил прошлое.

Вот он мальчишкой в родном доме. Отец, могучий ростом крестьянин, имел только одну корову. А Обломковы имели двадцать две, а Чухины — двадцать шесть. Карпуха же (так звали в те годы Карпа Степаныча) видел, как отец работал день и ночь, стараясь разбогатеть, видел и то, что из этого ничего не получалось: давили Обломковы.

Но отец часто повторял:

— А ты тянись, Карпуха, достигай.

Карпухе было лет тринадцать или четырнадцать, когда пришла революция. Лет восемнадцать — к началу нэпа. И Карпуха тем временем уже учился, весьма энергично перебиваясь с двоек на тройки (учение давалось ему туго).

Когда он поступил в институт и приезжал на каникулы, то отец говаривал:

— Я вот всю жизнь тянулся. А глянешь назад — одна только работа, каждый день работа. Может быть, хоть ты не будешь работать. Ты достигай. Уважай учителям, профессорам и — достигай. Кто выше тебя по чину, тот и обидеть тебя может. Но ты не обижайся, а ласкай: выгода — другой раз не обидит, а тебя же и почтит. И главное дело, достигай. Может, и не будешь тогда работать. Ученые люди, они не работают. Достигай.

Так постепенно и вырос Карпуха на закваске такой философии: учиться, чтобы не работать. И линия жизни его выражалась в одном слове: достигай!

«Тут,— думал Карп Степаныч, сидя за анкетой,— они меня не подкусят. Чистый середняк».

И он изучал свою анкету дальше.

«Состоял ли в оппозициях? — Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не допускал и мысли».

«Был ли за границей? — Не был, не собираюсь и не поеду ввиду того, что мне там делать нечего».

Так продуманно отвечал Карп Степаныч Карлюк на все вопросы анкеты. Но на одном вопросе — только на одном! — он вдруг споткнулся и... вспотел. Вопрос обыкновенный: «Участвовал ли в боях в Отечественной войне». И ответ простой: «Нет». А вспотел. Миллионы людей спокойно ставят такие ответы, зная, что и в тылу нужны были люди. Знал это и Карп Степаныч. Но и Егоров-то тоже кое-что знал. Не будь Егорова — чистота анкеты

была бы алмазной. Теперь же вот сиди, обхватив голову руками, и думай и вспоминай, чего не следовало бы вспоминать.

А случилось все так.

...Немец приближался к городу. Шли войска, ехали обозы, танки, пушки — Красная Армия отступала. По обочинам дорог и проселкам, по всей Европейской России, двигались эвакуированные жители. Кто как: кто пешком, кто на лошади, кто просто двигал впереди себя или тащил за собой тележку с немудреным скарбом и пищей. Люди переживали величайшее несчастье — уходили из родных мест; они видели отступающие войска, и сердце каждого сжималось при мысли о худшем. Вражеские самолеты десятками висели над городами и селами, наводя ужас и смятение, распространяя всюду смерть.

Вот в такие-то дни заволновался и Карп Степаныч, стал мрачным. Изида Ерофеевна потихоньку плакала. Вечерами они подолгу сидели и советовались, а чаще спорили о том, что делать. Так шли дни. Уже разрывы снарядов стали слышны по ночам — бои приближались. В то время Карп Степаныч не был еще, по его собственному выражению, «наукоруком», а просто подчинялся Чернохарову. И вот он пошел получить распоряжения: не пора ли эвакуироваться? (Никаких указаний об эвакуации пока не было.) Но, придя к Чернохарову, он нашел пустую квартиру: тот выехал в неизвестном направлении. Карп Степаныч побежал домой, задыхаясь, толкая по пути прохожих.

Он ворвался в свою квартиру и выпалил:

— Иза! Немцы!!

Изида Ерофеевна почему-то не совсем волновалась в данную минуту и сказала:

— Ну и что же?

— Собирайся!

— С какой такой стати?

Тут Карп Степаныч взял стул и без спора, замахнувшись им на супругу, выкрикнул:

— Я кандидат наук! Повесят! Ну? — И вопросительно потряс стулом над головой.

Потом он убежал куда-то. Потом приехал на подводе, запряженной парой лошадей. На той подводе уже сидела сторожиха сада института с мальчиком. Карп Степаныч

и Изида Ерофеевна быстро собрались. Они взяли с собой самое необходимое: альбомы рисунков Изиды Ерофеевны, «Личное дело» Карпа Степаныча, документы, деньги, два пуда соли, мешок пшена, два пуда солонины, мешок муки, два пуда сухарей, Джона с его постелью, двадцать две коробки спичек, две перины и четыре одеяла, пять бутылок кипяченой воды, пять пачек аспирина и пять пачек пургена, по два костюма на каждого и кое-что другое, самое необходимое в неведомом пути. Все это нагрузили так, что лошади еле стронулись с места, а сторожиха с мальчиком пошли пешком за подводой. Потом где-то в пути сторожиха добровольно (хотя и со слезами, но по собственному желанию) уволилась от Карпа Степаныча, пересевши на другую подводу со своим немудреным мешком сухарей. Карп Степаныч дал ей на прощание три стакана соли, а Изида Ерофеевна «точила» его за такой необдуманный и непростительный поступок и твердила:

— Самим не хватает, а он раздает. Растяпа!

А Карп Степаныч отвечал мудро:

— Самое трудное из всех подражаний — быть щедрым.

— Начитался, черт, разных глупостей,— заключила супруга, не вникнув в суть.

Так они и ехали. На восток, и на восток, и на восток. С лошадьми Карп Степаныч умел обращаться еще с того далекого времени, когда жил в деревне. По пути он выменял за десять стаканов соли три мешка овса и был спокоен — они уехали от боев, в кармане у него бронь.

Но однажды случилось то, чего никто не ожидал. Супруги вынуждены были остановиться около одного городка, при въезде в который висело такое объявление: «Всем эвакуированным военнообязанным, проживающим временно, а также проезжающим, явиться в военкомат. Наличие брони от явки не освобождает». Было ясно: принимались попытки к переучету всех едущих на восток. После короткого совещания с Изидой Карп Степаныч в город не поехал, а остановился на опушке леса поразмыслить, взвесить. Тут они и заночевали.

И вот ночью на далекий тыловой городок, не имеющий особого военного значения, налетел немецкий самолет. Карп Степаныч, находясь в нескольких стах метрах от городка, отдыхал в дорожной палатке, когда услышал

первые звуки «мессершмитта». Впервые он услышал, как воют бомбы. В первый раз он ощутил сотрясение земли от взрыва. В первый раз в жизни он оказался в жутком смятении от канонады зениток (видимо, какая-то воинская часть шла ночью к фронту). И было Карпу Степанычу так страшно, так страшно, что он трясся всем телом, прижимался к Изиде и искренне считал, что здесь, в этом самом месте, и находится граница его личного земного существования. Изида Ерофеевна крестилась. Ночь была беспокойной.

А утром Карп Степаныч, оставив Изиду Ерофеевну одну, отправился в военкомат. С половины пути он вернулся, но, подумав, снова пошел. Однако опасения его были напрасны: бронь возымела действие, и Карп Степаныч через два-три часа возвращался в добром расположении духа.

Потом пришел к своему табору, предполагая немедленно двинуться в глубь Сибири. Но тут, на опушке леса, он увидел войска. В лесу маскировали орудия, разбивали палатки. Свежая воинская часть шла на фронт (ее-то, наверно, и бомбил самолет), а теперь располагалась здесь до ночи. А у своей повозки Карп Степаныч увидел... Егорова Филиппа Ивановича! Тот стоял, облокотясь на грядушку повозки, и разговаривал с Изидой Ерофеевной. В капитанской форме Филипп Иванович сразу внушил уважение Карпу Степанычу, и он долго тряс офицеру руку, приговаривая:

— Друзья встречаются вновь... Очень рад... Очень и очень рад... Друзья встречаются... как говорится... Очень рад... Очень рад!

— Мы, кажется, не очень-то были дружны,— сказал Филипп Иванович.

— По делам и поспорить можно, но... юность, юность! Куда, куда вы удалились, и тому подобное! Очень рад!

— И все-таки попрошу вас освободить место. Здесь располагается временно мое подразделение.

— И куда же вы направляетесь? — спросил Карп Степаныч.

— Туда,— неопределенно ответил Егоров и так же неопределенно махнул рукой.

— Понимаю. Тайна, стратегический план,— многозначительно сказал Карлюк, подмигнув, и стал запрягать лошадей.

— А вы-то куда же? — спросил Филипп Иванович.
— Туда — в Сибирь,— ответил Карп Степаныч.
— Бронь, что ли, заимели?
— Как кандидат наук.
— О, уже кандидат!
Но тут вмешалась в разговор Изида Ерофеевна, возымевшая большую симпатию к Егорову с первого разговора, а потому и ставшая откровенной.
— У него ведь такие крупные знакомства. Такие крупные! Иначе он тоже тянул бы лямку, как и вы. Не имей сто рублей, а имей сто друзей,— заболтала она.— Профессор Чернохаров и бронь-то ему... Наука, она...
Карп Степаныч опешил.
Егоров нахмурил брови и сжал зубы.
Изида Ерофеевна стушевалась и замолкла, отдаленно догадываясь о том, что она сказала что-то не так.
Егоров, круто повернувшись, отошел, остановился вполоборота и грубо, как недругу, крикнул:
— А ну живо очищайте место!
Карп Степаныч поспешил отъехать. Добра от этой дружеской встречи он не предвидел.
Долго они ехали молча. Полдня ехали. Наконец Карп Степаныч сказал первое слово:
— Дура!
Изида Ерофеевна ничего не сказала, а наотмашь ударила мужа туфлей по голове. Покормили лошадей и поехали дальше. Молчали снова до вечера. Вечером же Карп Степаныч, укладываясь спать, еще раз сказал:
— Дура!
На этот раз Изида Ерофеевна возражала не очень, так как туфлей бить не стала. Тогда Карп Степаныч стал ее воспитывать и по этой причине спросил:
— Для чего человеку дано два уха и только один рот?
— А я почем знаю,— ответила супруга.
— Два уха и один рот даны человеку для того, чтобы он, человек — высшее создание природы, слушал в два раза больше, чем говорил.
— Это ты к чему? — чуть-чуть уже соображая, спросила она.
— А к тому: сейчас война, болтать тебе меньше надо.
— Я уж тоже думаю... Да все как-то... не получается.

— Сознание ошибки — признак доброго сердца,— заключил Карп Степаныч.

Он простил супругу. И больше не вспоминал.

И вот после долгих лет Карп Степаныч встретил Филиппа Ивановича. Теперь он сидел над анкетой и вспоминал, вспоминал. Наконец он решил мысленно:

«Здесь о н может меня взять за рога. Может насплетничать. Может даже написать куда-либо. Такие люди все могут... Итак, или он меня, или я его — одно из двух. Надо сделать так, чтобы ему не поверили. Попробую.— И рассуждал дальше: — В чем сила человека? В выборе надежного средства в борьбе. Какое средство? Это не имеет значения. Для утверждения в науке все средства хороши».

После этого Карп Степаныч стал исследовать вопросник жизни еще тщательнее. Наиболее долго он остановился на том пункте, где стоял вопрос: «Ученая степень». Ответ написан жирными буквами: «Кандидат наук». Думал он, думал и задал сам себе вопрос:

— Не могут ли о н и укусить здесь?

И стал вспоминать, как он защищал диссертацию и каких это стоило усилий и напряжения его большого ума и воли.

Но, повествуя об этом, нельзя обойтись без особой главы, ибо в сельскохозяйственной науке до некоторых пор защита диссертаций протекала совсем иначе, чем в таких науках, как, скажем, технические. Там-то ведь очень просто: изложил человек свои научные исследования на бумаге, толково написал о том, к чему привели эти многолетние исследования и чем практически завершились, и все. Нет, в сельскохозяйственной науке вся эта музыка была куда сложнее. Здесь надо было сначала уметь выбрать тему, каковая может быть даже и совсем бесполезна для сельскохозяйственной практики, но обязательно чтобы научная. И много-много других отличий и особенностей, о которых речь впереди. И мы не будем отвлекаться, а будем исследовать по порядку и только в связи с «Личным делом» Карпа Степаныча Карлюка — кандидата сельскохозяйственных наук. Куда уж лучше пример!

По всем этим причинам в следующей главе пойдет одна сплошная наука.

Глава восьмая

ВОСПОМИНАНИЯ О ТОМ, КАК КАРЛЮК СДЕЛАЛ ДИССЕРТАЦИЮ И ЧТО ДИССЕРТАЦИЯ СДЕЛАЛА ИЗ КАРЛЮКА

Прежде всего перед Карпом Степанычем стояла проблема: где и какую тему выбрать для защиты. В то время он работал кем-то вроде научного сотрудника на поле сельскохозяйственного института под непосредственным и испытанным руководством Чернохарова. С легкой руки последнего на опытном поле института ликвидировали тогда опыты, а поставили прямую задачу: вырастить только высокий урожай вместо изучения вопроса — как его получить. Лишь два года спустя хватились: эва! А ведь без опытов-то обойтись нельзя. И стали опять же вести опытную работу. Одним словом, не углубляясь в этот вопрос особо, скажем, что несколько лет подряд сельскохозяйственный институт работал по методу ХВНЗ — НВХЗ, то есть: «Хвост вытащил — нос завяз, нос вытащил — хвост завяз». Насколько нам известно, там было так: то уничтожали травы, то снова сеяли, то рубили лесные полосы, то снова сажали.

Карп Степаныч никак не мог выбрать тему. Пробовал взять в оборот «Сорняки одного района», но оказалось, что на сорняках района, прилегающего к институту, защищено уже четыре диссертации, а сорняков там и по сей день уйма. Даже больше стало! Карп Степаныч видел, что диссертанты «питаются» сорняками, и сам он хотел питаться так же, но ему это не удалось, так как на последней по этому поводу диссертации выступил председатель колхоза, агроном, и сказал, что надо бы не только исследовать сорняки, а и научить, как их уничтожить. Нет, для Карпа Степаныча это не подходит. Да и небезопасно. Именно к этому времени и относится появление первого пункта правил защиты диссертации. Эти правила впоследствии оказались детально разработанными Карпом Степанычем Карлюком еще задолго до защиты диссертации, когда он тщательно изучал все, что связано с этим многотрудным делом.

В результате предварительных обобщений у Карпа Степаныча в его «Личном деле» (домашнем) появился та-

кой лист. На правом углу — девиз: «Достигай!» В заголовке: «Правила защиты диссертации». И дальше следуют пункты:

«1. При выборе темы никогда не берись за такие вопросы сельского хозяйства, которые еще не апробированы, ибо на них можно сломать шею. А ученый со сломанной шеей перспективы иметь не может.

2. Самое важное в защите диссертации — выбор официальных оппонентов. Выбирай оппонента не слишком сведущего, но и не слишком далекого от защищаемого вопроса. Если выбрать совсем несведущего оппонента, то он будет тебя хвалить за то, за что надо умеренно бранить.

3. Парализуй возможного противника. Обращайся к нему за консультацией и делай вид, что следуешь только его советам. Если же эти советы нелепы, тогда тем более принимай их и не возражай.

4. Качество диссертации проверяй на домашних (людях), по примеру других. (В этом месте у Карпа Степаныча перечислены девять фамилий диссертантов, при проверке диссертаций которых он лично присутствовал.) Доброкачественная диссертация не должна вызывать абсолютно никаких эмоций, как-то: смеха, возбуждения, озлобления, судорог, восклицаний и прочего. Если какие-либо места вызовут что-либо подобное у домашних (людей), то немедленно переделать эти места. Если же диссертация вызывает зевоту или даже глубокий сон, то это признак ее доброкачественности, ибо так же пропустят мимо ушей возможные ошибки и члены ученого совета.

5. Достигай! (Еще раз!) Благодари и кланяйся. Кланяйся и благодари! Это польстит членам ученого совета. Они тоже люди».

Так-то вот постепенно и готовился к вступлению в степень кандидата сельскохозяйственных наук уважаемый товарищ Карлюк. Он выступал на собраниях и всяких совещаниях, начинал обличать тех, кто был уже обличен, начинал помаленьку давить тех, кто был уже раздавлен, поддерживать тех, кто и без того стоял крепко. Все это дало ему звание активного научного сотрудника, несмотря на то, что большинство сослуживцев почему-то его не любило. Оставалось только выбрать тему. Однако и этот трудный этап разрешился впоследствии.

Однажды Карп Степаныч присутствовал в областном управлении сельского хозяйства на весьма важном сове-

щании. В перерывах участники совещания ходили по коридорам парами и тройками и энергично обсуждали, горячились, высказывали резкие суждения, чтобы потом снова молчать, выслушивая штатных ораторов. Конечно, и Карп Степаныч тоже ходил по коридору, но ни с кем не спорил и не горячился. И вдруг он неожиданно услышал в одну из открытых дверей разговор двух. Один говорил так:

— Черт ее знает что получается! Опять то же самое: в начале месяца вспашки — нуль; в середине — подъем; в конце месяца — полный энтузиазм.

Второй спрашивал:

— Это о чем речь?

— О тракторной вспашке.

— А при чем тут части месяца?

— Видимо, имеется какая-то связь с фазами луны: в первой четверти — плохо, во второй — лучше, в полнолунии почти совсем план выполняется, а в последней четверти завершается.

— Влияние фаз луны на выработку тракторов...

Собеседники раскатисто рассмеялись этой шутке, будучи, видимо, людьми веселыми, не лишенными остроумия, а поэтому и симпатичными.

Карп Степаныч настолько заинтересовался этим разговором, что не выдержал и вошел в комнату. Он расспросил о плане тракторной вспашки, о результатах выполнения плана по месяцам. Затем осторожно попросил познакомить его с выполнением плана по неделям месяца. Ему сказали (те же два весельчака), что последнее очень сложно, что требуется дополнительное исследование материала по сводкам машинно-тракторных станций и что если ему это очень надо, то ему предоставят материалы (а им, дескать, такими пустяками заниматься некогда).

Дома Карп Степаныч засел за исследование сводок и донесений, годовых отчетов МТС и многого другого. Это было настолько интересно и настолько безопасно с научной и политической точек зрения, что его вскоре осенила выдающаяся мысль. И он воскликнул:

— Есть тема!

Сначала тема была еще туманной, но потом, с каждым днем исследований, выступала все более четко и наконец, как принято говорить, оформилась полностью в сознании диссертанта. Карп Степаныч сперва написал так: «О колебаниях выполнения плана тракторами». Показалось слиш-

ком просто и совсем не научно, потому что очень коротко. А надо обязательно длинно. Думал, думал он и написал так: «О выработке машинно-тракторного парка и о его колебаниях». И это его не удовлетворило. Около двадцати разных названий придумал он. В конце концов тема все-таки зазвучала вполне научно. Окончательно получилось такое солидное наименование: «О влиянии метеорологических условий в различных фазах луны на общую выработку машинно-тракторного парка в переводе на гектары условной мягкой пахоты по массивам машинно-тракторных станций средней черноземной полосы».

И пошло дело! Карп Степаныч изучил влияние луны на приливы и отливы, учел влияние луны на погоду, попутно установил, что среди трактористов не зарегистрировано ни одного лунатика, и, наконец, вывел определенную и точную закономерность: чем дождливее погода, тем меньше выполнение тракторных работ. Он сам поразился своим исследованиям. Пугала невиданная новизна вопроса.

Затем он вник, по возможности, в вопросы планирования, организации труда. Триста страниц на машинке получилось у Карпа Степаныча. Труд! Большой труд!

И вот он преподнес профессору Чернохарову толстый том. Положил на стол, склонил голову и сказал:

— Моя судьба в ваших многотрудных руках.

Через несколько дней Чернохаров позвал его к себе. Карлюк пришел, стал в дверях и поклонился молча. Поклонился, разогнулся, но совсем головы не поднял.

— А ну идите, идите ближе, дорогой,— позвал профессор.

Подошел Карп Степаныч. Сел. Смотрит в пол, задумавшись.

— Тут, в этом томе,— Чернохаров постучал пальцем по диссертации,— много оригинального. Но...

— Я готов исполнить любые ваши советы,— поспешил поклониться Карлюк.

— Похвально... Полагаю — необходимы практические выводы для производства. Гм... Вы можете своими исследованиями изменить коренным образом систему учета выработки тракторного парка.

— А именно? — спросил несмело Карлюк.

— Надо подумать. Видимо, необходимо давать сводки из эмтээс в два приема: а) до полнолуния и б) после пол-

полуния. Гм... Это самое внесет ясность и обеспечит цикличность и прочее... Гм... Гм...

А коль Ефим Тарасович гмыкнул два раза подряд, то разговор уже больше не возобновится. Карп Степаныч встал. Взволнованный, он выскочил с диссертацией под мышкой вон из кабинета.

Трудно было Карлюку достигать. Для этого не одну фазу луны пришлось потрудиться. Диву даешься: как это он выдержал такое напряжение?

Официальный оппонент Чернохаров Ефим Тарасович постарался подобрать и рекомендовать и второго оппонента. Все было готово к защите точно по разработанным Карлюком правилам.

И вот настал день защиты. Страшный судный день!

Сначала все шло нормально. Председательствующий объявил имя, отчество и фамилию диссертанта, а также и тему с полным наименованием. Ученый секретарь огласил автобиографию и характеристику научной деятельности диссертанта (характеристику подписал Чернохаров). Карп Степаныч за тридцать минут изложил краткое содержание работы (и никто не улыбнулся!). Затем присутствующие задавали вопросы. Зачитали свои отзывы официальные оппоненты, отметили недостатки диссертации (много недостатков). Отмечать возможно больше недостатков полагается, но это не имеет ни малейшего значения для исхода дела. Все шло до тех пор, пока не выступил добровольный, так называемый неофициальный оппонент — доцент Масловский Герасим Ильич. При воспоминании об этом выступлении Карп Степаныч сжимал кулаки и усиленно сопел. Этот Масловский выступил совершенно против тех доводов, которые высказывал официальный оппонент Чернохаров. Чтобы уточнить несходство мнений насчет диссертации Карлюка, достаточно воспроизвести две речи.

Чернохаров говорил очень веско, в высшей степени научно:

— Многоуважаемые и почтенные члены ученого совета!.. Гм... Мы видим, как молодые силы входят в науку по нами протоптанной дорожке. Гм... Путь в науку тяжел. Гм... Я буду объективен и беспристрастен. С этой точки зрения настоящая работа представляет интерес. Гм... В ней есть новое. Есть оригинальное, но... Гм... Все, что в ней ново, не оригинально, а все, что оригинально,

не совсем ново. Я беспристрастен. Я — принципиально: есть противоречия. Но, тем не менее, убежден в том, что соискатель искомой степени, Карлюк Карп Степаныч, достоин искомой степени. Я полагаю, что это будет единодушным мнением. Гм... И надеюсь на дальнейшие экспериментальные работы соискателя. Гм...

А доцент Масловский выступил совсем не научно. Он сказал примерно так:

— Уважаемые коллеги! Можно ли допустить мысль, что нам представят на рассмотрение диссертацию на тему «Луна и коровы»? Мне кажется, такую мысль допустить можно. Свидетельством того служит настоящая диссертация. Это плод какого-то странного недоразумения, если не сказать — недомыслия. Мягко выражаясь, нам представили не диссертацию, а фикцию для проведения проформы присвоения ученой степени. Мне, товарищи, стыдно.

Многие сочли его выступление грубостью, плохим тоном, не достойным ученого, нашли отсутствие такта и так далее и тому подобное. Главное же в том, что по правилам не полагается выступать вторично на таком ученом совете: высказался и садись — ни опровержений, ни возражений.

Все это Карп Степаныч учел. Когда ему дали заключительное слово (так полагается), он на все это ответил речью:

— Глубокоуважаемые члены ученого совета! (И поклонился.) Я искренне, от всего сердца благодарен за ту критику, которую я слышал здесь. (И еще поклонился.) Бесспорно, мой труд имеет колоссальные недостатки, но я постараюсь всей своей жизнью исправить их в дальнейшей научной работе. (Здесь он преклонил голову, будто стоял перед алтарем.) Я не буду возражать уважаемому Герасиму Ильичу Масловскому. Нет. Я чувствую скромность моего труда. Но мне хотелось бы, чтобы мои, хотя и слабые, исследования послужили в какой-то степени вкладом в разрешение весьма насущной проблемы. Прошу вас не осудить меня за резкость и учесть тяжесть моего самочувствия. (Здесь у него голос задрожал. Он приложил руку к сердцу и поклонился.) Я еще раз благодарю всех выступивших, в том числе и глубокоуважаемого доцента Масловского Герасима Ильича. (И еще раз поклонился, уже затяжным, последним поклоном.)

Однако выступление Масловского совсем расстроило диссертанта.

Когда выбирали счетную комиссию, к Карпу Степанычу подошла Изида Ерофеевна и тихо спросила, так, чтобы слышал он один:

— Официальный ужин готов. Можно приглашать?

Карп Степаныч ответил:

— Все провалилось. Ужин отменить.

Изида Ерофеевна вышла. Потом снова вернулась и дополнила:

— Я больше не могу оставаться... Если надо, позвони.

А дома с двумя приглашенными соседками она, разбирая стол, разбила со зла две тарелки, облилась киселем и костила Масловского:

— Вредно ему, дьяволу, что мой будет кандидатом. Сам-то кандидат, да еще и доцент. А чтобы дать другому — вредно. Чертова собака на сене.

Она ругалась и еще более крепко. Джон лаял.

И вдруг звонок! А в телефоне голос Карпа Степаныча:

— Иза! Иди немедленно приглашай. Кажется, успех.

Он звонил в тот момент, когда ему показалось, что все обойдется, потому что Ефим Тарасович шепнул ему на ушко:

— Ничего. Не такие проходили. А эта проскочит как миленькая.— И похлопал его по плечу, да еще и животом потряс (то есть улыбнулся).

Когда же счетная комиссия разбирала результат тайного голосования и Карпу Степанычу, по выражению лиц, показалось, что «против» больше, нежели «за», он написал Изиде Ерофеевне записку: «Ужин отменить. Все пропало».

Так он мучительно и переживал: то впадал в отчаяние, то воскресал духом.

Но вот счетная комиссия объявила результат тайного голосования: «за» — на один (только на один!) голос больше.

Все! Карлюк Карп Степаныч стал кандидатом сельскохозяйственных наук. Он, Карлюк, встал. Его, Карлюка, поздравляли некоторые. А некоторые почему-то просто уходили молча.

Был ужин. Пили. Пели. Ели. Хвалили.

А когда все разошлись, кандидат сельскохозяйственных наук Карлюк, шатаясь из стороны в сторону, добрал-

ся до стола, взял свою объемистую диссертацию, посмотрел на нее с ненавистью, сдвинул брови, с ожесточением бросил наотмашь под кровать и проговорил с остервенением:

— У, вражина! Сколько крови выпила! — И, помолчав, добавил: — А с этим Масловским мы еще повоюем: попомнит Карлюка.

На следующий день Карлюк уже не кланялся научным сотрудникам и прочим, кто ниже его. Вот что сделала диссертация из Карлюка. Человеком стал! Да и не только человеком (об этом — чуть позже).

...Но ничего этого в анкете, над которой думал Карп Степаныч, не значилось. Там было записано просто: «Кандидат сельскохозяйственных наук».

Мысль о том, что Егоров и Масловский написали о нем куда-то, не давала покоя Карпу Степанычу. Если уж Чернохаров предположил такое, то Карп Степаныч вообразил, а затем возвел воображаемое в действительность. Товарищ Карлюк не трус — избави боже! — но инстинкт самосохранения сидел и в нем, как и во всяком животном. Поэтому он еще раз подтвердил мысленно тезис: защищайся нападением. Однако прежде чем напасть, он тщательно продумывал, старательно ощупывал места, за которые могли бы укусить его враги. С этой целью он и думал над своей анкетой.

По линии отца и матери — все в порядке. Они не были ни помещиками, ни становыми. Так что с происхождением обстояло все, по его выражению, «на большой палец». Образование его находилось на высоте: кандидат! В прочности этого положения сомнения не было. И все-таки его что-то беспокоило: а вдруг Егоров...

Уже и перерыв на обед скоро. Уже Ираклий Кирьянович осмелился кашлянуть. А Карп Степаныч все сидел и все думал и думал, вспоминая.

Итак, он стал кандидатом наук. А что дальше? Дальше случилось так, что по возвращении из эвакуации Чернохаров посоветовал принять вновь открываемую организацию — Межоблкормлошбюро. Нужны были кадры для работы в областных городах. В обязанности этих работников входило следующее: если сверху спустят бумажку, то Облкорм обязан спустить ее еще ниже, до опорного пункта, где работали только два человека, а чаще — один; если же этот человек напишет бумажку наверх, то Облкорм

обязан эту бумажку принять и поднять еще выше. Так вот и работалось: спускали и поднимали бумажки. А опыты, если они и ставились в колхозах, обобщались вверху, в Главкорме, и на этих обобщениях сотрудники Главкорма в свою очередь защищали диссертации, не проводя никаких исследований лично. Всем было очень хорошо.

Как бы там ни было, Ефим Тарасович Чернохаров дал Карпу Степанычу отличную характеристику и напутствовал его перед поездкой на утверждение такими словами:

— Во-первых. Самостоятельная работа и никакого начальства рядом. Во-вторых. Докторскую обсосете за тройку лет, не выходя из-за стола... В-третьих. Мои темы широко пойдут в колхозы по вашей линии... Надеюсь. Гм...

И Карп Степаныч отвечал:

— Я всегда в вашем распоряжении.

Он поехал в Москву, в Главкормлош. Ну конечно, подал он рекомендацию, заполнил (заранее) анкету, написал заявление, и его, как кандидата наук, без размышлений утвердили. На этом все оформление и закончилось.

Затем одному господу богу известными путями Карп Степаныч узнал об авторе фотоавтомышеистребителя, отыскал Ираклия Кирьяновича (каковые водятся, к его счастью) и направил его на утверждение вверх. При наличии трех характеристик утвердили и Подсушку. Хотя, как уже известно, Ираклий Кирьянович не имел особого образования, но в качестве младшего научного сотрудника в свое время мог работать любой имеющий тягу к науке. А Ираклий Кирьянович, конечно, имел такую тягу. Карлюку же почему-то не очень хотелось иметь своим помощником человека, сведущего в защитах диссертаций. Здесь, видимо, богатый жизненный опыт подсказывал решение..

И когда все утряслось, то есть купили все необходимое для работы в сельскохозяйственной науке — столы, стулья, шкафы, бумагу, чернила, несгораемый сейф,— Карп Степаныч, не задумываясь, решил начинать докторскую диссертацию. Очень долго он думал над названием темы. Пока, временно, коротко обозначил известную уже нам тему «Коню корм» сокращенным шифром «КК». В проекте же у него записано несколько длинных названий. Одно из них было уже подчеркнуто красным карандашом и звучало так: «К вопросу о кормлении лошади с ретроспектив-

ным обзором предмета по исследованиям прошлого века и перспективах комплексного скармливания продуктов в целях экономии дефицитной и высококалорийной продукции в условиях социалистического сельского хозяйства и в целях воспроизводства конепоголовья».

Были еще и другие названия, но красным карандашом не были подчеркнуты. Мы поэтому имеем полное основание считать, что соискатель остановился на вышеприведенном названии.

Итак, кандидатская диссертация сделала из Карпа Степаныча Карлюка не только человека, как упоминалось выше, а еще и соискателя искомой докторской степени. (Да простится мне заимствование оборотов речи из научного лексикона Ефима Тарасовича Чернохарова.)

И снова ничего не нашел Карп Степаныч в своей анкете, ничего плохого. Следовательно, гвоздем его жизни стал Егоров. Тот самый Егоров, которого он сам назначил себе в подчиненные! «И каких только чудес не бывает на свете с этими кадрами»,— думал Карп Степаныч. И все было ясно — Егорова надо морально уничтожить. Чтобы не выглядывал из-за анкеты и не портил впечатления.

Карп Степаныч оторвался наконец от анкеты, вздохнул, скорбно посмотрел на Подсушку и произнес:

— Так-то вот, дорогой мой Ираклий Кирьянович!

— Вы о чем? — несмело спросил тот.

— Егоров нас опередил.

— А именно?

— Он написал о нас с вами.

— Куда? — в страхе спросил Ираклий Кирьянович.

— Пока неизвестно куда. Но написал.

— Как же теперь нам быть?

— Наше придется подавать, волей-неволей.

— Подавать. Обязательно,— подтвердил Подсушка.— Подавать.

— И в этом ничего зазорного. Ничего. Мы за науку. Мы боремся. А в таких случаях, как я слышал от одного командира, бери те средства, что есть под рукой, действуй тем оружием, которым хорошо владеешь. Это — философия жизни.

— Ум и справедливость всегда у вас на уме, Карп Степаныч.

Карп Степаныч был польщен.

А вечером он запечатал три конверта, в каждый вложив известное нам заявление на Егорова, надписал три разных адреса. Затем пошел, темной ночью опустил все три конверта в почтовый ящик. А придя домой, лег спать и ласкал Изиду Ерофеевну. И ничего особенного во всем этом не было...

Глава девятая

●

БЕСПОКОЙНАЯ ДУША

●

Филиппа Ивановича Егорова мы оставили в то время, как он ранним утром шел на вокзал. Станция, на которой утром же следующего дня он вышел из вагона, отстояла от его родного колхоза «Правда» всего лишь на десять километров. Филипп Иванович осмотрелся вокруг, ища попутную автомашину. Машин не оказалось. Было пять утра. Ждать до восьми-девяти — получается три часа безделья. Филипп Иванович решил идти пешком: что означают десять километров для ног колхозного агронома! Пустяк. И зашагал, помахивая полевой сумкой. Пошел напрямик, межполевыми дорогами.

Июньское утро выдалось на редкость тихим и ясным. Шел агроном по полям.

Рожь отцвела, но ее колосья стояли еще прямо, не поникнув. Озимая пшеница была ниже ржи ростом, но зеленая, как лук. Острые, похожие на ланцетики, листочки проса с еле заметным нежным пушком, казалось, росли на глазах — так напористо они стремились вверх, к солнцу. Подсолнечник завязал шляпки и уже начинал ревниво следить за солнцем: утром он смотрит на восток, а вечером — на запад, так и наблюдает целый день. И вообще это растение очень «дисциплинированное»: если уж шляпки повернулись на юг, то все до единой, будто неведомая сила скомандовала: «На солнце равняйсь!»

Филипп Иванович остановился. Он вздохнул глубоко и подумал: «Так вот и человек — к солнцу правды! К правде обязан стремиться человек. Правду надо не **только** любить, правдой надо жить, как растение живет солнцем».

Филипп Иванович проходил полями. Всем существом ощущал он присутствие могучей земли, черной земли, спокойно и тихо лежащей под прикрытием ею же рожденной зелени, которая станет потом хлебом. Земля! И дед, и отец, и мать приучили с детства произносить это слово с великим уважением. Филипп Иванович стал агрономом потому, что он просто не смог бы нигде жить и работать, кроме как на поле. Здесь он родился, здесь прошли его детские и юношеские годы, если не считать отлучку в институт, здесь он мечтал, здесь поставил целью своей жизни высокие урожаи и благополучие людей, работающих на этой земле. Здесь же он и понял, что при мощной технике не должно быть беспорядка на колхозной земле. Земля никогда не прощает плохого обращения с нею и всегда благодарна за любовь и ласку.

И вдруг ему стало не по себе оттого, что вот эти поля, в возделывание которых вложено много и его личного труда, будут снова искромсаны «по инструкции о введении севооборотов», снова начнется переход к «новому» севообороту. И все это будет чуть ли не десятый раз при его жизни. Земля не прощает. И он, агроном, не может простить за то, что его, понявшего землю, на которой он родился, обвинили в том, что он по своему усмотрению и с согласия колхозников ввел короткий севооборот, вопреки «инструкции». Он всегда считал нелепостью положение, когда к лозунгу «Больше хлеба!» прибавлялось условие: только при таком-то севообороте, а не при каком-либо другом; при такой-то системе земледелия, а не при какой-либо другой. Он был убежден, что каждый колхоз, каждое поле в колхозе имеет свои особенности, отличные от других колхозов и других полей. Земля, насыщенная неисчислимым количеством бактерий, живет своей жизнью. Понять эти особенности — значит понять землю. И он старался понять. Но его-то не поняли, обвинили в анархизме, в нарушении указаний вышестоящих организаций и... освободили от работы.

Шел агроном по полям, но он не был агрономом этих полей. Земля уже не подчиняется ему. Чувство одиночества и оторванности закрадывалось ему в душу. Он на ходу гладил колосья ржи, прикасался к шершавым листьям подсолнечника, останавливался, подолгу смотрел вдаль и снова шел, но все тише и тише. Было грустно. Из своих дум он еще не сделал какого-то вывода. Что-то уже ме-

рещилось ему, но он еще не додумал, не решил. Так иногда человек мучительно старается припомнить какую-то мысль, мелькнувшую однажды. Грусть заслонила строй мыслей, среди которых была какая-то важная. Филипп Иванович встряхнул головой и зашагал быстрее. И вдруг остановился, услышав звук трактора. Потом зашел прямо в рожь. Он вспомнил: этот сорт ржи выведен Герасимом Ильичом Масловским, а вот та пшеница — известным селекционером-женщиной. Оба селекционера — знакомые ему люди. Вот и трактор звучит. Он тоже изобретен учеными. Тракторные плуги — тоже. А культиваторы, а комбайны? — уже спрашивал себя Филипп Иванович.

Так, постепенно, он перешел от мысли о себе к мысли о том, что в поле, везде, во всем, на каждом шагу, видно влияние сельскохозяйственной науки, настоящей науки, а не чернохаровской.

Оказывается, думал он, есть две науки: настоящая и ненастоящая. Масловский — настоящая наука, Чернохаров — ненастоящая, псевдонаука. А если ненастоящая, то как же она может хозяйничать на полях?

Эти мысли беспокоили Филиппа Ивановича. Поле наводило на размышления об агротехнике, о селекции, о будущем этого поля. И когда в мыслях он дошел до того, что он, Егоров, в лагере настоящей науки и что он тоже отвечает за будущее полей, он вспомнил слова Герасима Ильича: «Когда вы почувствуете себя обязанным, вы уже не можете не бороться». Именно эту мысль он и старался вспомнить! Чувство одиночества ушло.

Осталась только обида, что он уже не может иметь власти над полями, что у него отняли эту власть человека. А будет так: дадут ему гектаров десять — пятнадцать, разобьет он их на делянки и будет ставить опыты, настоящие опыты; но рядом расположит и опыты-фикции по тематике Карлюка. И ничего не поделаешь пока, иначе не будет средств и никто не даст столько земли в его распоряжение. Так и оправдывал Филипп Иванович поступление к Карлюку одним словом: необходимость.

В раздумье Филипп Иванович не заметил, как прошел весь путь и уже входил в село. Навстречу ему в гору поднималась подвода. Лошадь, опустив голову, тянула дроги с бочкой воды. На бочке, свесив ноги, сидел Пал Палыч Рюхин, водовоз тракторного отряда. Он что-то мурлыкал себе под нос, помахивая кнутом, на который ло-

шадь не обращала ни малейшего внимания. Не спешила лошадь, не спешил и ездовой.

Пал Палыч прослыл в колхозе не то чтобы лодырем, а весьма медлительным, спокойным человеком, которого ничто не тревожит. Считалось, что Пал Палычу совершенно безразлично, что делается в колхозе, как делается и зачем делается. Приедет, например, землеустроитель парезать новый севооборот, а Пал Палыч скажет:

— Этот на год опоздал. Раньше через год путались, а этот два года пропустил! — И добавит: — Валяй, валяй! Кромсай с божьей помощью.

Больше по этому вопросу он уже ничего не скажет ни на бригадном собрании, ни на заседании правления, куда он, к слову сказать, иногда ходил, но упорно молчал. Если его побуждали высказать свое мнение на заседании или собрании, то он отвечал коротко: «Интересу нету».

Вот этот самый Пал Палыч и встретился Филиппу Ивановичу.

— Здорово, Пал Палыч! — приветствовал он.

— Тпр-ру! — остановил тот кобыленку. А уж потом ответил: — Здоров был!

— Везешь?

— Везу,— ответил Пал Палыч и стал доставать кисет с табаком, видимо располагаясь к длительной остановке.

— Можешь опоздать,— попробовал напомнить Филипп Иванович.

— Нá! Закури-ка! — Пал Палыч подал кисет собеседнику, будто и не обратив внимания на предупреждение.

Отказать Пал Палычу не было никакой возможности. Филипп Иванович знал, что после отказа собеседник молча свернет кисет, медленно положит его в карман и уедет, так же не спеша и помахивая кнутом, будто и никого не встретил и ни с кем не разговаривал. Конечно, Филипп Иванович взял кисет, свернул цигарку, прикурил и спросил:

— Как там дела-то?

— Где?

— В тракторном отряде.

— Здóрово. Дела идут — сеют.

— Что-о? — удивился Филипп Иванович.

— Сеют, говорю. Овес пополам с чечевикой.

— Да ты смеешься, Пал Палыч?

— Ничего не смеюсь, сеют. План «спустили». Занятой пар будто.

— Но ведь конец июня! — воскликнул Филипп Иванович.— Через месяц — сеять озимые. Когда же он освободится, занятый пар?

— А я почем знаю? Вчера — план. Дополнительно. Ноне сеют... Вот везу воду.

Филипп Иванович взволновался. Он не находил слов и только произнес:

— Черт возьми!

Пал Палыч предложил так же спокойно:

— Може, доехал бы туда? Землю-то мучают.

— Да что же я? Не послушают меня теперь.

— Вона-а! Это почему такое не послушают? Тебя послушают. Это вот меня не послушают. Скажут: «И Рюха туда же!» А Рюха видит, Рюха знает, что хорошо и что плохо. Только на него — ноль внимания. А душа болит. Хоть и нету интересу, а душа болит.

— Болит... — машинально повторил Филипп Иванович.

— То-то вот и оно. Ехать надо.

— Да видишь ли... Сняли же меня. Как мне теперь вмешиваться?

— Вишь ты, как оно! А ты не думай об этом. Наплевать. Если тебе зарплату не платят, то ты уж вроде и не имеешь права? Ты колхозник?

— Колхозник.

— И я колхозник. Я три года получал по шестьсот граммов на трудодень, а работал. А ты уж... сразу. Не-е! Не должон ты об этом думать. С меня спрос один, а с тебя — другой.

— Надо как можно скорее попасть в отряд,— заспешил Филипп Иванович.— Поехали! — И стал взбираться на бочку.

— Не. Со мной скоро не попадешь. Там, у кладовой, сейчас семена нагружают. Машина пойдет. Ты с ней махни. Подожди тут маленько и — махни. А?

— Пожалуй.

Оба помолчали. Пал Палыч медленно курил и о чем-то думал, глядя вниз с бочки. Потом сказал:

— Я к тебе спозаранку ходил. Хотел сказать про это самое. А тебя нету.

Филипп Иванович многое понял здесь, у бочки. Ему

стало немножко стыдно за малодушие, прокравшееся в душу там, в поле, по пути домой.

— Спасибо, Пал Палыч! — сказал он, растирая ногой окурок.

— Это за что же спасибо? За то, что я хочу жить лучше? Я, Рюхин Пал Палыч? — И он ткнул себя пальцем в грудь.— Не понимаю. Вот если ты остановишь эту глупость, тебе будет спасибо.— Он помолчал и добавил: — А я не в силах.

— Ну поезжай, поезжай. Уже время.

Пал Палыч пошевелил вожжами. Кобыла покачалась, стронулась и повезла. А Пал Палыч, обернувшись, сказал с этакой ехидцей:

— Часам к одиннадцати доеду. А ты тем временем... — Он что-то пробурчал еще, улыбнулся в густые усы, почесал затылок, сдвинул картуз на глаза да так и поехал с надвинутым картузом, будто затаив под козырьком выражение глаз и свои мысли.

Так Филипп Иванович и не дошел до дома.

Вскоре встретилась автомашина с семенами.

— В отряд? — спросил он у шофера.

— В отряд. Садись, Филипп Иванович. Поедем чудо-юдо смотреть: как сеют овес с чечевикой.

— Поедем, поедем! Поспешим давай.

По дороге шофер рассказал, как вчера до полуночи думали в правлении о дополнительном плане занятого пара, как председатель противился ему и как директор МТС обещал председателю «намылить голову» на бюро за саботаж дополнительного плана.

Подъехали к отряду. Филипп Иванович, поздоровавшись с трактористами, взошел на поле, вспаханное в эти дни под занятый пар. Глыбы земли, вывороченные плугом, лежали несуразными каменьями, земля была настолько суха, что разборонить ее не было никакой возможности. Сеять в такую землю и в такой срок — бессмысленно и вредно. Филипп Иванович вернулся к будке и спросил у бригадира Боева:

— Вася! Чего ж вы стоите? Есть указание сеять.

— Да вот... жду воду. Должен скоро подвезти. И председатель обещал приехать.— Указав на глыбы, бригадир спросил: — Видите?

— Вижу. И что же, будешь сеять?

— А как же? Буду.

— А если я запрещу?

— То есть как это так «запрещу»? Вас же...

— Как рядовой колхозник запротестую и потребую созвать общее собрание. Как ты на это посмотришь?

Вася улыбнулся, повел могучими плечами и сказал:

— В уставе сельхозартели такого пункта нет. А здорово было бы! — И сразу пошел напрямую, без обиняков: — Пишите на меня акт, Филипп Иванович. Дескать, нарушает агротехнику, угробляет урожай. А я подпишу внизу личное мнение: дескать, по дополнительному. И — ни кот, ни кошка не виноваты.

— А если без акта, а просто так?

— Без акта невозможно — снимут меня. И будем мы с вами тогда ходить по полю вдвоем и грустные песенки распевать.

— Да я акт на тебя составить не могу. Не имею права.

— Вот задача так задача! — задумчиво произнес Вася и развел руками. Потом он сел в борозду, поковырял ключом ссохшийся ком земли и сказал, не обращаясь ни к кому: — Ну как тут сеять? Как в печке спеклась.— Потом он посмотрел на дорогу и уже совсем сердито заговорил о другом: — И что это за водовоз, черт возьми! То он за полчаса доставляет воду, а то и за пять часов не дождешься. Буду просить другого. Ну разве ж так можно! Два трактора на культивации черного пара работают, а два с сеялками здесь стоят, ждут воды. Хоть бы председатель ехал скорее. Не могу я с этим Пал Палычем работать.— И было что-то в Васе такое, что внушало к нему уважение. То ли могучая сила, выступающая буграми-бицепсами, то ли открытое голубоглазое лицо, то ли рассудительность, а может быть, все это вместе взятое. А между тем до тридцати лет он оставался для всех односельчан «Васей». Сейчас он злился на Пал Палыча не очень-то сильно. И заключил: — И обижать его нельзя — пожилой человек, и не поругать нельзя этого Пал Палыча — будет гнуть по-своему.

— Когда я шел в село, видел его. Едет,— сказал Филипп Иванович.

Оба замолчали. Молчали и смотрели на пашню. И не было им тягостно от этого молчания. Они знали, о чем думает каждый из них, и оба понимали друг друга. И еще раз Филипп Иванович упрекнул себя: «А я-то считал, что

и Вася теперь меня не послушает». Он положил Васе руку на плечо и сказал просто:

— Не надо сеять, Вася.

— Не надо,— согласился тот.— А как сделать?

— Просто не сеять. И все. Поедем в правление к председателю: будем думать.

— Да он же должен приехать сюда.

— Пока он вырвется из правления, а мы уж будем там. Вот с этой же машиной.

Семена сложить или везти обратно? — спросил шофер.

— Пока... сложим,— неуверенно ответил Вася, посматривая на Филиппа Ивановича.— Ну-ка да кто из района нагрянет. А у нас — ни семян, ни воды. По крайности на Пал Палыча свалить можно... Ему как с гуся вода.

Семена сложили в бурт и поехали в село.

Километра за два от будки, в лощине, они увидели одиноко стоящие дроги с бочкой, а рядом с ними, на траве, Пал Палыча. По всей видимости, он спал, потому что перед лошадью лежала зеленая трава, чересседельник же был отпущен.

Пал Палыч расположился, вероятно, основательно и надолго.

— Ну-ка остановись,— сказал Филипп Иванович шоферу.

— Черт возьми! Спи-ит! — зашипел Вася в негодовании.

— Тише. Я подойду.— Филипп Иванович предостерегающе поднял руку.

Он подошел к Пал Палычу. Тот лежал вверх лицом, прикрыв козырьком глаза. Но странное дело — один глаз, казалось, был полуоткрыт и смотрел на мир вообще и на Филиппа Ивановича в частности.

— Пал Палыч! — окликнул его Филипп Иванович.

— А? — отозвался тот, не пошевелившись.

— Что же это такое?

Пал Палыч приподнялся на локте и спросил:

— А что?

— Надо торопиться. Сеять занятого пара не будут. Надо переключать все тракторы на культивацию черного пара. А ты спишь. И воды нет.

— Не будут сеять?! — бодро воскликнул Пал Палыч и сел.

— Не будут.

— Ах я сукин сын! — еще раз воскликнул Пал Палыч.— Как же это я не догадался-то?

Он вскочил, подтянул чересседельник, поправил узду. И — удивительное дело! — лошадь подняла голову, запрядала ушами, ободрилась, будто ездовой что-то такое шепнул ей на ухо, и... побежала рысью.

— Впере-ед! — крикнул Пал Палыч, сдвинув картуз на затылок, и скрылся в облаке пыли, поднимаемой колесами.

Все трое смотрели ему вслед. И каждый реагировал по-своему. Филипп Иванович улыбнулся и сказал:

— Ну и «саботажник»!

А Вася — свое:

— Обижать нельзя — пожилой человек — и не поругать невозможно.

— И прозвище-то ему Рюха,— добавил шофер.

Но Филипп Иванович знал, что за странностями и медлительностью Пал Палыча тщательно скрывается человек, не понятый никем; до поры до времени спрятал он свой взгляд под козырьком, будто и в самом деле ему «интересу нету».

Председатель колхоза Николай Петрович Галкин встретил агронома и бригадира одним словом:

— Понимаю.— И добавил: — Опять спюхались.

— Опять,— подтвердил Вася и улыбнулся одними глазами.

— Вот что я тебе скажу, Филипп Иванович, плохо мне без тебя,— ни с того ни с сего сказал Николай Петрович.

— А я вот он, тут.

— Тут, да не тот,— вздохнул председатель.

— Хоть и шляпа иная, да голова своя.— И Филипп Иванович после этих слов положил на стол удостоверение о заведовании опорным пунктом в колхозе.

— Так, так, так,— приговаривал Николай Петрович, читая удостоверение.— Вроде бы наукой будешь заниматься. Так, так. А что же это означает, это самое Межоблкормлошбюро?

— По кормовым культурам.

— Ага, по кормовым. Тогда вот что — ученые берут, я слыхал, шефство над колхозами, а ты берешь шефство

пад своим колхозом и берешь в руки всю агрономию. Идет?

— Идет,— ответил Филипп Иванович.

Они пожали друг другу руки. Николай Петрович вдруг рассмеялся, хлопнув себя по лысеющей голове.

— Одна беда с кудрявой головы долой! — Но так же неожиданно помрачнел. Опустился на стул и задумался.— Каблучков будет возражать против тебя... А тут еще и этот «дополнительный» план, будь он неладен!

— Ну как же,— спросил Вася,— будем сеять или нет?

— Подумать надо,— сказал Николай Петрович.

— А я придумал! — воскликнул Филипп Иванович.

— Что придумал? — спросил председатель.

— Напишем профессору Масловскому. Вызовем сюда. Приедет.

— Не поедет твой профессор сюда.

— Приедет,— заверил Филипп Иванович.

— Не верю,— скептически утверждал Николай Петрович.— Чтобы профессор — в колхоз! Не может того быть. Шефство-то они, говорят, берут, да только сами-то не едут, а своих сподручных посылают — ассистентов или как их там... Да еще — по вызову! Что ему до нашего колхоза, до нашей свистопляски с этими «дополнительными»? Не поедет.

— Ну давайте попробуем,— настаивал Филипп Иванович.

— Почему не попробовать? Попробовать можно. Но... Не верю. Попробуй, что ж. Попробуй, беспокойная душа.

Письмо профессору Масловскому отправили в тот же день — опустили прямо в поезд на станции. Только после этого Филипп Иванович вспомнил, что он еще не заходил домой, что его ждут, что он голоден как волк. Он забежал домой, наскоро пообедал. Мать Филиппа Ивановича, Клавдия Алексеевна, сидела на лавке против сына и упрекала, пока тот обедал:

— Ты хоть ешь-то не спеша. И все он торопится, и все ему недосуг. Уже сорок тебе, а ты все... такой же, Филя. Такой же.— И сокрушенно качала головой. Но в старческих морщинах над губами и в лучиках морщин около глаз играла еле заметная лукавая улыбка.

— Такой же, мама, такой же. Еще одну тарелку супу съем — все такой же.

Жена, Люба, заведовала молочной фермой, дома ее не было. Сынишка, Колька, был в школе. Так до вечера Филипп Иванович и не увидел своей семьи.

— Ну, я пошел, мама. Допоздна не буду шататься, рано приду.

И уехал с Николаем Петровичем на его «Москвиче» по полям.

Николай Петрович работал председателем колхоза всего только два года. Он успел понять колхозников, наладил дело с дисциплиной, но в сельском хозяйстве, в тонкостях агротехники не очень-то разбирался. Раньше был на руководящей работе, даже заместителем председателя райисполкома, но в чем-то провинился. А в те годы на должность председателя колхоза частенько посылали за провинность. Председателей колхоза просто назначали. Было тогда ходячее выражение: «Дать команду председателям колхозов». Товарищ Каблучков, второй секретарь райкома, в течение полугода замещал первого секретаря и настолько увлекся «командой», что, говорят, так и сказал своей жене:

— Я лично дал команду — обед в три часа, а у тебя в полчетвертого не собрано. Не имею времени.— И ушел не обедавши.

Николай Петрович попал в председатели не по собственному желанию, но, к своей радости, полюбил эту работу, увлекся перспективами, которые развивал Филипп Иванович. Они подружились. Когда Филиппа Ивановича освободили от работы, Николай Петрович узнал об этом вместе с ним. Они оба развели руками и поехали сразу же к Каблучкову. Тот сидел в кабинете первого секретаря и писал. Не поднимая головы, он сказал:

— Садитесь.— Потом, через некоторое время, поднял взор, пристально посмотрел прищуренными глазами на вошедших, сморщил лоб.— По какому вопросу?

— Сам знаешь,— ответил Николай Петрович.

— Вы о Егорове? — И тут же ответил: — Этот вопрос мы ставили уже на бюро.

— Но Егоров — член партии,— возразил Николай Петрович.— А вы миновали первичную партийную организацию. Это нарушение...

— Прошу, товарищ Галкин, не брать на себя защиту виновного.

— Да в чем он виноват-то? — негодовал Николай Петрович.

— Еще повторяю: я лично дал команду о сроках сева, а Егоров — по-своему; я лично дал команду о глубокой пахоте, а Егоров — по-своему; сверху спущена команда о десяти- и двенадцатипольных севооборотах, а Егоров — по-своему. Анархия! Надо было наказать. И все!

Филипп Иванович глядел на Каблучкова и поражался: какой случай помог этому человеку попасть на такую важную работу? Тут чья-то ошибка. Конечно, с приездом первого секретаря все должно пойти по-иному. Но что делать сейчас?

Каблучков, обращаясь к Николаю Петровичу, заключил:

— Надо бы и с тебя, Галкин, снять стружку, но решил пока воздержаться. Посмотрим дальше.

— Меня твой рубанок не возьмет, Каблучков.

— Шерхебелем дернем. Все!

Разговаривать дальше не было смысла. Агроном и председатель встали, вздохнули и вышли.

Теперь они ехали вместе в «Москвиче» и вспоминали этот эпизод.

— А что же ты сделал бы? — рассуждал Николай Петрович.— Видно, потерпи до нового первого. Думаю, не продержится этот долго. Хорошо, брат, что ты устроился в это самое — как его? — в «Облкормложку». Ставь опыты, пожалуйста, сколько влезет, а колхозные поля — за тобой.

— Эге, я вижу: «налицо недооценка» значения опытной работы. А опыты — дело серьезное. Вот слушай! — заговорил Филипп Иванович.— Первым делом докажу, как уничтожить сорняки химическим методом. Второе — надо опытным путем установить глубину вспашки для каждого поля в отдельности. Третье — очистить почву от вредителей. Четвертое — поймы продолжать засевать культурными многолетними травами, чтобы кормов было невпроворот. Есть еще и пятое, и шестое, и седьмое... И все это надо так сделать, чтобы доказать. Понимаешь — до-ка-зать! Чтобы не один только наш колхоз понял, а все колхозы района.

— Что?

— Все колхозы района,— повторил Филипп Иванович.

— Ишь, загнул! Ну, валяй, валяй. Все, что от меня

надо,— не постою. Помогу. Только знаешь... Как бы это тебе сказать?.. — Галкин нагнулся к Филиппу Ивановичу и шепнул на ухо: — Ты меня-то подучай маленько по агротехнике-то. Не больно я горазд.

— Вместе будем учиться... у земли.

Дружба между председателем и агрономом укрепилась и росла, несмотря на различие характеров: один — спокойный и степенный, другой — горячий, беспокойный.

Но никто из них и не подозревал, что беда стоит за плечами.

Глава десятая

●

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

●

Через четыре дня Филипп Иванович и Николай Петрович встречали на станции профессора Масловского.

У Филиппа Ивановича был приготовлен для гостя завтрак. Предполагалось хорошо угостить профессора, а потом уж приступать к делам. Но Герасим Ильич останавливал автомобиль у каждого поля, выходил, смотрел и расспрашивал так, будто не он должен учить агронома и председателя, а сам приехал у них учиться. Видно было, что он заметил многолетние заботы Филиппа Ивановича в поле и то, что колхоз идет на подъем,— лето обещает хороший трудодень. Сразу же завернули и на злополучный участок, предназначенный под занятый пар. Вот тут-то Герасим Ильич и вспылил.

— И вы допустили, товарищ председатель! — воскликнул он.— Это же издевательство над землей.— И добавил совсем не по-научному: — Кроме того, если посеять здесь сейчас, это значит — выбросить семена коту под хвост.

Николаю Петровичу после такой речи стало легче. «Черт их знает, как с этими профессорами обращаться»,— думал он несколько часов тому назад. А теперь как-то сразу все стало на место. Он и согласился и возразил так:

— Издевательство — точно. Коту под хвост — исключительно точно. А вот насчет «допустили» — не согласен. Попробуй-ка возразить нашему Каблучкову. Куда там!

— А я буду возражать. Попробую. И не думаю, что вы правы. Возражайте, протестуйте, пишите, жалуйтесь. Иначе вы не коммунисты,— наступал Герасим Ильич.

— Вы не понимаете сути,— возразил Николай Петрович, согласно своему характеру, совершенно спокойно.— Дело-то в чем? Да в том, что Каблучков временно замещает первого секретаря. Ну и... заместил так, что закрыл собою от нас весь белый свет. Любое возражение он считает посягательством на авторитет.

— Жалуйтесь! — настаивал Герасим Ильич.— Что вы, маленькие дети, в самом-то деле?

— Попробуем дождаться первого. Новый будет. А старому не вернуться, заел его туберкулез. И к тому же — ну, напишем мы о том, что мы не желаем выполнять дополнительный план по состоянию погоды. Что из этого? Кому за это будет? Никому. План планом. А с меня и с Филиппа Ивановича будут «снимать стружку». Ведь жалобу-то не разберут за три дня? Нет. А сеять все равно заставят, пока жалоба будет ходить месяца два по разным инстанциям.

— Это как — «снимать стружку»? — спросил Герасим Ильич уже более примирительно, чем и дал понять, что он почти согласен с доводами.

Филипп Иванович улыбнулся и не стал отвечать на вопрос профессора, кивнув на Николая Петровича. А тот вполне серьезно сказал вместо ответа:

— Знаете что — хотел бы я, чтобы вы лично посетили самого Каблучкова и высказали ему все так, как нам. Может быть, и поймете «стружку».

— Обязательно поеду,— согласился Герасим Ильич.

С поля ехали молча. Всеми овладело самое обычное человеческое состояние, при котором любая идея тускнеет: хотелось есть.

К одиннадцати часам дня они подъехали к дому Филиппа Ивановича. Николай Петрович, выходя из «Москвича», сказал:

— Ну вот теперь и я знаю, что такое ученый. Думалось, как с ним говорить? А ну-ка да он скажет ученые слова, каких не знаешь? Выходит — все не так уж сложно.

Герасим Ильич улыбнулся. Филипп Иванович пригласил всех в дом. А Николай Петрович продолжал тем же ровным и спокойным голосом:

— А дозвольте спросить: водку пить будете?

— Водку?! — ужаснулся Герасим Ильич, но сразу же изменил выражение лица на благожелательное.— Буду!

Николай Петрович рассмеялся.

— У нас поговорка такая есть: «Если гостя встречать без вина, то хозяин — сам сатана».

За завтраком, после того как утолили первый голод, зашел разговор об опытном участке. Начал Филипп Иванович:

— Вот вы, Герасим Ильич, рекомендовали взять отстающий колхоз. Помните?

— Помню. И убежден в этом.

— А Николай Петрович категорически предложил оставаться здесь, то есть в «среднем» колхозе.

— Никуда я его не пущу. Пусть тут и ставит опыты,— подтвердил Николай Петрович.

Герасим Ильич возразил:

— Вы, видимо, исходите из своих личных соображений. А надо думать об общем, не только о своем колхозе.

— Нет, не из личных. Мне Филипп Иванович уже говорил о вашей точке зрения: «не изучаем опыт отстающих», «нельзя лечить болезнь, не зная ее», и тому подобное. А я возражаю.

— Но ведь это же неопровержимые доводы.

— А кто знает, может, и опровержимые.

— Интересно,— оживился Герасим Ильич,— очень интересно.

Поставив вилку острием вверх, Николай Петрович возражал:

— Если следовать этому вашему доводу, то надо обязательно посеять овес с чечевицей в конце июня, по глыбистой пахоте.

— Не понимаю! — удивился Герасим Ильич.

— Ну что ж тут не понимать! Посеять занятый пар в конце июня, а в октябре — ноябре посеять озимые, чтобы их не было совсем. Это и будет «изучение» отстающей агротехники, то есть изучение того, как не надо делать. Я не горазд в агротехнике, но думаю — этого не следует делать.

— Позвольте, Николай Петрович! Я имею в виду и организацию труда, и вообще организационные вопросы, и работу с людьми в отстающих колхозах.

— И все равно. Лучше изучать, как сделать хорошо, чем изучать, как не надо делать плохо.

Герасим Ильич ответил не сразу.

— Тут надо подумать... Пока тебе никто не возражает — считаешь, что ты прав... А вот сейчас вы, кажется... правы. У вас — логика.

— Я, Герасим Ильич, не понимаю ее, эту логику. А так — «по личному соображению». Все-таки жизнь прожил, шестой десяток пополам перерубил.

Герасим Ильич легонько хлопнул Николая Петровича по плечу.

— А ведь мы вроде ровесники! Знаете что, Николай Петрович, вы меня немножко подучайте.

— А вы меня.

— Идет!

— По рукам?

— По рукам.

Филипп Иванович был очень доволен, что скептическое отношение Николая Петровича к профессору рассеялось как дым. И он уже уверенно спросил:

— Значит, вы не возражаете против того, чтобы я остался здесь, в своем колхозе?

— Побежден,— ответил Герасим Ильич.— «Личным соображением» побежден. Впрочем, ведь это был только мой совет. А от меня совершенно не зависит, где вам основать опорный пункт.

— На это есть «Облкормложка»,— ехидно вставил Николай Петрович.

— А советоваться будем все-таки с вами. Вы только сейчас заключили условие с Николаем Петровичем.

— Ладно, ладно. Уж раз «попался» — ничего не поделаешь.

— Не будем спорить, дорогие товарищи. О том человеке; который взялся за гуж, пословица уже есть, и ее нечего выдумывать,— заключил Николай Петрович.

После завтрака Филипп Иванович и Николай Петрович ушли в правление, а Герасима Ильича уговорили отдохнуть.

В горенке приготовили постель. Клавдия Алексеевна, до сих пор произносившая только слова, относящиеся к угощению, пригласила гостя:

— Отдохните с дороги, Герасим Ильич.— Она вошла с ним в горенку, пододвинула стул для одежды и сказала: — Филя про вас много говорил. Мы тоже хотели вас видеть. Только не обессудьте. Может, что и не так.

— Что вы, что вы, Клавдия Алексеевна! Мы с Филиппом Ивановичем друзья, хотя он и мой ученик и я на пятнадцать лет старше его.

— Он ведь у меня один остался-то,— вздохнула Клавдия Алексеевна.— Трое было. Двух-то убили на войне. И сам пропал там же.

Герасим Ильич впервые услышал это.

— И сам! — вырвалось у него.

— Да Иван-то мой — отец Фили.— Она стояла перед профессором, высокая, сухая, на первый взгляд чуть суровая старуха. Но что-то крепкое и сильное было в ее глазах. Такое, будто она готова всегда встретить горе и выстоять.

— Простите, Клавдия Алексеевна! Вам трудно об этом вспоминать. Не надо.

— Конечно. Все пережито... И не у нас у одних. Война.— Слез у нее не было, только морщины на лице стали как-то гуще и отчетливее.

Герасим Ильич невольно обратил внимание: против обычного, на стенах нет портретов ни ее сыновей, ни мужа. И она по взгляду, скользнувшему по стенам, догадалась и сказала:

— Нету патретов-то. Нету. В сундуке держу. Иной раз взгруснется — выну, посмотрю... А письмо почитаю — не плачу, а утешаюсь. Человек был мой Иван-то!

— Письма от него сохранились? — осторожно спросил Герасим Ильич.

— Не-ет. От него так и не получили ни одного письма с фронта. От его товарища письмо, из плена. В плену он погиб, Иван-то... Да вы ложитесь, ложитесь в добрый час, отдохните. Поди, устали? Ложитесь.— И она вышла.

Герасим Ильич лег, но уснул не сразу. Он лежал с закрытыми глазами и думал.

Через час он встал, освежился холодной водой и пошел в правление. Там, в кабинете председателя, сидели Филипп Иванович и Николай Петрович и на чертеже намечали места опытных участков. Решили так: основной участок, Карлюка, выделить в одном месте, а настоящие, свои, в каждом поле. Они изложили свои соображения Герасиму Ильичу, и тот предложил сначала осмотреть участки на месте. Все с этим согласились. Но Николай Петрович внес новое предложение о порядке работы на этот день:

— Если сегодня не поговорить с Каблучковым, то, значит, нам влетит обязательно. Завтра бюро.

Все втроем поехали в район, предварительно позвонив о том, что едет профессор. Каблучков встретил Герасима Ильича учтиво: он встал из-за письменного стола, поправил пояс, затушил папиросу в пепельнице и только тогда приветствовал:

— Прошу! — Подал руку и произнес: — Секретарь Каблучков.

— Масловский.

Каблучков небрежно сунул руку и остальным двум, вошедшим с профессором (обычно он посетителям руки не подавал).

— Чем могу быть полезным? — спросил Каблучков Масловского.

— А мне казалось, что я мог бы быть чем-либо полезным для вас.

— О! У нас много недостатков.

Герасим Ильич спросил:

— Какие же недостатки вы считаете наиболее серьезными?

— У нас есть еще безобразия. Вот, например, они,— Каблучков указал на Филиппа Ивановича и Николая Петровича,— плохо ведут обработку почвы. Факт! Мы еще недостаточно ведем борьбу за лесные полосы — уход плохой, посадки выполнены не на сто процентов. И так далее. И вот остался один я — все на одних плечах.— При этом он похлопал себя по плечу, указывая таким образом, на каких плечах лежит все.— А они вот — палки в колеса.

Герасим Ильич попробовал вставить:

— Что касается посева овса в конце июня в занятом пару, то я с ними согласен — сеять нельзя.

Каблучков в удивлении развел руками, говоря:

— А как же?

— Сеять нельзя. Я утверждаю это со всей ответственностью.

— А облзу план спустило дополнительно. Что я должен делать? — возразил Каблучков.

— Объяснить, что сеять нельзя, что план надо было давать вовремя, ранней весной, а лучше — зимой, что колхозы не могут расплачиваться за чью-то недогадливость. Все просто. Вы согласны?

— Согласен на сто процентов. Но только я партбилет на стол не положу. Обязан выполнить. А ваше мнение, простите, будет нам дальнейшим тормозом.

— Знаешь что, Каблучков,— заговорил Николай Петрович,— никто с тебя за это не спросит партбилета. Что, у тебя бюро нет, что ли? Партактива, что ли, нет? Не с кем посоветоваться? Собери и вынеси коллективное решение. И твой билет будет цел, и у нас гора с плеч, у всех председателей.

Каблучков возмущенно обратился к Масловскому:

— Вот! Вот так с ними и поработай. Из области есть указание, а я собирай собрания, обсуждай, обсасывай. У меня и для бюро и для партактива есть план. Придет срок — пожалуйста! А сейчас, будь ласков, не тормози телегу.

— Тормозить телегу,— машинально повторил Герасим Ильич.— Это сказано здорово — «тормозить телегу».

Каблучков улыбнулся: дескать, действительно здорово.

— Товарищ Каблучков! — вмешался наконец и Филипп Иванович.— Если профессор говорит с полной ответственностью, то ведь можно же понять...

Но тот перебил:

— Только ты и понимаешь. А мы не понимаем. Нельзя допустить анархию. Да и вообще с тобой будет отдельный разговор.— И многозначительно добавил: — Особый разговор.

Герасим Ильич поочередно посмотрел на каждого из собеседников и задал вопрос Каблучкову:

— А нельзя ли мне начальника облзу к телефону?

— Почему нельзя? Можно.— Каблучков взял трубку.— Центральная?.. Срочно начальника облзу. Без задержки! Профессор будет говорить.

— Василий Аркадьевич! — закричал в трубку Масловский.— Дело-то какое! Овес с чечевицей — на носу у июля! Смех!.. А? Какой такой дополнительный? Кто придумал? Кто-о? Чернохаров? Мое мнение? Мое мнение: отменить надо немедленно... А? Неужели ни одного сигнала?.. Сегодня был на поле, видел — издевательство над землей. Местные работники протестуют... А? Хорошо. Телеграфирую сегодня же в обком. Будьте здоровы!

— Ну что? — спросил Филипп Иванович.

— В общем так: спасибо вам, Филипп Иванович! Если

бы вовремя не дали мне знать, то... Впрочем, еще не все кончено.

— Пока не будет распоряжения, я лично сеять буду,— заключил Каблучков.

Все опешили. Герасим Ильич развел руками.

— Добейтесь распоряжения — дело другое,— настаивал Каблучков.

— А сами-то вы почему не добиваетесь отмены головотяпства?

— Как? — опешил теперь Каблучков.

— Головотяпства,— повторил Масловский.

— Ну и ну! — произнес Каблучков.— Да вы понимаете, что такое дисциплина? Позвольте спросить, вы член партии?

— Да.

Каблучков выразил всем своим существом полное удивление. После этого он умолк, о чем-то задумался, посматривая то на Филиппа Ивановича, то на Николая Петровича.

«Нельзя обижаться на человека, попавшего не на свое место»,— думал Герасим Ильич.

Достав из кармана записную книжку, что-то записал, а потом сказал:

— Будьте здоровы!

Каблучков проводил глазами посетителей. Когда дверь, обшитая клеенкой, закрылась, он подошел к окну и сердито произнес:

— И на ученого-то не похож.

Усевшись снова за стол, Каблучков достал из ящика письменного стола «дело». На папке было написано: «Егоров Филипп Иванович». Раскрыл папку и углубился в чтение: на Егорова поступило одно заявление и запросы от двух организаций. Читал Каблучков и думал: «Он, он, Егоров, всему вина. Анархист... Он и профессора притащил в район. А оно вон что! Во какая птица этот Егоров!»

Заявление, которое читал Каблучков, уже знакомо читателю — то было творение Карлюка, а запросы от двух организаций состояли в просьбе дать характеристику Егорова по тем же пунктам, что и в заявлении.

Каблучков сам созвонился с Карлюком, просил его и Подсушку выслать «углубление подробностей». К вечеру уже была готова характеристика на Егорова в ответ

на запросы — такие дела у Каблучкова делались без волокиты.

В характеристике значилось: «Егоров Филипп Иванович — снят с работы как противник травопольной системы земледелия и анархист в агротехнике...», «Он пропагандирует зарубежный образ жизни...», «Он, Егоров, говорит не о высоком уровне развития нашей науки, а о том, что система сельскохозяйственного образования порочная», «Отец Егорова, Егоров Иван Иванович, был в плену у немцев, откуда и не вернулся...» И так далее.

Никто из троих друзей и не подозревал о нависшей беде. Через два-три дня пришло распоряжение об отмене дополнительного плана. Опытные участки были намечены. Филипп Иванович приготовился закладывать опыты с озимыми. Казалось, все шло хорошо.

Герасим Ильич исколесил все поля колхоза «Правда», несколько дней побыл в других колхозах и, возвращаясь поздно вечером, переписывал в общую тетрадь свои заметки из записной книжки.

В последние дни перед отъездом он стал молчаливым, задумчивым. Ночью вставал, тихонько выходил и медленно шагал по дорожке садика, заложив руки за спину. Село спало спокойным трудовым сном. Соломенные крыши были настолько высоки и громоздки по сравнению со стенами хат, что ночью казалось, будто все село построено из соломы. Лишь кое-где луна бросала блики на железные крыши. По этим отсветам можно точно определить, где находится школа, где правление, а где клуб. Солома и глина. Глина и солома. Да редкие, одинокие деревца, оставшиеся от садов. Около одной из хат гигантский тополь темным силуэтом одиноко вытянулся в небо. Громадный тополь! Герасим Ильич вообразил — стоит этот тополь и шепчет: если бы у каждой хаты только по одному такому, как я, то какая бы уже была красота!

Герасим Ильич пошел к этому тополю. Он не мог не пойти. Уже третью ночь тянул к себе тополь. Подошел и удивился: тополь чуть-чуть шептал листьями, одинокий, гордый, стройный, ожидающий, чтобы люди его поняли.

На околице тихо заиграла гармошка. Видимо, гармонист возвращался домой. Ветерок чуть-чуть ласкал деревню. А тополь все шептал и шептал.

Утром следующего дня профессор Масловский собрался уезжать. Втроем они последний раз поехали в поле. Николай Петрович внимательно слушал советы Герасима Ильича, иногда записывал на память, а Филипп Иванович, слушая, думал. На кургане, с которого были видны почти все поля колхоза, они присели. Герасим Ильич пошутил:

— По старому обычаю присядем перед отъездом.

— Неплохой обычай,— серьезно сказал Николай Петрович.— Человек должен за те минуты успокоиться от суеты сборов, подумать, не торопиться.

Филипп Иванович сел молча. Ему жаль было расставаться с учителем.

— Во-он, видите — тополь? — спросил Герасим Ильич.

— Видим,— ответили оба.

— Сколько в селе хат?

— Триста десять,— ответил Филипп Иванович.

— Если бы было триста десять таких деревьев? Или шестьсот? А?

— Здорово было бы,— сказал спокойно Николай Петрович.

— Вы-то здесь второй год,— обратился Герасим Ильич к Николаю Петровичу,— а вот Филипп Иванович агрономствует здесь восемь лет. Так что же вы, черт возьми! Вы понимаете, о чем я?.. — И эта фраза звучала как обвинение.

— Убедительно,— согласился Николай Петрович.

А Филипп Иванович молчал. Поэтому Герасим Ильич спросил только у него одного:

— Как вы думаете?

— Я думаю, что сначала надо сделать так, чтобы колхозник мог думать и о красоте.— Герасим Ильич встал, а Филипп Иванович продолжал, глядя в даль поля: — Я думаю, что... — Он неожиданно махнул рукой, не закончив.

— Что вы думаете, дорогой? Что думаете? Давайте выкладывайте! — требовал Герасим Ильич.

— Думаю, что обвинять народ в отсутствии чувства красоты могут только люди... плохо знающие народ... — Он тоже встал. Свойственная ему быстрота смены чувств сказалась и здесь: он заговорил уже быстро и громко: — Плохо знающие народ, который веками жил в рабстве; народ, революцией освободившийся от рабства и отстоявший свои завоевания в тяжелых войнах. Этот народ ждет

улучшения жизни! Я агроном, я на особом положении, получаю зарплату, имею льготы, поэтому и сохранил свой садик. Другие же действуют по простому правилу: или дерево, или двадцать кустов картошки.

Филипп Иванович умолк, с волнением глядя на Герасима Ильича. Поймет ли? Не обидится ли? Или, может быть, молча уйдет, не выдержав обвинения в незнании народа?

А Герасим Ильич смотрел на село. Ветер шевелил его седые волосы. Не отрывая взгляда от села, он неожиданно спросил:

— Почему вы никогда не сказали мне о том, что два ваших брата и отец погибли?

— Не знаю почему,— ответил Филипп Иванович.

— А я знаю. Потому что вы еще не считаете меня настолько близким, чтобы высказать без горячности хотя бы те мысли, которые вы высказали сейчас.

— Нет, это не так.

— Так. Подумайте наедине, взвесьте... — Он помолчал.— Да, я городской человек, я меньше вас знаю народ и еще меньше, чем Николай Петрович, но то, что я увидел,— и не только у вас, заметьте! — заставляет меня возражать вам.

— А что ж,— заметил Николай Петрович,— разговор интересный.— И разлегся на траве.

— То есть я согласен с тем, что вы высказали,— продолжал Герасим Ильич.— Но мне кажется, что вы все уводите в одну сторону. Вот у меня записано, сколько учителей, агрономов, трактористов, инженеров вышло из вашего села. Поразительно! Народ создал свою собственную интеллигенцию. У вас есть десятилетка. Но... один тополь. Понимаете? Один только тополь. Это же абсурд! Два дерева перед домом на улице, а не на усадьбе — и село изменится. Вокруг школы — сад: это уже красиво! То есть я хочу сказать, что одновременно с требованием улучшения материальной жизни, одновременно с повышением культуры полей надо учить народ жить культурно. Если этому помешала война и мешают ошибки, то это не может продолжаться долго. Будет лучше. Скоро будет. Верю! Дорогой мой! Коммунист обязан верить. Ведь так?

Но Филипп Иванович не успел ответить — помешал Николай Петрович.

— А я так скажу,— вставил он, ковыряя соломинкой в зубах.— Вы здорово поклевали друг друга. Ой, здорово! Культурно поклевали. А все-таки вы оба правы. Вам осталось только понять друг друга. А в чем соль? Да в том, что прошляпили мы, Филипп Иванович. Ты тоже виноват. Я тоже. Грязь же кругом невылазная. Вот и надо — и хлеба дать и денег... И тело мыть... и душу.

— Закончим мы вот на чем,— весело сказал Герасим Ильич.— Насчет агротехники договорились, насчет опытов договорились, а насчет деревьев — условие: в этом году посадить по два дерева перед каждой хатой. А там посмотрим. Я вам! — И он погрозил пальцем.

— «Команда дадена»,— провозгласил Николай Петрович.

— Вы не обиделись? — спросил Филипп Иванович у Герасима Ильича.

— А что ж: я ведь и действительно не так уж хорошо знаю народ. Я не стыжусь учиться у людей. Вот только резковато маленько. Ну да ничего! А сам-то принял на себя вину?

— Принял. «Прошляпили».

У вагона на станции Герасим Ильич сказал им обоим:

— Итак, друзья, буду у вас частым гостем. Не прогоните?

— Это как будет называться — шефство? — спросил Николай Петрович.

— Никак это не будет называться! Я просто полюбил и вас, Николай Петрович, и село, и людей.

— Ну, в добрый час!

По дороге со станции Николай Петрович говорил:

— Ну, брат, и профессор!

— Доктор наук, не шутка!

— Э, да не в этом дело! Доктор, доктор! Ум, а не доктор. Дураку хоть всю башку науками набей до отказа, все равно ветром выдует. А тут — ум... Ничего не скажешь — человек!

— Человек, — повторил Филипп Иванович в задумчивости.

— А главное-то в чем? Да в том, что он всей своей душой чувствует ответственность. А кто, спрашивается, возлагал на него эту ответственность? Никто. Только собственное сердце.

— Да. Собственное сердце и вера в будущее.

— Приехал он — и свежий ветер принес с собой,— заключил Николай Петрович.

Как бы там ни говорили они, а Филиппу Ивановичу было не по себе. Жаль было отпускать Герасима Ильича. И что-то еще тяготило его. Что именно — догадался не сразу. Наконец всплыла в памяти угроза Каблучкова: «С тобой разговор будет особый». Филипп Иванович напомнил об этом Николаю Петровичу. Но тот посоветовал односложно:

— Плюнь.

Всегда Николай Петрович умел находить короткие и мудрые решения жизненных вопросов, а тут ошибся, хотя и ободрил Филиппа Ивановича. Забыл он, что Каблучков — человек-ошибка, совсем не относящаяся к категориям тех, на которых мы учимся.

...А Герасим Ильич все смотрел и смотрел из окна вагона на пробегающие поля, на села и соломенные деревни. Он смотрел и думал. Думы его были беспокойными.

А в поле тянул свежий ветер, по пшенице ходили волны.

Глава одиннадцатая

●

КАБЛУЧКОВ В ДЕЙСТВИИ

●

Через несколько дней события развернулись неожиданно.

С утра Каблучков сидел в кабинете один. Он любил сидеть один, в полном убеждении, что он, Каблучков,— единственное лицо, думающее за весь район, за всех людей. Он ожидал, что его утвердят первым, был в этом уверен. У него не было даже подобия мысли, что он сидит не на своем месте. Более того, ему казалось, что почти все коммунисты района сидят не на своих местах, что надо их переставлять, перемещать, держать в строгости и подчинении. Это он, рассматривая «личные дела» коммунистов, придумал такие определния: «Ого! Уже два года на одном месте. Оброс. Заплесневел. Встряхнуть на другое место»; или: «Ого! Этот сросся с массами и идет

у них на поводу. Переместить!»; или: «Кого рекомендуют! Ни в номенклатуре не значится, ни наград не имеет. Отказать!» К Егорову все это не подходило. Значит, Егорова надо исключать.

Все материалы для этого мероприятия он подготовил. В одиннадцать часов вечера назначено бюро. Вызван Егоров. Вызван и Галкин как член бюро. Он сильно беспокоил Каблучкова: «Подведет, будет против».

Каблучков знал метод, который считал безошибочным. Это «метод предварительного опроса».

— Ты врага народа поддерживать не будешь? — спрашивал он у вызванного члена бюро.

— Не буду. А что?

— Ознакомься с «делом». И пойми, кто у нас сидит за пазухой.

Член бюро читал, знакомился и думал: «Три характеристики. Все доказано».

Но один из членов бюро, старый рабочий маленького ремонтного заводика, Морковин, повел себя иначе.

— Врага поддерживать будешь? — спросил Каблучков.

— Какого? — спросил и Морковин, по-нижегородски окая.

— Ну во-от тебе! Какого... Егорова!

— Егорова? Давно он перекинулся к врагам? — так же спокойно, поглаживая усы, продолжал спрашивать член бюро.

— На! Читай.— И Каблучков сунул Морковину «дело».

— Сядь вон в уголке и читай,— посоветовал Каблучков, приняв слова собеседника за чистую монету.

Морковин и правда уселся в углу и стал листать «дело», предварительно свернув «козью ножку».

Прошло полчаса. Морковин листал. Каблучков сидел в ожидании. Прошел час — позиция Морковина осталась прежней: сидел, молчал, шевелил листы «дела». Наконец Каблучков не выдержал, подошел и спросил:

— Ну как?

— Все правильно,— ответил Морковин, не поднимая головы, и продолжал смотреть в листы. Он даже рассматривал и оборотные, чистые, стороны: казалось, он не читал, а нюхал бумагу.

— Значит, как же? — настаивал Каблучков, уже раздражаясь.

— Все правильно, секретарь. Сочинено здорово.— Морковин наконец закрыл «дело» и подал Каблучкову.

— Значит, ты — за исключение? Голосуешь?

— Недельку бы подумать,— с деланной неуверенностью сказал Морковин.— Егорова-отца я знал, хороший человек. Филиппа тоже знаю. А вот видишь — враг. Как это так?

Каблучков забегал по кабинету.

— Так, так! — воскликнул он.— Значит, сомневаешься? На дорожку Галкина вышел. Потакать противникам партии собираешься? Ну что ж, подумай. И я подумаю.

— А правда, Каблучков, подумай-ка.

— Подумаю. И ты подумай.

— Подумаю. Подумаю.— Морковин встал, надел фуражку, повторил: — Подумаю,— и вышел из кабинета.

Каблучков открыл форточку, чтобы проветрить кабинет от махорки Морковина, увидел в окно его сутулую спину, медленно удаляющуюся в переулок, и сказал:

— Ох, уж это мне старичье!

А Морковин пришел домой, сел на пороге крыльца и задумался, опустил голову. Когда же жена, старушка, спросила: «Чего осовел?» — он ответил, невесело усмехаясь:

— Думаю. Каблучков дал команду — думать.

Так большая часть членов бюро была подготовлена «путем опроса». Двое были в отъезде. Галкина для личной беседы Каблучков не вызывал, знал, что с этим разговор будет там, на бюро.

Филипп Иванович и Николай Петрович получили вызов на бюро за два часа до начала. Они, не раздумывая долго, сели в «Москвич». Николай Петрович, сидя за баранкой, сказал, заканчивая какую-то мысль:

— Ну, кажется, теперь нас с тобой не за что ругать.

— А зачем же меня вызывают? Подобру так не бывает.

— Вот и я думаю: и ругать вроде не за что, а что-то Каблучков выкаблучивает.

Так они и не знали о повестке дня до начала бюро.

— Вопрос будет о Егорове,— объявил Каблучков.— Сообщаю материалы. На Егорова поступил материал от соответствующих организаций.

Он зачитал заявление Карлюка и Подсушки, не упомянув их фамилий, затем зачитал их же подтверждения,

уже назвав фамилии и должности. И стал задавать вопросы Егорову:

— Ты лично против травопольной системы земледелия или нет?

— Нет, не против. Но против шаблона в земледелии.

— Ну, против трав?

— Нет. Я за травы, но только там, где они растут.

— С оговорками, значит?

— Пожалуй.

— Ясно, товарищи! Егоров выложил нутро, но с оговорками.— И задал вопрос уже по следующему пункту: — Ты в Германии был?

— Был. В армии.

— И как ты думаешь,— с улыбочкой уточнял Каблучков,— немецкий образ жизни лучше нашего или хуже?

— Хуже. Позвольте! Я считаю эти вопросы провокационными. Я протестую! — загорячился Егоров.

— Ты постой, постой, Филипп Иванович,— успокоил Николай Петрович.— Надо все выслушать. Больше выдержки.

Николай Петрович и сам внутренне негодовал. Только он умел себя сдерживать.

— Не могу я быть спокойным, когда понимаю, о чем идет речь,— не останавливался Филипп Иванович.

— Товарищ Егоров! — грозно сказал Каблучков и перешел на вы: — Не командуйте на бюро! Иначе мы попросим вас вон! И решим заочно.

— А я протестую! Это нарушение партийных норм! — выкрикнул Филипп Иванович.— Вы минуете первичную партийную организацию!

— А я вас спрашиваю: вы на вопросы отвечать будете? Или нет?

— Отвечай! — почти приказал Николай Петрович спокойно. Но в его голосе звучала уже нота надорванности.— Иначе ты будешь бессилен протестовать после.

Руки Филиппа Ивановича дрожали, но он пересилил себя.

— Буду отвечать.

— Так вот, насчет образа жизни. Дороги, машины и тому подобное — как?

— Дороги у них лучше.

— Значит, нам надо у них учиться?

— Насчет дорог — да.

— Ясно, товарищи! — утвердил Каблучков.— Нам остается выяснить один вопрос: где ваш отец, товарищ Егоров?

— Умер,— ответил Филипп Иванович уже угрюмо и зло.

— Отчего умер, товарищ Егоров?

— От смерти, товарищ Каблучков. И я прошу не порочить моего отца.

— Не увиливайте. Я спрашиваю: был отец в плену? — И Каблучков обвел членов бюро взглядом, будто говорил: «Вот еще какие дела он скрывает».— Был или не был?

— Был,— выдавил Филипп Иванович.

— И оттуда не вернулся?

— Не вернулся.

— Все ясно, товарищи! Отец Егорова, Егоров Иван Иванович, остался в плену.

— Не издевайтесь! — крикнул Филипп Иванович.— Отец себя не запятнал! Он...

— Не кричите на бюро! — Каблучков стукнул пресс-папье о стол.— Вы секретарь или я? Не допущу анархии! — И совершенно неожиданно перешел на тихий тон (он так умел): — А на вопросы отвечать будете. Вы опорочили сельскохозяйственный институт в присутствии ответственных лиц, в областном городе. Считаете ли вы, что это достойно звания коммуниста?

— Вопрос казуистический,— ответил Егоров.— Не отвечаю.

Николай Петрович дернул его за полу, а вслух сказал:

— Надо отвечать.

— Ладно, отвечу, если смогу. Отвечу... Систему сельскохозяйственного образования надо перестраивать. Всю. Институты выпускают агрономов не таких... Оторванных от практики. Об этом должен думать и говорить каждый коммунист, работающий в сельском хозяйстве.

Филипп Иванович сел, обхватив голову руками, и больше не отвечал ни на какие вопросы.

— Все ясно, товарищи! — заключил Каблучков.

Но тут встал Николай Петрович. Помолчал чуть. Сказал:

— Думаю, что у нас создалась обстановка нездоровая. Мы обошли первичную парторганизацию — это во-первых. Мы обязаны проверить заявление на Егорова и другие материалы.

— Проверено. Точно,— вставил Каблучков, не отрывая взгляда от окна.

Николай Петрович сделал вид, что не обратил внимания на Каблучкова, и продолжал:

— Надо вызвать на бюро этих... как их... Карлюка и других. Убежден — здесь дело не обошлось без клеветы. Это во-вторых. И еще: у тебя, Каблучков, к Егорову личная неприязнь за то, что на партактиве он тебя прочесал вдоль спины. Помнишь? Только я прошу все это записывать. Так. А человек ты злопамятный. Так вот я и говорю...— Николай Петрович уже заметно волновался — все чаще и чаще покашливал в кулак.— Я говорю не для того, чтобы убедить присутствующих здесь, а для того, чтобы это было записано... для других. А там видно будет.

— Не грозись,— вставил Каблучков.

Но Николай Петрович снова не обратил внимания на реплику и продолжал:

— Я знаю Егорова хорошо. Сам он прошел от Сталинграда до Берлина. Два брата погибли. Отец... Отец, конечно, был в плену и там погиб... И вот, товарищи, все это сделано так, чтобы Егорова выбросить из партии, выбросить человека смелого и непримиримого, выбросить человека, знающего село и сельское хозяйство. И все это потому, что есть еще клеветники и есть еще люди, подобные тебе, Каблучков, люди, не понимающие, что такое партия, и попавшие случайно к руководству там, где нарушается демократия в партийной организации.

— Записать! — воскликнул Каблучков.

— Обязательно,— подтвердил Галкин.— Так и записать: верить в великую силу партии, а не в силу Каблучкова.

— Ложь!! — выкрикнул Каблучков.— Ложь не писать!

— Ты, Каблучков, не кричи. Не надо. Авторитет себе подрываешь. А меня этим не возьмешь, я уже тридцать лет в партии — и ты на меня не кричи. Я, брат, Ленина... видал... лично. В Смольном видал. Так что криком меня не возьмешь... Ну вот... Я считаю — дело передать в первичную организацию.

— А там будешь ты решать,— добавил Каблучков.

— Не я, а партийная организация.

Филипп Иванович сидел все так же, с опущенной головой.

В тишине неожиданно прозвучал голос Морковина:

— Присоединяюсь к Галкину.

— Ну-с,— начал Каблучков, видимо не считая нужным возражать Галкину и отвечать на его высказывание.— Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы Егорова Филиппа Ивановича за идеологическое разложение и за анархию в агротехнике исключить из партии? Кто за это — прошу поднять руки... Пять. Кто против? Два. Воздержались? Нет. Принято подавляющим большинством. Все ясно, товарищи!

Наступило молчание.

— Каблучков! — неожиданно прозвучал голос Галкина.

— А?

— Опомнись!

Каблучков покачал головой и сказал:

— Эх-хе-хе-хе! Устарели вы, товарищ Галкин. Стареете и отстаете. И ничего-то вы не понимаете.— И сразу же обратился к Егорову: — Товарищ Егоров! Положите билет на стол.

Только теперь Филипп Иванович понял, что случилось. Он должен положить билет члена партии. Тот самый билет, который сохранял в боях сухим, даже и в то время, когда сам был мокрым до нитки; положить тот самый билет, на котором, на уголке осталась капелька его крови, напоминая о многих погибших друзьях, о неведомом никому героизме отца. Положить этот билет! Это было не в его силах. Он стоял, сгорбившись, и держал в руке красную, дорогую сердцу книжечку. Стоял и не двигался. А Каблучков подошел, взял билет за уголок, слегка дернул его и вернулся с ним к столу.

— Не имеешь права! — крикнул Николай Петрович, не сдержавшись.— Это можно только в обкоме!

— Я знаю, у кого можно взять и у кого нельзя,— ответил Каблучков.

Филипп Иванович с трудом смог бы вспомнить, как он вышел из кабинета...

В «Москвиче» по дороге домой Николай Петрович и Филипп Иванович молчали. Было тяжко.

А у гаража, после того как загнали автомобиль, Николай Петрович сказал:

— Ты не того... Не падай духом. Не теряй веры... в партию.

Филипп Иванович крепко пожал руку Галкина, долго

держал ее в своей, будто прощаясь навеки, и тихо произнес:

— Спасибо... друг! — И пошел в темноту.

Было два часа ночи.

Филипп Иванович не пошел домой. Он прошел село и пошел между двух полей — справа пшеница, слева картофель. Шел и шел. Потом остановился, посмотрел в темноту. И вдруг упал ничком в картофельное поле... Прижался щекой к мягкой земле и заплакал горько, безутешно.

Ночь была темная-темная! Тучи закрыли небо. Надвигался дождь. Где-то вдалеке сверкнула молния.

А в поле одиноко плакал человек, царапая скрюченными пальцами любимую землю.

Николай Петрович пришел домой. Поужинал через силу. Ел просто потому, что считал — есть надо обязательно. Так колхозница, похоронив дорогого человека, не забывает вынуть хлебы из печи.

И вдруг ему пришла мысль: «Малый-то он горячий. Как бы чего не сотворил с собой». Он встал из-за стола, не допив молока, и вышел.

Тихонько постучал в окно. Дверь открыла Любовь Ивановна, жена Филиппа Ивановича.

— Дома? — спросил Николай Петрович.

— Нет. А что? Он же с вами поехал.

— Дело-то какое,— замялся Николай Петрович.— Неприятность вышла.

— Не томите! Скорей скажите! — вскрикнула Любовь Ивановна.

— Не надо так волноваться. Все обойдется... Из партии исключили... Ну вот... куда-то ушел.

Любовь Ивановна потащила за рукав Николая Петровича в комнату. Она зажгла лампу, разбудила Клавдию Алексеевну. Она забыла, что стоит перед Николаем Петровичем без кофточки, и тихо плакала, без всхлипываний и причитаний — просто катились непослушные слезы.

— Что же это такое? — спрашивала мать не то сама у себя, не то у Николая Петровича. Она смотрела в пол, скрестив руки на груди и ссутулившись.— Где он?

— Ушел из гаража домой. Поискать бы надо...— А внутренне Николай Петрович ругал сам себя: «Вот



я какой старый дурак! Человека в беде отпустил». И добавил: — Может, он в саду?

— Мама! Не в клети ли он лег спать? Не хотел нас будить и лег там.— Любовь Ивановна вышла из хаты, но сразу же вернулась и закричала: — Пойдемте! Поищем!

— Не кричи, Люба,— строго сказала мать.— Пойдем, девонька. Спасибо тебе, Петрович.

— Может, и мне с вами?

— Не надо. Побудь тут, может, без нас придет... Если надо, кликну сама.

Шли они молча. Материнское чутье подсказывало: «Если ушел от гаража домой, то прошел мимо хаты, значит, так и пошел в поле, пошел прямо и прямо — горе не даст кривулять. А если шел прямо и прямо, ничего не случится. Когда человек идет прямо — выдержит».

— Ничего не случится,— сказала она вслух, подтверждая свою мысль.— Не горюй, Люба. Обойдется.

Светало. Филипп Иванович сидел сбоку дороги в картофеле и смотрел на зарю, положив подбородок на колени. Тут и увидели его мать и жена.

Он сидел к ним спиной. Любовь Ивановна упала ему на плечо и говорила:

— Филя! Не надо так. Надо держаться. Правда сильнее, Филя.

Николай Петрович после ухода женщин, с рассветом, пошел в сад, спустился к речке, постоял там и вернулся на крыльцо Филиппа Ивановича. Он сел и задумался, наклонив голову. Казалось, дремал. Но он думал. Это была не первая его бессонная ночь — их было много, беспокойных и трудных бессонных ночей. Солдат революции, Галкин всегда думал, жизнь многому его научила. Взвесив все, он решил: Филипп Иванович вернется. И еще думал он о Каблучкове и о многом ином. Не перечислить всего, о чем может думать человек, отдавший всю свою жизнь народу, партии. С тех пор как он взял в руки винтовку, еще молодым рабочим, ни один день не принадлежал ему лично.

Николай Петрович услышал шаги, поднял голову и улыбнулся.

Филипп Иванович спросил:

— Испугался?

— Не то чтобы испугался, а...

— Зря. Не веришь мне?

— Как тебе сказать?.. Человек же ты... Может струна лопнуть. А натянулась она донельзя.

— Ну, пойдем в хату. Люба! Достань нам поллитровку. Спать надо. А так — не уснем,— сказал Филипп Иванович.

Он умылся. Сел за стол против Николая Петровича. И тот заметил в осунувшемся лице Филиппа Ивановича что-то новое: за ночь появилась еще морщина на лбу, но во взгляде выросла уверенность. Казалось, он постарел сразу на несколько лет, и Николай Петрович подумал: «Сам себе душу вытряс».

— Так что выдержишь? Вытерпишь? — спросил он.

Филипп Иванович кивнул головой и налил в стакан водки.

— Вот этого-то и не надо бы,— возразил Николай Петрович.

— Надо,— твердо сказала мать.— И — спать. Спать. Помогает.

— Ну что ж сделаешь, надо так надо. Не за горе, а за надежду! — Николай Петрович выпил залпом.

Они поели. Посидели немного молча. Обе женщины вышли, оставив двух мужчин наедине.

— А это уберем,— сказал Николай Петрович.— Пить больше не будем.

Филипп Иванович заткнул бутылку пробкой и поставил в шкаф.

— Может, и еще год постоит... До следующей «надежды»...— проговорил он, отходя от шкафа и снова садясь против Николая Петровича.

— Ну что ж, вера в тебе есть, сила в тебе есть — устоишь. Выдержишь.

— Трудно, друг! — Филипп Иванович поник головой на руку, лежащую на столе.— Обидно и... тяжко.

— Ну потужи, потужи... Помогает, если выскажешь. А если есть слезы — поплачь: легче, говорят.

— Нету слез. И не нужны они. Я их сегодня... последние за всю жизнь. Уже нет их. И не будет. Осталась злоба...

— И это надо. Человек, если он не умеет ненавидеть, не умеет и любить. Все это правильно. Бой только начал-

ся. Подтянись. Успокойся. Я, брат, тоже и падал и вставал, был битым и сам бил. Все было. А кажись, правду всегда чуял.

— Я вот надумал сегодня там, в поле: правда в народе: Мы с тобой слышим эту правду. И можем выдержать любое горе.— Он помолчал, потом открыл сундук, порылся в нем, достал конверт и подал его Николаю Петровичу.— Читай. Об этом письме ты знаешь, а читать и тебе не пришлось. Мать говорит: «Читай и помни, как надо жить».

Николай Петрович вынул из конверта письмо, развернул его, надел очки и стал читать про себя. А Филипп Иванович смотрел на друга. Письмо было написано не очень грамотным человеком, корявым почерком, поэтому быстро его прочесть нельзя.

«Письмо к Егоровой Клавдии Алексеевне.— Так начиналось оно.— Пишет вам из плена солдат Степан Федотыч Чекушин. Еще кланяюсь вам, супруга моего товарища, Клавдия Алексеевна. И еще кланяюсь вашим детям, каких я тоже не знаю. И еще кланяюсь вашим родным и всем родным Ивана Ивановича Егорова. И еще кланяюсь председателю вашего колхоза. И пусть они все узнают, как по-русски помер Иван Иванович. Сам я из Пензенской области, и скоро мне помирать. А идет завтра ночью один человек из плена, убегает, а я ему даю это письмо и говорю ему, чтобы письмо было пущено на первой почте, если проберется к своим. Это я вторично пускаю письмо. Мне скоро помирать, а люди и не узнают, что было. А еще одно письмо зашито у меня в картузе: как помру, то мой картуз наденет другой товарищ, а если он помрет, то наденет третий. Так что кто-нибудь да останется жив, а картуз не пропадет и люди все равно узнают, что было. Я, наверно, остался один из тех, кто был со мной в части, а тут, в лагере, помру я обязательно, так что есть нам почти не дают, а с красной свеклы мы все не выдерживаем и начинаем пухнуть и хворать, а потом все равно помираем. И нам не страшно помирать.

А было все так.

Наш полк бился три дня и три ночи, а кругом были немцы. Осталось нас человек пятьдесят, а то и того не будет. И больше все раненые. И майор с нами пока был, товарищ Зиновьев, а других командиров побили в бою.

И тот майор был поранен в голову, его перевязали без сознания, а командовать стал молоденький лейтенант Степин, и его тоже убили. А потом стал командовать старшина, но у нас кончились боеприпасы, не было ни снарядов, ни патронов.

Со мной рядом стоял Иван Иванович Егоров, ваш муж и мой товарищ до гроба. Я был поранен в грудь, а он в плечо. Так мы и попали сюда в лагерь.

Прошло полгода. Рана у Ивана Ивановича зажила. И стал он тосковать. Один раз он мне говорит: «Убегать надо, Степа. Не могу я тут быть». А куда мне убегать, говорю ему, если я уж и подняться не могу. Он тогда и говорит: «Брошу я тебя, Степа. Не осуди». И стал он собираться. А через месяц, темной ночью, он мне сказал: «Прощай, Степа. Прощай, говорит, друг мой боевой. Если от лагеря не уйду, то напиши, говорит, по адресу письмо Клавдии Алексеевне». Ну, думаю, на смерть пошел.

А утром все увидали: повис Иван Иванович на колючей проволоке. И висел он так весь день. Не давали убирать для устрашения. Так и пропал мой друг.

А в лагере я живу уже больше года. Все мои однополчане тут пропали. Так что один я, должно быть, остался от всего полка. А потому и должон стоять, пока живой.

И еще кланяюсь вам, Клавдия Алексеевна, и прошу вас не плакать. А как вы поймете наши страдания, то не будете плакать. Так что нельзя плакать над героем вашим Иваном Ивановичем. Пущай же дети наши и наши внуки будут знать, как надо жить, чтобы спокойно было умирать, и чтобы они знали, какие были люди, такие, как мой друг дорогой Иван Иванович Егоров, рядовой девятьсот пятьдесят пятого полка.

А я скоро помру обязательно. Так что письмо это пишу через силу. Но соображение еще не потерял. Прощайте. Кланяюсь вам земно. Пущай люди помнят Ивана Ивановича.

А по вот этому адресу напишите моему сыну письмо, что я помер в плену. И пусть он помнит о тяжкой доле пленных, погибших за Родину. А жена моя померла в войну, остался один сын восемнадцати лет. Может, и он теперь в солдатах. А письмо напишите, так что я уже не в силах написать.

И прошу я, перед смертью, прощения у всех родных русских людей, что не на поле брани приходится гибнуть, а на нарах и хуже скота. Рана моя и болезнь, а то бы я все равно убег. А вам и вашим детям желаю доброго здоровья и в хозяйстве благополучия, и быть вам желаю всегда сытыми, обутыми и одетыми.

Прощайте и не осудите, добрые люди!

Девятьсот пятьдесят пятого полка рядовой Степан Чекушин.

Одна тыща девятьсот сорок третьего года, а числа не помню».

Филипп Иванович все смотрел на Николая Петровича. А тот кончил читать, посмотрел на Филиппа Ивановича, заморгал-заморгал, снял очки, встал из-за стола, отвернулся и, проведя пальцем по глазам, сказал:

— Глаза что-то... Вот уж некстати...— Он и здесь сумел сдержаться, этот сильный духом и спокойный с виду человек.

Он снова сел, побарабанил пальцами по столу, задумался. Потом спросил:

— Сыну-то писали?

— Мать писала. Вернулось письмо: адресата не оказалось.

— Распалась семья, значит?

— Распалась.

И снова они помолчали. И снова начал Николай Петрович:

— Отец-то коммунист?

— Да. Бригадиром работал.

Они еще помолчали. О многом надо было поговорить, и все-таки разговора не было. Бывают такие моменты в жизни, когда надо помолчать, осмыслить происшедшее в самом себе, внутренне уложить в порядок пережитое. Только после этого появляется снова ясность мысли и четкость ви́дения.

Перед уходом Николай Петрович сказал вопросительно:

— А может быть, мы с тобой кое-что еще и не знаем?

— Наверное,— ответил Филипп Иванович.

— Тогда вот что: спать, Филипп Иванович. Спать! А потом подумаем.— Он отошел, взялся за ручку двери и еще раз повторил: — Спать.

Глава двенадцатая

●

ОКЛЕВЕТАННЫЙ

●

Говорят: у клеветы длинный язык, но короткие ноги. И все-таки как иногда далеко доходит она этими короткими ногами и как больно жалит сердце честного человека своим длинным языком-жалом. Еще хуже, когда человек не имеет возможности опровергнуть клевету. Тогда она оставляет саднящую рану надолго, иногда на всю жизнь.

Тяжко было Филиппу Ивановичу. Но близкие люди делили с ним горе — он не был одинок. В семье незаметно шло тепло от матери, но ему было жаль мать, перенесшую и без того слишком много горя; он чувствовал ласку жены, но ему было больно от одной мысли — как он скажет сыну, Коле, об исключении из партии, поймет ли мальчик; он с благодарностью думал о друге Николае Петровиче, но ему было не по себе оттого, что, не раз битый за прямоту, его друг может оказаться битым и еще раз,— ведь после всего происшедшего Каблучков при первом же случае отстранит того от должности председателя колхоза. И еще Филиппу Ивановичу тяжело было думать о том, что колхозники могут не понять причины исключения его из партии.

С такими мыслями он и встретил следующий день.

С утра пошел в правление колхоза. Ничего не делать он не мог. По привычке он договаривался с Васей Боевым о работах на сегодняшний день, говорил о предстоящей уборке с бригадирами, отчитал их легонько за медлительность в подготовке уборочного инвентаря. День начинался обычно. Вася, помимо прочих претензий о прицепщиках, о подвозе горючего, сообщил, что Рюхина Пал Палыча нет на работе второй день: говорят, будто заболел.

Николай Петрович, поспав пару часов, уже уехал на луг и на огород: он тоже продолжал жить размеренной жизнью, в которой нет места безделью и бездумности. Колхоз продолжал жить так, будто вчера и не произошло особого события. Только отсутствие возражений со стороны бригадиров, их сочувственные взгляды с оттенком неприятной Филиппу Ивановичу жалости да особая по-

чтительность конюхов говорили о том, что случилось. Молва пронеслась быстро. Но Филиппу Ивановичу хотелось быть среди этих людей, несмотря на то, поймут ли они случившееся или не поймут. Вспомнив о болезни Пал Палыча, он пошел его проведать. И там, у Пал Палыча, он тоже понял, что в его семье все идет своим чередом. Но одна деталь запала ему в душу.

Он вошел во двор Пал Палыча через калитку. Как всегда, хозяин был занят делом: сидел на коленях перед дровосекой и обтесывал топором высокую палку с рогулькой на конце. Рядом с ним лежала собака-дворняжка. Он и у себя во дворе оставался таким же степенным, медлительным, скупым на разговоры.

— Здорово, Пал Палыч! — приветствовал Филипп Иванович.

Тот оглянулся, посмотрел внимательно и только тогда ответил, снова продолжая работу:

— Здорово.

— Заболел, что ли?

— А что?

— Говорят мне — два дня на работу не выходил.

— А-а...

— Или что случилось другое?

— Не. Болею. Грып.

— Лежать надо.

— А?

— Лежать, говорю, надо.

— Гм... Попробуй полежи без дела два дни.

— А болит?

— И кости... И голова.

— Лечишься?

Пал Палыч сначала кивнул на дверь хаты, а уж потом, более тихим голосом, чем прежде, сказал:

— Попробуй у нее... полечись! Вона-а!

— У кого?

— Да разве ж моя баба даст полечиться по-человечески? Ни в жисть!

— Не понимаю!

— А тут и понимать нечего.— Пал Палыч воткнул топор в дровосеку, внимательно посмотрел на собаку, и, кажется, улыбка мелькнула у него в усах.— Я знаю, что от грыпа — красный перец, стручок на два стакана водки, и — на ночь. Все! Как рукой.

— А в чем же дело?
— Куда та-ам! Одно пилит: «Клюцекс пей».
— Что?
— Клюцекс.
— А-а!.. Кальцекс!
— Ну пущай так. Пустяк, а не лекарство. Раз нутренность не берет — не лекарство... Не понимает, а пилит, и пилит, и пилит...
— Небось под горячую руку говоришь-то?
— А я тебе так скажу...— Пал Палыч почесал висок, надвинул козырек на глаза и указал на собаку.— Видишь — собака?
— Ну?
— Она лучше иной бабы. Ей-бо! Собака на хозяина не лает.
— Да в чем у вас дело-то? Не пойму,— снова недоумевал Филипп Иванович, пожимая плечами.
— Ей, вишь, рогульку надо — веревку подпирать, когда белье сушить.
— Ну?
— Дак вот и брешет.
— И давно так-то?
— Да уж... с полгода будет.
— Ну и сделал бы.
— Вот... видишь... делаю.— И он снова стал затесывать сучья и кору у рогульки.— Если бы не заболел, так бы и не сделал до зимы. Некогда мне, кажин день на работе. Ишь ты! Я буду рогульку делать, а трактора будут стоять. Интересно!

Пал Палыч тесал, Филипп Иванович смотрел, как ловко он орудует топором. Не сразу пришла мысль: была война — Пал Палыч возил к тракторам воду днем и ночью; прошла война — он делал то же самое, только воду возил; давали по кило на трудодень — Пал Палыч ежедневно работал; давали по триста граммов — он делал то же самое. И так каждый день. Ежедневно, начиная с ранней зари и до поздней ночи. А на натруженных руках выступили хрящеватые мозоли. Замызганные брюки лоспились на нем от солнца, а картуз неопределенного цвета, пропитанный всеми составами земли, воды и керосина, тоже блестел, закрывая глаза владельца. Почему-то пришло в голову Филиппу Ивановичу: «Поделиться с ним своим несчастьем. Рассказать. Вряд ли люди, руководящие кол-

хозом, доносили до Пал Палыча свою душу. И главное: что он скажет? Как примет?» Подумав так, он сказал:

— Не слышал, Пал Палыч, новость?

— Ай опять мериканец ватомную бомбу разорвал где? — Пал Палыч закончил свою рогульку, воткнул ее в землю, закурил и подал кисет Филиппу Ивановичу со словами: — На-ка, закури.— Видимо, он приготовился слушать новость международного масштаба.

— Нет, не бомба. А тут дело такое: из партии меня исключили.

— Как это так — исключили?

— Ну как? Исключили, и все.

— Непонятно. Насчет водки — ты не замечен. Насчет баб — никогда не слыхать. В поле — порядок, вот-вот, глядишь, и на трудодень дадут, как у людей. Кормов у нас сроду, спокон веков, столько не было. Непонятно, за что же это?

— Наклеветали на меня, Пал Палыч.

— А разве ж можно из партии выгонять по навету?

— Нельзя.

— Ну, значит, все и обойдется. А ты знаешь как? Собери общее собрание колхоза и расскажи все по душам. Да позови секретаря райкома на собрание-то. А мы там и скажем, можно иль не можно.

— Этого я сделать не могу. Нельзя.

— Это как так — нельзя? Надо бы спросить и у нас. Как, мол, товарищи колхозники, заслуживает такой товарищ или не заслуживает? Отчего не так, мы в этом деле поможем им разобраться.

— Нельзя,— повторил Филипп Иванович.

— А чего же можно? Ну тогда надо жаловаться. Пиши. В центр пиши. Нельзя, дескать, выгонять, кого народ уважает...

— Как, как? — спросил Филипп Иванович.

Но Пал Палыч пояснять не стал, видимо полагая, что он сказал достаточно ясно. Но добавил:

— И можно бы написать еще: нам, мол, говорят: «Работай!», а спрашиваться у нас — ни капельки! А ведь твой Каблучков не высидит пшеницы этим самым местом.— Пал Палыч показал ладонью, каким местом не высиживают пшеницу, и утвердил окончательно: — Так и напиши. Понял? Не об одном себе пиши. Обо всем пиши. Вот и поймут — не о себе болеешь. И опять примут обратно.

Такая разговорчивость была для Пал Палыча необычной. Что-то прорвалось у него внутри, о чем-то он и раньше думал, а теперь вот говорит и говорит, хотя высказывается так же не спеша, как и всегда.

— Не о себе пиши. Обо всем пиши,— в раздумье повторил Филипп Иванович.

— Потому о себе только — довольно совестно,— уточнил Пал Палыч.

На крыльцо вышла его жена, низенькая полная и боевая старушка.

— Лукерья! — окликнул ее хозяин.— Принимай работу. Замеряй и клеймо ставь.— С этими словами он взял рогульку и потряс ею в воздухе. Потом попробовал встать, но не мог разогнуть спины. Он охнул, схватился за поясницу и проговорил тихо: — Чертов грыш! Взял все-таки. Не осилил я его.

Филипп Иванович поздоровался с хозяйкой и стал «помогать» Пал Палычу:

— Лукерья Васильевна! Напрасно вы возражаете против домашнего лекарства. Говорят, помогает.

Она подошла, осмотрела рогульку и сказала:

— По медицине надо следовать. У нас сын фельдшер, на Дальнем Востоке.

— Ну, слухай, Лукерья! Если уж точно по медицине, то так: штуки две-три клюцексу и стакан водки с перцем.

— А мне-то что? Да пусть себе пьет. Там — в сундуке,— сказала она так, будто отвечала одному Филиппу Ивановичу.

— А что ж: моя баба сто сот стоит. Мы с ней — душа в душу.— Пал Палыч, видно, признавал над собой власть жены и в общем-то не очень тяготился этим.

...Обратно Филипп Иванович шел быстро, хотелось поскорее увидеть Николая Петровича. Шел и думал: «О себе только совестно. А я-то вчера только и думал о себе». Шел, а из головы не выходило: «Обо всем пиши. Вот и поймут».

Николая Петровича он встретил, улыбаясь. Тот даже удивился, ожидая угрюмости и, может быть, отчаяния.

— Ну как? — спросил Николай Петрович.

— Во! — ответил Филипп Иванович и показал большой палец.— Я еще не последний солдат из полка. Полк цел. Будем драться.

— Оно так-то лучше. Ну пойдем в кабинет.

И они вошли в правление.

— Главное дело,— продолжал Филипп Иванович,— написать обо всем! Писать о нарушении демократии, о положении колхозов, об агротехнике и шаблоне. Писать все: поймут.

— Что ж, это верно. Но знаешь, что тебе скажу? Получается у нас с тобой по русской пословице: «Гром не грянет — мужик не перекрестится». Пока тебя не ударили, мы тоже охали, ахали, молчали, шептались, а не писали, не протестовали.

— Значит, надо нам исправить нашу линию! Драться по-партийному!

— Ну, давай, выкладывай, что надумал.

— Ты видишь, что в сельском хозяйстве неблагополучно, что в районной партийной организации неблагополучно? Видишь. И я вижу. И другие члены партии видят. Значит, партия видит. Понимаешь? Надо писать прямо в Москву.

— Пожалуй.

— Если даже меня и восстановят в партии, то все равно надо писать... О каблучковых, карлюках, чернохаровых, о земле, о колхозниках. Теперь я уже не могу. Злоба у меня.

— Правильно. Писать. Но не очертя голову, а с разумом. Не лбом пробивать, а мозгом.

— Ну, советуй! Николай Петрович, советуй! — сказал Филипп Иванович.

— Дай подумать. Подожди чуть... Не возражаю, готовь письмо постепенно, все давай взвесим... И дай подумать. И сам подумай. Дело-то большое. Надо сказать слово члена партии, и не обиженного. И действуй по уставу: подавай жалобу в обком на неправильное исключение. Сам поеду туда, повезу твою жалобу... Да и со старыми друзьями надо повидаться. Там есть люди поумнее нас с тобой.

И Филипп Иванович согласился с доводами Николая Петровича.

Прошел месяц. Николай Петрович вернулся из области угрюмым, молчаливым. Он не пошел к Филиппу Ивановичу, а дождался его у себя дома. Закрыл окна и ходил по комнате в полусумраке.

— Плохо дело? — спросил Филипп Иванович.
— Плохо.
— Утвердили решение бюро?
— Утвердили.
— Что еще нового?
— Секретаря обкома переводят в другую область.
— И что же?
— Каблучков остается на неопределенное время.
— Да-а... Вот это да-а...— протянул Филипп Иванович.— А что говорят умные люди?

Николай Петрович перестал ходить. Он остановился перед Филиппом Ивановичем, засунул руки в карманы пиджака и сказал:

— Езжай в Москву. Надо попасть в ЦК. Во что бы то ни стало попасть. Живи там неделю, две, три! Но попади и отдай письмо. Надо донести мнение рядовых членов партии о положении в сельском хозяйстве... Вечером приходи. Принеси письмо — еще раз подумаем.

Глава тринадцатая

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ

На другой день Филипп Иванович получил приказ Карлюка. В приказе говорилось: «Егорова Филиппа Ивановича освободить от работы по причинам, сформулированным решением бюро при исключении из партии».

Филипп Иванович пошел в правление, положил перед Николаем Петровичем приказ и сказал:

— Из партии исключен, с работы снят, что и требовалось доказать. Я свободен — можно ехать в Москву.

Николай Петрович прошелся по кабинету, постучал пальцем по барометру, потом подошел к окну и посмотрел в небо. Густые кучевые облака лезли с юго-запада всклокоченной ватной стеной.

— Видишь? — спросил он у Филиппа Ивановича.— Будет дождь.

Филипп Иванович тоже стал у окна и посмотрел в небо. Они стояли рядом, плечом к плечу. И молчали. Потом Николай Петрович сказал:

— Уборка только началась. Осень, по всем приметам, ожидается дождливая. Что я буду делать без агронома?

— Пришлют,— коротко ответил Филипп Иванович.

— Кого? Девочку со школьной скамьи? Ей еще надо годика два-три, чтобы понатореть — понять, узнать людей, почву, поля. Практика, брат ты мой, великое дело.

— Но я-то тоже был молодым,— возразил Филипп Иванович.

— А что ж, думаешь, не ломал дрова в поле?

— Ломал, конечно. Ошибался до смешного. Но это ничуть не значит, что от молодого агронома надо открещиваться.

— И это правда... Видишь ли, к чему я это все говорю,— обожди-ка ты... недельки две с поездкой в Москву. Может, хоть зерновые кончишь. А? Что ты на это скажешь?

— А это? — спросил Филипп Иванович, указав пальцем на приказ об освобождении от работы.

— А что тебе «это»? Лишен зарплаты — больше ничего. Это тебе не завод и не фабрика.

— Не понимаю,— недоумевал Филипп Иванович.— Есть-то мне и семье что-то надо?

— Обязательно.

— А к чему тут завод или фабрика?

— Очень просто. На заводе приказ об освобождении от работы есть запрещение работать на данном заводе, а не только лишение зарплаты. А в колхозе запретить работать никто не имеет права, кроме общего собрания. Ты колхозник. Зарплаты тебя лишили...

— Значит?

— Значит, надо переходить на трудодни.

— Прицепщиком разве? — серьезно спросил Филипп Иванович.

— Зачем прицепщиком?.. Полеводом. Обыкновенным полеводом, на полтора трудодня за день. Решим на общем собрании и — закон.

Филипп Иванович улыбнулся.

— Так-таки и не хочешь отпускать?

— Пожалуйста, уходи в другой район, агрономствуй,— развел руками Николай Петрович, зная, что Филипп Иванович никуда не уйдет.— Письма будешь мне писать, а я буду отвечать с запозданием. Одному мне будет не до писем.

— А я буду телеграммы слать с оплаченным ответом.

— А я тебе на оплаченные телеграммы — плачевные ответы.

Филипп Иванович вспомнил разговор с Пал Палычем и тряхнул головой.

— Все! Кроме шуток — иду на трудодень. В самом деле, к черту этот приказ! Порвем?

— Порвем,— согласился Николай Петрович.

И Филипп Иванович тут же разодрал бумажку на несколько частей.

Вошел почтальон, положил газеты на стол и вышел. Николай Петрович развернул газету, пробежал глазами и, не выпуская ее из рук, выскочил из-за стола.

— Филипп Иванович! — вскрикнул он.

— А ну? Что?

Оба облокотились на стол и плечом к плечу наклонились над газетой. Оба сразу прочитали одновременно: «На днях состоялся пленум ЦК КПСС. Постановление... принятое седьмого сентября» Потом в комнате было тихо. Долго было тихо. Наконец оба выпрямились, радостно посмотрели друг на друга и крепко пожали руки.

Они согласились на том, что Филипп Иванович задержится с поездкой в Москву «недельки на две». Да и сам он теперь считал, что в его письме еще не все сказано, что надо еще и еще над ним думать, дополнять, исправлять.

...Пришла осень. Давно уже прошли те самые «недельки две». Уборка, хлебосдача, осенний сев, зябь, силосование кормов — все это в колхозе идет одновременно. И все надо успеть сделать вовремя. Помимо того, Филипп Иванович убрал урожай на опытных делянках, заложил опыт с озимой пшеницей по трем видам паров. Он рассчитывал в конце сентября отправиться в Москву. Но... пошли дожди.

Что такое дожди в сентябре для колхоза?

В поле стоит неубранным красно-бурое просо, тоскливо поникая метелками; стоит огромное, в триста гектаров, поле подсолнечника; лежит в земле картофель. И ни к чему нельзя прикоснуться: комбайны не могут даже стронуться с места, а не то чтобы косить; из жидкой грязи не выпашешь картофеля. Ветер ломает просо, и на глазах урожай уходит обратно в землю. Шляпки подсолнечника начинают загнивать, пораженные болезнью — склероци-

нией. На токах лежат вороха зерна под открытым небом. С неба — дождь. А из района телефонограммы: «Не обеспечили уборку», «Не выполнили в срок план поставок», «Срываете план хлебозакупок», «Тянете назад весь район» (каждому колхозу), «Будут приняты строгие меры»... И так далее. А хлеб гибнет, не подчиняясь строгим телефонограммам. И душу председателя колхоза уже не тревожат телефонограммы, не оставляют следа бессмысленные в такое ненастье прения на бюро насчет погоды. И не очень-то тревожит ожидание неизбежного «предупредить», или «поставить на вид», или «вынести выговор». Что сделаешь с погодой! Поле — не завод. А небо — мутно-серое, тревожно-косматое — остается небом. Из него то через мелкое сито сыплется водяная пыль, то льет и хлещет косыми веревками густой ливень, оставляя пузыри на лужах. Кажется, кто-то заквасил землю и небо и пучит их пузырями.

И холодно! Холодно сидеть в поле под комбайном, прикрываясь соломой. Только и остается — зарыться в мокрой копне поглубже и попробовать еще раз спать. Дрожко! Очень дрожко сидеть женщинам на току, в вагниках, прижимаясь друг к другу молча в ожидании погожего часа. Очень муторно жить в эти дни трактористу в дощатой будке и посматривать на обмытые дождем безмолвные тракторы, на гусеницах которых уже прилепилась легкая ржавчина. А дождь идет. Ползет туча за тучей, туча на тучу. Льет вода сверху на воду снизу. Мокро. Холодно. Сиверко. Жалко хлеба. Так жалко, черт возьми, что хочется грозить кулаком в небо... Мрачные мысли. Зачем скрывать — тоскливо в такую осень! Это не золотая осень, воспетая много раз, это мокрая ранняя осень, от которой человек со слабой душой и беспокойным сердцем может махнуть рукой, плюнуть и — черт бы все побрал! — запить горькую, пока не проглянет солнышко. Недаром в такую погоду самогонщики работают с полной нагрузкой.

Скользко. И темно. И дождь все идет, идет и идет. Хлеб гибнет.

Вот что такое ранняя дождливая осень в колхозе.

В такие-то вот дни Николай Петрович даже почернел от забот и холодной слякоти. Но на бюро постоянно хмуро молчал или коротко говорил: «Постараемся...», «Будем прилагать все силы...», «Выправимся...»

Однажды при снятии очередной «стружки» Каблучков сказал:

— Умышленно задерживаешь хлеб. Пригрел под крылышком исключенного Егорова.

На этот раз Николай Петрович получил выговор, принял его молча и уехал снова под дождь. Филиппу Ивановичу он об этих словах Каблучкова ничего не сказал — пожалел.

А Филипп Иванович схватывал любой погожий час, мотался верхом по полям и токам, в плаще, севшем коробом. Он скакал в отряд и направлял трактор на склон или супесь, где можно было помаленьку пахать, и простуженным голосом хрипел:

— Вася! Будь другом, паши в десятом. Супесь — пойдет. Отними один корпус, облегчи. Иначе дело табак. Не управимся с зябью, тогда на будущий год — зубы на полку.

— А куда будем девать перерасход горючего? — спрашивал кто-нибудь из трактористов.

— Натягивайте на других работах, но зябь чтобы была. Как вы не поймете простой вещи! Вот этот хлеб,— он указывал на просо,— подготовлен в прошлом году вами же, хорошей зябью. Ребята, не надо серчать. Прошу.— Он подсаживался к самому молодому трактористу, Сереже, запросто обхватывал его за плечи и спрашивал:— Ну? Понатужимся?

— Понатужимся,— отвечал тот баском.— Раз надо, значит надо.

— Понятно? — обращался уже ко всем Филипп Иванович и улыбался.

И трактористы знали, что этот простуженный агроном с потрескавшимися губами, обросший щетиной, не будет говорить много и долго, но уедет из отряда только вместе с трактором и будет проходить с ними первую борозду, пока не убедится, что на супеси пахать можно.

Филипп Иванович пробовал — регулировал глубину, отнимал вместе с трактористом и прицепщиком корпус и торопил, торопил:

— Хватайте каждый час. В день по два-три часа урвать — за неделю наберется двадцать часов, а это целых три смены. А глубину на супеси больше шестнадцати сантиметров и не надо. Неглубокая зябь лучше всякой весновспашки.

— А нам было указание — на двадцать пять,— говорит Сережка.

— Ну тут уж моя ответственность. В случае чего, так прямо и сваливай на меня. Мне теперь не страшно.

Как-никак, а Филипп Иванович «выбивал» за неделю тридцать — сорок гектаров зяби. «Нельзя уехать, пока зябь не будет закончена»,— думал он, отъезжая от тракторов. И скакал на ток: скорее, пока дождя нет!

На токах он действительно «тормозил». По его настоянию и совету работа «в солнечных просветах» была сосредоточена на одном току из четырех.

— Не трогать ворохов! — хрипел он натуженно.— Зерно промокнет только сверху. А тронь ворох, перемешай — пропало все.

И он ехал с несколькими колхозниками на три других тока, показывая, как надо окопать ворох канавкой и отвести сток, чтобы вода не подошла снизу. Он запретил накрывать эти вороха соломой, так как заметил, что под мокрой соломой зерно запаривается в глубину быстрее. А уезжая с токов, думал: «Нельзя уехать из колхоза, пока не сохраним зерно».

На том току, где сосредоточена основная рабочая сила трех бригад, «солнечные просветы» использовались так. Филипп Иванович расставил живой конвейер от ворохов до сарая: сверху, с одной стороны вороха, удаляли мокрое зерно, брали сухое ведро, и из рук в руки оно шло в сарай, к веялкам. Навеянное отвозили в зернохранилище на тракторе (автомобили не проходили по грязи). Как только находил дождь, ворох заравнивали, работа прекращалась и все снова сидели. Часто проходил в мучительном безделье колхозников весь день. Но с поля уходить нельзя — вдруг выпадет час. И снова Филипп Иванович убеждался: «Уехать в Москву сейчас нельзя».

А Николай Петрович изворачивался и возил хлебопоставки, возил помаленьку, но систематически. Пять-шесть подвод, запряженных тройками, ежедневно отправлялись на станцию с хлебом. Больше нельзя было — не было брезентов, да и сухого хлеба больше этого количества не наготовишь в такую погоду. И еще корма надо подвозить скоту. Транспорта не хватало, людей не хватало, поэтому он тоже, как и Филипп Иванович, метался по хозяйству с утра до вечера. И думал: «Что бы я делал без Филиппа Ивановича? Разорвался бы на две части».

Потом выпадало несколько ведренных дней, и Филипп Иванович набрасывался на комбайнеров, ладил с ними машины и торопил. Потом вдруг снова дождь, снова слякоть, мокрая спина, огрубевший плащ и колючие мурашки по спине. Бр-р-р!

Один из ворохов, накрытый ранее, в начале дождей, начал «гореть». Филипп Иванович увидел тонкие, еле заметные струйки пара. Он соскочил с седла, сунул руку в зерно по самое плечо, взял в горсть и выругался. Зерно было горячим на всю глубину вороха — пшеница горит.

Он постоял-постоял около вороха, потом обошел его вокруг, прикинул на глаз — центнеров четыреста! — и погрозил кулаком в небо.

— Раскисло! — зло бросил он, обходя ворох.

Казалось, он был бессилен, поэтому обозлился на весь белый свет. Дождь стучал по плащу, плескался в лужицах. А Филипп Иванович не уходил с тока — думал. И вдруг его осенила мысль. Он вскочил в седло и поскакал в село к Николаю Петровичу. Нашел он его около фермы, повязанного вокруг шеи шерстяным платком (он тоже простудился и покашливал).

— Вот, брат ты мой, занемог не к сроку,— сказал он.

— Надо лечь,— угрюмо сказал Филипп Иванович.

— А сам хрипишь — ничего?

— А черт бы меня взял,— снова с такой же мрачностью сказал Филипп Иванович.

— Вижу, с бедой прибыл. С чем прискакал?

Филипп Иванович помолчал и ответил:

— Горит.

— Где?

— На третьем току.

Николай Петрович подумал, смотря в землю, и спросил:

— Говори сразу. Что надумал?

— Взорвать небо! — со злобой воскликнул Филипп Иванович.

— Да брось ты, пожалуйста, злиться. Не желаю я с тобой сейчас ругаться. Ну?

Филипп Иванович заметил в глазах Николая Петровича болезненный блеск — видно, его температурило.

— Вот и ну... Ложиться тебе надо, Николай Петрович,— уже более мирно сказал Филипп Иванович.

— Хлеб будет гореть, а я буду лежать. Покорно благодарю!

— То, что я надумал, потребует хлопот.

— Ну?

— Перенести крытый ток с усадьбы.

— А ты не рехнулся?

— Возможно.

— Выкладывай. Не злись. Самому тошно.

— Чтобы перевезти ворох к крытому току, где кончаем веять, надо двадцать рейсов трактора. Никто нам не даст для этой цели тракторов — мы и без того Васе Боеву навалили перерасход. Перевезти на лошадях в этакую слякоть — и думать нечего. Ну, допустим, возьмем трактор. И все равно потребуется двадцать — двадцать пять рейсов, неделю будем валандаться и еще больше перемочим хлеб. А чтобы перенести крытый ток, надо только четыре рейса — один день. Сегодня же заготовить ямы для столбов, завтра перевезти. Солома для крыши там, на месте. Работать, несмотря на дождь. Зерно — под крышу, и веять, ворошить, еще раз веять. Спасем хлеб.

— Не хлеб к сараю, а сарай к хлебу? Наоборот?

— А мне сегодня и пришла мысль: изобрести переносный крытый ток. Просто ведь, а никто не подумал из строителей.

— Ну что ж, пожалуй, давай согласимся. Попробуем.

Всех мужчин, кроме животноводов, перебросили на аврал. За два дня ток был готов. Хлеб спасли, но годен он был только на фураж. А крытый ток так и остался в поле — решили не возвращать его на старое место, а в будущем году построить новый. Филипп Иванович уже набрасывал на ходу схему будущего переносного крытого тока.

Так ежедневно находились дела неотложные, такие, от которых зависела судьба колхоза в этом и будущем году. Оба друга знали, что в такое трудное и горячее время года отлучаться ни тому, ни другому нельзя.

Так прошла и половина ноября. Ударили морозы. Колхозники закутались кто во что, зимние кожухи замелькали в поле — то на подсолнечнике, то на кукурузе. У комбайнеров полопались и кровоточили пальцы, у девчат облупились обветренные носы, старики ходили красноглазые, закрываясь рукавицей от ветра. Но хлеб весь был убран. И в этом была большая доля труда и Филиппа

Ивановича. От всяких же выговоров, неизбежных в такую осень, Филипп Иванович был избавлен — он был обыкновенным колхозником.

И только уже зимой, получив на трудодни деньги, Филипп Иванович собрался в Москву.

Николай Петрович несколько ночей просидел над письмом новому секретарю обкома, выпросил у Клавдии Алексеевны письмо Степана Чекушина и приложил его к своему. По пути в Москву Филипп Иванович заехал к Герасиму Ильичу Масловскому. Тот написал от себя лично письмо в ЦК партии обо всем, что тяготило душу честного ученого.

В Москву ехал бывший агроном, исключенный из партии и снятый с работы. Он упорно продолжал считать себя членом партии.

Глава четырнадцатая

●

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

●

Давно мы расстались с Карпом Степанычем Карлюком. Как вы помните, мы расстались с ним тогда, когда он лег спать после трудового дня, опустив три конверта в почтовый ящик. Он выполнил все, что задумал. Егоров теперь не опасен: «Личное дело» осталось чистым, как слеза грудного ребенка.

Карлюк был уверен в том, что Егорову уже никто не поверит: опороченный человек теряет веру в глазах других. Карлюк победил. Благодаря Каблучкову борьба с Егоровым была теперь уже пройденным этапом.

За этот прошедший год Карп Степаныч собрал массу материалов для докторской диссертации и предполагал в ближайшие дни сделать на ученом совете сообщение об итогах исследований в своей теме. А предварительное сообщение, если оно принято с одобрением, — уже половина дела. Теперь требовалось предварительное угощение, ибо предварительное сообщение без предварительного угощения Карп Степаныч себе представить не мог. Такая уж у него была щедрая натура. В этом не могло быть никакого сомнения. Вот почему, когда Изида Ерофеевна

пробовала возразить против расходов, он и повторил супруге любимое изречение:

— Из всех подражаний самое трудное — быть щедрым.

Изида Ерофеевна возражать в данном случае не стала и согласилась.

Каждый понимает, что нельзя же просто так сделать: позвал и угостил. В науке еще не дошли до той милой «простоты», как, скажем, в ином колхозе. Там так: кликнут в окно бригадира — и ставят на стол «полмитрича». Войдет бригадир, поздоровается, увидит бутылку и спросит: «Чего просишь?» Ему отвечают тут же: «Подводу — в лес». Тогда он выпьет пару стаканов и скажет вежливо: «Можно». И все. В науке же на этот счет имеются свои законы, правила, никем не писанные инструкции. Тут полагается делать так: придумывается какая-то знаменательная дата в семействе и приглашаются нужные люди. Лучше всего подходит для таких случаев день рождения — отца, матери, любого из детей, внуков, племянников, сестер, дедушек, бабушек, если таковые имеются в наличии. Но войдите в положение Карпа Степаныча: его день рождения уже отмечался официально (с теми же лицами), день рождения Изиды Ерофеевны тоже достаточно известен. Чей, спрашивается, день рождения праздновать? Не мог же Карп Степаныч родиться дважды! Да и кто позволит?

Трудное получалось положение у Карпа Степаныча. В поисках решения задачи он ходил из угла в угол, а супруга сидела, прислонившись щекой к комоду.

— Момент упущен, — сказал Карп Степаныч, как и обычно, приходя в отчаяние.— Послезавтра предварительное сообщение делать. Остается только один день.

— А ты бы, Карик, на свой день рождения и договаривался бы.

— Интересно! За полгода вперед! Да они и за две недели забыть могут... Люди же. И люди занятые.

— Правда... Ну что же придумать? Что придумать? — ломала голову Изида Ерофеевна.

Так они и легли спать, ничего не решив окончательно.

И только глубокой ночью Изида Ерофеевна придумала. Она толкнула мужа в бок и спросила:

— Спишь?

— Нет. Не до сна.

— Не придумал?

— Нет.

— А я придумала.

Карп Степаныч поднялся на локоть и приготовился слушать. Но вместо посвящения в свои мысли Изида Ерофеевна сказала так:

— Все будет хорошо. День рождения будет. Да еще как все обернется хорошо. Это будет очень интересно! Ах, как все будут довольны! Давай скажу на ушко. — И она прошептала ему что-то так тихо, будто боялась, что их подслушают и перехватят секрет.

— Тут что-то... не то,— запротестовал сперва Карп Степаныч.

— То! Именно то! И не думай возражать. Я знаю людей лучше тебя. Это будет очень интересно!

А утром началась лихорадочная подготовка к вечеру.

Приглашены три нужных человека.

Вечером стали собираться гости.

Первым вошел Чернохаров и сказал:

— Приветствую вас, дорогой! Приветствую вас, дорогая! И поздравляю вас и... гм... этого, именинника. Гм...— Он оглянулся по сторонам и, не увидев никого кроме, сказал еще раз: — Гм... — И сел за стол. Затем развернул журнал «Крокодил» и стал рассматривать картинки, слегка потряхивая животом, то есть улыбаясь.

— Насчет именинника, Ефим Тарасович, это сюрприз, — кокетливо сказала Изида Ерофеевна.

— Что ж... Интересно... Гм... — А рассмотревши бесцеремонно кругленькую и приятную фигуру хозяйки, еще раз повторил: — Гм...

И Изида Ерофеевна улыбнулась, потупив очи. У нее это получалось очень здорово!

Вторым вошел доцент Святохин. Скажем по душам: смирнейшая личность! Личико у него маленькое, остренькое и весьма скромненькое, с просвечивающим носиком и часто моргающими глазками. Он всегда улыбался и был в высшей степени почтительным везде и всегда. Рассказывают про него такое: когда воры потребовали у него на темной улице часы, он им сказал: «Будьте любезны! Я вас понимаю отлично и отношусь с уважением к личности. Пожалуйста!» На научных убеждениях Святохина мы остановимся несколько позже — не время и не место говорить о делах, когда люди пришли отдыхать. Итак,

вторым вошел Святохин. Он шаркнул ножкой, подошел к хозяйке дома и поцеловал ручку. Затем по возможности крепче пожал руку хозяину, потом, наклонивши почтительно голову, чуть-чуть пожал руку Черпохарову, будто боясь причинить ему боль своей немощной ручечкой. И только после такой процедуры произнес тихо-тихо:

— Уважаемые Карп Степаныч и Изида Ерофеевна! Я весьма польщен приглашением. Поздравляю вас с именинником. И разрешите преподнести ему...

Изида Ерофеевна перебила его восклицанием:

— Ах, ах! Это после, после! — И, подморгнув ему, пояснила: — Здесь маленькая шутка. Игра в сюрприз.

— Не поним... То есть будьте любезны! Пожалуйста!

Рассыпаться ему в вежливых выражениях не пришлось, так как вошел Столбоверстов. Это был сильный на вид и крепкий духом человек. Он был прям и высок фигурой, что сочеталось с прямотой характера и высокими принципами. Он не знал различия между инициативой и ловкачеством, напористостью и нахальством, а, смешав эти понятия в одно, шествовал по научному миру с вытянутым вперед указательным перстом, безапелляционно указуя им на противников науки. Но об этом опять же после. Личность Столбоверстова как профессора и как человека представляла следующее: брит кругом, кругл головой, сух, морщины не омрачали лица ни в одном месте, а глаза, будучи навыкате, казалось, видели и спереди, и сбоку, и чуть-чуть позади; голос — могучий бас, но говорил Столбоверстов сдержанно, тихо, как в пустую бочку; очков не носил, что тоже представляло собой исключение из правил в научном мире; не стар — лет сорока пяти, что тоже исключение, так как быть профессором в сорок пять лет — явление не очень частое: в этом возрасте подавляющее большинство ходит в доцентах. Здесь он далеко-далеко обогнал Карпа Степаныча Карлюка, но сочувствовал ему и помогал достигать.

Столбоверстов не спеша поцеловал руку у Изиды Ерофеевны, пожал слегка руки мужчинам, отчего бедняга Святохин чуть не взвыл, но стерпел и сказал:

— Будьте любезны! Пожалуйста!

— Поздравляю! Поздравляю! — пробубнил вошедший. — Рад. Рад. Рад увидеться. Очень рад.

В общем все гости пришли точно к назначенному времени. Стол был накрыт заранее. По приглашению

хозяйки все сели. Но гости обратили внимание на то, что один стул остался пустым.

— Кого нет? — спросил Чернохаров.

— Почему пустой? — ткнул пальцем в пустое место за столом Столбоверстов.

— Не обижаем ли мы кого-либо, садясь — простите! — заранее? — скромно осведомился Святохин.

Карп Степаныч ответил на все три вопроса разом:

— Вот... Она руководит. Она и речь скажет. — И указал на супругу.

Изида Ерофеевна так старалась казаться симпатичной, так старалась, что буквально вылезала из собственной кожи. Она держала оба мизинца оттопыренными, вздрагивала плечами, поправляла на груди кофточку и обаятельно улыбалась, растягивая губы возможно шире, как это делают красавицы на фотографиях.

— Милые наши друзья! — начала Изида Ерофеевна, встав за столом. — Вы люди ученые, умные и занятые. И вам надо отдыхать. Встряхивать нервы. Я хочу, чтобы вам было весело. И мы придумали отметить необычный день рождения. — Тут она обвела всех чуть прищуренными глазами и сообщила главное: — Ровно тринадцать лет тому назад Карп Степаныч вступил в науку и прочными ногами стал топтать по ней дорогу. В тот день он стал кандидатом наук. Сегодня день рождения научного работника.

При этом умный старик Джон вскочил на стул позади хозяйки, повилял хвостом и с размаху лизнул Святохина в щеку.

— Ох! — воскликнул Святохин. Но немедленно поправился: — Пожалуйста! — И вежливенько кивнул головой хозяйке.

— Ну что ж! — гаркнул Столбоверстов. — Нальем за рождение научного работника Карпа Степаныча.

— Пожалуйста! — откликнулся Святохин на призыв коллеги. — За рождение научного работника! Это весьма оригинально. Каждый ученый должен бы отмечать день своего научного рождения.

Тем временем Изида Ерофеевна уже налила стаканы, и гости выпили, поддержав тост. Сперва молчали, ели, а потом «пропустили» по второй, потом — по третьей и так далее. И вдруг Святохин вежливо, но уже чрезвычайно весело спросил у всех:

— Друзья! А как же подарки? Мы ведь думали...

— Любой подарок приятен от таких дорогих гостей, — сказал Карп Степаныч.

— Да! — воскликнул Столбоверстов. — Поздравляю! — Он положил перед Карпом Степанычем коробку шоколадных конфет и фарфоровую статуэтку балерины.

— Приветствую! — пискнул Святохин. И преподнес тоже коробку конфет.

— Поздравляю вас, дорогой! — сказал Чернохаров и подарил фигурку шелковистой собачки. — Я лично тоже люблю собак. Гм...

— За рождение кандидата! — вскричал басом Столбоверстов, поднимая стакан.

— За Карпа Степаныча! — пропищал Святохин.

— За рождение того, кто хозяин стола! — разразился тостом Чернохаров. — За вторжение его в науку.

Карп Степаныч кланялся. Изида Ерофеевна тоже кланялась, улыбалась и гладила Джона, сидевшего позади нее.

— Пей, Карпо! — кричал Столбоверстов панибратски.

— За науку и для науки! — чуть не плача, вопил Святохин.

— Сам-то пей до дна! — обращался Чернохаров к Карпу Степанычу.

И Карп Степаныч исполнял желание учителя: пил до дна так, что забыл даже говорить о деле, о завтрашнем предварительном сообщении. Наоборот, запел «Шумел камыш». Все подхватили и тоже пели по мере своих талантов в вокальном искусстве. Джон подвывал. Все шло хорошо и весело. Святохин сыграл даже дробь на двух ложках (к чему у него был большой талант), Чернохаров сплясал, не вставая со стула и выделывая кадрили ногами под столом. Изида Ерофеевна спела «Ой, кумушка».

— Нет! До чего же приятно! — умилился Святохин. — Истинное наслаждение! Умилительно! Душа моя поет вместе с вами, дорогая Изида Ерофеевна!

— Спасибо вам, милая! Спасибо и за вечер и за песни! Спасибо! — восторгался Столбоверстов, обнимая хозяйку за талию и не обращая внимания на ревнивое ворчание Джона.

— Ух! Гады! — вдруг рявкнул Чернохаров и ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули рюмки. — Засоряют науку всяким дерьмом!

— Это вы... про кого? — спросил оторопевший Святохин.

— О чем вы? — насторожился Столбоверстов, стараясь сквозь хмель понять.

— Ефим Тарасович! — воскликнул Карп Степаныч.

— Ой, ой! Дорогой мой! — умильно воскликнула Изида Ерофеевна и обняла рядом сидевшего Чернохарова.— Что с вами?

— Противников науки надо не просто выгонять, а... сажать! Сажать! В тюрьму! В тюрьму-у! — И Чернохаров выкрикнул несколько бранных, весьма крепких слов.

Вполне возможно, что после этого и завязался бы ученый разговор о науке и предварительном сообщении Карлюка, так как Чернохарова, может быть, все и успокоили бы, согласившись с его вескими доводами, выразившимися в разбитии трех тарелок. Так что разговор о науке мог быть. Но тут произошло совершенно неожиданное и никем не планированное событие.

Когда Чернохаров ударил третью тарелку, Джон не выдержал: он рванул за рукав буйного профессора так сильно, что вырвал клок материи шириной в ладонь.

Все встали как по команде.

Чернохаров, покачиваясь, подошел к собаке, схватил ее за шиворот, поднял в воздух и зарычал:

— У, гадина! Св-волочь! — Он поволок Джона за дверь, потом на улицу, а там трепал несчастного пса и кричал: — Я ученый, черт возьми! Соб-бака и наука! На-у-ка-а! Карлюк, мой ученик, позорит науку! Ненавижу собак!

Хозяин и гости выскочили на улицу, уговаривая взбунтовавшегося вновь Чернохарова.

А когда кое-как развезли гостей на такси по домам, Карп Степаныч обхватил голову руками и, поникнув на стол, простонал:

— Я... так... и знал. Знал, что-то получится. Что мы наделали!

— Карик! — плакала Изида Ерофеевна.— Карик! — И ничего не могла досказать.

— Я знал: тринадцать — чертова цифра! Так и есть. И как это я не догадался?!

— Карик! — рыдала супруга.— Все обойдется, Карик! — Она, всхлипывая, предложила: — Может быть, нам второй раз сделать день рождения?

— Второй раз — это уже не рождение!! — взревел Карп Степаныч и замахнулся кулаком, будучи весьма хмельным.— Ух!

Вот тут-то и проснулось самолюбие жены. Она уперла руки в бока, сжала зубки и, наступая на мужа, зачастила:

— Ах ты мразь! Дурень безмозглый! Ты перед кем рассыпаешься? Кто они? Они сами пролезли в науку через черный ход, а потом растолкали других и изображают. И пусть! Пусть Джон им выложил свои соображения. Не боюсь! К черту! Плевать я хотела на твоего Чертохарова! — визжала она, нарочито уродуя фамилию уважаемого учителя.

Карп Степаныч сперва опешил от такой пулеметной очереди, но потом со злобой сказал:

— Как ты была баба, так и есть баба. Тьфу! — Он плюнул в сторону.

— Что-о?! А ну повтори, безмозглый! — Изида Ерофеевна вдруг начала молотить мужа кулаками, потом книжкой по голове, так что он и руки ее не успевал отвести, бедный.

Потом Карп Степаныч уснул, так и не раздеваясь.

А ночью Изида Ерофеевна тихонько раздела его, накрыла одеялом и плакала. Плакала над ним, как над покойником. Потом тихонько звала, крадучись по комнате:

— Джон! Джон! Где ты? Замучила нас с тобой чертова наука. Господи, неужели же тебе трудно сделать Карпа Степаныча доктором? Ты все можешь — сделай,— молилась она на ходу и снова звала: — Джон! Где ты?

Бедный Джон! Он забился в угол, вздрагивая всем телом. Вызвать его оттуда не было никакой возможности, так напугал его Чернохаров.

Настало утро. Карп Степаныч встал поздно, в одиннадцать часов дня. Голова была тяжелая, на душе было скверно — так скверно, будто сам черт ходил там своими когтистыми лапами. Карп Степаныч умылся. Молча сел пить кофе. Супруга тоже молчала. Неизвестно, чем бы вся эта тягость кончилась, если бы неожиданно не вошел...— кто бы, вы думали? — ...вошел Чернохаров в сопровождении Святохина.

Карп Степаныч встал и согнулся в поклоне. Изида Ерофеевна растерялась. А Чернохаров сказал:

— Приветствую вас, дорогой!.. Вчера я... Гм... Накуролесил. Уж как-нибудь... Гм... Извините.

— Дорогой Ефим Тарасович! — воскликнул Карп Степаныч и обнял Чернохарова.— Что вы, что вы! Я, только я, считаю себя виноватым. Только я!

— Говорил вам когда-то: не надо мне... Гм... Давать много питья. Гм...

— Все хорошо,— шептал Святохин.— Все хорошо. Ну выпили, ну отдохнули. Кто ее не пьет? Все пьют. С кем грех не бывает? Бывает, простите, со всеми. Будьте лю...

— Ну как же? — перебил его Чернохаров, обращаясь все так же к Карлюку.— Мир?

— Мир! — патетически воскликнул Карп Степаныч, тронутый великодушием учителя.

— И ничего не было? Гм...

— Ничего не было. И не вы кричали на улице, а кто-то другой.

— Я, например, ничего не слышал,— подтвердил Святохин.

— Ну... пойду... Желаю сегодня успеха. Гм...

— А вы будете там? — спросил Карп Степаныч Чернохарова, бросив взгляд и на Святохина.

— Обязательно,— сказали оба.— До шести!

— До шести вечера! — попрощался и Карп Степаныч.— Надеюсь.

И ушли.

Изида Ерофеевна бросилась к мужу в объятия и говорила:

— Вот видишь, как все обошлось. Я говорила?

— Говорила. Умница. Даже лучше сделалось, чем мы хотели.

— Как так?

— Да ведь он же чувствует себя в какой-то степени виноватым. Понимаешь?

Карп Степаныч тут же, немедленно, сел за стол и записал еще одно правило защиты диссертации:

«Если намеченный тобою официальный оппонент чем-либо тебе обязан, или в чем-либо виноват перед тобою и тяготится этим, или (что то же) чем-либо напакостил тебе и не знает, как искупить вину, то бери его обязательно: сделает».

День прошел хорошо. А к шести Карп Степаныч пошел делать сообщение. И все-таки было очень боязно: как-никак предстояло сообщение об исследованиях материа-

лов и сводок. Это — начало докторской диссертации. Пробный камень!

И когда все эти опасения Карп Степаныч высказал Изиде Ерофеевне перед выходом из квартиры, супруга произнесла:

— Господи, благослови!

Глава пятнадцатая

СМОТРЯ С ЗАТЫЛКА, ИЛИ РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКЕ

В тот самый день, когда Карлюку предстояло делать сообщение, в городе появился Филипп Иванович Егоров. Он вернулся из вторичной поездки в Москву, куда ездил по вызову ЦК партии.

Было пять часов дня. С вокзала немедля направился к профессору Масловскому. Дома его не оказалось. Мария Степановна сообщила Филиппу Ивановичу, что профессор ушел на научный совет—слушать доклад Карлюка. Недолго думая, Филипп Иванович отправился туда же, оставив у Марии Степановны чемоданчик.

Филипп Иванович чуть-чуть опоздал — заседание ученых началось. Он остановился перед дверью малого зала и прочитал объявление, прикрепленное кнопками:

«Сегодня состоится очередное собрание научных работников, на котором кандидат с/х наук Карлюк К. С. сделает предварительное сообщение о дополнительных исследованиях в области кормодобывания.

Приглашаются все научные работники и все желающие.

Начало в 18 часов».

«Значит, можно и мне»,— подумал Филипп Иванович и вошел в зал. Свободное место осталось в самом заднем

ряду. Он тихо, на цыпочках, прошел туда и сел. На соседнем с ним стуле сидел... Ираклий Кирьянович Подсушка и по обыкновению поедал глазами кафедру, откуда докладывал его непосредственный начальник, Карлюк Карп Степаныч. Как мы уже сообщали, товарищ Подсушка от рождения и до настоящих дней был тощ. Посему шея его отстояла от воротника на весьма почтительном расстоянии и поворачивалась бесшумно по первому требованию начальства. Такова была у него конструкция тела. Подсушка слушал глубокомысленно.

Карп Степаныч читал интересное для производства сообщение: «К вопросу о проблемах замены овса тыквой и помидорами для скармливания конскому поголовью и расчеты потребности тыквопомидоропродукции для центрально-черноземной зоны в кормовых единицах». Все шло как полагается. Стояла тишина.

Поскольку Филипп Иванович очутился в самом заднем ряду, перед ним во множестве расположились затылки ученых. Филипп Иванович подумал в удивлении: «Какие бывают затылки! Громадный ассортимент! Смотришь человеку в затылок и толком не знаешь, какой у него там ум и есть ли там ум вообще». Подобные не очень-то уж серьезные мысли завладели им полностью. Так иногда бывает, когда неудобно засыпать, как говорится, с ходу. О проблемах тыквозамены он еще не слышал ни разу, но особого интереса к этой теме не проявил. И рассматривал затылки. Конечно, подавляющее большинство затылков были обыкновенными, но были здесь и особые, выдающиеся. Так Филипп Иванович обвел взглядом всех и наконец остановился на отдельных личностях, на тех, что знал отлично, и стал их рассматривать с тыловой стороны. Из множества голов он отметил только пять. Зато каких!

У ученого Чернохарова затылок очень похож на печной чугун: бей кочергой — не прошибешь! Филипп Иванович очень хорошо знал, что в одной стороне этой головы уместилась вся травопольная система земледелия целиком, а вторая половина ничем не замещена. Именно поэтому Чернохаров не признавал никаких сельскохозяйственных культур, кроме трав.

У профессора Плевелухина, наоборот, затылок изрезан мелкими складками. Он выдвинул лозунг: «Уничтожим всякие травы с лица земли нашей!» В общем, никакой серединыЧернохаров и Плевелухин не признавали. По сему

случаю все подчиненные этих ученых и все диссертанты и даже студенты шарахались от одного профессора к другому, стукаясь иной раз лбами: а выходя из института, толком не знали — что же, собственно, осталось в голове. Как известно, мыслительная способность битого лба резко понижается, и человек в таком случае успокаивается либо на одной шишке, либо на второй, смотря по стечению обстоятельств.

На затылке доцента Святохина — смирнейшего из ученых — Филипп Иванович не стал долго задерживаться: голова его была настолько свежа и чиста, что ни единой волосинки на ней уже не осталось. Это очень уважительный человек, соглашающийся со всеми, в том числе и с Плевелухиным и Чернохаровым одновременно. Очень приятный человек! Его лба никогда никто и нигде не бил, и он достиг научных степеней без особых волнений. О лысине Святохина, вообще-то говоря, ходили разные слухи в научном мире. Одни говорили, что ему за правду, выражающуюся в особой почтительности к авторитетам, бог головы прибавил; другие, наоборот, говорили, что пустой шалаш и крыть нечего. Филипп Иванович в данном случае стал на принципиальную точку зрения самого Святохина и в вопросе оценки его лысины решил: «Правы и те и другие».

Больше других остановил внимание затылок доктора сельскохозяйственных наук Столбоверстова. Редкие коротенькие щетинки-шипики на бритой голове создавали такое впечатление, будто весь затылок усижен мушками дрозофиллами, о коих он успешно когда-то защитил докторскую диссертацию и достиг всего, чего следует достигать в таких случаях. А с очень глупой головой это, конечно, невозможно. Взять хотя бы карьеру. На «кариотипической структуре мушки дрозофиллы» он сидел прочно несколько лет подряд. Но когда понял, что ветер шевелит волосы не с той стороны (тогда у него еще был редкий пушок на голове), он ощетинился, и на затылке появились короткие шипы. А что означает «ощетинился» на языке такого ученого? А это значит, что он проклял несчастную малютку, мушку дрозофиллу, не выполнил клятвенного обещания поставить ей памятник, отказался от нее публично, признал ее главным тормозом в науке, обругал черным словом как самую обыкновенную поганую зеленую муху. И стал после этого называть всех противников своего нового убеждения менделистами, или морганистами, или менделистами-мор-

ганистами, или просто врагами прогресса. Зато он получил четвертое место — по совместительству. Да, он не глуп! Указующий перст его еще не раз ткнет кого-нибудь из молодых или строптивых старых, и он произнесет безапелляционно и неукоснительно: «менделист»! или какое-либо новое слово, которое вполне может народиться в научном лексиконе. И горе тому, кто начнет мыслить не так, как думает Столбоверстов, ибо он тоже не знал спорной середины в науке, а шарахался от одного авторитета к другому вот уже дважды. Где-то мы увидим его в третий раз?! Тем не менее лба своего он не портил и ходил по земле без шишек на мыслительной части тела. Над затылком его стоило призадуматься. Это настоящая тыльная сторона настоящей науки! Дунь на него иным ветром—и все: запах и цвет всей личности меняется на глазах.

И еще один удивительный по своей конструкции затылок задержал внимание Филиппа Ивановича. Он как бы обрублен, то есть фактически самого затылка-то и нет, а есть место, где полагается быть затылку. Место это — бритое или лысое, не поймешь. Голова эта принадлежала Барханову — человеку с некоторым именем, известному и даже не совсем действительному члену Академии сельскохозяйственных наук. А что означает звание «не совсем действительный член академии»? Объясню. Перед выборами он разослал множество писем знакомым ученым. В этих письмах он считал себя вполне достойным избрания в члены академии и просил поддержать его кандидатуру; но так как все же его не выбрали в члены, то за ним так и осталось звание «не совсем действительного». Барханов ничего не открыл сам, но до сих пор ни разу не согласился с чужим открытием. Он немилосердно критиковал все, на что направлял свой нос. Его все боялись и обращались с ним в пределах научной вежливости.

Таким манером Филипп Иванович пробовал отыскать еще подобные затылки, но не нашел больше ни одного хотя бы отдаленно похожего на какой-либо из тех пяти затылков, что рассматривал.

Потом Филипп Иванович долго смотрел на профессора Масловского. Седые, ставшие за последние годы совсем белыми, густые волосы зачесаны назад; затылок широкий, как говорят — двухмакушечный, на котором волосы никогда не лежат спокойно, а все упрямо топорщатся. Казалось, эта голова, слегка наклоненная вперед, всегда готова

к драке. Любил эту голову Филипп Иванович. Очень любил! И сейчас он представил себе сосредоточенный и нахмуренный взгляд Масловского и жесткие руки, сжатые в кулаки. «Будет и сегодня драться!» — подумал он.

Но что это? Профессор Масловский передернул плечами и поежился, будто к его спине прикасался червяк. Вероятно, сквозь дрему и до его слуха доходили отрывки речи Карпа Степаныча. Это движение заставило и Филиппа Ивановича вслушаться в речь докладчика, и ему сразу стало скучно. Потянуло в сон. И он занял обычную позицию спящего на заседании ученого, а именно: наморщил лоб, опустил в задумчивости ресницы, выпрямился, подставил кулак под подбородок и задремал. Со стороны казалось, что он глубоко задумался, а фактически он добросовестно пытался дремать. Все нормально мыслящие на подобных докладах спали таким же образом еще и раньше Филиппа Ивановича. И это никогда не считалось зазорным, как явление обычное.

Но не спал Ираклий Кирьянович Подсушка. Он усиленно пытался думать. Даже более того: мучительно пытался думать. Что же заставило его думать в такой момент, когда вообще можно не думать ни о чем? Оказывается, это — дело случая. Кто-то из ревнителей науки задал спросонья докладчику бесцеремонный вопрос:

— Какой сорняк порождает тыква?

Карп Степаныч Карлюк отвлекся от сообщения и, поскольку вопрос касался его темы, ответил так:

— Если мы уверены, что овес порождает овсюг, то вполне можем быть уверены, что кормовая тыква порождает сорняк. Какой? Наукой еще не достигнуто. Но почему бы и тыкве как заменителю овса априори не родить что-либо подобное или в этом роде? В этом вопросе открыты широчайшие горизонты в науке, и этот вопрос необходимо изучить, что представляет непосредственный интерес для производства, так как в борьбе с проникновением вредного влияния менделизма это будет еще одним плюсом...— И Карп Степаныч был удовлетворен собственным ответом настолько, что внутренне улыбнулся. (Внешне он улыбался очень редко.)

Неожиданно Масловский встал. Он попросил слова и сердито заговорил:

— Ответ «глубокоуважаемого» сообщителя заставляет меня дать существенную, как мне кажется, реплику. Лю-

бое научное исследование может не только утверждать предположения или подтверждать чьи-то мысли, идеи, но и отрицать. Да, отрицать. Многие, например, не согласны с Лысенко. Ну и что? Наука развивается в противоречиях, в спорах. Отнимите у нее этот принцип развития — и наука превращается в схоластику со всеми вытекающими отсюда последствиями. С этой точки зрения сообщения Карлюка весьма интересно. Он, как уже видно, ничего не собирается отрицать или с кем-то спорить. А что же он утверждает?.. В своем «научном» изложении он раз двадцать употребил слова «менделизм» и «менделисты», а в ответе на заданный вопрос уже заявил, что гипотетический тыквосорняк «будет еще одним плюсом в борьбе» с менделизмом же. Но позвольте: сам Лысенко, кажется, не утверждал, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Карлюк же превратил овсюго-гипотезу в инструкцию о происхождении новых видов растений. Вот вам пример схоластики. Когда же это кончится?! Нет, я больше не могу. Надо наконец называть вещи своими именами: это — не научное сообщение, а профанация науки.— И вдруг Масловский бросил к кафедре: — Вы, Карлюк, не понимаете того, что опошляете науку, настоящую науку, повергая даже и то, что пытаетесь подтверждать и чему поклоняетесь.— Тут профессор совсем обозлел и обратился вновь к собранию, уже вовсе не по-профессорски: — Вспомним, товарищи, и почтим... сидением того из пословицы, кто разбивает свой лоб, если его заставляют молиться.— И правда, сел на свое место.

Наступила тишина как в подвале — пауза небытия, провал духа: для одних это было первым дуновением зловещего ветра против науки, для других — первым-первым ветерком начала восстановления доброго имени российской науки... Полно, начало ли это? А пока была только тишина.

Наконец Столбоверстов шепнул Чернохарову на ухо:

— Дальше некуда — Масловский вылупился весь!

— Учтем,— ответил Чернохаров гусиным шипением.— Теперь-то уж он — как на ладони.

Ближайшие к ним видели, как Чернохаров показал Столбоверстову пухлую, идеально безмозольную бабью ладонь и как тот внимательно задержал на ней выпуклый взгляд, будто там, на ладони, на мгновение возникла не то проклятая им своевременно дрозофилла, не то, как бы

сказать, блоха какой-то истины. Иначе зачем же показывать пустую ладонь? А мудрых слов двух довольно печально известных ученых никто не слышал и потому не понимал, что приметная ладонь сия была в тот момент суровой дланью пресечения. Заметь такое Подсушка, он так бы и сказал: «Думать надо. Думать! И расти над собой, товарищи».

Карп Степаныч, прежде чем продолжать сообщение, некоторое время стоял, выпучив глаза. А Масловский при общем молчании иронически заключил:

— Можете продолжать.

Вот что заставило некоторых отвлечься от дремы. В зале зашевелились, выражая свое сомнение в ответе Карлюка. Вот что и заставило думать Ираклия Кирьяновича.

Мы уже знаем и о том, что он не принадлежал ни к кандидатам, ни к докторам, а был наукоруком по призванию. Это обстоятельство заставило его продумывать кое-что, для того чтобы вовремя успевать менять течение мыслей, убеждений и проблем, для улавливания момента в научной ситуации. А для этого требуется тоже большое искусство.

И вот сейчас ему, Подсушке, почему-то вспомнились слова Священного библейского писания, каковое он постигал еще в начальных классах гимназии. Думал он так:

«Авраам роди Исаака. Исаак роди Иакова. А Иаков в свою очередь роди... Кого же роди Иаков? Забыл. Неважно: хрен с ним, с Иаковом. Нет, постой, постой... Кажется, есть какая-то связь... Значит, овес роди овсюг. Так. Понятно. А кого роди овсюг? Ведь и он кого-нибудь роди обязательно... Пшеница роди рожь, а рожь, обратно, роди пшеницу — это понятно: и тот роди и тот роди... Но кого же роди овсюг?..»

Он, по возможности незаметно, все-таки высунул кончик языка, но... ответа все равно на нашел. Он лишь искал себе объяснение, чтобы при случае не ударить лицом в грязь и объяснить другому. Сам же он действительно верил совершенно искренне в то, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Верил просто, как верит истый христианин в то, что отрок в пещи огненной хотя и должен был сгореть в пепел, не сгорел все-таки и даже не потерял волос. Верил Ираклий Кирьянович и в то, что яровую пшеницу надо сеять именно там, где она не родится: важно — не урожай, а важно, чтобы она сеялась по

пласту многолетних трав и вне зависимости от местонахождения этих трав даже в Архангельске или на Новой Земле.

После воспоминания о библейских предках мысли все-таки не покинули Подсушку. Он продолжал думать так:

«Что это за наука у Масловского?.. «Гипотеза», «отрицание», «не все растения рождают сорняки»... Надо же! Как это так — не все? Вот у Карпа Степаныча действительно наука: если тыква не родила пока сорняки, то родит вскоре. «Априори» — обязательно родит! Раз Карп Степаныч сказал родит, то, значит, родит».

И это была глубочайшая вера в науку. Так Подсушке легче. А главное — думать гораздо меньше придется.

Филипп Иванович все-таки не уснул, а после реплики Масловского и вовсе взбодрел. Он украдкой посматривал на соседа, Подсушку, задумавшегося над вопросами науки. И Филиппу Ивановичу пришла мысль:

«Сколько таких верующих помогали, помогают и — кто знает! — будут помогать двигать вперед генетику, селекцию, агротехнику, животноводство! Того и гляди они помогут и Мальцеву так же, как «помогли» Лысенко! Благо тому и бремя того легко, кто верует в непогрешимость инструкций и приказов наукоруков».

А подумав так, Филипп Иванович смотрел на самого докладчика, Карпа Степаныча Карлюка, каковой, как нам известно, был, в противоположность Подсушке, настолько кругл и толст, насколько может быть круглым и толстым человек. Сейчас он казался еще более толстым. До сих пор Филипп Иванович знал, что Карлюк всегда умел выглядеть весьма ученым. Теперь, казалось, вырос он еще больше. До сих пор Филипп Иванович знал, что Карлюк в свое время соискал кандидатскую степень. Теперь же было ясно, что начинается соискание докторской степени. Сейчас он читал уже заключение своего предварительного научного сообщения:

— Итак, много- и глубокоуважаемые коллеги! Роль овса в балансе кормопроизводства практически сводится к нулю, о чем свидетельствуют сводки, собранные мною по ряду окружающих колхозов. Лошадь на новом этапе развития сельскохозяйственной науки не желает есть овса. Она желает есть тыкву, о чем свидетельствуют упрямые факты, которых не буду приводить ввиду их ясности. Оговорюсь, что эксперименты скармливания зеленых помидоров кон-

скому молодняку еще не закончены, а редьку лошадь отвергает начисто. Об этом я заявляю со всей научной смелостью и решительностью — редьку лошадь отвергает. Но...— В этом месте он вытер лоб платком, снял очки и, держа их двумя пальчиками в полусогнутой руке, постучал локтем по своему пышному боку.— Но с точки зрения тыквозамены уже ясно теперь, что: а) производство овса необходимо оставить на минимальном уровне; б) этот уровень должен соответствовать такой структуре площадей овса, чтобы обеспечить полностью выпуск овсяных хлопьев для меню грудных младенцев, а равно и отнимаемых от груди детей. И все. Мы, таким образом, можем расширить значительно площадь яровой пшеницы во всех областях, от Черного до Белого морей, с одновременным поднятием уровня тыквы для конепоголовья. И тогда лошадь скажет нам с вами, дорогие коллеги: «Спасибо вам, товарищи!» Если к этому добавить последние данные науки о кормовых качествах рогоза в сметане (о чем сообщалось в печати), то наши выводы полностью соответствуют новому направлению сельскохозяйственного производства. Замечу: говоря о рогозе, я имею в виду оба рогоза: Тифа ангустифолиа и Тифа латифолиа. Весь этот рогоз скотина пожирает навалом даже в том случае, если ей не давали корма только четыре-пять дней.

Карп Степаныч закончил доклад. И вдруг...

— Ерунда! — крикнул на весь зал Филипп Иванович, нарушив все нормы внутринаучной вежливости.

Все повернули к нему головы. А сидевший с ним рядом Подсушка вздрогнул от страха, зашипел, как горячая сковорода, на которую плеснули холодную воду, и отодвинулся подальше.

Филипп Иванович встал. Он видел лица всех сразу — затылков уже не было. Были в подавляющем большинстве добрые люди. Он остановил взгляд на лице Масловского: умный и в то же время злой взгляд этого ученого одобрял его — они поняли друг друга. Много таких же искренних и умных глаз смотрело на него. Настолько много, что чернохаровы и святохины сидели среди них корявыми сорняками, похожими на сухую полынь среди сочного огорода.

— Прошу слова! — сказал Филипп Иванович громко и отчетливо.— И я больше не могу! Нельзя дольше терпеть!

— Что вы хотите этим сказать? — перебил его резким

голосом Карп Степаныч, привыкший к тону многих председателей собраний, умеющих одной такой репликой осадить любого оратора, если он им не нравится.

— Я хочу сказать, товарищ Карлюк, прежде всего о том, чтобы вы меня не перебивали.

По залу прокатился шелест. В нем нетрудно было различить и одобрение и злость. А Филипп Иванович заговорил.

Ни Карп Степаныч, ни Ираклий Кирьянович не помнили толком, о чем говорил Егоров,— их ошарашили слова обвинения, которые он бросал прямо в лицо Карлюку, Чернохарову, Столбоверстову и иже с ними. Ираклий Кирьянович находился-то рядом с Филиппом Ивановичем, и на них обоих, как ему казалось, смотрели все сразу. Он стонал, видя, что буря нарастает. Сейчас, вот-вот сейчас, думалось ему, этот колхозный агроном в кирзовых сапогах начнет добираться и до него, товарища Подсушки.

— Сегодня мы слышали весьма «интересный» доклад-сообщение,— говорил Филипп Иванович иронически.— Он интересен тем, что всем содержанием доказывает одно: в сельскохозяйственной науке при желании можно из блохи выкроить голенища. (По залу прокатился смешок.) Сегодняшнее сообщение — продолжение все той же линии...

— Грубо и недостойно собрания ученых! — бросил реплику Столбоверстов.

Но Филипп Иванович не обратил внимания на это.

— Да, продолжение все той же линии... Но посмотрим внимательно в село, в поле, в колхозы, для которых якобы делаются подобные диссертации. Сельское хозяйство отстает, оно ждет — требует! — от науки помощи и вмешательства. А карлюки достигают званий на темах глупых и бесполезных.

Тут-то и вспотел Карп Степаныч. Но все-таки нашел силы перебить оратора. Он собрал весь свой дух, сделался внешне спокойным, почесал кончик носа оглобелькой очков и встал. Перебивая оратора, обратился к собранию:

— Кто перед вами выступает? Перед вами выступает исключенный из партии. Он уволен с работы.—Повернувшись к Егорову и надев очки, Карлюк строго и повелительно сказал: — Прекратите клеветать! Не то место выбрали! — И, забыв, что он не председатель собрания, обратился к присутствующим: — Кто имеет слово?

Все молчали.

В напряженной тишине Филипп Иванович продолжал:

— Нет! Не получится, Карлюк! Я не замолчу, пока не скажу. Я знаю, почему вы меня боитесь. И вы знаете! — Филипп Иванович смотрел прямо на Карлюка и продолжал: — Предстоит трудная работа по очищению сельского хозяйства от болтунов и невежд в мантиях ученых, по очищению науки от бездумности, своекорыстия и шаблона в агротехнике и животноводстве...

Карп Степаныч опешил. Он не понимал аплодисментов, раздавшихся после речи агронома Егорова. Он не слышал того, что говорил Чернохаров, спасая ученика, не заметил, как по инициативе того же Чернохарова собрание было перенесено на неопределенное время «ввиду грубых и недостойных выпадов против науки». Не заметил Карп Степаныч, как разошлись все и зал остался пустым. Он все сидел и сидел. Наконец он заметил в заднем ряду единственного человека. То был Подсушка. Ираклий Кирьянович не мог стронуться с места, он был не в силах возвратиться к жизни и шептал:

— Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова...

— Вы? — спросил глухим голосом Карп Степаныч.

Подсушка очнулся и ответил, глядя в упор на начальника:

— Я. Так точно — я. Как же... теперь?

— Вот так...— Карлюк поник головой.

Тут вошла уборщица и сказала:

— Ну-у, раскисли! Выходите. Мне порядок наводить надо.

— Извиняюсь! — сказал Подсушка.

— Приветствую вас! — сказал Карлюк.

— Да вы что — или рехнулись? — спросила уборщица.— Провалилась диссертация, что ли?.. Бывает. Я на своем веку не такое видала. Водой отливали одного, потом пол подтирала целый час. Ну, уходите, уходите,— уже добродушно выпроваживала она их.

Оба уныло поплелись вон, поддерживая друг друга под руки. Слишком толстый и слишком тонкий еле переставляли непослушные ноги. Много страданий доставляет наука!

...А Филипп Иванович с Герасимом Ильичом Масловским пришли на квартиру.

Повесили головные уборы на вешалку. Встретились глазами. Посмотрели. И вдруг рывком обняли друг друга.

Потом Герасим Ильич спросил:
— Ну как? Все сдали?
— Сдал. Сказали — скоро разберут.
— Будем ждать.
— Ждать.
— Ждать и надеяться!

Глава шестнадцатая

●

ПЕРЕВЕРТНИ, ПУТАНЫЕ КАРТЫ И НОВОЕ ПОПРИЩЕ КАРЛЮКА

●

А дальше пошли интересные события — и печальные и веселые.

Ираклий Кирьянович заболел расстройством нервной системы и несколько дней не выходил на работу. Карп Степаныч хотя и похудел малость, но искал выхода из создавшегося положения. Думал.

Так прошло два месяца.

И вот однажды Карп Степаныч получил записку от Чернохарова. Эту записку он немедленно подшил в «Личное дело». А написано в ней было так:

«Возвратился из Москвы Столбоверстов. Сегодня вечером он будет у меня. Приходите. Дело серьезное. Жду в десять.

Ч.»

Карп Степаныч пришел ровно в десять, почти одновременно со Столбоверстовым.

— Приветствую вас, дорогие мои! Приветствую! — встретил их хозяин.

Они сели за стол, за чашку чая. Чернохаров начал:

— Мы с удовольствием послушаем сообщение... Гм... Надеюсь, будем откровенны. Гм...

— Что думает Москва? — спросил Карп Степаныч.

— Да. Москва думает,— в задумчивости пробубнил Столбоверстов, помешивая ложкой в стакане.— Главные устои сельскохозяйственной науки пересмотрены... Ви-

льямс ошибался. Следовательно, ошибались и мы. Травы — под сомнением. Упор на паропропашные севообороты.

— Значит, признавать ошибку? — поспешно спросил Карлюк.

— Нельзя,— категорически заявил Чернохаров.

— Но и в бездействии быть невозможно. Нужно принять меры,— возразил Столбоверстов.

— И что же вы думаете практически? — спросил ободренный Карлюк.

Столбоверстов ответил:

— Думаю, пока не получены указания сверху, мы уже должны...

— Перехватить? — спросил Карлюк.

— Не перехватить, а перестроиться, то есть...

— Вот именно. Как бы «не перехватить»... лишнего. Гм...— перебил его Чернохаров.— Как бы не попутать карты... Гм...

— А что бы вы предложили? — спросил Столбоверстов.

— Надо выступить в печати.

— Именно так. Выступить, пока не перехватил Масловский.

— И ликвидировать полностью все травы при институте. Все! Гм...— дополнил свою рекомендацию Чернохаров.

Все трое согласились к концу беседы: надо выступить в печати и ликвидировать травы на всех полях института. Так они и перестроили свои многолетние убеждения за один вечер. И сразу же приступили к коллективному сочинению статьи для областной газеты.

Через две недели в газете появилась подвальная статья «Система земледелия на черноземах» за подписью трех: Чернохарова, Столбоверстова и Карлюка. В этой статье обстоятельно доказывалось на материалах института, что единственно правильная система земледелия — паровая, что, по многолетним данным, травы себя не оправдали, что даже трехполка лучше травопольной системы, что травы должны быть изгнаны повсюду, что профессор Плевелухин прав, ратуя за паропропашную систему земледелия. В статье ученые писали: «Честно заявляем, что учение Вильямса тормозило практику». Получилась очень сильная статья! Смелая, обстоятельная, вполне соответствующая ветру, подувшему с высокогорных вершин науки. Ясно, направление изменилось.

Но внешне Столбоверстову измениться уже не удалось. В свое время он стриг голову «под Менделя», потом расчесывал «под Лысенко», теперь он очень желал бы иметь прическу «под Мальцева», но... был уже лысоват, с редкими торчащими шипиками. Впрочем, это и не так уж важно. Важно внутреннее убеждение. Важно то, что Столбоверстов всегда был хозяином своего слова: дал слово — и взял его обратно.

Карлюк энергично перестраивал тематику своего учреждения.

Чернохаров упорно говорил студентам:

— Думать надо, товарищи!.. Гм... Думать. И тогда Гм... Собственные ошибки вы сможете использовать на пользу народа. Гм... Думать и думать.

Триумвират ученых перестроился коренным образом. Травы уничтожались безжалостно. Срочно закладывались опыты для подтверждения пропашной системы, откапывались из архивов данные старых опытных станций, выбирались нужные для перестройки материалы и обобщались. Карлюк денно и нощно сидел над бумагами (к чему у него был выдающийся талант). Кажется, он уже решил изменить тему будущей диссертации согласно моменту. Все шло хорошо и быстро. Думалось, все карты разложены правильно.

Но произошла неприятность.

Егоров у себя в колхозе прочитал в областной газете статью «могучей тройки». Он вскипел, побежал к Николаю Петровичу Галкину и, сунув ему газету, закричал:

— Перевертни! Блудословы! Они снова будут «руководить» сельским хозяйством! К черту! Не могу!

— А ты утихомирься. Подумай. И напиши свою статью,— советовал Николай Петрович.

Дома повторилось то же самое. Только те же слова Егоров говорил жене Любе. Та успокаивала:

— Ну что тебе все надо? Что ты — хочешь вмешиваться в дела области?

— Хочу! Буду! Не могу молчать!

Ночью Филипп Иванович ворочался с боку на бок, кряхтел, что-то шептал и никак не мог уснуть. Тихонько встал, взял лампу, бумагу и чернила и ушел в клеть. Там он зажег огонь и стал писать.

Любовь Ивановна все это слышала, тихонько выходила во двор, видела огонь в клети и, вздыхая, шептала:

— Вот уж неугомонный. И так всю жизнь.

Филипп Иванович написал в газету такое письмо.

«Ответ Чернохарову и Столбоверстову.

Открытое письмо.

Недавно я прочел вашу статью «Система земледелия на черноземах». В этой статье вы признаете единственно правильной системой паровую, даже трехполье. Вначале замечу: а все-таки травы мы сеять будем, но там, где они растут. Вы же размахнулись уничтожить травы под корень. Неужели это писали вы, Чернохаров? Ученому Столбоверстову все это не страшно подписать, он уже третий раз меняет «убеждения». Но вы-то, вы, опубликовавший в той же газете год тому назад статью о «единственно правильной травопольной системе земледелия», неужели считаете за дураков всех тружеников сельского хозяйства и специалистов сельского хозяйства?

Вы были ярым «травопольщиком» всю свою сознательную «научную» жизнь. А теперь отреклись от того самого евангелия, которое сами же создали для нас, и строго наказывали нас за «неверие». Может быть, вы не подумали о том, сколько стоила ваша защита докторской диссертации и вся работа научно-исследовательского института? Нет, вы отлично знаете, что три миллиона в год затрачивал институт по вашим темам, а за пятнадцать лет это сорок пять миллионов! А что из этого получилось? Пшик! Чьи это деньги? Народные, деньги рабочих и колхозников. Почему вы не сказали раньше о том, что травы якобы не оправдали себя и у вас? Почему годами жили, присосавшись к теме, наплодивши «ученых», подобных Карлюку, зная, что ничего не выходит из исследований? Разве вы не знали, что несколько выпусков студентов сельскохозяйственных вузов воспитаны на данных вашего института, что студенты выходили с «единственно правильной» системой в голове и оказались теперь опустошенными, встречая на полях колхозов противоречие всему тому, чему их учили? И вы не посмеете ответить. Вам нечего ответить. Отвечу я, бывший когда-то вашим студентом.

Все это потому, что вы потеряли чувство гражданского долга, чувство чести. А теперь срочно «перестроили» научные «убеждения». Не было у вас никаких убеждений, нет их у вас и не будет в будущем, ибо вся ваша жизнь

«большого» ученого — это жизнь подхалима, замаскировавшегося цитатами, чужими обобщениями и чужими же исследованиями.

Вы не поняли, что после вашей последней статьи вы оказались голым. Голый человек на вышке науки! Слезайте, голый человек! Если этого не случится, то вы придумаете еще какой-нибудь новый шаблон в земледелии, у вас будет новая маска и вы во что-то оденетесь, присосетесь, чего доброго, к Мальцеву при помощи опытного в этих делах Столбоверстова и «талантливого» ученика Карлюка.

Ф. Егоров».

Через неделю Филипп Иванович получил ответ из редакции: «...Ваше «Открытое письмо» не может быть опубликовано в газете... оно грубо... Газета не может выражаться таким языком... Редакция согласна с критикой ошибок Вильямса».

Сначала Филипп Иванович приуныл. Задумался. Не знал он никаких правил писания подобных писем, не знал и газетного языка, первый раз в жизни пришлось такое. Он думал: «А может быть, и действительно не полагается печатать такие письма? Но я-то не могу писать никаким другим языком».

Как это случилось, неизвестно, но письмо Егорова оказалось в обкоме партии. То ли редактор, несмотря на грубый тон письма, счел нужным посоветоваться в обкоме, то ли заведующий сельскохозяйственным отделом газеты был не согласен с мнением редактора и продвинул дело по партийной линии, но факт остается фактом — письмо попало сначала в отдел сельского хозяйства, а потом уж к первому секретарю. Егоров об этом знать не знал и ведать не ведал. А в отделе сельского хозяйства один товарищ прочитал вслух своему близкому товарищу, не подозревая того, что поблизости сидел сухощавый скромный человек, обладающий весьма острым слухом. То был Ираклий Кирьянович Подсушка. Он прибыл в обком для того, чтобы передать отчет Карпа Степаныча о деятельности своего тихого учреждения. Именно в то время настойчиво заговорили о каких-то ненужных «карликовых» научных точках, а в связи с этим обком потребовал отчета и от Карлюка. Одним словом, Ираклий Кирьянович сумел-таки ознакомиться с содержанием письма Егорова. Но он сделал вид, будто его ничего абсолютно не интересует,— он при-

нес отчет, и только. Зато, выйдя на улицу, он заспешил и вскоре полушепотом передал Карлюку содержание письма в еще более густых красках, чем оно было в действительности.

— Боже мой! Какая подлость! — восклицал он, поднимая обе руки вверх.— Какая низость! Наклеветать в такое высокое место!

Карп Степаныч сопел. Пока только сопел. Состояния, близкого к обалдению, не было, но негодование, страх и уныние заполнили его благородную, мятущуюся сбоку науки душу.

Утром следующего дня в кабинет Чернохарова вошел Карлюк.

— Приветствую вас! — сказал он уныло.

— Приветствую вас, дорогой! — ответил Чернохаров, широко шагая из угла в угол и не остановившись при входе ученика.— Вы чем-то опечалены?

— Да,— ответил Карлюк и спросил в свою очередь:— А вы чем-то взволнованы?

— Извольте отвечать на вопрос. Гм...

— Вот,— сказал Карп Степаныч и положил на стол развернутые исписанные три листа.— Получена клевета, на вас лично.— Он хлопнул ладонью по бумаге.— Вот! Мне рассказали, а я восстановил по памяти.

— Кто рассказал? Когда рассказал? Куда клевета?

Карп Степаныч ответил на все три вопроса коротко:

— Подсушка. Вчера. В обком.

Чернохаров прочитал. Сел. Гмыкнул раза три подряд и произнес:

— Столбоверстова вызвать. Немедленно.

Через некоторое время, тяжело стуча каблуками, вошел Столбоверствов и, расплывшись в улыбке, поздоровался:

— Мое глубочайшее!

— Читайте,— сказал Чернохаров и сунул ему бумагу в руки, не ответив на приветствие.

Столбоверстов, прочитав, без обиняков стукнул кулачищем по столу и пробасил:

— Вот ч-чер-рт!

Все трое стали ходить по комнате. Чернохаров и Столбоверстов вышагивали по разным диагоналям кабинета, а Карлюк топтался в углу. При встрече на пересечении диагоналей оба профессора посматривали друг на друга вопросительно. Карлюк следил за обоими, стараясь уловить

возможный исход их волнения. Его все больше и больше начинал сковывать страх. И он не очень смело спросил:

— А вдруг... он написал еще куда-то?

— Куда? — спросил Столбоверстов.

— Ну, скажем... в Академию сельскохозяйственных наук,— ответил Карлюк.

— Не страшно,— резюмировал Чернохаров.

— А если письмо попадет к первому? — догадывался Карлюк снова.

— Что-о-о? — громыхнул басом Столбоверстов.

— Возможно,— подводил итог Чернохаров.— Возможно. Гм...

— Привлечь за клевету,— внес предложение Столбоверстов.— Ненавижу клеветников! Всегда ненавижу. Я никогда не писал на противника, я всегда указывал прямо и открыто: вот! — И он ткнул перед собой указательным пальцем вперед.

— Его исключили из партии. Он подал в ЦК жалобу. Теперь, пока его не восстановили, и привлечь за клевету,— настойчиво убеждал Карлюк.

А Чернохаров молчал. Казалось, он не слушает остальных двух. Он соображал. Через некоторое время сказал:

— К секретарю обкома, лично. Гм... И прощупать отношение. А потом... Гм... Смотря по обстоятельствам, написать жалобу на клеветника... секретарю обкома лично. Гм...

— И в ЦК — пока не восстановлен. Напишем? — спросил Карлюк.

— Это решим потом. Потом. Все! Гм... Гм...— закончил беседу Чернохаров.

— Сегодня к секретарю? — спросил Столбоверстов.

— Да,— ответил Чернохаров.

— Все втроем пойдем?

— Нет. Один пойду... Вечерком соберемся здесь же. Гм... Будьте здоровы!

Секретарь обкома Натов, встав из-за стола, вышел навстречу Чернохарову, пожал ему руку и попросил сесть. После этого сел сам.

— Я буду краток,— начал Чернохаров, заранее обдумав свою речь.— Ни у вас, ни у меня... гм... нет времени на длинные разговоры.

— Присоединяюсь,— добродушно сказал секретарь, по-

вернувшись в кресле поудобнее и откинув ладонью седые волосы. Казалось, он тоже приготовился к краткому и точному разговору.

— Вот так,— продолжал Чернохаров.— Пришло время пересмотреть наши... гм... позиции в сельскохозяйственной науке. Гм... Ошибки учат.

— Вы о травопольной системе?

— И о травопольной... и о севооборотах, в частности... Гм...

— И что же вы предлагаете?

— Мы высказались в статье. Читали, надеюсь?

— Читал. Заметил — перестроились. Что же практически предложим колхозам по севооборотам?

— Видите ли... Этот вопрос предстоит изучить. Конечно, изучить пропашные севообороты.

— Простите! Пра-кти-чески: какие севообороты будем рекомендовать колхозам разных зон?

— До обобщений опыта нельзя вот так, сразу, рекомендовать... Гм... А опыта еще мало. Надо изучить...

— Прошу извинить! У нас так много опыта с неправильными севооборотами и уродованием полей, что пора бы уже иметь и практические рекомендации от науки. Как, а?

— Да. Пора.

— Пора, пора.

Вместо короткого разговора получилось нечто неудобное. Чернохаров ничего не мог предложить «практически», а секретарю обкома до зарезу надо было выправлять свистопляску с севооборотами. Но Чернохаров уже упустил момент для начала разговора о клевете. Он попробовал возобновить начатую «короткую речь»:

— И вот, когда пришло время пересмотреть наши позиции и... гм... изучить... Клеветники стараются.

— Они всегда стараются,— заметил Натов.— Что вы имеете в виду?

— Чудовищный вымысел больного и озлобленного воображения.

— Опять не понимаю,— будто удивился Натов.

— Значит, у вас лично письма нет. Оно находится в отделе сельского хозяйства. Гм... Письмо Егорова... Агронома Егорова.

— А-а, вот оно что! Каким же образом вы узнали об этом? А?

Нет, Чернохарова не собьешь таким вопросом, он не ошибется. Он подумал, тряхнул животом и ответил:

— Сам Егоров и разболтал. Бахвалиться-то он мастер. Хвастун. Гм...

Натов внимательно еще раз посмотрел на Чернохарова, чуть подумал тоже. Что-то лукавое блеснуло у него в глазах на какую-то долю секунды и сразу же скрылось, он что-то уже решил, но продолжал тем же тоном, серьезным, прямым и в то же время добродушным:

— Письмо это у меня.— При этих словах он достал его из стола.— Та-ак... Письмо, вот оно. Та-ак. А кто такой Егоров?

— Бывший агроном.

— Ах, вот что! А ну, что тут написано? Та-ак.— Он пробежал глазами письмо, выхватил вслух отдельные фразы: — «Три миллиона в год... А что из этого получилось? Пшик... Может быть... не было свободной мысли... Голый человек...» — Он оторвался от чтения и сказал: — Ну что ж, подумаем.

— Но это же клевета,— возразил Чернохаров.

— Подумаем,— еще раз повторил Натов.

— Но... Гм...

— Да. Конечно.

— Значит, вы ничего пока не предпримете?

— По какому вопросу?

— По этому письму.

— Да при чем же тут я? Вы — ученые, агрономы — можете спорить, ругаться, доказывать, а мне важно, что из этого получится для практики сельского хозяйства, для колхозов и совхозов. А в результате этих споров все, что полезно для социализма, мы будем поддерживать и поощрять. А?

— Но ведь письмо — оскорбление!

— Если вы считаете оскорблением, защищайтесь.

— Простите! Могу ли я рассчитывать на вашу защиту?

— От кого вас защищать?

— От этого клеветника.

— От бывшего колхозного агронома?

— Да.

— Ну, знаете, если у профессора не хватит сил доказать рядовому, бывшему агроному, то обком... обком тут ни при чем. А?

— Да.

Последнее «да» Чернохаров сказал нечаянно. У секретаря была такая привычка — заключать высказанную в разговоре фразу вопросительным «а?», что означало: «Поняли ли вы мою мысль? Согласны ли с ней или будете возражать?» Но Чернохаров потерялся от неудачного разговора и так прямо и ляпнул: «Да». Этим он отрезал путь к дальнейшему разговору и встал.

Когда Чернохаров вышел из кабинета, Натов еще раз прочитал письмо, уже без улыбки, и, нажав кнопку звонка, сказал вошедшему помощнику:

— Вызовите мне агронома Егорова из колхоза «Правда».

— По какому вопросу?

— По личному. По моему личному вопросу.

Натов остался один. Задумался. Но думать долго было некогда — ждали приема многие. Он только мысленно резюмировал краткие размышления: «Перестроить работу научных учреждений области. От этого зависит многое — будут лететь миллионы на ветер или не будут. Не наплел ли тут Егоров как обиженный?» А в записную книжку записал: «Лично и тщательно обследовать райком и колхозы Н-ского района». Он снова нажал кнопку и сказал в открывшуюся дверь:

— Следующий.

А вечером у Чернохарова собрался тиумвират. Чернохаров точно и лаконично передал разговор с секретарем.

Все сидели некоторое время молча. Потом каждый сказал по одной фразе.

— Надо признать ошибки полностью,— сказал Столбоверстов решительно и окончательно.

— Надо бороться! — твердо, не свойственным ему тоном пропагандиста сказал Чернохаров.

— Страшно,— чуть слышно сказал Карлюк. На него, как и всегда в тяжелую минуту, нашло отчаяние. Он уже не верил ни Чернохарову, ни Столбоверстову.

Сказали они так, коротко, и разошлись: двое уверенные и непоколебимые в своей уверенности, а третий — с мучительным вопросом в голове: «Что-то будет дальше?»

Карп Степаныч после этого не спал двое суток подряд. Было страшно: он вообразил, что враг уже берет его за горло. На третьи сутки он уснул, но страшные сны мучили его так, что он встал утром совершенно разбитым.

Чернохаров заперся у себя в кабинете и думал.

А Столбоверстов всегда был на людях и басил чистосердечно:

— Ошибки свои надо уметь признавать. Кто ничего не делает, тот только и не ошибается. Ошибся — исправься! И все! Неужели нельзя понять простой логики? — При этом он разводил руками в недоумении и, в общем, не очень-то страдал.

Но лед шел и шел. И вот еще одна льдина ударила по Карлюку: закрыли — совсем ликвидировали! — Межоблкормлошбюро.

Сошлись они в последний раз с Подсушкой в своем умершем учреждении. Посидели-посидели вдвоем и с грустью посмотрели на две блестящие чернильные крышечки, напоминавшие о тихой заводи, в которой два друга спокойно и безмятежно прожили не один год. И Подсушка в глубокой печали спросил:

— Разрешите... на память... взять чернильную крышечку? — Голос у него дрожал.

— Возьмем, друг, по одной. Вы одну, и я одну. Будем помнить дни служения... науке.

— Будем,— эхом отозвался Подсушка.

Они тепло попрощались, долго-долго трясли руки, прослезились. Расстались они друзьями. Но, уходя от Карпа Степаныча, Подсушка оглянулся ему вслед — в последний раз! — и сказал так:

— Погоди, сукин ты сын! Я ведь напишу все — какой ты «наукой» тут занимался. Ты ведь теперь мне никто.

Вскоре Подсушка устроился конторщиком в каком-то далеком от науки учреждении.

Карп Степаныч искал работу. Ведь только подумать! Если бы была какая-нибудь специальность — дело другое: и токарь, и слесарь, и пекарь всегда найдут работу. А вот что делать свободному кандидату сельскохозяйственных наук? В институт — пока и думать нечего. На опытную станцию — мест нет. В колхоз агрономом — унижение. Все карты спутались. Думал-думал Карп Степаныч и надумал: «А пойду-ка я председателем колхоза!» Надумал так и подал заявление в обком партии первому секретарю. В заявлении написал: «...кандидат наук»... «желаю служить народу»... «богатый опыт имеется»... «но чтобы недалеко от города и с сохранением квартиры»... В общем, написал все очень толково. И уверенно ожидал решения, будучи убежден, что он приносит себя в жертву социализму.

И что же вы думаете? Отказали! Непонятно: людей просят — они отказываются, а Карп Степаныч сам просился — ему отказали. Ну просто тупик получился какой-то. На Карпа Степаныча стало находить что-то вроде помрачения. Он даже стал вышивать болгарским крестиком подушечки ради подавления скуки и тоски. А тут еще беда: Джон подох. Изида Ерофеевна ходила вся в слезах, убиваясь о Джоне и о муже.

Зашел как-то к Карпу Степанычу доцент Святохин (тот самый, смирнейший и вежливейший, соглашающийся со всеми). Он выложил свое полное согласие с новыми течениями в сельскохозяйственной науке и стал утешать:

— Все утрясется, утихомирится. Не такое бывало, а проходило. Глянет солнышко — обсохнете. И пойдет дело снова. Прошу вас: не падайте духом, не унывайте. Попробуйте читать лекции где-нибудь.

Карп Степаныч обнял Святохина. Тут же оделся и направился вместе со Святохиным устраиваться в общество по распространению знаний.

Представьте себе, не очень-то оказали доверие анкете Карпа Степаныча в этом обществе. А сказали так: «Выбирайте тему, прочитайте лекции в колхозах. Потом посмотрим».

И все равно Карп Степаныч повеселел.

Глава семнадцатая

В ГУЩЕ ЖИЗНИ

Месяца через четыре, после успокоения Карпа Степаныча, из Н-ского районного отделения общества по распространению знаний в областное поступило отношение с просьбой выслать высококвалифицированного лектора для чтения антирелигиозных лекций «хотя бы на неделю». В этом отношении говорилось, что антирелигиозная пропаганда в районе запущена, а ученых кадров для этой цели нет.

Получили такое письмо в области, подумали, посмотрели список, позвонили одному, другому ученому. Оказалось:

все ученые сильно заняты и в колхоз ехать никак не могут. Единственный ученый, которого можно использовать «на неделю»,— это Карп Степаныч Карлюк. Его вызвали, побеседовали, снабдили брошюрой «Внутреннее строение солнца и звезд» и пожали руку. Он весьма вежливо откланялся, получил командировочные и стал готовиться к выступлению в колхозах на антирелигиозную тему на базе последних данных астрономии.

Так началась новая деятельность Карпа Степаныча Карлюка. Он приближался к жизни. Выражаясь распространенным языком, можно утверждать, что Карп Степаныч начинал изучать жизнь.

Перед тем как ехать в колхоз, состоялись семейные сборы. Было все предусмотрено. Изида Ерофеевна купила даже и резиновые сапоги на случай ненастья. Все могло быть. Таким образом, при наличии запаса одежды оказалось багажа много — три чемодана. Как тут быть? Не брать же с собой носильщика в колхоз. Выход нашла опять же Изида Ерофеевна.

Она сказала:

— Поеду-ка я с тобой сама. Что ты сделаешь один!

— Пожалуй,— согласился Карп Степаныч.

После этого супруга купила еще два глиняных горшка, то есть две самые обыкновенные макитры.

— А горшки зачем? — спросил Карп Степаныч.

— Меду выпишем в колхозе. Сюда войдет килограммов пятнадцать — двадцать.

И поехали. Сначала поездом. Потом, со станции до района, на грузовике. Трудно. Устали. Остановились в районной гостинице, отдохнули. А затем уж Карп Степаныч отправился в районное отделение общества. Встретили Карпа Степаныча хорошо. Как-никак, а в район приехал кандидат сельскохозяйственных наук — случай довольно редкий. Карп Степаныч большую часть времени хранил глубокомысленное молчание и казался весьма респектабельным.

После всех приветствий и объяснений о состоянии антирелигиозной пропаганды ему сказали:

— Не мешало бы представить вас районному начальству.

— Что ж, можно,— согласился Карп Степаныч.

Председателя райисполкома не оказалось — уехал в район. Карпа Степаныча повели к секретарю райкома.

Секретарь тоже собирался выезжать, но не успел — застали его.

Карп Степаныч представился.

— Карлюк, кандидат сельскохозяйственных наук,— сказал он, сгибаясь в привычную для него почтительную позу.

— Галкин,— назвался в свою очередь и секретарь, не сгибаясь, подобно вошедшему, а рассматривая его внимательно.— Вы из области?

— Да.

— Читать лекции?

— Да.

— Это хорошо. А позвольте спросить, как ваше имя и отчество? — Казалось, секретарь что-то вспомнил.

— Карп Степаныч,— ответил Карлюк.— А ваше?

— Николай Петрович.

— Очень приятно. Рад познакомиться.

Карлюку это знакомство не говорило ничего — он не знал Николая Петровича, никогда о нем не слышал. Но могут спросить: как же это все получилось? Куда девался Каблучков? Как оказался Николай Петрович Галкин секретарем райкома партии? Ответ простой. Заболел Каблучков. Вот взял и заболел сам собою. Пришел с выборов, где его «прокатили на вороных», а выбрали Галкина, лег на постель и сказал:

— Должно быть, я сделал все, что мог.— Потом подумал печально: — Ну и секретарь обкома — приехал и поставил все на голову, вверх ногами!

Каблучков искренне верил, что Галкин — ноги, а он, Каблучков,— голова. И заболел. Точных причин медицина так и не установила. Да и то сказать: причина-то вряд ли доступна определению медиков. Тут и просвечивание не объяснит ничего, если человек перепутал голову с ногами. Печально, конечно, но заболел.

Итак, лицо Галкина ничего не говорило Карлюку, ровным счетом ничего. А цепкая память секретаря помнила всю жизнь Егорова, помнила, следовательно, и роль в ней Карлюка.

— Так, так,— заключил он свои молниеносные воспоминания.— Значит, читать? Лекции?

— Читать. Лекции,— подтвердил Карп Степаныч.

— Что ж, хорошо. Поезжайте-ка в колхоз «Правда». Там, знаете ли, нужны лекции.

— Пожалуйста! Можно начать с «Правды».

— А вы предполагаете здесь задержаться?

— Командировка на две недели.

— Ну, хорошо. Хорошо. Посмотрим.

А когда Карп Степаныч вышел, Николай Петрович взял телефонную трубку и вызвал колхоз «Правда».

— Привет, Филипп Иванович! Живешь?.. Добро! Телятник кончил? Добро!.. Нет, сегодня к тебе не буду — ты сам с усам. А вот сюрприз тебе есть. Сегодня приедет лектор из области, кандидат... Хорошо, говоришь? Не плохо. Принимай... Карлюка!.. Алло! Алло! Ты что, опешил?.. Как это так «выгоню»? Не горячись. Дай ему высказаться перед народом. Пусть... Как? Не пойдешь сам? Ну сам можешь не ходить, а секретарь парторганизации Боев пусть побудет обязательно, послушает. Не горячись. Бывай здоров!

Через несколько часов «Победа» мчала Карлюка в колхоз, мчала со всеми приложениями: с тремя чемоданами, двумя макитрами и Изидой Ерофеевной.

Первым делом Карп Степаныч обратился к счетоводу насчет выписки меда. Счетовод спросил:

— Сколько?

— Килограммов пятнадцать — двадцать, — ответил Карп Степаныч, помня о емкости макитр.

— Ордер выписать могу, а количество надо согласовать с председателем. Для вас, возможно, и разрешит.

— А где я могу видеть председателя? — спросил Карлюк.

— Он в кабинете у себя, но сказал — сегодня никого принимать не будет. Очень занят. Очень!

— А вы доложите: приехал лектор, кандидат сельскохозяйственных наук.

— Он знает. Но ему некогда. А насчет меда я сам зайду. Для вас, возможно, выпишет.

Карлюк подождал, сидя в комнате счетовода. Он думал: «Ну и бюрократ же председатель! Вот и подними с ними сельское хозяйство, с такими».

— Что? Меду ему? — спросил Филипп Иванович у счетовода.

— Просит двадцать килограммов.

— Дай-ка мне ордер! —И Филипп Иванович собственноручно написал: «Двести граммов».

Счетовод вышел из кабинета и сказал Карлюку:

— Пожалуйста! Я говорил, выпишет. И выписал.

Только не заметил Карп Степаныч ехидной улыбки на лице. Карлюк взял ордер и, не глядя, сунул в боковой карман, будучи уверен, что двадцать килограммов меда у него в кармане.

— Иди получи,— сказал он самодовольно Изиде Ерофеевне, придя на временную квартиру и подавая супруге ордер неразвернутым.

— Выписал? — обрадовалась Изида Ерофеевна.

— А как же! Цена плевая — копейки, что-то около трех рублей заплатил. Иди! Попросишь кого-нибудь из колхозников донести. Дай ему за это рублишко. Дай, дай! Ничего, дай!

Вскоре Изида Ерофеевна прибыла в кладовую с макитрой в каждой руке. Она подала ордер. Кладовщик Иван Григорьевич Кузин надел очки, посмотрел на ордер, повернул его и еще раз посмотрел с тыловой стороны, потом поверх очков посмотрел на макитры, окинул взором Изиду Ерофеевну.

Он не сказал ни единого слова, а взвесил кусочек меда, указал пальцем на него и только тогда произнес первое слово, сняв очки:

— Берите.

— Это что?! — воскликнула Изида Ерофеевна.

— Двести граммов меда,— холодно ответил кладовщик.

— Сколько?! — взвизгнула покупательница.

— Двести. На́! Смотри ордер.— Иван Григорьевич перешел на ты, потеряв уважение к клиентке.

— Не нужен мне твой ордер! Ты что, мои горшки измазать медом хочешь?! Невежа!

— Нужны-то мне твои горшки,— спокойно ответил кладовщик.— Мне они хоть бы век не были, твои горшки. Мне все едино — чистые они или грязные, твои горшки. Подумаешь! Твои горшки! «Неве-е-жа»! Подумаешь, какая «вежа» приехала! Вас тут только допусти, вы весь колхоз выпишете по ордерам ни за копейку. Иди, иди! Мне некогда с тобой антимонии разводить.

Изида выскочила из кладовой, забыв макитры.

С этого и началось варение Карпа Степаныча в гуще жизни.

Наступил вечер. В клуб собралось народу уйма! Карп Степаныч взошел на сцену, чуть расстроенный поведением кладовщика и его обращением с супругой. Однако он утешился тем, что завтра можно исправить всю эту неприятность и осадить зазнавшегося невежу. Василий Сергеевич Боев (тот самый Вася Боев, бригадир тракторного отряда) объявил:

— К нам приехал кандидат сельскохозяйственных наук товарищ Карлюк. Он прочтет лекцию на антирелигиозную тему.— Вася обернулся к Карлюку и спросил: — Как называется ваша тема?

— О строении солнца и звезд, и есть ли бог,— ответил Карлюк.

— «О строении солнца и звезд, и есть ли бог»,— повторил Вася. И добавил:— Просим вас, товарищи, слушать тихо. Вопросы задавать после лекции. Чтобы — культурно. Прошу! — обратился он к Карлюку.

Карп Степаныч стал за трибуну. Перед ним сидела публика разных возрастов — от семилетних ребят и до глубоких стариков. Были здесь и празднично одетые и просто в рабочей одежде. Начал он свою лекцию уверенным баском. Он говорил о туманностях, о том, как они образуются, как во вселенной нет ни начала, ни конца и какая земля маленькая по сравнению с большими звездами. Но говорил он не «от себя», а по брошюре «Серия № 3» издательства «Знание». Он старательно переписал опубликованную в брошюре лекцию и читал ее, как свою, добавляя лишь слово «товарищи»:

— «Принято считать, товарищи, что атом кислорода имеет атомный вес, равный в точности шестнадцати элементарным единицам, товарищи. Одна шестнадцатая доля массы атома кислорода принята за единицу, товарищи... Масса атома водорода равна единице и восемьсот двенадцать стотысячных, а масса нейтрона — единице и восемьсот девяносто три стотысячных. Товарищи! Если выразить массу протона в граммах, то она окажется, товарищи, чрезвычайно малой, а именно: один и шестьдесят семь сотых, умноженное на десять в минус двадцать четвертой степени грамма, товарищи».— И он написал на доске мелом: $1{,}67 \cdot 10^{-24}$.— Понятно, товарищи? — спросил он, не ожидая ответа.

— Понятно,— неожиданно откликнулся Пал Палыч Рюхин.— Валяй дальше.

— Тише! — предупредил Вася Боев и постучал о графин, давая этим понять о неуместности реплики.

Карп Степаныч продолжал:

— «Вещество, находящееся в недрах звезд, является смесью быстро движущихся частиц: атомных ядер, электронов и частиц излучения — фотонов. Здесь господствует полный... «беспорядок»... столь непривычный для «земной» действительности... Обратимся к так называемому уравнению Клайперона.— Карп Степаныч написал мелом уравнение.— Это уравнение связывает давление, товарищи, плотность и температуру так называемого идеального газа, товарищи».

Кто-то громко вздохнул. Кто-то кашлянул. Кто-то неожиданно зевнул, громко, с потягом.

Василий Сергеевич написал лектору записку:

«Закругляйтесь. Могут не выдержать. Я свой народ знаю».

Карп Степаныч прочитал записку, посмотрел на Боева, на публику и спросил:

— Вам понятно, товарищи?

— Понятно! — ответил кто-то из задних рядов.—Давай теперь про бога.

Но лектор еще целый час продолжал все в том же духе.

Под конец лекции он заговорил «от себя»:

— Итак, товарищи! Вселенная не имеет ни конца ни краю. Вот почему и нет бога: ему жить негде... А троица, ваш престольный праздник — бог-дух, бог-отец, бог-дед,— это от язычников осталось. Благодарю за внимание.— И Карп Степаныч поклонился в зал.

Пал Палыч Рюхин, поскольку он сидел в передних рядах, встал со скамейки и тоже поклонился лектору, уже из зала. При этом Карп Степаныч подумал: «Вежливые люди!»

— Какие будут вопросы? — спросил у публики Василий Сергеевич.

Сначала публика задвигалась, зашевелилась. Потом как-то сразу и затихла. Вопросов не было. Только один престарелый колхозник проскрипел:

— «Бог-дед» — нету такого. Бог-сын есть. А бог-дед не бывает.

— Ну что ж, задавайте вопросы, товарищи! — обратился еще раз Боев.

И вот из глубины зала зазвучал почти детский голос мальчика:

— Почему Меркурий обращен к Солнцу всегда одной стороной?

Стало еще тише. Карп Степаныч молча поднял глаза в потолок, будто обращаясь к небу. Он вспоминал. Потом переспросил:

— Меркурий?

— Да, Мелкурий,— подтвердил Пал Палыч Рюхин.— Почему так? Давай, давай, Васька! — обратился он туда, откуда был задан вопрос.

— Видите ли, дорогие и многоуважаемые товарищи! Меркурий, конечно, планета. Так? Планета. А раз она, планета, вращается, то, значит, вращается она с одной стороны, а с другой стороны... нельзя так думать, что она... не вращается. Отсюда вывод: даже астрономы не могут сказать «почему», а я не астроном.

— А кто же? — спросил голос.

— Кандидат сельскохозяйственных наук.

— А это что — кандидат?

— Степень такая есть, ученая,— ответил Карлюк.

— А-а! — протянуло сразу несколько голосов.

— Одним словом, по сельскому хозяйству?

— Да.

— А чего же это вам, дорогой товарищ кандидат, пришлось по звездам-то читать? Вы бы и говорили по сельскому хозяйству. Оно нам сподручнее понимать.

Это сказал тот самый кладовщик, Кузин Иван Григорьевич. Здесь он был без очков, потому что видел хорошо. Вообще говоря, Иван Григорьевич — личность в колхозе приметная. Лет ему под семьдесят. Бородку носит клинышком, ходит в помятой шляпе. С первых дней организации колхоза и до настоящих дней он с удовольствием разъясняет колхозникам новости из газет и журналов. В бога он совсем не верит, ни капельки. А самое главное, до почтенной старости спокоен и... маленько хитроват. Это он переключил лектора на сельскохозяйственную тематику в надежде на то, что удастся его «прощупать». Так и звучала в его словах нотка: «А ну-ка, что ты за птица!»

И он после паузы добавил:

— По-моему, надо бы вопросы и по сельскому хозяйству и про бога. Увязать надо.

Кто его знает, что скрывалось под этим предложением! У Ивана Григорьевича никогда не угадаешь.

— Увязать! — поддержала его публика единодушно.

— Пожалуйста! — согласился Карлюк, уже изрядно взмокший от первых вопросов.

— Не-ет,— возразил Пал Палыч всем сразу.— Сперва надо выяснить про Мелкурию. Почему она так? Мало ли что она планида! А почему одной стороной? И мне желательно знать. Может, он, бог-то, на той стороне, товарищ депутат.

— Не депутат, а кандидат наук,— поправил его Иван Григорьевич Кузин.

— Ну и что ж из этого? — возражал все-таки Пал Палыч.— А про Мелкурию выяснить надо все равно. Мы только первый год получили по два кило хлеба. Теперь и про Мелкурию интерес есть узнать. Выяснить обязательно.

— Наукой не установлено,— сказал Карп Степаныч, чтобы отвязаться от назойливого водовоза.

Почему — неизвестно, но легкие смешки запорхали в зале из угла в угол. Зал загудел.

— Тише, тише, товарищи! — остановил Василий Сергеевич Боев.— Не волнуйтесь! Выясним. Для ответа имеет слово ученик девятого класса Костров Виталий. Давай, Виталий!

— А я тут при чем? — смущенно спросил юноша из третьего ряда.

— Ну, не скромничай. Выручай,— уговаривал Боев и улыбался.

Виталий вышел. Стал около стены. Заложил руки назад и ломающимся баском объяснил коротко:

— Меркурий делает оборот вокруг своей оси за восемьдесят восемь суток. За такое же время он вращается и вокруг солнца. Поэтому солнце освещает всегда только одну сторону.— Виталий решил, что это не очень понятно. Он взял у ближайшего мальчика (из тех, что торчали всегда около сцены) кепку за пуговку и, обведя ее вокруг лампочки, показал, как при вращении Меркурия освещена одна сторона.— Вот! — заключил он.

— Ясно? — спросил у публики Василий Сергеевич.

— Ясно! — откликнулся дружный хор голосов.

— Так. Переходим к следующим вопросам. Кто имеет слово?

— А ну-ка, дай мне слово, Василий Сергеевич,— попросил Иван Григорьевич Кузин.

Почему-то все переглянулись, и многие улыбнулись. Все знали спокойствие и хитрецу кладовщика.

— Что ж, товарищи, у меня вопрос простой,— начал Иван Григорьевич.— Раз вы специалист по сельскому хозяйству, то и вопрос мой будет насчет сельского хозяйства. Он и к богу касается, поскольку, как говорит легенда, бог создавал все самолично. Ну-с... Возьмем, товарищи, обыкновенную овцу. Можно?

— Пожалуйста! — сказал в изнеможении Карп Степаныч.

— Ну-с... У моей старой овцы в верхней челюсти остались только два резца. А сколько у нее бывает резцов в верхней челюсти — не знаю.— Иван Григорьевич сел, захватив клин бородки в горсть, и стал ждать ответа.

С Карпа Степаныча повалил пот ручьями. Он то улыбался, то становился серьезным, выражение его лица менялось ежесекундно. Все увидели замешательство кандидата, и все ждали: что-то он скажет на вопрос Кузина?

И Карп Степаныч пошел напролом, наугад, догадавшись, что хуже того, что было, уже не может быть.

— Шесть или восемь — не помню, но обязательно четное число.

Громкий хохот встряхнул здание клуба так, что задребезжало стекло за сценой. Карп Степаныч сел. Платок, которым он вытирал лицо, стал совсем мокрым, поэтому наш кандидат вытирался просто рукавом. Было очень похоже, что он уже ровным счетом ничего не соображал. А зал хохотал.

Почем было знать Карпу Степанычу, что у овцы в верхней челюсти не бывает резцов совсем, от рождения! Конечно, тут и не особенно сложно, если знать. Но вся беда-то в том, что он этого не знал. Да и не мог знать. Он ведь окончил в институте полеводческое отделение. Это вполне понятно — у нас готовят агрономов очень узкой специальности. Поясним более точно. Бывает агроном-полевод — он не знает ничего о животноводстве. Бывает зоотехник — этот мало соображает по полеводству. Бывает просто садовод или просто овощевод — эти еще «уже».

И так далее. Вполне возможно, будут специалисты такого профиля: гусятник (только по гусиному вопросу), овчатник, курятник, а в овощеводстве — чесночник, огуречник, тыквенник и тому подобное. Ведь случается порой — соберутся такие специалисты в колхозную бригаду и ну требовать, ну трясти душу бригадира. И главное, требуют, чтобы бригадир комплексной бригады знал все: и полеводство, и животноводство, и садоводство, и овощеводство — все, все! А они — каждый только свое.

Но смеялись тогда здорово. Конечно, такого беспорядка Василий Сергеевич Боев допустить не мог. Хотя и смеялся сам. Он позвонил карандашом о графин и остановил всех такими словами:

— Товарищи! Где вы находитесь? Вы находитесь в клубе. Надо культурно. Так нельзя.

И все успокоились. Тогда Пал Палыч спросил:

— Значит, ты, товарищ, — кандидат?

— Да, — жалобно ответил Карп Степаныч.

— Раз ты, товарищ, не в курсе, то так и должон сказать: я, мол, пока не агроном, а только кандидат, — поучал уже его Пал Палыч.

— Кандидат — это больше, — пробовал возразить Карп Степаныч.

Куда там! Разве Пал Палычу возразишь? Он тут же пояснил:

— Мало ли что больше. Ну, хуже, значит. У нас вот есть настоящий агроном — теперь он председателем колхоза, Филипп Иванович Егоров. Так того сразу видать — агроном, а не какой-нибудь там кандидат.

Карп Степаныч привстал. Потом присел. Потом еще раз привстал, а сесть уже не смог. Он только и спросил тихо, убитым голосом, выдавленным из пересохшего горла:

— Егоров? У вас? Председателем?

— Да. Егоров,— ответил Василий Сергеевич.

Карп Степаныч пошел со сцены. Он быстро зашагал к выходу, ни на кого не глядя. Зал молчал. Карп Степаныч мысленно повторял про себя одно только слово: «Восстановили! Восстановили!»

Он немедленно потребовал в письменном виде, чтобы его отвезли на станцию.

Но машину подали только ранним утром. А когда автомобиль отъезжал от квартиры, двое бежали за ним, махали руками и какими-то круглыми предметами. Встречные

колхозники, идущие на работу, делали шоферу знаки, показывая назад. Он остановился и увидел: позади бежали старик, Кузин Иван Григорьевич, и мальчик. Они кричали:

— Макитры-ы! Макитры-ы! Макитры забыли-и!

Как только Карп Степаныч услышал эти крики, он приказал:

— Немедленно вперед!

И остались макитры колхозу на память.

Теперь Иван Григорьевич показывает их приезжим и говорит:

— От кандидата остались. Макитры-то научные!

Иногда приезжий спросит:

— Ну, как он из себя-то, кандидат-то?

Иван Григорьевич отвечает коротко:

— Представительный!..— И махнет рукой: дескать, не нашего ума дело обсуждать человека ученой степени.

Так-то вот и окунулся Карп Степаныч в гущу жизни. Не жизнь, а одно переживание.

В район он не заезжал, а прямо на станцию.

Точно не знаем, но в общество по распространению знаний Карпа Степаныча, кажется, не приняли. Не сумели и там оценить человека.

Глава восемнадцатая

●

ПОТРЯСЕНИЕ МОЗГОВ

●

Не будем заниматься описанием того, как Карлюк с супругой ехали домой, как они доехали, как переживали. Важно одно: земля закачалась под ногами Карпа Степаныча. Пока он сидел в вагоне, или в автомобиле, или в гостинице — то есть на чужом месте,— качания земли под ногами не было заметно. Но как только он начинал ходить, земля начинала качаться под его же собственными ногами. Это было очень странно для Карпа Степаныча. Он даже иногда останавливался, некоторое время стоял неподвижно с таким же философским выражением лица, с каким дети сидят на горшочке, а потом спрашивал у жены:

— Иза! Под тобой качается?
— Не-ет,— с удивлением отвечала та.
— А подо мной качается. Отчего бы это стало?
— Устал ты. Отдыхать надо. И волнения...

Изида Ерофеевна еще в пути начала замечать, что с Карпом Степанычем творится неладное. А дома это стало еще отчетливее заметно — на Карпа Степаныча напала сонная болезнь. Спит, спит он, встанет — поест. Поест и снова засыпает. Кажется, если бы его не будить, то он во сне и ел бы. Редкое явление! Но медики утверждают: бывает. А старые люди говорят, что такие сонливые иной раз даже и изрекают кое-что.

В таком состоянии он пробыл несколько дней. А потом, наоборот, спал мало, не более восьми часов в сутки, то есть только ночью. Днем же ему, оказалось, делать нечего. И он стал поэтому думать. И чем больше он рассуждал, тем сильнее земля качалась под ним и тем все более странные мысли он начал высказывать. Мысли чаще всего выходили в виде вопросов к супруге и выяснялись в итоге двухсторонней беседы. Иной раз он спросит:

— Иза! А как ты думаешь о происхождении слова «сметана»?

Видно, он долго думал над этим вопросом, но не решил.

— Сметана? А кто ж ее знает...—отвечала супруга.
— Вот видишь, какие у нас ограниченные знания.
— А на что мне знать? Сметану просто можно купить на базаре и без всякого происхождения.
— Так-то оно так, но знать надо. Все это наука и... жизнь.
— Да брось ты думать,— просила Изида Ерофеевна, замечая все более ненормальное поведение мужа.— Пожил бы в покое месячишко.

Карп Степаныч вздыхал и говорил:
— Мысли не остановишь. Человек в них не волен.

Проходило некоторое время, и Карп Степаныч снова обращался к супруге:
— Плохо ты сказала Егорову... Тогда-то... Помнишь?
— Это о броне, что ли?
— То-то вот и оно.— И снова вздыхал. Снова мучительно думал, сидя неподвижно и смотря в одну точку. Потом задавал вопросы снова:— А может быть, я бесполезно и старался с этими диссертациями-то?

— Да плюнь ты на все! Отдохни...

А Карп Степаныч все вздыхал и вздыхал. Вздыхал все печальнее и печальнее.

Изида Ерофеевна смотрела на мужа удивленно и думала: «Никогда с ним этого не было. Что-то неладное у него с мозгами».

За завтраком, во время еды, он вдруг переставал жевать и спрашивал с набитым ртом:

— А может быть, мне бросить всю эту науку и...

— И заняться каким-нибудь делом,— пыталась завершить мысль супруга.

— Так-то оно так, но...— И Карп Степаныч что-то не договаривал, замолкая и вновь жуя.

После еды сидел, молчал и думал о своем положении. И чем больше думал, тем все более ненормальные возникали вопросы. Однажды он спросил:

— Иза! А как ты думаешь: почему меня не назначили председателем колхоза?

— Не знаю, милый, не знаю.

— Вот и я не знаю. Хорошо это или плохо — что не назначили?

— Не знаю, Карик, не знаю.

Раньше Карп Степаныч не раздумывал над тем, что хорошо и что плохо: впереди была ясная цель — диссертация, а все остальное расценивалось с точки зрения пригодности или непригодности для этой цели. Теперь, оказалось, цель потеряна. И появились ненормальные для него мысли.

Он как-то проснулся среди ночи, сел на кровати, потрогал Изиду Ерофеевну и спросил:

— Ты тут?

— Тут.

— Разбудил я тебя?

— Разбудил,— спросонья отвечала жена.— А что?

— Возник вопрос: в партию меня могут принять? Или не могут?

— Вряд ли... Не знаю, Карик.

— Может, подать заявление? А? Раскаяться во всем... признать ошибки... И сказать, что меня надо послать не в науку, а... Куда бы это меня послать?

Супруга не отвечала, так как тоже не знала, куда его можно послать. Она просто засыпала. В мучительном раздумье засыпал и Карп Степаныч.

Так прошло недели две. Карп Степаныч совсем замолчал. Никуда не выходил. Он забился, как осенняя муха в щель, и даже не пытался смотреть на мир божий.

Однажды пришел неунывающий Святохин. Он решил навестить товарища и утешить. Пришел, позвонил, стоя у двери, на лестнице. В это время Изиды Ерофеевны дома не было (ушла на базар), поэтому Карп Степаныч сам лично вышел в прихожую и спросил через дверь:

— Кто?

— Будьте любезны открыть. Святохин. Святохин я.

— Вам кого?

— Да вас же, вас! Карпа Степаныча Карлюка!

— Его нет дома,— четко ответил Карп Степаныч и решительно отошел от двери. На повторные звонки он не вышел.

Святохин встретил Чернохарова, покрутил пальцем около лба и сказал.

— Карлюк-то того... Не выдержал.

— Да ну? — забеспокоился Чернохаров.— Надо сходить к нему.

А Карп Степаныч все думал, и думал, и думал. И молчал. Только один раз он спросил у Изиды Ерофеевны, перед тем как задремать в кресле:

— Я человек или не человек?

— Что с тобой? — И жена заплакала.

Карп Степаныч неожиданно закричал на всю квартиру:

— Ты отвечать будешь или не будешь?!

— Конечно, человек. Настоящий человек. Все как у человека,— сказала Изида Ерофеевна и подумала: «Врача!»

Ее ответ немного успокоил горячую работу мозга ученого мужа, и Карп Степаныч задремал.

Изида Ерофеевна отправилась за врачом.

Так, стараясь понять свое положение, Карлюк сошел с ума. В отдаленных тайниках мозга — где-то в самой-самой глубине! — попытался было проснуться человек. И Карп Степаныч сошел с ума — не выдержал.

В том, что он попал в сумасшедший дом, ничего страшного не было: он не был там буйным. Вел себя тихо и прилично. Только иногда он становился на четвереньки, изображая, видимо, лошадь, и медленно топтался из угла в угол, потом останавливался посреди комнаты и тихо, четко произносил длинное научное название своей темы.

И — все. Был в свое время кандидат — Карлюк Карп Степаныч, но в нем не было человека. Потом попробовал проснуться в нем человек — не стало кандидата, Карлюка Карпа Степаныча. Так и не могли они жить вдвоем: либо один, либо другой.

Все это очень печально... Очень! Трудная обстановка получилась в науке.

ЭПИЛОГ

Прошло четыре года. Много произошло разных изменений в жизни, много ликвидировано ненужных учреждений и комиссий. Много полезного сделано и в сельскохозяйственной науке. Диссертации теперь защищают совсем по другим правилам, а не по тем, что составил Карлюк.

Кстати, о Карлюке. Был слух, что он выздоровел и уехал в неизвестном направлении. Давно уж нет Межоблкормлошбюро, а Карпа Степаныча все помнят, даже анекдоты о нем рассказывают. Долго он будет жить в памяти современников.

Жизнь идет.

Ефим Тарасович Чернохаров работает все в том же институте, так же читает лекции, но уже по другим конспектам. Он теперь признает единственно правильной системой только систему Мальцева; он и опыты ставит только с приемами из системы Мальцева, не сравнивая их с приемами из Вильямса. Он так же продолжает борьбу с Герасимом Ильичом Масловским. И если Масловский говорит, что новая система земледелия на черноземах должна слагаться из народного опыта и из таких приемов Вильямса и Мальцева, которые полезны в данной местности, то Чернохаров называет Масловского «оппортунистом в науке» и говорит, что он якобы сидит на двух стульях. Так-таки и народилось новое слово-ярлык! Но нет уж той львиной силы у Чернохарова. Он стал раздражительным и еще более угрюмым. На экзаменах теперь смотрит студенту не в лицо, а на носки ботинок. Аудитория его становится все малочисленней. Что-то будет!

Столбоверстов тычет перстом в Герасима Ильича Масловского и басовито бубнит:

— Соглашатель в науке! Он ищет безобидной серединочки.

Говоря о Столбоверстове, необходимо сделать предварительное сообщение о новом научном достижении: открыты флюгероиды! Мы не можем пройти мимо этого вопроса, весьма интересного, требующего самого пристального внимания исследователей. Поэтому попытаемся дать краткое и абсолютно научное изложение этого вопроса.

Флюгероиды — особая порода людей. К этой породе, по последней классификации, отнесен и Столбоверстов. Среда пока не оказывает никакого влияния на изменчивость этого вида. Хотя подобная консервативная устойчивость и противоречит некоторым правилам, установкам и постановлениям, но... в жизни бывает. Флюгероиды, как показали исследования, чрезвычайно живучи, выносливы и весьма устойчивы против неблагоприятных условий погоды. В этом аспекте и наши исследования, вероятно, должны быть продолжены более компетентными лицами. Этот вопрос предстоит изучить, углубить и обобщить. О, работы тут еще много! Потребуются коллективные усилия многих ученых.

Чуть не забыл! У Чернохарова появился новый научный сотрудник, Кульков — юркий, пронырливый молодой человек. Он недавно окончил институт, но приметил его Чернохаров с первого курса и оставил при себе (так когда-то он обласкал Карпа Степаныча). Так вот этот самый Кульков теперь точно выполняет все указания Чернохарова. Если Ефим Тарасович велит уничтожить травы, Кульков их уничтожает, если же Чернохаров велит их сеять вновь, сеет. Если Ефим Тарасович велит вырубить замечательную дубовую лесополосу, посаженную квадратно-гнездовым способом по методу Лысенко, то Кульков вырубает аккуратно, под корень, чтобы знаку не было. Если Ефим Тарасович скажет «переплавить предплужники как отрыжку системы Вильямса!», то Кульков сваливает все предплужники в металлолом и отправляет в утильсырье по две копейки за штуку. Если же в какой-либо части области родится яровая пшеница, то Ефим Тарасович пошлет туда Кулькова, чтобы д о к а з а т ь, что она там сейчас не родится, не может родиться и не будет родиться и что все селекционеры яровой пшеницы суть люди ненормальные. В общем, он выполняет все в точности и аккуратности.

О кандидатской диссертации он уже начинает заботиться сейчас. Вполне возможно, что со временем Кульков округлится, располнеет и приобретет вид настоящего ученого. Он сейчас трудится не покладая рук. Поэтому в науке он может еще много... накуролесить.

Впрочем, молодые научные работники почему-то не очень любят вступать в общение с Кульковым. Наоборот, появились на научных советах и, представьте себе, возражают. Даже Чернохарову — Чернохарову! — возражают.

Как-то встретились Столбоверстов с Чернохаровым и разговорились по душам.

— Ну как? — спросил Столбоверстов.

— Да так... Гм...— ответил Чернохаров.

— Шумят?

— Гм...

— Уже не подремать на ученом совете. Эх-хе-хе!

— Эх-хе-хе! — вздохнул и Чернохаров.

— Надо подпрягаться.

— Возражаю. Гм... Наоборот... Мы должны вести.

— Будьте здоровы!

— Всего доброго!

Такой довольно откровенный разговор глубоко запал в душу каждого. Они этой беседой констатировали: а) что-то такое произошло в науке, б) обсуждение этого вопроса не имеет смысла, в) отсутствие взаимопонимания по принципиальному вопросу. А разойдясь после этой встречи и оглянувшись, каждый из них тихо произнес в адрес друг друга по одному слову.

— Колода! — сказал Столбоверстов.

— Арап! — сказал Чернохаров.

Ведь вот до какой грубости можно дойти в научном запале. Просто даже и не знаешь, что с ними будет дальше.

Святохин все тот же: ласковый, соглашающийся со всеми и весьма вежливый, корректный, сияющий своей лысиной. «Ласковый теленок двух маток сосет» — мудрейшая пословица!

Герасим Ильич Масловский хотя и постарел, но такой же бодрый, такой же непримиримый. Он все ищет пути улучшения жизни деревни. Он все так же продолжает биться за действительную, настоящую науку. Герасим Ильич часто бывает в колхозах, а уж мимо колхоза

«Правда» не проедет никогда: там все так же председательствует Егоров Филипп Иванович, уже защитивший кандидатскую степень.

Недавно они встретились на колхозном поле, председатель и профессор. Обнялись. Долго беседовали, ездили по полям и фермам. Филипп Иванович тоже мало изменился, такой же горячий. Это он держал за пуговицу Герасима Ильича и, разрубая другой рукой воздух, отчетливо говорил:

— Согласен с вами! Колхоз дружно идет в гору. Все пошло в гору. Все. Но...— Филипп Иванович осекся. Он уже начинал почему-то волноваться, выпустил пуговицу профессора и уже нервно теребил колоски.

— Что «но»? Давайте, выкладывайте.

— И скажу.— Филипп Иванович сорвал колосок и бросил наотмашь.— Но почему до сих пор продолжается свистопляска с севооборотами? Севооборотов-то в районе фактически нет, за редкими исключениями. Они на бумаге, и то не всегда. Почему?.. Почему еще подвизаются шаблонщики и неуместным применением системы Мальцева иногда порочат идею этого ученого? Почему? — Филипп Иванович уже горячился.— Я бы смог вам перечислить десяток таких «почему».

— На все подобные «почему» ответ один: шаблон — следствие отрыва теории от практики. Шаблон в сельском хозяйстве — штука опасная.

— А сколько лет мы это слышим?

— Да не перебивай, пожалуйста! Что за привычка, ей-богу,— закипятился и Герасим Ильич.— Надо сделать так: каждый ученый, каждый научный сотрудник — каждый!— должен быть связан с колхозами, должен знать колхоз или совхоз, должен жить этой жизнью. Иначе нельзя. Жить!

— Во! — воскликнул Филипп Иванович восторженно.— Тогда и в сельскохозяйственной науке все станет на свое место. Уж не будут «упражняться» на земле псевдоученые и псевдоустроители севооборотов.

— Почему именно тогда они не будут упражняться?— спросил Герасим Ильич уже спокойнее.

— Потому, что их прогонит, просто прогонит единственный хозяин колхозной земли.— И Филипп Иванович показал, как это будет: он загреб рукой воздух, выбросил наотмашь и подтолкнул коленом.

Герасим Ильич посмотрел вдаль, на волны хлебов, и, задумавшись, произнес:

— Поле волнуется.

Так они оба все принимают к сердцу, оба всегда в напряжении, иногда мучимые бессонными ночами. И нет им покоя. Да и хотят ли они покоя?.. Разум человеческий как река — он обретает покой только в движении.

Жизнь идет. Она стучится в сердце каждого. Иное сердце отзовется, а иное останется глухим. Но все равно жизнь идет.

1957

ЭКЗАМЕН НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

РАССКАЗ





Вы хотите, чтобы я рассказал вам что-нибудь интересное. К сожалению, мне трудно вспомнить такое, что было бы интересно. Я ведь тридцать с лишним лет пробыл в поле. Что у меня может быть интересного? Ничего не может быть. Так, пустяки какие-нибудь — могу, пожалуй... Кстати, вы несколько минут тому назад заговорили о снах. Вы только сейчас сказали мне, что видели во сне таракана, и спросили: «К чему бы это приснилось?» А ни к чему, скажу я вам. Так просто — извращенное отражение усиленной работы отдыхающего мозга. Какие бы то ни были сны — не верьте им. Прошу вас, не верьте снам. По собственному опыту знаю — блажь одна.

Чтобы доказать это, расскажу вам, как мне приснилось такое, чего и в жизни-то не бывает никогда, да и не может быть. Хотите расскажу? Все равно нам с вами, молодой человек, сидеть в этой заброшенной тракторной будке до тех пор, пока не перестанет дождь и пока наш грузовик какая-нибудь добрая душа не вытащит на буксире. Ну, если вы охотно согласитесь, буду рассказывать, что мне приснилось.

В тот день, задолго до отхода ко сну, конечно, я занимался реальными делами, а не какими-нибудь глупостями: читал старинную книгу, которую подарил мне мой бывший учитель и навечно друг профессор Ухломский. Люди, утверждающие, что чтение старинных книг — глупости и вредный уход от современности, никогда не поймут меня. Бог с ними! Я все-таки читал старинную книгу издания тысяча восемьсот двадцать пятого года. И не только читал, а и долго думал о ней, после, до самого того момента, как уснул. Вам, конечно, хочется знать, что же такое я думал

перед сном. Не могу точно припомнить всего, что мне приходило в голову. Потому что, когда я мыслю много и долго, то забываю почти все; когда же я думаю мало или совсем ни о чем не думаю, то помню все. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Мало ли людей на белом свете ни о чем не думающих, но все-таки помнящих, и все понимающих, и обо всем рассуждающих? Есть такие. В чем же дело? Почему именно я должен помнить все, о чем думал?

Представьте себе, в голове остались только воспоминания, почти не касающиеся содержания книги. Забыл сказать, что та самая книга написана о сельском хозяйстве (название очень длинное, вы его узнаете после). Но я не забыл и до сих пор, что тогда, за время моего длительного размышления, вспомнил некоторых людей, с которыми вместе работал или непосредственно им подчинялся по научной инстанции. Кстати, к научной работе я имел некоторое отношение. Какое? Это неважно. Не имеет значения. Каждый человек должен пахать свою борозду. Следующий за мной тоже пашет свою борозду, но заваливает мою новым пластом. Так что я не удручаюсь, если моей борозды не будет видно, зато общая пахота получается взрыхленная и урожайная. Я — лемех в многокорпусном плуге. Лично меня это вполне устраивает... Вам, может быть, не очень интересны мои отступления? Так вот я и хотел сказать, что к научной работе имел отношение и имею по сей день, как вам известно. Поэтому, видимо, я и вспомнил тогда перед сном, после чтения книги, некоторых своих коллег.

Работал я в Астрахани, работал и в Курске. В Воронеже тоже. Так что знакомых у меня всюду много. Я помню многих ученых и директоров опытных станций и просто рядовых научных работников. И всех их уважал и уважаю за то, что каждый из них вносил что-то новое в науку. Правда, кое-кто из них перестраивал что-то и в поте лица исправлял своего предшественника, заваливая его борозду иной раз начисто, а иной раз с огрехами. В последнем случае чаще всего борозда была мельче предыдущей. Это бывало. Не очень часто, но бывало. Вспомнил я тогда и товарища Глыбочкина, директора опытной станции, открывшего новейший прием агротехники — боронование всходов. По его утверждению, после этого открытия колхозы в те времена сразу стали зажиточными. Товарищ Глыбочкин, представьте себе, очень любил делать доклады и сообщения и страстно, до упоения, увлекался этой в высшей степени интерес-

ной исследовательской работой. Он, правда, был мал ростом и достаточно щупл для того, чтобы назвать его мизерным, но я его уважаю. Тем более много лет спустя он стал-таки кандидатом наук. Но в этом я не очень уверен, а врать не хочу.

Вспомнил и товарища Серобелохлебинского, тоже директора опытной станции. Он впоследствии стал доктором. Но не в этом суть. Товарищ Серобелохлебинский своими многотрудными делами поднял опытную станцию на высоту ни для кого не досягаемую, так как никто не мог постичь, чем в те времена там занимались. Этот был, наоборот, высок ростом, угловат и костист, угрюм, очень редко улыбался. Злые языки утверждали, будто мозг его не изнемогал от умственных упражнений, но как этому верить, если в мозги посторонней личности проникнуть пока невозможно. Не столь важно, каков он был, но я его уважаю за глубокомыслие и сосредоточенность на одном и том же объекте в течение многих лет. Он, например, готовил свою диссертацию всем коллективом станции, то есть с о с р е д о т о ч и л почти всех на этом объекте. В наше время такие весьма сосредоточенные люди встречаются редко. Вы хотите возражать? Вы думаете, есть еще такие? Думайте себе на здоровье. А я остаюсь при своем мнении: таких хороших людей почти уже нет. Кто из нас с вами оптимист и кто пессимист— не будем спорить. Если вы считаете, что они есть, то пожалуйста. Будем терпимы друг к другу. Если же я, допустим, увижу, что они есть, то обязан все равно сказать «Нет», поскольку нахожусь в подчинении, и вы мне можете не поверить. Имейте свое собственное мнение. Зачем спорить! Лучше давайте уважать мнения друг друга.

Минутку! Я же тогда, перед сном, держа в руках открытую книгу, вспомнил еще одного человека. Помилуев! Товарищ Помилуев! Заведующий опорным пунктом опытной станции. Это был единственный в своем роде человек. В тридцатом мы вместе с ним кончали один и тот же институт. Друзья были! Закадычные. Я ему однажды в приступе дружеской фамильярности наломал бока и нос расквасил за то, что он насплетничал декану. И так каждый раз у нас получалось. Ах, молодость, молодость! «Куда, куда вы удалились...» И тому подобное. Всякое может быть между друзьями... Вот и вы не возражаете. Значит, я прав. Нельзя же быть всегда неправым уже седому и сгорблен-

ному человеку шестидесяти лет, какого вы видите перед собой! Да! Так вот, товарищ Помилуев сейчас работает в каком-то научном учреждении (не знаю, как оно называется) где-то не то в Херсоне, не то в Николаеве или Смоленске. И выводит, знаете, какую культуру? Не знаете... Хлопчатник! Не удивляйтесь. Вы думаете, если в Смоленске или Херсоне не сеют хлопчатник, то его нельзя там выводить? Ошибаетесь: можно. Помилуев выводил и выводит его для Средней Азии. И в самом-то деле, вывести новый сорт для Средней Азии в самой Средней Азии — и дурак выведет. А вы попробуйте сделать сорт далеко-далеко от Средней Азии, там, где хлопчатник не растет совсем. Это потруднее! Гораздо труднее, скажу я вам. И может это делать только Помилуев. Вы имеете основания мне не верить. Но если бы вы знали этого настойчивого человека с глазами навыкате, вы бы не сомневались. Поверьте хотя бы на слово, спасибо вам.

Меня можно простить за то, что я так отвлекся (я уже старый человек), но вы же сами хотели, чтобы я рассказал, о чем думал перед сном, прочитавши книгу. Я уже говорил, что думал много, но все забыл. Как видите, только и осталось в памяти — вспомнил трех человек, которых не перестану уважать даже и в том случае, если уйду на пенсию, то есть окажусь в таком состоянии покоя, когда никто из них меня уже не достанет своей благородной дланью.

А может случиться и так: встретимся мы когда-нибудь с Помилуевым лет через десяток, оба старенькие-старенькие. Встретимся и вспомним юношеские годы и всю его безупречную деятельность на поприще хлопчатника. Конечно, может, мы и не встретимся с ним. У меня-то, уверяю вас, страстное желание увидеться с таким старым и испытанным другом. Но если и не встречусь, то вряд ли потеряю что-либо. Пожалуй, не встретимся. А уж если сткнемся где, то у меня хватит храбрости... промолчать о его творческих проказах. Я человек такой! Да и вы сами знаете: для того чтобы смолчать глупую мысль, тоже требуется разум. Свою собственную глупую мысль не высказывает только умный человек. Все остальные высказывают.

Ну-с, о чем я? Да. Вот эти три человека мне и вспомнились перед сном. Больше ничего — уснул.

И увидел я необыкновенный сон.

Может быть, вам скучно от моей болтовни? Может быть, отложим до завтра? Ведь агрономический участок я еще

не весь вам сдал, еще дня на два-три хватит нам с вами работать, да еще акт будем писать. Успеете меня дослушать. Как вы полагаете?.. Ну, если вы сами хотите, чтобы я рассказывал и дальше, то спасибо.

Увидел я, значит, сон...

Ах, простите старика! Совсем запамятовал. Немножко не так было. Вот уж и склероз дает себя знать, чтоб ему провалиться... Еще до того, как я уснул, вспомнил еще одного человека — Сарову Марию Петровну. Да, совершенно верно — вспомнил именно ее. Если бы вы знали, какая это была женщина! Нет, вы не можете знать этой женщины — вы еще так молоды. Она была некрасива: огненно-рыжие волосы, широкое красноватое в конопатинах лицо и угловатые плечи никак не создавали хотя бы чуть-чуть привлекательности. Но если ей посмотреть в глаза, то — боже мой! — какая глубина разума была в них видна! Я не шучу. Глаза всегда выражают работу мысли. У Марии Петровны глаза были очень умные. И при том это был человек честнейшей души, великого трудолюбия и беспредельной преданности своему делу... Это хорошо, что вы не улыбаетесь. Значит, понимаете,— не шучу. Я всегда буду чтить память этой замечательной женщины, отдавшей лучшие годы своей жизни селекции такой культуры, которую пинали и топтали, смешивая с пылью своего недомыслия и грязью скаредности, некоторые ретивые конъюнктурщики. Пожалуй, вы меня тоже обвините в конъюнктуре, если я назову культуру, с которой работала эта честнейшая женщина-агроном четверть века. Бог с вами, если вы так подумаете. Но я все-таки скажу: она вела селекцию кукурузы. Двадцать пять лет она упорно доказывала, что означает ее работа. Годами ей отпускали мизерные суммы на селекцию, годами она жила на зарплату, равную четверти вашего месячного оклада. Было время, когда совсем закрыли селекцию кукурузы на опытной станции, и Мария Петровна брала какую-нибудь плановую культуру для того только, чтобы рядом продолжать работу с кукурузой. Никому не было дела до ее работы. Но она не сдавалась. Это была женщина-герой! Она вывела за свою жизнь несколько сортов кукурузы, но... их никто не сеял. Не сеяли по самой простой причине: не было «спущено» плана на эту культуру. Вы, извините, вероятно, знаете, молодой человек, что в свое время планы «спускались» колхозам, но хлеба от такой агротехнической операции не

прибавлялось. Ну, это я сказал к слову. Не в этом суть. Так вот, пришло время, когда кукурузу стали сеять, много стали сеять, даже больше, чем нужно, и не там, где нужно. Почему ее стали сеять, вы сами знаете.

И сорта Марии Петровны пошли в ход на больших площадях.

Вы скажете мне: «Вот и хорошо!» Не спешите, пожалуйста. Дело-то в том, что эта женщина-селекционер умерла до тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Она не увидела плодов героической жизни. Да, не увидела...

...Вы извините меня, что я так надолго задумался и молчал. Но ведь вы тоже молчали. Мы оба молчали. Не скрываю: мне грустно. Да и вы, как я вижу, не веселитесь от моего воспоминания о трагической жизни замечательного человека. Больше скажу: мой друг и бывший учитель (теперь уж престарелый) профессор Ухломский плакал, идя за гробом Марии Петровны, за которой не очень-то многие признавали при жизни здравый смысл. Да, да, он плакал. И я плакал. Не осудите, пожалуйста, старика. Так было: Мы весь вечер после этого просидели с Митрофаном Степановичем Ухломским вдвоем и почти все время молчали. Именно в тот самый вечер он и подарил мне ту старинную книгу, которую я читал потом, а после чтения долго не мог уснуть.

Но, как уж вам известно, я все-таки уснул тогда. Уже теперь точно скажу, что после Саровой Марии Петровны и профессора Ухломского я никого не вспомнил. Думал, думал и все-таки уснул.

Вот вы и снова улыбаетесь. Это, наверно, потому, что я сразу же изменил тон. Такая уж у меня натура.

Итак, увидел я, представьте себе, странный сон.

Вижу, что вхожу будто бы в какое-то огромное, невиданной архитектуры здание. И будто впереди идет Помилуев (тот самый, что насчет хлопчатника соображал и с каковым, как я уже сказал, страстно желал увидеться). Я пошел за ним в некотором отдалении, шагов за десять. Входим мы в вестибюль. Массивные колонны поддерживают потолок. По стенам таблицы и диаграммы, колосья и плоды земли разные. В два ряда стоят статуи ученых, одетых в те самые костюмы, в каких они ходили при жизни. И вдруг, представьте себе, я заметил, что статуи ожили, зашевелились и все повернули головы к Помилуеву. Потом Дарвин — хотите верьте, хотите нет — отвернулся



от него и тихонько-тихонько, по-стариковски, плюнул в сторону. Климент Аркадьевич Тимирязев указал пальцем на Помилуева и произнес:

— В главный зал! Сегодня ваша очередь.

Столетов спросил у своего соседа Ивана Владимировича Мичурина, указывая пальцем на Помилуева:

— Этот?

Иван Владимирович не ответил на вопрос, а вдруг топнул в негодовании ногой и сердито вопросил:

— Ты зачем сюда?

И голос его громом прокатился под сводами здания.

Помилуев опешил. Он остановился и задрожал, как телячий хвост, потому что был не настолько смел, чтобы его можно назвать храбрым.

И только один старик Мендель тихо и ласково так проговорил:

— Христом-богом прошу: пропустите его! Смотрите, он «посинел и весь дрожит». Выяснить надо его содержание. Почем, дескать, вы знаете, что там у него внутри? Хоть он и плевал на меня множество раз, но я не помню зла. Пропустите!

Помилуев пошел дальше. Подходит он к громадной двустворчатой двери. И та дверь открывается перед ним сама собой. Я пошел за ним. И увидел вдруг конференц-зал того самого института, где мы с Помилуевым учились и где Серобелохлебинский защищал диссертацию. До чего же это было странно — и подумать невозможно. Но что-что не приснится! Всякая небылица во сне может померещиться... Да. Над сценой, в зале-то, святящимися буквами написано: «Экзамен на здравый смысл». А на сцене полукругом расставлены столы. За каждым столом сидит только по одному человеку. В центре полукруга — какой-то старинный ученый в мантии академика, на голове у него академическая шапочка. Точно я не определил, кто это, но лицо его напоминало отчасти Тимирязева, отчасти Столетова, отчасти кого-то еще. Перед этим ученым на столе, слева и справа, лежали толстые книги в кожаных переплетах, почерневших от времени.

Справа от того важного и престарелого ученого сидел профессор Ухломский. А слева какой-то колхозник, очень, скажу я вам, похожий на моего родного дядю. В общем, колхозник довольно почтенного возраста, этак лет семидесяти. За остальными столами — люди разных возрастов.

Лица у них серьезны. Кто они, не знаю. Одно было ясно: это ученые других наук, не сельскохозяйственных, потому что на Помилуева внимания не обратили, а продолжали искать что-то в книгах. Над каждым столом — этикетка с названием отрасли науки, например: «Химия», «Физика», «Электротехника», «Архитектура», «Математика», «Медицина» и так далее. Над столом Митрофана Степановича Ухломского значилось: «Сельское хозяйство». Над столом ученого в мантии, в центре, написано по-латыни: Retrospicere (то есть «глядеть назад»).

Затем я окинул взором зал. Народу было немного. Но здесь сидели некоторые директора опытных станций, один или два директора института сельскохозяйственного направления, какие-то кандидаты сельскохозяйственных наук и даже один доктор.

Вы сомневаетесь? Вы хотите сказать, что не мог я во сне определить ученые степени присутствующих? Позвольте! Не надо перебивать. Дело-то в том, что у каждого из них был приклеен на лбу ярлычок соответственно занимаемой должности или присвоенной степени. Ну, пожалуйста, не смейтесь. Разве не может присниться человеку всякая чепуха!

И дальше вижу во сне. К Помилуеву подошел швейцар — наш бывший прелестный Матвеич, которого мы, студенты, встречали в дверях каждый день. Подошел он к Помилуеву и говорит:

— Вон у того стола предъявите документ. А мне шепнул: — Вы займите место в заднем ряду.

Помилуев подошел к столу, что стоял в нише, предъявил документ, и ему тот же Матвеич приклеил ярлычок. Вот уж, ей-богу, не помню, какой ему ярлычок приклеили — то ли «Кандидат», то ли «Доктор». Нет, «Доктор» вряд ли: Матвеич не дурак. А может, «Доктора» приклеили — во сне все может приключиться. Не в этом суть. Да. После этого Помилуев сел в одном из рядов, посмотрел налево, направо, вздохнул, съежился и стал смотреть на сцену, на ученых.

Я тоже сел на указанное мне место и стал слушать и тоже смотреть на сцену, как все. Там стояло простое сооружение в виде постамента, высотой вровень со сценой, с правой от нее стороны. Ученый в мантии пошептался с профессором Ухломским и кивнул ему головой. Ухломский встал и объявил:

— Директор опытной станции товарищ Глыбочкин! Есть?

— Есть,— ответил дрожащий голос из зала.

— Ваша очередь,— сказал Ухломский.

Глыбочкин вышел, стал на постамент и поклонился к сцене.

Он стоял так, что его лицо было видно и всем присутствующим в зале, и всем сидящим на сцене. Глыбочкин, как я уже говорил, был маленького роста, а во сне он мне показался еще меньше.

— Первый вопрос,— начал торжественно профессор Ухломский, видимо руководивший экзаменом.— Великий Экзаменатор просит изложить по пунктам то новое в агротехнике сельскохозяйственных культур, что открыто на руководимой вами станции и внедрено в производство. Отвечайте конкретно, не употребляйте сокращенных слов в научном изложении, ибо Великий Экзаменатор не понимает слов-уродов.

Глыбочкин откашлялся и совсем-совсем дрожащим голоском начал свою речь:

— Я постараюсь быть кратким... Новое в агротехнике, разработанное нами на опытной станции, заключается в следующем: а) установлено, что наилучшая глубина вспашки — тридцать сантиметров, что обеспечивает борьбу с сорной растительностью; исследован также вред, приносимый огрехами; установка о глубине и недопущении огрехов дана повсеместно.— Глыбочкин входил в обычную свою роль «сообщителя» итогов работы на разных совещаниях и продолжал заученно: — б) установлено, что растения полевых культур, взятые семенами с другой почвы, впоследствии переделываются новой почвой на свой лад и становятся лучше или хуже; в) открыто и разработано внесение минеральных удобрений одновременно с посевом семян; г) исследовано тщательно и установлено, что пастьба скота по озимым вредна; д) открыто значение смачивания семян навозной жижей и разработана методика применения этого новейшего способа; е) боронование всходов открыто нами впервые в истории и внедрено в практику... И многое другое, подобное перечисленному выше,— заключил он теми же словами, как и обычно, и замолчал, видимо считая, что и этого вполне достаточно, чтобы получить «пятерку» на таком высоком экзамене.

Наступила тишина. Было слышно, как разговаривала муха с мухой. Великий Экзаменатор взял из стопы книг одну — старую и пожелтевшую — и перелистал. Потом о чем-то посоветовался с профессором Ухломским, поговорил тихонько с колхозником и закивал головой. Ухломский объявил:

— Для ретроспективного взгляда в историю имеет слово Великий Экзаменатор.

— Достопочтенные! — начал тот. — Предо мною лежит книга. Называется она так:

«Новый опытный сельский управитель, прикащик и эконом, или самонужнейшия и обстоятельныя наставления о управлении деревнями, крестьянами, земледелием, пчеловодством, скотоводством, птицеводством и огородными работами».

Книга сия писана в одна тыща семьсот девяносто шестом годе, а издана сиречь в университетской типографии одна тыща восемьсот двадцать пятом годе по рождеству Христову. Да внемлет экзаменующийся директор слову сему! На странице осьмой писано здесь:

«Всякую пашню пахать глубиною в одну четверть и три вершка. — Иметь предметом, чтоб чрез то пахание слипшуюся между собою землю раздробить или разрушить, а чрез то сделать нивы свои мягкими и рыхлыми. Равно чтоб чрез то искоренить вредныя травы, заглушающия паханую землю; но как земля и сеемый на оную хлеб бывает различных свойств, то и определение пахания распорядить должно по различию земли и самых семян; ибо опытность доказывает, что хлебы не одинаковы, следственно одне из них многаго и частаго пахания требуют, нежели другия».

Тут Великий Экзаменатор обратился ко всем сидящим на сцене, внимательно прослушавшим ретроспективное чтение:

— Достопочтенные! Видите ли вы здравый смысл в ответе директора?

— Нет! — воскликнули все — физики и химики и иже с ними.

Математик пояснил тут же:

— Одна четверть и три вершка равны приблизительно тридцати сантиметрам.

Я и во сне, помню, был убежден, что книга, которая только что цитировалась, есть только у меня одного, что никто не знает о ее существовании, кроме Ухломского Митрофана Степановича, подарившего мне эту книгу. А оказалось: знают! Ну и чушь приснилась, ну и чушь!

— И дальше,— продолжал Великий Экзаменатор.— Зачитаю о семенах и влиянии на них почвы. Внемлите!

«Ибо лучшая земля, принимая в себя семяна худой земли посредством своих соков и тучности, придает зернам силу и как бы принуждает их быть такими, какия ей свойственны».

И он спросил:

— Есть ли здравый смысл в открытии опытной станцией уже открытого сто тридцать пять лет тому назад?

Встал Химик и ответил:

— Нет.

Встал Физик и сказал:

— Нет.

Встали все на сцене и хором ответили:

— Нет!

— И далее читаю,— сказал Великий Экзаменатор:

«...способ, служащий к умножению хлебородия: клал я при насыпке семян в телеги на каждую четверть всякого хлеба по полфунту мелко истолченной перетопленной селитры, которая в отдаленных местах, куда за дальностию навоза возить неудобно, — служила мне вместо посредственнаго унаваживания; а иногда смачивал я зерна навозною водою, и давши оным несколько провянуть, засевал оными; почему и чрез сей способ получал довольно выгод».

И Великий Экзаменатор задал вопрос:

— Как решим?

Ответил колхозник, похожий на моего дядю:

— Вот тебе и открытие с рядковыми удобрениями, товарищ директор! Вот тебе и влияние навозной жижи! Нет здравого смысла в присвоении открытого раньше.

И все экзаменаторы согласились с колхозником.

Великий Экзаменатор стал снова читать:

«...озимыя поля ежедневно объезжать и смотреть, чтоб на оных не было лошадей и другаго скота, а особливо в сырую и ненастливую погоду; ибо скотина не укоренившияся еще зерна зубами с корнем выдергивает, или копытами выворачивает; равно валяясь, их вытирает, от чего множество зерен безплодными остаются. К отвращению же сего вреда, надобно к каждому полю приставить сторожей...»

— Это ретроспективный ответ на «исследования» опытной станции,— пояснил Великий Экзаменатор.— А вот о бороновании:

«А как трава ростет гораздо скорее ячменя, то от сего и должно последовать совершенное ему заглужение. Есть-лиж заскороживанием дней пять-шесть подождать, буде только погода дозволит, то поспешно ростущий, рыжик в сие время весь из земли выйдет, и борона может тогда весь его в самом начале роста разрушить и истребить его так, что он никогда уже с силами не сберется возрости. Впрочем хотя то и правда, что ячмень, а особливо посеянной в благорастворенную погоду, очень скоро иногда пускает росты и всходит, однако ячменю не мешает, то, хотя бы он и во время самого пускания ростов и самого всхода был заскороживан; ибо как семяна... из своего положения бороною не вытаскиваются, но остаются на своих местах».

Великий Экзаменатор окончил чтение и сказал:

— И здесь опытная станция выдает за свои открытия давнишние вековые народные исследования и опыты. Ясно: в здравом смысле отказать.

После этого выступил Механик. Он с возмущением сказал:

— У вас сотни тысяч современных машин. И вместо того чтобы изучать, как при помощи этих машин получать

урожай, вместо того чтобы изучать, какие машины еще нужны для получения высокого урожая, вы, директор, занимаетесь переливанием старых исследований в свои лаборатории, а затем в книги, провозглашая открытием и откровением давно известное, но отчасти забытое. Я буду голосовать за признание отсутствия здравого смысла.— И он сел.

Больше никто не говорил. Начали тайное голосование шарами.

Результаты объявил Математик:

— Деятельность директора опытной станции Глыбочкина здравого смысла не имеет.

— Снять ярлык! — торжественно провозгласил профессор Ухломский.

Тот самый швейцар, что направлял Помилуева к столу, в нишу, влез на постамент и ногтем указательного пальца стал сковыривать ярлык. При этом он послюнявил палец и сказал с досадой:

— Ишь, как крепко прилепился! Не отдерешь.

— Мозги просвечивать будем? — спросил Физик у Великого Экзаменатора.

— Пожалуй, надо,— ответил тот.

После этого поднесли к голове Глыбочкина какой-то необыкновенный гудящий аппарат, от которого тянулась паутина проводов. Что-то шипело, трещало и искрило в аппарате.

Потом вынули из того прибора черную банку, и все члены экзаменационной комиссии стали поочередно смотреть в нее через какую-то трубу. Заключение огласил теперь Физик:

— В мозгах способность к здравому смыслу еще не потеряна, но есть наличие порчи, происходящей от установок соответствующих научных инстанций.

Тут я, представьте себе, перевернулся на другой бок, наверно.

Хотя сон и продолжался, но на постаменте оказался уже директор института животноводства. И будто экзамен на здравый смысл подходил уже к концу, будто директору задан последний вопрос.

— Последний вопрос такой,— говорил профессор Ухломский: — Какова общая земельная площадь в распоряжении института?

— Девять и семь десятых,— отвечал тот.

— По угодьям? — уточнял Ухломский.

А директор института животноводства ответствовал:

— Асфальтированной — пять и семь десятых, в том числе под тротуарами — ноль восемь га, под . строениями — один и четыре десятых га, под полевыми опытами — ноль шесть десятых га, под скотными дворами и лужами — два га, а итого — девять и семь десятых га.

И вдруг где-то за окном заревели коровы, заблеяли овцы, захрюкали свиньи.

Зал покрылся туманом. Совершеннейшая небылица мерещилась!..

Потом туман рассеялся. И я увидел: па постаменте стоит... Помилуев!

— Как ваше здоровье? — спросил неожиданно Медик.

— На уровне,— ответил Помилуев.

— Так почему же вы не едете в Среднюю Азию выводить хлопчатник? — вмешался дотошный Ухломский.

— Жарко там, профессор. Очень жарко. А у меня — жена, дети. Я уж как-нибудь... (Вот не запомнил, какой он город назвал — то ли Смоленск, то ли Херсон.) Я уж,— говорит,— как-нибудь на старом месте буду. Я стараюсь. Я десять лет жизни отдал хлопчатнику.

— Ну и как? — досаждал Ухломский.— Получается?

— А как же! Каждый год планируем вывести новый сорт.

Великий Экзаменатор вздохнул, подпер щеку ладонью в исторической печали и спросил:

— Как вы думаете: кому хуже от всего этого — хлопчатнику или вам?

Помилуев не смог ответить на такой сложный вопрос истории.

— Не желаете отвечать? — спросил Великий Экзаменатор.— Хорошо. Проверим аппаратом.

Помилуев весь обвис и сел на постамент в полном изнеможении.

Колхозник в достаточно вежливой форме предупредил:

— Тут тебе не чайная! Расселся! Как макитра из-под простокваши!

Такое деликатное обращение несколько отрезвило Помилуева, и он встал-таки.

И вдруг загремел под сводами зала голос Великого Экзаменатора:

— Люди! Во всех великих делах всех времен и у всех народов к великому деянию всегда присасываются паразиты и невежды. Вы творите в своей стране величайшее из великих дел на земле — новое общество коммунизма. Научитесь отличать паразитов и тунеядцев, какого бы они не были чина! И вы обретете благо в веках.

И вот — ей-богу, не брешу! — сотни и тысячи репродукторов подхватили возгласы Великого Экзаменатора, земля и небо повторяли его слова, казалось, мир ликовал, услышав призыв времени. А со сцены, сквозь торжественную симфонию радости и ликования, Великий приказал строго:

— Подать аппарат-кибернетик!

И, представьте себе, направили этот аппарат на голову Помилуева. Зажужжал, зашипел, затрещал, завыл тот аппарат по просвечиванию мозгов. А Помилуев выл за ним, как куцый на перелазе, которого немилосердно колотят чем попало.

Да. Кончил выть аппарат. Кончил выть и Помилуев. После просмотра черной банки Физик объявил результат:

— Обнаружено: голова весьма похожа на гнилой орех — оболочка нормальная, а внутри горечь.

После тайного голосования Математик заключил:

— В здравом смысле отказать!

— Снять ярлык! — безжалостно крикнул профессор Ухломский.

Швейцар стал сковыривать ногтем ярлык со лба Помилуева.

— А-а-а!!! — дико закричал тот, поняв, что произошло.

Рядом, на постаменте, уже стоял Серобелохлебинский, угловатый, высокий и удрученный, в каком-то адском отсвете, как врубелевский Демон.

Выскочило у меня из памяти, какие ему вопросы задавали. Помню только, наседал на него колхозник и все повторял неотступно:

— А что из твоей «сосредоточенной» диссертации внедрено в практику колхозов? Нет, ты скажи! Ты скажи!

А тот что-то лопотал, лопотал, что-то такое рыкал басом, вроде: «Да. Нет. Ни да, ни нет. Так, так. Нет, не так». Одним словом, к большому сожалению, я видел Серобелохлебинского во сне смутно.

Да и с постамента он ушел странно: как-то весь расплылся, растаял перед экзаменом истории бесследно, исчез, как призрак.

Ну и чепуха! Ну и блажь примерещилась мне! Надо же!

Повернулся я на спину и снова уснул. Представьте себе, снова тот же сон! Так редко случается, но случается. И вижу тот же постамент и тех же лиц. Только стоит перед полукругом ученых... Сарова Мария Петровна. Говорят, покойников во сне видеть — к перемене погоды. Не верьте.

На следующий день была хорошая погода.

Не верьте снам ни на каплю. Я жизнь прожил — знаю: не верьте. Правда, и в этом случае я не помню, какие вопросы ей задавали, но отлично помню, что произошло чудо.

Когда наставили аппарат-кибернетик по просвечиванию мозгов, то вокруг головы Марии Петровны засветился ореол, как у святой, а черная банка, когда ее вынули, стала блестящей, отливающей золотом. И вдруг Великий Экзаменатор в восхищении преклонился перед этой женщиной на одно колено, скрестив руки на груди. Все ученые и колхозники последовали его примеру. А она стояла, выпрямившись, гордая, непреклонная, уверенная в настоящем и будущем науки. Лицо ее, озаренное внутренним светом, стало красивым.

Растаял тут же Помилуев, как снежная баба на солнцепеке, как-то сплющился блином и пропал начисто Глыбочкин; а она все стояла и светилась вся.

И я проснулся.

Было хорошее светлое утро. Лучи солнца падали мне на лицо. Спросонья я не сразу понял, откуда эти лучи — то ли от солнца, то ли от нее.

...Вот и все. Неправдоподобная галиматья, и — только. Разве я не доказал вам, как и обещал вначале, что сон — это сумбурное и совершенно извращенное отражение отдыхающего мозга. Не больше. Лишь чудаки и невежды могут верить снам. Разве ж может быть в действительности то, что мне приснилось? Не может.

Однако, не скрою, на следующую ночь мне очень захотелось продолжить тот же сон. Но... снились одни только глупости.

Вот видите, как мы с вами незаметно провели время. Вам не надоело? Вероятно, надоело. А я все говорю, гово-

рю и говорю. Возраст, возраст! Старею. На склоне лет всегда так: мысль молчит, а язык ворчит. Простите уж старика.

А дождик-то, смотрите, все идет, и идет, и идет. Хорош! Давно такого благодатного дождя не было на нашей земле.

О чем это вы задумались, молодой человек?

1961

БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО

ПОВЕСТЬ





Александру Трифоновичу
Твардовскому

Глава первая

●

ДВОЕ В ОДНОЙ КОМНАТЕ

●

Жалобно и, казалось, безнадежно он вдруг начинал скулить, неуклюже переваливаясь туда-сюда, — искал мать. Тогда хозяин сажал его себе на колени и совал в ротик соску с молоком.

Да и что оставалось делать месячному щенку, если он ничего еще не понимал в жизни ровным счетом, а матери все нет и нет, несмотря ни на какие жалобы. Вот он и пытался в первые два дня время от времени задавать грустные концерты. Хотя, впрочем, засыпал на руках хозяина в объятиях с бутылочкой молока.

Но на четвертый день малыш уже стал привыкать к теплоте рук человека. Щенки очень быстро начинают отзываться на ласку.

Имени своего он еще не знал, но через неделю точно установил, что он — Бим.

В два месяца он с удивлением увидел вещи: высоченный для щенка письменный стол, а на стене — ружье, охотничью сумку и лицо человека с длинными волосами. Ко всему этому быстренько привык. Ничего удивительного не было уже и в том, что человек на стене неподвижен: раз не шевелится — интерес небольшой. Правда, несколько позже, потом, он нет-нет да и посмотрит: что бы это значило — лицо выглядывает из рамки, как из окошка?

Вторая стена была занимательнее. Она вся состояла из разных брусочков, каждый из которых хозяин мог вынуть и вставить обратно. В возрасте четырех месяцев, когда Бим уже смог дотянуться на задних лапках, он сам вытащил брусочек и попытался его исследовать. Но тот зашелестел почему-то и оставил в зубах Бима листок.

Очень забавно было раздирать на мелкие части тот листок.

— Это еще что?! — прикрикнул хозяин.— Нельзя! — И тыкал Бима носом в книжку.— Бим, нельзя. Нельзя!

После такого внушения даже человек откажется от чтения, но Бим — нет: он долго и внимательно смотрел на книги, склоняя голову то на один бок, то на другой. И, видимо, решил-таки: раз уж нельзя эту, возьму другую. Он тихонько вцепился в корешок и утащил это самое под диван; там отжевал сначала один угол переплета, потом второй, а забывшись, выволок незадачливую книгу на середину комнаты и начал терзать лапами играючи, да еще и с припрыгом.

Вот тут-то он и узнал впервые, что такое «больно» и что такое «нельзя». Хозяин встал из-за стола и строго сказал:

— Нельзя! — И трепанул за ухо.— Ты же мне, глупая твоя голова, «Библию для верующих и неверующих» изорвал.— И опять: — Нельзя! Книги — нельзя! — Он еще раз дернул за ухо.

Бим взвизгнул да и поднял все четыре лапы кверху. Так, лежа на спине, он смотрел на хозяина и не мог понять, что же, собственно, происходит.

— Нельзя! Нельзя! — долбил тот нарочито и совал снова и снова книгу к носу, но уже не наказывал. Потом поднял щенка на руки, гладил и говорил одно и то же: — Нельзя, мальчик, нельзя, глупыш.— И сел. И посадил на колени.

Так в раннем возрасте Бим получил от хозяина мораль через «Библию для верующих и неверующих». Бим лизнул ему руку и внимательно смотрел в лицо.

Он уже любил, когда хозяин с ним разговаривал, но понимал пока всего лишь два слова: «Бим» и «нельзя». И все же очень, очень интересно наблюдать, как свисают на лоб белые волосы, шевелятся добрые губы и как прикасаются к шерстке теплые ласковые пальцы. Зато Бим уже абсолютно точно умел определить — веселый сейчас хозяин или грустный, ругает он или хвалит, зовет или прогоняет. А он бывал и грустным. Тогда говорил сам с собой и обращался к Биму:

— Так-то вот и живем, дурачок. Ты чего смотришь на нее? — указывал он на портрет.— Она, брат, умерла. Нет ее. Нет... — Он гладил Бима и в полной уверенности при-

говаривал: — Ах ты мой дурачок, Бимка. Ничего ты еще не понимаешь.

Но прав был он лишь отчасти, так как Бим понимал, что сейчас играть с ним не будут, да и слово «дурачок» принимал на свой счет, и «мальчик» — тоже. Так что когда его большой друг окликал дурачком или мальчиком, то Бим шел немедленно, как и на кличку. А раз уж он, в таком возрасте, осваивал интонацию голоса, то, конечно же, обещал быть умнейшей собакой.

Но только ли ум определяет положение собаки среди своих собратьев? К сожалению, нет. Кроме умственных задатков, у Бима не все было в порядке.

Правда, он родился от породистых родителей, сеттеров, с длинной родословной. У каждого его предка был личный листок, свидетельство. Хозяин мог бы по этим анкетам дойти не только до прадеда и прабабки Бима, но и знать, при желании, прадедова прадеда и прабабушкину прабабушку. Это все, конечно, хорошо. Но дело в том, что Бим при всех достоинствах имел большой недостаток, который потом сильно отразился на его судьбе: хотя он был из породы шотландских сеттеров (сеттер-гордон), но окрас оказался абсолютно нетипичным — вот в чем и соль. По стандартам охотничьих собак сеттер-гордон должен быть обязательно «черный, с блестящим синеватым отливом — цвета воронова крыла, и обязательно с четко отграниченными яркими рыже-красными подпалинами»; даже белые отметины на не предусмотренных стандартом местах считаются большим пороком у гордонов. Бим же выродился таким: туловище белое, но с рыженькими подпалинами и даже чуть заметным рыжим крапом, только одно ухо и одна нога черные, действительно — как вороново крыло; второе ухо мягкого желтовато-рыженького цвета. Даже удивительно подобное явление: по всем статьям — сеттер-гордон, а окрас — ну ничего похожего. Какой-то далекий-далекий предок взял вот и выскочил в Биме: родители — гордоны, а он — альбинос.

В общем-то, с такой разноцветностью ушей и с подпалинками под большими умными темно-карими глазами морда Бима была даже симпатичной, приметней, может быть, даже умнее или, как бы сказать, философичней, раздумчивей, чем у обычных собак. И право же, все это нельзя даже назвать мордой, а скорее — собачьим лицом. Но по законам кинологии белый окрас, в конкрет-

ном случае, считается признаком вырождения. Во всем — красавец, а по стандартам шерстного покрова — явно сомнительный и даже порочный. Такая вот беда была у Бима.

Конечно, Бим не понимал вины своего рождения, поскольку и щенкам не дано природой до появления на свет выбирать родителей. Биму просто не дано и думать об этом. Он жил себе и пока радовался.

Но хозяин-то беспокоился: дадут ли на Бима родословное свидетельство, которое закрепило бы его положение среди охотничьих собак, или он останется пожизненным изгоем? Это будет известно лишь в шестимесячном возрасте, когда щенок (опять же по законам кинологии) определится и оформится в близкое к тому, что называется породной собакой.

Владелец матери Бима в общем-то уже решил было выбраковать белого из помета, то есть утопить, но нашелся чудак, которому стало жаль такого красавца. Чудак тот и был теперешним хозяином Бима: глаза ему понравились, видите ли, умные. Надо же! А теперь и стоит вопрос: дадут или не дадут родословную?

Тем временем хозяин пытался разгадать, откуда такая аномалия у Бима. Он перевернул все книги по охоте и собаководству, чтобы хоть немного приблизиться к истине и доказать со временем, что Бим не виноват. Именно для этого он и начал выписывать из разных книг в толстую общую тетрадь все, что могло оправдать Бима, как действительного представителя породы сеттеров. Бим был уже его другом, а друзей всегда надо выручать. В противном случае — не ходить Биму победителем на выставках, не греметь золотым медалям на груди: какой бы он ни был золотой собакой на охоте, из породных он будет исключен.

Какая же все-таки несправедливость на белом свете!

●

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

●

В последние месяцы Бим незаметно вошел в мою жизнь и занял в ней прочное место. Чем же он взял? Добротой, безграничным доверием и лаской — чувствами

всегда неотразимыми, если между ними не втерлось подхалимство, каковое может потом, постепенно, превратить все в ложное — и доброту, и доверие, и ласку. Жуткое это качество — подхалимаж. Не дай-то боже! Но Бим — пока малыш и милый собачонок. Все будет зависеть в нем от меня, от хозяина.

Странно, что и я иногда замечаю теперь за собой такое, чего раньше не было. Например, если увижу картину, где есть собака, то прежде всего обращаю внимание на ее окрас и породистость. Сказывается беспокойство от вопроса: дадут или не дадут свидетельство?

Несколько дней назад был в музее на художественной выставке и сразу же обратил внимание на картину Д. Бассано (XVI век) «Моисей иссекает воду из скалы». Там на переднем плане изображена собака — явно прототип легавой породы, со странным, однако, окрасом: туловище белое, морда же, рассеченная белой проточиной, черная, уши тоже черные, а нос белый, на левом плече черное пятно, задний кострец тоже черный. Измученная и тощая, она жадно пьет долгожданную воду из человеческой миски.

Вторая собака, длинношерстная, тоже с черными ушами. Обессилев от жажды, она положила на колени хозяина голову и смиренно ожидает воду.

Рядом — кролик, петух, слева — два ягненка.

Что хотел сказать художник, поместив собаку среди людей на передний край? Видимо, он хотел сказать, что люди любили собак еще с глубокой древности, никогда их не покидали, даже в несчастье, даже на грани гибели народа, а собаки оставались преданными и верными, готовыми погибнуть вместе с человеком.

Ведь за минуту до этого все были в отчаянии, у них не было ни капли надежды. И они говорили в глаза спасшему их от рабства Моисею:

«О, если бы мы умерли от руки господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывел ты нас в эту пустыню, чтобы всех собравшихся уморить голодом».

Моисей с великой горестью понял, как глубоко овладел людьми дух рабский: хлеб в достатке и котлы с мясом им дороже свободы. И вот он высек воду из скалы. И было в тот час благо всем, идущим за ним, что и ощущается в картине Бассано.

А может быть, художник и поместил собак на главное место как укор людям за их малодушие в несчастье, как символ верности, надежды и преданности? Все может быть. Это было давно.

Картине Д. Бассано более трехсот лет. Неужели же черное и белое в Биме идет от тех времен? Не может того быть. Впрочем, природа есть природа.

Однако вряд ли это поможет чем-то отстранить обвинение против Бима в его аномалиях расцветки тела и ушей.

Ведь чем древнее будут примеры, тем крепче его обвинят в атавизме и неполноценности.

Нет, надо искать что-то другое. Если же кто-то из кинологов и напомнит мне о картине Д. Бассано, то можно, на крайний случай, сказать просто: а при чем тут черные уши у Бассано?

Поищем данные ближе к Биму по времени.

Выписка из стандартов охотничьих собак: «Сеттеры-гордоны выведены в Шотландии... Порода сложилась к началу второй половины XIX столетия... Современные шотландские сеттеры, сохранив свою мощь и массивность костяка, приобрели более быстрый ход. Собаки спокойного, мягкого характера, послушные и незлобные, они рано и легче принимаются за работу, успешно используются и на болоте, и в лесу... Характерна отчетливая, спокойная, высокая стойка с головой не ниже уровня холки...»

Из двухтомника «Собаки» Л. П. Сабанеева, автора замечательных книг — «Охотничий календарь» и «Рыбы России»:

«Если мы примем во внимание, что в основании сеттера лежит самая древняя раса охотничьих собак, которая в течение многих столетий получала, так сказать, домашнее воспитание, то не станем удивляться тому, что сеттеры представляют едва ли не самую культурную и интеллигентную породу».

Так! Бим, следовательно, собака интеллигентной породы. Это уже может пригодиться.

Из той же книги Л. П. Сабанеева:

«В 1847 году Пэрлендом из Англии были привезены, для подарка Великому Князю Михаилу Павловичу, два замечательных красивых сеттера очень редкой породы... Собаки были непродажныя и променены на лошадь, стоившую 2000 рублей...»

Вот. Вез для подарка, а содрал цену двадцати крепостных. Но виноваты ли собаки? И при чем тут Бим? Это непригодно.

Из письма известного в свое время природолюба, охотника и собаковода С. В. Пенского к Л. П. Сабанееву:

«Во время Крымской войны я видел очень хорошего красного сеттера у Сухово-Кобылина, автора «Свадьбы Кречинского», и желто-пегих в Рязани у художника Петра Соколова».

Ага, это уже ближе к делу. Интересно: даже сатирик имел тогда сеттера. А у художника — желто-пегий. Не оттуда ли твоя кровь, Бим? Вот бы! Но зачем тогда... черное ухо? Непонятно.

Из того же письма:

«Породу красных сеттеров вел также московский дворцовый доктор Берс. Одну из красных сук он поставил с черным сеттером покойного Императора Александра Николаевича. Какие вышли щенки и куда они девались — не знаю; знаю только, что одного из них вырастил у себя в деревне граф Лев Николаевич Толстой».

Стоп! Не тут ли? Если твоя нога и ухо черны от собаки Льва Николаевича Толстого, ты счастливая собака, Бим, даже без личного листка породы, самая счастливая из всех собак на свете. Великий писатель любил собак.

Еще из того же письма:

«Императорского черного кобеля я видел в Ильинском после обеда, на который Государь пригласил членов правления Московского общества охоты. Это была очень крупная и весьма красивая комнатная собака, с прекрасной головой, хорошо одетая, но сеттериного типа в ней было мало; к тому же ноги были слишком длинны, и одна из ног совершенно белая. Говорят, сеттер

этот был подарен покойному Императору каким-то польским паном, и слух ходил, что кобель-то был не совсем кровный».

Выходит, польский пан облапошил императора? Могло быть. Могло это быть и на собачьем фронте. Ох уж этот мне черный императорский кобель! Впрочем, тут же рядом идет кровь желтой суки Берса, обладавшей «чутьем необыкновенным и замечательной сметкой». Значит, если даже нога твоя, Бим, от черного кобеля императора, то весь-то ты вполне можешь быть дальним потомком собаки величайшего писателя... Но нет, Бим, дудки! Об императорском — ни слова. Не было — и все тут. Еще чего недоставало.

Что же остается на случай возможного спора в защиту Бима?

Моисей отпадает по понятным причинам. Сухово-Кобылин отпадает и по времени, и по окрасу. Остается Лев Николаевич Толстой: а) по времени ближе всех; б) отец его собаки был черным, а мать красная. Все подходяще. Но отец-то, черный-то,— императорский, вот загвоздка.

Как ни поверни, о поисках дальних кровей Бима приходится молчать. Следовательно, кинологи будут определять только по родословной отца и матери Бима, как у них и полагается: нет белого в родословной и — аминь. А Толстой им — ни при чем. И они правы. Да и в самом деле, этак каждый может происхождение своей собаки довести до собаки писателя, а там и самому недалеко до Л. Н. Толстого. И действительно: сколько их у нас, Толстых-то! Ужас, как много объявилось, помрачительно много.

Как ни обидно, но разум мой готов уже смириться с тем, что Биму быть изгоем среди породистых собак. Плохо. Остается одно; Бим — собака интеллигентной породы. Но и это — не доказательство (на то и стандарты).

— Плохо, Бим, плохо,— вздохнул хозяин, отложив ручку и засунув в стол общую тетрадь.

Бим, услышав свою кличку, поднялся с лежака, сел, наклонил голову на сторону черного уха, будто слушал только желто-рыженьким. И это было очень симпатично.

Всем своим видом он говорил: «Ты хороший, мой добрый друг. Я слушаю. Чего же ты хочешь?»

Хозяин сразу же повеселел от такого вопроса Бима и сказал:

— Ты молодец, Бим! Будем жить вместе, хотя бы и без родословной. Ты хороший пес. Хороших собак все любят.— Он взял Бима на колени и гладил его шерстку, приговаривая: — Хорошо. Все равно хорошо, мальчик.

Биму было тепло и уютно. Он тут же на всю жизнь понял: «Хорошо» — это ласка, благодарность и дружба.

И Бим уснул. Какое ему дело до того, кто он, его хозяин? Важно — он хороший и близкий.

— Эх ты, черное ухо, императорская нога,— тихо сказал тот и перенес Бима на лежак.

Он долго стоял перед окном, всматриваясь в темно-сиреневую ночь. Потом взглянул на портрет женщины и проговорил:

— Видишь, мне стало немножко легче. Я уже не одинок.— Он не заметил, как в одиночестве постепенно привык говорить вслух «ей» или даже самому себе, а теперь и Биму.— Вот я и не один,— повторил он портрету.

А Бим спал.

Так они и жили вдвоем в одной комнате. Бим рос крепышом. Очень скоро он узнал, что хозяина зовут «Иван Иваныч». Умный щенок, сообразительный. И мало-помалу он понял, что ничего нельзя трогать, можно только смотреть на вещи и людей. И вообще все нельзя, если не разрешит или не прикажет хозяин. Так слово «нельзя» стало главным законом жизни Бима. А глаза Ивана Иваныча, интонация, жесты, четкие слова-приказы и слова ласки были руководством в собачьей жизни. Более того, самостоятельные решения к какому-либо действию никоим образом не должны были противоречить желаниям хозяина. Зато Бим постепенно стал даже угадывать некоторые намерения друга. Вот, например, стоит он перед окном и смотрит, смотрит вдаль и думает, думает. Тогда Бим садится рядом и тоже смотрит и тоже думает. Человек не знает, о чем думает собака, а собака всем видом своим говорит: «Сейчас мой добрый друг сядет за стол, обязательно сядет. Походит немного из угла в угол и сядет и будет водить по белому листу палочкой,

а та будет чуть-чуть шептать. Это будет долго, потому посижу-ка и я с ним рядом». Затем ткнется носом в теплую ладонь. А хозяин скажет:

— Ну, что ж, Бимка, будем работать.— И, правда, садится.

А Бим калачиком ложится в ногах или, если сказано «На место», уйдет на свой лежак в угол и будет ждать. Будет ждать взгляда, слова, жеста. Впрочем, через некоторое время можно и сойти с места, заниматься круглой костью, разгрызть которую невозможно, но зубы точить — пожалуйста, только не мешай.

Но когда Иван Иваныч закроет лицо ладонями, облокотившись на стол, тогда Бим подходит к нему и кладет разноухую мордашку на колени. И стоит. Знает, погладит. Знает, другу что-то не так. А Иван Иваныч поблагодарит:

— Спасибо, милый, спасибо, Бимка.— И будет снова шептать палочкой по белой бумаге.

Так было дома.

Но не так было на лугу, где оба забывали обо всем. Здесь можно бегать, резвиться, гоняться за бабочками, барахтаться в траве — все было позволительно. Однако и здесь, после восьми месяцев жизни Бима, все пошло по командам хозяина: «Поди-поди!» — можешь играть, «Назад!» — очень понятно, «Лежать!» — абсолютно ясно, «Ап!» — перепрыгивай, «Ищи!» — разыскивай кусочки сыра, «Рядом!» — иди рядом, но только слева, «Ко мне!» — быстро к хозяину — будет кусочек сахара. И много других слов узнал Бим до года. Друзья все больше и больше понимали друг друга, любили и жили на равных — человек и собака.

Но случилось однажды такое, что у Бима жизнь изменилась, и он повзрослел за несколько дней. Произошло это только потому, что Бим вдруг открыл у хозяина большой, поразительный недостаток.

Дело было так. Тщательно и старательно шел Бим по лугу челноком, разыскивая разбросанный сыр, и вдруг среди разных запахов трав, цветов, самой земли и реки ворвалась струя воздуха, необычная и волнующая: пахло какой-то птицей, вовсе не похожей на тех, что знал Бим,— воробьев там разных, веселых синиц, трясогузок и всякой мелочи, догнать какую нечего и пытаться (пробовали). Пахло чем-то неизвестным, что будоражило

кровь. Бим приостановился и оглянулся на Ивана Иваныча. А тот повернул в сторону, ничего не заметив. Бим был удивлен: друг-то не чует. Да ведь он же калека! И тогда Бим принял решение сам: тихо переступая в потяжке, стал приближаться к неведомому, уже не глядя на Ивана Иваныча. Шажки становились все реже и реже, он как бы выбирал точку для каждой лапы, чтобы не зашуршать, не зацепить будылинку. Наконец запах оказался таким сильным, что дальше идти уже невозможно. И Бим, так и не опустив на землю правую переднюю лапу, замер на месте, застыл, будто окаменел. Это была статуя собаки, будто созданная искусным скульптором. Вот она, первая стойка! Первое пробуждение охотничьей страсти до полного забвения самого себя.

О нет, хозяин тихо подходит, гладит чуть-чуть вздрагивающего в трепете Бима:

— Хорошо, хорошо, мальчик. Хорошо.— И берет за ошейник.— Вперед... Вперед...

А Бим не может — нет сил.

— Вперед... Вперед... — тянет его Иван Иваныч.

И Бим пошел! Тихо-тихо. Остается совсем чуть — кажется, неведомое рядом. Но вдруг приказ резко:

— Вперед!!!

Бим бросился. Шумно выпорхнул перепел. Бим рванулся за ним и-и-и... погнал, страстно, изо всех сил.

— Наза-ад! — крикнул хозяин.

Но Бим ничего не слышал, ушей будто и не было.

— Наза-ад! — И свисток.— Наза-ад! — И свисток.

Бим мчался до тех пор, пока не потерял из виду перепела, а затем, веселый и радостный, вернулся. Но что же это значит? Хозяин сумрачен, смотрит строго, не ласкает. Все было ясно: ничего не чует его друг! Несчастный друг... Бим как-то осторожненько лизнул руку, выражая этим трогательную жалость к выдающейся наследственной неполноценности самого близкого ему существа.

Хозяин сказал:

— Да ты вовсе не о том, дурачок.— И веселее: — А ну-ка, начнем, Бим, по-настоящему.— Он снял ошейник, надел другой (неудобный) и пристегнул к нему длинный ремень.— Ищи!

Теперь Бим разыскивал з а п а х перепела — больше ничего. А Иван Иваныч направлял его туда, куда переместилась птица. Биму было невдомек, что его друг ви-

дел, где приблизительно сел перепел после позорной погони (чуять, конечно, не чуял, а видеть — видел).

И вот тот же запах! Бим, не замечая ремня, сужает челнок, тянет, тянет, поднял голову и тянет верхом.... Снова стойка! На фоне заката солнца он поразителен в своей необычной красоте, понять которую дано не многим. Дрожа от волнения, Иван Иваныч взял конец ремня, крепко завернул на руку и тихо приказал:

— Вперед... Вперед...

Бим пошел на подводку. И еще раз приостановился.

— Вперед!!!

Бим так же бросился, как и в первый раз. Перепел теперь вспорхнул с жестким стрекотом крыльев. Бим опять ринулся было безрассудно догонять птицу, но... рывок ремня заставил его отскочить назад.

— Назад!!! — крикнул хозяин. — Нельзя!!!

Бим, опрокинувшись, упал.

Он не понял — за что так. И тянул ремень вновь в сторону перепела.

— Лежать!

Бим лег.

И еще раз все повторилось, уже по новому перепелу. Но теперь Бим почувствовал рывок ремня раньше, чем тогда, а по приказу лег и дрожал от волнения, страсти и в то же время от уныния и печали: все это было в его облике от носа до хвоста. Ведь так больно! И не только от жестокого, противного ремня, а еще и от колючек внутри ошейника.

— Вот так-то, Бимка. Ничего не поделаешь — так надо.— Иван Иваныч, лаская, поглаживал Бима.

С этого дня и началась настоящая охотничья собака. С этого же дня Бим понял, что только он, только он один может узнать, где птица, и что хозяин-то беспомощен, а нос у него пристроен только для виду. Началась настоящая служба, в основе ее лежали три слова: нельзя, назад, хорошо.

А потом — эх! — потом ружье! Выстрел. Перепел падал, как ошпаренный кипятком.

И догонять его, оказывается, вовсе не надо, его только найти, поднять на крыло и лечь, а остальное сделает друг. Игра на равных: хозяин без чутья, собака без ружья.

Так теплая дружба и преданность становились счасть-

ем, потому что каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше того, что он может дать. В этом основа, соль дружбы.

К двум годам Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивой и честной. Он знал уже около ста слов, относящихся к охоте и дому: скажи Иван Иваныч «Подай» — будет сделано; скажи он «Подай тапки» — подаст, «Неси миску» — принесет, «На стул!» — сядет на стул. Да что там! По глазам уже понимал: хорошо смотрит хозяин на человека, и Биму он — знакомый с той же минуты; недружелюбно глянет — и Бим иной раз даже и взрычит; даже лесть (ласковую лесть) он улавливал в голосе чужого. Но никогда и никого Бим не укусил — хоть на хвост наступи. Лаем предупредит ночью, что к костру подходит чужой, пожалуйста, но укусить — ни в коем случае. Такая уж интеллигентная порода.

Что до интеллигентности, то Бим даже умел так: научился сам, дошел своим умом, царапаться в дверь, чтобы открыли. Бывало, заболеет Иван Иваныч и не идет с ним гулять, а выпускает одного. Бим побегает малость, управится как и полагается и спешит домой. Поцарапает в дверь, став на задние лапы, чуть поскулит просяще, и дверь открывается. Хозяин, тяжело шлепая по прихожей, встречает, ласкает и снова ложится в постель. Это когда он, пожилой человек, прихварывал (кстати, побаливал он все чаще и чаще, чего Бим не мог не заметить).

Бим твердо усвоил: поцарапай в дверь, тебе откроют обязательно; двери и существуют для того, чтобы каждый мог войти: попросись — тебя впустят. С собачьей точки зрения, это было уже твердое убеждение.

Только не знал Бим, не знал и не мог знать, сколько потом будет разочарований и бед от такой наивной доверчивости, не знал и не мог знать, что есть двери, которые не открываются, сколько в них ни царапайся.

Как оно там будет дальше, неизвестно, но пока остается сказать одно: Бим, пес с выдающимся чутьем, так-таки и остался сомнительным — свидетельство родословной не выдали. Дважды Иван Иваныч выводил его на выставку: снимали с ринга без оценки. Значит — изгой.

И все же Бим — не наследственная бездарь, а замечательная, настоящая собака: он начал работать по птице с восьми месяцев. Да еще как! Хочется верить, что перед ним открывается хорошее будущее.

Глава вторая

●

ВЕСЕННИЙ ЛЕС

●

На втором сезоне, то есть на третьем году от рождения Бима, Иван Иваныч познакомил его и с лесом. Это было очень интересно и собаке, и хозяину.

В лугах и на поле, там все ясно: простор, трава, хлеба, хозяина всегда видно, ходи челноком в широком поиске, ищи, найди, делай стойку и жди приказа. Прелесть! А тут, в лесу, совсем-совсем иное дело.

Была ранняя весна.

Когда они пришли впервые, вечерняя заря только начиналась, а меж деревьями уже сумерки, хотя листья еще и не появились. Все внизу в темных тонах: стволы, прошлогодние темно-коричневые листья, коричнево-серые сухие стебли трав, даже плоды шиповника, густо-рубиновые осенью, теперь, выдержав зиму, казались кофейными зернами.

Ветви слегка шумели от легкого ветра, жидко и голо; они будто ощупывали друг друга, то притрагиваясь концами, то чуть прикасаясь серединой сучьев: жив ли? Верхушки стволов легонько покачивались — деревья казались живыми даже и безлистые. Все было таинственно-шуршащим и густо-пахучим: и деревья, и листва под ногами, мягкая, с весенним запахом лесной земли, и шаги Ивана Иваныча, осторожные и тихие. Его ботинки тоже шуршали, а следы пахли куда сильнее, чем в поле. За каждым деревом что-то незнакомое, таинственное. Поэтому-то Бим и не отходил от Ивана Иваныча дальше двадцати шагов: пробежит вперед — влево, вправо — и катит назад и смотрит в лицо, спрашивая: «Мы зачем сюда попали?»

— Не поймешь, что к чему? — догадался Иван Иваныч.— Поймешь, Бимка, поймешь. Подожди малость.

Так и шли, присматривая друг за другом.

Но вот они остановились на широкой поляне, на пересечении двух просек: дороги на все четыре стороны. Иван Иваныч стал за куст орешника, лицом к заре, и смотрел вверх. Бим тоже поглядывал туда, изо всех сил стараясь сообразить, что же там надо высматривать.

Вверху было светло, а здесь, внизу, становилось все темнее и темнее. Кто-то прошуршал по лесу и притих. Еще прошуршал и опять притих. Бим прижался к ноге Ивана Иваныча — так он спрашивал: «Что там? Кто там? Может, пойдем посмотрим?»

— Заяц,— еле слышно сказал хозяин.— Все хорошо, Бим. Хорошо. Заяц. Пусть его бегает.

Ну, раз «хорошо», значит, все в порядке. «Заяц» — тоже понятно: не раз, когда Бим натыкался на след зверька, ему повторяли это слово. А однажды видел и самого зайца, пытался его догнать, но заработал строгое предупреждение и был наказан. Нельзя!

Итак, недалеко прошуршал заяц. А дальше что?

Вдруг вверху кто-то, невидимый и неведомый, захоркал: «Хор-хор!.. Хор-хор!.. Хор-хор!..» Бим услышал это первым и вздрогнул. Хозяин тоже. Оба смотрели вверх, только вверх... Неожиданно, на фоне багряно-синеватой зари, вдоль просеки показалась птица. Она летела прямо на них, изредка выкрикивала так, будто это не птица, а зверек, летит и хоркает. Но то была все-таки птица. Она казалась большой, крылья же совершенно были бесшумны (не то что перепел, куропатка или утка). Одним словом, незнакомое летело вверху.

Иван Иваныч вскинул ружье. Бим, как по команде, лег, не спуская взора с птицы... В лесу выстрел был таким резким и сильным, какого раньше Бим не слышал никогда. Эхо прокатилось по лесу и замерло далеко-далеко.

Птица упала в кусты, но друзья быстренько ее отыскали. Иван Иваныч положил ее перед Бимом и сказал:

— Знакомься, брат: в а л ь д ш н е п. — И еще раз повторил: — Вальдшнеп.

Бим обнюхивал, трогал лапой за длинный нос, потом сел, подрагивая и перебирая передними лапами в удивлении. Конечно же, он этим и говорил про себя: «Таких носов еще не вида-ал. Вот это действительно но-ос!»

А лес слегка шумел, но все тише и тише. Потом и совсем затих как-то сразу, будто кто-то невидимый легонько взмахнул могучим крылом над деревьями в последний раз: хватит шороху. Ветви стали недвижны, деревья, казалось, засыпали, разве что изредка вздрагивая в полутьме.

Пролетели еще три вальдшнепа, но Иван Иваныч не стрелял. Хотя последнего они уже и не видели в темноте, а только слышали голос, но Бим был удивлен: почему друг не стрелял даже и в тех, каких хорошо видно. От этого Бим волновался. А Иван Иваныч или просто смотрел вверх, или, потупившись, слушал тишину. Оба молчали.

Вот уж когда не надо никаких слов — ни человеку, ни тем более собаке!

Только напоследок, перед уходом, Иван Иваныч проговорил:

— Хорошо, Бим! Жизнь начинается вновь. Весна.

По интонации Бим понял, что другу сейчас приятно. И он ткнул его носом в колено, повиливая хвостом: хорошо, дескать, о чем речь!

...Второй раз они приходили сюда же поздним утром, но уже без ружья.

Ароматные набухшие почки березы, могучие запахи кореньев, тончайшие струйки от пробивающихся ростков трав — все это было поразительно ново и восхитительно.

Солнце пронизывало в лесу все насквозь, кроме сосняка, да и тот кое-где изрезан золотом лучей. И было тихо. Главное — было тихо. До чего же хороша весенняя утренняя тишина в лесу!

На этот раз Бим стал смелее: все отлично просматривается (не то что тогда в сумерках). И он носился по лесу вволю, не упуская, однако, из виду хозяина. Все было великолепно.

Наконец Бим наткнулся на ниточку запаха вальдшнепа. И потянул. И сделал классическую стойку. Иван Иваныч послал «Вперед», а стрелять-то ему и нечем. Да еще приказал лежать, как полагается при взлете птицы. Абсолютно непонятно: видит хозяин или нет? Бим искоса поглядывал на него до тех пор, пока не убедился — видит.

По второму вальдшнепу все получилось так же. Что-

то похожее на обиду Бим теперь все-таки выражал: настороженный взгляд, побежка сторонкой, даже попытки к неповиновению — одним словом, недовольство назревало и искало выхода. Именно поэтому-то Бим и погнался за взлетевшим, третьим уже, вальдшнепом, как обыкновенная дворняга. Но за вальдшнепом далеко не поскачешь: мелькнул в ветвях, и нет его. Бим вернулся недовольный, да к тому же еще был наказан. Что же, он лег в сторонке и глубоко вздохнул (собаки здорово умеют так делать).

Все это еще можно бы перенести, если бы не добавилась вторая обида. Бим на этот раз открыл новый недостаток у хозяина — извращенное чутье: и без того бесчутый, да еще...

А дело было так.

Остановился Иван Иваныч и смотрит, смотрит по сторонам, и нюхает (туда же!). Потом шагнул к дереву, присел и тихонечко, одним пальцем, погладил цветок, малюсенький такой (для Ивана Иваныча он почти без запаха, а для Бима вонючий до невозможности). И что ему — в том цветке? Но хозяин сидел, улыбался. Бим, конечно, сделал вид, что ему тоже вроде бы хорошо, но это только исключительно из уважения к личности, а на самом деле он был немало удивлен.

— Ты посмотри, посмотри-ка, Бим! — воскликнул Иван Иваныч и наклонил нос собаки к цветку.

Такого Бим уже не мог вынести — он отвернулся. Затем незамедлительно отошел и лег на полянке, всем видом выражая одно: «Ну и нюхай свой цветок!» Расхождения требовали срочного выяснения отношений, но хозяин смеялся в глаза Биму счастливым смехом. И это было обидно. «Тоже мне, хохочет!»

А тот опять к цветку:

— Здравствуй, первенький!

Бим понял точно: «здравствуй» сказано не ему.

Ревность закралась в собачью душу, если можно так выразиться, вот что случилось. Хотя дома отношения как будто и наладились, но день для Бима получился неудачный: была дичь — не стреляли, побежал сам за птицей — наказали, да еще — цветок тот.

Нет, все-таки и у собаки жизнь бывает собачья, ибо она живет под гипнозом трех «китов»: «Нельзя», «Назад», «Хорошо».

Только не ведали они, ни Бим, ни Иван Иваныч, что когда-то этот день, если бы они вспомнили, показался бы им огромным счастьем.

●

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

●

В уставшем от зимней тягости лесу, когда еще не распустились проснувшиеся почки, когда горестные пни зимней порубки еще не дали поросль, но уже плачут, когда мертвые бурые листья лежат пластом, когда голые ветви еще не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг друга,— неожиданно донесся запах подснежника! Еле-еле заметный, но это — запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно-радостный, хотя почти и неощутим. Смотрю вокруг — оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля голубого неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья, кому оно положено и доступно. Но для каждого — и счастливого, и несчастного — он сейчас — украшение жизни.

Вот так и среди нас, человеков: есть скромные люди с чистым сердцем, «незаметные» и «маленькие», но с огромной душой. Они-то и украшают жизнь, вмещая в себе все лучшее, что есть в человечестве,— доброту, простоту, доверие. Так и подснежник кажется капелькой неба на земле...

А через несколько дней (вчера) мы были с Бимом на том же месте. Небо окропило лес уже тысячами голубых капель. Ищу, высматриваю: где же он, тот самый первый, самый смелый? Кажется, вот он. Он или не он? Не знаю. Их так много, что того уже не заметить, не найти — затерялся среди идущих за ним, смешался с ними. А ведь он такой маленький, но героический, такой тихий, но до того напористый, что, кажется, именно его испугались последние заморозки, сдались, выбросив ранней зарей белый флаг последнего инея на опушке.

Жизнь идет.

...А Биму ничего из этого недоступно понять. Даже обиделся в первый раз, заревновал. Впрочем, когда было уже много цветов, он и тогда не обращал на них внимания. При натаске же вел себя — не ахти: расстроился без

ружья. Мы с ним на разных ступенях развития, но очень и очень близки. Природа творит по устойчивому закону: необходимость одного в другом; начиная с простейших и кончая высокоразвитой жизнью, везде — этот закон...

Разве смог бы я вынести столь жуткое одиночество, если бы не было Бима?

...Как она была мне необходима! Она тоже любила подснежники. Прошлое как сон...

А не сон ли — настоящее? Не сон ли это — вчерашний весенний лес с голубизной на земле? Что ж: голубые сны — божественно-целительное лекарство, пусть и временное. Конечно, временное. Ибо если бы даже и писатели проповедовали только голубые сны, уходя от серого цвета, то человечество перестало бы беспокоиться о будущем, приняв настоящее как вечное и в будущем. Удел обреченности во времени и состоит в том, что настоящее должно стать только прошлым. Не во власти человека приказать: «Солнце, остановись!» Время неостановимо, неудержимо и неумолимо. Все — во времени и движении. А тот, кто ищет только устойчивого голубого покоя, тот весь уже в прошлом, будь он молодым радетелем о себе или престарелым — возраст не имеет значения. Голубое имеет свой звук, оно звучит как покой, забвение, но только временное, всего лишь для отдыха; такие минуты никогда не надо пропускать.

Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так:

«О беспокойный Человек! Слава тебе вовеки, думающему, страдающему ради будущего! Если тебе захочется отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон действительности. Иди скорее: через несколько дней подснежников может и не быть, а ты не сумеешь запомнить волшебство видения, подаренного природой. Иди, отдохни. Подснежники — к счастью, говорят в народе».

...А Бим дрыхнет. И видит сон: подрыгивает ногами — бежит во сне. Этому подснежники «до лампочки»: голубое он видит только серым (так уж устроено зрение у собаки). Природа создала как бы очернителя действительности. Поди убеди его, милого друга, чтобы он видел с точки зрения человека. Хоть голову отруби, а видеть будет по-своему. Вполне самостоятельный пес.

Глава третья

●

ПЕРВЫЙ НЕПРИЯТЕЛЬ БИМА

●

Прошло лето, веселое для Бима, радостное, заполненное дружбой с Иваном Иванычем. Походы в луга и болота (без ружья), солнечные дни, купание, тихие вечера на берегу реки — что еще надо любой собаке? Ничего не надо — это точно.

При тренировке и натаске они встречались и с охотниками. С этими знакомство происходило незамедлительно, потому что с каждым таким человеком была собака. Еще до того, как сходились хозяева, обе собаки бежали друг к другу и коротко беседовали на собачьем языке жестов и взглядов:

«Ты кто: он или она?» — спрашивал Бим, обнюхивая соответствующие места (конечно, для проформы).

«Сам видишь, чего и спрашивать»,— отвечала она.

«Как жизнь?» — весело спрашивал Бим.

«Работаем!» — взвизгнув, отвечала собеседница, кокетливо подпрыгнув на всех четырех ногах.

После этого они мчались к хозяевам и то одному, то другому докладывали о знакомстве. Когда же оба охотника усаживались для разговоров в тени куста или дерева, собаки резвились до того, что язык не умещался во рту. Тогда они ложились около хозяев и слушали тихую задушевную беседу.

Другие люди, кроме охотников, для Бима были малоинтересны: люди, и все. Они хорошие. Но не охотники же!

А вот собаки, эти — разные.

Однажды в лугу встретился он с лохматенькой собачкой, вдвое меньше его, черненькая такая. Поздоровались сдержанно, без кокетства. Да и какое уж там кокетство, если новая знакомая на обычный для таких случаев перечень вопросов отвечала, лениво взмахивая хвостом:

«Я есть хочу».

У нее пахло изо рта мышонком. И Бим спросил удивленно, обнюхав ее губы:

«Ты съела мышь?»

«Съела мышь,— ответила та.— Я есть хочу». И принялась грызть белый узловатый корень камыша.

Бим хотел попробовать камышовый корешок, но она, протестуя, сказала все то же:

«Я есть хочу».

Бим подождал сидя, пока она догрызла все, и пригласил ее с собой. Та пошла беспрекословно, притрухивая за ним, взлохмаченная, но чистая (видимо, любила купаться, как и большинство собак, отчего летом они и не бывают грязными, даже бездомные). Бим привел ее к хозяину, издали следившему за знакомством своего друга. Но Лохматка не поверила сразу в чужого человека, а села поодаль, несмотря на то что Бим перебегал от хозяина к ней и обратно, зовя ее, убеждая. Иван Иваныч снял рюкзак, достал оттуда колбаску, отрезал маленький кусочек и бросил Лохматке:

— Ко мне, ко мне, Лохматка. Ко мне.

Кусочек упал метрах в трех от нее. Она, осторожно переступая, дотянулась, съела его и села тут же. Со следующим кусочком приблизилась еще. А потом ела уже у ног человека, даже позволила погладить себя, хотя и с опаской. Бим и Иван Иваныч отдали ей все колечко колбаски: хозяин бросал куски, а Бим не мешал Лохматке есть. Все обыкновенно: брось кусочек — подойдет ближе, брось второй — еще ближе, с третьим, четвертым — уже у ног окажется и будет служить верой и правдой. Так думал Иван Иваныч. Он ощупал Лохматку, потрепал по холке и сказал:

— Нос холодный — здоровая. Это хорошо. — И дал команду обоим: — Поди, поди!

Лохматка не понимала таких слов, но когда увидела, как Бим взвился челноком по траве, то сообразила: надо бегать. И конечно, они взыграли по-собачьи так, что Бим забыл даже, зачем он тут находится. Иван Иваныч не возражал, а шел себе и шел, посвистывая.

До города Лохматка сопровождала без никаких, но на окраине неожиданно села сбоку дороги и — ни с места. Звали, приглашали — не идет. Так и осталась сидеть, провожая их взглядом. Ошибся Иван Иваныч — не каждую собаку можно купить на приманку.

Бим не знал и знать не мог, что у Лохматки тоже были хозяева, что жили они в своем маленьком домике, что улицу ту, где был домик, всю снесли, а хозяевам Лохматки дали квартиру на пятом этаже со всеми удобствами.

Одним словом, Лохматку бросили на произвол судь-

бы. Но она нашла-таки и тот новый дом, и дверь хозяина, а там ее побили и прогнали. Вот она и живет одна. По городу ходит только ночью, как и большинство бездомных собак. Иван Иваныч обо всем догадался, но Биму-то рассказать невозможно. Бим просто не хотел ее оставлять: оглядывался назад, приостанавливался и обращал взор к Ивану Иванычу. Но тот шел себе и шел.

Если бы он знал, как горькая судьба сведет Бима и Лохматку, если бы знал, когда и где они встретятся, не шел бы он теперь так спокойно. Но будущее неизвестно и человеку.

...Третье лето прошло. Хорошее для Бима лето, неплохое и для Ивана Иваныча. Однажды ночью хозяин закрыл окно и сказал:

— Морозец, Бимка, первый морозец.

Бим не понял. Он встал, ткнулся в темноте носом в колено Ивана Иваныча, чем и сказал: «Не понимаю».

Иван Иваныч знал собачий язык хорошо — язык глаз и движений. Он зажег свет и спросил:

— Не понимаешь, дурачок? — Затем разъяснил точно: — На вальдшнепов завтра. В а л ь д ш н е п!

О, это слово Бим знал! Он подпрыгнул и лизнул-таки друга в подбородок.

— На охоту завтра, н а о х о т у, Бим!

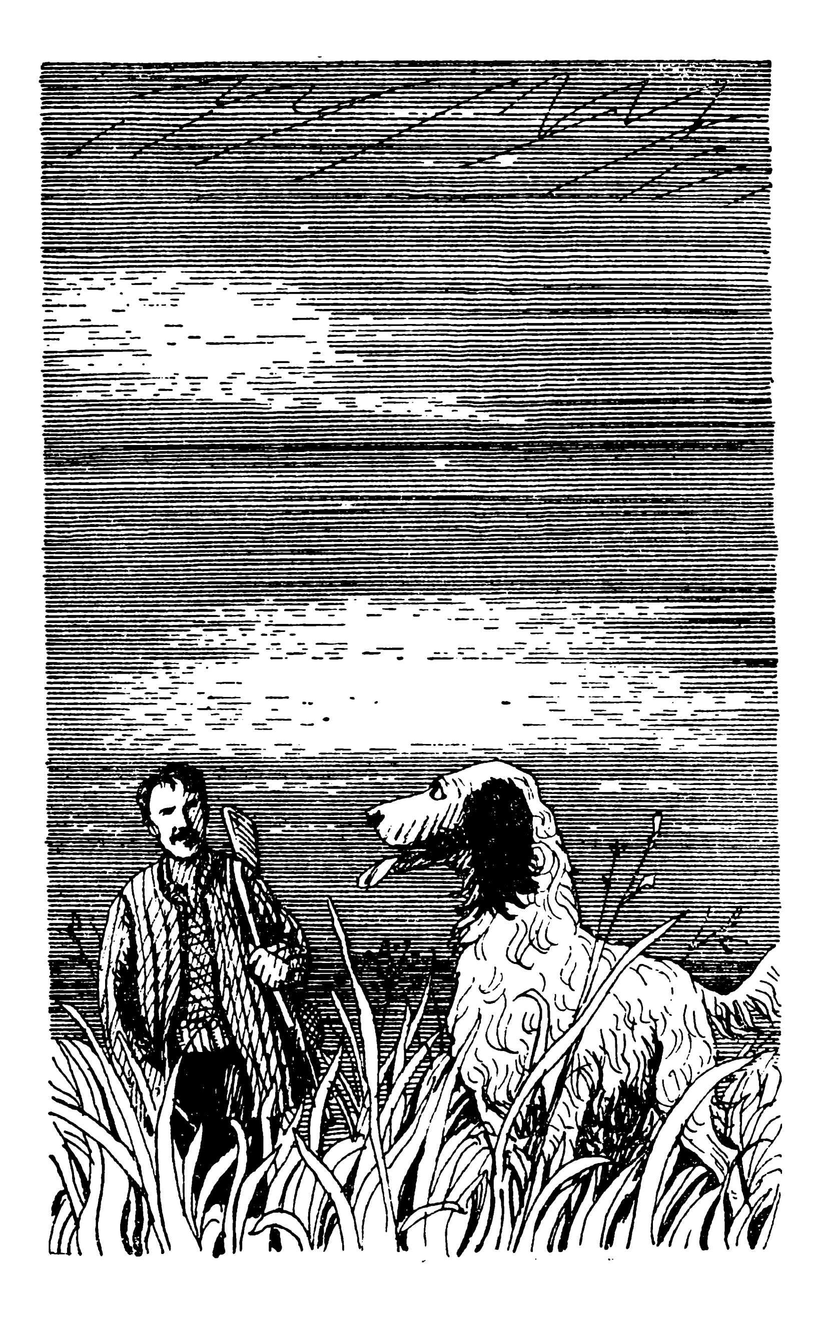
Куда там! Бим завертелся, заюлил волчком, хватая собственный хвост, взвизгнул, потом сел и впился глазами в лицо Ивана Иваныча, подрагивая очесами передних лап. Это обворожительное слово «охота» знакомо Биму, как сигнал к счастью.

Но хозяин приказал:

— А пока — спать.— Выключил свет и лег.

Остаток ночи Бим пролежал у кровати друга. Какой уж тут сон! Он и сам, Иван Иваныч, то дремал, то просыпался в ожидании рассвета.

Утром они вместе собрали рюкзак, протерли от масла стволы ружья, легко позавтракали (на охоту идти — нельзя нажираться), проверили патронташ, перекладывая патроны из гнезда в гнездо. Работы было много за этот короткий час сборов: хозяин на кухню — Бим на кухню, хозяин в чулан — Бим туда же, хозяин вынимает консервную банку из рюкзака (неудобно легла) — Бим берет ее и сует обратно, хозяин проверяет патроны — Бим следит



(не ошибся бы); и в чехол с ружьем надо ткнуться носом не раз (тут ли?); а к тому же в такие колготные минуты чешется за ухом от волнения — то и дело поднимай лапу и чеши, будь оно неладно, когда и без того хлопотно до последней степени.

Ну, собрались. Бим был в восторге. Как же! Хозяин, уже в охотничьей куртке, перекинул на плечо охотничью сумку, снял ружье.

— На охоту, Бим! На охотку,— повторил он.

«На охотку, на охотку!» — говорил глазами и Бим в восхищении. Он даже чуть привизгивал от переполнившего чувства благодарности и любви к своему единственному в мире другу.

В тот момент и вошел человек. Бим его знал — встречал во дворе,— но считал малоинтересным и не заслуживающим какого-либо особого внимания с его стороны. Коротконогий, толстый, широколицый, он сказал чуть скрипучим баском:

— Привет, значит! — И сел на стул, вытирая лицо платком.— Та-ак... На охоту, значит?

— На охоту,— недовольно буркнул Иван Иваныч,— по вальдшнепам. Да вы проходите — гостем будете.

— Вот та-ак... на охоту... Придется повременить, значит.

Бим переводил взгляд с хозяина на Гостя, удивленно и внимательно. Иван Иваныч сказал почти сердито:

— Не понимаю вас. Уточните.

И тут Бим, наш ласковый Бим, сначала слегка взрычал и вдруг гавкнул. Сроду такого не было, чтобы вот так — дома и на гостя. Гость не испугался, он, казалось, был равнодушен.

— На место! — так же сердито приказал Иван Иваныч.

Бим повиновался: лег на лежак, положив голову на лапы, и смотрел в сторону чужого.

— Ишь ты! Слушается, значит. Та-ак... Значит, он и жильцов в подъезде облаивает так же, как, допустим, лисиц?

— Никогда. Никогда и никого. Это впервые. Честное слово! — тревожился Иван Иваныч и сердился.— Кстати, к лисицам он никакого отношения не имеет.

— Та-ак,— снова протянул Гость.— К делу давайте.

Иван Иваныч снял куртку и сумку:

— Я вас слушаю.

— У вас, значит, собака,— начал Гость.— А у меня,— он вынул бумагу из кармана,— жалоба на нее. Вот.— И подал бумагу хозяину.

Читая, Иван Иваныч волновался. Бим, заметив это, самовольно сошел с места и сел в ногах друга, как бы защищая его, но на Гостя уже не смотрел, хотя и был настороже.

— Глупости здесь,— сказал Иван Иваныч уже спокойнее.— Чепуха. Бим — собака ласковая, никого он не укусил и не укусит, никого не обидит. Собака интеллигентная.

— Хе-хе-хе! — потряс животом Гость. И чихнул некстати.— У-у, быдло! — обратился он беззлобно к Биму.

Бим отвернулся в сторону еще больше, но понял, что разговор идет о нем. И вздохнул.

— Как же это вы так рассматриваете жалобы? — спросил Иван Иваныч, теперь уже совсем спокойно и улыбаясь.— На кого жалоба, тому и даете ее читать. Я бы вам и так поверил, по пересказу.

Бим заметил в глазах Гостя смешинку. А тот проговорил:

— Во-первых, так положено. Во-вторых, жалоба не на вас, а на собаку. А собаке мы не дадим читать.— И рассмеялся.

Хозяин тоже посмеялся малость. Бим даже и не улыбнулся: он знал, что речь о нем, а что к чему, не мог взять в толк — очень уж непонятный Гость оказался. Тот ткнул пальцем в сторону Бима и сказал:

— Собаку надо увольнять. — И отмахнул рукой к двери.

Бим понял, что от него требуют точно: уходи. Но от хозяина он не отступил ни на сантиметр.

— А вы позовите жалобщицу — поговорим, уладим, может быть,— попросил Иван Иваныч.

Гость, сверх ожидания, вышел и вскоре же вернулся с женщиной:

— Вот, привел тебе тетку, значит.

Бим ее тоже знал: небольшого роста, визгливенькая и жирная, она, однако, днями сидела на скамейке во дворе с другими свободными женщинами. Однажды Бим даже лизнул ей руку (не от избытка чувств только к ней лично, а к человечеству вообще), отчего та взвизгнула

и стала кричать что-то на весь двор, обращаясь к открытым окнам. Что уж она там кричала, Бим не понял, но испугался, бросился прочь и зацарапал в дверь домой. Больше вины за ним перед Теткой не было. И вот она вошла. Что с ним сделалось! Он сначала прижался к ногам хозяина, а когда тот погладил его, то, поджав хвост, ушел на лежак и смотрел на нее исподлобья. Он ничего не понимал из слов Тетки, а она стрекотала сорокой и все время показывала свою руку. Но по этим жестам, по сердитым ее взглядам Бим понял: это за то, что лизнул не тому, кому надо. Молод, молод был Бим, почему и не все еще соображал. Может быть, он думал и так: «Виноват, конечно, но что поделаешь теперь». По крайней мере, что-то подобное в его глазах было.

Только невдомек Биму, что обвиняли его ложно.

— Укусить хотел! Укуси-ить!!! Почти укуси-ил!

Иван Иваныч, перебив стрекот Тетки, обратился прямо к Биму:

— Бим! А принеси-ка мне тапки.

Бим исполнил охотно и лег перед хозяином. Тот снял охотничьи ботинки и сунул ноги в тапки.

— Теперь отнеси ботинки.

Бим и это проделал: поочередно отнес их под вешалку.

Тетка замолчала, вытаращив очи. Гость сказал похвально:

— Молоде-ец! Ты смотри, умеет, значит.— И как-то вроде бы недружелюбно посмотрел на Тетку.— А еще он умеет чего-нибудь?

— Вы садитесь, садитесь,— попросил Иван Иваныч и Тетку.

Она села, спрятав руки под фартук. Хозяин поставил стул Биму и скомандовал:

— Бим! На стул!

Биму повторять не требуется. Теперь все сидели на стульях. Тетка прикусила губу. Гость, удовлетворенно покачивая ногой, приговаривал:

— Ладно получается, ладно, ладно.

Хозяин же хитренько прищурил глаза в сторону Бима:

— А ну дай лапу.— И протянул ладонь.

Поздоровались.

— Теперь, дурачок, поздоровайся с гостем,— и указал на того пальцем.

Гость протянул руку:

— Здравствуй, братка, здравствуй, значит.

Бим все сделал элегантно, как и полагается.

— А не укусит? — осторожно спросила Тетка.

— Что вы! — изумился Иван Иваныч.— Протяните руку и скажите: «Лапку!»

Та действительно выволокла ладонь из-под фартука и протянула Биму:

— Только не укуси,— предупредила она.

Ну, тут уж описать невозможно, что произошло. Бим шарахнулся на лежак, занял немедленно оборонительную позицию, прижавшись задом в угол, и в упор смотрел на хозяина. Иван Иваныч подошел к нему, погладил, взял за ошейник и подвел к жалобщице:

— Дай лапку, дай...

Нет, не подал лапу Бим. Отвернулся и смотрел в пол. Впервые ослушался. И угрюмо поплелся опять в угол, медленно, виновато и удрученно.

Ой, что тут сотворилось! Тетка задребезжала рассохшейся трещоткой.

— Ты ж меня оскорбил! — кричала она на Ивана Иваныча.— Какая-то паршивая собака меня, советскую женщину, ни во что не ставит! — И тыкала пальцем в сторону Бима.— Да я... да я... Подожди-и!

— Хватит! — неожиданно рявкнул на нее Гость.— Брешешь ты, значит. Не укусила она тебя и не собиралась. Она же тебя боится, как черт ладана.

— А ты не ори,— попробовала она отбиться.

Тогда Гость сказал однозначно:

— Цыть! — И обратился к хозяину.— С такими иначе нельзя.— И снова к Тетке: — Ишь ты! «Советская женщина», тоже мне... Иди отсюда! — рыкнул он.— Еще намутишь раз, опозорю. Иди! — Жалобу он порвал у нее на глазах.

Последнюю речь Гостя Бим понял отлично. А Тетка ушла молча, гордо вскинув голову и ни на кого не глядя, хотя Бим теперь не спускал с нее глаз и даже продолжал смотреть на дверь после того, как она ушла, а шаги ее затихли.

— Очень уж вы с ней... грубовато,— сказал Иван Иваныч.

— Иначе нельзя, говорю вам: весь двор перемутит, знаю. Раз говорю, значит, знаю. Вот они где мне, эти сплетницы да смутьяны,— он похлопал себя по загрив-

ку.— Делать-то ей нечего, вот она и норовит, кого бы ей укусить. Таких распусти — весь дом пойдет чертокопытом.

Бим все время следил за выражением лиц, за жестами, интонацией и понял отлично: Гость и хозяин — вовсе никакие не враги, а даже, по всей видимости, уважают друг друга.

Наблюдал он еще долго, пока они о чем-то потом беседовали. Но раз уж он установил главное, то остальное его интересовало мало. Он подошел к Гостю и улегся у его ног, как бы говоря этим: «Извиняюсь».

●

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

●

Сегодня был председатель домкома, разбирал жалобу на собаку. Победил Бим. Впрочем, гость мой судил как Соломон. Самородок!

Почему же Бим зарычал на него вначале? А, понял! Я ведь не подал руки, встретил вошедшего сурово (охоту же пришлось отложить), а Бим действовал согласно со своей собачьей натурой: недруг хозяина — мой недруг. И тут должно быть стыдно мне, но не Биму. Удивительно, какое у него тончайшее восприятие интонации, выражения лица, жестов! Это обязательно надо всегда иметь в виду.

После у нас состоялся интересный разговор с преддомкома. Он окончательно перешел на «ты»:

— Ты, — говорит, — только подумай: сто пятьдесят квартир в моем доме! А четыре-пять смутьянок-бездельниц могут такое сотворить, что житья никому не будет. И все их знают, и все боятся, а потихоньку клянут. Ведь на дурного жильца даже унитаз урчит. Ей-бо!.. Самый мой страшный враг кто? Да тот, кто не работает. У нас, брат, можно и не работать, а есть от пуза. Тут что-то не так, скажу я тебе по душам. Не так, значит... Можно, можно не работать. Ишь ты! Вот ты, например, чего делаешь?

— Пишу,— отвечаю, хотя я и не понял, шутит он или говорит серьезно (люди с юмором частенько выдают такое).

— Да разве ж это работа! Сидишь — ничего не делаешь, а деньги небось платят?

— Платят,— отвечаю.— Но ведь я мало получаю — староват стал, на пенсию живу.

— А до пенсии — кем?

— Журналист я. В газетах работал. А теперь вот помаленьку пишу кое-что дома.

— Пишешь? — снисходительно переспросил он.

— Пишу.

— Ну, валяй, раз уж такое дело... Конечно, ты человек, видать, неплохой, а вот видишь... То-то и оно. Я тоже пенсию получаю, сто рублей, а работаю же преддомкома, бесплатно работаю, учти. Я привык работать, всю жизнь на руководящей, и из номенклатуры не вышибали, и по второму кругу не ходил. Под конец уж затерли: ниже, ниже и ниже. Последнее место — маленький заводик. Там и пенсию назначили. А персональную не дали — закавыка маленькая есть... Работать обязан каждый. Так я думаю.

— Но ведь у меня работа тоже трудная,— пытался я оправдаться.

— Писать-то? Глупости. Был бы ты молодой — взялся бы я и за тебя. Ну, раз пенсия... А так, если молодые, да не работают, выживаю из дома: иль трудись, иль катись куда подальше.

Он и правда гроза бездельников в доме. Кажется, главная цель его жизни теперь — пилить лодырей, сплетников и тунеядцев, но зато воспитывать — всех без исключения, что он и делает охотно. Доказать же ему, что писать — тоже работа, оказалось невозможным: тут он либо хитрил с подводным юморком, либо был просто снисходителен (пусть, дескать, пока пишет — есть бездельники и похлестче). Уходил он добрый, отбросив хитринку, погладил Бима и сказал:

— А ты живи, значит. Но с Теткой не связывайся.— И ко мне: — Ну, бывай. Пиши, видно, куда ж денешься.

Мы пожали друг другу руки. Бим проводил его до дверей, виляя хвостом и заглядывая в лицо. У Бима появился новый знакомый: Павел Титыч Рыдаев, в обыденности: «Палтитыч». Зато у Бима завелся и неприятель: Тетка, единственный человек из всех людей, которому он не верит. Собака опознала клеветника.

Но охота сегодня пропала. Так бывает: ждет человек доброго дня, а выходят одни неприятности. Бывает.

Глава четвертая

●

ЖЕЛТЫЙ ЛЕС

●

В один из следующих дней, рано утром, они вдвоем вышли из дому. Сначала ехали трамваем, стоя на площадке. Вагоновожатая оказалась знакомой Ивану Иванычу и Биму. Конечно же, Бим приветствовал ее, когда та выходила перевести стрелку. Вожатая потрепала его за ухо, но Бим руки не лизнул, а просто посеменил лапами сидя и отстучал хвостом соответственное случаю приветствие.

Потом, уже за городом, ехали в автобусе, в котором и было-то всего пять-шесть человек в такое раннее утро. При посадке водитель что-то заворчал, повторяя слово «собака» и «не положено». Бим легко во всем разобрался: шофер не желает их везти, и это плохо,— по лицам разобрался. Один из пассажиров вступился за них, второй, наоборот, поддержал шофера. Бим с большим интересом наблюдал за перепалкой. Наконец шофер вышел из автобуса. У порога хозяин дал ему желтенькую бумажку, поднялся по ступенькам вместе с Бимом, сел на сиденье и печально вздохнул: «Эх-хе-хе!»

Бим давно заметил, что люди обмениваются какими-то бумажками, пахнущими не разберешь чем. Однажды он почуял, что одна из лежащих на столе пахнет кровью, потыкал в нее носом, стараясь обратить внимание хозяина, но тот и ухом не повел — бесчутый! — а твердит свое «Нельзя». Да еще и запер бумажки в стол. Иные, правда,— пока чистые — пахнут хлебом, колбасой, вообще магазином, но большинство — множеством рук. Люди их любят, эти бумажки, прячут в карман или в стол, как хозяин. Хотя в этих делах Бим ничего не понимал, однако же легко сообразил: как только хозяин дал шоферу бумажку, они стали друзьями. А почему вздохнул Иван Иваныч, Бим не понял, что было видно по его внимательному взгляду в глаза друга. В общем, о магической силе

бумажек он даже и смутно не догадывался — недоступно это собачьему уму; не знал, что для него они сослужат когда-то роковую службу.

От шоссе до леса шли пешком.

Иван Иваныч остановился на опушке отдохнуть, а Бим поблизости обследовал местность. Такого леса он еще не видел никогда. Лес-то, собственно, тот же — они здесь бывали весной, приходили и летом (так, пошататься), но теперь здесь все-все вокруг было желтое и багряное, казалось, все горело и светило вместе с солнцем.

Деревья только-только начали сбрасывать одеяние, и листья падали, покачиваясь в воздухе, бесшумно и плавно. Было прохладно и легко, а потому и весело. Осенний запах леса — особенный, неповторимый, стойкий и чистый настолько, что за десятки метров Бим чуял хозяина. Лесную мышь он «прихватил» далеко, но не пошел за ней (знакомый пустяк!), а вот что-то живое так ударило издали в нос, что Бим приостановился. А подойдя вплотную, облаял колючий шар.

Иван Иваныч встал с пенечка и подошел к Биму:

— Нельзя, Бим! Нельзя, дурачок. Ежик называется. Назад! — И увел Бима с собой.

Выходит, ежик — зверюшка, и притом хорошая, а трогать его нельзя.

Теперь Иван Иваныч опять же сел на пенек, приказал Биму тоже сидеть, а сам снял кепку, положил ее рядом на землю и смотрел на листья. И слушал тишину леса. Ну конечно же, он улыбался! Он был сейчас таким, как всегда перед началом охоты.

Бим тоже слушал.

Прилетела сорока, прострекотала нахально и улетела. Перепрыгивая с ветки на ветку, приблизилась сойка, прокричала с кошачьим надрывом и тоже упрыгала так же, по веткам. А вот королек-малютка, этот совсем-совсем рядом: «Свить, свить! Свить, свить!» Ну что ты с ним будешь делать! И размером-то с жука, а туда же: «Свить, свить!» Вроде бы приветствует.

Все остальное было тишиной.

И вот хозяин встал, расчехлил ружье, вложил патроны. Бим задрожал от волнения. Иван Иваныч потрепал его ласково по загривку, отчего Бим еще больше разволновался.

— Ну, мальчик... ищи!

Бим пошел! Малым челноком пошел, лавируя между деревьями, приземисто, пружинисто и почти бесшумно. Иван Иваныч потихоньку двинулся за ним, любуясь работой друга. Теперь лес со всеми красотами остался на втором плане: главное — Бим, изящный, страстный, легкий на ходу. Изредка подзывая его к себе, Иван Иваныч приказывал ему лежать, чтобы дать успокоиться, втянуться. А вскоре Бим уже пошел ровно, со знанием дела. Великое искусство — работа сеттера! Вот он идет легким галопом, подняв голову, ему не надо опускать ее и искать низом, он берет запахи верхом, при этом шелковистая шерсть облегает его точеную шею; оттого он так и красив, что держит голову высоко, с достоинством, уверенностью и страстью.

Такие часы для Ивана Иваныча были часами забвения. Он забывал войну, забывал невзгоды прошедшей жизни и свое одиночество. Даже сын Коля, его кровное дитя, отнятое жестокой войной, будто присутствовал с ним, будто он, отец, доставлял ему радость даже мертвому. Он ведь тоже был охотником! Мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил, мертвые только не стареют, оставаясь в сердце живых такими, какими они ушли. Так и у Ивана Иваныча: рана зарубцевалась в душе, но болит всегда. На охоте же всякая боль души становится хоть немного, но легче. Благо тому, кто родился охотником!

И вот Бим замедлил ход, сужая челнок, чуть приостановился на секунду и пошел редким, крадущимся шагом. Что-то от кошачьего было в его движениях, мягких, осторожных, плавных. Теперь он уже вытянул голову вровень с туловищем. Каждой частицей тела, включая и вытянутый хвост, оперенный длинной шерстью, он был сосредоточен на струе запаха. Шаг... И поднимается только одна лапа. Шаг — и следующая лапа так же на долю секунды замирает в воздухе и неслышно опускается. Наконец передняя правая, как почти всегда, замерла, не коснувшись земли.

Позади, взяв ружье наизготовку, тихо подошел Иван Иваныч. Теперь две статуи: человек и собака.

Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы, купаясь в блестках солнца. Притихли молодые дубки рядом с величавым исполином дубом, отцом и прародителем. Бесшумно трепетали оставшиеся на осине

серебряно-серенькие листья. А на палой желтой листве стояла собака — одно из лучших творений природы и терпеливого человека. Ни единый мускул не дрогнет! В такие минуты Бим кажется полумертвым, это похоже на транс от восхищения и страсти. Вот что такое классическая стойка в желтом лесу.

— Вперед, мальчик...

Бим поднял вальдшнепа на крыло.

Выстрел!

Лес встрепенулся, ответив недовольным, обиженным эхом. Казалось, береза, забравшаяся на границу дубняка и осинника, испугалась, вздрогнула. Дубы охнули как богатыри. Осина, что рядом, торопливо посыпала листьями.

Вальдшнеп упал комом. Бим подал его по всем правилам. Но хозяин, приласкав Бима и поблагодарив за красивую работу, подержал птицу на ладони, посмотрел на нее и сказал задумчиво:

— Эх, не надо бы...

Бим не понял, вглядывался в лицо Ивана Иваныча, а тот продолжал:

— Для тебя только, Бим, для тебя, глупыш. А так — не стоит.

И опять Бим не понял — недоступно ему такое понять. Но за всю охоту стрелок, как казалось Биму, «мазал», как слепой. Очень недоволен был пес, когда хозяин и вовсе не выстрелил в одного из вальдшнепов. Зато самого последнего он свалил чисто.

Домой они возвратились уже затемно, усталые и оба добрые, ласковые друг к другу. Бим, например, не пожелал ночевать на своем лежаке, а стащил оттуда подстилку, приволок ее к кровати Ивана Иваныча и улегся рядом с ним, на полу. В этом был смысл: его нельзя прогнать на место, потому что «место» он принес с собой. Иван Иваныч потрогал его за ухо, потрепал по холке. Дружба, казалось, будет вечной.

Ночью же Иван Иваныч почему-то стонал тихонько, вставал, глотал таблетки и снова ложился. Бим сначала настороженно прислушивался, присматривался к другу, потом встал и лизнул вытянутую с кровати руку.

— Осколок... Осколок, Бимка... ползет. Плохо, мальчик,— сказал Иван Иваныч, держа руку у сердца.

Слово «плохо» Бим знал отлично и уже давно. И вот

уже несколько раз он слышал слово «осколок», он его не понимал, но собачьим нутром догадывался, что оно тревожное, плохое слово, жуткое.

Но все обошлось: утром, после прогулки, Иван Иваныч сел за стол, как и обычно, положил перед собой белый лист и зашептал по нему палочкой.

●

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

●

Вчера был счастливый день. Все — как надо: осень, солнце, желтый лес, изящная работа Бима. А все-таки какой-то осадок на душе. Отчего бы?

В автобусе Бим явно заметил, как я вздохнул, и явно же не понял меня. Пес вовсе не может представить, что я дал взятку шоферу. Собаке — наплевать на это. А мне? Какая разница — рубль я дал за малое «дело», или двадцать — за большое, или тысячу — за крупное? Все равно стыдно. Словно продаешь свою совесть по мелочам. Конечно, Бим стоит несравненно ниже человека, поэтому никогда и не догадается об этом.

Не понять того Биму, что бумажки эти и совесть иногда находятся в прямой зависимости. Но какой же я чудак! Нельзя же требовать от собаки больше того, что она может: очеловечивать собаку нельзя.

И еще: мне жаль стало убивать дичь. Это, наверное, старость. Так хорошо было вокруг, и вдруг мертвая птица... Я не вегетарианец и не ханжа, описывающий страдание убитых животных и уписывающий с удовольствием их мясо, но до конца дней ставлю себе условие: одного-двух вальдшнепов за охоту, не больше. Если ни одного — еще бы лучше, но тогда Бим загибнет как охотничья собака, а я вынужден буду купить птицу, которую для меня убьет кто-то другой. Нет уж, увольте от такого... А к кому, собственно, я обращаюсь? Впрочем, к самому себе: раздвоение личности в длительном одиночестве в какой-то степени неизбежно. Веками от этого спасала человека собака. Откуда же все-таки осадок от вчерашнего. И только ли от вчерашнего? Не пропустил ли я какую-то мысль?.. Итак, вчерашний день: стремление к счастью — и желтый рубль; желтый лес — и убитая птица. Что это: уж не сделка ли со своей совестью?

Стоп! Вот какая мысль ускользнула вчера: не сделка, а укор совести и боль за всех, убивающих бесполезно, когда человек теряет человечность. Из прошлого, из воспоминаний о прошлом, идет и все более растет во мне жалость к птицам и животным.

Я вспоминаю.

Была установка руководства Общества охотников об уничтожении сорок как вредных птиц, и это обосновывалось якобы наблюдениями биологов. И все охотники убивали сорок со спокойной совестью. Была такая установка и о ястребиных птицах. Их тоже убивали. И о волках. Этих уничтожили почти начисто. За волка платили премию в триста рублей (старыми деньгами), а за лапки сороки или коршуна, представленные в Общество охотников,— то ли пять копеек, то ли пятьдесят — не помню.

Но вдруг, в новой установке, коршун и сорока объявлены полезными птицами, не врагами птиц: уничтожать их запрещено. Строжайший приказ к уничтожению сменился строжайшим наказом к запрещению.

Осталась теперь единственная птица, подлежащая уничтожению, объявленная вне закона, — серая ворона. Она якобы разоряет птичьи гнезда (в чем, впрочем, обвинялась безапелляционно и сорока). Зато никто не отвечает за отравление ядохимикатами птиц степных и лесостепных районов. Спасая леса и поля от вредителей, мы уничтожали птиц, а уничтожая их, губили... леса. Неужели виноватой оказалась серая ворона, извечный санитар и спутник человеческого общества?

Вали на серую ворону! — самое верное, элементарное оправдание виновных в смерти птиц.

Длительные эксперименты со смертью — ужасно. Уже восстают против этого честные ученые-биологи и охотники, уже борьба за охрану птиц и лесов идет в международном масштабе.

Поднял ли я в свое время голос против экспериментов со смертью? Нет. И это — укор и моей совести. Как бледно и немощно прозвучал бы мой голос теперь, если бы я сказал задним числом так:

Спасите серую ворону — отличного санитара местожительства людей, спасите ее от истребления, ибо она помогает очищать от нечистот местность вокруг нас так же, как сатирик очищает общество от духовных нечистот, спасите серую ворону за это самое; пусть она немножко

воровка птичьих яиц, но на то и серая ворона, чтобы птицы умели строить гнезда; спасите эту колготную насмешницу, единственную птицу, обладающую наглостью наивности настолько, что она в глаза человеку может так и ляпнуть с дерева: «Ка-ар-р!» (Уходи, дурак!) А только вы отошли, слетит вниз и, насмешливо покрякивая, примется вновь уплетать тухлый кусок мяса, который ни одна собака в рот не возьмет; спасите серую ворону — сатирика птичьего мира! Не бойтесь ее. Посмотрите, как маленькие ласточки дружно клюют ее и прогоняют оттуда, где и без нее чистота, а она улетает от них, ехидненько покаркивая, туда, где пахнет тухлым. Спасите серую ворону!

Действительно, получилось бы и немощно и бездоказательно. Но так пусть и остается такое в этой тетрадке о Биме. Сейчас прямо и напишу на обложке: «Бим». Здесь все будет только для самого себя. Ведь записки я начал ради спасения чести Бима, виновного в своем рождении, но они разрастаются все больше, и уже обо всем том, что связано не только с Бимом, но и со мной. Никто их, видимо, не напечатает; да и кому интересно читать «о собаке, о себе»? Никому. Так и хочется написать словами Кольцова:

> Пишу не для мгновенной славы:
> Для развлеченья, для забавы,
> Для милых искренних друзей,
> Для памяти минувших дней.

...А Бим лежит и днем — наработался, дружище, нахватался целительных запахов желтого леса.

Ах, желтый лес, желтый лес! Вот вам и кусочек счастья, вот вам и место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище.

Глава пятая

●

НА ОБЛАВЕ В ВОЛЧЬЕМ ЯРУ

●

В один из осенних дней к Ивану Иванычу зашел человек, от которого пахло ружьем и собакой. Хотя он не был в охотничьих доспехах и одет обыкновенно, как

все малоинтересные люди, но Бим уловил в нем и тонкий запах леса, и следы ружья на ладонях, и ароматный дух осеннего листа от ботинок. Конечно же, Бим обо всем этом сказал, обнюхивая гостя, бросая взгляды на хозяина и энергично работая хвостом. Видел он его впервые, а вот сразу же признал товарищем без никаких сомнений и колебаний.

Гость знал собачий язык, потому и сказал ласково:

— Признал, признал. Молодец, хорошо, хорошо.— Потрепал по голове и сказал уверенно и четко: — Сидеть!

Бим исполнил приказание — сел, в нетерпении перебирая лапами. И слушал, и смотрел неотрывно.

Хозяин и гость пожали руки, встретившись добрыми-добрыми глазами.

«Отлично!» — сказал Бим, взвизгнув.

— Умный пес,— сказал гость, бросив взгляд на Бима.

— Хороший Бим, лучше не надо! — подтвердил Иван Иваныч.

Вот так они поговорили втроем немного, и гость-охотник достал из кармана бумагу, разложил ее, стал водить по ней пальцем и говорить:

— Вот тут... тут, в самой гущине Волчьего яра. Сам подвывал. Пятеро откликнулись: три прибылых, два матерых. Одного перевидел. Ну и во-олк!

Бим знал слова хозяина на поиске: «тут-тут, тут-тут». И насторожился. Но когда было сказано «во-олк!», он расширил глаза: это тот жуткий запах лесной собаки, запах, которого испугался когда-то Бим, запах, о котором хозяин тогда устрашающе повторял, показывая след: «Волк! Это волк, Бим». Вот теперь и охотник сказал тоже так: «Ну и во-олк!»

Гость ушел, попрощавшись и с Бимом.

Иван Иваныч сел заряжать патроны, закладывая крупные горошины свинца и пересыпая их картофельной мукой.

Ночью Бим спал беспокойно.

А задолго до рассвета они вышли с ружьем на улицу и стали на углу. Вскоре подъехал большой автомобиль, загруженный охотниками. Они сидели в крытом кузове на скамейках, сидели тихо и торжественно. Иван Иваныч сначала подсадил Бима, потом и сам влез в шалаш. Вчерашний охотник сказал Ивану Иванычу:

— Э-э, нет! Зачем же Бима с собой!

— Собак не должно быть на облаве. Снять! — строго сказал кто-то.— Голос подаст — и пропала облава.

— Бим не подаст голоса,— будто оправдываясь, говорил Иван Иваныч.— Не гончак же он.

Ему возражали одновременно несколько человек, но кончилось тем, что вчерашний гость сказал:

— Ладно. С Бимом поставлю в запасную. Есть место, Иван Иваныч: было так, что волк прорывался там через флажки, по протоке.

Бим догадался, что его не хотят брать. Он тоже уговаривал соседей, но в темноте этого никто не понял. И все же автомобиль тронулся.

Уже солнце взошло, когда остановились у кордона знакомого лесника. Вышли все тихо, без единого слова, как и Бим. Потом долго шли гуськом вдоль опушки. Никто не курил, не кашлял, не стукнул даже сапогом о сапог, ступая по-собачьи: тут все знали — куда, кто и зачем. Не знал только один Бим, но он тоже шел тенью след в след за хозяином. Тот на ходу притронулся к уху Бима: хорошо, дескать, хорошо, Бим.

Впереди всех, главным, шел вчерашний гость-охотник. И вот он поднял руку — все остановились. Трое передних ушли в лес еще тише, по-кошачьи, и вскоре вернулись. Теперь Главный поднял вверх фуражку и отмахнул ею вперед. По этому знаку половина охотников пошла за ним, в том числе, позади прочих, Иван Иваныч и Бим. Так что Бим шел последним; тише его никто не мог передвигаться, но, несмотря на это, Иван Иваныч взял его на поводок.

По безмолвной команде Главного первый, идущий за ним, стал за куст и замер. Вскоре так же замер у дубняка второй, потом третий, и так поодиночке все заняли свои номера. Остались около Главного Иван Иваныч и Бим. Они шли еще осторожнее, чем раньше. Теперь Бим увидел, что сбоку их пути протянут шнур, а на нем не шевелясь висели куски материи, похожей на огонь. Но наконец Главный поставил и их вдвоем, а сам ушел назад.

Бим чутким ухом все-таки слышал его шаги, хотя людям казалось, что их никто не слышит. Бим уловил, что Главный провел и остальных охотников, но так далеко, что, по мере удаления, даже Бим уже не различал шороха.

И наступила тишина. Настороженная, тревожная тишина леса. Бим это чувствовал и по тому, как хозяин замер, как у него дрогнуло колено, как он беззвучно открыл ружье, вложил патроны, закрыл и снова застыл в напряжении.

Они стояли под прикрытием куста орешника сбоку промоины, заросшей густым терником. А кругом был могучий дубовый лес, суровый сейчас, молчаливый. Каждое дерево — богатырь! А между ними густой подлесок еще сильнее подчеркивал необыкновенную мощь вековечного леса.

Бим превратился в сгусток внимания: он сидел недвижно и ловил запахи, но пока ничего особенного не примечал, так как воздух неподвижен. И от этого Биму было неспокойно. Когда есть хоть малый ветерок, он всегда знал, что́ там, впереди, он читал по струям, как по строкам, а в безветрие, да еще в таком лесу,— попробуй-ка быть спокойным, когда к тому же его добрый друг стоит рядом и волнуется.

И вдруг началось.

Сигнальный выстрел разорвал тишину на большие куски: эхо пророкотало то там, то тут, то где-то вдали. А вслед, как бы в тон лесному рокоту, далеко-далеко голос Главного:

— Поше-е-ел! О-го-го-го-го-го-о-о!

Иван Иваныч наклонился к уху Бима и еле слышно прошептал:

— Лежать!

Бим лег. И дрожал.

— О-го-го-го-о-о! — ревели там охотники-загонщики.

Тишина теперь рассыпалась на голоса, незнакомые, неистовые, дикие. Застучали палками о деревья, затрещала трещотка, как сто соро́к перед погибелью. Цепь загонщиков приближалась с криком, гомоном и выстрелами вверх.

И вот... Бим зачуял знакомый с юности запах: волк! Он прижался к ноге хозяина, чуть-чуть — совсем чуть-чуть! — привстал на лапы и вытянул хвост. Иван Иваныч все понял.

Они увидели оба: вдоль флажков, вне выстрела, показался волк. Шел он широкими махами, голову опустил, хвост висел поленом. И тут же зверь скрылся. Сразу же, почти тотчас, раздался выстрел в цепи, за ним — второй.

Лес рокотал. Лес почти озлобленно встревожился.

Еще выстрел на номере. Это уже совсем близко. А крики все ближе, ближе и ближе.

Волк, огромный старый волк появился неожиданно. Он пришел промоиной, скрытый терником, а завидев флажки, резко остановился, будто на что-то напоролся. Но здесь, над промоиной, флажки висели выше, чем на всей линии, втрое выше роста зверя. А гомон людей настигал вплотную. Волк как-то не очень решительно и даже вяло прошел под флажками и оказался в пятнадцати метрах от Ивана Иваныча и Бима. Вот он сделал несколько махов, но за это время человек и собака успели рассмотреть, что он был ранен: пятно крови расплылось на боку, рот окаймлен пеной с красноватым налетом.

Иван Иваныч выстрелил.

Волк, подпрыгнув на всех четырех ногах, резко, всем корпусом, не поворачивая шеи, обернулся на выстрел и... стал. Широкий мощный лоб, налитые кровью глаза, оскаленные зубы, красноватая пена... И все-таки он не был жалок. Он был красив, этот вольный дикарь. О нет, он не был трусом, он не хотел падать и сейчас, гордый зверь, но... рухнул-таки плашмя, медленно перебирая лапами. Потом замер, присмирел, успокоился.

Бим не смог вынести всего этого. Он вскочил и встал на стойку. Но что это была за стойка! Шерсть на спине взъерошилась, на холке она почти стояла торчком, а хвост зажат между ног: озлобленно-трусливая, безобразная стойка на своего брата, на гордого царя собак, уже мертвого и потому безопасного, но страшного духом своим и кровью своей страшного. Бим ненавидел брата своего. Бим верил человеку, волк не верил. Бим боялся брата, волк не боялся его даже смертельно раненный.

...А крики уже приблизились вплотную. Еще был один выстрел. И еще дублет. Видимо, какой-то опытный волк шел совсем близко от цепи и, возможно, прорвался через нее в самый последний момент, когда люди уже потеряли бдительность и уже сходились друг с другом. Наконец появился из подлеска Главный, подошел к Ивану Иванычу и сказал, глядя на Бима:

— Ух ты! И на собаку не похож: зверь зверем. А два прорвались все-таки, ушли. Один раненый.

Иван Иваныч гладил Бима, ласкал, уговаривал, но тот хотя и уложил шерсть на спине, однако все еще кру-

тился на месте, часто-часто дышал, высунув язык, и отворачивался от людей. Когда же оба охотника направились к трупу волка, Бим не пошел за ними, а, наоборот, нарушив все правила, волоча за собой поводок, отошел метров на тридцать подальше, лег, положил голову на желтые листья и дрожал как в лихорадке. Вернувшись к нему, Иван Иваныч заметил, что белки глаз у Бима кроваво-красные. Зверь!

— Ах, Бимка, Бимка. Плохо тебе? Конечно, плохо. Так надо, мальчик. Надо.

— Учти, Иван Иваныч,— сказал Главный,— легавую собаку можно и загубить волком — леса будет бояться. Собака — раб, волк — зверь свободный.

— Так-то оно так, но Биму уже четыре года — собака взрослая, лесом не испугаешь. Зато в лесу, где волки, он уже не отойдет от тебя: наткнется на след и скажет: «Волки!»

— И правда ведь: волки берут легавых, как малых цыплят. А этого теперь вряд возьмет: от ноги твоей не отойдет, если зачует.

— Вот видишь! Только до года не надо пугать волком. А так — что ж поделаешь! — пусть переживет.

Иван Иваныч увел Бима, а Главный остался у волка, поджидая загонщиков.

Когда собрались на кордоне все охотники, выпили по чарке и загомонили, веселые и возбужденные, Бим отчужденно и одиноко лежал под плетнем, свернувшись калачиком, суровый, красноглазый, пораженный и зараженный волчьим духом. Ах, если бы Бим мог знать, что судьба еще раз забросит его в этот же самый лес!

К нему подошел лесник, хозяин кордона, присел на корточки, погладил по спине:

— Хороший пес, хороший. Умный пес. За всю облаву не гавкнул и не завыл.

Тут все любили собак.

Но когда охотники уселись в автомобиль и Иван Иваныч подсадил туда Бима, тот кошкой выпрыгнул на землю, ощетинившись и скуля: он не желал быть вместе с тремя мертвыми волками.

— Ого! — сказал Главный.— Этот теперь не пропадет.

Незнакомый тучный охотник недовольно вышел из кабины и грузно полез в кузов, а Иван Иваныч с Бимом сели в кабину.

После было не так уж много охот на вальдшнепа, но Бим работал отлично, как и всегда. Однако стоило ему причуять след волка — он прекращал охоту: прижимался к ноге хозяина и — ни шагу. Так он четко выражал слово «волк». И это было хорошо. А после облавы он еще больше стал любить Ивана Иваныча и верить в его силу. Верил Бим в доброту человека. Великое благо — верить. И любить. Собака без такой веры — уже не собака, а вольный волк или (что хуже) бродячий пес. Из этих двух возможностей выбирает каждая собака, если она перестала верить хозяину и ушла от него или если ее выгнали. Но горе той собаке, которая потеряет любимого друга-человека, будет его искать, ждать. Она тогда уже не сможет быть ни вольным волком, ни обыкновенным бродячим псом, а останется той же собакой, преданной и верной потерянному другу, но одинокой до конца жизни.

Я не буду, дорогой читатель, рассказывать ни одной из множества достоверных историй о такой преданности в течение многих лет и до конца собачьей жизни. Я расскажу только об одном Биме с черным ухом.

Глава шестая

●

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

●

Как-то после охоты Иван Иваныч пришел домой, накормил Бима и лег в постель, не поужинав и не выключив свет. В тот день Бим здорово наработался, потому быстро уснул и ничего не слышал. Но в последующие дни и Бим стал замечать, что хозяин все чаще ложится и днем, о чем-то печалится, иногда внезапно охнет от боли. Больше недели Бим гулял один, неподолгу — по надобности. Потом Иван Иваныч слег, он еле-еле доходил до двери, чтобы выпустить или впустить Бима. Однажды он простонал в постели как-то особенно тоскливо. Бим подошел, сел у кровати, внимательно посмотрел в лицо друга, затем положил голову на вытянутую его руку. Он увидел, какое стало у хозяина лицо: бледное-бледное, под глазами темные каемки, небритый подбородок заострился. Иван

Иваныч повернул голову к Биму и тихо, ослабевшим голосом сказал:

— Ну? Что будем делать, мальчик?.. Худо мне, Бим, плохо. Осколок... подполз под сердце. Плохо, Бим.

Голос его был таким необычным, что Бим заволновался. Он заходил по комнате, то и дело царапаясь в дверь, как бы зовя: «Вставай, дескать, пойдем, пойдем». А Иван Иваныч боялся пошевелиться. Бим снова сел около него и проскулил тихонько.

— Что же, Бимка, давай попробуем,— еле выговорил Иван Иваныч и осторожно привстал.

Он немного посидел на кровати, затем стал на ноги и, опираясь одной рукой о стену, другую держа у сердца, тихо переступал к двери. Бим шел рядом с ним, не спуская взгляда с друга, и ни разу, ни разу не вильнул хвостом. Он будто хотел сказать: ну, вот и хорошо. Пошли, пошли потихоньку, пошли.

На лестничной площадке Иван Иваныч позвонил в соседнюю дверь, а когда появилась девочка, Люся, он что-то ей сказал. Та убежала к себе в комнату и вернулась со старушкой, Степановной. Как только Иван Иваныч сказал ей то же самое слово «осколок», она засуетилась, взяла его под руку и повела обратно:

— Вам надо лежать, Иван Иваныч. Лежать. Вот так,— заключила она, когда тот вновь лег на спину.— Лежать. Только лежать.— Она взяла со стола ключи и быстро ушла, почти побежала, засеменив по-старушечьи.

Конечно, Бим воспринял слово «лежать», повторенное трижды, так, будто оно относится и к нему. Он лег рядом с кроватью, не спуская взора с двери: горестное состояние хозяина, волнение Степановны и то, что она взяла со стола ключи,— все это передалось Биму, и он находился в тревожном ожидании.

Вскоре он услышал: ключ вставили в скважину, замок щелкнул, дверь открылась, в прихожей заговорили, затем вошла Степановна, а за нею трое чужих в белых халатах — две женщины и мужчина. От них пахло не так, как от других людей, а скорее тем ящичком, что висит на стене, который хозяин открывал только тогда, когда говорил: «Худо мне, Бим, худо, плохо».

Мужчина решительно шагнул к кровати, но...

Бим бросился на него зверем, упер ему в грудь лапы и дважды гавкнул изо всей силы.

«Вон! Вон!» — прокричал Бим.

Мужчина отпрянул, оттолкнул Бима, женщины выскочили в прихожую, а Бим сел у кровати, дрожал всем телом и, видно, был готов скорее отдать жизнь, чем подпустить неведомых людей к другу в такую трудную для него минуту.

Врач, стоя в дверях, сказал:

— Ну и собака! Что же делать?

Тогда Иван Иваныч позвал Бима жестом поближе, погладил по голове, чуть повернувшись. А Бим прижался к другу плечом и лизал ему шею, лицо, руки...

— Подойдите,— тихо произнес Иван Иваныч, глядя на врача.

Тот подошел.

— Дайте мне руку.

Тот подал.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— сказал врач.

Бим прикоснулся носом к руке врача, что и означало на собачьем языке: «Что ж поделаешь! Так тому быть: друг моего друга — мне друг».

Внесли носилки. Положили на них Ивана Иваныча. Он проговорил:

— Степановна... присмотрите за Бимом, дорогая. Выпускайте утром. Он сам приходит скоро... Бим будет меня ждать.— И к Биму: — Ждать... Ждать.

Бим знал слово «ждать»: у магазина — «Сидеть, ждать», у рюкзака на охоте — «Сидеть, ждать». Сейчас он привизгнул, повиляв хвостом, что означало: «О, мой друг вернется! Он уходит, но скоро вернется».

Только понял его один Иван Иваныч, остальные не поняли — это он увидел в глазах всех. Бим сел у носилок и положил на них лапу. Иван Иваныч пожал ее.

— Ждать, мальчик. Ждать.

Вот этого Бим никогда не видел у своего друга, чтобы вот так горошинами скатилась вода из глаз.

Когда унесли носилки и щелкнул замок, он лег у двери, вытянул передние лапы, а голову положил на пол, вывернув ее на сторону: так собаки ложатся, когда им больно или тоскливо; они и умирают чаще всего в такой позе.

Но Бим не умер от тоски, как та собака-поводырь, прожившая со слепым человеком много лет. Та легла

около могилы хозяина, отказалась от пищи, приносимой кладбищенскими доброхотами, а на пятый день, когда взошло солнце, она умерла. И это быль, а не выдумка. Зная необыкновенную собачью преданность и любовь, редко какой охотник скажет о собаке: «Издохла», он всегда скажет: «Умерла».

Нет, Бим не умер. Биму сказано точно: «Ждать». Он верит — друг придет. Ведь сколько раз было так: скажет «Ждать», и обязательно придет.

Ждать! Вот теперь вся цель жизни Бима.

Но как тяжко было в ту ночь одному, как больно! Что-то делается не так, как обычно... От халатов пахнет бедой. И Бим затосковал.

В полночь, когда взошла луна, стало невыносимо. Рядом с хозяином и то она всегда беспокоила Бима, эта луна: у нее глаза есть, она смотрит этими мертвыми глазами, светит мертвым холодным светом, и Бим уходил от нее в темный угол. А теперь — даже в дрожь бросает от ее взгляда, а хозяина нет. И вот глубокой ночью он завыл, протяжно, с подголоском, завыл как перед напастью. Он верил, что кто-то услышит, а может быть, и сам хозяин услышит.

Пришла Степановна.

— Ну, что ты, Бим? Что? Ивана Иваныча нету. Ай-ай-ай, плохо.

Бим не ответил ни взглядом, ни хвостом. Он только смотрел на дверь. Степановна включила свет и ушла. С огнем стало легче — луна отодвинулась дальше и стала меньше. Бим устроился под самой лампочкой, спиной к луне, но вскоре снова лег перед дверью: ждать.

Утром Степановна принесла кашу, положила ее в Бимову миску, но он даже и не встал. Так поступала и собака-поводырь — она не поднималась и тогда, когда приносили пищу.

— Ты смотри, сердешный какой, а? Это ж уму непостижимо. Ну, пойди погуляй, Бим.— Она распахнула дверь.— Пойди погуляй.

Бим поднял голову, внимательно посмотрел на старушку. Слово «гулять» ему знакомо, оно означает — воля, а «Поди, поди гулять» — полная свобода. О, Бим знал, что такое свобода: делай все, что разрешает хозяин. Но вот его нет, а говорят: «Пойди погуляй». Какая же это свобода?

Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, что такие, как Бим, понимают человека и без слов, а те слова, что они знают, вмещают в себе многое и, соответственно случаю, разное. Она, по простоте душевной, сказала:

— Не хочешь кашу, пойди поищи чего-нибудь. Ты и травку любишь. Небось и на помойке что-то раскопаешь (не знала она по наивности, что Бим к помойкам не прикасался). Пойди поищи.

Бим встал, даже встрепенулся. Что такое? «Ищи»? Что искать? «Ищи» означает: ищи спрятанный кусочек сыра, ищи дичь, ищи потерянную или спрятанную вещь. «Ищи» — это приказ, а что искать — Бим определяет по обстоятельствам, по ходу дела. Что же сейчас искать?

Все это он сказал Степановне глазами, хвостом, вопросительным перебором передних лап, но она ничегошеньки не поняла, а повторила:

— Пойди гулять. Ищи!

И Бим бросился в дверь. Молнией проскочил ступеньки со второго этажа, выскочил во двор. Искать, искать хозяина! Вот что искать — больше нечего: так он понял. Вот здесь стояли носилки. Да, стояли. Вот уже со слабым-слабым запахом следы людей в белых халатах. След автомобиля. Бим сделал круг, вошел в него (так поступила бы даже самая бездарная собака), но опять — тот же след. Он потянул по нему, вышел на улицу и сразу же потерял его около угла: там вся дорога пахла той же резиной. Человеческие следы есть разные и много, а автомобильные слились все вместе и все одинаковые. Но тот, нужный ему след пошел со двора туда, за угол, значит, и надо — туда.

Бим пробежал по одной улице, по другой, вернулся к дому, обегал места, где они гуляли с Иваном Иванычем,— нет признаков, никаких и нигде. Однажды он издали увидел клетчатую фуражку, догнал того человека — нет, не он. Присмотревшись внимательнее, он установил: оказывается, в клетчатых фуражках идут многие-многие. Откуда ему было знать, что в эту осень продавали только клетчатые фуражки, и потому они нравились всем. Раньше он этого как-то не приметил, потому что собаки всегда обращают внимание (и запоминают), главным образом, на нижнюю часть одеяния человека. Это у них еще от волка, от природы, от многих столетий. Так,

лиса, например, если охотник стал за густой куст, закрывающий только до пояса, не замечает человека, если он не шевелится и если ветер не доносит от него запаха. Так что Бим увидел неожиданно в этом какой-то отдаленный смысл: по верху искать нечего, так как головы могут быть одинаковыми по цвету, подогнанными друг под друга.

День выдался ясный. На некоторых улицах листья пятнами покрыли тротуары, на некоторых лежали сплошь, так что, попадись хоть частичка следа хозяина, Бим ее уловил бы. Но — нигде и ничего.

К середине дня Бим отчаялся. И вдруг в одном из дворов он наткнулся на след носилок: тут они стояли. А потом струя того же запаха потекла со стороны. Бим пошел по ней, как по битой дорожке. Пороги отдавали людьми в белых халатах. Бим поцарапался в дверь. Ему открыла девушка, тоже в белом халате, и отпрянула с испуга. Но Бим приветствовал ее всеми способами, спрашивая: «Нет ли здесь Ивана Иваныча?»

— Уйди, уйди! — закричала она и закрыла дверь. Потом приоткрыла и крикнула кому-то: — Петров! Прогони кобеля, а то мне шеф намылит шею, начнет выпинаться: «Псарня, а не «Скорая помощь»!» Гони!

От гаража подошел человек в черном халате, затопал ногами на Бима и вовсе незлобно прокричал, как бы по обязанности и даже с ленцой:

— Вот я тебе, тварь! Пошел! Пошел!

Никаких таких слов, как «шеф», «псарня», «гони», «мылить шею», «выпинаться» и уж тем более «скорая помощь», Бим не понимал и даже вовсе никогда не слышал, но слова «уходи» и «пошел», в сочетании с интонацией и настроением, он понял прекрасно. Тут Бима не обмануть. Он отбежал на некоторое расстояние и сел, и смотрел на ту дверь. Если бы люди знали, что ищет Бим, они ему помогли бы, хотя Ивана Иваныча сюда и не привозили, а доставили прямо в больницу. Но что поделаешь, если собаки понимают людей, а те не всегда понимают собак и даже друг друга. Кстати, Биму недоступны такие глубокие мысли; непонятно было и то, на каком таком основании его не пропускают в дверь, в которую он честно царапался, доверительно и прямодушно, и за которой, по всей вероятности, находится его друг.

Бим сидел у куста сирени с поблеклыми уже листьями

до самого вечера. Приезжали машины, из них выходили люди в белых халатах и вели кого-то под руки или просто шли следом; изредка выносили из автомобиля человека на носилках, тогда Бим чуть приближался, проверял запах: нет, не он. К вечеру на собаку обратили внимание и другие люди. Кто-то принес кусочек колбасы — Бим не притронулся; кто-то хотел взять его за ошейник — Бим отбежал; даже тот дядька в черном халате несколько раз проходил мимо и, остановившись, смотрел на Бима сочувственно и не топал ногами. Бим сидел статуей и никому ничего не говорил. Он ждал.

В сумерках он спохватился: вдруг хозяин-то дома? И побежал торопливо, легким наметом.

По городу бежала красивая, с блестящей шерстью, ухоженная собака — белая, с черным ухом. Любой добрый гражданин скажет: «Ах, какая милая охотничья собака!»

Бим поцарапался в родную дверь, но она не открылась. Тогда он лег у порожка, свернувшись калачиком. Не хотелось ни есть, ни пить — ничего не хотелось. Тоска.

На площадку вышла Степановна:

— Пришел, горемышный?

Бим вильнул хвостом только один раз («Пришел»).

— Ну вот теперь и поужинай.— Она пододвинула ему миску с утренней кашей.

Бим не притронулся:

— Так и знала: накормился сам. Умница. Спи. — И закрыла за собой дверь.

В эту ночь Бим уже не выл. Но и не отходил от двери: ждать!

А утром снова забеспокоился. Искать, искать друга! В этом весь смысл жизни. И когда Степановна выпустила его, он, во-первых, сбегал к людям в белых халатах. Но на этот раз какой-то тучный человек кричал на всех и часто повторял слово «собака». В Бима бросали камнями, хотя и нарочито мимо, махали на него палками и наконец больно-пребольно стегнули длинной хворостинкой. Бим отбежал, сел, посидел малость и, видимо, решил: тут его быть не может, иначе не гнали бы так жестоко. И ушел Бим, слегка опустив голову. По городу шел одинокий, грустный, ни за что обиженный пес.

Вышел он на кипучую улицу. Людей было видимо-невидимо, и все спешили, изредка торопливо перебрасываясь

словами, текли куда-то и текли без конца. Наверняка Биму пришло в голову: «А не пройдет ли он здесь?» И без всякой логики сел в тени, на углу, неподалеку от калитки, и стал следить, не пропуская своим вниманием почти ни одного человека.

Во-первых, Бим заметил, что все люди, оказывается, пахнут автомобильным дымом, а уж через него пробиваются другие запахи разной силы.

Вот идет человек, тощий, высокий, в больших, порядком стоптанных ботинках, и несет в сетке картошку, такую же, какую приносит домой хозяин. Тощий несет картошку, а пахнет табаком. Шагает быстренько, спешит, будто кого-то догоняет. Но это только показалось — догоняют кого-то все. И все что-то ищут, как на полевых испытаниях, иначе зачем и бежать по улице, забегать в двери и выбегать и снова бежать?

— Привет, Черное ухо! — бросил Тощий на ходу.

«Здравствуй»,— угрюмо ответил Бим, двинув по земле хвостом, не растрачивая сосредоточенности и вглядываясь в людей.

А вот за ним идет человек в комбинезоне, пахнет он так, как пахнет стена, когда ее лизнешь (мокрая стена). Он почти весь серо-белый. Несет длинную белую палку с бородкой на конце и тяжелую сумку.

— Ты чего тут? — спросил он у Бима, остановившись.— Уселся ждать хозяина или затерялся?

«Да, ждать»,— ответил Бим, посеменив передними лапами.

— Тогда на-ка вот тебе.— Он вынул из сумки кулек, положил перед Бимом конфету и потрепал пса за черное ушко.— Ешь, ешь! (Бим не прикоснулся.) Дрессированный. Интеллигент! Из чужой тарелки есть не будет.— И пошел дальше тихо, спокойненько, не так, как все.

Кому как, а для Бима этот человек — хороший: он знает, что такое «ждать», он сказал «ждать», он понял Бима.

Толстый-претолстый, с толстой палкой в руке, в толстых черных очках на носу, несет толстую папку: все-все у него толсто. Пахнет он явно бумагами, по каким Иван Иваныч шептал палочкой, и еще, кажется, теми желтыми бумажками, какие всегда кладут в карман. Он остановился около Бима и сказал:

— Фух! Ну и ну! Дошли: кобели на проспекте.

Из калитки появился дворник с метлой и стал рядом с Толстым. А тот продолжал, обращаясь к дворнику, указывая пальцем на Бима:

— Видишь? На твоей небось территории?

— Факт, вижу.— И оперся на метлу, поставив ее вверх бородой.

— Видишь... Ничего ты не видишь,— сказал сердито.— Даже конфету не жрет, заелся. Как же дальше жить?! — Он злился вовсю.

— А ты не живи,— сказал дворник и равнодушно добавил: — Ишь как ты исхудал, бедняга.

— Оскорбляешь! — рявкнул Толстый.

Остановились трое молодых ребят и почему-то улыбались, глядя то на Толстого, то на Бима.

— Чего вам смешно? Чего смешно? Я ему говорю... собака! Тыща собак, по два-три кило мяса каждой — две-три тонны в день. Соображаете, сколько получится?

Один из ребят возразил:

— Три кило и верблюд не съест.

Дворник невозмутимо внес поправку:

— Верблюды́ мясо не едять.— Неожиданно он перехватил метлу поперек палки и так-то сильно замахал ею по асфальту перед ногами Толстого.— Посторонись, гражданин! Ну? Я чего сказал, дубова твоя голова!

Толстый ушел, отплевываясь. Те трое ребят тоже пошли своей дорогой, посмеиваясь. Дворник тут же и перестал мести. Он погладил Бима по спине, постоял немного и сказал:

— Сиди, жди. Придет.— И ушел в калитку.

Из всей этой перепалки Бим не только понял — «мясо», «собака», возможно, «кобели», но слышал интонацию голосов и, главное, все видел, а этого уже достаточно для того, чтобы умной собаке догадаться: Толстому — плохо жить, дворнику — хорошо; один — злой, другой — добрый. Кому уж лучше знать, как не Биму, что ни свет ни заря на улицах живут только дворники и что они уважают собак. То, что дворник прогнал Толстого, Биму даже отчасти понравилось. А в общем-то эта случайная пустяковая история только отвлекла Бима, хотя, может быть, оказалась полезной в том смысле, что он начинал смутно догадываться: люди все разные, они могут быть и хорошими, и плохими. Ну что ж: и то польза, скажем мы со стороны. Но пока для Бима это было со-

вершенно неважно — не до того: он смотрел и смотрел на проходящих.

От некоторых женщин пахло остро и невыносимо, как от ландышей, пахло теми беленькими цветами, что ошарашивают нюх и возле которых Бим становился бесчутым; в таких случаях Бим отворачивался и несколько секунд не дышал — ему не нравилось. У большинства женщин губы были такого же цвета, как флажки на волчьей облаве; Биму такой цвет тоже не нравился, как и всем животным, а собакам и быкам в особенности. Почти все женщины чего-нибудь несли в руках. Бим приметил, что мужчины с поноской попадаются реже, а женщины — часто.

...А Ивана Иваныча все нет и нет. Друг ты мой! Где же ты?..

Люди текли и текли. Тоска Бима как-то немножко забылась, рассеялась среди людей, и он еще внимательней вглядывался вперед — не идет ли он. Сегодня Бим будет ждать здесь. Ждать!

Около него остановился человек с мясистыми обвислыми губами, крупно-морщинистый, курносый, с глазами навыкате, и вскричал:

— Безобразие! (Люди стали останавливаться.) Кругом грипп, эпидемия, рак желудка, а тут что? — тыкал он всей ладонью в Бима.— Тут среди массы народа, в гуще тружеников, сидит живая зараза!

— Не каждая собака — зараза. Смотрите, какой он милый пес,— возразила девушка.

Курносый смерил ее взглядом сверху вниз и обратно и отвернулся, возмущаясь:

— Какая дикость! Какая в вас дикость, гражданочка.

И вот... Эх, если бы Бим был человеком! Вот подошла та самая Тетка, «советская женщина» — та клеветница. Бим сначала испугался, но потом, взъерошив шерсть на холке, принял оборонительную позицию. А Тетка затараторила, обращаясь ко всем, стоящим полукругом в некотором отдалении от Бима.

— Дикость и есть дикость! Она же меня укусила. У-ку-си-и-ла! — И показывала всем руку.

— Где укусила? — спросил юноша с портфельчиком.— Покажите.

— Ты мне еще, щенок! — Да и спрятала руку.

Все, кроме Курносого, рассмеялись.

— Воспитали тебя в институте, чертенка, вот уж воспитали, гаденыш,— набросилась она на студента. — Ты мне, советской женщине, и не веришь? Да как же ты дальше-то будешь? Куда же мы идем, дорогие граждане? Или уж у нас Советской власти нету?

Юноша покраснел и вспылил:

— Если бы вы знали, как выглядите со стороны, то позавидовали бы этой собаке.— Он шагнул к Тетке и крикнул: — Кто дал вам право оскорблять?

Хотя Бим не понял слов, но выдержать больше не смог: он прыгнул в сторону Тетки, гавкнул изо всей силы и уперся всеми четырьмя лапами, сдерживаясь от дальнейших поступков (за последствия он уже не ручался). Интеллигент! Но все-таки — собака.

Тетка завопила истошно:

— Мили-ция! Мили-ция!

Где-то засвистел свисток, кто-то, подходя, крикнул:

— Пройдемте, гр-раждане! Пройдемте по своим делам! — Это был милиционер (Бим даже повилял чуть хвостом, несмотря на возбуждение).— Кто кричал?! Вы? — обратился милиционер к Тетке.

— Она,— подтвердил юноша-студент.

Вмешался Курносый:

— Куда вы смотрите? Чем занимаетесь? — запилил он милиционера.— Собаки, собаки — на проспекте областного города!

— Собаки! — кричала Тетка.

— И такие вот дикие питекантропусы! — кричал и студент.

— Он меня оскорбил! — почти рыдала Тетка.

— Граждане, р-разойдись! А вы, вы, да и вы, пройдемте в милицию,— указал он Тетке, юноше и Курносому.

— А собака?! — взвизгнула Тетка. — Честных людей — в милицию, а собаку...

— Не пойду,— отрубил юноша.

Подошел второй милиционер:

— Что тут?

Человек в галстуке и шляпе резонно и с достоинством разъяснил:

— Да вон, энтот студентишка, не хочеть в милицию, не подчиняется. Энти вон, обоя, хотять, а энтот не хочеть. Неподчинение. А это не положено. Ведуть — должон

иттить. Мало бы чего... — И он, отвернувшись от всех прочих, поковырял в собственном ухе большим пальцем, как бы расширяя слуховое отверстие. Явно это был жест убежденности, уверенности в прочности мыслей и безусловного превосходства перед присутствующими — даже перед милиционерами.

Оба милиционера переглянулись и все же увели студента с собой. Следом за ними потопали Курносый и Тетка. Люди разошлись, уже не обращая внимания на собаку, кроме той милой девушки. Она подошла к Биму, погладил его, но тоже пошла за милиционерами. Сама пошла, как установил Бим. Он посмотрел ей вслед, потоптался на месте, да и побежал, догнал ее и пошел рядышком.

Человек и собака шли в милицию.

— Кого же ты ждал, Черное ухо? — спросила она, остановившись.

Бим уныло присел, опустив голову.

— И подвело у тебя живот, милый. Я тебя накормлю, подожди, накормлю, Черное ухо.

Вот уже несколько раз называли Бима «Черное ухо». И хозяин когда-то говорил: «Эх, ты, Черное ухо!» Давно-давно он так произнес, еще в детстве. «Где же мой друг?» — думал Бим. И пошел опять же с девушкой в печали и унынии.

В милицию они вошли вместе. Там кричала Тетка, рыкал Курносый дядька; понурив голову, молчал студент, а за столом сидел милиционер, незнакомый, и явно недружелюбно посматривал на всех троих.

Девушка сказала:

— Привела виновника.— И указала на Бима.— Милейшее животное. Я все видела и слышала там с самого начала. Этот парень,— она кивнула на студента,— ни в чем не виноват.

Рассказывала она спокойно, то указывая на Бима, то на кого-нибудь из тех трех. Ее пытались перебить, но милиционер строго останавливал и Тетку, и Курносого. Он явно дружелюбно относился к девушке. В заключение она спросила шутя:

— Правильно я говорю, Черное ухо? — А обратившись к милиционеру, еще добавила: — Меня зовут Даша.— Потом к Биму: — Я Даша. Понял?

Бим всем существом показал, что он ее уважает.

— А ну, пойди ко мне, Черное ухо. Ко мне! — позвал милиционер.

О, Бим знал это слово: «ко мне». Точно знал. И подошел.

Тот пошлепал по шее легонько, взял за ошейник, рассмотрел номерок и записал что-то. А Биму приказал:

— Лежать!

Бим лег, как и полагается: задние ноги под себя, передние вытянуты вперед, голова — глаза в глаза с собеседником и чуть набочок.

Теперь милиционер спрашивал в телефонную трубку:

— Союз охотников?

«Охота!» — вздрогнул Бим. «Охота!» Что же это значит здесь-то?

— Союз охотников? Из милиции. Номер двадцать четыре посмотрите. Сеттер... Как так нету? Не может быть. Собака хорошая, дрессированная... В горсовет? Хорошо.— Положил трубку и еще раз взял, что-то спрашивал и стал записывать, повторяя вслух: — Сеттер... с внешними наследственными дефектами, свидетельства о родословной нет, владелец Иван Иванович Иванов, улица Проезжая, сорок один. Спасибо.— Теперь он обратился к девушке: — Вы, Даша, молодец. Хозяин нашелся.

Бим запрыгал, ткнул носом в колено милиционера, лизнул руку Даше и смотрел ей в глаза, прямо в глаза, так, как могут смотреть только умные и ласковые доверчивые собаки. Он ведь понял, что говорили про Ивана Иваныча, про его друга, про его брата, про его бога, как сказал бы человек в таком случае. И вздрагивал от волнения.

Милиционер строго буркнул Тетке и Курносому:

— Идите. До свидания.

Дядька начал пилить дежурного:

— И это — все? Какой же у нас будет порядок после такого? Распустили!

— Идите, идите, дед. До свидания. Отдыхайте.

— Какой я тебе «дед»? Я тебе — отец, папаша. Даже нежное обращение позабывали, с-сукины сыны. А хотите вот таких,— ткнул он в студента,— воспитывать, по головке гладить, по головке. А он вас — подождите! — гав! И скушает.— Гавкнул действительно по-собачьи, натурально.

Бим, конечно, ответил тем же.

Дежурный рассмеялся:

— Смотрите-ка, папаша, собака-то понимает, сочувствует.

А Тетка, вздрогнув от двойного лая человека и собаки, пятилась от Бима к двери и кричала:

— Это он на меня, на меня! И в милиции — никакой защиты советской женщине!

Они ушли все-таки.

— А меня что — задержите? — угрюмо спросил студент.

— Подчиняться надо, дорогой. Раз приглашают — обязан идти. Так положено.

— Положено? Ничего такого не положено, чтобы трезвого вести в милицию под руки, как вора. Тетке этой надо бы пятнадцать суток, а вы... Эх, вы! — И ушел, пошевелив Биму ухо.

Теперь Бим уже совсем ничего не понимал: плохие люди ругают милиционера, хорошие тоже ругают, а милиционер терпит да еще посмеивается; тут, видимо, и умной собаке не разобраться.

— Сами отведете? — спросил дежурный у Даши.

— Сама. Домой, Черное ухо, домой.

Бим теперь шел впереди, оглядываясь на Дашу и поджидая: он отлично знал слово «домой» и вел ее именно домой. Люди-то не сообразили, что он и сам пришел бы в квартиру, им казалось, что он малоумный пес; только Даша все поняла, одна Даша — вот эта белокурая девушка, с большими задумчивыми и теплыми глазами, которым Бим поверил с первого взгляда. И он привел ее к своей двери.

Она позвонила — ответа не было. Еще раз позвонила, теперь к соседям. Вышла Степановна. Бим ее приветствовал: он явно был веселее, чем вчера, он говорил: «Пришла Даша. Я привел Дашу». (Иными словами нельзя объяснить взгляды Бима на Степановну и на Дашу попеременно.)

Женщины разговаривали тихо, при этом произносили «Иван Иваныч» и «осколок», затем Степановна открыла дверь. Бим приглашал Дашу: не спускал с нее глаз. Она же первым делом взяла миску, понюхала кашу и сказала:

— Прокисла.— Выбросила кашу в мусорное ведро,

вымыла миску и поставила опять на пол.— Я сейчас приду. Жди, Черное ухо.

— Его зовут Бим,— поправила Степановна.

— Жди, Бим.— И Даша вышла.

Степановна села на стул. Бим сел против нее, однако поглядывая все время на дверь.

— А ты пес сообразительный,— заговорила Степановна.— Остался один, а видишь вот, понимаешь, кто к тебе с душой. Я вот, Бимка, тоже... на старости лет с внучкой живу. Родители-то народили, да и подались аж в Сибирь, а я воспитала. И она, внучка-то, хорошо меня любит, всем сердцем ко мне.

Степановна изливала душу сама перед собой, обращаясь к Биму. Так иногда люди, если некому сказать, обращаются к собаке, к любимой лошади или кормилице-корове. Собаки же выдающегося ума очень хорошо отличают несчастного человека и всегда выражают сочувствие. А тут обоюдно: Степановна явно жалуется ему, а Бим горюет, страдает от того, что люди в белых халатах унесли друга; ведь все неприятности дня всего лишь немного отвлекли боль Бима, сейчас же она вновь возникла с еще большей силой. Он отличил в речи Степановны два знакомых слова «хорошо» и «ко мне», сказанных с грустной теплотой. Конечно же Бим приблизился к ней вплотную и положил голову на колени, а Степановна приложила платок к глазам.

Даша вернулась со свертком. Бим тихо подошел, лег животом на пол, положил одну лапу на ее туфлю, а голову — на другую лапу. Так он сказал: «Спасибо тебе».

Даша достала из бумаги две котлеты, две картофелины и положила их в миску:

— Возьми.

Бим не стал есть, хотя третьи сутки у него не было во рту ни крохи. Даша легонько трепала его за холку и ласково говорила:

— Возьми, Бим, возьми.

Голос у Даши мягкий, душевный, тихий и, казалось, спокойный; руки теплые и нежные, ласковые. Но Бим отвернулся от котлет. Даша открыла рот Бима и втолкнула туда котлету. Бим подержал, подержал ее во рту, удивленно глядя на Дашу, а котлета тем временем проглотилась сама. Так произошло и со второй. С картошкой — то же.

— Его надо кормить насильно,— сказала Даша Степановне.— Он тоскует о хозяине, потому и не ест.

— Да что ты! — удивилась Степановна.— Собака сама себе найдет. Сколько их бродит, а едят же.

— Что же делать? — спросила Даша у Бима. — Ты ведь так пропадешь.

— Не пропадет, — уверенно сказала Степановна.— Такая умная собака не пропадет. Раз в день буду варить ему кулеш. Что ж поделаешь? Живность.

Даша о чем-то задумалась, потом сняла ошейник.

— Пока я не принесу ошейник, не выпускайте Бима. Завтра часам к десяти утра приду... А где же теперь Иван Иваныч? — спросила она у Степановны.

Бим встрепенулся: о нем!

— Увезли самолетом в Москву. Операция на сердце сложная. Осколок-то рядом.

Бим — весь внимание: «осколок», опять «осколок». Слово это звучит горем. Но раз они говорят про Ивана Иваныча, значит, он где-то должен быть. Надо искать. Искать!

Даша ушла. Степановна — тоже. Бим снова остался один коротать ночь. Теперь он нет-нет да и вздремнет, но только на несколько минут. И каждый раз он видел во сне Ивана Иваныча — дома или на охоте. И тогда он вскакивал, осматривался, ходил по комнате, нюхал по углам, прислушивался к тишине и вновь ложился у двери. Очень сильно болел рубец от хворостины, но это было ничто в сравнении с большим горем и неизвестностью.

Ждать. Ждать. Стиснуть зубы и ждать.

Глава седьмая

●

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

●

В это утро Бим чуть не плакал. Солнце уже выше окна, а никто не идет. Он прислушивался к шагам жильцов подъезда, проходивших мимо его двери с верхних этажей или поднимавшихся снизу. Все шаги знакомые, а его нет и нет. Наконец точно услышал туфельки Даши. Она! Бим голосом подал о себе знать. Его крик в пере-

воде на человеческий язык означал: «Я тебя слышу, Даша!»

— Сейчас, сейчас,— откликнулась та и позвонила Степановне.

Обе они вошли к Биму. С каждой он поздоровался, затем бросился к двери, стал там, повернув голову к женщинам, и потребовал, просяще повиливая хвостом: «Открывайте. Надо искать».

Даша надела на него ошейник, на котором теперь во всю ширину был прочно закреплен латунный жетон-пластинка с выгравированной надписью: «Зовут его Бим. Он ждет хозяина. Хорошо знает свой дом. Живет в квартире один. Не обижайте его, люди». Даша прочитала надпись Степановне.

— Какая же ты добрая душа! — всплеснула руками Степановна.— Любишь, значит, собак?

Даша погладила Бима и ответила необычно:

— Муж бросил, мальчик умер... А мне тридцать лет. Жила на квартире. Уезжаю.

— Одинокая. Ой ты, моя желанная,— запричитала Степановна.— Да ведь это же...

Но Даша отрубила:

— Пойду.— А у двери добавила: — Пока не выпускайте Бима — не убежал бы за мной.

Бим попробовал протиснуться в дверь вместе с Дашей, но она оттеснила его и вышла со Степановной.

Не более как через час Бим заскулил, потом и завыл с тоски в голос, так завыл, как про это говорят люди: «Хочется завыть собакой».

Степановна выпустила его (Даша теперь далеко):

— Ну, иди, иди. Вечером кулеша наготовлю.

Бим даже и не обратил внимания ни на ее слова, ни на ее глаза, а шемером скатился вниз и — во двор. Челноком просновал по двору, вышел на улицу, чуть постоял, будто подумал, а затем стал читать запахи строку за строкой, не обращая внимания даже на те деревья, где стояли росписи собратьев и читать которые обязана каждая уважающая себя собака.

За весь день Бим не обнаружил никаких признаков Ивана Иваныча. А перед вечером, как бы на всякий случай, забрел в молодой парк вновь отстроенного района города. Там четверо мальчишек гоняли мяч. Он посидел малость, проверил окружающее, насколько хватал

нос, и хотел было уходить. Но мальчик лет двенадцати отделился от играющих, приблизился к Биму и с любопытством смотрел на него.

— Ты чей? — спросил он, будто Бим смог бы ответить на вопрос.

Бим, во-первых, поздоровался: повилял хвостом, но с грустинкой, склонив голову сначала на одну сторону, потом на другую. Это, кроме того, означало и вопрос: «А ты — что за человек?»

Мальчик понял, что собака ему пока не доверяет полностью, и смело подошел, протянул руку:

— Здравствуй, Черное ухо.

Когда Бим подал лапу, мальчик крикнул:

— Ребята! Сюда, сюда!

Те подбежали, но остановились все же на отшибе.

— Смотрите, какие умные глаза! — восхищался первый мальчик.

— А может, он ученый? — спросил резонно пухленький карапуз.— Толя, Толька, ты скажи ему чего-нибудь — поймет иль не поймет?

Третий, более взрослый, чем остальные, авторитетно заявил:

— Ученая. Видишь, табличка на шее.

— И вовсе не ученая,— возразил худенький мальчишка.— Она не была бы такая тощая и унылая.

Бим в самом деле страшно похудел без Ивана Иваныча и потерял уже былой вид: живот подтянуло, нечесаная шерсть свалялась на штанах и помутнела на лоснившейся когда-то спине. Тоска и голод не красят и собаку.

Толик прикоснулся ко лбу Бима, а он осмотрел всех и выразил теперь полное доверие. После этого все поочередно гладили Бима, и он не возражал. Отношения сразу же сложились добрые, а в атмосфере полного взаимопонимания всегда недалеко и до сердечной дружбы. Толик вслух прочитал написанное на латунной табличке и воскликнул:

— Он — Бим! Один живет в квартире! Ребята, он есть хочет. А ну по домам и — сюда: тащите, кто что может.

Бим остался с Толиком, а ребятишки разбежались. Теперь мальчик сел на скамейку, а Бим лег у его ног и глубоко вздохнул.

— Плохо тебе, наверно, Бим? — спросил Толик, поглаживая голову собаки.— Где же твой хозяин?

Бим уткнулся носом в ботинок и так лежал. Вскоре появились один за другим те ребятишки. Пухленький принес пирожок, Взрослый — кусок колбасы, Худенький — два блинчика. Все это они положили перед Бимом, но он даже и не понюхал.

— Он — больной,— сказал Худенький.— Может, даже и заразный.— И попятился от Бима.

Пухленький зачем-то вытер руки о штанишки и тоже отошел. Взрослый потер колбасой нос Бима и заключил уверенно:

— Не будет. Не хочет.

— Мама говорила — все собаки заразные,— все опасался Пухленький,— а эта и вовсе больная.

— Ну и уходи,— сердито буркнул Толик.— Чтоб я тебя тут не видел... «Заразная»... Заразных ловят собачатники, а эта — вон с какой табличкой.

Рассудительное доказательство подействовало: ребятишки вновь окружили Бима. Толик потянул за ошейник вверх. Бим сел. Толик завернул у него мягкую губу и увидел щелку в глубине челюсти, где кончаются зубы; отломил кусочек колбасы и засунул в эту щелку — Бим проглотил. Еще кусочек — и еще проглотил. Так покончили с колбасой под общее одобрение присутствующих. Все наблюдали сосредоточенно, а Пухленький с каждым глотком Бима тоже глотал, хотя во рту ничего не было: он как бы помогал Биму. Кусочки пирожка никак нельзя было втолкнуть — они рассыпались, тогда Бим наконец взял пирожок сам, лег на живот, положил пирожок на лапы, посмотрел-посмотрел на него и съел. Сделал он так явно из уважения к Толику. У него такие ласковые руки и такой мягкий, даже чуть грустный, взгляд, и так он жалеет Бима, что тот не устоял против теплоты душевной. Бим и раньше относился к детям особо, а теперь он окончательно уверился, что маленькие люди все хорошие, а большие бывают разные, бывают и плохие. Он, конечно, не мог знать, что маленькие люди потом становятся большими и тоже разными, но это — не собачье дело рассуждать, как и почему из маленьких хороших вырастают большие плохие люди, такие, как Тетка или Курносый. Он просто-напросто съел пирожок для Толика, и все. А от этого ему стало легче, потому он не отказался и от блинчиков. И кроме того, за неделю Бим ел всего лишь второй раз.

Первым после трапезы Бима заговорил Толик:

— Попробуем узнать, что он может делать.

Худенький сказал:

— В цирке, если прыгать, кричат «Ап!».

Бим привстал и внимательно посмотрел на мальчика, будто спрашивая: «Через что — ап?!»

Двое из них взялись за концы пояска, а Толик скомандовал:

— Бим! Ап!

Бим легко перепрыгнул через наивный барьер. Все были в восторге. Пухленький приказал четко:

— Лежать!

Бим лег (пожалуйста, для вас — с удовольствием!).

— Сидеть,— попросил Толик. (Бим сел.) — Подай! — и бросил фуражку.

Бим принес и фуражку. Толик обнял его от восхищения, а Бим со своей стороны в долгу не остался и лизнул его прямо в щеку.

Конечно же, Биму стало куда легче с этими маленькими человечками. Но тут-то и подошел дядька, поигрывая палочкой-тростью, подошел так тихо, что ребята и не заметили его, пока он не задал вопрос:

— Чья собака?

С виду он был важный, в серой узкополой шляпе, при сером бантике вместо галстука, в сером пиджаке, серобелых брюках, с короткой серой бородой, в очках. Он, не спуская глаз с Бима, повторил:

— Так чья же собачка, дети?

В два голоса одновременно ответили Взрослый мальчик и Толик.

— Ничья,— сказал один наивно.

— Моя,— настороженно сказал Толик.— В эту минуту моя.

Толик не раз видел Серого дядьку: он важно прогуливался вокруг парка в одиночку. Как-то раз даже вел с собой собаку, которая упиралась и не хотела идти. А однажды подошел к ребятишкам и зудел им, что они и играть-то не умеют, как прежде, и вежливости у них нет, и воспитывают их неправильно, не так, как прежде, и что за них люди воевали даже еще в гражданскую, за вот этих, таких, а они не ценят и ничего не умеют, и что все это стыдно. В тот далекий день, когда Серый поучал их, Толику было девять лет. Теперь же двенадцатый.

Но дядьку этого он помнил. Сейчас Толик сидел, обняв Бима, и сказал: «Моя».

— Ну, так как же: ничья или его? — спросил дядька, обращаясь ко всем и указывая на Толика.

— На ней вон табличка есть,— вмешался Пухленький не в добрый час.

Серый подошел к Биму, потрепал ухо и стал читать на ошейнике.

Бим точно почуял, совершенно точно: от Серого пахло собаками, пахнет как-то отдаленно, многодневно, но пахнет. Он посмотрел ему в глаза и немедленно, тут же, не поверил — ни в голос, ни во взгляд, даже и ни в запахи. Не может быть, чтобы человек просто так вобрал в себя далекие запахи разных собак. Бим прижался к Толику, пытаясь отцепиться от Серого, но тот не отпускал.

— Нельзя лгать, мальчик,— укорил он Толика.— По табличке — не твоя собака. Стыдно, мальчик. Тебя что, родители так приучили говорить неправду? Какой же ты будешь, когда вырастешь? Эх-хе-хе! — Он вынул из кармана поводок и пристегнул к ошейнику.

Толик схватил за поводок и крикнул:

— Не троньте! Не дам!

Серый отвел его руку.

— Я обязан доставить собаку по месту назначения. А может быть, придется прóтокол составить. (Он так и сказал «прóтокол».) Возможно, его хозяина áлкоголь заел. (Так и произнес — «áлкоголь».) Если так, тогда надо собаку изъять. Должность моя такая — делать все по-честному, по-человеческому. Так-то. Найду его квартиру, проверю — правильно ли.

— А табличке не доверяете? — укоризненно и почти плача спросил Толик.

— Доверяю, мальчики, доверяю полностью. Но...— Он поднял палец вверх и поучительно произнес, почти торжественно: — Доверяй, но проверяй! — И повел Бима.

Бим упирался, оглядывался на Толика, видел, как тот заплакал от обиды, но — что поделаешь! — потом пошел-таки за Серым, поджав хвост и глядя в землю, сам на себя непохожий. Всем видом своим он говорил: «Такая уж наша собачья жизнь, когда нигде нет хозяина». Тут бы и всего дела — укусить бы за ляжку и бежать, но Бим — собака интеллигентная: веди, куда ведешь.

Шли они по улице, на которой стояли новые дома. Все новые. Все серые и настолько одинаковые, что даже Бим мог бы в них заблудиться. В одном из домов-близнецов поднялись на третий этаж, при этом Бим заметил, что и двери все одинаковые.

Открыла им женщина в сером платье:

— Опять привел? Да господи, боже мой!

— Не гундеть! — строго оборвал Серый. Он снял с Бима ошейник и показал: — На, смотри.— Женщина разбирала, надев очки, а он продолжал: — Понятия нет. Во всей республике я — единственный коллекционер собачьих знаков. А эта табличка — вещь! Пятисотый знак!

Ничего не было понятного для Бима, ровным счетом ничего, никаких знакомых слов, никаких понятных жестов — ничего. Вот Серый пошел из прихожей в комнату, с ошейником в руках. Оттуда позвал:

— Бим, ко мне!

Бим подумал-подумал и осторожно вошел. В комнате осмотрелся, не подходя к Серому, а так — сидя у двери. На чистой стене висели доски, обшитые бархатом, а на них рядами висели собачьи знаки: номерки, жетоны, медали серые и медали желтые, несколько красивых поводков и ошейников, несколько усовершенствованных намордников и другие доспехи собачьего обихода, даже — капроновая петля для удушения, смысла которой Бим, конечно, не понимал; где ее раздобыл владелец коллекции, понять невозможно даже и человеку, а для Бима она была обыкновенной веревкой, не больше.

Бим смотрел внимательно, как Серый повертел в руках его ошейник, плоскогубчиками снял табличку и прикрепил в середине одной из досок на бархат; так же поступил и с номерком, а затем надел ошейник на Бима и сказал:

— Ты — собака хорошая.

Точно так же говорил когда-то хозяин, но теперь Бим не поверил. Он вышел в прихожую и стал у двери, говоря: «Выпускай! Мне тут делать нечего».

— Уж выпусти,— сказала женщина.— Чего сюда-то припер его? Снял бы на улице.

— Нельзя было — пацаны привязались. И сейчас нельзя: увидят они — без таблички, могут довести до сведения... Так что пусть ночует до зари. Лежать! — приказал он Биму.

Бим лег у двери: ничего не поделаешь! И опять же: стоило ему завыть в голос, заметаться по квартире, наброситься на Серого, и все! Выпустил бы. Но Бим умеет ждать. Да и устал он, обессилел так, что даже у чужой двери на некоторое время задремал, хотя и тревожным сном.

То была первая ночь, когда Бим не пришел домой, в свою квартиру. Он это почувствовал, когда очнулся от дремоты, и не сразу сообразил, где находится. А сообразивши, затосковал. Он же снова видел во сне Ивана Иваныча; каждый раз, как только засыпал, видел его, а проснувшись, ощущал еще теплоту его рук, знакомых с малого щенячьего возраста. Где он, мой хороший и добрый друг? Где? Тоска невыносимая. Одиночество тяжкое, и никуда от него не денешься. А тут еще Серый человек храпит, как заяц под борзой. И пахнет от всех этих бархатных досок умершими собаками. Тоска. И Бим заскулил. Потом чуть взлаял дважды, тоже с легким подвывом, как гончая, когда она добирает след зайца по вчерашней жировке. И наконец не выдержал — взвыл протяжно.

«Ох-хо-хо-ой! Ой-ой, лю-юди-и,— плакал он.— Тяжко мне, ой тяжко без друга. Отпустите вы меня, отпустите искать его. Ой-ой-ой, лю-юди-и-и, ой!»

Серый вскочил, включил свет и стал молотить Бима палкой и шипеть:

— Молчи, молчи, выродок! Соседи слышат. Нá тебе! Нá тебе!

Бим уклонялся от ударов, инстинктивно оберегая голову, и стонал, как человек: «Ох... Ах-х... Ах-хр-р... Ох...»

Но злой человек изловчился-таки и саданул по голове. Бим на несколько секунд потерял сознание, задрыгав лапами, но быстро опомнился, отскочил от двери, уперся задом в угол и оскалил зубы. Впервые оскалил.

Серый попятился от Бима:

— Ишь ты! Укусит еще, черт...— И распахнул дверь.

Но Бим не верил даже и в то, что дверь действительно открыта, не верил и тогда, когда Серый говорил:

— Ступай, ступай. Поди, Бим, гуляй. Иди, собачка, иди.

Не верил он этому ласковому, вкрадчивому тону, этой лести и заискиванию после побоев. О, лесть после побоев — новое открытие Бима в его жизни. Тетка и Курносый — люди просто нехорошие. А вот этот... этого Бим

уже ненавидел. Ненавидел! Бим начинал терять веру в человека. Да, именно так.

Бим вытянул шею, оскалил зубы и... пошел на Серого, тихо, но решительно, медленно, но уверенно. Серый прижался к стене:

— Ты что?! Ты что?!

Женщина в ночной рубахе орала на Серого:

— Допрыгался! Укуси-ит!

Бим увидел, что страшный дядька испугался его, что он его до страсти боится. От этого Бим укрепился в решимости: прыгнул, цапнул увернувшегося врага за мягкое место и выскочил в распахнутую дверь. Бим бежал и ощущал во рту вкус человеческого мяса от задницы, которую он возненавидел всем существом. Нет, Бим не считал себя несчастным и жалким, наоборот, сейчас он был храбрым, а храбрость всегда совмещается с гордостью и чувством собственного достоинства — даже у хорька.

В предрассветной мути бежал Бим по улице, хотя и в своем ошейнике, но уже без номерка «24». Сначала он впопыхах направился не туда, то есть не в город, а из города (дальше домов не было). Он вернулся обратно и попал в тот же лабиринт одинаковых домов. Кружил, кружил, петлял, петлял, да и попал к тому же дому, из которого выскочил. Тут уж он заспешил в нужном направлении, чему помогло совершенно закономерное обстоятельство, мало известное людям: вчера, когда его вели здесь, он уловил на одном углу роспись какого-то собрата, на другом углу — второго; теперь же, пробежав от знакомого по этому признаку угла до следующего, он и взял нужный ориентир. Поистине нужно отличное чутье, чтобы не только найти здесь дом, но и выбраться отсюда. Бим обладал отличным чутьем и замечательной сметкой.

Уже засветло он прибежал к своему дому, поднялся к своей родной двери, поцарапался. Ответа не было. Еще поцарапался — то же самое: тишина. Главное, у двери не было следов Ивана Иваныча. И еще слишком рано, чтобы Степановна услышала в заревом сне позывные Бима. Он посидел у двери в задумчивости.

Болело все от побоев, стучало в голове и сильно тошнило, сил не было. Но он все же пошел. Искать пошел своего друга. Да и кто же, кроме Бима, будет его искать?

По городу бежала с виду унылая собака, но преданная, верная и смелая.

Глава восьмая

●

СЛУЧАЙ НА СТРЕЛКЕ

●

Дни шли за днями. Бим их уже не замечал. Он регулярно обследовал город и узнал его во всех подробностях. Теперь он ходил по заранее намеченному маршруту; если бы люди догадались, то они могли бы проверять по Биму свои часы. Появись он у парка — пять утра, у вокзала — шесть, у завода — половина восьмого, на проспекте — двенадцать, на левобережье — четыре часа дня и так далее.

Завелись и новые знакомые среди людей. Бим установил, что большинство из них — добрые, но такие шли по улицам молча, а нехорошие всегда много болтали. Нашел и людей, пахнущих маслом и железом (раньше он встречал их поодиночке). Эти ежедневно, около восьми утра, текли сплошным потоком в ворота, потом в двери будки.

Здесь они были говорливы, как грачи, так что разобрать, пожалуй, ничего нельзя, да это, впрочем, и не интересовало Бима. Он садился в стороне от потока и смотрел и ждал.

— Эй, Черное ухо! Привет! — здоровался каждое утро паренек в синем комбинезоне и выкладывал перед Бимом припасенный сверток с едой.— Жив, курилка? Здравствуй.— И подавал Биму свою добрую человеческую лапу, грубую, но теплую.

Иные молча протягивали ему ладонь, здоровались и спешили дальше. Никто ни разу здесь не обидел Бима.

Теперь Бим мало-помалу научился различать людей по сортам. Вот, например, часто попадается ему на пути дебелая бабочка, ноги — бутылками, всегда такая довольная, бодрая, на лице счастье; но, встречаясь с Бимом, она фыркала кошкой, плевалась, поднимала сумку с продуктами на уровень пышной груди и каждый раз твердила одно и то же:

— Фу, какая гадость! Неужели нельзя подушить всех собак, чтоб не трепали нервы? Вот вам, пожалуйста: «Моя милиция меня бережет». Как же! Уберегут... А тут каждый кобель среди бела дня запросто может спустить

с тебя юбку. А что милиция? Милиции мы — пятая нога собаке.

Ввиду того, что она часто повторяла одно и то же, Бим, по простоте собачьей, почел, что бабочку так и зовут — Пятая Нога. Но он знал точно: к этой подходить нельзя. Мало ли что он не понимал ее слов, кроме ее же клички, зато он слышал и видел, потому и взял за правило: к таким — ни шагу, не связываться. Потом он как-то стал (чутьем, что ли?) определять — кого надо обходить и сторониться. Добрых было огромное большинство, злых — единицы, но все добрые боялись злых. Бим же — нет, не боялся, но ему было тоже не до них. Познание человеков расширялось и углублялось, а с собачьей точки зрения, он уже не казался каким-то вылощенным дилетантом и идеалистом, готовым вилять хвостом каждому прохожему. Бим за короткое время стал худущим, но серьезным псом, и у него была цель жизни — искать и ждать.

И вот однажды ранним утром, проверяя запахи одного из тротуаров, он опешил от радости. Он остановился, фыркнул и побежал, как бешеная собака, ничего не разбирая и не видя впереди. Но так могло показаться со стороны, а на самом деле он бежал по свежему следу: здесь прошла Даша! Она только-только что была тут.

След привел его к вокзалу. Пройти в помещение не было никакой возможности: люди, люди и люди без конца; даже на улице, у какого-то окошка, они мяли друг друга, кричали, пыхтели, вопили, будто гончие приспели до зайца и рвут его в клочья, не слушаясь ни арапника, ни рога. В такой обстановке оказалось невозможным уловить след Даши — след пропал. Тогда Бим дал круг по-над вокзалом и вышел на перрон. Здесь люди стояли группами около дверей длинных домиков на колесах, не рычали, не толкались, а, наоборот, обнимались, целовались и даже плясали в одном месте, у двери домика. Никому не было дела до Бима, потому он свободно сновал челноком под ногами и сосредоточенно вчитывался в перрон.

И вдруг у одной из дверей пахнуло Дашей. Бим потянул к порогам, но женщина с большим жетоном на груди отогнала его. Однако Бим не сдался: он стал пронюхивать окна и всматриваться в них. Потом заметил, что последними вошли в домик две женщины в белых халатах. Он бросился было к ним, но домики потихоньку поехали. Бим кинулся к окнам. В его собачьем уме возникли совершен-

но, казалось, правильные заключения: Даша там, люди в белых халатах там, значит, Иван Иваныч может быть там тоже. Может! Не увезли ли его люди в белых халатах?

И Бим, бедный Бим, теперь уже несчастный Бим, сначала легко бежал вровень с домиком, заглядывая в окна. Тут-то и увидела его Даша.

— Бим! Би-им!! — закричала она.— Милый Бим! Пришел проводить! Мой добрый Бим! Би-и-м! Би-и...

Голос ее становился все тише и тише. Домик убегал. А Бим, как ни старался, как ни напрягался изо всех сил, все отставал и отставал.

Потом он бежал некоторое время за последним домиком до тех пор, пока тот не скрылся из виду, бежал и дальше, по той же дороге, потому что она никуда не сворачивала. Долго бежал. И наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, даже жить не хотелось.

Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно — тихо, без ропота, в страданиях, неизвестных миру. Не дело Бима и не в его способностях понять, что если бы не было надежды совсем, ни одной капли на земле, то все люди тоже умерли бы от отчаяния. Для Бима все было проще: очень больно внутри, а друга нет, и все тут. Как лебедь умирает после потери любимой, взмывая вверх и бросаясь оттуда камнем; как журавль, потеряв родную и единственную журавлиху, вытягивается плашмя, распластав крылья, и кричит, кричит, прося у луны смерти; так тогда и Бим: лежал, видел в бреду единственного и незаменимого друга и готов был ко всему, даже не сознавая этой готовности. Но он теперь молчал. Нет на земле ни единого человека, который слышал бы, как умирает собака. Собаки умирают молча.

Ах, если бы Биму сейчас несколько глотков воды! А так, наверно, он не встал бы никогда, если бы...

Подошла женщина. Она была в ватном пиджаке и ватных же брюках, голова повязана платком. Сильная, большая женщина. Видимо, она сперва подумала, что Бим уже мертв,— наклонилась над ним, став на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослабел со времени прощания с другом, что ему, конечно, нельзя было устраивать такой прогон, какой он совершил за

поездом,— это безрассудно. Но разве имеет значение в таких случаях разум, даже у человека!

Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла:

— Что с тобой, собачка? Ты что, Черное ухо? За кем же ты так бежал, горемыка?

У этой грубоватой на вид женщины был теплый и спокойный голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице воды, снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине. Она поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно, тяжко до жути — провожать навсегда, это все равно что хоронить живого.

Она каялась Биму:

— Я вот — тоже... И отца, и мужа провожала на войну... Видишь, Черное ухо, старая стала ...а все не забуду... Я тоже бежала за поездом... и тоже упала... и просила себе смерти... Пей, мой хороший, пей, горемыка...

Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел женщине в глаза и сразу же поверил: хороший человек. И лизал, лизал ее грубые, в трещинах, руки, слизывая капельки, падающие из глаз. Так второй раз в жизни Бим узнал вкус слез человека: первый раз — горошинки хозяина, теперь вот — эти, прозрачные, блестящие на солнышке, густо просоленные неизбывным горем.

Женщина взяла его на руки и снесла с полотна дороги под откос:

— Лежи, Черное ухо. Лежи. Я приду,— и пошла туда, где несколько женщин копались на путях.

Бим смотрел ей вслед мутными глазами. Но потом с огромным усилием приподнялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та оглянулась, подождала его. Он приплелся и лег перед нею.

— Хозяин бросил? — спросила она.— Уехал?

Бим вздохнул. И она поняла.

Подошли они к той группе работающих. Все здесь были — женщины, одеты так же, как и Хороший человек, а сбоку стоял и мужчина, в треухе на затылке и с трубкой в зубах. Он спросил сердито:

— За собакой увязалась, Матрена? А кто будет работать? Эх ты, Матрена, Матрена... Одно слово — Матрена.— И тыкал пальцем в ее сторону.

Бим уловил: Хороший человек — это Матрена. Она приказала ему лежать у обочины, а сама взяла какие-то огромные клещи и вцепилась ими в шпалу вместе с другими женщинами.

— Раз-два, взяли! — рявкнул мужчина.— Еще разик! Еще раз! — орал он подбоченясь и даже гордо.

На каждый его крик женщины отвечали дружными рывками так, что бревно подчинялось и ползло за ними, зажатое со всех сторон клещами. При каждом таком рывке лица женщин напрягались до красноты, а у одной из них, худосочной и квелой, наоборот, лицо бледнело и даже синело. Эту Матрена отстранила рукой и сказала ей так, как когда-то говорил хозяин Биму, отгоняя его:

— Уйди! Отдохни, а то богу душу отдашь.—И к мужчине: — Ну, кричи, что ль, антихрист!

— Раз-два, взяли! — гаркнул тот и, поправив треух, стал выводить как бы с огромным трудом: — Ой, бабочки, еще раз! Муж уехал на Кавказ! Не доехал до Кавказа! Оженился там, зараза! Стоп! Ложи струмент!

Слово «зараза» Бим уже слышал от Курносого дядьки: плохое слово. Других слов он не понял.

А женщины положили в сторону клещи, взяли железные клинья и стали забивать их тяжелыми и длинными молотками. Матрена легко, вроде бы играючи, вколачивала штырь тремя ударами, а Квелая при каждом ударе охала, стонала:

— Ах-ха! Ох-ха!

— Давай, давай! — покрикивал Зараза, набивая трубку.— Давай, давай, Анисья! — Он приблизился к женщине: — С потягом бей, с потягом на себя — легче пойдет.

Анисья — это квелая. Она дольше других возилась с каждым клином и в конце концов оказалась на отшибе. Странное для женщин произошло тут событие, и непонятное: Бим подошел к Анисье расслабленной походкой и тоже, как Матрене, полизал горькие брезентовые рукавицы. Все приостановили работу и с удивлением смотрели на Бима.

Потом они, по приказу Заразы, сели все под кустами и обедали, каждая из своего узелка. И покормили Бима. Он ел. Теперь он уже брал пищу из рук хороших людей. Это было его спасением.

К вечеру он забеспокоился: подходил к Матрене, садился, вяло семенил передними лапами, смотрел ей в лицо,

снова отходил, ложился, но вскоре опять подходил и снова отдалялся.

— Уйти хочешь, Черное ухо,— догадалась Матрена.— Ну, иди, ступай, Черное ухо. Куда же я тебя дену? Некуда. Иди.

Бим попрощался и пошел, медленно, шагом, не по-собачьи. Пошел вдоль железной дороги обратно. Дорога есть дорога, она указывает, куда идти,— никогда не собьешься, если взял правильное направление. Только вот все тело мучительно ныло от вчерашних побоев Серого, трудно было дышать на ходу, но — что поделаешь! — идти надо, благо он подкрепился у добрых женщин, да и тропинка по бровке была гладкой и ровной. Постепенно втянувшись, он легонько-легонько и затрусил. Как же живучи собаки и отходчивы!

Если посмотреть со стороны, ничего особенного в этом не было: по полотну железной дороги семенила хворая собака. И только.

Ближе к городу из одного пути стало два: еще пара железных непрерывных полос потянулась рядом. Потом их стало три. Недалеко от будочки неожиданно заморгали поочередно два красных глаза: левый, правый, левый, правый — метались из стороны в сторону. Красное для всех зверей неприятно; волк, например, не в силах даже перепрыгнуть линию красных флажков, а лисица, обложенная ими, остается в кольце на двое-трое суток и больше. Так что Бим решил обойти громадные красные живые глаза. Он сошел на третью линию рельсов, остановился, вглядываясь в моргающее красное, еще не решаясь идти дальше. И вдруг под ногами что-то скрежетнуло...

Бим взвыл от страшной боли, но никак не мог оторвать лапу от рельсов: на стрелке лапа попала в могучие тиски. Из воя Бима и можно было понять только одно: «Ой, больно! Помоги-ите-е!»

Людей поблизости нет. Люди не виноваты. Отгрызть собственную лапу, как это делает иногда волк в капкане, собака не может, она ж д е т помощи, она н а д е е т с я на помощь человека.

Но что это? Два огромных ярких белых глаза осветили путь и самого Бима, они ослепили его, надвигаясь медленно и неумолимо. Бим сжался в комок от боли и страха. И замолчал в предчувствии напасти. Но гремящее существо с такими глазами остановилось шагах в тридцати, а в зо-

ну света выпрыгнул из темноты человек и подбежал к Биму. Потом, сразу же, появился и второй.

— Как же ты попал, бедняга?— спросил первый.

— Что же делать? — спросил у первого второй.

От них пахло почти так же, как от шоферов, оба были в фуражках с большими медалями.

— За остановку нам влетит, хоть мы и рядом со станцией,— сказал первый.

— Теперь все равно,— отозвался второй и пошел в будочку.

Наш бедный Бим понял по интонации (не по словам): это его спасители. Он слышал, как пронзительно зазвонил в будочке звонок, а через минуту тиски отпустили лапу. Но Бим не двигался, он оцепенел. Тогда его взял человек и отнес за линию дороги. Там Бим закрутился волчком на месте, зализывая раздавленные пальцы. И, однако (до чего же собаки наблюдательны!), он слышал говор из окон и дверей поезда; теперь, не ослепленный светом, он видел поезд из темноты сбоку; разные голоса повторяли слова «собака» и «охотничья», слова очень понятные.

Бим был благодарен хорошим, добрым людям. Вот так. Где-то, кто-то перевел стрелку той дороги, по которой доверительно шел Бим. И никакому «кто-то» нет теперь дела до того, что какой-то собаке защемило ногу и она стала калекой. Как бы там ни было, но теперь он уже никогда не пойдет по железной дороге: это он понял так же, как понял еще в юности, что там, где бегут автомобили, ходить нельзя.

Бим попрыгал на трех ногах, измученный, изуродованный. Он часто останавливался и лизал онемелые и уже припухшие пальцы больной лапы, кровь постепенно утихла, а он все лизал и лизал до тех пор, пока каждый бесформенный палец не стал идеально чистым. Это было очень больно, но другого выхода не было; каждая собака это знает: больно, но терпи, больно, а ты лижи, больно, но молчи.

...К родной двери он прихромал далеко за полночь. Нет! Опять нет следов Ивана Иваныча. Бим хотел поцарапаться в дверь, как и обычно, но, оказалось, нельзя: с больной ногой невозможно не только встать на задние лапы, но даже и сесть,— только стоять на трех ногах или лежать плашмя. Тогда он уткнулся носом в угол двери и проверил запахи внутри: хозяина не было. Значит, уехал



совсем. Так он стоял долго, как бы поддерживая головой ослабевшее тело. Затем подошел к двери Степановны и громко, коротко, в отчаянии сказал:

«Гав!» (Я тут.)

Степановна ахнула:

— Ах, боже ж ты мой! Да где же тебя так-то? — Открыла дверь, впустила и вошла с ним в его квартиру.— Ой ты, собака, собака, несчастная собака, что же мне с тобой делать-то теперь? И что скажет Иван Иваныч?

Бим только было лег посреди комнаты, вытянув ноги, но... Как так? «Иван Иваныч»? Бим поднял голову, повернул ее с усилием к Степановне и смотрел, смотрел на нее, не спуская глаз, он явно спрашивал: «Иван Иваныч? Где?»

Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, как кормить и ухаживать, она, однако, умела жалеть. Может быть, чувство жалости и помогло ей теперь понять Бима, догадаться, что слова «Иван Иваныч» пробудили в больной собаке проблеск надежды.

— Да, да, Иван Иваныч,— подтвердила она.— Подожди-ка: я сейчас приду.— Торопливо выйдя, она сразу же и вернулась с письмом в руках, поднесла его к носу Бима: — Видишь вот? Письмо прислал Иван Иваныч.

Бим, бедный Бим, умиравший и воскресший, раздавленный и спасенный, больной и без капли надежды, Бим задрожал. Он уткнул нос в письмо, потом прошелся ноздрями по краям: да, да, да... вот он сильно провел пальцами по конверту туда-сюда... Когда Степановна подняла конверт с пола и вынула из него письмо, Бим с усилием встал и потянулся к ней; теперь достала из того же конверта совершенно чистый лист бумаги и положила его перед Бимом. Он завилял хвостом: здесь написан запах пальцев Ивана Иваныча, да, это он нарочито тер пальцами.

— Тебе прислал-то,— сказала Степановна.— Так и пишет: дайте Биму этот чистый лист.— Она близко указывала на бумагу, приговаривая: — Иван Иваныч... Иван Иваныч...

Бим вдруг расслабленно опустился на пол и вытянулся, положив голову на лист. Из глаз его покатились слезы. Бим плакал первый раз в жизни. Это были слезы надежды, счастливые слезы, скажу я вам, лучшие в мире слезы, не хуже, чем слезы радости встреч и счастья.

...Дай-то бог, дорогой читатель! Но верь мне: сеттер умеет смеяться и плакать.

...Степановна начинала понимать собаку, но она поняла и то, что ей не справиться, не осилить одной, не может. Долго она сидела около Бима и думала о своей жизни. И так ей захотелось в деревню, где она родилась и выросла так стало тоскливо в этих каменных клетках, где люди го дами не знают друг друга, живя в одном доме, даже — в одном подъзде. Но все же догадалась она дать Биму воды.

Ой как надо было ему воды!

Он, чуть привстав, пил жадно, теряя капли на пол, а потом снова лег в том же положении. Бим закрыл глаза, казалось, забылся.

Уже перед рассветом Степановна вышла, так тихо, будто боялась беспокоить тяжело больного человека.

А посреди комнаты лежала всего лишь одинокая собака.

Сколько Бим проспал, он не знал: может, несколько часов, может, и сутки. Проснулся от жгучей боли в ноге. Был день, потому что светило солнце. Несмотря на боль, он понюхал листок. Запах хозяина стал слабее и дальше, но это было уже не важно. Главное в том, что он есть, где-то есть, и его надо искать. Бим встал, напился из миски и заходил по квартире на трех ногах; было больно, но он ходил, ходил, ходил из комнаты в прихожую и обратно, кружил по комнате. Инстинкт ему подсказывал: если отлежал один бок, если больно, то надо ходить. Вскоре приспособился передвигаться, не причиняя боли раздавленной лапе: ее надо слегка поднимать вверх, а не волочить над полом — тогда боль меньше. Когда же Степановна принесла еду, он уже повилял ей хвостом, порадовал, а потом и поел.

И почему, собственно, не поесть, если появилась надежда и возникли в собачьей голове два магических слова — «искать» и «ждать».

Но сколько он ни просился, сколько ни требовал, Степановна не выпускала его. (Сиди дома, ты — больной.)

Но наконец и тут она уяснила, что Бим — существо живое, что ему тоже надо выйти по надобности. Она, безусловно, не знала, что были случаи, когда собаки умирали от разрыва кишечника или задыхались при запорах, если тех

собак не выпускали более трех дней. А такие случаи были не раз.

Большая человеческая жалость и доброта души руководили Степановной в ее жизни. Только и всего. Она прицепила поводок к ошейнику и пошла. А Бим захромал рядом.

Во дворе, в дальнем углу, стояли двое: старая седая женщина и хромая худущая собака — вот такая получилась картина.

Ребятишки выскакивали из подъездов, спешили в школу, но многие из них подбегали и спрашивали:

— Бабушка, бабушка, почему Бим на трех ногах?

Или так:

— Бимка, больно тебе?

Но в школу бежать надо: это большая ответственность — ходить в школу, самая первая ответственность в жизни — перед семьей, перед учителем, перед друзьями. Потому они и не задерживались, убегали. Это обстоятельство оказалось очень важным и для Степановны, и для Бима, хотя они ничего не подозревали, а просто ушли домой, когда наступило к тому время.

У подъезда встретил их Палтитыч (Павел Титыч Рыдаев) и обратился к Степановне:

— Такое дело, значит. Кобель этот — собака стоящая, и ее надо беречь. Раз уж хозяин дал тебе поручение, то вот тебе совет: привяжи на цепь. Обязательно. Иначе убежит. Не укараулишь. Выскочит в дверь, и — каюк.

— Да разве ж можно такую умную собаку на цепь?— не очень уверенно возразила Степановна.

— Что: и тебя надо воспитывать? Учти: без хозяина и без цепи кобель почует волю. И — каюк.

— Да он же обозлеет, цепной сделается.

— Пойми ты, темный ты человек! Обозлеет — зато жив будет. На цепь, на цепь — вот тебе и вся моя инструкция. Добра желаючи говорю: на цепь!

Не подчиниться председателю домкома Степановна не могла, поэтому она купила цепочку за рубль десять и на ней выводила Бима во двор. Но дома отцепляла ее от ошейника и бросала в уголок. Хитрая бабушка Степановна — и волки сыты, и овцы целы. Впрочем, ей самой пришлось выходить с Бимом всего лишь два-три раза, причиной чего оказались необыкновенные события, развернувшиеся вокруг имени Бима.

Глава девятая

МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ, ЛОЖНЫЕ СЛУХИ, ТАЙНЫЙ ДОНОС НА БИМА И ОТСТУПЛЕНИЕ АВТОРА

В школе, делясь новостями, ребятишки на первой же перемене распространили слух: есть в их дворе собака — ходила на четырех ногах, а теперь на трех, и худущая-прехудущая, а была не худущая, и она была гладкая, а теперь взлохмаченная, была веселая, а теперь унылая, и зовут ее Бим; хозяина увезли в Москву на операцию, а водит ее теперь бабушка Степановна.

Слух дошел до одного из учителей-методистов, тот на очередном районном собрании работников просвещения осветил это на следующий день в интересном выступлении приблизительно так: растет молодое поколение отличное, оно «приобщается к идее доброты, включающей в себя жалость, как таковую, ко всему живущему на Земле». Все это он подтвердил глубоким, опять же, интересом одной школы даже к какой-то неизвестной собаке с черным ухом, хозяина которой надолго положили на операцию.

Три дня подряд во всех школах района города учителя говорили детям о жалости к животным и рассказывали, как хорошо и тепло отнеслись в школе номер такой-то к собаке. Но наиболее осторожные, однако, предупреждали, что собака, в таком случае, не должна быть бешеной, чего и следует остерегаться. В школе, где учился Толик, учительница рассказывала об этом же, но просто и душевно.

— Ну, подумайте, дети, вы только подумайте! — говорила она.— Какой-то жестокий человек оторвал у собаки ногу. (Так несколько изменился слух уже среди учителей: слух есть слух!) Это недостойно советского человека! А несчастная собачка с черным ухом навеки калека.— Она нашла в тетради нужную страничку и продолжала: — Теперь, дети, напишем сочинение, маленькое и теплое, на свободную тему: «Я люблю животных». Для свободного изложения и для того, чтобы вы чего-нибудь не напутали, вот вам планчик-вопросник.

И она написала мелом на доске, глядя в тетрадку:

1. Как зовут вашу собаку?
2. Белая она, черная или какая?
3. Острые у нее уши или вислые?
4. С хвостом она или с коротышкой?
5. Какой она породы, если это известно дома?
6. Ласковая она или злая?
7. Играешь ли ты с ней, а если играешь, то как?
8. Кусается она или нет? Если кусается, то — кого?
9. Любят ли ее папа и мама?
10. За что ты любишь собаку?
11. Как ты относишься к другим животным (куры, гуси, овцы, олени, мыши и другие)?
12. Видел ли ты когда-нибудь лося?
13. Почему корову доят, а лося не доят (домашние животные и дикие)?
14. Надо ли любить животных?

Толик сидел как на иголках, он не мог ничего писать. В общей тишине он спросил, не выдержав:

— Анпална, а как зовут собаку с черным ухом?

Учительница посмотрела в блокнот и ответила:

— Бем.

— Бим! — вскрикнул Толик, взбудоражив этим возгласом весь класс. — Отпустите меня, Анпална. Пожалуйста! Я пойду искать Бима, я его знаю — он очень добрый. Пожалуйста! — просил он жалобно, готовый в благодарности целовать руки Анпалне.

— Толя! — строго обратилась к нему Анна Павловна.— Ты мешаешь другим работать. Думай и пиши сочинение.

Толик сел. Он смотрел на чистый лист тетради, а видел Бима. Казалось, он сосредоточился на свободной теме вместе со всеми, но он написал только одно заглавие: «Я люблю животных». Лишь незадолго до звонка он начал быстро-быстро сочинять ответы. Даже и после звонка он на некоторое время задержался, а Анна Павловна, как обычно в таких случаях, сидела за столом и терпеливо ждала. Наконец Толик, мрачный, неизвестно чем недовольный, положил перед Анной Павловной свое сочинение. И вышел.

Его работа, таким образом, была сдана самой последней, поэтому, как и всегда, Анна Павловна прочитала ее самой первой (сверху лежит).

Толик точно, даже с превышением, ответил на все вопросы свободной темы. Его творение включало даже и по-

этические опыты, хотя и с явным плагиатом из популярной песенки, знакомой каждому малышу. В общем же все выглядело так:

«Я ЛЮБЛЮ ЖИВОТНЫХ»

Ее зовут Бим. Она белая с черным ухом. Уши вислые. Хвост настоящий. Порода охотничья, не овчарка. Ласковая. Играл один раз, но какой-то дядька-зуда увел, дурной старикан и неподобный ни на что. Не кусается. Мама и папа ее любить не могут, она чужая, с желтой табличкой на шее. За что люблю, не знаю, просто так. Кур, гусей, овцы, олени, мыши люблю, но мышей боюсь. Лося пока не видел, они в городе не живут. Корову доят, чтобы было молоко в магазинах и чтобы выполнялся план. («А ведь он дефективный!» — подумала Анна Павловна.) Лося не доят потому, что в магазинах не бывает лосинового молока и оно никому не нужно. Животных любить надо, а собака лучший друг человека. Я сочинил песенку сейчас:

И лось хорошо,
И олень хорошо,
И мышь хорошо,
А собака лучше.

Еще я заводил морских свинок, но мама сказала, они очень пахучие в квартире, нос зажимай, и отдала чужой девочке. А Бима я все равно найду, пусть даже вы меня и не отпустили. Все равно найду, сказал найду — и найду. Хоть вы Анна Павловна, мне все равно».

У Анны Павловны глаза на лоб полезли: «Он же из рамок вон выскочил! Он же черт-те о чем думает. В тихом омуте...» Последнюю мысль она не стала додумывать дальше, так как была педагогом, а просто, с сознанием долга, поставила двойку.

Вот ведь как оно выходит. Анна Павловна была на хорошем счету, дети ее, похоже, любили и слушались, за исключением некоторых, без каковых, впрочем, не обходится ни в одном классе. Воспитание— штука сложная, сложнейшая, скажу я вам, потому, видимо, Толик и написал такое, одно из первых своих, сочинение: просто-напросто от необъяснимой обиды и, конечно, несознательно, если иметь в виду, что о морских свинках и Анне Павловне никаких вопросов в теме не было. Может быть, с возрастом он и пой-

мет свою ошибку детства, но пока ему этого не сообразить. Он даже не пришел в класс после перемены. А это уже — ЧП!

Толик поехал из своего нового района в другой, старый, в ту школу №... и допытался-таки у ребят обо всем: когда они видели Бима и где он живет. К радости своей, он узнал также, что нога вовсе не оторвана, а только висит. И пошел с ребятами в тот дом, к Биму.

Он нажал кнопку звонка. Бим ответил вопросом: «Гав!» (Кто там?)

— Это я — Толик! — крикнул гость. Потом услышал, как Бим, прислонив нос к щели, фыркал и втягивал воздух. — Бим, это я — Толик.

Бим взвизгнул, залаял. Так он кричал: «Здравствуй, Толик!»

И мальчик его понял, впервые понял фразу из собачьего языка.

Степановна, услышав лай и разговор человека с собакой, вышла:

— Ты чего, мальчик?

— Я — к Биму.

Выяснилось все без труда. Они вошли вдвоем.

Толик не узнал Бима: поджарый, без живота, свалявшаяся шерсть, кособокая походка, выпирающие наружу ребра — нет, это не Бим. Но глаза, умные и полные ласки, сказали: «Я — Бим». Толик присел на корточки и дал волю собаке. Бим, обнюхивая его, лизал пиджачок, подбородок, руки и наконец положил мордаху на носок ботинка Толика. Казалось, он успокоился.

Все рассказала Степановна Толику, незнакомому мальчику, все, что знала о Биме и об Иване Иваныче, но не могла только объяснить, где и кто раздавил лапу.

— Судьба, — определила она. — И у каждой собаки — своя судьба.

Говорила она с мальчиком спокойно, хоть и с горечью, не кичась своей старостью и не подозревая своего большого жизненного опыта, на равных.

— А где табличка? — спросил Толик. — Была же. Я читал.

— Была. Тебя как звать-то?

— Толик.

— Толик — это хорошо... Была. Кто-то снял, стало быть. — Толик подумал: «Он снял, Серый дядька». Но все-

таки вслух не произнес, поскольку не был еще уверен в этом. — И что я с ним буду делать, господи? — спросила Степановна, глядя на Бима. — И жалко-то, и что делать — не знаю. Витинара бы ему.

— Ветеринара, — поправил Толик, тоже не ощущая своего превосходства, и ответил на вопрос «что делать»: — Я буду приходить каждый день после школы, буду его водить. Можно?

Так нашелся у Бима новый маленький друг. Он ежедневно, после обеда, ехал через весь город к Биму, ходил с ним по двору, по улицам, по парку и, к удовольствию всех ребят, говорил гордо:

— Собака — лучший друг человека.

Смысл в этих словах был совсем иным, чем в сочинении, написанном от обиды.

Но твердо решил Толик: найти того Серого дядьку и поговорить начистоту. В своем новом районе он стал его подкарауливать. И так-таки встретил лицом к лицу.

— Дяденька, — спросил он, приподняв козырек фуражки и заложив руки за спину, — зачем вы сняли табличку с Бима?

— Ты что — очумел, мальчик? — ответил тот вопросом на вопрос.

— Вы же его увели с табличкой. Я видел не один.

— И отпустил с табличкой. Он же меня укусил! Небось отпустишь, если кусается как волк.

— Вы, дяденька, врете: Бим ласковый пес.

— Я? Я вру, щенок?.. Где твои родители? Где твои родители? Говори! — присучился он.

Отчасти Серый был прав. Именно отчасти: он не врал, что был укушен Бимом, и имел полное право возмущаться, но он врал, что будто бы не снимал табличку с ошейника. Первопричиной происшедшего он считал укус Бима, но не снятие таблички, а перестановка местами причины и следствия всегда очень выгодный прием доказательства. Он был глубоко убежден, что говорит правду, но то, что он говорил не всю правду, — это его уже не касалось. А кто знает, где она, причина, и где следствие: собака укусила сначала или табличка снята сперва? Это так и останется тайной для всех. Но Толик был глубоко убежден в том, что Бим укусить Серого не мог, потому что он — человек, а не заяц какой-нибудь или лисица. Потому он и повторил еще раз:

— Вы обманываете меня, дяденька. Это — стыдно.

— Бр-рысь! — гавкнул дядька. И ушел, прихрамывая и отставляя зад в сторону (видимо, здорово тяпнул его Бим).

Удивительно, как бывают правы обе стороны, когда один говорит полуправду, а другой не знает второй половины правды.

Серый же шел и думал: «Пойдет с теми сопляками в милицию, доложит, они придут, увидят коллекцию... Нет, юбилейный, пятисотый не отдам. За него можно дать двадцать знаков любых». И он решил: «Лучший вид обороны — нападение».

Дома он написал заявление, а затем отнес его в ветеринарный пункт. Там прочитали:

«...Бежала собака (беспородный сеттер с черным ухом), с разлету укусила, вырвала из соответствующего места моего организма кусок мяса и убежала дальше... Бежала она как бешеная, опустивши и хвост, и голову к земле, глаза были налитые кровью... Либо ее изловить и уничтожить, на что дать распоряжение бригаде ловцов бродячих собак, либо я буду жаловаться выше на ваш бюрократизм и бездушие в деятельности...» и т. д.

Ветврач заволновался:

— Куда укусила? Когда? Где? При каких обстоятельствах?

Серый врал, как заправский сочинитель, только без малейшего воображения. Для врача же все было ясно из личного документа укушенного, а именно: укушен бродячей собакой на улице! Он снял трубку телефона и вызвал дежурного пастеровского пункта.

Вскоре, буквально через несколько минут, приехала на автомобиле женщина-врач, спустила брюки Серого, глянула, спросила:

— Сколько дней прошло?

— Дней десять,— ответил невольный пациент.

— Через четыре дня сбеситесь,— категорически утвердила врач. Но так как пациент ничуть не заволновался от такого приговора, у нее возникли, видимо, какие-то сомнения, что ли, и она спросила: — А сколько месяцев вы не купались?

— С третьей субботы перед укушением. Боялся засорить, как бы антонов огонь не схватить... Место-то серьезное...

Вмешался ветврач:

— Место у вас действительно серьезное. Как телевизор. (Он был шутником, этот симпатичный ветврач.)

— Что же вы наделали! — воскликнула женщина-врач, еще раз присмотревшись к ране.— На пункт, на пункт, на пункт! Немедленно уколы против бешенства... в живот... в течение шести месяцев.

— Да вы что, очертенели! — взревел Серый дядька.

— Ничего не очертенели,— спокойно обрезал его ветврач.— Не подчинитесь — будем силой действовать, через милицию, дома вас возьмут, если вы такой темный человек.

— Я? Темный человек?! — вскричал Серый.— Да вы знаете, где я в свое время работал?!

— Меня это не касается,— ответила врач.— На пункт! — добавила она еще строже, чем прежде.

Теперь доносчик регулярно должен был ходить на уколы в определенные дни и часы. Мало приятного, попал как кур во щи: кобель — за задницу, а доктора — в живот.

А дальше было так.

Как уж они сошлись с Теткой той — неизвестно, но как-то сошлись. Может быть, они были знакомы давно (пожалуй, так оно и было), но в тот день они встретились на улице. Такие чуют друг друга так же, как рыбак рыбака, дурак дурака, а клеветник клеветника. Сошлись, значит, и разговорились. Выяснилось, что он кособочится от укуса собаки с черным ухом.

— Да я же ее знаю! Ей-богу, знаю! — всхрапнула Тетка.— И меня кусала.

Серый-то знал, что она врет, однако же сказал так:

— Я лично написал заявление, чтобы ее изловили и уничтожили. Так подсказывает мне совесть.

— И правильно подсказывает! — с воодушевлением поддержала Тетка.

— А вы тоже напишите... если, конечно, вы честный человек.

— Я? Я не отступлю!

И она в тот же день отнесла заявление туда же, в ветеринарный пункт. В глубине души Серый думал (про себя думал): «Раз соврала, то пусть-ка тебя доктора — в животик». Он не любил, когда ему говорили неправду, и гордился этим. Ну, Тетка и попала тоже как кур во

щи: вопила, ругалась, врала по мере надобности, в частности про то, что ранка была небольшая и уже зажила, тыкала пальцем в старый шрамчик на руке и еще кричала, что она, как честная советская женщина, написала для пользы дела, а ее за то наказывают в живот.

Странно, но почему-то ее отпустили, записав адрес, и сказали, мол, заедем завтра па дом для выяснения. Как бы там ни было, но Тетка возненавидела Бима лютой ненавистью, Серого — тоже, но несколько меньше, хотя он и подвел ее под монастырь.

В связи с такими двумя заявлениями, через два дня в областной газете появилось объявление:

«Есть основание полагать: собака, беспородный сеттер, ухо черное, кусает прохожих. Знающих местопребывание таковой, а также укушенных просим сообщить по адресу... на предмет изловления для анализа и ликвидации возможных последствий. Граждане! Берегите свое здоровье и здоровье других — не молчите»... и т. п.

В ближайшие дни немедленно посыпались письма читателей. В одном из них сообщалось:

«...(такого-то числа и месяца сего года)... бежала собака в направлении к вокзалу (беспородный сеттер, ухо черное), она не разбирала ничего и перла напрямую; так здоровые духом собаки не бегают — напрямую или наискосок через площадь, а обходят препятствия или предметы, встречающиеся на пути следования. Хвост был опущен вниз, и морда была действительно опущена вниз. Вышеупомянутая собака (беспородный сеттер, черное ухо) вполне опасна, может укусить любого гражданина Советского Союза и даже иностранного туриста, каковые есть, а потому ее следует ловить и ликвидировать без никаких исследований, о каковых упомянуто в объявлении вашей уважаемой нами газете».

Под петицией стояло двенадцать подписей.

Были и другие письма (всех не упомянешь). Ну, например, такое: «...Точно такая же собака, но без черного уха, бежала тоже напрямую»... Или: «Город забит собаками, а которая из них бешеная, понять невозможно никак». Или: «И вовсе та собака не бешеная, сами вы бешеные, витинары». Или: «Если облисполком не может поставить на широкую ногу организацию планомерного, рассчитанного на года, уничтожения собак, то куда мы идем, товарищ редактор? Где план? Где действенная кри-

тика и почему вы к ней не прислушиваетесь? Хлебы-то мы умеем печь, а вот охранить здоровье трудящегося гражданина — кишка тонка. Я — честный человек и говорю всегда в глаза одну матку-правду. И не боюсь я никого, кстати. А вы подумайте над теми моими словами. Мне уж терпеть нету мочи: пишешь, пишешь, а толку ноль».

В общем, писем было так много, что развернулась дискуссия, следствием чего явилась редакционная статья «Том в квартире», где приводились выдержки из письма доцента пединститута. Тот доцент был явным собаконенавистником. Почему это так, трудно догадаться, но воспитательное значение для детей и юношества его высказывание имело огромное: если они его поймут правильно, то с малых лет будут душить собак, заботясь о здоровье трудящихся, а на человека, содержащего дома собаку, будут коллективно и дружно кричать на улице: «Бездельник!» (таким словом доцент обозвал людей, любящих собак), «Грязнуля!» (тоже творчество того доцента).

Как уже сказано выше, всех писем перечислить не представляется возможным, но одно приведем все-таки, последнее. Оно было из двух строк. Читатель просто задал вопрос: «А на обоих ухах по черному если — бить?» То был читатель-практик, далекий от абстрактного восприятия мира. Но тем не менее это письмо не попало ни в статью, ни вообще на страницы печати и даже осталось без ответа. Только подумать! Какое неуважение к запросам человека, предлагающего свои услуги.

Есть, есть еще читатель отзывчивый, не перевелся, слава богу. Такой читатель не пропустит возможности высказаться и заклеймить. Так вот и в нашей истории: Бима искали уже по всему городу, опорочили добрую собаку. А за что? Ладно: пусть он укусил, скажем,— это правда, а обстоятельства при укушении и то, что он бешеный,— это сущая неправда. Заботливый читатель смешал все это вместе не по своей вине: он не подозревал клеветы, а у нее хоть и короткие, но зато прочные ноги.

Но редактор вовремя заметил, что дискуссия эта — стихийная, вызванная, видимо, укушенным человеком, дискуссия вовсе не организованная, а самотечная. И он поступил мудро — дал объявление нонпарелью (тем шрифтом, какой никогда не пропустит устойчивый читатель): «Собака Черное ухо — поймана. Редакция прекращает дискуссию на эту тему. Рукописи не возвращаются».

Редактор тот был юморист, чего «читатель-борец» терпеть не может.

Но то была неправда: Бима никто не изловил. Просто-напросто Толик, узнав в школе про объявление, нашел перед вечером квартиру ветврача, позвонил, а когда ему открыли, сказал:

— Я — от Черного уха, от Бима.

Выяснился вопрос незамедлительно: на следующий день Толик поехал к Биму и отвел его, трехногого, на ветеринарный пункт к врачу. Тот осмотрел, сказал:

— Враки — вся эта дискуссия. Собака не бешеная, а больная. Избитая и изуродованная. Эх, люди! — как-то неопределенно вздохнул он.

Зато осмотрел больную лапу, ослушал внутренности, выписал мазь для ноги, дал микстуру для внутренностей и, провожая друзей — мальчика и собаку, спросил на прощание:

— Тебя как же зовут, герой?

— Толик.

— Ты хороший мужик, Толик. Молодец!

Бим, уходя, тоже поблагодарил врача. От него пахло лекарствами, но он вовсе не был больной, а, наоборот, высокий, мужественный человек с добрыми глазами.

«Хороший человек,— сказал ему Бим хвостом и взглядом.— Очень хороший вы человек!»

...Читатель-друг! Не тот читатель, что мнит, будто без его клеймящих писем собаки поедят всех граждан и гражданок, нет — не тот. Другой — мой читатель, к тебе обращаюсь. Прости, что в лирическо-оптимистической повести о собаке я иногда напишу одну-две сатирические картинки. Не обвиняй в нарушении законов творчества, ибо у каждого писателя свои «законы». Не обвиняй, дорогой, и в смешении жанров, ибо сама жизнь — смешение: добро и зло, счастье и несчастье, смех и горе, правда и ложь живут рядом, и так близко друг к другу, что иногда трудно отличить одно от другого. Хуже мне было бы, если б вдруг ты заметил у меня полуправду. Она похожа на полупустую бочку. А ведь разницу между полупустой и полуполной бочкой доказывать нет смысла.

Главное, я за то, чтобы писать обо всем, а не об одном и том же. Последнее вредно. Ты подумай! Если писать

только о добре, то для зла — это находка, блеск; если писать только о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать; если писать только о серьезно-прекрасном, то люди перестанут смеяться над безобразным.

Впрочем сказать, я ведь и пишу только о собаке. В подтверждение чему следуют дальнейшие главы занимательных и, замечу кстати, не всегда веселых историй с нашим добрым Бимом.

Глава десятая

●

ЗА ДЕНЬГИ

●

Благодаря стараниям Толика и Степановны Бим поправлялся. А недели через две лапа стала заживать, хотя и осталась разлапистой, широкой по сравнению с остальными; Бим уже пробовал на нее наступать, но пока еще так, немножко — только пробовал. Расчесанная Толиком шерсть придала Биму вполне пристойный вид. А вот голова стала болеть не переставая: от ударов Серого что-то в ней будто сместилось. Иной раз Бим испытывал головокружение; тогда он останавливался, ждал в удивлении, что же с ним будет, но потом, слава богу, прекращалось до следующего приступа. Так вот и у человека, травмированного или ошеломленного несправедливостью, неожиданно, не сразу, а через некоторое время, вдруг зашумит в ушах, закружится голова, заскочит не туда сердце, и он, покачиваясь, останавливается и ждет в горестном удивлении, что же с ним будет; потом действительно проходит, а иногда даже и не повторяется. Все бывает и все проходит. Человек — тоже животное, только более чувствительное.

...Лишь поздней осенью, уже по устойчивым заморозкам, Бим пошел на четырех ногах, но так-таки и прихрамывал — нога почему-то стала чуть короче. Да, Бим остался калекой, хотя с головой дело будто бы и уладилось. Истинно: все бывает и все проходит.

Это еще ничего бы, но хозяина-то нет и нет. И листок письма давно уже ничем не пахнет, а лежит в углу как

обыкновенная, всегда бесполезная бумага. Бим уже мог бы снова искать друга, но Толик не спускал с поводка, когда с ним гулял. Толик все еще боялся и того объявления в газете, и Серого дядьку, да и прохожие иногда спрашивали: «А не та ли это собака, бешеная, с черным ухом?» Толик не отвечал и быстро уходил, оглядываясь. Он мог бы сказать: «Нет, не та собака» — и делу конец. Но он не умел лгать и скрывать свои чувства — страх, опасение, сомнение и прочее; даже наоборот, все это проявлялось открыто и прямо: ложь он называл ложью, правду — правдой. Более того, в нем зарождалось чувство юмора, как одного из способов выражения справедливости, настоящего юмора, при котором смешное говорится без тени улыбки, хотя обладатель этого чувства может внутренне почти плакать. Первым проявлением этого было то самое сочинение, сути которого он сам еще не понимал. Он еще ничего не понимал как следует, он только смутно начинал догадываться кое о чем.

Итак, мальчик в спортивных осенних брючках и желтых ботиночках, в светло-коричневом пиджачке и осенней ворсовой фуражечке каждый день, перед вечером, шел с хромой собакой по одному и тому же маршруту. Он всегда был такой чистенький и опрятный, что любой встречный думал: «Сразу видно — из культурной семьи мальчишка». К нему уже стали привыкать ближайшие к его маршруту жители, а некоторые из них спрашивали друг друга: «Чей же это такой хороший и смирный мальчик?»

С внучкой Степановны, Люсей, беленькой ровесницей, тихой и скромной, Толик подружился крепко, хотя почему-то и стеснялся брать ее на прогулки. Зато в квартире Ивана Иваныча они, бывало, забавлялись с Бимом, а тот платил им преданно любовью и неотступным вниманием. Степановна тут же сидела с вязаньем и радовалась, глядя на детей.

Однажды они разравнивали Биму очесы на ногах и подвесок на хвосте, а Люся спросила:

— Твой папа тут, в городе?

— Тут. Только его утром увозят на работу, а вечером привозят обратно, совсем уж поздно. Страшно устает! Говорит, «нервы напружинились до отказа».

— А мама?

— Маме всегда некогда. Всегда. То прачка приходит, то полотеры, то портниха, то телефон звонит без конца —

никогда ей нету покоя. Даже на родительское собрание вырваться не может.

— Трудно,— вздохнув, подтвердила Люся чистосердечно, с грустинкой в глазах. Она ведь и задала Толику вопрос лишь потому, что всегда думала о своих папе и маме. Потому-то и сказала: — А мои папа-мама далеко. Самолетом улетели. Мы с бабушкой вдвоем...— И совсем весело добавила: — У нас два рубля в день, вот сколько!

— Хватает, слава богу,— поддержала Степановна.— Десять буханок белого хлеба купить можно. Куда та-ам! А бывало-то, давно-то — вспомнишь... Да что та-ам! Аж муторно: сапоги мужнины, твоего дедушки, Люся, отдала за буханку...

— А когда это было? — спросил Толик, удивленно вздернув бровки.

— В гражданскую войну. Давно. Вас и на свете не было. Не дай бог вам такого.

Толик с удивлением смотрел на Люсю и на Степановну: для него было совсем непонятно, как это так, чтобы папы и мамы не жили с детьми и чтобы когда-то хлеб покупали за сапоги.

Степановна угадала его мысли по взгляду:

— Да и уехать нам нельзя: квартиру-то надо оберегать... а то отнимут... Теперь вот и эту тоже надо оберегать, пока приедет Иван Иваныч. А как же! Само собой: мы ж — соседы с Иван Иванычем.

Бим присмотрелся к Степановне и догадался: Иван Иваныч есть! Но где он? Искать, надо искать. И он стал просить, чтобы его выпустили. Желание оказалось несбыточным. Он улегся у двери и стал ждать. Казалось, никто из присутствующих ему не нужен. Ждать! — вот цель его существования. Искать и ждать.

Толик заметил, что бабушка Степановна говорит неправильно — «соседы», но теперь, в отличие от первой встречи, промолчал, потому что он уже уважал старушку, хотя и не мог бы сказать, за что, если бы его спросить об этом. Так просто — Люсина хорошая бабушка. Вот Бим, любит же он Степановну. Толик так и спросил:

— Бимка, ты любишь Степановну?

Бим не только знал всех по имени, не только знал, что без имени нет ни одного существа, даже самой паршивой собаки, но он точно исполнял, когда дети приказывали, чьи надо принести тапки. Он и теперь, по взглядам Толи-

ка и Степановны, по ее улыбке, понял, что речь идет именно о ней, потому подошел и положил ей голову на колени.

Степановна раньше была равнодушна к собакам (собака и собака, делов-то!), а Бим заставил ее любить, заставил своей добротой, доверием и верностью своему другу-человеку.

Теплые и милые эти четыре существа в чужой квартире — три человека и одна собака. У Степановны на душе было тоже тепло и спокойно. Что еще надо на старости!

Потом, после, через много лет, Толик будет вспоминать эти предвечерние часы со светло-сиреневым окном. Будет. Конечно, будет, если его сердце останется открытым для людей и если пиявка недоверия не присосется к его сердцу... Но в тот раз он спохватился:

— Мне надо к девяти домой. В девять — спать, точно. Завтра я тебе, Люся, принесу альбом для рисования и чешские цветные карандаши — ни в одном магазине таких ни за деньги, ни за сапоги не купишь. Заграничные!

— Правда?! — обрадовалась Люся.

— А ты папе-то сказал, куда ходишь? — спросила Степановна.

— Не-ет. А что?

— Надо сказать. Как же, Толик? Обязательно.

— Он же не спрашивает. И мама не спрашивает. Я к девяти всегда дома.

Когда Толик уходил, Бим очень, очень просил, чтобы выпустили, но тщетна была мольба. Его берегли и жалели, не учитывая того, что он страдал и тосковал о друге, хотя и любил их.

На следующий день Толик не пришел. А Люся так ждала его с альбомом и карандашами, каких не бывает в магазинах и какие не купить за деньги. Так ждала! Она и Биму повторила несколько раз:

— А Толика нету. Толик не идет.

Бим, конечно же, понял ее беспокойство, да и время прихода Толика уже прошло, потому он вместе с Люсей заглядывал через окно на улицу и ждал его с нетерпением. Но Толик не появился.

«Сказал отцу»,— подумала Степановна, а вслух произнесла:

— Вот тебе и собака... Плохо нам будет без Толика. Кто же будет водить Бима?

У Люси сжалось сердчишко, оно предсказывало что-то недоброе.

— Плохо,— согласилась она дрожащим голосом.

Бим подошел к ней, смотрел на ладошки, закрывавшие личико, и чуть проскулил (не надо, дескать, Люся, не надо). Он помнил, как Иван Иваныч, сидя за столом и опершись локтями, иногда так же закрывал ладонями лицо. Это было плохо — Бим знал. Бим всегда в таких случаях подходил к нему, а хозяин гладил ему голову и говорил: «Спасибо, Бим, спасибо». Вот и Люся тоже: отняла ладошку от лица и погладила Бима по голове.

— Ну, вот и все, Люсенька, вот и все. Зачем и плакать? Толик придет. Приде-ет, не тревожься, детка. Толик придет,— утешала бабушка.

Бим подхромал к двери, будто хотел сказать: «Толик придет. Пойдем поищем его».

— Просится,— сказала Степановна.— Я уж стала его понимать. И не водить нельзя — живность же...

Люся чуть вздернула подбородок и, как-то не похоже на себя, сказала твердо:

— Я поведу сама.

Степановна вдруг заметила: взрослеет девочка не по дням, а по часам. И ей тоже стало горько оттого, что не пришел Толик.

...Девочка с собакой шла по улице. Навстречу — три мальчишки.

— Девочка, девочка,— затараторил один из них, рыжий Конопатик,— твоя собачка — мужичок или бабочка?

— Дурак! — ответила коротко Люся.

Все трое окружили Люсю с Бимом, а она готова была заплакать от первого в ее жизни хамства. Но, увидев, что шерсть у Бима на холке встопорщилась и он пригнул голову, вдруг осмелела и крикнула резко:

— Пошли вон!

Бим так гавкнул, так рванулся, что все трое посыпались в разные стороны. А Конопатик, отбежав и обидевшись за свой собственный страх, закричал чибисиным голоском:

— Э! Э! Девчонка с кобелем! Э! Бессовестная! Э! Э!

Люся побежала что было силы домой. Бим, конечно, за нею. Впервые в жизни он встретил плохого маленького человека — Конопатика.

После такого случая вновь стали выпускать Бима од-

ного, по-старому. Сначала Люся выходила за ним и, стоя за углом, следила, посвистывая по-мальчишески, чтобы далеко не отходил. Потом Степановна отпустила его ранним утром одного. С этого раза и вовсе он гулял один, а вечером возвращался и охотно ел.

Надо же тому случиться! Как-то на перекрестке, на переходе через трамвайную линию, его кто-то окликнул:

— Бим!

Он оглянулся. Из двери трамвая высунулась знакомая вагоновожатая:

— Бим, здравствуй!

Бим подбежал и подал лапу. Это та же самая добрая женщина, что возила Бима с хозяином на охоту, до автобусной остановки. Она!

— Что-то давно не видать хозяина? Или заболел Иван Иваныч?

Бим вздрогнул: она знает, она, может быть, к нему и едет!

Когда же вагон тронулся, он прыгнул туда через порожки. Женщина-пассажир вскрикнула дико, мужчина заорал («Поше-ел!»), некоторые смеялись, сочувствуя Биму. Вагоновожатая остановила трамвай, вышла из кабины, успокоила пассажиров (Бим определенно это заметил) и сказала Биму:

— Уйди, Бим, уйди. Нельзя.— Легонько подтолкнула его и добавила: — Без хозяина нельзя. Без Ивана Иваныча нельзя.

Что ж поделать: нельзя, значит, нельзя. Бим сел, посидел мало-мало и затрусил в ту сторону, куда поехал трамвай. Тут они ездили с хозяином, тут — это точно, вот поворот у башни, вот постовой милиционер,— тут!

Бим бежал по линии трамвая, не пересекая ее даже и на поворотах. Милиционер свистнул. Бим на ходу обернулся и побежал своей дорогой. Он уважал милиционеров: такие люди никогда его не обижали, ни разу; он помнил и свой первый привод в милицию, все помнил, умный пес; оттуда они пошли с Дашей домой, и все было хорошо. Больше того, он не раз видел милиционера с собакой — черная такая, сильно серьезная с первого взгляда; с нею он даже знакомился когда-то на тротуаре: Иван Иваныч и милиционер подпустили их друг к другу и дали возможность поговорить вдоволь.

«От него пахнет лесом»,— сказала черная собака, глядя на милиционера.

— Были вчера на охоте,— подтвердил Иван Иваныч.

«Какая ты чистюля!» — сказал Бим черному, завершая законную процедуру обнюхивания.

«А как же иначе! Работа такая»,— вилял обрубком хвоста черный.

В знак наметившейся дружбы они даже расписались на одном и том же дереве, внизу.

Нет, милиционер — человек хороший, он собак любит, тут Бима не провести и не обмануть.

И он бежал себе и бежал помаленьку вдоль трамвайной линии, но только сбоку, так как помнил, что наступать на железные полосы нельзя — прижмут ногу.

У конечного кольца он дал круг по ходу трамвая и застопорил у остановки. Посидел, посмотрел: люди кругом все добрые. Так. Это уже хорошо. Отсюда они переходили с Иваном Иванычем улицу — вон к тому месту с дощечкой на столбе. Бим пошел туда не спеша и сел рядом с небольшой очередью, ожидающей автобуса. Присмотрелся: опять плохих людей не видать.

Когда подошел автобус, очередь уползла в дверь, а Бим потопал последним, как и полагается всякой скромной собаке.

— Ты куда? — вскричал шофер. Вдруг он глянул еще раз на Бима и пропел: — Постой, постой. Да ты мне знакомый.

Бим точно понял, что это — тот друг, что взял бумажку из рук хозяина. И завилял хвостом.

— Помнит, собачья душа! — воскликнул шофер. Потом подумал и позвал Бима в кабину: — Ко мне!

Бим уселся там, прижавшись к стеночке, чтобы не мешать, уселся в волнении: ведь именно этот шофер и вез их когда-то до леса, на охоту.

Автобус рычал и рычал, ехал и ехал. Замолчал он у той остановки, где Бим всегда выходил с Иваном Иванычем в лес.

Тут-то Бим и загорелся! Он царапался в дверь, скулил, просил слезно: «Выпусти. Мне сюда и надо».

— Сидеть! — строго крикнул шофер.

Бим подчинился. Автобус снова зарычал. Один из пассажиров подошел к шоферу и спросил, указывая на Бима:

— Твоя собачка?
— Моя,— ответил тот.
— Ученая?
— Не очень... Но умная. Видишь? Смотри: лежать!
Бим лег.
— Может, продашь собачку? Моя померла, а я стадо овец пасу.
— Продам.
— Сколько?
— Четвертную.
— Ого! — произнес пассажир и отошел, предварительно потрепав Бима за ухо, приговаривая: — Хорошая собака, хорошая.

Очень знакомы эти добрые слова Биму, слова хозяина. И он вильнул хвостом чужому.

Бим теперь вовсе не знал, куда едет. Но, глядя в ветровое стекло из кабины, он примечал путь, как и всякая собака, едущая впервые по новому месту: так уж у собак заведено — никогда не забывать обратный путь. У людей этот инстинкт с веками пропал или почти пропал. А зря. Очень полезно не забывать обратный путь.

На одной из остановок тот Хороший человек, от которого пахло травой, вышел из автобуса. Шофер тоже вышел, оставив Бима в кабине. Бим следил за ними, не спуская взора. Вот шофер указал в сторону Бима, вот он взял за плечо Хорошего человека, а тот, улыбнувшись, достал бумажки и отдал их, затем, перекинув рюкзак через плечо, вошел в кабину, снял с себя пояс, прицепил Бима за ошейник и сказал:

— Ну, пойдем.— А в нескольких шагах от автобуса, обернувшись, спросил: — Зовут-то его как?

Шофер вопросительно посмотрел на Бима, потом на покупателя и ответил уверенно:

— Черное ухо.
— А ведь не твоя собака? Признайся.
— Моя, моя. Черное ухо, точно.— И поехал.

Итак, Бим был продан за деньги.

Он понимал, что происходит не то, совсем не то. Но человек, пахнущий травой, был явно добрый, и Бим пошел с ним рядом, печальный и расстроенный.

Шли, шли они молча, и вдруг тот человек обратился непосредственно к Биму:

— Нет, ты не Черное ухо: так собак не зовут. А най-

дется твой хозяин — отдаст мне мои пятнадцать рублей. Что за вопрос?

Бим смотрел на него, склонив голову набок, будто хотел сказать: не понимаю тебя, человек.

— А ты, брат, видать, собака умная, хорошая.

Вот и еще раз он сказал слова, так часто повторяемые хозяином. Теперь Бим завилял хвостом в знак благодарности за ласку.

— Ну, раз такое дело, живи со мной,— заключил человек.

И пошли они дальше. Раза два Бим в пути все же пытался упираться, натягивал поводок и указывал взглядом назад (отпусти, дескать, мне — не туда).

Человек останавливался, гладил пса, говорил:

— Мало бы что... Мало бы что.

Тут бы — пустяк: хватить за поясок разок-другой и — пополам. Но Бим знал: поводок для того, чтобы за него водили, чтобы собака шла не дальше и не ближе положенного. И прекратил свои просьбы.

Шли они сначала лесом. Деревья были задумчивыми и молчаливыми — голые, холодные, успокоенные морозцем; трава в лесу пожухлая, немощная и перепутанная, скучная. Тоска Биму, да и только.

Потом потянулись озимые, ковром укрывшие землю, мягкие и веселые. Стало Биму тут немного легче: простор, неимоверно много неба, веселое посвистывание человека рядом — это всегда было хорошо при Иване Иваныче. Но когда дорога пошла по зяби — опять веселого мало: земля черновато-серая с крапинами мела, а комков на ней никаких; казалась она мертвой, местами полумертвой — распыленная, изношенная земля.

Человек сошел с дороги, потоптал каблуком зябь и вздохнул.

— Плохо, брат,— сказал он Биму.— Еще одна-две черных бури, и конец землице. Плохо, брат...

Слова «плохо, брат» Биму очень хорошо знакомы от Ивана Иваныча, и он знал, что это означает уныние, печаль или «что-то не так», а слова «черная буря» он принял, как «черное ухо» в неизвестной ему интерпретации. Однако то, что это относится к земле, Биму понять недоступно. Человек явно догадался об этом:

— Конечно, ты — собака, и ты ничего не смыслишь. А кому скажешь? Вот я тебе, черноух, и жалуюсь...

Погоди-ка!.. — Он посмотрел на Бима и добавил: — А пущай-ка ты будешь Черноух. Это по-собачьему — Черноух. Само вырвалось, так тому и быть.

Ну и что? Еще не доходя до деревни, Бим уже знал, что он теперь — Черноух: человек-то много раз ласково повторял:

— Черноух — это хорошо. — Или так: — Молодец, Черноух, идешь хорошо.— Или в том же роде, но обязательно «Черноух».

Так, за деньги, люди продали доброе имя Бима. Хорошо хоть, Бим не знал этого, как не знал и того, что за те бумажки иные люди могут продать честь, верность и сердце. Благо собаке, не знающей этого!

Но Бим теперь обязан забыть свое имя. Что ж поделаешь — тому, значит, быть. Только не забудет он своего друга, Ивана Иваныча. Хотя жизнь пошла иная, нисколько не похожая на все, что было в прошлом, но его забыть он не мог.

Глава одиннадцатая

●

ЧЕРНОУХ В ДЕРЕВНЕ

●

Деревня, куда привезли Бима, прямо-таки удивила его. Здесь тоже жили люди, но все было не так, как там, где он родился и вырос. Домики маленькие — прямо на земле, без никаких лестничных площадок, без многочисленных порогов, двери не щелкают замками. Ночью, правда, двери запирают на засов изнутри. Все домики покрыты ребристыми серовато-белыми листами. Утром, в одно и то же время, из каждого домика идет вверх дым, но, однако же, они не едут и не улетают никуда, а стоят себе ровненько рядами и дымят тихо и мирно, без скрежета.

Но самым поразительным для Бима (теперь Черноуха) оказалось то, что вместе с людьми здесь живут разные животные и птицы: коровы, куры, гуси, овцы, свиньи, знакомство с которыми состоялось не сразу. У животных, позади каждого людского домика, свои домики, покрытые иной раз соломой, а иной раз камышом и огороженные невысокой просвечивающей стеной из перекру-

ченных палок и хворостин. И никто никого не трогает — ни люди животных и птиц, ни животные людей, и никто ни в кого не стреляет из ружья.

В первый день Биму постелили сена в углу сеней. Человек привязал его за веревку, хорошо накормил и куда-то ушел, надев плащ. Остаток дня Бим провел в одиночестве, при полной тишине и безмолвии. Перед вечером он услышал, как зашуршали копытцами по земле овцы, как они вошли во двор, как промычала корова внутри сарая (чего-то просила). А вскоре пришел и человек тот, но теперь с мальчиком в плаще, в сапогах, на голове шапка, в руках длинная палка. Лицо у него было такое же коричневое, как у доброго человека, а пахло от мальчика овцами.

— Ну, Алеша, смотри нового товарища,— сказал взрослый мальчику.

Они подошли к Биму вплотную.

— Папаня, а не укусит?

— Нет, Алеша, такие не кусаются... Ух ты, Черноух... Черноух — хорошая собака.— И легонько похлопывал его по боку.

Бим лежал и настороженно рассматривал мальчика. Тот тоже погладил:

— Черноух... Черноу-ух...— И обратился к взрослому: — Папаня, а если отвязать — не убежит?

— Подождем пока.— Он ушел в дверь, внутрь дома.

Бим встал, присел, подал мальчику лапу, чем и сказал: «Здравствуй. Ты — хороший».

— Папаня! — крикнул мальчик.— Папаня, иди-ка!

Тот вернулся.

— Здравствуй, Черноух! — протянул ладонь мальчик.

Бим еще раз поздоровался. Оба человека явно одобряли его вежливость. Эти первые минуты знакомства были важными для Бима: он узнал, что того, кто привел его сюда, зовут Папаня, а мальчика — Алеша. Даже обыкновенные, ничем не примечательные дворняги скоро узнают имена людей, а Бим... Да что там говорить! Мы уже знаем, что это за собака.

Потом, уже в сумерках, пришла и женщина. Эта была одета странно: голова укутана двумя платками, ватник на ней натянут барабаном, штаны такие же, как у той доброй женщины на железной дороге, что забивала костыли. Но от этой пахло землей и свеклой (сладкий такой

корень, каким и Бим, бывало, не брезговал). Она вошла в дом, о чем-то там говорила с мужчинами, сразу же протопала через сени во двор с ведром в руках. Теперь Бим установил, не сходя с места: одна дверь из сеней — на улицу, другая — к животным, третья — в дом. Но до них не дотянуться — не пускает веревка. Вот пока и все, что узнал Бим.

Он снова лег.

Пахнет овцами, сильно пахнет, со двора. Что такое овцы — Бим знал давно. Они живут, как думалось раньше, стадом и ходят по полю и ничего не делают, только едят и кричат. А около них, бывало, всегда человек в брезентовом плаще, с длинной палкой с крючком на конце; один такой как-то подходил к Биму и Ивану Иванычу, когда они отдыхали у стога сена, жал руку хозяину; и еще с ним был большой лохматый пес. Бима он встретил воинственно. Сначала бежал на него с разлету и лаял жутко, но Бим тогда лег на спину, подняв лапы вверх, и сказал: «В чем дело? Разве я в чем-то виноват?»

Корректность, конечно, победила грубость, а Лохматый пес, обнюхав Бима, полизал живот, отошел немного и расписался на камне. Бим сделал то же самое. В общем, это означало: миру — мир. А пока хозяин Бима разговаривал с хозяином Лохматого, они поиграли в догонялки и пятнашки, при этом Бим оказался и быстрее, и увертливее настолько, что заслужил нескрываемое уважение нового знакомого. Когда они расставались (надо же было идти за хозяевами!), то понюхали камень и переглянулись так:

«Ты приходи когда-нибудь сюда»,— сказал Бим и попрыгал дальше.

«Эх, работа...» — сказал Лохматый и поплелся к стаду, опустив голову.

Так было. Вот и теперь пахнет овцами. Бим не мог не вспомнить Ивана Иваныча при этом тревожащем память запахе: в чужих сенях, в чужом доме, в полутемноте сумерек, без людей, ему стало тоскливо-тоскливо.

Потом он услышал, как о железо ритмично жужжали какие-то струйки: жжих-жжих! жжих-жжих! Бим не знал, что это такое — жжих-жжих! жжих-жжих! Незнакомые звуки замолкли, и тотчас со двора, с тем же ведром, вошла женщина. А из ведра пахло молоком. Знаменито пахло! В городе такого запаха от молока Бим не

чуял ни разу, а это — другое, но все же молоко — это точно. В городе молоко не пахнет человеческими руками, разными приятными травами и совсем не пахнет коровой — вот что удивительно. А здесь все это вместе смешалось в восхитительный аромат, поражающий своей обаятельной, какой-то розовой пахучестью. Не будем спорить: уж если человек иногда отличает молоко от «молока», то как же не заметить того нашему Биму, обладающему сверхдальним чутьем, как не поразиться запаху, в котором человеческие руки перемешаны с цветами и травами. Потому-то он и вскочил быстро да и повилял хвостом женщине. Но вряд ли она могла понять восторг Бима.

За долгие четыре года своей жизни он, к сожалению, так ни разу и не видел, как доят коров. А молоко пахнет все-таки коровой. Какая-то неясность так и оставалась у Бима: он кое-чего не знал. Впрочем, мало ли чего не знает любая собака? В этом ничего зазорного нет. А если какой пес и скажет, допустим, что он все знает, и уверен в том, что может поучать, как и что делать и куда бежать, то даже курица ему не поверит; мало ли что он сильнее курицы — не поверит. А такие собаки бывают, скажу я вам. Например, скоч-терьер, возьмите вы его: он делает вид, что его голова-кирпич набита разными идеями (борода! длинные усы и брови! философ!), а на деле — бестолковый, командует, ругается на хозяина день при дне, как нервнобольной, финтит беспрестанно. А толку? Да никакого! Одна внешность. А внутри пух либо вовсе пустота.

Нет, Бим — другое дело: он искренен и прям сердцем. Если чего не знает, то такой и вид подаст: чего не знаю, того не знаю. Если кого не любит, так и скажет: «Ты — нехороший человек. Иди отсюда! Гав!» И взлает иной раз так, что — дай бог!

Женщину же, которая добывает где-то такое божественное молоко, он не мог не уважать. Потому-то он все смотрел и смотрел на ту дверь, в какую она ушла с ведром.

Но кто-то подошел с улицы и решительно распахнул дверь.

«Кто? — однозначно спросил Бим.— Гав!»

Вошедший шарахнулся из сеней обратно. Из дома выскочил Папаня, включил в сенях свет и спросил:

— Кто тут?

— Я, бригадир,— ответил незнакомец.

Затем он вошел в сени, они пожали друг другу руки (значит, друзья — лаять не положено) и подошли к Биму.

Папаня присел на корточки, гладил Бима и говорил:

— А ты молодец, Черноух. Молодец — службу знаешь. Хороший пес.— Отвязал его и впустил в комнату.

Самое важное: в комнате была хромая курица. Бим прицелился на нее, сделал стойку, приподняв переднюю лапу, но как-то неуверенно, а это означало, что он говорит присутствующим: «Что за птица? Что-то не приходилось...»

— Смотри, бригадир! — воскликнул Папаня.— Да он же золотой пес, Черноух,— на все руки!

Но поскольку курица — ноль внимания на Бима, то он сел, все же искоса посматривая на нее, что на собачьем языке означало короткие и много вмещающие слова: «Надо же... Туда же!.. Ты еще мне!» И обратился взором к присутствующим.

— И кур не тронет! — восторгался Алеша.

Бим внимательно наблюдал за ним, глядя в лицо.

— А глаза! Маманя, а глаза! Как человечьи,— радовался Алеша.— Черноух, иди к о м н е... к о м н е!

Разве Бим не отзывался на искреннюю радость! Он подошел к Алеше и сел около него.

За столом пошла беседа. Папаня распечатал бутылку, Маманя подала еду. Бригадир выпил из стакана все. Папаня — тоже. Маманя — тоже. Алеша почему-то не выпил, а ел ветчину и хлеб. Он бросил кусочек хлеба на середину пола, но Бим не сдвинулся с места (надо же было сказать «Возьми!»).

— Интеллигент, должно быть,— заметил раскрасневшийся бригадир,— хлеб не кушает.

Курица прихромала и утащила тот кусочек, предназначенный Биму. Все смеялись, а Бим внимательно-внимательно смотрел на Алешу: не до смеха, если нет взаимопонимания даже и в атмосфере дружбы.

— Подожди-ка, Алеша,— сказал Папаня. Он положил кусочек хлебца на пол, отогнал курицу и обратился непосредственно к Биму: — Возьми, Черноух. Возьми!

Бим с удовольствием проглотил вкусный кусочек хлеба, хотя и был сыт.

Бригадир тоже положил так же кусочек ветчины.

— Нельзя! — предупредил он.

Бим сидел. Курица бочком-бочком подхрамывала к ветчине, но, только-только хотела схватить, Бим фыркнул на нее, чуть не толкнув носом. Та закостыляла под кровать. Одним словом, комедия, да и только.

— Черноух, возьми! — разрешил бригадир.

Бим вежливо скушал и этот кусочек.

— Все! — кричал Папаня. Он говорил громко, а покраснев, стал еще добрее.— Черноух — чудо преестественное! — И даже обнял его.

«Хорошие люди»,— подумал Бим. Еще ему понравились усы у Папани, мягкие, шерстяные, что он ощутил, когда тот обнимал.

А дальше пошел такой разговор, из которого Бим понял только одно слово — «овцы», но зато точнехонько определил, что двое мужчин вначале стали спорить.

— Ну, Хрисан Андреевич, давай о деле.— Бригадир положил руку на плечо Папани.— Овцы хотят есть иль не хотят?

— Хотят,— ответил Папаня.— Только мой срок кончился, мне — до покрова, а покров прошел.

— Овцы частные, личные, а не колхозные, и они тоже желают кормиться. Мне уж колхозники уши прозудели: снега нету, корм под ногами есть, овца должна до снегу на подножном. И правильно говорят.

— «Овца — до снегу»... А я железный? А Алешка тебе — железный?

— До снегу, Хрисан Андреевич,— твердил бригадир.— Плату положим двойную. Понял?

— Не буду,— твердил Папаня.— Баба моя на свекле закисла — надо помогать, а ты — «до снегу».

Но все-таки они похлопали по рукам друг друга вполне согласно и кончили твердить «овцы до снегу». Затем бригадира проводили на крыльцо все втроем, забыв про Бима.

Что ж, он тоже вышел на крыльцо, обежал вокруг двора, постоял за плетнем, постоял, втянул запахи овец, с какими связано одно из воспоминаний о любимом и единственном человеке, и присел в нерешительности.

Ночь. Осенняя темная ночь в деревне, тихая, притаившаяся от зимы, хотя и готовая ее встретить. Все в этой ночи неизвестно Биму. Собаки вообще не любят путешествовать ночами (разве что бродячие, избегающие людей, потерявшие веру в человека), а Бим... Что и говорить!

Бим сомневался пока. Да и Алеша — такой хороший маленький человек.

Сомнения прервал голос Алеши. Он тревожно, во весь голос закричал:

— Черноу-ух!

Бим подбежал и вошел за ним в сени. Алеша уложил его на место, подоткнул сено с боков, поласкал и ушел спать.

Все затихло. Не слышно ни трамвая, ни троллейбуса, ни гудков — ничего привычного.

Новая жизнь началась.

Сегодня Бим узнал, что Папаня — еще и Хрисан Андреевич, еще он же — Отец, а Маманя — еще и Петровна, Алеша же — так Алеша и есть. Кроме того, курицу он не презирал, но и не уважал: птица, по собачьему разумению, должна обязательно летать, а эта только ходит, потому и недостойна уважения, как бескрылая и дефективная к тому же. Но вот овцы: они напоминают об Иване Иваныче; от Алеши пахнет овцами тоже... От Петровны — землей и свеклой... А такие запахи земли всегда волновали Бима. Может быть, и Иван Иваныч сюда придет...

Бим уснул, пригревшись в духовитом сене. В таком сене, дух которого вызывает невольную улыбку, даже человек засыпает немедленно, и от запаха свежего сена у него возникает в очах голубой цвет перед сном. Бим же был далеко чутьистее человека, поэтому каждый тончайший оттенок этого аромата успокаивал, ублажал его тоску.

Разбудил Бима крик петуха. Когда-то он его слышал не раз, но не так близко, а этот — прямо за стеной, громко, протяжно, гордо: «Ку-ка-ре-ку-у-у!» Ему откликнулись все петухи на селе. (Несколько позже Бим узнает, что этот петух — запевала и что такие петухи бывают сердитые.) Бим сидел и слушал удивительную музыку; дальше она перекатывалась волнами по селу — то ближе, то дальше, в зависимости от того, кому подходила очередь, что ли, а последним, в одиночку, прокричал какой-то немощный кукарешник, сипло, коротко и неподобно петуху, заслуживающему уважения. Потом, со временем, Бим разберется, что именно такие петухи — трусы, убегают даже от чужого петуха, врывающегося во дворовые владения, хотя по всем правилам куриного общежития этот трус обязан защищать покой подведомственных ему кур.

А он убегает, идол. Зато именно такой петух безжалостен к чужим цыплятам — клюет, падаль такая, между тем как любой петух, если он не лишен чувства собственного достоинства, никогда не клюнет цыпленка, забредшего невесть откуда. Такой вот и пропел последним, и только тогда, когда убедился, видимо, что не ошибся во времени. Люди назвали бы такого петушишку конъюнктурщиком, но Биму было просто-напросто смешно. Кстати, Бим вовсе не представлял, ввиду отсутствия опыта, что по таким задохлым полупетухам никто никогда не отсчитывает время.

Бим прилег и задремал. Вдруг снова прокатилось по селу из конца в конец песнопение. И Бим снова сел и снова слушал с большим удовольствием. Потом — в третий раз, еще сильнее, голосистее и, право же, возвышеннее. Ах, здорово поют! Вот уж здорово! А что они вытворяли где-то вдали, представить невозможно! Бим пока не знал, что это раздеклешивали хором на колхозной птицеферме, по неписаным нотам, белые как кипень, самоуверенные петухи-красавцы, а в тот раз,— не будь он запертым в сенях,— он обязательно сбегал бы посмотреть и послушать поближе такое чудо. Но сени были его клеткой.

В щель двери мало-помалу расслабленно вползал серенький осенний рассвет. Бим встал, обследовал сени: стоит кадушка с зерном, в одном углу — закромок с початками кукурузы, в другом — кочаны капусты. Вот и все.

Вышла с ведром Петровна. Бим ее приветствовал. Она — во двор, и Бим — во двор, следом. Она села под корову, Бим — неподалеку. Струйки зазвенели о ведро, а Бим засеменил передними лапами от удивления: молоко! Корова стояла смирно и жевала про себя, без ничего — будто шептала и булькала симпатичная живая цистерна с открытыми краниками.

Петровна окончила дойку, позвала Бима («Черноух»), налила ему в миску молока, сказала: «Нельзя», чуть постояла, сказала: «Возьми», засмеялась добрым смехом и заторопилась в дом.

Ах, боже мой, какое же это было молоко! Тепленькое, духовитое, тут тебе и травами отдает, и цветами, полем — всем вместе, а еще (теперь уж точно!), еще — руками самой Петровны, а не просто человеческими руками вообще, как показалось Биму вчера на расстоянии. Бим вылакал все, вылизал, сделал утренний туалет и быстренько обсле-

довал двор. Корова приняла его с полным доверием, даже лизнула в голову, за что Бим притронулся языком к ее шершавому, молочно-пахучему носу; овцы из-за перегородки потопали на него копытцами, вроде бы угрожая, но тут же и успокоились, поскольку уточнили, что Бим не имеет никаких агрессивных намерений; свинья и два поросенка в первый раз не удостоили Бима вниманием, а просто перехрюкнулись между собой иронически и даже не пошевелились, хотя и лежали головами к Биму, у решетки. Так приняли его четвероногие. Но вот куры — это да-а! Собственно, не сами куры, а красный петух. Он, как только слетел с насеста, захлопал крыльями и зло заворчал: «Ко-ко-ко-ко-ко!» Да и бросился на Бима коршуном. Красный петух, с красным гребнем ударил грудью и когтями собаку. (Вот какие петухи бывают!) Бим рыкнул на него в ответ и ударил лапой наотмашь. И тут, в ту же секунду, петух, повесив крылья и пригнувшись, побежал в угол двора к курам, собравшимся беспокойной стайкой участливых зрителей; бежал он от Бима в совершеннейшем унижении, а подскочил к ним уже героем. Да еще и закричал: «Вот как я его! Вот как, вот как!» Куры в один голос явно хвалили петуха изо всей куриной силы. И что же вы думаете? Бим пристально посмотрел на петуха даже с уважением. Как ни говори, а Бим еще не видел, чтобы птица напала так смело на собаку. А это все-таки что-то значит.

— Что тут за переполох? — спросил Хрисан Андреевич, выходя из сеней во двор. И курам: — Цытьте, вы! Собаки испугались, оглашенные.— Взял Бима за ошейник, подвел к курам, постоял так с ним и отпустил.

Бим отошел и отвернулся: а ну их! С тех пор петух и куры не подходили к собаке, но и бояться особо не боялись, а так — прококочет иная и — в сторону с пути Бима. А ему что? Ходят куры, не летают, не плавают; опять же, никто в них не стреляет,— значит, не птица, а так себе — смехоподобное существо. Петух — это, конечно, да: и на крышу взлетит, и предупредит о приближении чужого чуть ли не раньше Бима, да и руководит достойно — сам червяка не съест, а скличет подчиненных и, бывает, поделит даже. Так что петух вполне заслуживает своего звания.

Ввиду того, что Бима пока не выпускали со двора еще с неделю, он, как-то само собой, стал тут за главного:

ляжет посреди двора и следит глазами. Кур он уже знал в лицо всех на четвертый день, а когда залетела через плетень чужая курица, он ее так разогнал, так разогнал, что она долго еще тараторила, то убегая куда-то, то возвращаясь и топчась на одном месте, оглядываясь в страхе и любопытстве. Смех, да и только!

Поросенок, например, тот сам предложил знакомство на короткую ногу: подошел к Биму, хрюкнул, чуть-чуть толкнул его влажным пятачком в шею и смотрел глупенькими белобрысыми глазенками. Бим лизнул его в пятак. Тому неимоверно понравилось: он подпрыгнул от удовольствия и стал копаться около Бима, подковыривая под ним землю. Бим снисходительно перешел на другое место, а хрюшка опять к нему: поворчала что-то непонятное (свиньи и собаки не понимают друг друга так же, как иностранцы) да и улеглась, прижавшись к теплой шерстистой спине Бима. Поэтому когда в один из холодных дней Биму стало не по себе (дверь в сени закрыта на день), то никто во дворе не удивился тому, что Бим спал между поросятами на мягкой подстилке, подогреваемый с двух сторон. Против такой дружбы и мама поросят не возражала, даже наоборот, каждый раз, как Бим входил в их жилище, она энергично стонала от прилива дружелюбия, но вовсе не от боли. Кстати, такую особенность свиного языка Бим отметил без труда, хотя дальше этого он в языкознании не продвинулся и потом. Пожалуй, это и не столь важно — знать язык. Собака и свинья — разные по всем статьям, но это не мешает им жить в мире и согласии.

Кормили Бима очень хорошо, а кроме того, и поросята,— уже рословенькие, в полроста от Бима,— не возражали, если он у них иногда снимал пробу из корытца. Каждое утро он получал около литра молока, что здесь не считалось ни во что. Казалось бы, что еще нужно собаке? Но двор есть двор, клетка-лагерь, огороженный плетнем и всегда закрытыми воротами и калиткой. Не для охотничьей собаки это дело — лежать, караулить кур, воспитывать поросят,— нет и нет, да еще с таким выдающимся чутьем, каким, как мы уже давно знаем, обладал наш Бим.

Он уже привык ко двору, к его населению, не удивлялся сытой жизни. Но когда с луга тянул ветер, Бим беспокойно ходил, ходил от плетня к плетню или становился на задние лапы перед плетнем же, будто хотел, хоть немного, приблизиться к высоте, и смотрел вверх, в небо, где лета-

ли голуби — легкие, вольные. Что-то внутри сосало, а он смутно догадывался, что при такой сытости и хорошем обращении не было чего-то самого главного.

...Ах, голуби вы, голуби, ничего-то вы не знаете о сытой собаке в неволе!

Бим почувствовал еще и то, что доверия к нему нет, раз не выпускают. Каждое утро Хрисан Андреевич с Алешей выгоняли своих овец со двора и уходили с ними на весь день, в плащах, с палками. А Бима, как он ни просился, оставляли во дворе.

И вот однажды Бим лежал, уткнувшись носом в плетень, а ветер приносил вести: луг есть, где-то недалеко есть и лес. Свобода рядом! Увидел в щелку — пробежала собака. Тогда-то ему и стало невмоготу. Он копнул лапой землю под плетнем раз, другой, копнул еще и пошел трудиться изо всех сил: передними копал и совал землю под себя, а задними выбрасывал дальше; даже разлапистой можно работать, хоть и не в полную мочь.

Неизвестно, что произошло бы потом, но когда Бим почти уже закончил подкоп, вошли во двор овцы. Они увидели, как земля брызжет из-под плетня, и шарахнулись обратно в калитку, где стоял Алеша, пригнавший их с пастбища. Овцы сбили Алешу с ног и вдарились вдоль улицы как помешанные.

Алеша побежал за ними, а Бим не обращал внимания ни на что: копал и копал.

Но подошел Хрисан Андреевич, взял его за хвост. Бим замер в своей норе, будто неживой.

— Затосковал, Черноух? — спросил Хрисан Андреевич, легонько подергивая за хвост, тем и приглашая Бима обратно.

Бим вылез. Что поделаешь, если тебя тянут за хвост!

— Что с тобой, Черноух?! — удивился Хрисан Андреевич и отстранился, оторопев.— Уж не сбесился ли ты?

Глаза у Бима налились кровью, он нервно подергивался, водя носом из стороны в сторону, часто-часто дышал, будто только-только кончил напряженную охоту. Он беспокойно забегал по двору и наконец стал царапаться в калитку, оглядываясь на Хрисана Андреевича.

Тот, стоя посредине двора, глубоко задумался. Бим подошел к нему, сел и говорил глазами совершенно отчетливо: «Мне надо туда, на простор. Пусти меня, пусти!» Он просяще вытянулся на животе и заскулил так тихо

и жалобно, что Хрисан Андреевич нагнулся и стал его ласкать:

— Эх, Черноух, Черноух... И собака хочет воли. Куда-а там! — Затем зазвал Бима в сени, уложил на сено, привязал на веревку и принес миску с мясом.

Вот и все. Грустно. Сытая жизнь без свободы опротивела Биму.

К мясу он не притронулся.

Глава двенадцатая

●

НА ПРОСТОРЕ ПОЛЕЙ. НЕОБЫЧНАЯ ОХОТА. ПОБЕГ

●

Утром, как и ежедневно, в доме Хрисана Андреевича все повторилось по заведенному порядку: пружина трудового дня начала распускаться с последних, третьих петухов, потом промычала корова. Петровна подоила ее и затопила печь; Алеша вышел поласкать своего, теперь уж любимого Черноуха, Папаня задал корм корове и свиньям, посыпал зерноотходы курам, после чего все сели за стол и позавтракали. Бим в то утро не прикоснулся даже к ароматному молоку, хотя Алеша и просил его, и уговаривал. Потом, пока родители хлопотали по дому, Алеша принес воды и вычистил котух коровы и еще раз просил Бима поесть, совал его нос в миску, но, увы, Черноух неожиданно стал почти совсем чужим. Под конец сборов на работу Хрисан Андреевич наточил огромный нож и засунул его над дверью.

С солнцем Петровна укуталась в свои толстые одежды и платки, взяла сумку и тот огромный нож, что точил Папаня, и ушла. За нею, надев плащи, вышли во двор Алеша с отцом и, слышно, выгнали овец на улицу.

Неужели оставили Бима одного да еще на привязи в полутемных сенях? Бим не выдержал — взвыл горько и безнадежно.

И вот открылась дверь с улицы, вошел Хрисан Андреевич, отвязал Бима и вывел на крыльцо, потом запер дверь снаружи, направился к стайке овец, около которых стоял Алеша, передал ему из рук в руки Бима на веревке, сам зашел впереди овец и крикнул:

— Пошли, пошли-и!

Овцы двинулись за ним вдоль улицы. Из каждого двора к ним присоединялись то пяток, то десяток других, так что в конце села образовалась порядочная отара. Впереди все так же шел Хрисан Андреевич, позади Алеша с собакой.

День выдался морозный, сухой, земля под ногами твердая, почти такая же, как асфальт в городе, но более корявая; даже запорхали густо снежинки, заслонив на короткое время и без того холодное солнце, но тут же и перестали. Это была уж не осень, но еще и не зима, а просто настороженное межвременье, когда вот-вот заявится белая зима, ожидаемая, но всегда приходящая неожиданно.

Овцы бодро постукивали копытцами и блеяли, переговариваясь на своем овечьем протяжном языке, понять который, ну, право же, совершенно невозможно. Присматриваясь, Бим заметил: впереди отары, пятка в пятку за Хрисаном Андреевичем, шел баран с кручеными рогами, а позади всех, прямо перед Алешей, хроменькая маленькая овечка. Алеша изредка легонько подталкивал ее крючком палки, чтобы не отставала, и тогда кричал:

— Папаня, осади малость! Хромушка не тянет!

Тот замедлял шаг не оборачиваясь, а вместе с ним сбавляло ход и все стадо.

Бим шел на веревке. Он видел, как важно выступал Папаня перед овцами, как они подчинялись малейшему его движению, как Алеша по-деловому, сосредоточенно, следил за овцами, сзади и с боков. Вот одна из них отделилась и, пощипывая желтоватую травку, потянула в сторону от стада. Алеша побежал с Бимом и крикнул:

— Куда пошла-а?! — и бросил перед нею свою палку.

Овца вернулась. Слева сразу три пожелали проявить самостоятельность и побрели себе к зеленоватому пятну, но Алеша так же побежал и так же поставил их на свое место. Бим очень быстро сообразил, что ни одна овца не должна отлучаться от сообщества, а в очередной пробежке с Алешей он уже гавкнул на ту овцу, что нарушала порядок и дисциплину. «Гав-гав-гав!» — так же беззлобно, как и Алеша, предупредил он нарушительницу, то есть: «Куда пошла-а?!»

— Папаня! Слышишь? — крикнул Алеша.

Хрисан Андреевич обернулся и прокричал одобрительно:

— Молодец, Черноух!

На склоне яра он поднял над головой палку и еще прокричал так же громко:

— Распуска-ай! — А замедлив шаг, двигался теперь поперек хода отары.

Алеша стал делать то же самое, как и отец, но здесь, позади, он шагал торопливо, иногда перебежкой, прижимая овец к Хрисану Андреевичу. И тогда отара мало-помалу расходилась все шире и шире и наконец, не переставая щипать травку, выстроилась в одну линию, не гуще, чем в три-четыре овцы. Теперь Хрисан Андреевич остановился лицом к овцам, окинул взором строй, а рядом с ним пристроился и баран-вожак. Пастух достал из сумки буханку хлеба, отрезал корку и отдал ее почему-то тому барану. Бим не мог знать, что баран-вожак обязательно должен не только не бояться, а любить пастуха, поэтому, по своему неведению, он просто видел подтверждение того, что Папаня — человек добрый, и только. А Папаня, если по совести, был еще и человек хитрый — баран ходил за ним иногда собакой и всегда отзывался на голос. Не Биму, конечно, постичь всю премудрость пастуха. А Хрисан Андреевич знал отлично, что глупый, отбившийся баран небольшой отары, да еще если без собаки, уведет стадо невесть куда — только проморгай, засни от усталости и от размора солнцепеком. Нет, тут баран-вожак был особый, дрессированный баран, потому и Бима он принял с дорогой душой.

Хрисан Андреевич закурил трубочку и сказал Алеше:

— Ты не нажимай, не нажимай — тут кормок хороший.

...А что ты думаешь, дорогой мой читатель? Накормить овцу поздней осенью — дело действительно премудрохитрое: не умеючи если, то через неделю полстада подохнет и на хорошем корму — затопчут его, и вся недолга; а с толком если, то и на посредственном выпасе овца будет сытая и жирная. Ухитряется же Хрисан Андреевич накормить стадо по пустырям да по окрайкам, да перед носом у тракторов, когда они пашут зябь, а для этого требуется определенный талант и призвание и любовь к животным. Огромный труд — пасти овец, а в общем-то и красивый труд, потому что человек-пастух, иногда даже и не заду-

мываясь над тем, чувствует себя неотъемлемой частицей природы и ее хозяином и добродеем. Вот в чем соль. Читатель простит, что я на время забыл о нашем Биме и заговорил о человеке на просторе поздней осенью.

Итак, овцы с дружным перетреском щипали короткую травку и хрумтели так согласно, что все это сливалось в один сплошной звук, спокойный, ровный, умиротворяющий. Теперь Папаня и Алеша были близко друг от друга и говорили уже тихо, не крича, как раньше издали.

Алеша спросил:

— Папаня, спустить Черноуха?

— Давай пробовать. Не должон бы убечь сейчас: от воли не бегут. Спущай. Но сперва отстань, поиграй с ним — не колготи овцу.

Алеша подождал, пока отара отошла подальше, отвязал веревку и весело крикнул:

— Черноух! Побежали! — Тут он кинулся с горы в яр, топоча сапогами и подпрыгивая.

Бим обрадовался неимоверно. Он тоже подпрыгивал, стараясь на бегу лизнуть Алешу в щеку, отбегал в сторону и стрелой возвращался в восхищении полной свободой; потом схватил какую-то палку, помчался к Алеше, сел перед ним. Алеша взял ту палку, бросил в сторону и сказал:

— Подай, Черноух!

Бим принес ее и отдал. Алеша еще раз бросил, но теперь не взял изо рта Бима, а пошел вверх из яра к отаре, приказав:

— Черноух, держи. Неси!

Бим пошел за ним с поноской. Когда поднялись вверх, вместо палки Алеша вложил в рот Бима свою шапку. Бим понес и ее с удовольствием. Алеша же бежал вприпрыжку и повторял:

— Неси, Черноух. Неси, мой молодец. Вот хорошо. Вот хорошо.

Но к отаре они подошли тихо («Не колготи овцу»). Алеша скомандовал:

— Отдай Папане.

Хрисан Андреевич протянул руку. Бим отдал. Новое его качество открылось для пастухов неожиданно. Все трое были в восторге.

А не больше как через неделю Бим сам, своим умом дошел, что у него появилась обязанность: поворачивать

самовольных овец к стаду, следить за ними, когда они распущены в линию, но не возражать, когда, войдя перед вечером в село, они разбредались стайками по домам.

Бим познакомился с двумя собаками, охраняющими огромную колхозную отару, где было три пастуха, и все взрослые, и все тоже в плащах. Хотя отары колхоза и колхозников никогда не сближались и не смешивались, но при коротких осенних остановках на тырлище Алеша бегал к колхозным пастухам, а Бим, вместе с ним, к колхозным собакам. Хорошие собаки: палевые, шерстистые, большие, но смирные, спокойные; они даже и играли с Бимом спокойно и снисходительно, а вокруг стада ходили тихо, пешком, а не так, как Бим — вприпрыг или стелющимся галопом: с чувством собственного достоинства собаки. Нравились они Биму. И овцы тоже хорошие.

Началась вольная трудовая жизнь и для Бима. Хотя они, все втроем, возвращались усталые и оттого притихшие, но это была воля и доверие друг к другу. От такой жизни не бегают и собаки.

Но однажды, как-то вдруг, посыпал снег, закрутил ветер, закружил, заметелил. Хрисан Андреевич, Алеша и Бим сбили овец в круг, постояли немного, да и повели стадо в село среди дня. На овцах был белый снег, на плечах людей снег, на земле снег. Белый снег всюду, только один снег в поле — больше ничего. Заявилась зима, свалилась с неба.

То ли Хрисан Андреевич решил, что такой собаке, как Бим, не положено спать с подсвинками или сидеть на веревке, то ли почему-либо другому, но Бим перешел теперь ночевать в теплейшую будку, сколоченную в углу тех же сеней и набитую мягким сеном. А вечерами он входил в дом как член семьи и оставался там, пока не поужинают.

— Не может того быть, чтобы — зима. Рано, — сказал как-то Хрисан Андреевич Петровне.

Слово «зима» повторяли они в разговоре часто, о чем-то беспокоились; впрочем, Бим знал: зима — это белый холодный снег.

В тот вечер Петровна пришла вся запорошенная снежком, мокрая, с обветренным и опухшим лицом. Бим видел, как она, раздевшись, трясла руками и стонала. Руки у нее были в красноватых трещинах и землистых пятнах, как бы в подушечках, похожих на подушечки

пальцев Бима. Потом она опускала руки в теплую воду, отмывала их, долго-долго втирала мазь и охала. А Хрисан Андреевич смотрел на Петровну и о чем-то вроде бы горевал (чего Бим не мог не заметить по его лицу).

А следующим утром он наточил ножи, и все вчетвером вышли из дому: Петровна, Хрисан Андреевич, Алеша и Бим. Сначала шли ровным белым полем, покрытым мелким снежком — в пол-лапы, не больше, так что идти было легко. Вокруг тихо, но холодно. Потом они оказались на поле, где рядами разбросаны кучи — буртики свеклы, сложенной листами наружу и прикрытой сверху листами же. У каждой кучки сидели женщины, одетые так же, как и Петровна, и что-то делали, молча и сосредоточенно.

Все четверо подошли к одному такому буртику, сели вокруг него, и Бим стал внимательно смотреть, что же тут происходит. Петровна взялась за ботву, вытащила свеклу из кучи, ловко повернула ее корнем к себе и — чик! — ножом: листья отлетели. Еще чик-чик — по головке свеклы: головка чистая. И бросила в сторону, рядом с собой. Хрисан Андреевич повторил за нею все в точности. Алеша — тоже, даже ловчее, чем Папаня. И пошло! Чик-чик! — долой ботва. Чик-чик! — чистая головка. Трах! — свекла в стороне, уже в новой, очищенной, кучке.

Невдалеке, у такого же буртика свеклы, сидела женщина, одна, и делала то же самое. У следующего — тоже, но уже два-три человека вместе. И так на всем поле: свекла шалашиками, укутанные женщины с потрескавшимися ладонями и припухшими от холода лицами. Все работали или в легких брезентовых рукавицах, или голыми руками. Чик-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — человек бросает нож и дует ртом на ладони, трет их друг о друга, и снова: чик-чик! — чистая головка. Как часы! И холодно. Следя за ножами, Бим начал зябнуть, а потому встряхнулся и стал обследовать местность поблизости, не отбиваясь далеко. Согрелся и вернулся обратно к своим, хотя по пути его приглашали и другие женщины (все на селе уже знали, что такое Черноух).

Потом к ним подошла та женщина, что сидела и работала одна-одинешенька — молодая, но тощая. Она на что-то жаловалась, сморкалась на землю, затем села рядом с Петровной и показывала ей руки. Петровна тоже протянула ей свои ладони. Женщина пригорюнилась, закаш-

лялась, прижимая брезентовой рукавицей грудь, и затихла. А звали ее Наталья.

Петровна — чик-чик! Хрисан Андреевич — чик-чик! Алеша — чик-чик! И дуют на руки, и трут щеки. Петровна — чик-чик!.. И вдруг — блюк!.. У той женщины-горемыки из глаз упала на лист капля. Она закрылась рукавом и ушла к себе, к своей свекле.

— Избави, боже, еще и ты не застудись, — сказала Петровна Алеше, подошла, поправила ему теплый платок под шапкой, подоткнула на шее, сняла с себя холщовый кушак и опоясала Алешин меховой кожушок.

Бим тоже тыкался носом в Алешин кожух, помогал Петровне. Но Алеша, как установил Бим, вовсе не так уж и озяб, как казалось; наоборот, он был гораздо теплее Папани и Петровны (Бим-то уж чувствовал это лучше людей).

— Слышь, Алеша, — сказал Хрисан Андреевич, работая ножом за двоих. (Бим навострил уши.) — Поди-ка побегай с Черноухом, погрейтесь маненько.

И вот Бим уже бежит перед мальчиком по свекловичному полю, закаменелому от мороза. Прошли они поле поперек, Алеше стало жарко, и он снял шапку, развязал платок, сунул его за пазуху, шапку надел, приподняв у нее уши.

Рядом с лесной полосой, в густой желтой траве, Бим приостановился, потянул воздух, забегал челноком и неожиданно для Алеши замер в стойке.

Алеша подбежал к нему:

— Что тут, Черноух?

Бим стоял неподвижно и ждал приказа. Алеша сообразил-таки, в чем дело:

— Пужай! Пужай!

Бим ждал магического слова «Вперед». Но Алеша крикнул еще громче:

— Пужай!

Бим пошел на подводку и поднял на крыло стайку куропаток.

Не долго думая, Алеша побежал обратно вместе с Бимом. Бим понял, что снова у них нет взаимопонимания — Алеша не знает слов Ивана Иваныча, но все же бежал рядом. А тот, запыхавшись и раскрасневшись, рассказал родителям, как Черноух нашел куропаток и «спужнул» их.

— Охотницкая собака Черноух, ученая, — одоб-

рил Хрисан Андреевич. — Ружье бы нам, Алешка! И на охоту. А?

Ружье? Охота? Какие знакомые и дорогие слова для Бима! Он знает, что это значит.

Бим завилял хвостом, заласкался к Алеше, к Хрисану Андреевичу, к Петровне, он говорил им на своем языке отчетливо и ясно. Но его никто здесь не понял: никто не пошел за ружьем и никто не пошел на охоту и без ружья. Бим сел за спиной Алеши, прижавшись к кожуху, и задумался, — по крайней мере, такой у него был вид.

Уже в сумерках они вернулись домой, усталые и прозябшие. А через несколько дней и вовсе перестали ходить на свеклу — кончили свою делянку.

Теперь Петровна никуда не уходила и была явно тому рада. Она все дни что-нибудь делала: чистила корову, стирала белье, мыла полы, рубила капусту, сбивала масло, топила печь, варила, шила на машинке, чинила одежду, выносила корове лохань — всего не перечислишь. Бим следил за ее работой.

За Алешей приходила чистая женщина с книжками, журила Петровну (но не сердито, как отметил Бим), обе они повторяли слова: «Алеша», «овцы», «свекла». На следующий день, утром, Алеша ушел с книжками, и так пропадал теперь ежедневно. Хрисан Андреевич отправлялся к сроку куда-то с вилами, а по возвращении от него пахло навозом.

В один из обычных вечеров, когда собрались все и ужинали, вошел человек: высокий, широкий, костистый, крупнолицый, но с маленькими лисьими глазками и в лисьей шапке. Бим приметил, что Хрисан Андреевич глянул на вошедшего без улыбки, а из-за стола не поднялся навстречу, как всегда, и руки не подал.

— Здорово были, — равнодушно сказал гость, не снимая шапки.

— Здравствуй, Клим, — ответил Хрисан Андреевич. — Садись.

Тот сел на лавку, свернул громадную цигарку, рассматривая Бима, и спросил:

— Так это и есть Черноух? — (Бим навострился.) — Пропадет собака без охоты. Иль убегет. Продай: дам двадцать пять.

— Непродажная, — сказал Хрисан Андреевич и теперь вышел из-за стола, закончив ужин.

Бим на расстоянии в три шага легко понял: от гостя пахнет зайцем. Он подошел, обнюхал, вильнул хвостом и глянул в лицо лисьей шапки, что и означало на языке Бима: «Понимаю — охотник».

— Видишь? — спросил Клим. — Чует Черноух, с кем дело имеет. Продай, говорю.

— Не продам, Клим, не продам. Дело прошлое, — даже Алеша не знал сперва, — послал я три рубля в редакцию в областную и дал объявление: «Пристала собака охотницкая, белая, с черным ухом». Получил ответ: «Не объявляйте, пожалуйста. Пусть живет до срока». В чем дело — не знаю, но чую — собака эта важнецкая, беречь надо.

— А ты загубишь. Продай,— настаивал Клим, начиная сердиться.

— Дела не будет, — отрезал Хрисан Андреевич. — Так — бери на охоту, а приводи в тот же день. Пущай Черноух породу соблюдает, как ему по уставу положено.

— Так что непродажная, — вмешался и Алеша.

— Ну, так и так, — недовольно заключил Клим, потрепал Бима по холке и ушел.

После ужина, под фонарь, Хрисан Андреевич заколол валушка и, подвесив за задние ноги на распялке, снял с него шубу, выпотрошил, обмыл тушку и оставил ее в сарае до утра.

Петровна весь вечер то укладывала яйца в корзину, то набивала банки сливочным маслом или заливала топленым. Она потом аккуратно устанавливала их в базарные, из белых хворостинок, корзины.

Вот теперь-то Бим уловил, что от всего этого (барашек без шубы, яйца, масло, корзины) пахнет городским базаром. Ему ли не знать! Весь город от края и до края он изучил в поисках Ивана Иваныча. И Бим заволновался: базар, город, корзины, своя собственная квартира — все связалось в одно: Иван Иваныч там. Ночь он не сомкнул глаз.

Утром, рано-рано, Хрисан Андреевич завернул уже твердую тушку в чистую мешковину, обмотал шпагатом и вскинул на плечо. Петровна надела на коромысло две корзины, подняла и положила его на оба плеча. Как Бим просился с ними! Он ясно же говорил, втолковывал им настойчиво: «Мне надо с вами. Я — туда. Возьмите».

Никто не понял его переживаний. Больше того, Хрисан

Андреевич сказал, поправляя и прилаживая к плечам тушку:

— Придержи-ка, Алеша, Черноуха — как бы не убег за нами.

Алеша взял его за ошейник и придержал на крыльце. А Папаня и Маманя, каждый с тяжелой ношей, медленно пошли к шоссе, к автобусной остановке. Бим провожал их взглядом, не обращая внимания на ласку и уговоры Алеши, провожал, пока они не скрылись из виду.

Вскоре пришел Клим с ружьем и рюкзаком. Охотничьей сумки и патронташа на нем нет (недостаток экипировки Бим отметил немедленно). Но все-таки — ружье! — вот в чем смысл. Бим доверчиво потянулся к охотнику и тут же установил, что патроны насыпаны в карман. Тоже непорядок большой. Главное же — ружье. За человеком с ружьем он пойдет куда угодно. Надолго или нет, а пойдет. Такая уж натура у легавых собак, и Бим не был исключением: у него на какой-то срок затихла тоска, возникшая в последний день, — даже так. В отношении к ружью Бим был обыкновенной охотничьей собакой. Не надо его обвинять в отсутствии логики, истину он постигал только практикой, хотя и был умнейшей собакой из собак. Ему еще много предстоит пережить только от одного того, что он — собака. Не будем обвинять.

— Пошли-ка, Черноух, на охоту, — сказал Клим.

Бим запрыгал перед ним: «На охоту, на охоту!»

Клим же взял его на ременной поводок, а Алеша предупредил:

— Дядя Клим, когда Черноух станет, вытянется, замрет, то тут и куропатки. Ему надо крикнуть так: «Пужай!» А то с места не сойдет.

— Аль правда?

— Ну дык! Знаю же, — степенно ответил Алеша. — Мне вот уроки учить, а то бы показал сам.

— Мы тоже кой-чего понимаем. Не впервой,— заверил Клим.

Итак, после большого перерыва и многих переживаний Бим пошел на охоту. Сначала им ничего и не попадалось, кроме норы вонючего хоря.

— Рой, — сказал Клим.

Бим такого не понимал, отошел в сторону и сел в недоумении.

К середине дня сильно потеплело. Солнечно, тонкий

слой снега раскис, под лапами уже хлюпала грязь, очесы на ногах Бима обмокли и вымазались, он стал поджарым и невзрачным, как и всякая мокрая легавая. Но Бим искал по всем правилам — челноком впереди Клима, поперек и с поверочным заходом. На опушке кустарникового колка Бим стал по куропаткам.

Клим крикнул:

— Пужай!

Бим даже вздрогнул от басового рыка и поднял куропаток рывком, без подводки (ай, какая ошибка!), но выстрела не последовало. Бим обернулся. Охотник засовывал патрон в одностволку, а — никак. Потом стал его вынимать, тоже — никак. Бим сел, не сходя с места подъема куропаток, и, не приближаясь, однако, к охотнику, следил за ним. А Клим стал ругаться так, как ругаются вечером на тротуаре пьяные: качаются и ругаются друг на друга или просто в черную ночь. Этот же и не качался, а ругался.

Хотя Клим в конце концов вынул патрон, вставил другой и закрыл ружье, но был злой и чем-то напоминал Серого.

— Ну, ищи! — приказал он Биму. — Черноух, ищи!

Отвернувшись и выходя против ветра на челнок, Бим сделал вид: «Ну что ж, буду искать».

Но что-то такое апатичное появилось в прихрамывающей побежке, не та уже прыть, что до подъема куропаток. Клим принял это как физическую слабость собаки, не понимая того, что у Бима это самое означает начало сомнений в человеке: вот так, искоса, оглядываться на него, не останавливаясь и не приближаясь, держась на почтительном расстоянии. Он как бы и не искал, а только следил за охотником, но это только казалось. Страсть необоримая, страсть вечная, пока существуют охотничьи собаки, взяла свое. В сущности, Бим шел за ружьем, а вовсе не за Климом.

Неожиданно он поймал запах зайца. По этим зверькам Иван Иваныч не охотился с Бимом, хотя раза два-три Бим и делал по ним стойку. Они ведь, эти зайцы, не держат стойку ничуть: только приостановись, а он — теку. Гонять за ним нельзя — хозяин не разрешал. Летом, правда, они кое-как еще лежат и под стойкой, но Иван Иваныч всегда отзывал Бима; а одного зайчонка величиной с ладонь даже отнял из-под лапы и пустил на волю.

Так что заяц — не птица. Однако Бим настроил нос на струю, идущую от зайца, пошел точно и стал на стойку — мокрый, чуть кособокий на испорченную лапу. Нет, уже не та стойка у калеки. Не та художественная стать.

— Пужа-ай! — заорал Клим.

Заметим, в мягкую погоду, а тем более в раскисшей грязи, заяц лежит крепко, а Бим пока все еще не стронулся с места, будто хотел сказать: неправильно кричишь-то.

— Пужа-ай, черт хромой! — рыкнул Клим.

Поднял зайца Бим и прилег, как и полагается перед выстрелом.

Клим бабахнул, как пушка. Заяц бежал, но все медленнее и медленнее. Потом сел, потом спрятался в борозде и пропал из глаз.

Клим кричал дико.

— Ату, ату его! Ала-ала-ла-ла! Ату! — и бежал по направлению, где спрятался заяц.

Бим, хотя и запрыгал рядом с Климом, знал точно, что все это происходит не по правилам: охотник не должен бежать собакой, Бим и сам найдет, если надо — даже зайца, если приказал бы Иван Иваныч.

Клим остановился, запыхавшись, и неистово орал:

— Ищи, балда! Калека чертова!

Пошел Бим как-то обиженно. И без того запах зайца не так-то уж его интересовал и раньше, а тут — позади топает ногами Балда. Но все же следом, следом Бим дотянул, стал в стойке, дождался противного «Пужай» и размахнулся на подъем зайца. Но тот буквально выполз из борозды и заковылял как больной. Клим выстрелил, а заяц бежал. Еще выстрелил, а заяц тихо-тихо ковылял с приостановками. Бим лежал, как и полагается, несмотря на грязь, ждал приказа.

А Клим рычал:

— Ату, гад! Ату его, балда! — И указывал на зайца.

Бим вновь нашел затаившегося подранка и опять сделал стойку. Третью! И опять Балда промазал. И снова заяц побежал.

Так Клим и не смог понять в своем озлоблении, что Черноух не приучен рвать подранков и душить их, что это ниже достоинства интеллигентного сеттера, что сеттер не терпит таких охотников, как он. Когда в последний раз заяц скрылся из виду (он пошел несколько бодрее — ви-

димо, рана была открытой), Клим снова рассвирепел: он подошел вплотную к Биму и часто повторял слово «мать», зло, с ненавистью: явно проклинал Бима.

Бим отвернулся сидя, собираясь уходить от ружья. И тут Клим с размаху ударил его изо всей силы носком громадного сапога в грудь снизу...

Бим охнул. Как человек охнул.

«О-о-х! — вскрикнул протяжно Бим и упал. — Ой, ой... — говорил теперь Бим человеческим языком. — Ой... За что?!» И смотрел мучительным страдающим взглядом на человека, не понимая и ужасаясь.

Потом он с трудом встал на четыре лапы, покачался чуть-чуть и рухнул вновь, шевеля лапами.

— Что ж я наделал! — схватился за голову Клим. — Теперь придется четвертную отдавать. Пропали деньги! — И затрусил скоро-скоро, будто убегая от взгляда Бима.

В тот день Клим не появился в селе, а где-то прошлялся до ночи. В полночь, крадучись огородами, заполз в свою хату, что на самом краю села.

Что же Бим? Где он?

Он остался один на сырой холодной земле, один-одинешенек на всем белом свете. Внутри что-то оборвалось от удара, и это «что-то» стало теплым, оно захватило дыхание, сперло грудь, оттого он и потерял сознание. Но вот он кашлянул, его стошнило, вздохнул — дышать больно. Еще раз схватил воздух открытым ртом и откашлялся. С усилием приподнял голову: поле качалось так, будто Бим плыл по волнам в половодье. Он натужился, сел: поле качалось, солнце качалось, как подвешенное на веревке.

Сегодня с Бима спросили больше того, что он может; от него потребовали: ты *должен*, *обязан* сделать то, чего *не можешь* сделать против своей собачьей чести и совести. За неисполнение жестоко и свирепо избили. А он, Бим, не позволит душить подранка.

«За что-о-о... За что-о-о... — скулил тихонько Бим. — Где ты, мой добрый друг... Где-е? Где?..» — все тише и тише жаловался Бим, а наконец и замолк.

Со стороны показалось бы, что лежит в открытом слякотном поле мертвая собака. Но это было не так.

Вот он приподнял зад, укрепился на ногах — не упал. Переступил раз — не упал. Постоял. Переступил второй

раз. И заскоблил по пашне, волоча лапы, перечеркивая свой собственный след.

...О великое мужество и долготерпение собачье! Какие силы создали вас такими могучими и неистребимыми, что даже в предсмертный час вы движете тело вперед? Хоть помаленьку, но вперед. Вперед, туда, где, может быть, окажется доверие и доброта к несчастной, одинокой, забытой собаке с чистым сердцем.

И Бим шел. Еле шел, но все-таки шел. На губах выступила кровь, а он шел. Кашлял кровью, а шел. Спотыкался, припадая на колени, и шел. Ложился от бессилия на холодную землю, вставал и вновь продвигался вперед еще.

У ручья жадно напился воды — стало чуть легче. Что-то ему подсказывало: от воды уходить не надо. Он действительно добрался до ближайшей скирды, через силу просунулся под нависшую до земли солому и затих. Так собаки отлеживаются от недуга, скрываясь от взора людей и зверья; этому научила их сама природа. Слава ее законному порядку и разумной целесообразности!

Сколько Бим пролежал в забытьи, он не знал, но, очнувшись, почувствовал острую боль в груди; голова закружилась, и он, ощутив нутром, что сейчас что-то произойдет с ним, выполз из соломы. Полежал на открытом воздухе. Ощутил, что шерсть стала сухой. Сел. Осенняя трава теперь не качалась, скирда не качалась, солнце — тоже, и оно теплое, немножко греет. Бим доплелся до ручья и вновь пил, пил, пил. Отдыхал немного и опять пил уже маленькими глотками. Он заметил недалеко от ручья степную осоку, мелкую и еще зеленую, похожую на пырей (морозы не скоро ее берут). Бим стал есть осоку. Что ему подсказывало об этой невзрачной травке, люди никогда так и не узнают, но он-то знал: обязательно надо есть именно ее. И ел. Потом попалась уже присохшая запоздалая ромашка, а на ней прижатые осенью полусухие цветы. Он ел и ромашку. Еще вернулся к ручью, напился и пошел к деревне. Шел вперед и вперед.

Так-таки и добрел, когда уже смеркалось. Нет, Бим не пошел в деревню. Как же! Туда побежал Клим... Нет, за ним он не пойдет. Клим может взять снова за ошейник, и тогда... Нет, такого не будет.

Бим устроился в остатках копны, отлежался немного. Почуял рядом стебель лопуха, попробовал его — сухой,

отгрыз его вровень с землей и стал щипать корень, вгрызаясь в глубину. Это он тоже знал, что уж лопух-то надо есть обязательно.

Велики и многогранны лечебные познания собаки. Отпустите собаку в начале бешенства в лес: через две-три недели она придет истощенная до полного бессилия, но здоровая. Заболела собака желудком — ведите в лес или в степь и поживите с ней пару-тройку дней: она вылечит себя травами. Именно у собаки и надо учиться, как ее лечить. Природа закрепила настолько богатые «знания» у собаки, что чуду этому люди никогда не перестанут удивляться.

...Ночь прошла. Большая, осенняя, ноющая внутри ночь.

Прокричали первые петухи. Бим не стал дожидать вторых и третьих, последних, рассветных. Он поднялся, но никак не мог сдвинуться с места от боли в груди. Но все же с усилием размялся, дважды ложась и вставая вновь, да и побрел тихонько.

Он притащился к Хрисану Андреевичу, взобрался через два порожка на крыльцо и прилег. В доме было безмолвно.

Кто знает, может быть, он не ушел бы отсюда сегодня, но рядом, совсем рядом, прошел Клим, тихо, крадучись вором. Бим задрожал. Бим готов был защищаться до последнего издыхания. В Биме проснулась гордость обреченного, когда тому больше нечего терять. Но Клим перегнул через балясину и сказал полушепотом:

— Пришел, Черноух. — И торопливо, трусливо потопал обратно, будто повеселел.

У Бима не было сил, чтобы догнать и мстить за коварный жестокий удар сапогом, лаять он не мог, потому что кроме хрипа из этой попытки ничего не получилось в искалеченной груди. Но Бим не желал и того, чтобы Клим вдруг пришел и пытался взять его. И вот он встал, тихо обошел двор, принюхался к подсвинкам, к корове, овцам, чуть посидел и пошел из села вон. А как хотелось прилечь у друзей-поросят!

...Пропели третьи петухи. Светало.

По направлению к шоссе шла собака. Голова опущена, хвост висел безжизненным, как у бешеной. Со стороны она и могла бы показаться бешеной, в последней стадии болезни: вот-вот рухнет, наткнувшись на первый попав-

шийся предмет, и умрет тут же. Это был наш Бим, наш добрый и верный Бим. Он шел искать своего хозяина, Ивана Иваныча. Шел точно старым путем, по которому его вели сюда.

От деревни до остановки автобуса было километров пять-шесть, но где-то на полпути Бима снова оставили силы, он едва дотянул до стога сена. Кто-то, воруя ночами, продергал в стоге дыру — туда Бим и забрался. Лежал там долго, почти весь день, а перед заходом солнца вышел из своего ухорона. Хотелось пить, но воды не было. Боль сверлила грудь, хотя дышать стало легче, а голова не закружилась, когда он тронулся в путь. Теперь ему попалась кулижка бессмертника, он съел и эти цветочки — желтенькие, сухие, не изменяющие цвета от начала цветения до созревания и дальше, на всю зиму, до весны. Общипал и кустик ромашки, но у этой головки оказались созревшими, во рту рассыпались и першили в горле, отчего еще сильнее захотелось пить. Когда он переходил одну из полевых дорог, попалась лужица от растаявшего снега в колее. Так дорога сберегла для Бима водички. Он напился и пошел помаленьку дальше.

Затемно он прибыл наконец на шоссе. Посидел малость, проводил глазами несколько автомобилей с ослепительным светом и уже знал: надо идти туда. Но — не ночью же! А вдруг — Клим? Или — Серый дядька? Или — волк?

Бим решил не отходить от автомобильной дороги и спрятаться на ночь неподалеку, где-нибудь рядом. Он дотащился до автобусной остановки, где был маленький домик без одной стены, но с широкими лавками внутри; там забился в угол, под лавку, и стал ждать.

За ночь он не сомкнул глаз, несмотря на неимоверную слабость. То один, то другой проскакивали мимо автомобили — дорога жила и ночью. Автобус замедлял ход перед остановкой, где лежал Бим, но из-за отсутствия пассажиров уезжал дальше.

Ночь была хотя и настороженная, и больная, но теплая, слава богу, — осень еще раз прогнала зиму.

Что же произошло в деревне за эти сутки в отсутствие Бима?

Хрисан Андреевич с Петровной вернулись с базара

уже в сумерки. Алеши не было — дом на замке. Они вошли, пересчитали деньги, вырученные в городе, спрятали их пока в сундучок, чтобы завтра отнести в сберкассу. Тут и заявился Алеша.

— Куда ты запропал? — спросил отец.

— Ходил до Клима.

— Аль он не привел Черноуха?

— Еще не пришел с охоты.

— Придет. Приведет — никуда не денется, — успокоила Петровна, примеряя Алеше новенький свитерок.

— Так-то оно так, — неуверенно сказал Хрисан Андреевич,— да только Клим-то, вишь, ворюга... Хоть бы брал-то одно колхозное — оно там ничье, а то ведь у колхозников тащит. О, с этим свяжись — рад не будешь. Любой-каждый его боится. Пущай уж берет Черноуха на охоту, леший с ним, с Климом.

— Как так — «ничье»? — спросил Алеша. — Наше же?

— Оно, конечно, так... Оговорка... Это ты правильно — наше... Но, как бы тебе потолковее сказать? Там — наше, а тут — свое. Ну, скажем так: школа, к примеру, наша и дети все наши, а ты — мой. Или так: поля — наши, а усадьба — своя... Стало быть, и скотина: есть — наша, а есть — своя. Понял?

— Ну дык! Как не понять... А ты — «ничье».

— Это ты правильно: совсем ничье — не может того быть.

Отец всегда разговаривал с Алешей как со взрослым. Алеша отвечал тем же:

— Стало быть, и Клим: брал бы из нашего, а не из моего.

— Фактически так, — заключил отец. — Мы же с тобой берем... сенца там иль свеколки для коровы? Берем. Потаенно от председателя, а берем чуть. Да и он, председатель, знает, и бригадир знает, все знают. И от этого никуда не денешься: из нашего берем. И берем по совести, из прошлогодних стогов иль добираем остатки свеклы. А как же? Скотину кормить-поить надо.

— Фактически так, — подтвердил тринадцатилетний мужичок, который уже может и пасти стадо, и ухаживать за «своей» скотиной, и пахтать масло, помогая матери, если свободен, конечно, и чистить по морозу «нашу» свеклу, и копать «свою» картошку.

А Хрисан Андреевич разъяснял дальше:

— Как положено по уставу, так и действуем все: там — наше, а тут — мое. Я вот отнес барашка в город. А как же? Кормить-поить народ надо — мы к тому приставлены. И мать отнесла яйца. И масло. Все по уставу, все планово. Жизня, Алешка, наладилась хорошо, обуты, одеты не хуже учителя аль председателя, телевизор есть и все такое, деньжонки есть по потребности. А что работаем много, так, окромя крепости, от этого ничего не бывает. Только вот водку не надо пить, — наставлял Хрисан Андреевич.

— А сам пьешь, — резонно заметил Алеша. — Раз не надо — и не надо. Проку-то!

— Это ты правильно, — согласился отец. — Разве что бригадира уважить, так это ж не нами заведено... А Клим — что? Клим — ворюга. Как это так: пойти к соседу и украсть курицу? Это же надо потерять всякую совесть. Куда-а там! Пропал человек.

В ожидании Черноуха Алеша и Хрисан Андреевич проговорили так до одиннадцати вечера. Потом ходили вокруг двора, заглядывали к поросятам, под крыльцо (может быть, убежал от Клима да и спрятался). Наконец Хрисан Андреевич пошел сам. Наталья, жена Клима, тихая и забитая мужем, та самая, что уронила слезу на свекольный лист, сказала горестно:

— Не пришел еще, бродяга. Заночевал где-нибудь, идолище. Либо запил, окаянный. Ох, горе мое! Считай, теперь завтра придет, шатун. А собаку он никуда не денет, знаю его. Приведет.

Хрисан Андреевич вернулся домой, рассказал, что слышал, и они с Алешей улеглись на покой, разговаривая шепотом, чтобы не будить мать. Они не слышали, как приходил Черноух на крыльцо, как подкрадывался и убежал Клим, как ушел их добрый новый друг от злого человека.

Утром отец разбудил Алешу:

— Вставай. На крыльце свежие следы: пришел Черноух.

Вдвоем они стали искать, звать, свистеть, но Черноух уже не мог их услышать. Хрисан Андреевич почти бегом затрусил до Клима, разбудил его.

— Привел же, привел, — басил тот хрипло и недовольно. — За полночь привел, не хотел тебя будить... Хочешь, следы свои покажу. А ты вот меня разбудил,

растревожил. Как думаешь: по-человечески ты поступаешь или как? Да и кобель твой негодный для охоты. Сдался он мне — не буду его брать никогда.

Хрисан Андреевич не спорил: с этим только свяжись.

Они обошли с Алешей все село, огороды, были на колхозном дворе (не у собак ли Черноух в гостях). Нет, никто нигде не видел Черноуха. Пропал Черноух.

— Стало быть, Клим его побил, — догадался Хрисан Андреевич. — Убег Черноух.

А у Алеши щемило сердце от жалости и горя. Он стал рассматривать пол на крыльце: следы уже высохли, но место, где лежал Черноух, осталось заметным. Алеша наклонился и неожиданно кинулся в дом с криком:

— Папаня! Кровь!

Тот выбежал, присмотрелся: там, где лежала голова Черноуха, остались высохшие пятнышки от слюны, перемешанной с кровью.

— Зверь! — сказал Хрисан Андреевич. Подумал и предупредил Алешу: — Смотри не связывайся с этим человеком — беды наживешь. Вот что: пойдем-ка по пути Черноуха — кроме ему некуда.

Они добрались до автобусной остановки, по дороге зовя и выискивая Черноуха, долго там поджидали, да и ушли домой. Думалось, если шел сюда, то теперь он уже далеко-далеко. В этот день они проходили неподалеку от того стога, где отлеживался Бим, их Черноух.

Вечером Алеша несколько раз выходил на крыльцо, ждал, звал. А потом вернулся в сени, сел у собачьей будки, набитой сеном, и заплакал, откровенно, по-детски, всхлипывая и размазывая рукавом непослушные слезы.

Хрисан Андреевич услышал. Вышел в сени, включил свет.

— Э, да ты никак — того? — удивился он.

— Того, — ответил Алеша, вздрагивая.

Отец провел шершавой, деревянной ладонью по волосам сына и проговорил:

— Это хорошо, Алеша... Душа в тебе есть, мальчик...

Вышла и Петровна.

— Жалко Черноуха? — спросила она.

— Жалко, маманя!.. Жалко...

— Горе-то какое, отец, — всхлипнула она. — Что же теперь поделаешь, Алешенька... Так тому быть... Жалко...

...А в это самое время Бим уже лежал под лавкой павильончика автобусной остановки.

Лежал и ждал. Ждал он только одного — рассвета.

Глава тринадцатая

●

ЛЕСНАЯ БОЛЬНИЦА. ПАПА С МАМОЙ. ГРОЗА В ЛЕСУ

●

Как только забрезжил рассвет, Бим попробовал встать, но это было нелегко, почти невозможно. Главное, трудно разогнуться из калачика: что-то застыло теперь внутри и будто склеило там. Кое-как, не по-собачьи, он сначала вытянул одну заднюю ногу, как курица из-под крыла, потом — вторую, уперся ими о стенку и выполз из-под лавки. Чуть полежал и пополз из павильона. Сел. Отекшие ноги стали отходить. Превозмогая боль и утишая ее слабым поскуливанием, про себя, он пошел — сначала с трудом, чиркая лапами о землю, потом все прочнее и прочнее.

Попробовал малость впритруску — так боль в груди меньше. И вот он легонько-легонько потрусил и потрусил вперед. Со стороны, конечно, показалось бы, что собака и не бежит и не идет, а сучит ногами, почти не сотрясая тела. Так Биму легче. Он почувствовал, что ему и вообще стало легче от трав и движения. И он семенил и семенил по бровке шоссе.

Шел по левой стороне дороги, против встречных автомобилей. Он, безусловно, не знал «Правил уличного движения по дорогам СССР» и никакой логики и целесообразности, как могло показаться встречным шоферам, в его законном движении не было — просто инстинкт подсказывал: этой стороной меня везли сюда, этой же стороной пойду и обратно. Люди, мелькающие в окошках автомобилей, обязательно думали: «Умная собака какая — соблюдает правила движения. Но больная». На самом же деле тут никакого разума особого не требовалось, чтобы подтвердить, что соответствующая статья правил удовлетворяет требованиям безопасности.

Долго семенил Бим, — может, три, может, четыре часа (с остановками и отлежками — больше, конечно). Скорость его не превышала скорости пешехода, возможно, чуть-чуть даже и больше. И то уже хорошо!

Но вот он, неожиданно для самого себя, узнал ту самую автобусную остановку, где они всегда сходили с Иваном Иванычем перед началом охоты. Узнал!

Около павильона стояли люди в ожидании автобуса. Бим приостановился, не доходя до них, и свернул влево, на ту дорогу, по какой хаживал на охоту. Кто-то засвистел ему вслед, кто-то заулюлюкал, кто-то крикнул: «Бешеная!» Бим не обращал внимания. Он даже пытался прибавить ходу, пробуя перейти в намет, но это ему не удалось, скорость не прибавилась, только стало еще труднее.

Главное — туда. Туда, где, возможно, был недавно или скоро будет Иван Иваныч. Туда, вперед.

Бим трусил к лесу. На опушке он остановился, осмотрелся и пошел в лес. Неподалеку сразу же отыскал знакомую полянку и стал у пенечка как вкопанный. Постоял, проверил носом вокруг, не сходя с места, обошел тот пенечек, принюхиваясь вплотную к земле. И вдруг, как-то решительно, лег у пенька на палую листву: здесь, вот здесь всегда сидел Иван Иваныч перед охотой. Бим вытянул голову и терся, терся ею о желтые листья на том месте, где стояли когда-то ноги его друга, хотя всякие запахи давно выветрились.

А день тот был теплый-теплый!..

Бывает поздней осенью, даже и после зазимка, вернется лето и зацепит уходящую осень огненным хвостиком. И осень растает, разнежится и притихнет, словно ласковая собака, которую гладит женщина. И тогда лес запахнет прощальным ароматом палой листвы, рубиновыми плодами шиповника и янтарем барбариса, терпким и острым, как перец, копытнем, белым грибом, никем не тронутым, уже развалившимся, пропитанным водой, но все еще пахучим, напоминающим о прошлых погодах; и потечет по лесу улыбчивый добрый дух от сосны к березе, от березы к дубу, а тот ответит могучими запахами силы, крепости лесной и вечности. В запахах леса есть что-то вечное и неистребимое, особо ощутимое в теплые, мягкие и ласковые прощальные последние дни уходящей осени; она уже освободилась от нудных дождей, злючих наскоков

зазимья и дотошных, все обволакивающих иголок инея: все ушло, все в прошлом. И будто осень, засыпая, видит сон о лете, а нам показывает свои божественные видения во всем величии одухотворенной красоты и в животворящих ароматах земли. Благо тому, кто сумел впитать в себя все это с детства и пронес через жизнь, не расплескивая ни капли из дарованного природой сосуда спасения души!

В такие дни в лесу сердце становится всепрощающим, но и требовательным к себе. Умиротворенный, ты сливаешься с природой. В эти торжественные минуты сновидений осени так хочется, чтобы не было неправды и зла на земле. И в тишине уходящей осени, овеянной ее нежной дремотой, в дни недолгого забвения предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только честь, только чистая совесть, и обо всем этом — с л о в о. Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми.

Может быть, поэтому я и пишу о судьбе собаки, о ее верности, чести и преданности. О той самой собаке, которая лежала в тот теплый-теплый осенний день в лесу у пенечка. И тосковала.

Итак, в один из счастливых дней природы в лесу лежала несчастная собака Бим. А день был — боже мой! — теплый-теплый!

Но земля-то была холодная. Поэтому Бим свернулся у пенечка, будто в ногах у хозяина, отдохнул маленько, да и пошел потихоньку лесом, что-то выискивая. Захотелось есть. У свежесваленного осокоря он стал грызть сочную его кору, вкусную, любимую пищу лосей. Подозревал ли Бим, что и эта кора — целебная для него?

Впрочем, людям, может быть, и невдомек, что тончайшее чутье собак, возможно, отличает полезные запахи от вредных. Ведь не стал же Бим есть ядовитый копытень, а у корня валерьяны остановился. Почему собаки и кошки любят ее запах? Тоже неизвестно. Но Бим кое-как копнул разок-другой мягкую, пухово-листовую землю, отгрыз корешок и съел. И еще съел. Корень валерьяны почти сверху — достать его не трудно. Съел он столько, сколько надо, никак не больше, покрутился на месте, будто вытаптывая и готовя место для лежки, но место не понра-

вилось (тоже неизвестно почему). Сделал небольшой круг, потом сузил его, напал на старый фронтовой окопчик, забитый доверху листьями, спустился туда и вновь закружился на месте. Уже он обтоптал себе глубокую и мягкую постель, но, видимо, не хотел ложиться, как бы борясь со сном; однако же, как-то рывком, упал в постель и тут же, немедленно, уснул крепким сном.

Валерьяна взяла свое. Купырь называется в Тамбовской области. Но ни в какой области и губернии здоровые собаки не ели и не едят корень купыря, разве что потрется какая мордой о него, а вот больные едят. Бим в этом смысле был не хуже других собак, хотя и интеллигент. Вот он и съел. Так что, очень прошу вас: тише. Тише. В той ямке спит наш добрый Бим.

Уже третьи сутки ничего не ел Бим, кроме трав, и не спал от боли и настороженности, пожалуй, и давно так не спал крепко. В ямке было тепло и тихо. Лес, по-осеннему притихший, оберегал покой больного Бима, лечил его травами и целительным воздухом. Спасибо тебе, лес!

Проснулся Бим уже перед вечером. Вышел наверх. Идти хоть было и трудно, но уже легче, далеко легче, чем утром. Внутри отмякло. Только вот сил все еще не было. Он сходил к родному пенечку, посидел немного и вернулся к своему логовцу. Опять посидел. И опять проверил нюхом, осмотрелся: все было спокойно. И вновь улегся в теплую, уютную глубокую ямку. Наверно, Бим видел хороший сон. Даже обязательно видел, потому что слегка, чуточку, повиливал хвостом.

Так он проспал всю ночь. И не прозяб.

На рассвете его разбудил тихий шорох, он приподнял голову, прислушался: кто-то копается в листве. Вылез Бим, прочитал носом еле заметные в безветрие микроскопические струйки воздуха и установил точно: вальдшнеп!

Непреоборимая страсть охотника напружинила слабое тело и притушила давящую внутри боль. Вальдшнеп был шагах в пяти, не больше. Он разрывал лапками листву, просовывал нос в мягкую землю, абсолютно точно нацеливая его в отверстие хода червя-росовика, вытаскивал того червя и съедал охотно. Крыло птицы волочилось по земле (так остаются подранки от горе-охотников, живут до зимы, а потом либо становятся добычей лисы, либо погибают, если ухитрятся уцелеть до больших морозов).

Бим переставил лапу — вальдшнеп не услышал, увле-

ченный работой. Переставил другую — не слышит, работает. Вальдшнепу тоже нельзя терять времени: с теплом червь подходит к поверхности или даже залегает прямо под плотной листвой. Бим подкрался вот так, из-за дерева, и замер в стойке. Никто не крикнул ему «Вперед!», он сам стронулся, хотел прыгнуть на птицу и прижать ее лапами, но прыжка не получилось: просто упал и схватил вальдшнепа зубами. Подержал, лежа на боку, повернулся на живот и... съел дичину. Всю. Остались одни перья. Даже клюв, совершенно мягкий, как установил Бим, тоже съел начисто.

Как же так получилось, что, дрессированный, натасканный опытной рукой охотника, Бим нарушил честь — съел дичь? То-то вот и оно, я и сам об этом думаю. Получилось так потому, что и собака хочет жить. Другое предположение вряд ли можно придумать.

Силы у него прибавилось, вот в чем суть. Захотелось пить. Бим нашел лужицу, каких в любом гостеприимном лесу сколько угодно, и утолил жажду. На обратном пути нащупал нюхом мышь: съел, в дополнение к первой порции. И стал искать травы. Первым делом сорвал уже полусухие стебельки дикого чеснока, выплюнул их, зато выковырнул его головку. Съел, поморщившись (как-никак чеснок). Брел по лесу и находил, что ему нужно. Бог его знает, откуда стало ему известно, что в чесноке — две или три десятых процента йода? Никто не ответит на этот вопрос. Можно только догадываться, что в тяжкие, почти предсмертные часы, два дня назад, ему как откровение пришел опыт его далеких предков, опыт, запрограммированный еще из прошлых многих веков, еще со времен Моисея. И это было тоже чудо природы!

Лечился Бим еще пять дней. Питался чем бог поможет, но лечился настойчиво. Спал в обжитой ямке, ставшей на время его домом. Однажды даже наткнулся на спящего зайчишку, но отпробовать его не удалось: тот вскочил и дал стрекача. Бим и не пытался гнаться за ним. Не догнать и здоровому сеттеру, а тут — нечего и думать. Он проводил взглядом, облизнулся, да и только. Однако лес не обижал Бима, он кое-как прокормился, — плохо, конечно, но прокормился. Хотя он исхудал, отощал от болезни и недокорма, но травы сделали свое дело — Бим не только остался жив, но нашел возможным продолжать путь, искать человека-друга. И опять это произошло без

особого разума, а только от сердца, от преданности и верности.

При очередной проверке полянки с пенечком Бим прилег, встал, еще прилег и еще встал. Наверно, он решил-таки, что Ивана Иваныча здесь не дождаться. Вернулся к ямке, от нее опять же — к пенечку; там и тут задерживался на минуту и вновь возвращался. Очень сильное нетерпение выражалось в такой пробежке туда-сюда; беспокойство все усиливалось. Наконец он пробежал все-таки мимо пенечка, не остановившись, и легкой трусцой направился к шоссе. Было это в предвечерний час, когда солнце собиралось уходить на покой.

В город Бим пришел поздним вечером. В городе было светло, не так, как в лесу ночью, но именно эта светлота и беспокоила Бима. Такого с ним не было никогда. И он шел осторожно и в то же время торопливо, насколько позволяло здоровье, направляясь, конечно, домой — к хозяину, к Степановне, к Люсе, к Толику: все они, наверно, там. Но неожиданно для самого себя, еще в окраинном новом районе, среди тех домов-близнецов, Бим решил обойти опасный участок, чтобы миновать дом Серого. Дал кружной ход, свернул в боковую улицу и уткнулся в забор. Начал было его обходить и вдруг замер у калитки: след Толика! Мальчик, какого так полюбил Бим, прошел здесь. Вот только-только прошел. Калитка была заперта, но Бим, не задумываясь, подлез под нее пластом и пошел по следу маленького друга. Ну вот же, вот сейчас прошел! Это был крохотный парк-сад, а в середине его стоял небольшой двухэтажный дом. Туда и повел след.

Бим подошел к двери, в какую вошел Толик совсем недавно. Приученный со щенячьего возраста относиться к любой двери с доверием, он поцарапался и в эту. Ответа не было. Биму было невдомек, что такое его поведение у данной двери можно было назвать нахальством наивности. Но он еще раз поцарапался, уже сильнее.

Из-за двери голос женщины:

— Кто тут?

«Я,— ответил Бим.— Гав!»

— Это еще что? Толик! Кто-то к тебе с собакой. Еще чего не хватало!

«Я, я! — сказал Бим. — Гав, гав!»

— Бим! Бим! — закричал Толик и открыл дверь. — Бим, милый Бим, Бимка! — И обнял его.

Бим лизал руки мальчика, курточку, тапки и непрерывно смотрел ему в глаза. Сколько было надежды, веры и любви во взоре собаки, перенесшей столько испытаний!

— Мама, мама, ты посмотри, какие у него глаза. Человеческие! Бимка, умный Бимка, нашел сам. Мама, сам нашел меня...

Но мама не проронила ни слова, пока друзья радовались встрече. Но когда восторги улеглись, она спросила:

— Это — та самая?

— Да, — ответил Толик.— Это Бим. Он хороший.

— Сейчас же прогони.

— Мама!

— Сейчас же!

Толик прижал Бима к себе:

— Не надо, мама. Пожалуйста! — И заплакал.

Прозвенел музыкальный звонок. Вошел человек. Он добрым, но усталым голосом спросил:

— Что у вас тут за крик? Ты плачешь, Толик? — Он снял пальто, разулся, надел тапки и, подойдя к мальчику с собакой, сказал: — Ну, что ты, дурачок? — И погладил Толика по голове, потрепал за ушко и Бима: — Ишь ты! Собачка. Смотри-ка, какая собачка... худая.

— Папа... папа, он — хороший, Бим. Не надо.

Мама теперь уже закричала:

— Вот так всегда! Я одно говорю ему, а ты — другое. Воспитание называется! Изуродуешь ребенка! — Она перешла на «вы»: — Будете локти кусать, Семен Петрович, да поздно.

— Подожди, подожди, не кричи. Спокойно. — И увел ее в дальнюю комнату, где она кричала еще больше, а он ее уговаривал.

Из всего этого Бим понял, что Мама против Бима, а Папа — «за» и что он пока останется у Толика. Слова понимать не потребовалось бы даже человеку, он все понял бы даже в том случае, если бы ему наглухо заткнули уши. А тут все-таки собака с открытыми ушами и умными глазами. Как не понять! И правда, Толик повел Бима в свою отдельную комнату (там пахло исключительно одним Толиком).

Ни Бим, ни Толик не слышали дальнейшего разговора Мамы и Папы.

А там происходило вот что:

— Зачем же ты при Толике такие слова говоришь: «Изуродуешь ребенка» и тому подобное? Это же для него пагубно.

— А это не пагубно: явно больная собака, бродячая — да в нашу образцовую чистоту! Ты что — с ума сошел? Да он завтра же заболеет от нее черт-те чем. Не позволю! Сейчас же выгони пса!

— Эх, мать, мать! — вздохнул Семен Петрович. — Ни капли ты не представляешь, что такое тактика.

— Провалитесь вы со своей тактикой, Семен Петрович!

— Ну вот, опять за свое... Надо же сделать с умом: и Толика не травмировать, и пса уволить. — Потом что-то пошептал ей и заключил: — Так и сделаем: уволим.

— Так бы и говорил сначала, — успокаивалась Мама.

— Не мог я сказать этого при Толике... А ты, дурочка, несешь: «провалитесь с тактикой». — Он потрепал ее по щеке (то есть помирились).

Они вошли к Толику, Мама сказала:

— Ну, пусть живет, что ли...

— Конечно, пусть, — поддержал Папа.

Толик возрадовался. Он смотрел благодарно на Маму и Папу, он рассказывал о Биме и показывал все, что тот умеет.

Это была счастливая семья, где все теперь были довольны жизнью.

— Но одно условие, Толик: Бим будет спать в прихожей и ни в коем случае не с тобой, — заключил Папа.

— Пусть, пусть, — согласился Толик. — Он ведь очень чистоплотный, Бим. Я хорошо знаю.

Бим приметил, конечно, что Папа — хороший, спокойный, уверенный и ровный. А когда, несколько позже, Толик провел Бима по комнатам, знакомя с квартирой, то и тут Бим заметил, что Папа ест один, с газетой в руках, и тоже — спокойно и уверенно. Хороший человек — Папа, он же и Семен Петрович.

Допоздна провозился Толик с Бимом: расчесал его, покормил немного (больше не велел Папа — «Голодной собаке много нельзя, загубить можно»), выпросил у Мамы тюфячок (совсем новый!), постелил в углу прихожей и сказал:

— Вот твое м е с т о, Бим. На место!

Бим беспрекословно лег. Он все понял: здесь он будет пока жить. Внутри у него потеплело от ласки и внимания маленького человечка.

— Пора спать, Толик. Пора. Уже пол-одиннадцатого. Иди, ложись,— уговаривал Папа.

Толик лег в постель. Засыпая, он думал: «Завтра пойду к Степановне и скажу, пусть у меня живет Бим, пока вернется Иван Иваныч»... И еще вспомнил такое: когда он рассказал, что ходит к Степановне и там есть Люся, а он водит Бима, то мама раскричалась, а папа сказал Толику: «Больше туда не пойдешь»; когда же Толик плакал, то папа напоследок сказал маме: «Мы забыли с тобой, что такое тактика». И гладил Толика по голове, говоря: «Что теперь поделаешь? Надо тебе вырасти, большим человеком стать, но не собачником и не по бабкам разным там ходить. Ничего не поделаешь!» А теперь вот Бим будет жить у него, и «по бабкам» ходить не надо... Он только один разик сходит к Степановне, чтобы сказать ей обо всем... и к Люсе... Она милая девочка, Люся... А Бим небось спит. Хороший Бим».

На этой мысли Толик уснул спокойным, радостным, светлым сном.

...Глубокой ночью Бим услышал шаги. Он открыл глаза, не поднимая головы, и смотрел. Папа тихо подошел к телефону, постоял, прислушался, потом взял трубку и полушепотом сказал всего два слова:

— Машину... Сейчас.

Значения этих слов Бим, конечно, не понял. Но заметил, что Папа тревожно смотрел на дверь Толика, бросил неспокойный взгляд на Бима, ушел в кухню, вышел оттуда на цыпочках, с веревкой и каким-то узелком. Бим сообразил: что-то не так, что-то в Папе изменилось — он не похож сам на себя. Внутреннее чутье подсказывало — надо залаять, надо бежать к Толику! Бим, вне всяких сомнений, сделал бы именно так, но Папа подошел и стал гладить Бима (значит, все хорошо), потом привязал веревку к ошейнику, надел пальто, тихо-тихо открыл дверь и вывел Бима.

У подъезда стоял и журчал живой автомобиль.

И вот едет Бим на заднем сиденье. Впереди человек за рулем, рядом с ним Семен Петрович. Из узелка, что положен рядом с Бимом, пахнет мясом. На шее веревка. Люди молчат. Бим тоже. Ночь. Темная, темная ночь. Не-

бо заволокло тучами — оно черное, как чугун в доме Хрисана Андреевича, непроглядное. В такую ночь невозможно собаке следить за дорогой из автомобиля и заприметить обратный путь. И куда везут, Бим тоже не знал. Собачье дело — что? Везут, и все. Только вот веревка зачем? Беспокойство окончательно овладело Бимом, когда подъехали к лесу и остановились.

Семен Петрович повел Бима на веревке в глубь леса, захватив с собой ружье. Шли вниз, в яр, освещая просеку фонариком. Дорожка уперлась в небольшую полянку, окруженную огромными дубами. Тут Семен Петрович привязал Бима к дереву за веревку, развернул узелок, вынул из него миску с мясом и поставил перед Бимом, не произнося ни единого слова. И пошел обратно. Но, отойдя на несколько шагов, обернулся, ослепил Бима фонарем и сказал:

— Ну, бывай. Вот так.

Бим провожал взглядом удаляющийся свет фонарика и молчал — в удивлении, в неведении и горькой обиде. Он ничего, ровным счетом ничего не понимал. И дрожал в волнении, хотя было тепло и даже душно, необычно для осени.

Автомобиль уехал. «Туда уехал» определил Бим по удаляющемуся звуку, что становился все тише и тише, а потом и совсем заглох; звук тот как бы проложил Биму направление — куда идти, в случае чего.

Лес молчал.

Темной-темной осенней ночью сидела в лесу собака под могучими деревьями, привязанная на веревке.

И надо же случиться такому именно в эту ночь! Редко, очень редко так бывает, но случилось: в конце ноября, при таком необычном потеплении, где-то далеко-далеко прогремел гром.

Сначала Бим сидел и слушал лес, проверяя вокруг, насколько хватало чутья. Для собаки не трудно определить — какой это лес, если она хоть однажды побывала в нем. Бим вскоре понял, что он находится там, где когда-то был с хозяином на облаве. Тот самый лес. Но волком пока нигде поблизости не пахло. Бим прижался к дереву боком, прижук в непроглядной темноте, слился с нею, одинокий, беззащитный, брошенный человеком, которому он не сделал никакого зла.

Внутренне, где-то в самых глубинах существа, ин-

стинктом, Бим понял, что к Толику теперь идти не надо, что он теперь пойдет к своей родной двери, только туда и никуда больше. И так ему захотелось туда, что он, забыв о веревке, рванулся от дерева изо всех оставшихся сил и упал: боль в груди отдалась во всем теле и подкосила его. Теперь он лежал недвижимо, вытянув все четыре лапы. Но это продолжалось недолго, он вновь поднялся и вновь сел к дереву, казалось смирившись со своей судьбой.

В черной ночи еще раз пророкотал гром, теперь уже ближе, и прокатился по безлистому лесу грузно и широко. Подул ветер, ветви деревьев заныли, как от предчувствия беды, стволы, что послабее, закачались, и наконец все слилось в единый тревожный черный шум, в котором отчетливо выделялся стон полусухой осины; она ритмично скрипела и скрипела где-то у корня, уже надломившаяся и изношенная; ее глухой тоскливый стон пугал Бима больше, чем весь шум леса.

А лес шумел, шумел и шумел. А ветер все разыгрывался полным и единственным властелином в кромешной тьме, разыгрывался так, что застонали и дубы. Биму казалось, что кто-то черный-черный, огромный, распластался над могучими дубами, над безнадежной, умирающей старой осиной, над ним, затерявшимся в этой суровости псом; и этот черный бил полами черного плаща по верхушкам леса, обхватывал деревья и качал их в дикой пляске, шаманил, подергиваясь и извиваясь, крича и завывая в стоголосой дикости.

Биму стало так жутко, что боль в теле на время отошла, забылась. Он вдавился в ствол дерева, влип. Ветер начал бросать на лес холодом, отчего внизу яра потекла знобящая струя и сразу же пронизала Бима. Так всегда позднее потепление резко сменяется похолоданием. Бим передвинулся на другую сторону ствола, от ветра, и так, чтобы против ветра следить чутьем, а под ветер — глазами. Но впереди было непроглядно темно. Бим дрожал.

Вдруг, как огненным узким ножом, молния рассекла черноту, на секунду осветив строптиво воющий лес, а вслед за нею что-то грохнуло вверху, ударило, задребезжало чем-то разбитым, ухнуло вниз и покатилось по лесу в разные стороны. Молния и гром будто испугали шамана, и он стал убегать, убегать, а потом и совсем затих; и тогда

застучали сверху капли. Дождь был короткий, сильный, холодный. Потом и он перестал.

Лес теперь потихоньку ворчал, отряхиваясь и оправляясь, словно после боя. Но вдруг осина скрипнула, затрещала, цепляясь за другие деревья, прощаясь с соседями, жутко зашумела и повалилась на землю, ломая свои ветви, в горестной предсмертной безнадежности: выдержала последний бой и пала. Осина стояла близко от Бима, ему было тревожно слышать смерть дерева и страшно оттого, что она падала, как ему вначале казалось, прямо на него; он в ту минуту попятился от своего рокового дуба, натянув веревку, но... веревка есть веревка.

Бим сидел до рассвета, продрогший, больной, измученный. Перед ним стояла миска с мясом — к нему он так и не прикоснулся.

Перед рассветом далеко завыл волк. Один провыл: больше к очередной перекличке в лесу не оказалось. То был самый хитрый, спасшийся тогда от облавы волк. Бим приподнял шерсть на холке, застучал зубами и слушал, слушал, слушал, хватал чутьем воздух, глубоко втягивая. Он приготовился к встрече, ничуть не подозревая, что в нем есть храбрость самозащиты, которую можно назвать героизмом отчаяния (ведь укусил же он Серого дядьку, чуть не сбив его с ног!). Но волк на этот раз не пришел. Ветра уже не было, так что издали зверь не мог зачуять Бима, а время заброда по его участку, видимо, еще не наступило. Однако Бим в напряженном ожидании, незаметно для самого себя, уже натянул веревку, отчего ошейник стал душить до хрипоты. Тогда Бим попятился к дереву, прижался задом к стволу, перехватил коренными зубами веревку и... перегрыз. Как ножом отхватил!

Свершилось!

Бим свободен, хотя и одинок в дремучем лесу.

Так любая собака в конце концов и поступает, хотя у разных пород это происходит по-разному: цепные сторожевые — те перегрызают веревку немедленно, так как они любят только прочные цепи; моська хотя и не перегрызает, но, будучи привязанной на веревочку, начинает биться, вертеться, вопить и может даже удушиться; гончие долго думают, но перегрызают; интеллигентная собака, что работает по красной дичи, просидит много дней в ожидании хозяина, но веревку перегрызет только в минуты опасности или в отчаянии, когда станет ясно, что

никто уже не придет на помощь. Вот так и Бим: пришел срок, и он сделал то, чему быть должно.

Бим отошел от дерева осторожно, оглядываясь, прислушиваясь к лесу. Неожиданно неподалеку застрекотала сорока. «Тут кто-то, кто-то, кто-то есть! Кто-то есть, кто-то, кто-то есть, кто-то есть!» И Бим немедленно, с первого же предупреждения сороки, остановился в чаще молодого дубняка, плотно окружившего старый толстенный дуб-вековик. Боли он уже почти не чувствовал, она ушла куда-то в глубину. Он прилег на листву, вытянув шею и прижав голову к земле. Сорока прокричала близко — Бим увидел ее на высоком дереве. Он, конечно, ушел бы, не теряя ни минуты, но сорока кричала об опасности с той стороны, куда надо было идти Биму. Ждал он в трепете, в то же время с решимостью, и еще с благодарностью к сороке за своевременное сообщение о враге. Спасибо тебе, сорока! Только хищные животные ругают эту птицу, замечательную вестунью, урожденную с телеграфом на хвосте, добровольную служку мирных жителей леса. Не будь сороки, население, бегающее и летающее, было бы окончательно лишено информации о жизни леса.

Волчица вышла на край поляны и остановилась. Передняя нога у нее кривая (значит, она когда-то была ранена человеком). Прихрамывая, она переступила еще несколько шагов, повернула голову точно к Биму и с разлету... бросилась в его сторону. Но промахнулась — помешала неправая нога. Бим ускользнул от нее в самый последний момент, прыгнув в сторону. Зверь, повернувшись и как бы подпрыгнув на трех ногах, кинулся вновь на Бима. Однако тот юлой откатился за дуб и почувствовал спиной отверстие, дупло. И тут же, в момент второго промаха волчицы, в ту же секунду, протиснулся в дупло, выставил зубы, зарычал неистово и стал лаять так, как никогда в жизни не лаял,— как гончая на следу, как лайка у берлоги, без передыху. Голос Бима зазвенел по лесу одним-единственным словом, понятным каждому: «Беда-а! Беда-а!» А лес подхватил и помогал эхом: «Беда-а! Беда-а!!!»

Спасибо тебе, лес!

И понеслось от сороки к сороке, быстрее телеграфа, тревожное оповещение: «Кто-то кого-то ест, кто-то кого-то ест, кто-то кого-то, кто-то кого-то...» Лесник на кордоне определил, что и собачий неистовый лай, и редкостное

беспокойство сорок — не к добру. Он взял ружье, зарядил картечью и пошел в глубину леса. Человек шел смело, потому что лес был почти его домом, а обитатели лесные знали его в лицо. Да и он знал многих из них, знал в лицо и волчицу, но почему-то не убивал ее. «Не затесался ли кто из молодых охотников на законную собственную территорию волчицы, не испугался ли ее и не забрался ли на дерево, оставив собаку на растерзание?» — подумал он, поторапливаясь. Лай раздавался издалека, в самом конце Волчьего яра, но вдруг оборвался. «Готова!» — решил он и пошел теперь уже тише, хотя и в том же направлении. Эх, а надо бы было спешить. Спешить бы!

Что же там произошло, у дуба векового?

Волчица была «тертая»: она отошла от дупла, чтобы Бим замолк, знала, что вместе с собачьим лаем всегда появляется человек с ружьем. Бим потому и примолк, что волчица уже не бросалась на него. Через некоторое время она передвинулась ближе и села, не спуская с Бима глаз. Так две собаки смотрели друг на друга око в око: собака дикая, далекий родич Бима и враг человека, и собака интеллигентная, которая не может жить без доброты человека; волк ненавидит всех людей, а Бим любил бы всех их, если бы они все же были добрыми к нему; собака — друг человека и собака — враг человека смотрели друг другу в глаза.

Волчица понимала, что в отверстие дупла ей не пролезть, но она подошла к нему, потянулась мордой. Бим попятился в глубину, оскалив зубы, но уже не лаял, он был в своей крепости недосягаем.

Сколько времени так продолжалось бы, неизвестно. Но вот волчица повела носом вокруг, резко повернулась от дупла и, пригнувшись, как перед опасностью, шаг за шагом стала продвигаться к полянке, к тому дубу, за который был привязан Бим. Шла она с каким-то ужасом, опустив хвост-полено.

В страсти охоты за Бимом она пропустила это место, потому что ночной дождь сильно смыл запахи, а теперь, как только немного обветрело, она их обнаружила: веревка на дереве, миска с мясом. О, она знала уже, что это означает: здесь был человек! Человеком пахнет веревка, железом пахнет круглый предмет, а следы тоже его; мясо же — обман, предательство, капкан. Она чуть приостановилась, прыгнула в сторону и побежала, как от

великой напасти. Так волк убегает от капкана, поставленного неумело — не замаскированного внешне, и по запаху.

Убежала от Бима последняя в лесу, храбрая и гордая волчица.

...Единственное существо на земле, какого ненавидит волк,— это человек. Ходят по земле последние волки, и ты, человек, убьешь их, этих вольнолюбивых санитаров леса и поля, очищающих землю от нечисти, падали, болезней и регулирующих жизнь так, чтобы оставалось только здоровое потомство. Ходят последние волки... Ходят для того, чтобы уничтожить чесоточных лисиц, оберегая от заразы других, ходят для того, чтобы ослабевшие от эхинококка зайцы не распространяли болезнь в лесах и полях и не производили потомства, хилого и порочного; ходят для того, чтобы в годы размножения мышей, несущих туляремию, уничтожать их в огромных количествах. Ходят последние волки по земле.

Когда они тоскливо и надрывно воют в ночи, твоя душа, человек, почему-то содрогается от этого откровенного и прямого оповещения на всю округу: «Я-а-а е-есть! Я есть!» И ведь ты знаешь, человек, что волчица не тронет маленького щенка-сосунка собаки, а примет его, как родное дитя; и не тронет маленького ребенка, а перетащит в логово и будет толкать его к сосцам. Сколько их, таких случаев, когда волк из человека-ребенка выкармливал человека-волка! Шакалы так не могут. Даже собаки не могут. А тронет ли волк овцу в своем родном районе, где он живет? Никогда. Но ты все равно боишься волка, человек. Так ненависть, затмевая разум (отличие от животных!), может иногда настолько овладеть существом, что полезное считается вредным, а вредное — полезным.

Но последние волки пока ходят по земле.

Один из них убежал от ненавистного и опасного запаха человека, но не от Бима. Мы не знаем, чем бы кончилась их встреча и сколько бы просидела волчица у дупла. Может быть, они и снюхались бы (ведь она была одинокой волчицей, а Бим — самец). Не будем говорить о том, чего не произошло, только напомним, что люди-то видывали собаку в стае волков не раз. Но Бима такая участь миновала.

Когда убежала волчица, возникла, сама собой, у Бима сильная боль в надорванной груди. Он стал задыхаться,

а потому и выполз из дупла, да и упал тут же — будь что будет! И все-таки он не стал есть мясо даже и после того, как вновь отлежался и смог подняться. Оставалось одно: идти вперед, насколько хватит сил.

И Бим пошел. Долго и трудно взбирался он по крутому, огромному, в километр, подъему. Где-то на половине этого склона он наткнулся на след волчицы, перейти его не решился (она ведь отсюда и шла!), поэтому свернул в густой непролазный терник и... увидел волка. Увидел прямо перед собой, мертвого. Это был тот, что ушел внутрь круга облавы, смертельно раненный, около которого все еще кружила волчица, время от времени оповещая округу своей страшной для человека тоской. Мертвый волк. Шерсть с него оползла клоками. Осталась лишь часть растаявшего и осевшего зверя. Только когти стали длинными, зловеще-чистыми и страшными. Бим увидел: даже у мертвого, истлевшего волка когти остаются. И они пугают.

Бим полукружьем поспешил, насколько было силы, обратно на ту же дорожку, обойдя столкнувший его след.

Наконец он поднялся наверх, остановился на том месте, где вчера был автомобиль, осмотрелся и пошел совершенно точно туда, куда надо,— домой. И снова силы покидали его, снова он отлеживался то в скирде, то в сосновой хвое, снова искал травы по пути и ел их.

По шоссе бежала тощая хромая собака. Вперед бежала, только вперед, медленно, тяжко, но вперед, к той двери, у которой есть доброта, около которой Биму хотелось лечь и ждать, ждать хозяина, ждать доверия и самой обыкновенной, простой человеческой ласки..

...А что же Толик? Как он там, после того как проснулся утром?

Он, еще не одевшись, в нижнем бельишке, побежал к Биму и вдруг закричал:

— Мама! Где Би-им?! Где!!!

Мама успокоила:

— Бим захотел пописать, папа выпустил его, а он не вернулся. Убежал. Папа его звал, звал, а он убежал.

— Папа! — заплакал Толик.— Неправда, неправда, неправда! — Он упал на кроватку, мальчик в нижнем бельишке, и кричал с укором, с мольбой, с надеждой на то, что это не так: — Неправда, неправда, неправда!

Теперь стал утешать Семен Петрович:

— Придет он, придет... А не придет, так сами разыщем и возьмем его к себе. Обязательно возьмем. Найдем — собака не иголка.

Толик перестал плакать и смотрел в одну точку. Потом он глянул на родителей, вытирая слезы, и сказал твердо:

— Все равно найду.

Он так уверенно произнес эти слова, что отец с матерью с опаской переглянулись, говоря друг другу глазами: «У мальчика собственное мнение».

С того дня Толик стал молчаливым дома и в школе, замкнутым, настороженным к близким.

Он искал Бима. Часто можно было видеть в городе, как чистенький мальчик, из счастливой культурной семьи, останавливал прохожего, выбрав его только по лицу, и спрашивал:

— Дяденька, вы не видели белую собаку с черным ухом?

Глава четырнадцатая

●

ПУТЬ К РОДНОЙ ДВЕРИ. ТРИ УЛОВКИ

●

Когда Бим подходил к городу, ноги почти уже его не слушались. Ведь он опять же был голоден. Да и что можно было съесть около шоссе? Ничего. Разве что выброшенную корочку арбуза, но это — не питание, а одна видимость. Такой собаке надо мясо, хороший кулеш, борщ с хлебом (если остается от стола), одним словом, все, что ест обыкновенный человек. А Бим питался почти две недели впроголодь. При его больной груди, разбитой сапогом, такое голодание — медленная погибель. Если же к тому добавить, что в борьбе с волчицей он сильно зашиб раздавленную стрелкой заднюю лапу и костылял на трех ногах, то можно себе представить, какой вид был у Бима, когда он входил в свой родной город.

Но свет не без добрых людей. На самой окраине он остановился у малюсенького домика с одной дверью и одним окошечком. Вокруг домика лежали горы кирпича, камней, каменных плит, досок, бревен, железа и всякой всячины, а рядом, с другой стороны, стояла половина но-

вого огромного дома, но без окон и дверей, и без крыши. Ветер путался в глазницах окон, шипел по ярусам булыжника и кирпича, пел в штабелях досок и завывал в верхотуре строительного крана — и везде у него разный голос. В такой картине ничего удивительного для Бима не было (везде строили и строили без конца), а по совести говоря, он не раз обращался за время скитаний к строителям с просьбой: «Дайте, ребята, пожрать». Те понимали его язык — подкармливали. Однажды шутник из их компании в обеденном перерыве вылил в консервную банку ложку водки и предложил Биму:

— А ну, долбани-ка, песик, за здоровье тех, кто тут не ворует.

Бим обиделся и отвернулся.

— Точно! — воскликнул шутник.— Не за кого тебе пить, благоразумный. Это я знаю точнехонько.

Все присутствующие здорово смеялись и называли шутника-парня Шуриком. Зато тот же Шурик отхватил ножом кусок колбасы — настоящей, магазинной, а не из помойки! — и положил перед Бимом:

— За правду тебе, Черное ухо. Возьми, мудрец.

И опять смеялись люди в замазанных комбинезонах. А Шурик добавил, видимо, самое смешное:

— А то, брат, за эту ночь опять доски усохли на одну треть.

И еще смеялись, хотя парень тот и не улыбнулся.

Бим понял речь Шурика по-своему: во-первых, водка собаке — плохо, а если ты ее не пьешь, то тебе дадут колбасы; во-вторых, все эти ребята, пахнущие кирпичами, досками и цементом,— хорошие. Биму так и показалось, что Шурик говорил все время именно об этом.

Вспомнив такое, руководствуясь знакомыми из прошлого запахами, то есть по праву памяти, Бим, обессилевший до последней степени, прилег у двери маленького того домика, у сторожки.

Было раннее утро. Кроме ветра, вокруг никого не было. Через некоторое время в сторожке кто-то кашлянул и заговорил сам с собой. Бим привстал и, опять же по тому же праву, поцарапался в дверь. Она открылась, конечно, как и всегда. На пороге появился человек с бородой, одно ухо шапки опущено вниз, другое торчит вверх, плащ туго натянут на кожух: личность, вполне внушающая доверие Биму.

— Э, да тут гость, никак? Эка тебя подвело, бездомник несчастный, право слово. Ну, заходи, что ль.

Бим вошел в сторожку и молча лег, почти упал у порога. Сторож отрезал кусок хлеба, бросил в ведерце, размочил водицей и подставил Биму. Тот с благодарностью съел, после чего положил голову на лапы и смотрел на дедушку.

И пошел у них разговор о жизни.

Скучно сторожу, где бы он ни сторожил, а тут — живое существо смотрит на него изумленным, человеческим, измученным, откровенно страдающим и потому даже поражающим взором.

— Плохая твоя жизнь, Черное ухо, видать сразу... Оно — что же,— спросил он первым делом,— либо твоя очередь на ордер еще не пришла? Либо — что?.. Я, брат, тоже вот: очередь приходит и уходит, Михей остается. Сколько их, домов-то, понастроили, а я все вот с этой будкой переезжаю с места на место. Ты вот убегешь, к примеру, и попробуй ты написать мне письмо: некуда. Без адреса пятый год: «СМУ-12, Михею». И вся тебе роспись. Не пакет, а одно унижение. Пить-есть — пожалуйста, под завязку: обуться-одеться — пожалуйста, хоть галстук навешивай и шляпу — на лоб; а вот жить пока негде, понимаешь. Куда же денешься! Временные трудности... А зовут меня — Михей. Михей я,— тыкал он себя пальцем в грудь и отпивал малость из горлышка бутылки (делал он это каждый раз, как только кончался заряд речи).

Бим твердо понял монолог Михея по-своему, по-собачьи, то есть по виду, по интонации, по доброте и простоте: хороший человек Михей. Впрочем, вовсе не важно понимать слова (оно даже и не нужно понимать собаке), а важно понять человека. Бим понял его и тут же задремал, пропуская мимо ушей дальнейшую беседу. Но все же из уважения к собеседнику он то закрывал, то открывал глаза, преодолевая сон.

А Михей продолжал тем же тоном:

— Ты вот уснул, и вся недолга́. А мне нельзя. Нагрянет контроль: «Где Михей? Нету. Уволить Михея. Обязательно». То-то вот и оно. Не окажись на посту или засни — сейчас бы тебе в нос: «Где Михей? Нету. Уволить Михея!» И вся недолга́.

Сквозь дремоту Бим только и разбирал слова: «Михей... Михей... Михей... И вся недолга́».

А Михей отпил еще пару глотков, вытер усы, посолил хлебца, понюхал и стал его есть, одновременно обращаясь к Биму:

— А я и так скажу, Черноушко, собаке-то даже лучше выложить душу: тут тебе никаких прений — она никому не скажет, а самому полегчает... Вот я, Михей,— охрана. С ружьем. Теперь вопрос: а если ворует не один? Что Михей сделает? Ничего он не сделает. И вся недолгá... Закон, говорят. Закон — хорошо: поймал — пять лет ему, с-сукину сыну! А-а! Да только его надо поймать, вот в чем корень. Как поймать? То-то и оно. Вот ты — собака. Насажаю я в кошелку зайцев, двадцать штук, и выпущу их сразу всех, а тебя заставлю ловить. Они прыснут в разные стороны — и вся недолгá. Ну, поймаешь ты одного. А другие? Убя-агу-уть! — Михей так заразительно рассмеялся, что Бим приподнял голову — впору хоть самому улыбнуться.

Дверь открылась. Вошел человек, тоже сторож, и сказал:

— Смена. Ложись, Михей, спать.

Тот добрался до лежака и тут же немедленно уснул. А Смена сел за стол на место Михея, посидел чуть и заметил Бима:

— Это еще что тут за филин? — спросил он у Бима, видимо обратив внимание на его большие глаза.

Бим сел, как того требует вежливость, устало вильнул хвостом («Больной я, дескать. Хозяина ищу»). Смена ничего не понял, как и многие люди не понимают собак, а вместо ответа открыл дверь и подтолкнул Бима ногой:

— Сматывайся, образина.

Бим вышел с убеждением: Смена — человек паршивый. Но идти дальше он не мог: наевшись тюри у Михея, он почему-то еще больше обессилел, а сон буквально валил его с ног. Борясь со сном, Бим забрел в новостроящийся дом, зарылся в ворошок стружек, от которых пахло сосной, и уснул крепко-крепко.

За день его никто не потревожил. Так он и пролежал до вечера. В сумерках обследовал нижний этаж, нашел на окне почти полбуханки хлеба, большую часть съел (досыта), меньшую вынес из дома и зарыл в мягкую землю около траншеи; все это он сделал основательно, как и полагается: хоть и не было силы, а собачье правило «Хорони кусок про черный день» соблюдать надо. Теперь

он почувствовал, что может продолжать путь. И пошел к своей родной двери.

К родной двери, к той самой, знакомой с первых дней жизни, к двери, за которой доверие, наивная святая правда, жалость, дружба и сочувствие были настолько естественны, до абсолютной простоты, что сами эти понятия определять не имело смысла. Да и зачем Биму все это осмысливать? Он, во-первых, не смог бы это сделать как представитель собачьих, а во-вторых, если бы он и попытался подняться до недосягаемой для него высоты разума Гомо, он погиб бы уже оттого, что его наивность люди почли бы дерзостью необыкновенной и даже преступной. В самом деле, Бим тогда кусал бы подлеца обязательно, труса — тоже, лжеца — не задумываясь, бюрократа он съедал бы по частям и т. д., и кусал бы сознательно, исполняя долг, а не так, как он укусил Серого, уже после того, как тот жестоко избил по голове. Нет, та дверь, куда шел Бим, была частью его существа, она — его жизнь. И — все. Так, ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не все они и не так уж часто обладают преданностью другу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, естественной основой самого существа, когда благородство души — само собой разумеющееся состояние.

Дверь, к которой шел Бим,— это дверь его друга, а следовательно, его, Бима, дверь. Он шел к двери доверия и жизни. Бим хотел бы достичь ее и либо дождаться друга, либо умереть: искать его в городе уже не было сил. Он мог только ждать. Только ждать.

Но что мы можем поделать, если и в эту ночь Бим так-таки и не дошел до своего дома?

Надо было прежде всего обойти район Серого, а для этого обязательно пройти мимо дома Толика. Так оно и получилось. Бим оказался у калитки маленького друга и не мог, просто не мог пройти ее, будто чужую. Он прилег у высокого кирпичного забора, свернувшись в полукалачик и вывернув голову в сторону; то ли раненая собака, то ли умирающая, то ли совсем мертвая — мог бы подумать любой прохожий.

Нет и нет, Бим не пойдет уже к двери этого дома. Он только отдохнет от боли и тоски у забора, а потом пойдет

домой. А может быть... может быть, заявится сюда сам Толик... Разве мы имеем право обвинять Бима в отсутствии логики, если она ему недоступна? И он лежал в тоскливой собачьей позе безо всякой логики.

Был темный вечер.

Подъехал автомобиль. Он вырвал у темноты часть забора, потом пощупал весь забор и выпучил прямо на Бима два ослепительных глаза. Бим поднял голову и смотрел, почти сомкнув веки. Автомобиль поурчал, поурчал тихонько, и из него кто-то вышел. За запахом дыма нельзя было установить дух человека, шедшего к Биму, но когда тот оказался освещенным глазами автомобиля, Бим сел: к нему шел Семен Петрович. Он приблизился, убедился в том, что это действительно Бим, и сказал:

— Выбрался. Ну и ну!..

Вышел из автомобиля и второй человек (тот, что вез Бима перед грозой к волчице), посмотрел на собаку и по-доброму сказал:

— Умный псина. Этот не пропадет.

Семен Петрович пошел на Бима, расстегивая пояс.

— Бимка, Бимка... Ты хороший, Бимка... Ко мне, ко мне...

О не-ет! Бим не верил, Бим потерял доверие, и он не пойдет к этому человеку, хотя бы он и захотел взять его с добрыми намерениями. Может быть, Семен Петрович и думал возвратить Бима Толику, поняв состояние сына, да не тут-то было: Бим побежал. Именно не пошел, а побежал от Семена Петровича вдоль забора по освещенному пути. И откуда силы взялись?!

Семен Петрович — за ним. Второй человек — наперехват. Бим соскользнул со света в темноту, спустился ползком в траншею и здесь уже пошел пешком, еле переставляя лапы. Но направился Бим не в ту сторону, куда под светом бежал до траншеи, а в обратную.

И опять в минуту опасности Биму пришло откровение предков: путай след! Так поступают зайцы, лисицы, волки и другие звери — обычная уловка номер один при преследовании. Лисица и волк в подобных случаях обратно могут идти след в след так искусно, что только опытный охотник, да и то после, сообразит по коготкам, что его надули; уловка номер два — это петля (пошел влево, пришел вправо) или сметка (со своего обратного следа — прыжок в сторону); уловка номер три — отлежка: запу-

тав след, отлеживаться в глухом месте и слушать (если прошли, лежать, если идут напрямик, то все начать сначала, путать). Все эти три уловки зверей хорошо знают настоящие охотники, но Семен Петрович никогда не был охотником, хотя и держал ружье и даже выезжал на открытие сезона ежегодно.

В общем, так: Семен Петрович побежал в одну сторону, уже освещая свой путь фонариком, а Бим — в другую, да еще под прикрытием спасительной траншеи.

Но вот канава кончилась — Бим уперся в торцовую стенку, сбоку которой висел ковш экскаватора. Оказалось, ему не вылезти из западни: спуститься-то он смог, а взобраться наверх нет силы: с боков — стенки, впереди — стенка. Был бы он здоров, на четырех ногах, тогда другое дело, а теперь он может только выйти — не выпрыгнуть, не выскочить, а только выйти.

Посидел, посидел наш Бим, посмотрел вверх на ковш, кое-как приподнялся на заднюю лапу, опираясь о стену передними, оглядел отвал земли и снова сел. Казалось, он думал, но он просто слушал: нет ли погони. Потом он так же приподнялся на противоположную стенку без отвала и заметил, что фонарик ерзал на одном месте, вихляясь из стороны в сторону, а затем и затух. Увидел он и то, как автомобиль поехал обратно и стал приближаться к нему, но стороной. Бим прижался в уголок канавы и слушал, вздрагивая. Автомобиль проехал мимо, где-то совсем рядом.

Поблизости все стало тихо. А дальше слышно: не очень сильно покрякивают коротко автомобили, скрежещет трамвай — все звуки знакомые, безвредные.

Темной осенней холодной ночью сидела в канаве собака. И никому на свете не помочь ей сейчас. А ей надо, очень надо, идти к своей двери. Бим попробовал подпрыгнуть, но упал. Куда там! И пошел он обратно по своему же следу, тихо, осторожно, прислушиваясь и в то же время нет-нет да и ощупывая стены. В одном месте он обнаружил небольшую осыпь, стал на нее, приподнялся на заднюю лапу — теперь передние достали до отвала. И Бим начал грести землю сверху вниз, под себя; чем больше он работал, тем выше становилась осыпь. Бим отдыхал и принимался вновь. Наконец-то он смог опереться грудью о край канавы, но зато землю с отвала достать уже не мог. Тогда он спустился вниз по своей горочке, полежал.

Так хотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико, на весь город! Но Бим обязан молчать — ведь он спутал след и притаился. Вдруг он решительно встал, попятился от накопанного холмика и, забыв о боли, взмахнул всем телом, как тряпкой, подскочил на холмике на обе задние ноги и упал на самый край канавы, в то углубление, что отрыл сам же, спуская вниз землю.

Как он смог превозмочь неимоверную боль и немощь? Кто ж его знает... Как, например, волк отгрызает себе лапу, защемленную капканом? Никто не скажет, как это возможно — своими же зубами перегрызть свою же ногу. Можно ведь только предполагать, что волк делает это из инстинктивного стремления к свободе, а Бим забыл самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия.

Как бы там ни было, а Бим выбрался из западни и лежал в той ямке наверху.

Ночь была холодная. Город спал, каменно-железный, потихоньку скрежещущий и ночью, даже во сне. Бим долго еще слушал и слушал. Продрогнув, он все-таки пошел.

По пути он забрел в открытый подъезд одного из домов, и только потому, что надо было обязательно прилечь, хотя бы на короткое время — настолько он стал слаб. Ложиться прямо на улице нельзя, погибнешь (он видел не раз раздавленных автомобилем собак). Да и холодно на асфальте. А там, в подъезде, он прижался к теплому радиатору и уснул.

В чужом подъезде, глубокой ночью спала чужая собака.

Бывает.

Не обижайте такую собаку.

Глава пятнадцатая

У ПОСЛЕДНЕЙ ДВЕРИ. ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОГО ФУРГОНА

Проснулся Бим еще до рассвета. Не хотелось уходить от теплого, такого гостеприимного места, где никто не потревожил его сон. Ему показалось, что у него прибави-

лось сил,— попробовал встать на ноги, но сразу это не получилось. Тогда он сел. Это удалось, однако закружилась голова (так же, как тогда в поле после удара в грудь): стены покачнулись в одну сторону, перила лестницы задрожали, а пороги ее слились в сплошную горку и заколебались гармошкой, лампочка закачалась вместе с потолком. Бим сидел и ждал, что же с ним будет дальше, сидел теперь, опустив голову.

Кружение остановилось так же внезапно, как и началось. И Бим пополз на животе по порогам вниз. Дверь подъезда оказалась открытой, Бим выполз, полежал немного на освежающем холоде и все-таки поднялся на ноги. Находясь где-то на грани полной потери сознания и потому не чувствуя боли, он, повинуясь неведомой людям внутренней собачьей воле, пошел качаясь, как чумной.

Вряд ли дошел бы он до своего дома, если бы не наткнулся на помойку, где копалась маленькая собачонка. Бим подошел и сел. Собачонка, шерстистая и неряшливая, обнюхала его, помахала хвостом.

«Ты куда?» — спросила таким образом Лохматка.

Бим сразу узнал Лохматку — с нею он познакомился в лугах, в тот день, когда она грызла корешок камыша. Потому ответил доверительно и грустно, одними глазами: «Плохо мне, подружка».

Собачка вернулась к помойке, как бы приглашая гостя, там повернула голову в сторону Бима и завиляла хвостом, что и означало: «Тут кое-что есть. Иди-ка».

И что же вы думаете? Того-сего, по кусочку, по корочке, по селедочной головке — Бим наелся все-таки. Силы помаленьку возвращались, а вскоре, облизавшись и поблагодарив Лохматку, пошел дальше, пошел намного прочнее.

Нет, помойка в трудную минуту жизни — великое дело! С этого часа Бим стал бы относиться с уважением к таким местам, если бы...

Трудно об этом рассказать.

Серым предрассветным утром, когда остатки вчерашнего смога осели к земле легкой прозрачно-синей дымкой, Бим наконец добрался до своего дома... Вот он! Вот и окно, из которого, вместе с Иваном Иванычем, бывало, они смотрели на восходящее солнце. Не выйдет ли он к окну и сейчас? Бим сел с противоположной стороны улицы и смотрел, смотрел, смотрел теперь с радостью и надеждой. Ему стало хорошо. Пошел через улицу, хоть и не

спеша, но уже подняв голову, будто улыбаясь, будто вот-вот встретит незабвенного друга. Это была минута ожидания счастья. Да и кто из живых существ не был более счастлив в минуты ожидания, чем в минуты самого счастья?

Так, на середине улицы, перед родным домом, уже недалеко от той самой двери, Бим был счастлив от возникшей вновь надежды.

Но вдруг он увидел страшное: из арки дома вышла Тетка! Бим сел, расширив глаза от ужаса и дрожа всем телом. Тетка бросила в него кирпичом. Бим спешно отошел обратно на противоположный тротуар.

Людей на улице в такую рань не было, даже дворники еще не выходили с метлами. Только одна Тетка да Бим смотрели друг на друга. Она явно решила — стоять и не пускать, она даже поставила ноги пошире, для прочности, и утвердилась изваянием в средине арки, упершись кулаками в бока; на Бима она смотрела надменно, презрительно, уничтожающе и гордо, с сознанием чувства собственного достоинства, превосходства и правоты. Бим же был беспомощен, но у него оставались вполне надежными только одни зубы, тоже страшные — если в предсмертной хватке. Он это знал, он этого не забыл, потому даже чуть пригнулся и приподнял верхнюю губу, обнажив передние зубы. Человек и собака смотрели друг на друга неотрывно. Минуты казались Биму долгими.

...Пока человек и животное, не спуская взора, следили за малейшим движением друг друга, обратимся к самой Тетке, хотя отчасти мы ее уже знаем из предыдущих историй с Бимом. Тетка была совершенно свободная женщина: свободна от эксплуатации капиталиста, от какого-либо отдаленного понятия о долге перед социализмом, свободна от труда. Но она все-таки оставалась рабой желудка, не замечая ярма этого рабства. Кроме того, у нее все же были обязанности. Она поднималась, например, раньше всех жителей многолюдного дома, еще до рассвета. Своей первейшей обязанностью она считала нижеследующее: проследить, кто из чужих вышел на заре из того или другого подъезда; у кого горит свет в окне в то время, когда все спят крепким заревым сном; кто поехал на рыбалку или на охоту и — с кем; кто первый, еще в темноте, пронесет что-то на помойку. Потом она посмотрит и определит, что произошло, судя по помойке: бутыл-

ки если,— значит, от жены прятал; старое пальто негодное,— значит, скупец хранил дома ненужную тряпку; тухлое мясо выброшено,— значит, хозяйка растяпа, и так далее. Если же девушка придет домой перед рассветом, то это для Тетки было уже верхом торжества. Собак и их владельцев она ненавидела, потому наблюдение за ними составляло, пожалуй, одно из самых важных мероприятий Тетки, при этом она посылала им вслед непотребные слова, запас которых был у нее неистощим, что свидетельствовало о большой памяти и эрудиции.

Все это было существенно необходимо для ежедневной информации, когда она вместе с несколькими, тоже свободными, женщинами будет долго сидеть на заботливо выкрашенных скамейках и докладывать о том, кто есть кто; и тут уж никто не будет забыт и ничего не будет забыто. Талант! Подобный непечатный бюллетень она выпускала регулярно. И это она считала своей второй обязанностью перед обществом. Такая осведомленность касалась даже и международных событий (сама слыхала: война — вот-вот, крупы надо запасать, соли); слух шел дальше при участливом содействии подобных ей, но уже со ссылкой на «такого-то», а он — доцент, брехать не будет, сам «слухал».

При всем при том, как уже известно, Тетка называла себя не иначе как «советская женщина», гордилась этим в полной уверенности, что это так, что ее дремучая совесть есть не что иное, как образец для подражания. Будь у нее ребенок — какой бы вышел человечище!

Но два дня в неделю у нее были выходными: в воскресенье она что-то покупала на базаре у колхозников, а в понедельник продавала то же самое. Поэтому, не имея кур, огорода, сетей для рыбной ловли, она продавала яйца, самих кур, помидоры, свежую рыбу и все прочее, необходимое для жизни человека. Благодаря такой, третьей обязанности (в выходные дни!) Тетка имела сберегательную книжку и жила безбедно, отчего никогда и нигде не работала. Существовала же она в квартире с удобствами, соответствующими ее высокой культуре (два шифоньера, три зеркала, картина с базара «Девушка и лебедь», большой глиняный орел и вечные цветы из стружек, холодильник, телевизор). Все у нее было, что надо, и ничего не было, чего не надо...

Итак, Тетка стояла в центре арки, и миновать ее Бим

не мог. Уходить бы ему надо, уходить, но он не в силах уйти от родного дома. Он теперь будет ждать с оскаленными зубами, пока не уйдет враг, ждать, сколько бы времени на это ни потребовалось. Кто — кого!

Но вот в сероватой холодной мгле появился одинокий автофургон и неожиданно остановился между Теткой и Бимом. Фургон был темно-серый, обитый жестью, без окон. Из него вышли двое и направились к Тетке. Бим внимательно наблюдал, не сходя с места.

— Чья собака? — спросил усатый, указывая на Бима.

— Моя, — надменно ответила Тетка, не задумываясь.

— А чего не уберешь? — спросил второй, молодой парень.

— Попробуй, убери. Видишь, конец веревки на шее — перегрызла. И кусает каждого. Сбесилась, сволочь. Обязательно сбесилась.

— Привяжи, — сказал усатый, — заберем ведь.

— Я сама писала заявление. И ходила, и просила — заберите. Что та-ам! Бюрократ на бюрократе! — Она уже кричала: — Душу вымотали бюрократы.

— Давай, — обратился усатый к безусому.

Тот взял из автомобиля малокаліберку, а усатый вытащил из держателя, сбоку фургона, длинный шест с обручем на конце и сеткой, будто сачок для ловли бабочек величиной с овцу. Первым подошел тот, что с ружьем, а за ним второй, изготовив сачок.

Бим увидел ружье. Бим завилял хвостом, говоря этим жестом: «Ружье! Ружье! Знаю ружье!»

— Ласкается, — сказал парень. — Никакой он не бешеный. Заходи.

Усатый вышел вперед. Бим почуял, что от него пахнет собакой.

«Ну, конечно же вы — хорошие люди!» — говорил он всем видом.

Но вдруг внутри фургона тоскливо проскулила собака, безнадежно и горестно. Бим все понял: обман! Даже ружье — обман. Все — обман! Он шарахнулся было в сторону, но... поздно: обруч сачка накрыл его. Бим прыгнул вверх и оказался в сетке, теперь перекинутой им самим через край обруча...

Бим грыз веревки, скрежетал зубами, неистово хрипел и бился, бился судорожно, будто в припадке. Он быстро истратил на это последние силы и вскоре затих. Собако-

ловы просунули сачок в дверь автофургона и вытряхнули Бима на пол.

Дверь захлопнулась.

Усатый обратился к неожиданно повеселевшей Тетке:

— Чего осклабилась? Не умеешь собак держать, так и не мучила бы. Сама наела лягушкино рыло, а собаку довела — жутко смотреть: на собаку не похожая.

(Он оказался наблюдательным: опущенные уголки больших губ, плоский нос и вытаращенные очи Тетки напоминали действительно «лягушкино рыло».)

— Меня, советскую женщину, ты, вонючий собашник, оскорбляешь, гад! — И пошла, и пошла, не стесняясь в выборе выражений, как и всегда. Слова, какие нельзя писать на бумаге, выскакивали из нее легко и свободно, как-то даже плавно и широко, ибо они, по всей видимости, были запрограммированы: нажми кнопку, и вот они, тут как тут.

— Ты не безобразь! — крикнул ей парень. — А то вот накрою подсаком, да в железный ящик. Таких, как ты, надо бы, хоть на недельку в году, сажать в такой вот фургон. — Он и правда схватил шест с обручем и решительно зашагал к ней.

Тетка побежала писать жалобу за оскорбление. И написала ее на имя председателя горсовета, при этом обвиняла его ничуть не меньше, чем собаколовов. Она ни за что не несла ответственности, ни за что не отвечала перед обществом, но зато со всех требовала ответственности. Последнее тоже было частью ее обязанностей, как и любого паразита общества.

...Солнце всходило в то утро большое и желтое, по-предзимнему холодное и невеселое. Оно отмахнулось от утренней дымки так неохотно и так вяло, что местами сизоватый туманчик так и остался над городом рваной кисеей: на одной улице светло, на другой — мутно и серо.

Темно-серый, обшитый жестью автофургон выехал за город и завернул во двор одиноко стоящего дома, обнесенного высоким забором. Над воротами вывеска: «Вход посторонним воспрещен — опасно для здоровья». То был карантин, куда привозили бешеных собак и сжигали дотла, сюда же попадали и отловленные бродячие псы, как возможные разносчики эпидемий, — этих не сжигали, а отправляли для науки или снимали шкуры; других животных с инфекционными болезнями тут же и лечили, если

они того заслуживали; лошади, например, давали лекарства до последнего часа жизни, а уничтожали ее только при одном-единственном условии — при заболевании сапом. Очень редкая теперь это болезнь, потому что лошадей остались единицы, болеть сапом некому.

Те два человека, изловившие Бима, были простыми разнорабочими этого двора. И вовсе они не плохие люди. Больше того, они всегда подвергали себя опасности заразиться тяжелым недугом или быть укушенными бешеной собакой. Они же время от времени очищали город от бродячих псов или забирали собаку по личному заявлению владельца. Эту обязанность они считали неприятной и тяжелой, хотя за каждую отловленную собаку получали, кроме основного заработка, дополнительную плату.

Бим не слышал, как приехал железный фургон во двор, как вышли те двое из кабины и ушли куда-то: он был без сознания.

Очнулся наш Бим через два-три часа. Около него сидела та самая, давно знакомая, Лохматка, с какой он встретился на рассвете у помойки. Сейчас она лизала Биму нос и уши...

Удивительное существо — собака! Вот у матери умирает один из щенков, а она лижет ему носик, лижет ушки, лижет, лижет без конца, долго-долго, массирует животик. Бывает, щенок возвращается к жизни. А массаж-то и вообще считается у собак непременным условием ухода за новорожденными щенятами. Дивно все это и удивительно.

Лохматка облизывала Бима тоже по неведомому для нас наитию природы. Видимо, она была искушенной в своих скитаниях, а возможно, не впервые попала и сюда. Неизвестно.

Тонкий-тонкий лучик солнца прорвался в щелочку двери и упал на Бима. Он приподнял голову. В железной тюрьме их было только двое: он и Лохматка. Превозмогая боль в груди, Бим попробовал изменить положение тела, но с первой попытки не получилось. Однако во второй раз он подвернул под себя все четыре лапы, освободив бок от холодного железа, на котором лежал. Лохматка, тоже продрогшая, пристроилась вплотную к нему и свернулась калачиком. Вдвоем стало чуть теплее.

Две собаки, лежа в железной тюрьме, ждали своей участи.

Бим все время смотрел и смотрел на дверь, на тоненький лучик солнца, единственный вестник из светлого. Но вот где-то неподалеку раздался резкий выстрел. Бим встрепенулся. О, как знаком ему этот звук! Он напомнил о хозяине, Иване Иваныче, это — охота, это — лес, это — воля, это — и призыв, если собака заблудилась или чрезмерно увлеклась следом птицы или зайца. Где взялись силы у Бима после выстрела, когда он встал и, качаясь, подошел к двери, приложил нос к щелке и втягивал воздух свободы? Но он уже стоял на ногах, казалось, он воскрес. И начал медленно ходить маятником по фургону из угла в угол. Потом снова к двери, снова нюхал через щель и наконец установил по запахам: во дворе что-то тревожное. И вновь ходил, ходил, чиркая когтями по жести, разогреваясь и будто готовясь к чему-то, разминаясь.

Сколько так прошло времени, сказать трудно. Но Бим... начал царапаться в дверь.

Эта дверь никак не походила на другие, что знавал Бим: она обита жестью, местами уже с острыми рваными пятнами. Но это была дверь, теперь единственная, через которую можно было взывать о помощи и сочувствии.

Наступила ночь. Холодная, морозная.

Лохматка завыла.

А Бим царапался. Он грыз зубами клоки жести и вновь царапался, уже лежа. Звал. Просил.

К утру в фургоне стало тихо: Лохматка не выла, Бим тоже притих, разве что изредка нет-нет да и скребнет лапой по железу. Изнемог ли он до полного бессилия или смирился, потеряв надежду и ожидая своей участи безропотно, — мы не знаем. Пока это оставалось тайной железного фургона.

Глава шестнадцатая

ВСТРЕЧИ В ПОИСКЕ. СЛЕДЫ БИМА НА ЗЕМЛЕ. ЧЕТЫРЕ ВЫСТРЕЛА

В воскресный день в городе оказывается гораздо больше людей, чем в обычные дни: идут, едут, бегут, покупают, продают, набиваются в поезда, автобусы, троллейбусы,

трамваи, как сельди в бочку, спешат из города как угорелые. В средине дня толчея несколько утихает, а вечером снова: одни возвращаются из сел и лесов в город, другие уезжают из города к себе, в села и леса.

Не удивительно поэтому, что в один из воскресных дней и Хрисан Андреевич приехал в город вместе с Алешой. Оба договорились, что Алеша попробует поискать Черноуха, пока отец распродаст на базаре продукты. Хрисан Андреевич и раньше брал с собой сына и отпускал погулять по городу без всякой опаски (номер трамвая знает, «свою» автобусную остановку знает, а чтобы набаловать чего — ни в жизнь). В таких случаях Алеша получал на руки три рубля и мог купить себе что угодно и поехать в любое место города — хоть в кино, хоть в цирк. На этот раз Хрисан Андреевич засунул сам в «нутряной карман» Алеши пятнадцать рублей и сказал:

— Случаем, попадется Черноух, а отдавать не будут — давай десятку. Не отдают — давай двенадцать. Не отдают — ложи все пятнадцать. А если и тогда не желают, пиши себе адрес и — ко мне: сам поеду. Допоздна не ходи: к четырем часам к автобусу; день стал короткий — по-темному поедем. Да спрашивай про Черноуха культурно: «Вопрос можно, товарищ?» А уж потом докладывай: так, мол, и так — из деревни мы, пастухи, и без собаки нам невозможно, а пропала. Убег, мол, в город. Добрых людей много: ты спрашивай, знай свое.

...По городу шел степенный мальчик-крепыш и изредка обращался к встречным, к тем, кто, по его мнению, заслуживает доверия:

— Вопрос можно, товарищ? Мы, стало быть, пастухи...

Жирных встречал неимоверно много, особенно женщин, но пропускал таких (должно, не работают, оттого и толсты без предела). Но именно жирный-то товарищ, услышав вопрос мальчика, не к нему — к другому, остановился и посоветовал пойти на вокзал (там, дескать, за день вся молодежь пройдет через ворота — уж кто-нибудь да знает). Мальчишек же Алеша не пропускал ни одного.

В то же самое время и Толик вышел из дому на очередные поиски Бима. Он искал настойчиво уже три дня, но — после уроков, а сегодня решил начать с утра: воскресенье — в школу не идти.

Шел по городу чистенький мальчик из культурной семьи, шел, вглядываясь в лица, как бы изучая прохожих, и спрашивал по выбору:

— Дяденька, скажите, пожалуйста, не видели ли вы собаку с черным ухом?.. Белая, в желтом крапе?.. Нет, не видели. Жаль. Извините.

Толик уже однажды был у Степановны, несмотря на запрет родителей, уже отдал Люсе чешские карандаши, каких не бывает ни в одном магазине, и альбом для рисования, уже рассказал, что Бим был у него, ночевал, а потом пропал; узнал он от Степановны и то, что Иван Иваныч, которого он никогда в жизни не видел, прислал письмо — скоро приедет. Сегодня Толик к вечеру обязательно зайдет еще раз — нет ли каких новостей о Биме, к тому же Люся обещала ему подарить свою картину «Наш Бим».

На одной из улиц, поблизости от вокзала, к Толику подошел мальчик лет тринадцати, загорелый, прочный, в новом костюмчике, сшитом по-взрослому, и спросил:

— Вопрос можно, товарищ?

Такое обращение, как к большому, Толику понравилось, и он охотно ответил:

— Можно. — В свою очередь спросил: — А что ты хотел?

— Пастухи мы. А собака пропала — в город ушла. Случаем, не видал? Белая, с желтыми крапинками, а ухо черное-черное. И нога...

— Как зовут собаку? — вскрикнул Толик.

— Черноух, — ответил Алеша.

— Бим, — сказал Толик. — Он!

Нетрудно понять, как мальчики объяснились: Толик установил, когда и где куплен Бим, когда он ушел из села; Алеша понял, что приходил к Толику именно Черноух, а не кто-либо другой. Все сходилось: Бим был где-то в городе. Оба они даже и не подумали о том, кому из них достанется Бим, если найдут. Главное, искать, скорее искать.

— Сперва станем-ка у вокзала, — предложил Алеша. — Человек мне посоветовал.

— Народу тут тьма, кто-то уж обязательно видел Бима, — согласился и Толик.

Наивность такого поиска была очевидна, но не Алеше и не Толику. Они просто почувствовали дух товарище-

ства, объединились одним желанием, одной любовью к Биму, они верили — вот в чем и гвоздь их поведения. А воображение уже рисовало, что Бим и сам может попасться им на глаза.

— А потом зайдем к твоей Степановне, — уже на ходу решил Алеша. — Ее он не минует. Фактически, он туда и идет, обязательно туда. Стало быть, ему иначе нельзя: дом.

— Зайдем, — согласился Толик.

Ему положительно нравился Алеша своей степенной речью и в то же время наивностью и простотой. Подобные знакомства остаются на всю жизнь. И хорошо тому мальчику, которому улица подарит доброго товарища, а не жулика.

Ребята уже расспросили не меньше сотни людей и все продолжали выбирать тех, кому следует задавать вопрос.

В то же утро в общую вокзальную толчею, опираясь на палочку, вышел из вагона скорого поезда седой человек в коричневом пальто. Пройдя вокзал, он приостановился и осмотрелся вокруг. Так человек, надолго разлучавшийся с родными местами и возвратившийся обратно, смотрит — все ли на месте, не изменилось ли что. В этот момент к нему и подошли два незнакомых мальчика. Один из них, явно сельский, спросил:

— Вопрос можно, товарищ?

Седой, чуть склонив голову на сторону и пряча улыбку, ответил:

— Конечно, можно, товарищ.

Второй, явно городской, продолжил вопрос:

— Скажите, пожалуйста, вы не видели собаку с черным ухом, белая, с кра...

Седой сжал плечо мальчика и с нескрываемым волнением воскликнул:

— Бим?!

— Да, Бим. Видели? Где?

Все трое сели на скамейку привокзального скверика. И все трое доверяли друг другу без каких-либо сомнений, хотя мальчики абсолютно не знали этого старого человека, не знали, что это и был Иван Иваныч, хозяин Бима, даже не сразу бы и догадались, если бы он сам не сказал о себе.

Пожалуй, и знакомые не вдруг узнали бы его. Он стал чуть сутулее, лицо худее, морщин прибавилось (операция

близко от сердца — не курорт), но глаза остались такими же — внимательными, сосредоточенными, смотрящими как бы внутрь человека. Только по этим густо-карим глазам и можно было бы определить, что когда-то обладатель их был брюнетом. Теперь же он стал окончательно белым как снег.

Толик рассказал все, что знал о Биме, даже и то, что он хромой и больной. Алеша толково и коротко поведал о жизни Черноуха в селе. Ребятам все нравилось в Иване Иваныче: разговаривает он с ними как со взрослыми, иногда положив ладонь на плечо собеседника, нравилось и то, как он слушает не перебивая, и то, что он белый-белый, и имя, и отчество у него хорошее, а главное, он любит их, незнакомых мальчиков, — это уж яснее ясного. Иначе к чему же он сказал в заключение:

— Хорошие вы ребята. Будем друзьями, по-настоящему... А теперь — ко мне. Судя по всему, Бим уже пришел домой.

Дорогой он осторожно расспрашивал мальчиков и без труда установил, кто они, откуда, из каких семей, кто чем занимается, кому и что нравится.

— Овец пасешь — это хорошо, Алеша. И учишься в школе? Трудно небось?

— Овцу, ее накормить — уметь надо, — отвечал, как и отец, Алеша. — Дело трудное. Распустить отару фронтом, не топтать корм под ногами — это не раз плюнуть, намотаешься так, что ноги гудуть. И обратно же: вставай чуть свет. Хлопотно. С собакой хорошо — помогает лучше человека, если он ни шиша не понимает в этом деле. А без собаки нам никак невозможно. Пастухи мы. Куда ж денешься?

— А ты, Толик, чем занимаешься? — спросил Иван Иваныч.

— Я? — удивился Толик. — Я учусь в школе.

— Скотина у вас есть какая, дома-то? — спросил Алеша у Толика.

— Скотины нет никакой, — ответил тот. — Морские свинки были — мама запретила... Пахнут.

— Ты приезжай ко мне — покажу: Милка у нас — золотая корова, под пузо лезь, и ногой не шевельнет. Шапку лижет тоже... и ладони. Петух у нас — всем петухам петух, заводила называется, первым кричит на заре, а другие уж — за ним. Таких петухов — редкость... А вот со-

баки нету. Была — померла. Черноух был — убег. — Алеша вздохнул: — Жалко. Такой ласковый...

Иван Иваныч позвонил к Степановне. Она вышла вместе с Люсей и запричитала:

— Ой, Иван Иваныч! И как я теперь отвечать буду? Нету Бима. Вот был у Толика три дня назад, а домой не пришел.

— Не пришел, — задумчиво повторил Иван Иваныч. Но, ободряя мальчиков, добавил: — Найдем, обязательно найдем.

Степановна отдала ключи хозяину, и все пятеро вошли к нему. В комнате было все так же, как оставил Иван Иваныч: та же стопа книг, удивившая теперь Алешу, тот же письменный стол, даже стало чище (Степановны хлопоты), но пусто-пусто — не было Бима. На его лежаке чистый лист писчей бумаги — письмо Ивана Иваныча; Степановна сохранила даже и это. Иван Иваныч стал спиной к гостям и смотрел в окно, потупившись. Степановне показалось, что он тихонько простонал.

— Полежал бы, Иван Иваныч, с дороги, — посоветовала она.

Тот прилег на постель, полежал при общем молчании, глядя в потолок, а Степановна пыталась заговорить ему боль:

— Выходит, благополучно операция-то? Раз уж сам приехал, то все будет хорошо.

— Все хорошо, Степановна, все хорошо. Спасибо вам, милая, за все. Дай-то бог, чтобы родные так относились друг к другу, как вы к чужим.

— Вона! Об чем завел! Глупости одни говоришь. Не велик труд — помочь соседу. Было бы только все по-доброму. (Степановна даже как-то стеснялась, когда ее хвалили.)

Через несколько минут Иван Иваныч встал, посмотрел на ребят и сказал:

— Такой план, ребятишки: вы ищите здесь, в нашем районе, спрашивайте смелее — Бим должен быть где-то недалеко. А я... — Он чуть подумал. — Я поеду в одно место... не пристал ли он к сторожевым собакам... где-нибудь.

При выходе Люся передала Толику картину. «Наш Бим». Толик показал ее Алеше, а тот удивился:

— Сама?

— Сама, — ответила Люся.

— Ты художница?

— Не-ет, — рассмеялась Люся. — Я в пятый перешла.

На картинке Бим был очень похож: черное ухо, черная нога, желтенькие точки по белому и большие глаза; только одно ухо, пожалуй, подлиннее другого, но это вовсе не важно.

Итак, Алеша и Толик отправились вновь на поиски. Они так же выбирали по лицу прохожего (теперь уже советуясь основательно), так же задавали один и тот же вопрос и поясняли приметы Бима.

А Иван Иваныч, еще на постели, решил: скорее в карантинный участок! Предупредить собаколовов, рассказать приметы, дать денег, чтобы сообщили ему, если увидят. А может быть, Бим уже там. Ушел он от Толика в ночь на четверг... три дня. Скорее, скорее!

Он взял такси и вскоре был у ворот карантинного участка. Кроме сторожа, никого не оказалось (выходной). Но он на вопросы Ивана Иваныча охотно и многословно отвечал:

— В четверг и пятницу собак не ловили, а вчерашние есть — сидят в фургоне. Сколько их, нечистый их знает, не ведаю, но есть. Завтра придет врач и скажет: какую — в науку, какой — укол усыпительный и на шкуру, а бывает, зарывают со шкурой. На то и врачи. А как же! Бывает, и жгут начисто.

— А охотничьи попадают? — спросил Иван Иваныч.

— Редко. Этих не расходывают и в науку не отдают на растерзание, а сперва пождут хозяина или звонят в Союз охотников — так и так, мол, разберитесь. А как же! На то и врачи. Одна такая там есть, охотницкая, — Иван говорил, белая, запаршивленная, бесхозная, говорит, сама хозяйка сдала. А как же! Может, у нее муж помер.

«Он или не он?» — думал Иван Иваныч и стал просить:

— Пропустите к фургону, пожалуйста. Ищу свою собаку, замечательную. Может быть, она сидит там. Пустите.

Сторож был неумолим:

— Замечательных не сажают. Сажают вредных, чтобы не заражала, — безапелляционно утвердил он и убежденно. И тут же лицо его изменилось: он вздернул подбородок и отмахнул рукой, как бы отстраняя просителя от ворот, по другую сторону которых тот стоял, удрученный и бессильный что-либо предпринять. Даже сторож не

мог избежать соблазна насладиться властью, потому он и сказал строго: — Видишь? «Вход запрещен». Читай и понимай, — указал он на рамку под стеклом, где золотыми буквами было написано: «Вход воспрещен — опасно для здоровья».

Иван Иваныч уже потерял надежду проникнуть во двор, но все же сказал:

— Эх ты! Человек, человек!.. Операция была. От войны осколок носил вот тут. Приехал, а Бим пропал.

— Как так? — Боле двадцати годов носил осколок? Вот тут? — Сторож неожиданно стал самим собой, таким, как был в начале встречи. — Ты смотри-ка! Расскажи кому — не поверит. То-то ты...— Он не договорил фразу и примирительно пригласил, открывая засов: — Заходи. Да только никому не говори.

Иван Иваныч отпустил такси, в надежде на то, что он поведет Бима на поводке, и пошел к фургону. Шел он действительно с огромной надеждой: если Бим здесь, то он сейчас его увидит, приласкает, если же Бима нет, то, значит, он тоже жив, найдется.

— Бим, мой милый Бимка... Мальчик... Дурачок мой, Бимка, — шептал он, идя по двору.

И вот сторож распахнул дверь фургона.

Иван Иваныч отшатнулся и окаменел...

Бим лежал носом к двери. Губы и десна изодраны о рваные края жести. Ногти передних лап налились кровью.

Он царапался в последнюю дверь долго-долго. Царапался до последнего дыхания. И как мало он просил! Свободы и доверия — больше ничего.

Лохматка, забившись в угол, завыла.

Иван Иваныч положил руку на голову Бима — верного, преданного, любящего друга.

Запорхал редкий снежок. Две снежинки упали на нос Бима и... не растаяли.

...А тем временем Алеша и Толик, еще теснее сдружившись, шли по городу. Спрашивали они, спрашивали, да и попали на тот ветеринарный участок, куда Толик когда-то водил Бима. Там они узнали у дежурного, что никаких собак тут нет и что если собака пропала, то ее надо искать прежде всего в карантинном участке, потому что там собаколовы.

Наши два мальчика были вовсе не теми, что могут написать адрес: «На деревню дедушке». Потому они через

час, не больше, спешили от автобусной остановки по пустырю на карантинный двор.

Навстречу им вышел из ворот Иван Иваныч. Увидев ребят, он заторопился, а подойдя, спросил:

— И вы сюда?

— Направили нас, — сказал Алеша.

— Здесь нет Бима? — спросил Толик.

— ...

— Не было его тут? — переспросил Алеша.

— Нет, мальчики... Бима тут нет... и не было. — Иван Иваныч старался скрыть тяжесть на душе и боль сердца; это в его состоянии оказалось очень и очень трудно.

И тогда Толик, приподняв густые черные бровки и собрав гармошку на лбу, сказал:

— Иван Иваныч... не обманывайте нас... пожалуйста.

— Бима здесь нет, мальчики, — повторил Иван Иваныч уже более твердо и уверенно. — Искать его надо. Искать.

Снег порошил.

Тихий снег.

Белый снег.

Холодный снег, прикрывающий землю до следующего, ежегодно повторяющегося начала жизни, до весны.

Седой как снег человек шел по белому пустырю. Рядом с ним, взявшись за руки, два мальчика шли искать своего общего друга. И у них была надежда.

И ложь бывает святой, как правда. Так умирающий человек, улыбаясь, говорит любимым: «Мне совсем стало хорошо». Так мать поет безнадежно больному ребенку веселую песенку и улыбается.

А жизнь идет. Идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние убило бы жизнь.

Весь день мальчики продолжали искать Бима. А вечером, уже в сумерках, Толик проводил Алешу на трамвае до «нашей» автобусной остановки.

— А это — мой папаня, — познакомил Толика Алеша.

Хрисан Андреевич подал Толику руку:

— Понятно: друга, стало быть, нашел. Ты что же, к Алеше в гости? Милости просим.

За Толика ответил Алеша:
— Он потом приедет. И я приеду... к Ивану Иванычу. Мы будем еще искать.
— Ну ладно. Добро. Дома расскажешь все чин чином, а сейчас — во-он он! — идет наш автобус!
Перед посадкой Алеша отдал папане пятнадцать рублей.
— Все целы. Не потребовались.
— Тоже понятно, — с грустинкой сказал отец.
Толик помахал вслед отъезжающему автобусу. Было и грустно расставаться с новым другом, и радостно оттого, что он есть. Теперь Толик будет жить еще и ожиданием встреч с Алешей. А ведь это Бим оставил такой четкий след на земле.
Дома Толик сказал папе уверенно:
— Бим где-то в городе. Обязательно найдем. Мы найдем.
— Кто это — «мы»?
— Алеша, Иван Иваныч и я... Найдем, вот посмотришь.
— Кто — Алеша? Кто — Иван Иваныч? — спросила мама.
— Алеша — мальчик из деревни, отец у него — дядя Хрисан, а Иван Иваныч — не знаю кто... добрый он... хозяин Бима.
— А зачем же тебе Бим, если нашелся хозяин? — спросил папа.
Толик не мог ответить, он не понимал вопроса ввиду крайней его неожиданности и сложности.
— Не знаю, — тихо произнес он.
А поздно вечером, когда Толик спал и видел во сне, как Алешина корова лизала его шапку, папа и мама спорили в дальней комнате.
— Безнадзорный растет у тебя сын, — строго говорил папа.
— А ты где? — отпарировала мама.
— Я на службе.
— А я еще хуже, чем на службе. Ты ушел из дому, и все. А мне... мне одна чистота всю душу съела.
— Кто бы где бы ни служил — у него есть обязанности, которые он должен выполнять честно. Я говорю о другом: кто же будет воспитывать Толика? Ты или я? Или оба? Тогда нам надо найти общий язык.

— Наверно, не ты и не я.
— Кто же? — нажимал папа.
— Вся надежда на школу, — ответила мама уже более мирно.
— И улица? — давил папа.
— Хотя бы и улица. Чего в том? Все дети на улице.
— А честность, я спрашиваю, честность кто будет воспитывать? — повысил теперь голос папа.
— На́ вот, читай. Впрочем, я сама. Слушай. — Мама читала, вырывая отдельные фразы из газеты: — «Организованность, неусыпный надзор, строгий учет, взыскательность — вот чем воспитывается в людях честность»... «Честного человека надо поднимать на щит»... Слышишь: на щит! Да ну вас к лешему! — Мама упала на кушетку лицом вниз.

Папа уже не хотел углублять спор, он любил маму, и она его любила, а мирился он всегда первым. Да и долгие разногласия у них почти не бывали. И на этот раз он примирительно сказал:
— Что ж, придется разобраться. Попробую я найти Бима. Попробую. Хозяин нашелся, сюда Толик уже не притащит собаку, а если мы с тобой найдем ее, то наш авторитет возрастет в глазах Толика.

Нет, не те слова сказал он, что вертелись на уме, не те. В тот вечер Семен Петрович уже не был спокойным и уверенным: сын подрастал и шел мимо отца, а он, родной отец, не заметил этого в текучке. Семен Петрович думал. Семен Петрович вспомнил, как видел однажды у пивной на берегу реки юношу, еще безусого: тот стоял у стены, покачиваясь и путаясь ногами, и кричал, и плакал с надрывом... Жутко стало от такого воспоминания. Семен Петрович с ужасом представил у пивной своего Толика лет через пять, и от этого сдавило в груди. Он подошел к жене, сел около нее и спросил тихо, примирительно и для нее неожиданно:
— А может быть, купим Толику хорошую собачку?.. Или выпросим Бима у хозяина, а? Хорошо заплатим. Как думаешь ты?
— Ох, не знаю, Семен, не знаю. Давай купим, что ли.

Конечно, Семен Петрович не учел маленького обстоятельства, что дружба и доверие не покупаются и не продаются. Не знал он того, что Бима уже не найти, если бы он и захотел. Но Бим, наш добрый Бим, оставил след

и в душе папы Толика. Может быть, это был укор совести. От нее никогда и никому не уйти, если она не похожа на идеально прямую хворостину: такую можно согнуть в дугу и, отпустивши по желанию, выпрямить, как вам угодно. Но Бим тревожил Семена Петровича и ночью.

А в ту ночь Бим лежал все еще там же, в фургоне, обитом жестью. Завтра же папа Толика организует поиски Бима. Найдет ли он, постигнет ли тайну железного фургона, поймет ли всю силу и непобедимость стремлений Бима к свету и свободе, к дружбе и доверию?

Нет, этого не произошло по самой простой причине. Утром следующего дня, в понедельник, Иван Иваныч взял ружье в чехле и поехал на карантинный участок. Там встретился с теми двумя собаколовами, с горечью и болью узнал от них, что изловили они Бима около дома. Оба они возмущались той Теткой и ругали ее нещадно, обзывая всяческими словами. Тяжко было Ивану Иванычу оттого, что Бим пал жертвой предательства и наговора. Он не винил этих двух рабочих, исполняющих свою обязанность, хотя молодой парень, как видно, чувствовал себя виноватым, хотя бы уже потому, что поверил Тетке.

— Да если бы я знал... — Он не договорил и стукнул кулаком по капоту автофургона. — Вот и поверь такой гадюке.

Иван Иваныч попросил их отвезти Бима в лес и предложил за это пять рублей. Оба охотно согласились. Поехали втроем в кабине того же фургона.

На полянке, где перед каждой охотой Иван Иваныч садился на пенечек и слушал лес, на той полянке, где в тоскливом ожидании Бим терся мордой о палые листья, в нескольких метрах от того пенечка, зарыли Бима. А поверх засыпали легонько, тоненько, желтыми листьями, перемешанными со снежком.

Лес шумел ровно и негромко.

Иван Иваныч расчехлил ружье, вложил в него патроны и, как бы чуть подумав, выстрелил вверх.

Лес, из-за шума, глухо, без ропота, по-осеннему, отозвался печальным эхом. Вдали оно замерло коротким, оборвавшимся стоном.

И еще раз выстрелил хозяин. И еще ждал, когда простонет лес.

Оба его спутника недоуменно смотрели на Ивана Иваныча. Но он, не сходя с места, заложил еще два патрона

и так же размеренно, с абсолютно равными промежутками, определяемыми по замиранию звука вдали, выстрелил еще дважды. Затем зачехлил ружье и пошел к пенечку.

Старший спросил:

— Это к чему же — четыре-то раза?

— Так полагается, — ответил Иван Иваныч. — Сколько лет было собаке, столько раз и стрелять. Биму было... четыре года. Любой охотник в такие минуты снимет шапку и постоит молча.

— Ты смотри-ка! — тихо удивился молодой парень. — Как при напасти... как в беде... — Он отошел к фургону, сел в кабину и закрыл за собой дверцу.

Иван Иваныч присел на свой пенечек.

Лес шумел, шуме-ел, шуме-ел, однотонно, почти по-зимнему, шумел холодно, голо и неуютно. Снега было — всего чуть-чуть. Давно уже пора бы ему, а запоздал надолго. Может быть, потому и шум леса стал теперь ворчливо-нудным, сонливым, казалось, настолько безнадежным, что вроде бы и зимы не будет, и весны не будет.

Но вдруг Иван Иваныч ощутил в себе, в той пустоте, что осталась после потери последнего друга, теплоту. Не сразу он догадался, что это такое. А это были два мальчика, их привел к нему, сам того не ведая, Бим. И они опять придут, придут не раз.

Странным, очень странным показался Иван Иваныч двум простецким собаколовам, когда, садясь в кабину, он сказал как бы самому себе:

— Неправда. И весна обязательно будет. И будут подснежники... В России бывают и зимы, и весны. Вот она какая, наша Россия, — и зимы, и весны обязательно.

На обратном пути молодой парень неожиданно остановил автомобиль против небольшой деревни, неподалеку от шоссе, открыл дверь фургона и выпустил Лохматку.

— Не желаю. Не хочу! — воскликнул он. — Беги, собака, в деревню, спасайся, — там цела будешь.

— Что ты? Что ты?! Знают же — было две собаки, — крикнул из кабины старший.

— Одна покончилась, другая убежала — и весь сказ. Не хочу. Ничего не хочу. Не желаю. И весь сказ!

Лохматка отбежала от шоссе, села, в удивлении проводила взглядом фургон, потом осмотрелась и побежала

сама по себе, побежала в деревню, к людям. Смышленая собачка.

Еще в лесу Иван Иваныч узнал, что молодого парня зовут Иваном и старшего — тоже Иваном. Все трое — Иваны, редчайшее совпадение. Это их сблизило еще больше, и расставались они добрыми знакомыми. А и всего-то между ними было только одно: втроем зарыли собаку, которая не вынесла собачьей тюрьмы. Бывает, люди сходятся в больших делах и расходятся, а бывает, сходятся в малых делах и надолго, на всю жизнь.

Когда Иван Иваныч вышел из кабины и подал обещанные пять рублей молодому Ивану, тот отстранил его руку и сказал те же самые слова:

— Не желаю. Не хочу. И весь сказ!

Стало окончательно ясно, что он считает себя тоже виноватым в гибели Бима; видимо, он испытывал укор мертвого. Что ж, укор мертвых — самый страшный укор, потому что от них не дождаться ни прощения, ни сожаления, ни жалости к сотворившему зло кающемуся грешнику. Но молодой Иван слишком уж близко принял к сердцу свою маленькую ошибку. И это делает ему честь. Вот и еще один след на земле доброй, преданной и верной собаки. Кстати, старший Иван не испытывал особых душевных неудобств — он взял пятерку из рук Ивана Иваныча и положил ее в боковой карман — с благодарностью. Обвинять его абсолютно не в чем: он получил договорную плату за труд, а ловя Бима, всего лишь исполнял свою обязанность.

...В тот же день Семен Петрович организовал поиски. Во-первых, в газете появилось объявление: «Пропала собака — сеттер, белый с черным ухом, кличка Бим, выдающегося ума ученая собака. Местонахождение просим сообщить за хорошее вознаграждение по адресу...»

Большой город заговорил о Биме. Трещали телефонные звонки, шли сочувственные письма читателей, сновали в поисках гонцы.

Так Бим прославился дважды: один раз при жизни — как бешеный, второй раз после смерти — как «выдающегося ума собака». В последней славе Бима заслуга Семена Петровича была несомненна.

Но следов Бима так-таки и не нашли, ни в течение всей зимы, ни после. Да и кто мог знать? Молодой Иван рассчитался с карантинного двора и, по понятным причинам,

не откликнулся на объявление; Ивана старшего предупредил Иван Иваныч — чтобы ни гугу! А больше ни один человек не ведал, что Бим лежит в лесу, в свежей промерзшей земле, запорошенной снегом, и что его уже никто никогда не увидит.

Зима в тот год была суровой, с двумя черными бурями. После них белый снег в полях стал черным-черным. Но на той, знакомой нам полянке в лесу он оставался чистым и белым. Ее защитил лес.

Глава семнадцатая

●

ЛЕС ВЗДОХНУЛ
(Вместо послесловия)

●

И вновь пришла весна. Солнце выталкивало зиму вон. Она улепетывала, раскисшая, на полурастаявших и немощных ногах, а вслед за нею, помаленьку, но не отставая, прибавлялись и прибавлялись теплые дни, поджигали старуху пятнами, разрывали на грязно-белые клоки. Весна всегда безжалостна к умирающей зиме.

И вот ручьи уже успокоились, не торопятся, становятся все меньше и меньше, все тоньше и тоньше, а ночью почти совсем замирают. Весна пришла поздняя, ровная.

— Такая весна — к урожаю, — сказал Хрисан Андреевич на днях, когда ночевал с Алешей у Ивана Иваныча.

Скоро они выгонят овец на выпас, но Алеша теперь до самых каникул будет только «выпрова́живать» с отцом стадо утром и «встревать» за селом вечером.

Алеша и один приезжал несколько раз. В такие дни они с Толиком неразлучны и вновь ищут Бима, милые мальчишки. Но однажды, когда все вместе пили чай у Ивана Иваныча, Хрисан Андреевич рассудил так:

— Раз уже в газетах пропечатали да не объявился, то, стало быть, его кто да нибудь увез далеко. Россия велика, матушка, — пойди найди. Ежели бы он загиб, то обязательно кто-то заявил бы по объявлению: так, мол, и так — покончилась ваша собака, видал там-то и там-то. Главное дело — жив, вот в чем вопрос. Не каждый находит свою

собаку. И тут, фактически, ничего не поделаешь. — Он понимающе переглянулся с Иваном Иванычем и добавил: — Так что искать его, ребята, бесполезно. Правильно я говорю, Иван Иваныч?

Тот согласился кивком головы.

С этого дня поиски прекратились. Осталась только память, и осталась она у мальчиков на всю жизнь, до конца дней. Может быть, через много-много лет они, наши мальчишки, расскажут своим детям про Бима. Ведь любой отец или дедушка, если у него был друг-собака, не преминет рассказать детям и внучатам о забавных или печальных историях, происшедших с нею. И тогда подростку захочется иметь своюсобаку.

Уходя, Хрисан Андреевич положил за пазуху месячного щенка овчарки — подарок Ивана Иваныча. Алеша был в восторге.

...В комнате забавляется со старым ботинком новый щенок, тоже — Бим, породистый, типичного окраса английский сеттер. Этого Иван Иваныч приобрел «на двоих» — себе и Толику.

Но старого друга он уже никогда не забудет. Не забыть ему охотничьих зорь, подаренных Бимом, не забыть его доброты и всепрощающей дружбы. Память о верном друге, о его печальной судьбе тревожила старого человека. Именно поэтому он и оказался на той самой полянке и сел на тот же пенечек. Осмотрелся. Он пришел послушать лес.

Был неимоверно тихий весенний день.

Небо густо забрызгало поляну подснежниками (капельки неба на земле!). Много раз в жизни Ивана Иваныча повторялось такое чудо. И вот оно пришло вновь, тихое, но могучее в своей истинной простоте и каждый раз удивительное в неповторимой новизне рождения жизни — весна.

Лес молчал, только-только пробуждаясь ото сна, окропленный небом и уже тревожимый теплыми солнечными зайчиками на блестящих и таких томительно-нежных язычках еще не развернувшихся листочков. Ивану Иванычу показалось, что сидит он в величественном храме с голубым полом, голубым куполом, колоннами из живых дубов. Это было похоже на сон.

Но вдруг... Что бы это значило? По лесу прокатился короткий шум — глубокий вздох. Было очень похоже на

вздох облегчения от того, что после длительного ожидания жизнь деревьев пробуждается вновь, уже обозначившись язычками распустившихся почек. Иначе почему же ветви шевельнулись, и вслед за этим засвиркала синица, а дятел бодро застрочил барабанной музыкальной дробью, призывая подругу, оповещая лес о начале любви? Он ведь одним из первых, как и вальдшнеп, подает сигнал к торжественной симфонии весны; но только вальдшнеп зовет тихо, в сумерках, осторожно, зовет сверху: «Хор-хор! Хор-хор!» — то есть хорошо-хорошо! А дятел, найдя свое сухое дуплецо на заветном суку, неистово, смело, решительно возвещает на первозданном инструменте радости: «Кр-р-р-р-р-р-р-р-расота!»

Ясно: потому и вздохнул лес облегченно, что чудо началось, и наступило время исполнения надежды. И птицы откликнулись ему, могучему богатырю и спасителю. Иван Иваныч слышал это отчетливо. Ведь он и пришел сюда затем, чтобы послушать лес и его обитателей.

И он был бы счастлив, как и каждый год в такие часы, если бы на краю полянки не выделялось пятно — пустое, не заполненное голубым, обозначенное лишь свежей землей, смешанной с палыми прошлогодними листьями. Грустно смотреть на такое пятно весной, да еще в самом начале всеобщего ликования в природе.

Но зато снизу вверх добрыми, наивными, ласковыми и невинными глазенками смотрел на Ивана Иваныча новый, маленький Бим. Он уже успел покорить Толика, он так и начал жить — с доброты, маленький Бимка.

«Какова-то будет его судьба? — подумал Иван Иваныч. — Не надо, нет, не надо, чтобы у нового Бима, начинающего жизнь, повторилась судьба моего друга. Не хочу я этого. Не надо».

Иван Иваныч встал, выпрямился и почти вскрикнул:

— Не надо!

Лес коротким эхом повторил несколько раз: «Не надо... не надо... не надо...» И замолк.

А была весна.

И капли неба на земле.

И было тихо-тихо.

Так тихо, будто и нет нигде никакого зла.

Но... все-таки в лесу кто-то... выстрелил! Трижды выстрелил.

Кто? Зачем? В кого?

Может быть, злой человек ранил того красавца дятла и добивал его двумя зарядами...

А может быть, кто-то из охотников зарыл собаку, и ей было три года...

«Нет, неспокойно и в этом голубом храме с колоннами из живых дубов» — так подумал Иван Иваныч, стоя с обнаженной белой головой и подняв взор к небу. И это было похоже на весеннюю молитву.

Лес молчал.

1971

СОДЕРЖАНИЕ

Гавриил Николаевич
Троепольский



ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ



Повести и рассказы

Редактор В. ГЕЛЛЕРШТЕЙН
Художник Б. ДИАДОРОВ
Художественный редактор Б. ПОПОВ
Технический редактор Е. РУМЯНЦЕВА
Корректор М. СТРИГА

Сдано в набор 4/II—1975 г. Подписано к печати 6/VIII—1975 г. А12914. Формат изд. $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага для глубокой печати. Печ. л. 17. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 29,36. Тираж 300 000 экз. Заказ № 170. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Дорогой читатель!

Просим Вас отзывы о книге,
ее содержании, художественном оформлении
и полиграфическом исполнении
направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»